



Бессонница. Абай.
Пасутся табуны.
Я список лошадей
прочел до середины.
Как бы ложилась ночь
на горные седины,
блеща заржавленного
фиксою луны.

Ербол Жумагулов



- Хорошо милиционерам.
Они много получают.
- А кадыровцам еще
лучше: им все можно!
- Кадыровцем быть круто!
Я бы пошел в кадыровцы!
- Ты что?! Родители
проклянут...

Герман Садулаев

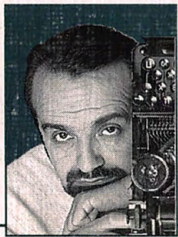
К 1920 году в Северо-Американских Соединенных Штатах были уже две подпольные коммунистические партии. В них состояло больше 30 000 человек, но лишь около

четырех тысяч
говорили по-
английски.



Александр Мишулович

Все сознательные россияне давно поняли: зачем честные выборы, если лучшие люди уже у власти? Причем пустили такие корни, что выдрать их можно только вместе с нефтью, газом и недвижимостью.



Виктор Шендерович

Блатные меня уважали: я «тискал романа», то есть рассказывал по вечерам разные истории. Вот гдегодились школьные уроки про то, что искусство должно служить народу и про социальный заказ.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи

Ави Дана, Алексея Кашеева,
Валерия Краско, Рины Левинзон
Рассказы и повести
Сергея Каледина,
Захара Прилепина, Льва Тимофеева.

Статьи и очерки

Евгения Ермолина,
Тамары Жирмунской,
Юрия Каграманова,
Александра Кырлежева,
Александра Нежного,
свят. Филиппа Парфенова,
Ольги Седаковой,
Михаила Эпштейна.

А также наш постоянный раздел
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«КОНТИНЕНТА»



ГЛУБОКО СКОРБИМ О БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ

замечательного пастыря,
выдающегося ученого-филолога и богослова

отца Георгия ЧИСТЯКОВА,

очень близкого и дорогого нам
по-детски чистого, искреннего и сердечного человека

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

132

2007, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(495) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ

Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ

Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chaligny, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Рина ЛЕВИНЗОН	
Листы нашей жизни читая... <i>Стихи</i>	9
Лев ТИМОФЕЕВ	
Поминки. <i>Маленькая повесть</i>	13
Валерий КРАСКО	
Даже если умру... <i>Стихи</i>	47
Герман САДУЛАЕВ	
Хранители. <i>Рассказ</i>	50
Ербол ЖУМАГУЛОВ	
Менингитное небо столицы. <i>Стихи</i>	69
Сергей КАЛЕДИН	
Почему проиграли войну	74
Алексей КАЩЕЕВ	
...А я вот увидел... <i>Стихи</i>	83
Захар ПРИЛЕПИН	
Грех	88
Ави ДАН	
Апокалипсис отменяется. <i>Стихи</i>	106

РОССИЯ И МИР

Александр МИШУЛОВИЧ	
Заговорщики, или Краткий курс истории компартии США	112
<i>У книжной полки</i>	
Евгений ЕРМОЛИН	
Мы не увидели небо в алмазах	132
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ	
Комментарий к событиям российской жизни /январь — март 2006 г./	138
<i>Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»</i>	
Проблемы российской современности в русской сетевой и бумажной периодике первого квартала 2007 г.	190

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Виктор ЛЕВЕНШТЕЙН	
«За Бугырской каменной стеной». Предисловие В. Сойфера	208

РЕЛИГИЯ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Взаимоотношение концепции прав человека
и религиозных ценностей 317

У книжной полки

Священник Филипп ПАРФЕНОВ

«На нас надвигается новое Средневековье...» 324

Юрий КАГРАМАНОВ

«Два убо Рима падоша, а третии стоит...» 342

Александр НЕЖНЫЙ

Восхождение на Сион 351

Основные события церковной жизни

в зеркале прессы (*март — май 2007*) 359

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль

в русской периодике первого квартала 2007 г. 364

ГНОЗИС

Михаил ЭПШТЕЙН

Добро и зло в зеркале русского языка 369

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая и политологическая мысль

в русской периодике первого квартала 2007 г. 383

ПРОЧТЕНИЕ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

«К милосердным коленям припав...» *Библия и И. Бунин* 397

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН

Триумф искусства над жизнью 414

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика

Первый квартал 2007 г. 422

ИСКУССТВО

Ольга СЕДАКОВА

Рембрандт. Ночной дозор. 1642. *Письма о Рембрандте* 451

Рина ЛЕВИНЗОН

ЛИСТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ ЧИТАЯ...

* * *

Зое Юрьевой

Поговорим по-русски.
Сколько зим
уже прошло без нежного общенья,
без этих дней морозных, угощенья
простейшего — всего-то чай и дым.
Поговорим по-русски.
Сколько дел
несделанных
Все суета, досада,
но посидим за чаем — вот отрада.
Поговорим о тех, кто преуспел.
Поговорим по-русски.
Что мне в нем,
таком родном, таком невнятно близком
наречьи удивительном и чистом...
Поговорим и тихо чай допьем.
Поговорим — о чем? — где свет, где тьма,
и вдруг вздохнем:
«Ах, что за жизнь — загадка!»
И разойдемся.
Чай остынет сладко,
по скатерти пройдет простая складка,
и за окном останется зима.

* * *

Птичий заработок скудный —
Две травинки, три зерна,
Переулочек мой Трехпрудный,
Гул базарный, город людный,
Говор тот родной и чудный —
До сих пор ему верна.

**Рина
ЛЕВИНЗОН**

— родилась под Москвой. Автор двенадцати книг на русском языке, пяти поэтических сборников на иврите и одного на английском языке. Ее стихи вошли в антологию Евг. Евтушенко «Строфы Века». Член Союза Писателей Израиля, член Пен-клуба. Живет в Иерусалиме.

Облупившиеся зданья,
Фонари, дворы, столбы,
Радости мои, страданья,
И безумные шатанья
Из конца в конец судьбы.

Памяти Осипа Мандельштама

Затянувшийся, бесконечный
Этот голод. Сверчок запечный
И заплечный мешок на двоих.
И поэт, как большой вороненок,
От безумия жизни тонок,
И от близости смерти тих.
И на этой голодной глади
В вороненом страшном году
Все воронежские тетради
Он писал на белейшем льду.
И пока высыхал позвоночник,
И легко возникал сюжет,
Надвигался воронежской ночи
Неподвижный, последний свет.
И мытарством своим отравлен,
И покинут своей судьбой,
Только музою не оставлен,
Только белочкой голубой.

* * *

А. С. Ржевской

Ах, жить бы тихо-тихо,
как в рощице глухой
олень и олениха
под голубой ольхой.
Скрип солнечных салазок
да шорохи земли.
Не надрывая связок,
дожить бы до зимы.
А там уж и до лета,
глядишь, рукой подать.
Прожить бы незаметно
и горя не видать.
Но ветрено и скользко,
дрожит в ночи луна,
и жизнь моя — повозка —
в сто бед запряжена.

Натружены ладони,
и пляшут бубенцы...
И тянут, тянут кони
все в разные концы.

* * *

Откуда приходит снежок ледяной?
И все колобродит движок за стеной,
и светится влага ночная.
Откуда?
Оттуда, где не были мы —
из хлада и студа, из белой зимы,
а, может, из лета, не знаю.
Откуда берется такое добро —
блаженное солнце, тепло, серебро
и утренних зябликов стая.
Откуда?
Оттуда, где плачет один
завернутый в плащик смешной господин,
листы нашей жизни читая.

И было утро...

Светает в шесть,
и сразу серебро
и отделение темноты от света.
Спасибо Богу за его добро.
Мне каждый день, как сотворенье света,
как сочетанье влаги и огня,
созданье птиц, зверей, и трав, и рая,
и сотворенье мужа для меня,
и для него — меня.
И, собирая
плоды с деревьев в золотом саду,
блаженное незнание в них найду.

* * *

Майе Никулиной

Я с тобой прощаюсь, день прошедший,
подаривший горстку теплоты.
Что бы ни сулил мне ангел вещий,
никогда не повторишься ты —
со своей тоскою телефонной
и протяжной осенью в окне,
ты исчезнешь, словно сполох сонный,
словно ветка хрупкая в огне.

Нехотя, почти не оглянувшись,
ты уходишь, унося с собой
этих суток солнечную сущность,
так и не разгаданную мной.

Иерусалим

У этого воздуха ткань совершенно другая,
и свет невозможный, и городом правит печаль,
и осень уходит, в своем же огне догорая,
и Божье присутствие всюду,
дыханье Его и печать.

Над городом нашим звезда замирает высоко,
над пламенем листьев ночной проливается дождь,
у осени этой другая совсем подоплека,
и, кажется, все разгадаешь и все, что искала, найдешь.
И белые камни, и солнца горячее око,
и горло схватило, хоть что тут такого,
и все ж...

* * *

Николаю Мухину

А жизнь и есть тепло и торжество,
короткое паренье над веками.
Не надо добиваться ничего,
а просто жить, как дерево и камень.
И просто воздух медленный вбирать,
не умирать, покуда не пришло,
и не просить, и ничего не брать,
а только жить легко и неумело.

* * *

Быть женщиной — дышать судьбой,
ни ада не страшась, ни рая.
Не притворяться — быть собой
и жить, путей не выбирая.

Быть женщиной — суметь собрать
под этот лепет лебединый
способность жить и умирать
в отрезок времени единый.

Быть женщиной — себе пенять,
ни мору не боясь, ни гладу.
Быть женщиной — соединять
все то, что тянется к разладу.

ПОМИНКИ

Маленькая повесть

1

Собирались помянуть Федора Филимоновича Пробродина, сельского учителя-энтузиаста, основателя и директора широко известного музея народных художественных ремесел, замечательного ученого-самородка, бывшего своего рода достопримечательностью и гордостью довольно глухого Северопрыжского района. Ожидалось, что на сороковой день по смерти в доме покойного в Старобукрееве соберутся человек двадцать родственников и друзей — и из Северного Прыжа, и из Костромы, и из самой столицы. Из Вологды, конечно, придет внук Жорик. Даже племянница Валерия, которая не была здесь лет пять или шесть, сообщила телеграммой из Петербурга, что постарается приехать. В общем, будет многолюдно. Дочери Митника, депутата Госдумы, давнего пробродинского друга, крестника и кума, собрались ехать из Москвы большим семейным сообществом на двух машинах с мужьями и детьми, но Галина Васильевна, вдова Пробродина, за неделю специально позвонила и тихим, усталым голосом попросила их приехать как-нибудь в другое время: народу и так ожидается столько, что даже в просторном пробродинском доме разместиться на ночь будет негде. Извиняясь, она сказала, что вот и Жорика попросила не брать с собой Алисочку, любимую правнучку.

После Галиного звонка Митник и сам засомневался, ехать ли: дел в Москве полно, задерживаться нельзя, но если там негде будет приткнуться на ночь и в обратную дорогу придется отправляться не выспавшись, поездка будет мучительна (с шофером он не ездил принципиально, полагая, что все думские шофера — стукачи). Шутка ли сказать, в ноябре, возможно, в дождь со снегом, за рулем более пятисот километров в одну сторону — от Москвы через Кострому и Северный Прыж до Старобукреева. Особенно рискованны последние три километра болотистой поймой: дороги в привычном смысле этого слова здесь нет, прямо по болоту много лет назад проложили два ряда бетонных плит, две колеи до наплавного моста через лесную реку Прыжку, но со временем под гусеницами тракторов и под колесами тяжелых самосвалов и лесовозов плиты местами совершенно поразбились, и если в распутицу

**Лев
ТИМОФЕЕВ**

— родился в 1936 г. в Ленинграде. Окончил Московский институт внешней торговли. Экономист, писатель, журналист. Публиковался в «Новом мире», «Октябре», «Знамени» и других журналах. Автор книг «Негатив», «Играем Горького», «Кусок истории (заметки публициста)» и многих других. Живет в Москве.

колесо легковой машины соскользнет в грязь, то сам уже ни за что не выберешься, — тогда бросай все и топай назад в совхоз искать трактор. В прежние годы с Митником такое случалось, и застревал, и топал назад, и пригонял трактор... но тогда он был много моложе и здоровее.

Но, посомневавшись, он все-таки решил ехать. Слава богу, напрасными оказались опасения насчет погоды: дни установились теплые, сухие, солнечные — прямо какой-то кусок запоздалого лета на исходе осени, того гляди на голых уже, черных, но заново нагретых солнцем деревьях вновь набухнут почки и появятся листья. В такую погоду если и начнет натягивать на дождь, то всегда будет два-три часа, чтобы спокойно собраться и уехать и успеть добраться до асфальта еще до того, как развезет дороги... Впрочем, в ближайшую неделю никаких осадков синоптики не обещали.

Да нет, хоть бы и снег шел, ехать надо было. Хочешь не хочешь. На похоронах он же твердо сказал Гале, что придет. В тот день (легко высчитать, что это было 29 сентября, четверг, потому что назавтра, в пятницу 30-го, в комитете было обсуждение поправок к законопроекту о мигрантах) он торопился до ночи вернуться в Москву. Так торопился, что даже на поминки не стал задерживаться. Едва бросив обязательную горсть земли в могилу и наскоро попрощавшись с районным начальством, посчитавшим своим долгом присутствовать на похоронах знаменитого земляка, он подошел к Гале. Она без сил, с закрытыми глазами, как-то заваливаясь набок на кого-то из поддерживавших ее женщин — родственниц или сотрудниц музея, сидела на скамеечке перед рыжими глинистыми отвалами раскрытой могилы, над которой, впрочем, уже сосредоточенно и деловито начали трудиться могильщики с лопатами, и первые комья земли застучали о крышку гроба. Митник присел на корточки, взял Галины безжизненные руки, поцеловал и, заглядывая ей в лицо, сказал, что теперь должен ехать, но на сорок дней придет обязательно. Она ответила слабым рукопожатием, но глаза не открыла, и он не был уверен, что она его правильно услышала...

Нет, хоть бы даже он и не обещал, нельзя не ехать: он остался вроде как душеприказчиком Пробродина, и теперь обязательно надо посмотреть, как там Галя справляется одна. Может быть, как-то помочь ей, помочь организовать ее вдовью жизнь. Когда уже накануне поездки он позвонил, она начала было говорить спокойно, но тут же заплакала и сказала, что никак не привыкнет, что Феди нет: все-таки сорок семь лет прожили вместе, и он всегда, если и уезжал по делам, быстро возвращался, и даже когда его долго не было — неделю или больше (например, в прошлом году он почти месяц пролежал в Вологде в больнице — Жорик устроил там отдельную палату), каждый день звонил. А теперь уехал, — и нет его и нет. «Я, слабоумная, все не верю, жду, что хотя бы телефон зазвонит, — сказала Галя. — Вот ты позвонил, а у меня и сердце упало... В доме холодно, дров принести некому». Самой ей в ее семьдесят, да и с больными ногами, носить дрова было не под силу: в последние годы она и триста метров до монастырской церкви пропол-

зала с трудом, тяжело опираясь на палку, и по дому передвигалась еле-еле, переваливаясь, как утка, и придерживалась за спинки стульев, за буфет, за стены... Митник сказал, что, как и обещал, придет и устроит, чтобы дрова у нее были. «Да что дрова, дрова — ладно, — сказала Галя, — с дровами и сама как-нибудь устроюсь». Приехать же ему обязательно надо потому, что к ней уже обращаются с предложениями публиковать Федины последние работы: и племянница Лера вскоре после похорон звонила из Питера, и из Москвы звонили из какой-то редакции, и из Прыжа приезжал человек из типографии, — но она не только что к бумагам, но и вообще на второй этаж, в его кабинет, в «голубятню» никого не пускает и пускать не собирается и хотела бы, чтобы Митник и только Митник первым поднялся туда, посмотрел рукописи и, возможно, что-нибудь подготовил к печати. «Ты самый давний друг, — сказала она, — и самый умный».

И правильно, что наверх никого не пускает, подумал Митник. Все, что есть ценного в доме, все собрано на «голубятне». И книги, и альбомы, и энциклопедии, и лично Федору принадлежавшие небольшие коллекции лубочных картинок и церковной вышивки. «Хорошо, хорошо, я обязательно приеду, — прокричал он сквозь помехи: телефонная линия с Прыжем была как всегда отвратительна, что-то шуршало, гудело, потрескивало. — Приеду и посмотрю, что можно продать и как продать подороже». Что Галя ответила, расслышать и вовсе было невозможно: из-за слез она говорила совсем тихо. «В общем, завтра увидимся и все обсудим», — сказал он и положил трубку.

Книги, альбомы, полный «Брокгауз», собрание лубков — это хорошие деньги, и он поможет всё пристроить в Москве (он даже успел переговорить по телефону со знакомым букинистом, и тот заинтересовался и сказал, что готов съездить на место). Но вот упоминание о рукописях, обо всех этих «последних работах» вызвало у Митника только раздражение и досаду: никакими рукописями он заниматься не будет. Ни сил нет, ни времени, ни желания — не до того ему в жизни. Вон пробродинская племянница Валерия едет из Питера, пусть она и займется. Небось, оправдывая свое детское прозвище, затем и стремится Лерка-Щучка, чтобы ухватить что-нибудь из дядюшкиного научного наследства, — и дай ей бог: может, как-нибудь где-нибудь что-нибудь использует. Если, конечно, есть там, что использовать.

Митник знал, о каких «последних работах» речь идет. Прошлой зимой по своей депутатской обязанности (очередные разборки с мигрантами) он был в Прыже и, конечно, сделал крюк в двадцать километров, заехал в Старобукреево, — благо дни стояли морозные, зимник через пойму был плотно укатан, и в свете фар хорошо и далеко видна была заснеженная белая дорога с неглубокими колеями. Приехал он к ужину. Ужинали с традиционной в этом доме можжевелевой настойкой под крупно нарезанную вяленую щуку, под соленые рыжики с дымящейся вареной картошечкой. Право, ради такого ужина и двадцать километров — не расстояние...

После вечных и яростных застольных споров о правительственной политике (конечно же, преступной) и общественной морали (конечно же, падающей год от года) Пробродин потащил гостя наверх в кабинет: «Пойдем-ка поработаем». Здесь он усадил Митника на диван и бросил ему клетчатый плед: «Завернись, из окна дует. И вообще можешь разуться и устроиться с ногами. Вот и подушку возьми». Сам он накинул на плечи свой белый полушубок, в котором работал не только зимой, но, кажется, даже и летом, даже теплыми ночами, сел за необъятный, построенный по специальному заказу дубовый письменный стол, водрузил на нос очки и, не обращая внимания на широкую зевоту гостя, утомленного долгой дорогой, дневными делами в Прыже и разморенного можжевельниковой, принялся увлеченно, «с выражением», — то посмеиваясь, то хмурясь, то постукивая кулаком по столу, — читать свои последние сочинения.

Митник то ли с возрастом стал менее терпим, то ли впрямь в тот вечер слишком устал, но слушать Пробродина было ему сущей мукой. Все, что читалось, было написано каким-то тяжелым, чудовищно старомодным языком, вышедшим из употребления, должно быть, еще лет двести назад. «Никак нельзя сказать о чем-то одном из многократной о жизни народа правде как о более важном, нежели любое другое», — поймав ухом такую фразу и честно пытаюсь вникнуть в ее смысл, Митник напрочь отключался. Едва же удавалось вновь сосредоточиться, тут же на него наваливалось что-нибудь еще более замысловатое, с вывертом построенное, что-нибудь вроде того, что «автономные свидетельства единятся все же фактичностью, благотворной на отсылочную истину “смотри, ведай и суди сам”», — и он снова терял нить. В конце концов, устав ворочать в сознании пудовые словосочетания, он начал задремывать и только силой воли заставлял себя не спать и слушать, — пусть хотя бы с пятого на десятое.

Пробродин читал что-то вроде этнографических зарисовок о деревенской жизни (вернее, о жизни слободской: он был родом из северо-прыжской пригородной слободы; впрочем, тогда и Прыж был не городом, а селом) более чем полувековой давности, времен его ранней-ранней юности: о молодежных посиделках, кулачных боях, престольных праздниках, ритуале проводов в армию и прочих отчасти трогательных, отчасти диких сельских обычаях, теперь, однако, навсегда канувших в историю. Сюжеты, конечно, колоритные, но тысячу раз уже описанные профессиональными этнографами — куда более обстоятельно и на более обширном материале. Пробродин, который всегда тщательно следил за литературой такого рода, выписывал и просматривал все новинки, не мог этого не знать. Что же за охота в тысячу первый раз жевать давно пережеванное?

Все, что было в этих очерках действительно оригинального, пробродинского, — так это совершенно не свойственная научным текстам возвышенно-восторженная интонация. О сельской жизни, по сути-то своей нищей, убогой, достойной сожаления, а в XX веке, может быть, даже и

постыдной для такой великой страны, как Россия, говорилось с высоким пафосом, и подавалась она чуть ли не как идеал бытового обустройства и нравственной чистоты. Хотя на самом-то деле речь иногда шла о совершеннейшей дикости. Даже в утомленном сознании Митника, например, ярко запечатлелся сентиментальный, можно сказать, любовный рассказ о том, как в избе, нанятой для посиделок, девушки, сидя по лавкам, по очереди склонялись головами на колени друг другу и вычесывали, выбирали друг у друга вшей из волос. Митник представил себе этих невест, и его передернуло от отвращения. «И ведь в гости так приглашали: “Приходи, чайку попьем, поищемся”, — смеясь, прочитал Пробродин и поверх очков победно посмотрел на слушателя. — Тебе интересно? Или ты спишь?» Митник открыл глаза и показал большой палец. «Терпи, — весело сказал Пробродин, — кроме тебя мне здесь некому читать и посоветоваться не с кем».

Некоторое время Митнику удавалось держать глаза открытыми, но слушал он все равно вполуха и, глядя на увлеченно читающего Пробродина, вдруг спокойно подумал, что, может быть, видятся они в последний раз, потому что Федор скоро умрет. Сколько ему еще отпущено — год, полтора? Вряд ли больше. Нет никаких сомнений, что он болен — и болен серьезно: его всегда загорелое энергичное лицо в последнее время сделалось болезненно желтым, одутловатым, щеки чуть отвисли. Что там — печень? Почки? И язык время от времени стал заплетаться, чего прежде никогда не бывало даже после хорошей выпивки. Правда, при теперешней встрече, когда Митник спросил его о самочувствии, он ответил бодро, как отвечал всегда прежде: «Что я, — дурак, чтобы болеть?» — и засмеялся своим особым залившимся, пробродинским смехом, высоко при этом вскидывая голову. Но Галя еще перед ужином, сдерживая слезы, успела потихоньку сказать Митнику, что Федор недавно ездил в Вологду на онкологическое обследование, и хотя результаты еще не известны, но ясно, что операция, которую он перенес прошлой осенью, проблем не решила. «Он сказал, что никуда больше не поедет, не хочет лечиться», — прошептала Галя...

Митник, полулежа на диване и снова прикрыв глаза, совсем перестал слушать и стал думать о скорой смерти Пробродина, который вот сидит за своим необъятным столом и по-прежнему громко, оживленно и напористо читает свои никому не нужные очерки. Если он не хочет лечиться, значит, понял, что обречен, и не хочет терять время. И уговаривать его бесполезно... Печально, конечно, расставаться с человеком, с которым полжизни дружен, но что поделаешь, все там будем. «Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье, долг свой давний вычитанию заплатит», — вспомнил он и, должно быть, тихо промычал в ритме стиха, потому что Пробродин на секунду остановился: «Ты что-то сказал?» Митник покачал головой: «Читай, читай, я слушаю. Все очень интересно. Не смотри, что у меня глаза закрыты, я все слышу».

Да ничего он не слышал и уже не слушал. Но и спать ему что-то расхотелось. Он думал о том, что сразу после смерти Пробродина здесь

все рухнет. Прежде всего потеряет смысл музей, нелепо поставленный за двадцать километров от ближайшей асфальтовой дороги: почти полвека назад Пробродин, приехав по окончании института работать учителем в родной Северопрыжский район, сам выбрал Старобукреево и потом, когда стал директором школы, когда построил музей, когда музей получил известность, упрямо не хотел куда-то уезжать. «Ну где еще такое бездонное небо? Где с высокого берега тебе откроется такой оком? — говорил он Митнику и, словно монолог произносил со сцены, широко обводил рукой воображаемый горизонт. — Выйди на крыльцо и грудью вдохни необъятный лесной простор. И влево, и вправо, и впереди, и дальше, дальше, сколько глаз видит, — всё необозримые лесные дали. На триста километров во все стороны лес и лес — сосновый, еловый, лиственный. Лес, светлые поляны, озера, речные луговины и снова лес. Это Россия... Святой Никодим-затворник, великий подвижник здешнего монастыря, говаривал, что лучше Старобукреева может быть только Царствие Божье. А я так и сомневаюсь, лучше ли? — и он высоко залиvisto смеялся. — Впрочем, я и не святой»...

Музей во глубине лесов только и держался личностью Пробродина: Пробродин коллекционер и строитель, Пробродин рассказчик и лектор, Пробродин экскурсовод, Пробродин научный эксперт. Люди и ехали-то сюда «на Пробродина», он сам и был главным музейным экспонатом. А без него какой смысл сюда забираться? Какой смысл содержать огромное бревенчатое здание, штат работников? Не ради же тридцатисорока ребятишек, оставшихся в здешней девятилетке (изначально музей затевался именно в помощь школе). Музейные коллекции, собранные Пробродиным, конечно, хороши, но их ведь можно и в Прыж перевезти, и даже в областной музей передать. И перевезут, и передадут...

Опустеет и совершенно потеряет смысл огромный пробродинский дом, с размахом построенный пятнадцать лет назад — и с гаражом, и со всеми деревенскими службами: баней, погребом, дровяным сараем, крытым двором, — и в то же время со всеми городскими удобствами и с этим вот необъятным кабинетом на втором этаже, в мансарде, «на голу-бятне» с широким видом из окна все на те же неоглядные лесные дали. В таком кабинете и академику не стыдно было бы всю жизнь работать. В начале девяностых, увлеченно занимаясь проектированием собственного дома и строительством (впрочем, он и всегда все делал увлеченно), Пробродин мечтал, иногда вслух, что когда-нибудь и его сын Иван, Ванюша, учительствовавший в Москве, поселится здесь с семьей, и ему останутся и дом, и музей, и все пробродинские коллекции, и сын, блестящий выпускник МГУ («красный диплом»), историк, займется научной работой, продолжит отцово дело...

Но, увы, Ивана похоронили десять лет назад. Он был алкоголиком, два-три раза в год сильно запивал и, в конце концов, в тяжелом запое глотнул какой-то дряни. Жена отвезла его в больницу, тут же в приемном покое повернулась и уехала, не стала даже узнавать, где и как его положат: в последнее время он запивал все чаще, и ей надоело с ним

возиться. Может, недостаточно любила. Или просто отчаялась... В больнице умирающего положили в коридоре, и сутки никто к нему не подходил: думали, пьяный, проспится. Или просто хотели, чтобы им заплатили... Когда же на следующее утро жена все-таки встревожилась и приехала, и уже платить готова была, ей сказали, что все кончено.

Федор нанял специальный автобус, съездил за телом, пятьсот километров сидел в автобусе и держал руку на гробе. «Знаешь, я под рукой чувствовал тепло», — сказал он Митнику, который, конечно же, и из Москвы их провожал, и следом приехал на похороны. Похоронили Ивана на северопрыжском кладбище, на центральной аллее, недалеко от входа, рядом с могилами пробродинских предков. Убитые горем Федор с Галей тогда, казалось, сделались меньше ростом и стали занимать меньше места в пространстве, и от этого дом их в Старобукрееве уже тогда же, во время поминок по Ванюше, стал выглядеть нелепо большим и бессмысленно пустынным... С тех пор Пробродин ничего больше не построил... Невестка вскоре уехала из Москвы к себе на родину в Вологду и там вышла замуж за милиционера-гаишника, с которым счастливо живет и до сих пор. Внук Жорик вырос мальчиком совершенно городским, после института стал успешным молодым предпринимателем и к деду с бабкой приезжал с женой и дочкой только летом, на рыбалку, — и то не дольше, чем на неделю...

Вот как, оказывается, бывает: лежишь на диване, смотришь на друга и размышляешь, как всё будет, когда он умрет. И понимаешь: быть тебе его душеприказчиком. И будешь ты продавать книги и альбомы, которые он так ценил, которым так радовался. И пять русских энциклопедий — вон те на полках — от «Брокгауза» до Большой Советской, синей, пятидесятитомной. (Господи, ну зачем ему пять энциклопедий? От тайной неуверенности в себе?) И папку с коллекцией уникальных староверческих рисованных лубков. А может быть, и сам этот дом... Так сказать, подведешь черту под жизнью великого человека.

А вообще-то хорошо бы ничего не продавать, оставить все как есть, и ему, Митнику, самому расположиться здесь навсегда. Занять место Пробродина. Оставить московскую жизнь со всей ее суетой — думской, общественной, семейной — и поселиться в Старобукрееве. Встать над необъятными лесными просторами — как на раскрытой ладони у Господа Бога. Рядом с древним монастырем. Рядом со святыми мощами Никодима Затворника, давно уже имеющего возможность со стороны сравнить здешние места с Царствием Божьим...

Митник выглядел моложе своих лет и не жаловался на здоровье, но все-таки ему вот-вот шестьдесят, и пора и о душе подумать. Пора жить размеренной жизнью, несуетно трудиться, листать пять энциклопедий, углубиться в писания святых отцов и мудрых философов, ходить на службу в монастырскую церковь... Не забывая, конечно, и о радостях обыденной жизни: завести бабу в Прыже — кого-нибудь из числа молодых преподавательниц здешнего культпросветучилища (теперь — Колледж народной культуры), которых в прежние времена он, тогда

видный комсомольский работник, бывало, потрахивал, приезжая и на месяц, и на два в эти края, чтобы работать над диссертацией. И позже, когда приезжал уже известным политиком, активным деятелем перестройки и избирался депутатом от здешних мест. За все годы у него тут были три или четыре восхитительные любовные истории — последовательно, по мере того как в училище менялся состав молодых преподавательниц. И сейчас кто-то же есть там...

Хорошо бы все-таки переселиться сюда. А что? Все возможно. Дети взрослые, с женой он практически давно уже врозь живет, у нее, кажется, какой-то прочный роман, и дай ей бог... Думской пенсии на здешнюю жизнь хватит... Конечно, в последние годы и провинциальная жизнь сделалась беспокойной. Шоссе, проходящее через Северный Прыж, расширили, и оно стало общенациональной трассой «Москва — Северо-Восток», в городишке понастроили мелких гостиниц, ресторанчиков и кафешек, — почему-то все с восточными названиями: «Оазис», «Лотос», «Гюльчатай». Появилось много мигрантов — узбеков, таджиков, азербайджанцев. Ну, и с ними, конечно, много новых проблем, о которых ему, депутату Митнику, заместителю председателя комитета по миграции, может быть, известно лучше других. Вот ведь и теперь он приехал в Прыж не пробродинские очерки слушать, а разбираться с очередным конфликтом: неделю назад местные бритоголовые устроили погром, ударом ножа была убита восьмилетняя девочка-узбечка и тяжело ранен ее четырнадцатилетний брат...

Нет, конечно, Старобукреево со своим древним монастырем, с пробродинским музеем, полным исторических реликвий, все-таки несколько в стороне от этих событий — и территориально, и, если угодно, духовно. Здесь пока, слава богу, тихо и спокойно. Можно недорого нанять кого-нибудь из деревенских женщин, чтобы обслуживала и его, и почти совсем уже обезножившую старую Галю. И сестра здесь вот в кабинете, за этот вот стол, накинуть на плечи пробродинский белый полушубок и начать, наконец, писать что-нибудь действительно дельное, основательное, а не обычные свои публицистические фитюльки... Например, начать исследование старинных шитых икон: все-таки он искусствовед по образованию и даже кандидат искусствоведения... Право, отличная идея...

С этими мыслями и под монотонное звучание пробродинского голоса Митник не заметил, как уснул. Проснулся он среди ночи. Свет в кабинете был погашен. Пробродин, уходя, укрыл его поверх пледа еще и тем самым белым полушубком. В полусне с благодарностью осознав все это, Митник повернулся лицом к спинке дивана и сладко уснул до утра. Проснулся он, когда уже было совсем светло. Федор его не дождался — уехал по делам не то в Кострому, не то в Вологду. Галя, ковыляя по кухне между столом, холодильником и газовой плитой, накормила гостя крутыми яйцами с салом, напоила кофе, и он уехал... Летом он так и не собрался сюда, а в конце сентября ему позвонил пробродинский приятель, директор районной типографии, и сообщил, что Федор Филимонович внезапно скончался утром того дня. Не от рака, которым был болен

в последнее время, а от сердечного приступа. Приехал по делам в Прыж, в типографию, вылез из машины, медленно стал подниматься на крыльцо и вдруг взялся рукой за грудь, опустился на ступеньку, тут же повалился на бок и умер...

2

Без малого шесть недель тому назад, 29 сентября, в день похорон Пробродина Митник приехал в Северный Прыж с небольшим опозданием. В храме Святой Живоначальной Троицы уже началось отпевание. Церковь была полна народа, и Митник не стал протискиваться вперед. Чуть приподнявшись на цыпочки, он сумел увидеть из-за спин, что отпевают, — надо понимать, в знак особых заслуг покойного перед людьми и перед Церковью, — сразу три священника. Двух из них Митник видел впервые и, вернувшись к свечному ящику (чуть подумал, какую свечку взять, и купил все-таки покрупнее и подороже, — чтобы люди видели), шепотом спросил у пожилой вежливой просвирни, кто служит. Оказалось, молодой высокий и худощавый в золотых очках — это отец Кирилл, игумен Свято-Никольского Старобукреева монастыря, другой же, чернявый и горбоносый, — отец Моисей, настоятель храма, недавно восстановленного и открытого в десяти километрах от райцентра в новобукреевском совхозном поселке.

Третьего священника, седобородого и лысого отца Дмитрия Бортко (он как раз обнажил голову, провозгласив «Вонмем!» и начав читать из Евангелия), здешнего, северопрыжского благочинного, Митник и сам знал давно и хорошо. Двадцать лет назад этот самый отец Дмитрий, в те времена почти что диссидент, у себя дома тайно крестил Митника, тогда еще работника ЦК комсомола, помощника первого секретаря: велел ему раздеться до трусов, встать ногами в небольшой эмалированный тазик и поливал на голову и на плечи из алюминиевой кружки. Кружка была старая, чуть мятая, ручка плотно оплетена тонким голубым проводом, и Митник подумал, что кружка, возможно, сохранилась еще с лагерных времен: Пробродин, который и договаривался о крестинах, и привез сюда Митника, рассказывал, что Бортко почти еще мальчишкой успел лет восемь отсидеть. Да и в новые времена, уже в восьмидесятых, его вполне могли посадить — за смелые проповеди, за излишне страстную полемику с советской атеистической пропагандой и за откровенные беседы с прихожанами. Своим свободомыслием он был известен далеко за пределами района: жадные до живого слова советские люди, особенно из числа недавно обращенных интеллигентов, бывало, приезжали к нему и из Москвы, и из Питера. Небольшое собрание его проповедей даже ходило в самиздате. Его регулярно вызывал к себе местный уполномоченный по делам религий и строго предупреждал, а однажды с подачи властей архиепископ его даже «запретил в священнослужении» (правда, всего на несколько месяцев). Может, в конце концов, и посадили бы, но тут начались горбачевские реформы...

Однако уже после падения коммунистической власти, где-то к середине девяностых, отец Дмитрий повел себя довольно странно: он вдруг воспылал любовью к коммунистам и в смутное ельцинское время в них одних увидел спасителей Богоносного Отечества (эти два слова произносились всегда с пафосом и нараспев). Более того, Пробродин как-то показал Митнику (сидели за ужином в Старобукрееве, выпивали, как обычно, под соленые рыжики и говорили о политике) районную газету со статьей протоиерея Дмитрия Бортко, где тот со свойственной ему страстью и энергией брал под защиту... Иосифа Сталина, которого в прежние времена даже в публичных проповедях иначе как палачом и душегубом не называл. Теперь его статья называлась «Он был истинно православный христианин». Пробродин от души хохотал, вскидывая голову. Митник же ничего забавного не нашел. Бортко раскопал где-то подписанный Сталиным документ конца тридцатых годов, смысл которого состоял в том, что, мол, хватит уже без суда и следствия хватать и уничтожать православных священнослужителей и верующих — только за то, что они остаются привержены христианству. Впредь указывалось: «НКВД произвести ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужительской деятельностью (так в оригинале или Бортко так переписал, трудно сказать). Освободить из-под стражи и заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда советской власти». Не реабилитировать, не извиниться, — если вреда-то не нанесли! — а «заменить наказание». То есть держать священников и верующих где-нибудь в глухой ссылке, под неусыпным надзором, а чуть что покажется не так — назад, на нары... Митник прочитал и вернул газету. «Язык, стиль и содержание, конечно, боже мой, какие, — сказал он. — Но вообще-то все нормально, батюшка вполне в струе: Сталина сейчас многие эксгумируют. Соскучились». — «Нет, ты обрати внимание на дату: ноябрь 39-го, — Пробродин теперь не смеялся и говорил сухо, жестко. — Уже и 37-й, и 38-й прошли. Уже миллионы перемолоты... И тут ободрившийся людоед отрыгнул и сказал: “Ну, пока хватит”. Да много ли их живых-то осталось? А наш батюшка весь в слезах умиления: “Сталин — благодарованный вождь России”. Еще чуть, и к лику святых причислит...»

Впрочем, к историко-политическим закидонам стареющего и, как могло показаться, выживающего из ума батюшки поначалу никто всерьез не относился. По крайней мере, он оставался духовником семьи Пробродиных. Младшие сестры Федора, близнецы Марья и Дарья, обе жившие в Костроме, тащили к нему своих детей и внуков за сто с лишним километров — крестить. Отец Дмитрий венчал, а потом и отпевал несчастного Ивана Пробродина. Венчал он и Леру-Щучку, когда та вышла за своего сокурсника по Костромскому университету, сына местного феэсбэшного начальника (вскоре с благословения мужнина папочки молодые уехали в Питер). В свое время по просьбе Пробродина именно отец Дмитрий (а не монастырские священники) освятил в Старобукрееве и му-

зей, и пробродинский новый дом. «Бортко, какой бы ни был, а все-таки наш, — объяснил Пробродин. — Он — личность, индивидуальность, хоть и сильно шероховатая: не погладишь, ладонь занозишь. А эти новые монастырские — вовсе чужие, я пока их плохо знаю».

Сам батюшка в своих проповедях называл Федора Пробродина «Истинным Патриотом», «солью Земли Русской», «гордостью Богоносного Отечества» и тому подобными лестными именами. «Почти как Сталина», — заметил Митник, но Федор только молча пожал плечами: мол, не следует обращать внимания на глупости...

Впрочем, в последнее время отец Дмитрий вспоминал о Пробродине все реже и лишь мельком, к слову. Теперь он больше был занят политикой в самом общем смысле слова или, как он сам говорил, «ежедневной работой по спасению Отечества». Уже лет пять как его проповеди не только произносились с амвона, но и регулярно печатались в местной газете — так распорядился глава районной администрации, его духовное чадо. И в городе, и в селах их читали и обсуждали, причем особой популярностью пользовались пассажи о фактически состоявшейся оккупации Отечества либералами антирусской, прозападной ориентации и просто «нерусскими элементами». Этот словесный посев дал свои всходы: теперь отца Дмитрия в районе знали все, и он сделался непрекращаемым идейным вождем. «Батюшка говорит, что...» — если просто «батюшка», значит, отец Дмитрий Бортко.

Авторитет его был настолько высок, что ему, кажется, совсем без особых усилий удалось организовать в Северном Прыже (опять-таки с одобрения главы администрации) районную ДСО — Дружину Спасения Отечества (а не «Добровольное спортивное общество», как эта аббревиатура расшифровывалась в прежние времена). В Дружину он привлек пять-шесть «афганцев» и ветеранов Чечни, с полсотни молодых парней призывного возраста и теперь собирал их два или три раза в неделю. И не только беседовал, но и проводил с ними что-то вроде «курса молодого бойца».

Интересы Отечества понимались отцом Дмитрием не только как некая общая, историческая, государственная категория, применимая к оценке столичных политиков (в основном «врагов России»), но и как критерий для оценки повседневного поведения окормляемых им духовных чад. И даже шире — для оценки поведения вообще всех жителей Северного Прыжа и района, пусть они и в церкви у него не бывали. Например, когда младший брат Федора Алексей Пробродин продал каким-то приезжим узбекам или таджикам старый, уже разваливающийся родительский дом на окраине Прыжа, батюшка произнес гневную проповедь о детях неблагодарных и корыстных, готовых вынести на торжище и продать чужеземцам и Отчий Кров, и саму Святую Землю Российскую. Трудно сказать, как это было акцентировано в проповеди, но в газете опорные слова опять-таки были напечатаны с заглавной буквы. «Вот так вот Россия плавно и войдет в катастрофические Времена Заглавных Букв», — сказал Митник. (В то время шла избирательная кампа-

ния, он неделю жил в Прыже и, конечно, заехал в Старобукреево.) Но Пробродин не только не оценил удачное «словцо», но, кажется, даже и вообще не понял, о чем речь, — не до того ему было: поступок брата Алексея его-то задевал как раз напрямую.

Известием о продаже слободского дома Пробродин был совершенно убит. И говорил об этом как-то сдавленно, словно ему горло перехватило: «Нет, Митник, ты — умный, тебя вон народ выбирает, ты мне скажи, как это можно: продать родительский кров? Это что — в духе времени, что ли?» «При чем тут “дух времени”? — возмущался Митник. Он никогда не поддерживал пробродинских рассуждений о «нравственном безвременье». — Братья Авель и Каин жили совсем в другую эпоху, а там история была куда как покруче твоей».

Братья — Федор и Алексей — всегда были близко дружны, младший тянулся за старшим, пошел за ним в тот же пединститут, приехал вслед за ним в Старобукреево, вместе работали учителями (Федор — историком и директором школы, Алексей преподавал биологию и географию), вместе музей создавали и строили... Кто мог подумать, что Алешка, Лёха — открытый, компанейский мужик, охотник и рыбак, способен на такое? В сознании Федора это было, как если бы кто выставил на торги родительские могилы, — последняя степень падения. И ведь втихую, тайно, подло — не то что не посоветовался, а даже и не сообщил — ни брату, ни сестрам.

Впрочем, если посмотреть спокойно, история была совсем не так трагична. Лет семь-восемь назад учителя биологии Алексея Пробродина двинули на повышение: назначили директором школы в Слободе, на окраине Северного Прыжа, — и они с женой уехали из Старобукреева. Квартиру в Прыже им, однако, не предоставили, и они своими руками кое-как привели в порядок давно пустовавший и разрушавшийся родительский дом: Алексей три летних месяца вкалывал и плотником, и каменщиком, и кровельщиком — кое-как подлатал избу, и несколько лет они с женой прожили в ней, пока, выйдя на пенсию, не переехали в Питер к дочери. Тогда-то, привыкнув, видимо, считать себя единоличным домовладельцем (все-таки спас практически заброшенный дом от полного разрушения), Алексей вернулся на несколько дней в Прыж — и договорился с узбеками...

Федор только через полгода или даже позже с изумлением узнал, что «родовое гнездо», дом, где прожили жизнь и умерли отец с матерью, где прошло детство и ранняя юность, где в праздники сладко пахло пирогами с капустой и медовой коврижкой, где они с братом и сестрами-близняшками, зимой набегавшись на улице, вповалку отогревались на теплой печи и сверху смотрели, как отец, придя с работы, моет руки под умывальником в углу, а мать нарезает буханку хлеба и ставит на стол чугунок с горячими щами, — вот этот дом принадлежит теперь чужим людям. Сначала он хотел через суд предъявить права — свои и сестер (а доля всех детей в имуществе покойных родителей само собой подразумевалась), но все-таки не стал, не захотел публичного скандала, — тем более

что дом к тому времени уже разобрали и сожгли на задах участка, и на его месте зиял глубокий котлован под строительство трехэтажного кирпичного особняка с предприятием общепита на первом этаже — рестораном восточной кухни «Гюльчатай».

В суд Пробродин не подал, однако и простить — не простил. Строго велел сестрам, чтобы передали Алексею, что отныне не желает ни видеть, ни слышать, ни знать — ни его, ни его семью. И чтобы когда он, Федор, умрет, никто из них даже близко к его могиле не подходил. О могиле это он, конечно, в сердцах загнул: в то время он был еще совершенно здоров и о смерти думать не думал... Впрочем, Марья и Дарья, для которых Федор всегда был непререкаемым авторитетом, выслушали его молча и сочувственно — увидели, насколько глубоко оскорблен человек.

Митник, конечно, не вылезал со своим мнением — все-таки дело сугубо семейное, — но в глубине души полагал, что вся эта история с продажей дома яйца выеденного не стоит. Он отлично знал эту полусгнившую избу, это «родительское гнездо». Единственно, о чем можно бы жалеть, — живописный сад на высоком берегу Прыжки: старые яблони (замечательная крупная антоновка, сладкая папировка), густой малинник вдоль правого забора (впрочем, к моменту продажи дома этот забор уже рухнул), смородина возле левого (тоже, казалось, вот-вот рухнет). Сам же дом — развалюха из развалюх. Пожалуй, даже хорошо, что на него покупатель нашелся... В течение двух лет, еще до того, как Алексей с женой поселились в Слободе, Митник, приезжая в Прыж, бывало жил в пустовавшем доме — и по два-три дня, и по неделе. И к нему приходила и оставалась ночевать его тогдашняя подруга, славненькая, рыженькая, густо обсыпанная веснушками девушка, которую никто, даже и учащиеся из местного Колледжа культуры, где она преподавала сольфеджио, не звал иначе, как Мисюсь.

Митник любил вспоминать сентиментальную повесть тех своих осенних приездов. («Где ты, Мисюсь?» Девуля вскоре затосковала в Прыже и уехала куда-то в неизвестном направлении.) Пустовавший дом каждый раз встречал его застоявшимся запахом сырости и затхлости, и надо было в любую погоду настежь распахнуть дверь и окна, принести воду из колодца, смести со стола и двух лавок и вымести в сени насыпавшуюся с потолка и со стен древесную труху. Обрывки выцветших серых обоев, объединенные мышами, он сорвал сразу, еще в свой первый приезд, и тогда же найденными в сенях полуистлевшими тряпками, в основном почем-то трикотажными голубыми майками, заткнул щели в бревенчатых стенах. В конце концов, влажной мешковиной он два раза начисто протирал пол, наливал воду в умывальник, приносил из сарая старые, сухо звенящие березовые дрова, складывал их в печи колодцем, открывал заслонку и поджигал бересту. Затопив печь, он садился за стол с книгой — читать, ждать подругу и поглядывать на огонь. Но читать он не мог: стихия огня завораживала, глаз не оторвать. Печь была хороша, прямо хоть в пробродинский музей переноси: огромная, с большим, сложно устроенным челом, с широким устьем, с полным набором ухватов и ко-

черег... Поскольку кроватей в доме не было, то на этой печи, на двух спальных мешках, которые Митник всегда возил с собой, они с подружкой и устраивались на ночь...

К любовным похождениям Митника (о них знал весь район) Федор относился насмешливо-снисходительно. Сам он за сорок с лишним лет супружеской жизни вряд ли хотя бы раз изменил своей Гале. Впрочем... Давно, еще в семидесятые, Митник как-то летом привез в Старобукреево двух отличных телок, молодых редакторш с телевидения. Считалось, что компания приехала познакомиться с музеем на предмет подготовки передачи, ну и отдохнуть, сходить на рыбалку, сварить ушицу на костре, переночевать в стогу. Остановились у Федора, тогда еще в старой, тесной крестьянской избе, где Пробродины прожили лет двадцать, пока не переехали в свой новый дом. Галя была где-то на юге, в санатории по путевке, сын Иван, тогда подросток, гостил у теток в Костроме... Ну, конечно, с дорожного устатку хорошо выпили, и Митник, решив, наконец, которая из телок ему больше подходит (вопрос, занимавший его от самой Москвы), погрузил ее в машину, и они уехали в заречные луга, где и заночевали в большом стогу. Он знал, что и вторая подруга тоже не прочь потрахаться и отлично умеет это делать, и полагал, что, оставляя ее Пробродину, поступает вполне по-товаришески... Но когда утром они вернулись, телка мирно спала в одиночестве на раскладушке. Пробродина вообще не было дома: на столе была записка, что, мол, получил телеграмму от Гали и ночью срочно уехал на мотоцикле в Прыж, на поезд, и далее — в Сочи, в санаторий. Гостям он желает весело провести время... Словом, сбежал. От соблазна? Однако, когда подругу разбудили и призвали к ответу, она, сладко потягиваясь, сказала, что хозяин был готов и даже делал неуклюжие попытки к ней подкатиться, но она будто бы не дала. «Он слишком мужик. От него прямо разит мужиком», — сказала она, впрочем, не только без неприязни, но как-то мечтательно-задумчиво, с отрешенной улыбкой, словно вспоминала что-то, — и какие уж там картины возникали в ее памяти, трудно сказать. Может, Пробродин и убежал-то, ужаснувшись содеянному, — кто знает?.. Митник никогда больше не заговаривал с ним о том веселом набеге...

Федор, конечно, любил Галю, и с интимной жизнью у них было все в порядке. Митник не раз, ночуя на раскладушке в крошечном кабинете в том старом крестьянском домишке, слышал, как за тонкой дощатой перегородкой, может быть, всего в полуметре от него, ритмично чуть поскрипывает кровать и Галя постанывает под мужем, и тот в том же ритме удовлетворенно, все быстрее, быстрее, быстрее прищептывает: «Вот так, вот так, вот так», — и, наконец, с тихим стоном замирает. И знали ведь, что рядом за тонкой перегородочкой лежит гость и, возможно, не спит и все слышит. Да и сын-подросток в одной комнатенке с ними спал. Ничего, — видать, очень им хотелось, и они справедливо полагали, что все естественное не стыдно. А кто чего слышит, тому вовсе не обязательно слушать... Не это ли простодушно-безудержное желание име-

ла в виду московская телка, когда говорила, что от Пробродина «разит мужиком»? Митник, у которого взаимоотношения с собственной женой в Москве были совсем не так просты и естественны, честно говоря, прислушиваясь в ночи, завидовал другу...

Однако в жизни Пробродина, при всей его любви к Гале, семейные радости всегда были на втором плане. Может быть, поэтому они и ограничились одним ребенком. «С детьми нянчиться некогда. Мы разок попробовали: пеленки и горшки сильно мешают наукой заниматься», — хотя Федор всегда говорил это как бы не всерьез, словно пародировал какую-то советскую кинокомедию, Митник был совершенно уверен, что он именно так и думает. Да и Галя, слушая эти его веселые оправдания, хоть и кивала согласно, но всегда с глубоким печальным вздохом. Она, может, и хотела бы еще детей, но мужу никогда не перечила. Да Федор и не потерпел бы не только возражений, но даже и сомнений по поводу того, как и зачем организована его жизнь. «Мое дело — наука, строительство, сохранение остатков того, что было разрушено, растащено, растоптано в России за последние сто лет, — это Пробродин говорил не раз и всегда серьезно, без улыбки. — А Галя — мои крепкие тылы. Я только потому и могу продвигаться в своем деле, что знаю: когда бы я ни пришел домой, в доме будет чисто, тепло, у меня будет, что поесть, и я смогу сесть за свой письменный стол и заняться наукой. Без Гали я бы ничего в жизни не добился».

Митнику эти речи всегда казались излишне пафосными, ходульными. Ну и, в конце концов, чего же ты добился, друг мой Пробродин? Вот теперь она осталась одна — и без тебя, и без сына, — этого-то ты точно добился...

Хор в церкви у отца Дмитрия был замечательно хорош: юные, чистые, радостные голоса девушек все из того же Колледжа культуры стремились высоко вверх: «Придите, последнее целование дадим, братие, умершему...» Огонек на свечку Митник притеплил от какой-то пожилой женщины, которая, как и он, стояла позади всех, ближе к выходу (свечка у нее была тоненькая, должно быть, самая дешевая, трехрублевая). «Я вас знаю, — тихо сказала женщина, — вы друг Федора Филимоновича». Открытое, какое-то светлое, хоть и печальное лицо женщины показалось знакомо Митнику: должно быть, кто-то из здешних учителей. «Да, да», — сказал он и, поблагодарив, отошел в сторону: вступить в разговор ему сейчас никак не хотелось.

Он решил, что вперед, поближе к гробу, пробираться не станет. Вообще хотелось отойти куда-нибудь в сторонку, в угол, в тень. Никакого умиротворения, какое он обычно ощущал под куполом любого храма, здесь не было. Он уже успел понять, что половина траурной толпы, заполнившей церковь, — люди батюшки, отца Дмитрия Бортко, парни из его ДСО и их взрослые инструкторы. Было ужасно, что его друга Федора Пробродина, всегда ненавидевшего любое насилие, провожает именно эта публика. С какой стати они присвоили себе такое право? Митник

был уверен, что кто-то из этой вот бритоголовой братвы, сейчас усердно крестящей лбы, прошлой зимой хладнокровно зарезал восьмилетнюю узбекскую девочку Гюльчатай (пять ударов ножом, из них три — смертельные). Убийство произошло днем, в ранних зимних сумерках: девочка и ее четырнадцатилетний брат шли от родственников, таких же, как они, беженцев из Узбекистана, живших на соседней улице. Брат, слава богу, остался жив, хотя тоже был серьезно ранен. Убийцы скрылись на автомобиле. А через день ночью был разгромлен уже готовый к открытию ресторан... Найти преступников по горячим следам не удалось — и до сих пор не нашли, хотя по его, депутата Митника, настоянию расследование взяла под свой контроль Генеральная прокуратура...

Когда отпевание закончилось, Митник так и остался стоять в углу незамеченным, и вышел из церкви уже после всех и чуть помедлил на паперти, подождал, пока организуется и тронется процессия. Он решил, что поедет позади всех на машине и объявится уже на кладбище. От церкви до кладбища надо было пройти чуть ли не через весь городишко (тоже подлые советские глупости: деревянную кладбищенскую церковку когда-то разломали и сожгли одной из первых), и Митник подумал, что ему лучше не уставать: все-таки в тот же день предстоял тяжелый обратный путь до Москвы.

По немощеной, пыльной боковой улочке похоронная процессия растянулась метров на сто. Впереди на грузовике с откинутыми бортами везли открытый гроб и пять-шесть венков. За грузовиком шли учителя и учащиеся старших классов северопрыжской школы-интерната. Хотя они и не имели к Пробродину прямого отношения, районные власти распорядились снять старшеклассников с уроков и бросить на мероприятие: все-таки хоронили известного человека, имевшего звание Заслуженного учителя России (спасибо, не приказали из Старобукреева за тридцать километров детей тащить). Следом на новенькой, блестящей черным блеском «Волге», выделенной районной администрацией, везли Галю, пробродинских сестер и на переднем сидении — старобукреевского игумена, державшего на коленях свой высокий монашеский клобук. Далее шла общая толпа, которую возглавляли шесть-семь руководящих районных чиновников. Может, они и расселись бы по своим машинам, но, видимо, было неловко: пешком шел сам батюшка, отец Дмитрий Бортко со своей дружиной, — а уж он-то был постарше любого из чиновников... В толпе шли и родственники, и друзья. Даже едучи сзади, Митник угадал со спины длинную фигуру внука Жорика. Но Алексея Пробродина или кого-то из его детей на похоронах видно не было...

На кладбище Митник первым делом подошел к Гале, обнял ее и прижал к груди. Ноги ее не держали, и он помог ей опуститься на скамеечку, несколько лет назад поставленную Федором напротив Ванюшиной могилы. А теперь вот и его, Федора, могила была выкопана здесь же... Кто-то из родственниц или знакомых сел рядом с Галей, чтобы, обняв, держать ее, не дать упасть, — кажется, та пожилая учительница, от которой Митник зажег свечку в церкви...

На гражданской панихиде Митнику как самому высокопоставленному из друзей покойного дали слово первому. Он сказал что-то высокопарное (что-то о том, что такие великие личности, как Пробродин, — народное достояние России) и был недоволен собой. После него говорили еще человек пять или шесть, но он слушал плохо, потому что ему уже надо было ехать, а люди говорили долго и, как ему казалось, бес толково. Наконец, панихида закончилась, и все выстроились в очередь к гробу — прощаться. И опять Митник был среди первых: он чуть постоял перед гробом (в гробу лежал уже совсем чужой Федор: черты лица его оплыли и сделались совершенно неузнаваемы) и, склонившись, прикоснулся губами — не к восковому лбу трупа, а к лежавшему на лбу бумажному венчику...

Как только гроб опустили в могилу, Митник среди первых бросил свою горсть земли, быстро попрощался с районным начальством, подошел к Гале, чтобы сказать, что придет на сорок дней, — и уехал.

3

Так вот сразу, на скидку, Митник, конечно, не помнил всех книг на полках у Пробродина. В разговоре с букинистом, номер которого он набрал еще раз вечером накануне отъезда, условились, что, уже приехав на место, Митник позвонит непосредственно из пробродинского кабинета и конкретно назовет, что там есть интересного. Тогда и будет ясно, стоит ли букинисту ехать за тридевять земель или речь идет о десятке-двух наименований, и Митник сам может легко привезти все в багажнике или на заднем сиденье своей «тойоты».

Он заранее решил, что себе возьмет только «Брокгауза» (то есть, что значит, «возьмет», — купит, конечно, у Гали по цене, которую назовет букинист). И не себе домой возьмет, а в подарок Гудинскому, который во время последней избирательной кампании здорово помог Митнику и деньгами, и организационно («Северо-Восток» Гудинского был самым влиятельным банком в здешнем избирательном округе, и без этой поддержки Митник вряд ли выиграл бы). Гудинский же как раз недавно купил особняк в подмосковном Переделкине — неподалеку от музея Пастернака, что для него, интеллектуала, было важно, и он это с удовольствием подчеркивал: «Теперь, — говорил он, — я читаю переделкинский цикл, словно сам его написал: всё у меня перед окнами. Как там? “И полдень с берега крутого закинул облако в пруды, как переметы рыболова”... Пожалуйста, вот они пруды, вот оно облако»... Что ж, благородные, золотом тесненные корешки «Брокгауза», пожалуй, удачно впишутся в строгий интерьер его кабинета (хотя, надо признаться, кроме эстетического в них никакого смысла нет: весь «Брокгауз» давно висит в Интернете).

Словом, Митник теперь ехал на сороковины с одной определенной целью: разобраться с книгами и прочим раритетом и выяснить, как со всем этим помочь Гале. Причем времени у него было в обрез: уже завтра

к вечеру он должен вернуться в Москву (на Первом канале запись программы Познера «Времена»), — и совершенно нельзя было понять, что, когда и как он успеет. Сколько времени продлится застолье (будет, поди, человек двадцать, и все, конечно, с долгими-долгими речами, — и ведь никого не прервешь)? Книги книгами, но кто, когда и как должен распорядиться рукописями, и не придется ли все-таки ему заняться и этим? Да и вообще, в каком состоянии сама Галя?..

Он выехал из Москвы еще затемно и подъехал к Старобукрееву в полдень. День был не по-ноябрьски теплый, и яркое солнце сияло в семи больших и малых куполах монастырских белоснежных церквей. Митник, не считая, знал, что куполов именно семь. Это число упоминалось еще в тщательно разработанном проекте восстановления полуразрушенного монастыря — «уникального памятника архитектуры XVII века». Финансирование проекта Пробродин лет пять упорно пробивал в советских инстанциях. И пробил, — к слову, не без помощи Митника, который организовал важные публикации о делах сельского энтузиаста Пробродина и его замыслах — и в «Правде», и в «Известиях». Тогда, в середине семидесятых, такие публикации в центральных газетах (большие корреспонденции, в полполосы каждая) были равноценны спущенной вниз директиве ЦК партии.

В монастыре с конца двадцатых размещалась центральная усадьба совхоза: в игуменском флигеле — контора, в Никольском храме — зернохранилище, в Казанской церкви — механические мастерские. Под стенами с внешней стороны — скотный двор. И, чтобы освободить монастырь, надо было для всех этих совхозных служб заново отстроить помещения где-то в другом месте. Директор совхоза и районное начальство были не против, но дело казалось если и не глухо безнадежным, то уж точно — бесконечным. «Ничего, — смеялся Пробродин, — мне, как тому евангельскому старцу, не дано умереть, не увидев семь крестов на семи куполах». Что ж, угадал: увидел...

На лужайке перед большим пробродинским домом пожилой шофер, много лет работавший в школе и в музее (как его зовут, Митник забыл, а может быть, никогда и не знал), копался в моторе старого «уазика», изрядно походившего по здешним дорогам, раздрызганного и ржавого. Мизансцена на лужайке с шофером и «уазиком» была настолько хорошо знакома, что Митник, словно со стороны глядя, каким-то особым зрением увидел, как из дома выходит сам Пробродин, как шофер хлопывает капот машины и они куда-то уезжают... Он даже головой потряс, чтобы сбросить наваждение.

Оказалось, что ни Гали, ни родственников нет на месте. Все еще с утра уехали в Прыж на кладбище, где игумен Кирилл должен отслужить панихиду на могиле, — и пока не вернулись. «На четырех машинах поехали», — уважительно сказал шофер.

В доме пахло жареными котлетами. Четыре или пять сотрудниц музея, переговариваясь вполголоса, готовили на кухне поминальные блюда и уже начали носить тарелки в зал (самая большая комната в доме —

метров двадцать квадратных) и накрывать на стол. Митник из коридора громко поздоровался со всеми вообще (он и не разглядывал особенно, кто там есть кто) и сказал, что поднимется наверх, в кабинет Федора Филимоновича, и чтобы ему дали знать, когда вернется Галина Васильевна. Ему никто не ответил, но он знал, что его услышали.

В просторном залитом солнцем кабинете все, видимо, осталось так, как было тем утром, когда Федор Пробродин, собравшись ехать в Прыж, в последний раз спустился вниз — и больше сюда уже не вернулся. На диване была не прибрана постель: мягая простыня, подушка, сохранившая отгиск головы, откинутое одеяло. На широком письменном столе — раскрытая книга. («На разохшейся скамейке — Старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса», — сам себе продекламировал Митник.) Исписанные листки бумаги разложены в порядке, понятном только самому хозяину. Листок посредине стола был до половины заполнен черным бисером пробродинского почерка, и рядом лежала перьевая авторучка.

Всю жизнь Пробродин писал только черными чернилами, только перьевой ручкой и только на листках писчей бумаги в клеточку. В какое-то время он начал было учиться работать на компьютере (Митник долго уговаривал — и уговорил), но через неделю бросил, сказал, что на мудреную игрушку нет времени... И вот теперь эти листки в клеточку, этот пузырек с черными чернилами (судя по этикетке, запасы еще с советских времен), перьевая авторучка — все это как штрихи к портрету русского сельского интеллигента прошлого века... Митник сел за стол, взял в руки недописанный листок: Пробродин до последнего продолжал работать над своими этнографическими очерками — над теми самыми, неудобоваримыми, которые прошлой зимой он, сидя вот здесь вот, читал Митнику, лежавшему вон там на диване и мучительно боровшемуся со сном. Кстати, вот и белый полушубок висит на своем месте возле двери...

Ладно, на лирику времени нет. Положив листок на место, Митник повернулся к книжным полкам, взял первую попавшуюся книгу (томик энциклопедического словаря «Гранат» — в отличном состоянии), раскрыл... и невольно присвистнул: привет букинисту! На титульном листе стоял четкий лиловый штамп: «Собственность Старобукреевского музея народного творчества», — и инвентарный номер. Митник резко отодвинул кресло, встал и вытянул другую книгу — первый том из антикварного шеститомного «Словаря Академии Российской» — и точно: снова штамп и инвентарный номер... Зачем же он приехал? Он взял первый том «Брокгауза». Нет, слава богу, здесь штампа не было. И еще, наугад: на двадцатом — нет штампа, на тридцать втором — нет, на семьдесят пятом — тоже нет... И на первом из четырех — дополнительных — тоже чисто. Ну, хоть что-то. Но на всех других ценных книгах — на энциклопедиях, на томах «Географического словаря Российской Империи» Семенова-Тян-Шанского, на подшивках «Русской старины», даже на небольшой книжечке «О лубочных картинках русского народа», из-

данной в 1844 году (Митник привез ее Пробродину в подарок на шестидесятилетие: случайно купил в букинистическом на Кузнецком мосту), — на всех, всех книгах — библиотечные штампы.

Но книги — ладно, книги вообще-то тут не самое ценное. Самую ценную реликвию, большую завязанную красными тесемочками коричневую папку с коллекцией староверческих лубков (староверческий лубок — гениальный примитив, изумительной красоты рисунки на иконописные сюжеты) Пробродин хранил в небольшом застекленном книжном шкафу. Шкаф обычно был закрыт на ключ, и ключ Пробродин носил с собой на общей связке. Но теперь ключ торчал в двери: видимо, кто-то недавно уже заглядывал сюда. Внук Жорик успел? Или Лера уже приехала? Впрочем, папка была на месте... Увы, и на ней картонная бирка с инвентарным номером. На самих картинках печатей, конечно, не было, но здесь же в папке была подробная опись всех двадцати восьми листов, аккуратно пронумерованных, должно быть, еще лет сто назад самим собирателем коллекции: чернила сделались совсем блеклыми. Опись была заактирована и заверена печатью и подписью Пробродина и кого-то еще из сотрудников...

Ну вот, и приехали. Всё. Бедная Галя. Все принадлежавшие ему книги Пробродин давно оформил как собственность музея. И картинки — тоже. Хотя вот эта вот старообрядческая коллекция была подарена ему лично, а не музею: одинокий старик-священник откуда-то с севера Вологодской области лет пятнадцать назад письмом пригласил его приехать (Федор показывал Митнику письмо, написанное неуверенным почерком — старым и, должно быть, полуслепым человеком) и специально оговорил условие: коллекцию, собранную кем-то из его предков, тоже священником, и сохраненную во все безбожные советские времена (в какое-то время она даже была замурована в кирпичную стену в подвале — вместе с церковными антиминсами), передает лично Федору Пробродину, выдающемуся ученому, знатоку, чьи статьи об искусстве старообрядцев прочитал в «Историческом журнале» с огромным удовольствием. «За все советские времена впервые об этом предмете говорит умный и честный человек», — написал старик и еще раз подчеркнул: только Пробродину лично, а не безбожному государству готов он отдать коллекцию... Конечно, Пробродин, передав в музей и книги, и старообрядческие картинки, поступил благородно, красиво и, может, даже разумно: расширялась библиотека, увеличивалось количество и повышалась ценность единиц хранения, поднимался статус музея, — наверное, так бы Федор и сам объяснил. Все хорошо, прекрасная маркиза... но Галя-то теперь на что жить будет?.. Митник аккуратным бантиком завязал красные тесемки, поставил папку на место и закрыл шкаф.

«Приехали! Приехали!» — громко сказал кто-то, видимо, поднявшись на половину лестницы к кабинету, чтобы Митник услышал... Он вышел на лестницу и увидел, что внизу прихожая тесно набита народом. Над всеми возвышались черный клобук игумена Кирилла и черные кудри внука Жорика. Люди теснились в нерешительности: в зале был

уже накрыт стол, но никто, видимо, не знал, кто должен проходить первым. Митник спустился вниз, извиняясь, протиснулся к Гале, стоявшей возле игумена, и молча обнял ее. Она прижалась лицом к его груди и заплакала... Наконец, игумен Кирилл прошел в зал и сразу обратился в красный угол: «Отче наш, иже еси на небесех». И все из прихожей потянулись вслед за ним и, крестясь, встали от него по обе стороны.

Митник был ужасно голоден: он как выехал утром из Москвы, так только чашку кофе выпил на какой-то заправке. Теперь же от густого запаха котлет можно было упасть в обморок. Но все-таки и он два или три раза склонил голову и перекрестился: не стоять же истуканом, тупо ожидая, когда позовут за стол...

Вообще-то все эти особые церковные почести, оказанные Пробродину после смерти (три священника на похоронах, сам игумен на поминках), казались Митнику несколько не по адресу. Пробродин, пожалуй, удивился бы. Да вовсе не был он таким уж истово верующим. Он, кажется, и в церкви-то совсем не бывал... ну, уж, по крайней мере, редко, от случая к случаю, — и даже на Пасху они с Митником (а Митник прежде часто приезжал сюда на всякие праздники), бывало, хорошо выпивали дома — и под те же рыжики, и под жареных карасей, и под зайчатинку, принесенную братом Алексеем или самим Митником с охоты, — но даже и мысли у них ни разу не возникло поехать в церковь. Тем более, что ближайшая была тогда только в Прыже.

Никто не может спорить: да, именно Пробродин спас от полного разрушения и восстановил красавец-монастырь. Но когда в семидесятых он с помощью Митника искал деньги, чтобы выселить совхоз и начать восстановительные работы, ему только в страшном сне могло присниться, что тут снова поселятся монахи. Он восстанавливал памятник культурной и духовной истории и совершенно определенно имел в виду разместить в монастыре свой музей. Более того, в 91 году он говорил Митнику, что будет протестовать против передачи монастыря Церкви. «Это ведь и церковники вместе со всей этой царской хеврой довели страну до катастрофы семнадцатого года, — говорил он. — Они сами вырвали Россию из рук. И что ж, теперь вернуть им всё на блюдечке с голубой каемочкой? Да они же снова всё и погубят». Смешно сказать, но именно Митник, тогда уже вовлеченный в активную политику и понимавший суть происходящего, категорически посоветовал ему не возникать по этому поводу: во-первых, бесполезно, а во-вторых, впредь ему жить здесь рядом с монахами, и лучше не начинать с конфликта.

И все-таки конфликта избежать не удалось. Едва монастырь был передан Церкви, как первый же настоятель распорядился пробить новый проход в стене, чтобы паломникам, минуя заболоченный лужок, удобнее было заходить на территорию от автобусной остановки. Ни до, ни после Митник не видел Пробродина таким взбешенным: «Четыреста лет до него простояли стены, даже большевики не смогли сломать, — и вот пришел варвар в рясе!» И все-таки проход был пробит, — и никакие пробродинские протесты не помогли. Слава богу, тот первый на-

стоятель прослужил здесь всего пару лет (может, его и убрали-то по письмам Пробродина), а последующие вроде понимали, что значит памятник архитектуры XVII века...

Да, именно Пробродин в свое время потащил крестить Митника. Но все это было как-то не вполне всерьез, по пути, на междуделках, без какой бы то ни было специальной подготовки... В тот день они ездили на мотоцикле километров за сто в какую-то полуразрушенную и загаженную церковь, где над несуществовавшими уже царскими воротами, под полуразрушенным куполом чудом сохранилось большое, почти в человеческий рост деревянное распятие — не резной барельеф, а именно трехмерная деревянная крашеная скульптура — Христос на кресте. Они поехали сначала только посмотреть, убедиться, что есть такая скульптура, но, увидев ее, уехать с пустыми руками уже не могли, и, рискуя сорваться сверху и разбиться или, по крайней мере, уронить и разбить распятие, они его все же сняли. Но дальше-то что? Оставить распятие у кого-нибудь из местных и потом приехать на машине — это было не в характере Пробродина: «Потом приедешь и ничего не найдешь. Или скажут, мол, какие у вас документы, чтобы из нашей церкви забирать? Если бы пацаны камнями расколотили, — вон какой-то ворошиловский стрелок уже успел нос отбить, — это ничего, это так надо. А тут чужие приехали...»

Словом, решили ремнями и веревками привязать распятие Митнику на спину. Так и ехали часа два до Прыжа: Федор в шлеме и в мотоциклетных очках вел мотоцикл, за ним, тоже в шлеме и в очках, сидел веселый Митник, а на спине у него — большой крест, а по другую сторону креста — распятый Христос в терновом венце и с поникшей головой. Картина эта, видимо, нравилась обгонявшим их дальнобойщикам, и они приветственно сигналили... Когда же добрались до Прыжа, Пробродин, несмотря на то, что уже стемнело, сразу зарулил к дому отца Дмитрия. «Смотри, — сказал он Митнику, устало слезая с мотоцикла, — ты уже повторил путь киринеянина Симона, который нес крест на Голгофу, — и более того, на твоём кресте уже и Христос был распят, — и пора тебе, дитя мое, и самому, как минимум, быть если и не распяту, то хотя бы крещену». И совершенно нельзя было понять, всерьез он или шутит. Впрочем, Митник прежде того и сам заговаривал, что ему надо креститься: в Москве уже многие его знакомые крестились, тогда это было что-то вроде тайного согласия в образованном столичном обществе, — и Пробродин, кажется, еще раньше успел поговорить и договориться с отцом Дмитрием...

Наконец, игумен Кирилл, — он был уже без клобука, — благословил стол («Христе Боже, благослови ястие и питие сие рабом Твоим, яко Свят еси всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь»), и люди стали рассаживаться. Распорядителем поминок был директор районной типографии, невысокий белобрысый и круглолицый мужичок, в последние годы близко сдружившийся с Пробродиныным. Он указал Митнику почетное

место во главе стола рядом с Галей и игуменом, но Митник приложил палец к губам, — мол, не обсуждаем, — и сел подальше, между двух пробродинских сестер-близнецов. С удовольствием увидел он, что как раз перед ним — блюдо с котлетами и большая миска с мятым картофелем. Стол вообще был хоть и не богат, без изысков, но разнообразен: и жареные караси, и холодец, и блинцы, и что-то грибное, — по традиции, всего должно было быть, кажется, семнадцать блюд. И конечно, поминальный квас, — его надо было хлебать деревянными ложками, специально для этого розданными к каждому прибору. Ну, и водка, много водки.

Галя во главе стола в своей старинной черной кружевной накидке на голове выглядела уже не такой убитой, как только что в коридоре (там она, кажется, была в простом темном платочке). Слева от нее сидел игумен Кирилл — человек довольно молодой, лет тридцати пяти или даже моложе, с гладко расчесанными по сторонам, блестящими (может, лампадным маслом смазывал?) светло-соломенными волосами и в тонких золотых очках, — такой грустно глядящий гладкописанный праведник с картины позднего барокко (впрочем, на картинах позднего барокко, кажется, уже не было праведников). Справа от Гали — тихая женщина с потухшими и выцветшими глазами и интеллигентным лицом учительницы литературы, — казалось, наступит момент, когда она должна будет негромко рассказать что-нибудь о творчестве Ивана Тургенева или Сергея Есенина. Эту женщину Митник видел в церкви на похоронах и свою свечу от ее свечки затеплил. Кто она, он так и не знал. По крайней мере, среди пробродинских родственников такой не было.

Родственники и друзья сидели по обе стороны стола — сестры, племянники и племянницы, коллеги-учителя, местные и из Прыжа. Чуть наискосок от Митника посадили странного человека в куцем, явно с чужого плеча светло-сером летнем пиджачишке, туго натянутом на какую-то старую вязаную кофту. Митник вспомнил, что это местный сумасшедший. Он из милости жил в пристройке у соседей напротив, ему единственному разрешали просить милостыню на паперти монастырских церквей и всегда приглашали на поминки: по русскому обычаю, на поминках следовало угощать нищих. Кажется, мужичонку специально для этой функции здесь и культивировали... В дальнем конце стола возвышался долговязый пробродинский внук Жорик. Митник посмотрел на него, и они молча кивнули друг другу...

Прямо напротив Митника села молодая женщина и улыбнулась ему. Господи, Лера-Щучка. Совсем взрослая, со спокойным взглядом глубоких темных глаз. «Ужель та самая Татьяна?» Сколько ей? Неужели тридцать? И какая красавица! «Я тебя здесь не видел. Ты была на кладбище?» — спросил он так, словно они только утром расстались. «Нет, — сказала она, — я все это время котлеты жарила на кухне»...

В этот момент директор типографии постучал вилкой по тарелке: «Внимание, первое слово скажет отец Кирилл, а за ним — давний друг Федора Филимоновича всем известный депутат Анатолий Васильевич Митник»...

Лерку, позднюю, младшую дочь Алексея Пробродина, прозвали Щучкой еще в детстве — за недевичество, от отца унаследованную страсть к рыбалке. Прозвище очень точно соответствовало пластике ее движений — быстрых, резких, несколько нервных. И хотя годам к пятнадцати или шестнадцати пластика движений сильно изменилась — ребенок, подросток превращался в очаровательную маленькую женщину, — прозвище осталось. И Лерка не возражала, — тем более что родными и друзьями прозвище всегда произносилось с любовью и нежностью.

У Митника с Леркой была своя маленькая тайна. Теперь трудно сказать наверняка, когда эта тайна впервые возникла — с каких разглядываний, касаний, предощущений, — но она уже определенно была, когда девочке было пятнадцать. Тогда Лерка напросилась с Митником на рыбалку, и все казалось пристойно: близкий семье человек с юной дочерью друзей, — а в какой-то момент, когда они уже высадились из лодки и ему пришлось помогать ей взобраться на высокий берег, он как-то неловко подсаживал ее сзади, под локти что ли, но руки сорвались, и они чуть не упали оба навзничь, но он удержал ее, и его ладонь оказалась у нее на груди, и он не отнял руку и чуть прижал девочку к себе, и она не только не отпрянула, но даже чуть прильнула к нему спиной, и так, замерев, они простояли по шиколотку в воде (оба в кедах на босу ногу) с полминуты — вряд ли больше... Ну, конечно, конечно, они уже возвращались с рыбалки, и она, в конце концов, оскальзываясь по глине, все-таки самостоятельно взобралась на высокий берег и, не оглядываясь, побежала домой через луг... Несколько месяцев спустя были какие-то зимние семейные праздники, шампанское (Новый год, что ли), и он по неглубоким еще сугробам потащил ее за собой в дальний угол сада (и она пошла!), и они, прижавшись друг к другу в тени забора, целовались до головокружения, пока не услышали, что их зовут, и только тогда оторвались друг от друга и порознь, с разных сторон вернулись к дому, — и каждый придумал свою легенду, что, впрочем, было не обязательно, потому что все были уже изрядно пьяны, и всем было все равно, — да и кто бы что мог подумать! А на следующий день он уехал и в те смутные времена не приезжал года два или даже больше... Но историю эту вспоминал с удовольствием и даже с гордостью: тридцать лет разницы, Гумберт Гумберт может отдыхать...

Игумен Кирилл сказал что-то коротко об исполнении своего долга и послушании: послушливый человек — хороший человек. Непослушливый — плохой. Получалось, что Пробродин — был послушливым, а это было неправдой. Видимо, батюшка плохо знал усопшего соседа... «Анатолий Викторович, пожалуйста, теперь вы, — директор типографии еще раз постучал вилкой о тарелку. — Тише, товарищи».

Но в этот момент во весь свой рост поднялся внук Жорик: «Простите, но у меня важное сообщение... Дело в том, что мой дед Федор Филимонович сегодня ночью был здесь. Я его видел. Он со мной разговаривал... За столом все замерли. Только директор типографии тут

же нашелся и хотел было сказать, что так не годится — все должно быть по порядку: сначала старшие, вот Анатолий Викторович. Но Митник, довольный, что его слово откладывается, жестом успокоил директора: «Ничего, пусть расскажет».

Жорик говорил медленно, постоянно сбивался, останавливался, возвращался, вспоминал какие-то детали. Но его не перебивали, слушали молча... Он приехал вчера вечером. Ночевать поднялся наверх в кабинет. («Вот, оказывается, чья постель осталась на диване, — подумал Митник. — А я-то, сентименталист... И в шкаф с картинками парнишка, должно быть, до меня слазил. Но, увы, тоже наткнулся на инвентарные номера».) Перед сном Жорик открыл какой-то детектив — наугад вытащил из дедовой книжной кучи (Пробродин любил детективы и, прочитав, бросал их в общую кучу в углу: тут их скопилось не меньше сотни), — но долго читать не смог, что-то тревожно ему было: «Я ждал хоть какого-то знака от деда, не верил, что все так кончится». Свет он погасил около полуночи и хотя не сразу, но все же уснул — устал с дороги. Сколько спал — не знает. Проснулся он от страшного холода и от того, что бешено залаяла и тут же жалобно заскулила собака во дворе напротив. Открыл глаза и увидел, что форточка распахнута настежь, — а ведь он хорошо помнил, что, ложась, проверил и убедился, что все плотно закрыто. Он решил, что надо встать, закрыть форточку и укрыться еще чем-нибудь, — и посмотрел туда, где висит полушубок... и тут увидел, что освещенный бледным желтоватым светом уличного фонаря, на краю дивана в ногах у него, накинув на плечи тот самый полушубок, сидит его дед Федор Филимонович. Сидит, чуть сгорбившись, на Жорика не смотрит и молчит. И диван под ним, чувствуется, слегка проминается... Жорик оцепенел от ужаса. Сколько времени прошло, сказать трудно. «Дед, скажи что-нибудь, — решился, наконец, Жорик, — может, ты чего-то хочешь?» Ф. Ф. молчал. Но в то же время в тишине стали слышны какие-то голоса, чей-то оживленный разговор, может быть, даже спор, — но очень глухо, неразборчиво, словно голоса доносились снизу из-под толстого перекрытия или откуда-то из-за толстой-толстой каменной стены. И тут вдруг в монастыре ударил колокол — негромко и только один раз, ни с того ни с сего, — и сразу, словно вырвалась откуда-то нормальная, внятная живая речь, и знакомый голос деда четко произнес: «...И поэтому надо, чтобы ты, Иван, не ленился и продолжил дело». — «Какое дело? — спросил Жорик и тут же спохватился: — Но я же не Иван, я — твой внук Георгий». «Теперь все равно», — с некоторой досадой сказал дед. «Что — всё равно?» — не понял Жорик... И в этот момент откуда-то резким порывом возник пронзительный, остро леденящий сквозняк — прямо по лицу, по глазам ударил чем-то вроде снежной крупы, и Жорик на секунду инстинктивно зажмурился и тут же услышал, как со страшной силой захлопнулась форточка (как еще не разбилась-то), и когда открыл глаза, — деда уже не было. Полушубок висел на своем месте возле двери. Форточка была плотно закрыта. Соседская собака коротко взлаяла и замолчала. И никакого дальнего раз-

говора уже не было слышно — тишина. Только лицо у Жорика оказалось чуть влажным — как от холодного растаявшего снега, и он утерся краем простыни и довольно быстро уснул и спокойно спал, пока утром его не разбудили ехать на кладбище... «Я не знаю, надо ли было вообще говорить об этом, — сказал Жорик. — Все утро сомневался, но все же вот решил»...

За столом все молчали. «Ой, а ведь и я проснулась от соседской собачки, — охнула одна из сестер-близнецов. — И что, думаю, разлаялась? А *такое* и в голову не пришло... И точно, точно, тогда колокол ударил. Правда, слабо: должно быть, ветром язык раскачало». «Что скажете, батюшка?» — обратился, наконец, директор типографии к игумену. Тот глубоко вздохнул и развел руками. «Непростая задача у батюшки», — усмехнулся про себя Митник. Он посмотрел на Лерку: она опустила глаза к тарелке и покачала головой. Уж она-то Жорика никак не одобряла.

«Когда душа изшла из тела, то ни о чем здешнем она уже больше не помышляет, но только о тамошнем заботится, — сказал отец Кирилл, — так учат нас святые отцы». В качестве слушателя игумен выбрал почему-то Митника и, словно видел в нем единомышленника, продолжил говорить, время от времени поглядывая на него, спокойно и дружелюбно: «На сороковой день душа Федора Филимоновича по миру, конечно, не бродит, но стоит перед горними вратами и ждет решения дальнейшей судьбы: одесную ли Господа, со святыми и праведниками, или налево — с грешниками... Что же касается снов и разных там явлений и видений, то им верить не следует: очень уж тут легко впасть в прелесть, то есть подвергнуться бесовскому обольщению. И, пожалуй, лучше не поверить ангелу, чем поверить бесу, не так ли?.. (Тут он посмотрел на Митника, и Митник послушно кивнул.) Очень страшно принять потустороннее явление за некую истину и руководствоваться ею в жизни: есть опасность, что руководителями станут темные силы. Преподобный Серафим говорил по-простому, для простых людей: “Сны сбываются? А ты им не верь — и сбываться перестанут”. Правильно ведь?» (И Митник снова согласно кивнул.)

Все с облегчением приняли такое объяснение (и Лерка, прикрыв глаза и кивнув, показала Митнику, что и ей объяснение понравилось), и застолье пошло своим чередом: первым сказал свое короткое слово Митник, потом долго говорил завуч школы, потом — директор типографии; говорили сестры-близнецы и племянники, — и все вспоминали, каким Федор Филимонович Пробродин был замечательным учителем, воспитателем, строителем, ученым, сыном, мужем, братом, дядей и т. д. Все охотно пили и ели. Лера постоянно уходила на кухню и возвращалась с каким-нибудь новым блюдом: котлеты были съедены, и она принесла грибную солянку, потом на место солянки — фаршированные перцы и что-то еще, и еще. Застольная беседа уже не обязательно была связана с Пробродиным. Заговорили о политике, о местных властях, о местных новостях. Например, племянница, жившая в Прыже, спросила игумена, как он относится к тому, что в восстановленный храм в Новобукреевском

совхозе священником назначили еврея — отца Моисея, — «Мойшу Зильбермана», — сказала она, подделывая еврейский акцент. «В церкви несть ни эллина, ни иудея, — миролюбиво ответил игумен. — Отец Моисей — умный, высокообразованный священник. Он, кстати, этот храм и восстановил — от фундамента до купола». Племянница покачала головой и брезгливо поджала губы: «Не знаю, я в ту церковь не пойду»... По виду ку решили прокрутить какое-то длинное, двадцатиминутное интервью Ф. Ф., записанное два года назад с экрана (кажется, оно было по каналу «Культура»), и Митник, который сидел спиной к телевизору, должен был на эти долгие двадцать минут как-то неудобно развернуться боком. Федор Пробродин говорил, что сохранение Отечества невозможно без сохранения памятников истории культуры... Сев опять нормально, Митник посмотрел на Жорика, его соседи по столу — взрослые внуки сестер-близнецов — чокались, выпивали, закусывали и оживленно разговаривали между собой, а тот, бедняга, сидел среди всех как-то одиноко и, кажется, даже не притронулся к еде. «Сам парень виноват, — подумал Митник. — Не следовало ему возникать со своим откровением».

Так прошло, должно быть, часа два, и Митник, немного устав от застолья, решил, что еще минут пять, и он подойдет к Гале и тихо скажет, что ему скоро пора. Чтобы завтра днем приехать в Москву, он собирался еще сегодня, и желательно не поздно, доехать до Костромы и заночевать в гостинице. Ночевать в Прыже ему не хотелось. Месяц назад дружина отца Дмитрия устроила в центральном сквере города показательное сожжение его книги (нашумела в Москве), в которой с исчерпывающей научной аргументацией было доказано, что в ближайшие два десятилетия России не выжить без двадцати миллионов мигрантов из ближнего, а возможно, и дальнего Зарубежья. Местные бритоголовые не только книгу рвали и бросали в костер, но набили соломой чучело, нацепили на него плакатик, на котором между двух сочащихся кровью шестиконечных звезд было намалевано: «Депутат Митник — враг России», — и тоже сожгли. Репортажи с этого шабаша были и в некоторых московских газетах, и в Интернете, и после этого Митнику расхотелось даже и на лишние полчаса задерживаться в Прыже, не говоря уж о том, чтобы заночевать... Словом, если он хочет выспаться в Костроме, из Старобукреева ему надо бы выехать не позже семи вечера. Ну да ведь еще и с Галей дела решить надо. Хотя бы насчет «Брокгауза» переговорить. И насчет рукописей — и с Леркой посоветоваться, и с директором типографии... Ну, и, конечно, хоть чуть от выпитого отойти.

Директор типографии сидел рядом. «А что же это отец Дмитрий не приехал?» — тихо спросил Митник. «Его нет в Прыже, — так же вполголоса сказал директор. — Они устроили крестный ход с молебном о спасении России — по всей государственной границе». «Как это?» — удивился Митник. «На самолете, — сказал директор. — Над всей границей пролетят. Военные посодествовали»...

«А меня вот Бог дважды сподобил быть свидетельницей настоящего чуда, — вдруг громко сказала Гая: видимо, она говорила о чем-то с

отцом Кириллом и в какой-то момент захотела, чтобы продолжение разговора слышали все. — И оба раза чудо явлено было через нашего с Федей друга, которого мы очень любили и который здесь у нас постоянно бывал, через молодого священника, — ему тогда двадцать пять лет было, — через отца Петра, сына Инны Александровны», — и Галя указала на сидевшую по левую руку от нее печальную учительницу литературы, и та согласно кивнула головой: видимо, знала, о чем пойдет речь.

«На Благовещение... В Казанской было водосвятие... — Голос у Гали сделался светлым, неожиданно звонким. — Женщины принесли свои банки с водой. Простые банки — и поллитровые, и литровые. Всего на столе было восемнадцать банок, почему-то я запомнила. Отец Петр служил молебен и стал опускать крест в воду. Опустит с молитвой, поднимет и в следующую опустит. И вижу — чудо! — в каждой банке крест остается сиять. Вот прямо отчетливо видно: в каждой-каждой серебряный крест, и не малый, в воде так колеблется. И у всех женщин такая радость на лицах. И только в одной баночке, у молодой Фимы Криворучки, — у нее еще ребеночек за год до того умер от дифтерита, поздно врачи хватились, — только у нее ничего нет. И она это видит и прямо так со слезами к отцу Петру: “Батюшка, а у меня-то почему нет?” А он так посмотрел на нее и говорит: “Как это — нет?” И смотрим, действительно, и у нее крестик сияет. И тут она так вот уцепилась за его рукав и говорит: “Батюшка, как вы это делаете?” А он освободился от нее, отстранился, словно ему больно сделали. “Я, — говорит, — ничего не знаю. Я только служил”. И ушел».

Все молчали. Митнику хотелось спросить, долго ли видны были крестики и точно ли все их видели, но он решил, что теперь неуместно, — и тоже промолчал. Ну, чудо — и чудо. Должно же быть у Гали и у тех женщин что-то светлое в жизни.

«А в другой раз... у нас икона стала мироточить... К вечеру как-то, — Федя что ли в Прыже был, — приходит вот Сережа (она указала на юродивого, молча евшего и пившего все два часа) и говорит: “Вас отец Петр зовет, он в Казанской”. Я быстро собралась, прихожу, а отец Петр стоит на коленях перед аналоем, и по лицу у него слезы текут, и, видимо, давно он тут: на полу перед ним все влажно от слез. И молча указывает мне на аналой, на икону Николая Чудотворца. А у иконы справа, ближе к нижнему углу, пятнышко чуть вспучилось, и от него тоненькая струйка миро. Этой иконе-то, наверное, лет триста, совсем темная. Федя ее у кого-то на чердаке нашел, и она до открытия монастыря в музее была — сухая-сухая... Отец Петр тяжело так поднялся с колен и говорит: “Пойдемте в Никольский храм, акафист Чудотворцу прочитаем”. А Никольский храм — огромный, главный храм в монастыре, — снаружи-то Федя его восстановил, а внутри — не успел, и там до сих пор ничего нет, кроме птичьего помета. И вот мы заходим туда, а на улице уже сумерки, и в храме темно, акафист-то читать — ничего не видно... И вдруг из-под купола, через верхнее окно — яркий-яркий свет. Птицы там наверху всполошились: они уж спать устроились, а тут светло сделалось, и свет — не

электрический, а какой-то особенный, ярче электрического. И все нам видно прекрасно, и мы так замечательно прочитали акафист... И тут еще люди подошли: видимо, Сережа позвал... Так вот все это было».

Митника больше всего удивило, что Пробродин, зная, конечно, об этих чудесах (или о «чудесах» в кавычках — как угодно), никогда, ни разу, ни единым словом Митнику о них не обмолвился. Может, будучи человеком ироничным, не считал чудеса достойной темой для разговора? Или была у него еще какая-то другая жизнь, и Митника он туда пускать не хотел?

«А где же отец Петр? Почему его-то нет с нами?» — спросил Митник, обращаясь к печальной учительнице. «А он с нами, — сказала она спокойно. — Сегодня ровно год, как он умер, и теперь он, конечно, с нами». «Простите, ради Бога», — растерялся Митник. «О таких людях не скажешь: умер, — промолвил игумен, — просто от нас его призвали туда. Господь рассудил, что Ему он нужнее, чем нам». «Как и дядя Федя?», — спросил кто-то из племянниц, но игумен на это не ответил. Он встал уходить. И Галя поднялась. И все встали. «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему, новопреставленному Федору, и сотвори ему вечную память», — пропел игумен, и все подхватили: «Вечная память... Вечная память... Вечная память...»

«Что же это такое — вечная память? И зачем она?» — думал Митник, но пел и крестился вместе со всеми.

5

Он проснулся в какой-то тревоге и долго не мог понять, что именно его тревожит. Посмотрел на часы: без десяти четыре. Все вроде в порядке. Он лежит в пробродинском кабинете на диване (Жорик здесь спать отказался) — раздетый, на чистом, пахнущем свежестью белье, выданном Галей, укрывшись не только легким одеялом, но сверху еще и полушубком. Вчера он все-таки решил, что до утра никуда не поедет — и правильно: вечер получился какой-то по-семейному спокойный...

Гости из Костромы и из Прыжа все разъехались вскоре после застолья. Директор типографии, уже на крыльце, прощаясь с Митником и, в знак особого расположения, придержав его руку в своей, мягкой и теплой, спросил, не будет ли он против, если они в Прыже издадут книгу этнографических очерков Федора Филимоновича: вдова сказала, что по завещанию именно депутат Митник должен распорядиться этими рукописями. Митник, осторожно высвободив руку, сказал, что про завещание впервые слышит, но против публикации, конечно, не возражает. «Только знаете, — сказал он, несколько замаявшись, — очерки эти... они несколько в ином ключе, чем все, что написано Пробродиныным... Как бы это сказать... язык там несколько тяжеловат...» «Да что вы! — директор даже руками всплеснул. — Мы в типографии читали эти очерки вслух — как поэзию. Во время обеденного перерыва собирались у меня в кабинете — и читали. Теперь таким прекрасным русским языком уже почти

никто не пишет. Это как старинную русскую песню слушать — протяжную, раздолбную... Только торопиться не надо. Да и по содержанию... Понимаете, это же не вообще абстрактная этнография. Это наша местная история: там про молодость наших родителей, про дядей и тетей. Хотя имена и не названы, но мы и людей узнаём, и дома, и улицы... Это хоть и «малая родина», но Отечество. С большой буквы»...

Сам Митник в конце концов решил, что поедет все-таки утром: часам к семи вечера он понял, что выпил, пожалуй, чуть больше, чем следует, и если северопрыжские гайшники его остановят (а среди них, конечно, есть люди Бортко), уж они-то на «враге России» оттянутся по полной программе.

В просторном доме кроме него остались только Лерка, Жорик и Инна Александровна, мать если и не святого, то уж точно Богом отмеченного отца Петра. Ну, и Галя, конечно, которая к вечеру снова сникла, постоянно принималась плакать, и вообще непонятно было, как она еще держится на ногах...

— Ты, небось, приехала за этнографическими очерками, а их теперь директор типографии хочет публиковать, — сказал Митник. Проводив гостей, они с Леркой вдвоем остались сидеть на крыльце. Стемнело, но вечер был на удивление теплый: казалось, зимы в этом году не будет. На соседнем столбе горела неяркая лампочка. В зарослях на противоположном берегу совсем по-летнему прокричала ночная птица.

— Дай Бог директору удачи, — спокойно сказала Лера. — Я приехала только, чтобы повидаться с вами со всеми. И попрощаться.

— В каком смысле — попрощаться? — не понял он.

— Я вышла замуж, — сказала она.

Он удивился:

— Это мы все знаем.

— Нет, — она покачала головой, — я недавно вышла замуж. За иностранца. Он швед, но канадский гражданин... Всё, я уезжаю — и уже никогда сюда не вернусь.

— Никогда не говори «никогда», — засмеялся он.

— Ты не понимаешь... Вы не понимаете, — поправилась она: все-таки она никогда не обращалась к нему на «ты». Разве только тогда, в заснеженном саду, когда они взасос, взахлеб целовались и он беззастенчиво шарил у нее под одеждами, — да и то вряд ли.

— А если на «ты»? — сказал он, всё более очаровываясь ее зрелой женственностью и красотой. — Ты ведь мне не чужая.

— Как хотите... Это все равно... Ты ничего не понимаешь, вы ничего не понимаете, — она говорила медленно и спокойно и смотрела при этом не на Митника, а куда-то вниз, на носки собственных туфель. — Вы все одинаковые, и дядя Федя, и вы, или ты, — как угодно. Вы все здешние. А я стала чужая. Понимаете? Я... ненавижу... эту страну... Ненавижу.

И тут же, повернувшись лицом к Митнику, без малейшей паузы заговорила быстро и отчаянно:

— Если бы вы... Если бы ты знал, что мы все — отец, мать, я — пережили с этим гнилым домишкой. Нас перестали за людей считать. Нас чуть вообще не похоронили. Когда я из Питера приехала, меня в Прыже поймали на улице, запихнули в машину и сказали, что изнасиловуют впятером и убьют, если продадим дом узбекам. Никакие они не националисты. Понимаешь? Просто бандиты. Хотели держать в своих руках ресторанное дело на трассе... Уже потом, когда дом продали, они нашли отца в Питере и в подъезде избили до полусмерти... А тут еще наш великий, наш любимый дядя Федя со своими принципами... Я тогда ушла от мужа, развелась, и нам просто жить было негде. Понимаешь, без этих жалких денег мы даже на окраине, даже в Колпине комнату не могли купить... Нет, отец до сих пор не может ему простить. Вот и на сорок дней не поехал, хотя тетя Галя и меня, и его звала — она-то женским сердцем все понимает...

— Ты когда приехала? — спросил он.

— Позавчера вечером, с автобусом. Вчера целый день готовили с музейными девочками.

— А какое это завещание Федор оставил?

— О, Господи, еще и это завещание... Это я его нашла — только вчера, в ящике письменного стола. Прочитала — и хотела даже выкинуть. Но подумала, что вы бы не одобрили... В общем, он написал год назад... Все книги, все картинки Галя должна отдать в музей. Дом продать. И с этими деньгами пойти в дом престарелых: там, видите ли, за ней будут ухаживать... Скажите, он был в своем уме, когда писал?

Митник рассмеялся.

— Милая девочка, Лера-Щучка. Твой дядя Федор мог написать в завещании все что угодно. Потому что был совершенно уверен, что никогда не умрет. Он просто не мог вообразить, что люди — Галя, Жорик, ты, я — могут жить и будут жить, когда его не станет. Он из тех, кому и жену, и коня, и сбрую следовало положить в могилу.

— И музей, — сказала она.

— И музей, — согласился Митник. — Пошли-ка в дом, чай пить...

Чай пили на кухне впятером. Говорили тихо — больше о том, как теперь прибраться в доме и как Лера должна помочь. Галя плакала и благодарила: если бы не Лера, она бы не справилась. И Митник, глядя на Лерку и вспоминая тот заснеженный сад, думал, что хорошо было бы затащить ее наверх, в кабинет... но, пожалуй, это уж будет слишком...

— Милая Галя, — сказал он, — завтра утром я уеду еще затемно. Ты, пожалуйста, знай, что я у тебя есть. И я постараюсь почаще приезжать к тебе, а если что-то нужно срочно, ты мои телефоны знаешь. Вот и Жорик, если ты его с каким делом пошлешь, он всегда легко меня найдет.

По-прежнему мрачный Жорик молча кивнул.

— И вот еще что, — сказал Митник, — там, в кабинете на полке энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Она стоит хороших денег. Если соберешься продать, скажи, и я найду тебе покупателя подороже.

— Спасибо, Толя, — Галя сдерживалась, чтобы снова не заплакать, и поэтому говорила совсем тихо. — Этого «Брокгауза» Федя ведь Ванюше подарил — на шестнадцатилетие. Он у нас мечтал быть энциклопедистом, все знать. Брал иногда том наугад и читал. Все равно про что. А теперь это у меня память по нему. И я иногда открываю наугад и читаю — и как будто его голос слышу, как будто он мне рассказывает. В последний раз про горную страну Гиндукуш... Еще до того, как Федя уехал... Пусть уж всегда со мной будет... Я вот буду сидеть тут одна и слушать, как он мне читает...

Вдруг Митник понял, что его тревожит: он ведь проснулся оттого, что по крыше шумит дождь! Осознав это, он вскочил и стал быстро одеваться. Посмотрел на часы: половина пятого. Если дождь идет всю ночь, — полный привет, ему на своей «тойоте» отсюда не выбраться... Так или иначе, теперь дорога каждая минута...

Дождь, видимо, начался недавно и лил пока не очень сильно, но всё прибавлял и прибавлял. Дорога через пойму была еще вполне терпима, однако ехать следовало побыстрее, пока водой не наполнились те жуткие колдобины, которые местные власти вот уже сколько лет не могли засыпать на въезде в Новобукреевский совхозный поселок... Как и всегда, когда предстояло какое-нибудь трудное испытание или надо было преодолеть какое-нибудь сложное препятствие, у Митника сделалось прекрасное настроение. Он включил музыку. Битлы — это отлично. Или кто это: «Ты будешь любить меня, пока я не откину копыта», — пожалуй, так следует перевести? Он стал раскачиваться в такт песенке — вперед-назад, вперед-назад — прекрасная гимнастика... и вдруг резко нажал на тормоз: впереди в пелене дождя, как привидение из ниоткуда, возник человек, одинокий ночной путник. Митнику сделалось немного жутковато: в такое время, в таком месте, в такую погоду. Путник шел, не оборачиваясь, хотя мог бы и слышать шум нагоняющей попутной машины. В поле зрения он возник так неожиданно, что даже резко затормозив и едва избежав заноса, Митник юзом подъехал к нему совсем близко. Человек был без зонтика, без плаща, в насквозь промокшем пиджачишке, и было видно, как по спине его пляшет дождь. Наконец, он обернулся к машине, и Митник увидел... что это Жорик...

Теперь он сидел рядом с Митником, натянув под горло Митниковский спальный мешок и накинув на голову теплый подголовник — как из бани вышел. Он уже согрелся. Его мокрая одежда лежала на полу под задним сиденьем.

— Глупость, конечно, — говорил Жорик некоторое время спустя, — но, пожалуй, во всем виноват мой пробродинский характер — сумасбродный и нетерпимый. И отец такой же был, и дед... В двадцать пять лет такие шуточки, конечно, непростительны. Но вы меня, Анатолий Викторович, уж извините.

Митник собирался довести его до прыжской гостиницы и отдать ему свой тренировочный костюм, который, как и спальный мешок, он

всегда возил с собой (в последнее время уже только один спальник, а не два, как прежде). Они уже миновали пойменное бездорожье и скоро должны были выехать на трассу.

— А где же твой мерин? — спросил Митник. Жорик был молодым, подающим большие надежды предпринимателем, одним из крупнейших в регионе поставщиков школьных учебников и других книг, и до недавнего времени ездил хоть и на подержанном, но все же «мерседесе».

— Мерин стоит неподкованный, денег нет. Сюда добирался на попутках. И обратно так же поеду.

— Что же бизнес?

— Я, Анатолий Викторович, продал свой бизнес.

— Что так?

— Вынудили.

— Бандиты наехали?

— Наехали, но не бандиты, а некоторые госструктуры.

— Расскажи, я все-таки депутат...

— А что рассказывать? Вы, поди, знаете, как это бывает. Вызвали, предложили стучать на партнеров, сказали, что закроют глаза на мои дела, но чтобы обо всех сделках они знали. Я отказался. Тогда мои партнеры (они-то, наверно, не отказались) один за другим перестали иметь со мной дело. И всё... Продал за бесценок. Обычная российская история. Не так ли?

— Пожалуй, — согласился Митник. — А что ж ты от бабки-то сбежал? Она, поди, обидится.

— Нет, теперь решит, что я с вами уехал... Дед в завещании написал: мол, скажи Жорику, что я для него ничего не нашол, пусть сам обходится. Жорик — торгош, все продаст, а дед, видите ли, терпеть не мог само слово «продать»... («А как же дом продать — и Галю в богадельню?» — подумал Митник, но промолчал.) И она так это жестко мне прочла, как будто я претендовал на что. Как будто что-нибудь ухватить приехал. Обидно. Старые люди все-таки все слегка чокнутые... Я лежал, лежал в зале на диване, встал, оделся — и ушел. Жалко, конечно, что дождик начался.

— А зачем ты вчера за столом про деда придумал? — Митник на секунду повернулся в его сторону.

Жорик чуть помолчал.

— Да пойдите вы все... — и он яростно выругался. — Я, может, и придумал-то только, что ему все равно — я или отец. А ему, конечно, не все равно... И еще эта Щучка, подруга ваша... Уж кто бы говорил... Ведь она же специально приехала, чтобы картинки хапнуть.

— Ну, как это, — укоризненно протянул Митник. — Ну что ж ты гонишь на людей.

Жорик вдруг успокоился и засмеялся:

— Хотите пари? Я сам эту схему продумывал, но решил не лезть... Дело проще простого. Музей долго не протянет, районные власти вскорости станут переводить его в Прыж, объединят с местным краеведчес-

ким музеем, об этом уже и на похоронах между собой говорили, я слышал. При передаче фондов будет выбраковка — малоценное спишут... Старообрядческие-то картинки в научном обороте еще не были. Дед хотел, чтобы отец ими занялся, а когда его не стало, вообще в каком-то ступоре был... А раз никто о них не знает, списать их — дело плевое, и вопрос только в размере взятки... И Щучка просидит в Старобукрееве и месяц, и два — сколько надо, и свое возьмет. И всё. И уехали картинки в Канаду.

Митник молчал. Все возможно. Но это уже не его дело.

— Вот и гостиница, — сказал он. — Спальник и тренировочный возьми на память... Может быть, дать тебе немного денег на дорогу?

— Спасибо, депутат Митник, — Жорик впервые назвал его так. — Мой дед Федор Филимонович Пробродин был прав: мне двадцать пять лет, и я еще научусь обходиться в этой жизни самостоятельно.

Митник недалеко отъехал от Северного Прыжа, когда начало светать. Небо было ясное. Дождь давно прекратился. Но теперь на дороге видны были коварные проблески молодого льда. Ехать быстро стало невозможно, и Митник подумал, что надо позвонить дочерям, чтобы они знали, что он в дороге, — на случай, если вдруг что-то случится... В последнее время каждая его поездка в Прыж была связана с какой-нибудь потерей: вот теперь он, скорее всего, пропустит важнейшую для его депутатской карьеры запись у Познера... Как-то все тут стало чужим... Он включил приемник и опять услышал все тот же шлягер: «You'll love me until I kick off» — «Ты будешь любить меня, пока я не откину копыта». Он засмеялся и подумал, что, пожалуй, ездить сюда больше не будет. А просто незачем.

ДАЖЕ ЕСЛИ УМРУ...

* * *

Грозен твой лик, эпоха,
Но и мы не из слабых —
Арками Петергофа
Вспыхну во мгле Елабуг!

Облаком белым стану,
Грешную плоть отрину...

Благословляю Анну,
Похоронив Марину.

* * *

Смерть скрипит, словно дверь на ветру,
и кривляется с телеэкрана...
Даже если умру слишком рано —
все равно никогда не умру.

Убегают года в никуда —
то печеночно мне, то гриппозно...
Даже если умру слишком поздно —
все равно не умру никогда.

Собеседник

Он — это я: он где-то здесь
и где-то выше —
там, где я был,
куда я весь
когда-то вышел.
Он вне меня,
и он во мне —
так не бывает,
но слушает меня и не
перебивает.

Валерий
КРАСКО

— родился в 1941 году в Ростове-на-Дону. Окончил Московский энергетический институт, работал инженером в НИИ. Автор многих поэтических сборников, публиковался в журналах «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Октябрь», «Стрелец» и др. Живет в Москве.

Он — это я или фантом? —
Не «альтер эго»,
а горнее в полупустом
подвале — эхо:
звучат в «застойной» полулжи,
он Правде предан...

(Больной, измученной души,
быть может, бред он?)

На свой аршин мои пути
еще не мерит,
но верит в то, во что почти
никто не верит,
воспринимает — всё — всерьез
слова и мысли...

Сейчас — боюсь — задаст вопрос
о смысле жизни.

* * *

Думал я, внимая дури
дум в бессонный час —
до безумья не дойду ли,
думая о вас?

Думал я, внимая думам
о своей вине —
не накликать бы беду вам
думой обо мне!

Думал, осеняя строки
синевой седин,
что во мраке одиноки
все мы как один.

Думал, простирая руки
в неземную тьму,
что не думать друг о друге
нам не по уму.

* * *

Есть греховная плоть, есть святая
плоть — иначе не прав и Господь,
воскрешая, верша, возвышая
до святой нашу грешную плоть.

Есть проклятие рода отродю,
есть и совести завязь во зле,
а иначе не стало бы Плотью
Слово, сказанное на заре.

А иначе — погасли, померкли
все слова между всеми людьми,
ибо *жизнь завершается в смерти,*
*становясь полнотою любви*¹.

* * *

Радуюсь рассвету
и внутри, и вне —
радуюсь расцвету
Радости во мне.

Радость звездопада,
Радость куража —
радуюсь, что рада
Радости душа!

И хотя эпоха
мне не по судьбе,
радуюсь, что плохо
мне, а не тебе...

* * *

Годы мои, годы,
Горняя пора...

Горы мои, горы —
Черная Дыра.

Спит пиит в неволе,
Вечностью пыля...

Поле мое, поле —
Млечные поля.

Со звездой в споре
Не осилит тьма...

Горе мое, горе —
Жаль, не от ума.

¹ Л. Карсавин.

ХРАНИТЕЛИ

рассказ

У Мовлади не выходило с математикой. С геометрией еще худо-бедно, а с алгеброй вообще никак. Мовлади сидел над учебником по алгебре и своей школьной тетрадкой. Грыз колпачок ручки, безуспешно пытаясь упростить уравнение с двумя неизвестными.

Учебник был изрядно потрепан и разрисован — цветочками и сердечками на полях: «Алгебра» досталась Мовлади от старшей сестры, Анжелы. Самой Анжеле алгебра не пригодилась: едва закончив школу, она вышла замуж. За Алхазура.

Алхазур был сыном соседей, Умара и Мариам Беноевых, но жил в России. Мовлади его практически не видел до того дня, когда сыграли *ловзар*, свадьбу. Да и после того дня Мовлади Алхазура почти не видел. И еще он больше почти не видел свою сестру, Анжелу. Алхазур увез ее с собой, в Россию.

Мовлади подумал: вот все так говорят — уехал в Россию, приехал из России, живет в России. А это неправильно. Чеченская Республика ведь тоже часть России. Значит, нельзя так говорить. Иначе зачем же тогда воевали с вахабитами и сепаратистами?

Сестре не понадобилась алгебра, сейчас она живет с Алхазуром в Тюмени. Готовит еду, убирает, ходит по магазинам. Наверное, купила себе джинсы и даже косынку не носит. Алхазур — современный парень, он не будет требовать, чтобы его жена всегда ходила только в длинной юбке и с покрытой головой. По крайней мере там, в России... Хмм... да, в России. А как иначе сказать?

Сколько ни войой, все равно останется Россия, и в России Анжеле можно ходить в джинсах и с прической на голове, и есть Чечня, и в Чечне — нельзя. И есть еще много причин, по которым Россия — это Россия, а Чечня — совсем другое, Чечня.

Когда Алхазур и Анжела приедут погостить домой, сестра, конечно, наденет косынку на голову: зачем расстраивать старших?

И скоро сестра родит Алхазуру детей. У Мовлади появятся родные племянники и племянницы. Об этом не принято говорить в семье, особенно среди мужчин. Считается, что стыдно обсуждать беременность

**Герман
САДУЛАЕВ**

— родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Как прозаик дебютировал в декабре 2005 года в журналах «Знамя» и «Континент»; в 2006 году выпустил книги «Я — чеченец» и «Радио Fuck», опубликовал реконструкцию чеченского эпоса «Илли». Живет в Санкт-Петербурге.

своей родственницы. Хотя, что же тут стыдного? В конце концов, для того люди и женятся — чтобы завести детей!

Значит, у Мовлади будут племянники и племянницы. Это хорошо! Плохо только, что Тюмень очень далеко. Алхазур, Анжела и их дети смогут приезжать домой, в Шали, только раз в году. Ехать слишком далеко. И дорого.

Мовлади смог бы поехать в Тюмень и сам. Да, это не принято — ездить в гости к сестре и ее мужу. Но что делать Мовлади, если родных братьев у него нет, только сестра? Их двое у отца с матерью, Анжела и Мовлади, больше нет никого. Нет даже двоюродных братьев. Так получилось, что все двоюродные братья Мовлади погибли во время этой войны. Кто-то воевал за сепаратистов, кто-то за федералов, а кто-то ни за кого не воевал, просто попал под бомбы.

Если бы у Мовлади был двоюродный брат в России, Мовлади поехал бы в гости к нему. А лучше, взял бы у брата денег и все равно бы съездил к сестре.

Потому что добраться до Тюмени — это очень дорого, у родителей лишних денег нет, а у Алхазура Мовлади никогда не станет просить ни копейки. Даже если Алхазур сам предложит, Мовлади откажется. А то даст, а сам потом будет думать: навязались родственнички на мою голову, думал, что женюсь на одной девушке, а приходится брать на прицеп всю ее семью.

Нет, таких пересудов, и даже мыслей, Мовлади не хотел допустить. Он уже взрослый мужчина и сам мог бы зарабатывать деньги.

Вот только пока его заставляли учить алгебру, решать уравнение с двумя неизвестными.

Мовлади вздохнул и закрыл тетрадку. На обложке красовалась картинка с хищным силуэтом спортивной машины. Мовлади очень любил машины.

И ведь никакой алгебры те, у кого сейчас есть такие тачки, не учили! Мовлади по несколько раз смотрел фильмы «Бригада», «Бумер» и знал, что дело не в школьных предметах. Надо быть смелым, иногда злым, не колебаться, рисковать жизнью. Только люди с таким характером и такой судьбой имеют естественное право ездить на красивых автомобилях. А не ботаники и всякие умники. Это же ясно — и из «Бригады» ясно, и из «Бумера». Надо быть настоящим мужчиной, а не ботаником. И тогда можно будет сделать деньги. Особенно в России, где много денег и мало настоящих мужчин.

Здесь, в Чечне, денег мало, зато крутых парней хватает. Их даже многовато, пожалуй, — даже после двух последних войн, в которых столько погибло... Среди чеченцев всегда очень много крутых парней. Если бы чеченцы массово эмигрировали в Америку, сицилийцам пришлось бы потесниться!

Мовлади почувствовал гордость за свой маленький народ.

Но Америка далеко, а завтра снова идти в школу. Мовлади пролистал дневник до странички текущей недели, чтобы посмотреть, какие еще предметы, кроме алгебры, готовить назавтра.

Дневник был разукрашен двойками и тройками: двойки и тройки чувствовали себя в дневнике Мовлади уверенно, как местные жители. Четверки встречались редко. Четверки выглядели иностранками. И совсем редко встречались пятерки, — они смотрелись примерно как гости с иных планет.

Мать с отцом расстраивались. Но чтобы стать богатым и успешным, чтобы хорошо жить, — разве нужны и важны все эти оценки?!

Мовлади вспомнил, как ехал в машине вместе со своим двоюродным дядей и его знакомым. Дядя рассказывал — не Мовлади, своему знакомому, но Мовлади ведь тоже слышал и все понимал. Дядя рассказывал о Шерипе, и Мовлади смеялся вместе со старшими.

Шерип жил за речкой, учился с дядей в одной школе. Хотя это только так сказать — учился. Скорее, просто числился в школе. Его переводили из класса в класс, чтобы не портить статистику. Дядя говорил, что Шерип каждое утро выходил из дома — будто бы в школу, но до школы не доходил. Заворачивал на речку и там, на камнях, целый день играл с другими прогульщиками — в ножички, монетки, потом в карты на мелочь. И эта мелочь как-то очень быстро стала перекочевывать из карманов его товарищей в карман Шерипа.

Родители Шерипа были неграмотными, или, скорее, полуграмотными: совсем неграмотными людям в советское время быть не позволяли. Они работали на молочной ферме, да выращивали на своем участке огурцы для продажи. В общем, контролировать процесс обучения Шерипа они не могли. Но даже они заметили, что у сына со школой не все в порядке. Однажды мать даже спросила: сынок, скажи, почему все дети ходят в школу с книжками и тетрадками, а у тебя, когда ты выходишь из дома, ничего такого с собой нет?.. Чтобы не расстраивать мать, Шерип взял в школьной библиотеке одну книгу. Это был учебник по математике для второго класса. Шерип числился уже в восьмом. Но мать успокоилась: сын теперь шел в школу с книжкой, как все. А Шерип продолжал прогуливать занятия, целыми днями играя на берегу речки; на «Математике» второго класса он сдавал карты.

«Так вот, этот Шерип сейчас владеет в России сетью казино, — сказал дядя. — У него бронированный джип, охрана. Так что вполне обошелся без образования. Считает за него — бухгалтер, бумажки читает — юрист. А я, — вздохнул дядя, — учился на одни пятерки, институт закончил с красным дипломом — и еле концы с концами свожу. Кому помогла эта учеба?! Все равно страной правят троечники»...

Мовлади почувствовал глубокое удовлетворение от того, что тоже учился на «удовлетворительно». Значит, весьма возможно, и он будет править страной! Россией. Правда, тогда придется поменять фамилию, как Сурков-Дудаев. Потому что русские не хотят, чтобы ими правил человек с чеченской фамилией.

Мовлади нравилась его фамилия, и менять ее он посчитал бы неправильным: почему это надо стыдиться своего происхождения?! Нет

уж! Тогда лучше будет править не всей Россией, а Чеченской Республикой: и больше авторитета у земляков, и фамилию скрывать не надо!

Мовлади подумал, что может стать таким, как Рамзан. Все знают, Рамзан не особо утруждал себя учебой. Он с юных лет был занят настоящими делами: сначала воевал у Масхадова, потом возглавил службу безопасности своего отца, Ахмада-хаджи Кадырова. А теперь он премьер, лидер Чечни, и все университеты сами принесли ему свои дипломы и научные звания на тарелочке, — бери, что хочешь!

И иностранные газеты взалхлеб пишут о нем: Рамзан купил на аукционе роскоши в Москве самый дорогой автомобиль — за миллион долларов, или даже дороже. Вот он какой, наш Рамзан!

Так что, как ни посмотри, нет никакого смысла во всей этой учебе! Может, раньше смысл был — в старые, советские времена. Тогда, как рассказывал дедушка, если человек заканчивал институт и шел работать в городе, то ему в этом городе давали квартиру! Можно было запросто получить квартиру в Грозном или в России, если ты врач, учитель, или инженер. Но теперь, будь ты хоть профессор, квартиру тебе никто не даст. Надо покупать за свои деньги. И таких денег не заработать за всю свою жизнь, если ты врач, учитель или инженер.

Не нужна эта учеба. Тем более, алгебра. Везде уже есть компьютеры, которые сами все за человека считают и решают, любое уравнение, хоть с двумя неизвестными, хоть с двадцатью! А все эти тетрадки в клеточку — каменный век...

Думая так, Мовлади все же собрал книги и тетради в сумку. Скоро зайдет в комнату мать и спросит:

— Сынок, ты сделал уроки? Собрался в школу?

— Да, мама. Я все сделал!

И тогда она скажет, как всегда:

— Учись, сынок! Ты теперь у нас один остался. А мы с отцом уже старые, больные. Если учиться не будешь, как на ноги встанешь?..

Мама повторяет это почти каждый вечер. А Мовлади сжимает зубы и думает: я встану, мама, я обязательно встану на ноги! И всем нашим помогу. И у вас все будет — и холодильник новый, и ремонт сделаем, и навес во дворе поставим, *рагху*. И сестре не придется стыдиться родства с нами перед Алхазуром. Я буду приезжать к ним в гости сам, на свои деньги и привозить много подарков сестре и племянникам. Буду забирать детей на каникулы в Шали, чтобы вы могли с ними нянчиться, чтобы они росли и получали воспитание на родине, земле отцов, *даймохк*.

Только вот школа... Школа в этом не поможет. Чтобы всего достичь, нужно заниматься не алгеброй, а совсем другими делами...

Утром Мовлади проснулся от пиканья китайского будильника. Не открывая глаз, нашарил рукой пластмассовый корпус и нажал большую красную кнопку. Пиканье прекратилось. Мовлади потянулся всем своим юным телом, упершись ногами и головой в деревянные борта кровати, которая стала ему мала.

В окно, пробираясь через зеленые гирлянды на ветках сливы, заглядывало теплое и светлое солнышко. От этого было спокойно и радостно. Просто так. Так ведь бывает. В детстве так бывает, и даже часто. Конечно, Мовлади уже не был ребенком, он едва помещался в своей старой кровати. Ему было шестнадцать лет, он учился в девятом классе, на его лице сквозь еще нежную, не задубевшую под бритвой кожу начинали просачиваться белесые кустики мужской растительности. Но порою ему бывало радостно просто так, от того, что приветливое солнышко индийского лета заглянуло в окно, раздвинув еще не пожелтевшие листочки сливового дерева, от того, что на ветке чирикает неугомонный воробей!

...И ведь не напишешь об этом по-другому. Только так — фразами из школьного сочинения, в котором солнышко всегда приветливое, а воробей неугомонный. Я и сам раньше писал такие сочинения. И, конечно, никто тогда не ругал меня за формульное письмо и литературные штампы. И как иначе было писать?! Жизнь и судьба сами казались устойчивыми эпитетами. А вот теперь, случись мне поменяться местами с Мовлади, солнце раздражало бы кожу лица, как спиртовой лосьон после бритья дешевым одноразовым станком, воробей оказался бы глупым и надоедливым, а сливовое дерево... Сливовое дерево перед окном вообще давно пора спилить. Его и спилили, давно...

Но это мое время, время моего мира. В мире Мовлади все было еще так, как было и в моем мире, когда моему миру было меньше шестнадцати лет. Или почти так...

Мовлади присел на кровати, протирая кулаками глаза и улыбаясь. Взял со стула застиранные тренировочные штаны с отвисшими колленками, натянул на свои длинные худые ноги. Вышел во двор и умылся холодной водой из-под крана. Немного попил, той же самой воды.

Вода была вкусная, вкуснее, чем «Нарзан» или другая минеральная вода, которую продавали пластиковыми бутылками в лавках и магазинчиках. Пил из ладошек, сложенных лодочкой, оглядываясь, чтобы не заметили мать или отец. Родители не разрешали пить воду из-под крана.

Раньше, до войны, все пили сырую воду. Мовлади был тогда еще совсем маленьким, но и он помнил, а может, ему казалось, что он помнит, как отец любил набрать воду из-под крана в граненый стакан, стенки которого сразу запотевали от родникового холода, и пить, большими глотками, с заметным удовольствием.

Раньше все говорили, что у нас вода очень вкусная и полезная. Не то, что в городах, где в нее добавляют хлорку. Водой с хлоркой мыли туалеты в детском саду и в школе, и Мовлади недоумевал: как можно мешать такую гадость в питьевую воду или готовить на этом растворе? Все равно как пить из ведра для мытья полов!

Водокачки в Шали стояли на природных источниках, на родниках с минеральной водой.

Водокачки и сейчас на них стоят.

Но после войн грунтовые воды стали отравленными, родники ядовитыми. Может, от горения нефти и химических дождей. А может, русские действительно использовали это оружие, отравляющие вещества.

Временами то в одном селе, то в другом вспыхивают очаги непонятных заболеваний. Чаще всего болеют дети. Их не лечат, а болезни официально объявляют следствием нервных расстройств и самовнушением. Симптомы же указывают на боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия. Так говорят люди. Говорят, но тихо, когда чужие не слышат.

Теперь мать набирает воду из-под крана в большие эмалированные кастрюли и отстаивает ее во дворе, по совету соседа. Сосед был агрономом и знал толк в ядохимикатах, применявшихся в сельском хозяйстве. Он объяснял так: нужно налить воду в большую емкость и дать ей постоять без крышки не меньше суток. За это время летучие яды испарятся, а тяжелые осядут на дно емкости. На следующий день надо осторожно, не размешивая воду, отлить из емкости в другую посуду две верхних трети. Эта вода очищена, ее можно пить, на ней можно готовить еду. А нижнюю треть лучше вылить там, где ничего не растет: в этой воде — осевшие тяжелые яды.

Мовлади не очень верил в научность и эффективность таких операций. Они больше походили на суеверие и алхимию. Тем более что мать, втайне от отца, еще и опускала в воду на ночь серебряный крестик.

Крестик дала другая соседка, русская. Эта соседка объясняла, что серебро лучше всего очищает воду и выводит яды. Мать, чтобы уже наверняка, пользовалась двумя методами одновременно.

Отец Мовлади — мусульманин. Он делает *ламаз* и держит пост на Уразу. Вот рассердился бы он, узнав, что мать кладет в воду христианский крестик!

А может, и не рассердился бы. Неужели он сам ни разу не замечал? Наверняка замечал, просто делает вид, что не знает. Главное — чтобы не узнали другие — соседи или родственники.

А соседи небось тоже очищают воду крестиками, это как пить дать! Но так, чтобы никто не увидел.

Взрослые люди, они странные.

Еще совсем недавно вообще ни во что не верили, теперь все должны быть обязательно мусульманами, а иначе не принято и даже неприлично.

Мовлади многое не нравилось. Только спорить со старшими или не слушаться их — очень плохо. То есть можно, конечно, и не слушаться, только не напоказ, не в открытую.

А вода из-под крана все равно вкусная! И Мовлади пил ее. Но так, чтобы мать не увидела.

Мать уже приготовила еду на летней кухне и звала сына позавтракать перед школой. На сковородке дымилась жирная, в сливочном масле яичница с луком, на столе выложен белый хлеб, свежие помидоры и огурцы.

— Ешь, мой мальчик! — говорила мать. — Наедайся на весь день!

Она права. В школе шесть уроков, пообедать будет негде и нечем, в следующий раз он поест, только когда вернется домой. И Мовлади завтрак, запивая еду горячим чаем, обжигаящим губы. Дожевывая последние кусочки на ходу, забежал в дом, переодеться для школы — синие джинсы, майка с надписью «YAMAHA» и куртка на молнии, «бомбер».

Мовлади едва успел одеться и схватить собранную с вечера сумку, как услышал у своих ворот мелодию из любимого кинофильма про бандитов на клеовой тачке. Это пришел Лёма.

Когда Мовлади и Лёма были совсем пацанами, они вызывали друг друга из дома условным свистом. У них был свой собственный свист. Или просто выкрикивали имя. Но теперь они старшеклассники, почти взрослые, женихи! Стыдно взрослым парням свистеть или орать на всю улицу. Поэтому Лёма стал звать друга, включая на полную громкость мелодию в мобильном телефоне.

Мовлади выскочил за ворота, по-братски обнялся с Лёмой, и мальчики пошли в школу. Школа — в центре, Мовлади и Лёма жили на окраине. Путь до школы занимал около получаса. Но им никогда не было скучно вдвоем, и дорога за разговорами и дурачествами проходила незаметно.

Едва Мовлади и Лёма вышли из своего переулка, как мимо них проехала тонированная «десятка». Водитель просигналил приветственно, но не остановился, а, напротив, поддал газу, обдав мальчиков выхлопом. За темными стеклами автомобиля ничего не было видно, но мальчики были уверены, что на заднем сиденье — девушка, их соседка Фатима.

— Как не стыдно! — покачал головой Лёма. — Мусульманка... Да еще тонированные стекла!

В самом деле, Фатима ведет себя неподобающим образом. А ведь козынку носит, *хиджаб* соблюдает. Да только что толку в косынке, какой это хиджаб, если она, молодая девушка, садится к парню в машину с тонированными стеклами?! Хорошая чеченская девушка даже во время свидания близко к парню не подойдет. Встанет в десяти метрах — и ни на шаг ближе: говорят что-то друг другу, а сами не слышат, только глазами хлопают. Потому даже свидания и называются «моргушками»...

— Она же его соседка — забор к забору, — застывает Мовлади. — Он просто подвозит ее до школы. Знаешь, как говорят: близкий сосед дороже дальнего родственника.

Мовлади пытается оправдать поведение девушки, но выходит как-то неубедительно, и он заканчивает шуткой:

— А если бы у него стекла были прозрачные, тебе было бы легче? Тонированные стекла — это тоже такой хиджаб. Типа чадра для тачки!

За рулем «десятки» сидел их одноклассник Адлан. Адлану еще не исполнилось восемнадцати, и водительских прав у него нет. Зато есть отец, богатый бизнесмен, и дядя, начальник в милиции. Поэтому Адлан уже имеет свою машину и может ее водить. Права у него никто из местных не проверяет.

Собственно, права в Шали вообще не проверяют. Если машину останавливают, проверяют паспорт, следы приклада на плече, багажник,

могут перевернуть вверх дном весь салон. Ищут оружие или какие-нибудь улики, доказывающие причастность к боевикам. Но, если вдруг находят на своей ладони немного денег, могут и отпустить.

Никто уже не помнит, когда в Шали в последний раз останавливали только за нарушение правил дорожного движения, — если говорить об обыкновенных правилах. Особые правила дорожного движения в Чечне нарушать очень опасно. Особые правила таковы: пропусти военных, пропусти милиционеров, пропусти начальников и, главное, пропусти кадыровцев. И неважно, помеха они справа или слева, на главной дороге или второстепенной, что говорят дорожные знаки и разметка. Если не пропустишь кадыровцев, жди неприятностей.

Хотя, если пропустишь, все равно жди неприятностей. В новой Чечне есть такая примета: увидеть кадыровца — к беде.

У Адлана дядя хорошо знаком с кадыровцами, поэтому Адлан расскажет по городку на собственной тачке и даже подвозит до школы красотку Фатиму. А Мовлади с Лёмой он никогда не предлагал подвезти их до школы, хотя они ему тоже соседи. Конечно, ведь везти Фатиму гораздо интереснее!

Да и не дружил Адлан ни с Мовлади, ни с Лёмой. В школе у него были свои друзья, такие же крутышки, как он сам, мажоры.

Дорога до школы проходила мимо районной поликлиники, мимо автобусной станции и рынка, потом через площадь наискосок, между зданиями администрации, построенными еще в советские времена. Мовлади с Лёмой успевали наговориться обо всем, что им было интересно и чего нельзя было обсудить со старшими.

— Гордый человек Адлан, зазнается, — сказал Лёма по-чеченски. И тут же перешел на русский: — Понты колотит, а сам обыкновенный чмошник!

И впрямь, если разобраться, кто он такой, Адлан? Что он сделал сам? Взял у папаши тачку и думает, что теперь он Джеймс Бонд! Тоже герой: если бы не отец и не дядя, кем бы он был?!

Мовлади как бы отвечал Лёме и в то же время говорил о своем:

— Хорошо милиционерам. Они много получают.

— Даже после отчислений в фонд Кадырова остается достаточно!

— Ага, добровольно-принудительных...

— Ну так что, пять тысяч долларов — и ты милиционер, — сказал Лёма.

— У меня нет пяти тысяч долларов, — отрезал Мовлади.

— За полгода отбиваются, дальше чистая прибыль.

— Знаю. Но у меня все равно нет таких денег. И у моих родственников тоже нет.

А вот Адлана возьмут в милицию: папаша за него заплатит. Или вообще без денег: дядя устроит. Да только Адлан не пойдет в милицию. Он же трус и слабак. Адлан уедет в Россию, учиться в институте.

— Слушай, — спросил вдруг Лёма, — а почему семья Адлана еще не переехала в Россию? У них же полно денег!

Мовлади задумался, перевесил сумку с книгами и тетрадками с одного плеча на другое и ответил:

— А кто они будут в России? Никто не будет даже знать, как их фамилия. Там своих богачей хватает. А здесь они знаменитые...

— Может, и Адлан не поедет в Россию. Останется работать в милиции.

— Да ты что! Чтобы в милиции работать, нужно в армии отслужить. А в армию Адлан точно не пойдет: папаша его откупит.

Мовлади вздохнул:

— И мне сперва надо в армии отслужить.

— В милицию берут и тех, кто был в боевиках!

— Ну, — хмыкнул Мовлади, — из боевиков вообще можно уже не в обычную милицию, можно сразу в кадировцы проситься!

— Ага, кадировцам еще лучше, чем милиционерам! Им все можно.

— Кадировцем быть круто! Я бы пошел в кадировцы!

— Ты что?! — испугался Лёма. — Родители проклянут...

Мовлади замолчал: друг был прав. Старшие никогда не разрешили бы Мовлади идти в кадировцы, даже если бы у него вдруг возникла такая возможность. Отец Мовлади называл кадировцев «опричника-ми». Придумал он это прозвище не сам — прочел где-то в российских газетах. Матери газеты читать было некогда, умными словами она не бросалась и называла кадировцев просто — пастухами, горцами, понаехавшими, сучьими детьми или бессовестными ублюдками, — по настроению.

Конечно, все это произносилось только дома, при закрытых дверях и прикрытых окнах. Не приведи Аллах обмолвиться дурным словом о Кадырове и его приспешниках на людях! Нет больше прежних чеченцев, теперь каждый пятый стал сексотом, и если твои слова слышали больше четырех земляков, то кто-нибудь обязательно донесет. А кадировцы отомстят за каждое неосмотрительно оброненное слово.

Не так давно один пожилой мужчина на людях выразился плохо о кадировцах. Кадировцы обыскивали автобус Шали—Грозный, толкали женщин, пинали детей, грубили старикам. Тот мужчина и не выдержал, сказал: «Где вы потеряли свою честь и совесть, парни? Как вы себя ведете? Вы уже не чеченцы, вы стали хуже русских!»

Того мужчину кадировцы выволокли из автобуса, бросили на асфальт и долго избивали ногами и прикладами автоматов. И это ему еще повезло!

Один из кадировцев так и сказал: «Тебе еще повезло, старик! Но если мы только узнаем, что ты продолжаешь клеветать на Рамзана и его людей, защищающих законное правительство, родственники не найдут твоей ваххабитской башки, чтобы похоронить ее вместе с туловищем!»

Так и бывает. Не то что головы, вообще ничего, и следов тела не могут найти, если человек критиковал Кадырова и его людей.

Мовлади грустно согласился:

— Э, Лёма, правду говоришь. Старшие ничего не разрешают. Только и говорят: учись, учись... А что толку в этой учебе?! Ничего, когда стану

богатым, все меня будут любить и уважать. Разве не так, Лёма? Разве не так?

— Ты говоришь верно, Мовлади: главное — деньги. Теперь всё — деньги: вместо чести и совести, вместо *гхылк*. Да только разве это хорошо?

— А что хорошо, Лёма? Что хорошо?! Шептаться по домам, закрывать двери, всего бояться — и завидовать? Это — хорошо?

— Не знаю, Мовлади, я не знаю... Я тоже хочу быть богатым... Но чтобы не так, чтобы по-другому! Я хочу быть богатым и сильным, но я не хочу нарушать *гхылк*. — Лёма смущенно покосился на товарища: не смеется ли. — Просто хочу показать этим зазнавшимся чмошникам, таким, как Адлан, что такое быть настоящим человеком и настоящим мужчиной!

— Ты, наверное, и на Фатиме еще хочешь сам жениться? — съязвил Мовлади.

Лёма вспыхнул:

— Сейчас как дам тебе по шее!.. Я вообще ни на ком не буду жениться. Только на Анджелине Джоли.

— Жениться на Анджелине Джоли — это *харам*! — Мовлади с приторным благочестием погрозил пальцем.

Харам в исламе означает «запретное». Жениться на немусульманке, к тому же актрисе, чье обнаженное тело видел весь мир, конечно, *харам*. — Насрам я на твой *харам*!

Пиететом перед религиозными установлениями Лёма не отличался. Но почувствовал, что перебрал, и добавил: — А вообще, может, она ради меня примет ислам и будет в полном *имане*, праведности!

Лёма сделал серьезное лицо и погладил руками несуществующую бороду. Мовлади последовал его примеру, а через минуту оба уже хохотали в полный голос, входя через ворота во двор школы.

— Подождешь меня после уроков?

— Конечно. Мне надо тебе кое-что рассказать.

После уроков Мовлади ждал Лёму у мостика перед школьной оградой. Ограда была новенькая, из деревянного штакетника, выкрашенно-го в зеленый цвет. Раньше школу огораживала проволочная сетка, натянутая между железными столбиками. Во время войны в школе засели боевики, и здесь развернулось целое сражение. Сетка тогда сильно пострадала. Недавно убрали ее остатки и поставили вот эту новую ограду. Сначала некрашеную. Потом школе выделили краску со склада российской военной части, и девушки из старших классов покрасили штакетник в зеленый защитный цвет.

Ремонт в самом здании школы, пострадавшей в бою, сделали раньше. Но и сейчас на красных кирпичах были видны выбоины от пуль и осколков. Вдоль ограды — канава для стока дождевой воды. Рассказывают, что в тот день она была полна трупами русских солдат, штурмовавших здание.

У входного проема ограды через канаву перекинут бетонный мостик. На этом месте и ждал Лёму Мовлади. Лёма задерживался. Он вышел, когда все одноклассники уже прошли мимо Мовлади.

— Что, опять Фатиму искал? — улыбаясь, спросил Мовлади. — Зря, я видел, она после пятого урока домой пошла. И Адлан, кстати, тоже поехал...

Лёма просто взбесился:

— Слушай, ты меня достал со своими шуточками! Не нужна мне эта сучка! И знать не хочу, куда она девалась, с кем поехала!

Мовлади кивнул:

— Правильно, брат. Выбрось ее из головы: ни скромности, ни чести. Найди себе честную девушку и женись с миром!

Лёма понял, что друг опять издевается, и отвалил ему подзатыльник. Мовлади в ответ ткнул Лёму кулаком в живот, но не сильно. Мальчики засмеялись. Тема была закрыта, больше по пути домой они о школьной красавице не вспоминали.

— Ну, так что ты мне собирался рассказать? — спросил Мовлади, когда они перешли мостик.

Лёма посерьезнел, даже слегка нахмурился.

— Знаешь, кто теперь живет в доме Айны?

Дом Айны знали все мальчишки в округе: он стоял прямо у водокачки. С детства помню его и я. По форме водонапорная башня напоминала гранату циклопических размеров: стальная труба метров десяти в высоту и четырех в диаметре, а сверху широкий цилиндр резервуара. Башня сохранилась с советских времен. Только тогда она не напоминала мне гранату. Это была просто башня, огромная, железная. Сказочная. Когда в жаркий летний день водяной насос под башней наполнял ее холодной подземной водой, на железе выступали капли конденсированной из атмосферы влаги. Вода доходила до самого верха и тогда начинала литься из отводной трубы под крышей. Мы, дети, конечно, прыгали под падающую с многометровой высоты водную струю, орали, промокали до нитки, а в вихре водяных брызг играла радуга. Хотя старшие посылали нас выключить насос до того, как башня переполнится, — нажать красную кнопку в сарайчике рядом с водокачкой. Но так было бы неинтересно. Получив ключ от сарайчика, мы бежали к башне, но не спешили выключать насос, даже когда темная полоса, отмечающая уровень воды, доходила до самого верха. Только вдоволь наигравшись под холодным потоком, мы нажимали на кнопку. Если, конечно, раньше на нас не начинала ругаться свекровь Айны, тогда еще совсем молодой, которой льющаяся с башни вода подтапливала огород.

С тех пор прошли больше двадцати лет и две войны. Свекровь Айны умерла после первой. Во второй случайная пуля убила мужа Айны. Насос водокачки поменяли, и в сарайчике установили новый пульт. А башня осталась той же. В округе — дома не выше двух этажей, и вода течет в трубах по закону сообщающихся сосудов, под естественным напором из высокого резервуара. Забрав обоих детей, Айна уехала в Ачхой-Мартан к своим родителям. В один день собралась. А дом продала...

— Да? И кто же там живет? — спросил Мовлади.

— Дядька, лет тридцати. Не местный: его никто не знает. Непонятно, чем занимается, где работает. И откуда у него деньги — на дом и на жизнь...

— И что?

— Нет, ты послушай, Мовлади. Он очень странный человек: борода-тый. И вообще, говорят, что он, — тут Лёма оглянулся, не идет ли кто следом и не подслушивает ли за ними, — что он ваххабит.

— Конечно, если бородастый — сразу ваххабит, — саркастически засмеялся Мовлади. — Кадыровцы тоже бородастые. Да мало ли кто бороду носит! Может, ему просто бриться лень, или лезвия не на что купить. Я бы тоже отрастил себе бороду! Вот только что-то не растет пока...

— Да не, не в бороде дело... Ты слушай, он... Он со мной разговаривал... об этом...

Приятель подставился, и Мовлади не преминул воспользоваться моментом, чтобы снова подшутить над ним.

— Друг, я за тебя переживаю! Может, такому сладкому мальчику, как ты, не стоит разговаривать с незнакомыми бородастыми мужчинами, да еще и об «этом»! Кто знает, что у них на уме... Скажи, — спросил Мовлади с самым серьезным и сочувствующим выражением на своем нахальном лице, — он звал тебя в гости? Трогал разные места? Откройся мне как доктору, не стыдись. А может, тебе даже понравилось?

Но усилия зубоскала пропали впустую. Лёму несколько не задело, он равнодушно пожал плечами и сказал:

— Этот человек разговаривал со мной о вере. О настоящем исламе. И в гости приглашал. Обещал дать запрещенные книги. Пошли, сходим вместе.

Теперь в доме Айны жил одинокий мужчина — тот, о котором говорили мальчики. Он носил бороду на лице, тубетейку на бритой голове и спортивный костюм «адидас» на худощавом теле. Если у мужчины проверяли документы, он предъявлял паспорт, согласно которому его звали Мансуром Элхановым. Через неделю после вселения в дом Айны в его паспорте появилась и шалинская регистрация по постоянному месту жительства. Так что претензий к его документам не было. Любопытным он говорил, что приехал из Ведено, что его дом разбомбило, семья погибла, он давно хотел переехать, и все такое. Словом, обычная история: все, кто приезжают в Шали, рассказывают примерно одно и то же.

Впрочем, ни местные жители, ни милиция в любом случае большого интереса к Мансуру не проявляли. Может быть, потому, что его пару раз видели беседующим с кадыровскими бойцами; те по-братски обнимали его и жали ему руку. А лишний раз связываться с кадыровцами или даже с их приятелем никому не хотелось.

Соседи относились к новоприбывшему осторожно и с опаской. Если бы родители наших мальчиков узнали, что те ходят в гости к Мансуру, мальчиков ждал бы разнос. Поэтому Лёма и Мовлади посещали дом Айны, соблюдая все меры предосторожности и предельную конспира-

цию. Они не входили в ворота, а всякий раз перелезали через ограду в сад, когда по дороге никто не шел и не ехал. Дверь дома Мансура по вечерам была открыта. Мальчики находили хозяина делающим намаз или готовящим пищу на кухне. Иногда Мансур читал, или писал, или разговаривал с кем-то по мобильному телефону.

Новый друг встречал мальчиков сердечным саламом, усаживал на ковер, учтиво спрашивал о делах. Вообще он разговаривал с ними как со взрослыми, как с равными себе, и мальчикам это не могло не нравиться.

Они не сразу решились прийти. «За» голосовало любопытство. И еще, пожалуй, дерзкое желание самоутвердиться наперекор родительскому мнению. Потому что, конечно, страх перед родителями голосовал «против». Старшие не отпустили бы своих детей в кадыровцы, а в боевики не отпустили бы тем более. И в ваххабиты. А слухи о том, что Мансур ваххабит, оказались не пустой болтовней.

Это было странно, но Мансур, нисколько не опасаясь, с самой первой встречи начал проповедовать Мовлади и Лёме. При том что слово «ваххабит» было теперь едва ли не самым страшным ругательством, а кадыровцы обещали снести башку всякому, от кого будет хотя бы самую малость пахнуть ваххабизмом. А уж кадыровцы-то должны знать, как он пахнет: многие из них сами еще недавно были ваххабитами.

Однако Мансура никто не трогал. Кадыровцы вроде бы даже с ним дружили. Наверное, мальчики могли бы заподозрить неладное, но их все это не слишком беспокоило. В их книжке-раскраске мира и боевики, и кадыровцы были закрашены одинаковым цветом: цветом оружия, насилия, власти. Цветом успеха и силы. Цветом, который манил и дурманил, звал к другой жизни, к спасению от задавленного быта, испуганных обывателей и глупого родительского дома.

У Мансура на все были ответы. Когда Мовлади стал говорить о несправедливости в жизни, о том, что подонки купаются в деньгах, а нормальный человек часто живет в бедности, Мансур закатил глаза и произнес: «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми. И пусть они не приближаются к Заповедной мечети. Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый».

О чем бы ни начинал рассказывать Мансур, он заканчивал аятом из Корана, в котором правоверные призывались к оружию, к участию в священной войне. Слово «ваххабизм» при этом не произносилось никогда. Мансур говорил об исламе, об истинных мусульманах, и только. Но мальчики, конечно, понимали, что это и есть ваххабизм.

Одним осенним вечером Мансур и мальчики сидели на закрытой веранде дома Айны и пили зеленый чай из фарфоровых пиал. На улице моросил дождь, дождь шелестел по желтеющей траве и листьям, как ворох тараканов, сыплющихся из темной ваты облаков, с неба, напоминающего старый матрас. На улице развезло хлюпающую глину, замазало грязью дороги и тропки. Там было мокро и неуютно.

Под лампочкой, освещавшей веранду, вились запоздалые насекомые, еще не убитые осенними холодами. Лампочка струила желтый купол сухого и теплого света. У вершины купола клубился рой обреченной мошкеры, под роем склонили головы над пиалами с чаем мальчики и Мансур.

Лёма поставил пиалу на стол и спросил:

— Мансур, откуда такое слово — «ваххабизм»?

— Его придумали неверные.

— Но все-таки?

Мансур задумчиво погладил свою бороду и вдруг заговорил важно и торжественно — словно читал по книге:

— Мухаммад ибн Абд-эль-Ваххаб родился в 1703 году в аравийском городе Уяйне, в семье улемов, просвещенных богословов рода Ааль аш-Шейх. В десять лет он уже знал весь Священный Коран наизусть и проник в его смыслы. Мухаммад ибн Абд-эль-Ваххаб, мир ему, не создавал никакой новой религии или секты. Он лишь восстановил ислам в его первоначальной коранической чистоте. Поэтому только неверные называют истинных мусульман сектой ваххабитов. Это они, так называемые мусульмане, в действительности являются сектой, так как следуют не Пророку и Священному Корану, а своим «святым», поклоняются не единому Аллаху, а камням и гробам.

— Ставят памятники бывшему муфтию, — поддакнул Мовлади.

Мансур посмотрел на него молча. Потом открыл зеленую книжку на странице, заложенной листочком бумаги, и произнес:

— Истинный мусульманин должен прежде всего соблюдать *таухид*, единобожие, не почитать никого и ничего, кроме Аллаха. Истинные мусульмане, которых язычники называют ваххабитами, сами зовут себя *муваххидунами*, монотеистами, или единобожниками. *Муваххидун* не путешествует на поклонение к гробам, даже к гробу в Медине, не использует при молитве четки, не носит шелка и золота, не курит табак. Свое тело и душу *муваххидун* отдает *джихаду*, священной войне за веру...

Когда Мовлади и Лёма покинули дом Айны, было уже совсем темно. И дождливо. Поэтому они выходили через калитку, не таясь. Лёма относился к проповедям Мансура очень серьезно. Насупившись, он произнес:

— Я решил. Я тоже буду... муха... мува... *муваххидуном!*

— Ваххабитом?

— Муваххидуном! Мансур же все объяснил сегодня.

— И как ты себе это представляешь?

— Ну... буду соблюдать все ограничения.

— Какие, Лёма? Курить ты и так не куришь. *Хаддж* в Медину тебе не светит. В Мекку, впрочем, тоже. Золота у тебя нет. Ты и так ваххабит. О, извини, муваххидун! Все мы тут... муваххидуны.

Лёма разозлился:

— Но если ты ничему не веришь и ни с чем не согласен, почему ты продолжаешь ходить к Мансуру, сидишь, киваешь, поддакиваешь?

— Лёма, я не знаю, что будет после смерти и будет ли вообще что-нибудь. Но в этой жизни, чтобы быть человеком, нужна власть, нужны деньги. Родители хотят, чтобы я закончил школу. Хорошо, я закончу. А что дальше? Институт? Но даже если поступлю, родители не смогут кормить меня еще пять лет. Значит, меня заберут в армию, а потом я буду работать на консервной фабрике грузчиком или на стройке мешать бетон лопатой. Ни одна приличная девушка не пойдет за меня. Я женюсь на старой *жьеро*, вдове, а мои дети проклянут меня после моей смерти как неудачника и выбросят труп на помойку.

— Ну и картинку ты нарисовал, — Лёма не смог удержаться от улыбки.

— Беда в том, что это правдивая картинка...

— А причем тут Мансур?

— Да все очень просто. У ваххабитов богатые спонсоры, арабские шейхи. Там можно хорошо заработать. А нет, — сдамся Кадырову под очередную амнистию, и он возьмет меня в свою гвардию, как всех бывших боевиков.

— Некоторых бывших боевиков берут не в гвардию, а в Чернокозово — в лагеря и тюрьмы, братишка.

— Можно подумать, что сидеть дома безопаснее, чем воевать в горах! Да и Мансур поможет. Не зря ведь у него столько друзей-кадыровцев. И потом помнишь, как в аяте: если вы боитесь бедности, Аллах обеспечит вас богатством, если пожелает? А у меня, Лёма, просто нет другого шанса стать человеком! Да и у тебя тоже. А жалкой скотиной я быть не хочу. Лучше умереть молодым.

И время пришло. Разговоры за столом с пиалами зеленого чая в теплых ладонях, смыслы аятов Священного Корана, наставления и увещевания, — мальчики понимали, что это не еще не все, это подготовка. Раньше или позже им поручат... что? Их заберут... куда?

Мовлади точно знал только, что не согласится быть смертником. Весь его план тогда бы не имел никакого смысла. И Лёма тоже. Лёма хотел быть праведником, настоящим мусульманином, — но живым. Он не хотел оставить без поддержки своих младших братика и сестренку.

Когда Мансур сообщил, что для них есть задание, мальчики почувствовали волнение и облегчение одновременно: наконец-то. Ведь ожидание страшнее всего, и картинки рисуются в голове: захваты заложников, подрывы стадионов. Задание оказалось проще: предстояло познакомиться с «лесными братьями», товарищами по *джамаату*, общине. И заодно передать религиозную литературу для распространения в Дагестане. Мансур, конечно, мог бы сделать это и сам. Но пора мальчикам уже не только слушать о *таухиде*, но и приобщаться к *джихаду*, к усилиям на пути истинной веры.

Это было как гора с плеч. Конечно, истинную веру нужно распространять! Ваххабитская литература запрещена, но хотя бы не придется умирать или убивать кого-нибудь.

Это было в воскресенье. Как и договаривались, Мовлади и Лёма пришли к водокачке к десяти утра. У башни их ждал Мансур, в белой «копейке», которую раньше мальчики у него не видели. Мансур сказал, что книги в багажнике. Мальчики сели на заднее сиденье, и машина тронулась. Они проехали все Шали, свернули на дорогу к Сержень-Юрту, проехали Сержень-Юрт и еще долго ехали дальше, в лесистых горах, мимо бывших пионерских лагерей. Мансур был молчалив. Мовлади задумался. Лёма смотрел в окно автомобиля.

Наконец, «копейка» въехала на лесную просеку и остановилась. Мовлади тут же проснулся.

— Приехали?

— Да, — выходя из машины, отозвался Мансур. — Отсюда пойдете пешком: прямо по просеке. Метров через двести увидите большой валун. Там будет тропинка направо. Свернете по ней и пройдете до первой поляны. На поляне ждите, товарищи придут туда.

— А ты?..

— Я подожду в машине. Передадите литературу и возвращайтесь.

Мовлади хотел спросить, почему Мансур не идет с ними, но постыдился. Не к лицу мужчине показывать, что он не уверен в себе. А вдруг Мансур ответит: мне стыдно водить вас за ручку, как маленьких детей... Вместо этого он спросил неожиданно хриплым голосом:

— Но как мы их узнаем?

— Они сами вас узнают...

Мансур открыл багажник. Кроме рюкзаков с литературой там лежали два комплекта одежды защитного цвета. Мансур велел мальчикам переодеться.

— А это зачем? — спросил Мовлади.

— Чтобы вы были похожи на настоящих бойцов *джихада*, — сурово произнес Мансур. — Или товарищи спросят меня, зачем я послал к ним двух сосунков, одетых как панки.

Мальчики переглянулись. Джинсы, футболки с надписями, модные рубашечки, яркие курточки. Да, в таком прикиде можно разве что на дискотеку в России.

Мансур смягчил голос и добавил:

— И дома не придется объяснять, где вы так запачкались. В лесу грязь после дождей. Вернетесь и переоденетесь в свое.

Неуклюже стянув с себя джинсы, мальчики переоделись и взялись за рюкзаки. Лёма расшнуровал свой и заглянул внутрь. Он думал сделать это незаметно, но перехватил укоряющий взгляд Мансура и тут же зашнуровал рюкзак. Внутри действительно лежали книги. Мовлади тоже заметил, что сделал Лёма, но ничего не сказал.

Когда мальчики уже забросили рюкзаки за спину и поправляли ремни на плечах, что-то зашипело. Мансур достал из кармана рацию и коротко сказал: да, они уже выходят, ждите.

Мальчики пошли по просеке. Лёма оглянулся: Мансур смотрел куда-то в сторону, потом сел в машину и закрыл за собой дверь.

Под ногами ломались влажные опавшие ветки. Лес уже сбрасывал маскировочную «зеленку», багровел и желтел осенним колером. Шли молча. Только когда за валуном показалась тропа, Лёма сказал вслух:

— Наша дорога.

— Точно. Все, как сказал Мансур... Лёма!

— Что?

— А если бы в рюкзаке были не книги, то что? Что бы мы сделали?

— Не знаю...

— Наверное, все равно бы пошли.

— Наверное...

Мовлади подправил ремни тяжелого рюкзака и зашагал быстрее. Он шел и думал, что бывает такой момент в жизни, когда ты что-то решаешь, а потом уже ничего не можешь изменить. Сворачиваешь на тропу, а дальше — только вперед, что бы там тебя ни ждало. Ты просто не можешь ничего изменить. Все подталкивает тебя к тому, чтобы ты шел вперед по этой тропе.

И где был этот поворот у них двоих? За валуном?

В том-то и дело, что непонятно, где был тот поворот: сейчас у валуна, или утром у водокачки, или месяц назад у Мансура... А может, в прошлом году, когда Адлан в первый раз приехал в школу на машине, а Фатима вылезла с заднего сиденья. Они прошли тогда мимо Лёмы и Мовлади, и Адлан, не подавая руки, небрежно бросил им «привет»... Может, тогда они оба решили, что должны стать настоящими мужчинами, а не презренным бессловесным скотом?..

— Слушай, Лёма, я вот что подумал сейчас, — неуверенно протянул Мовлади. — Может быть так, что когда ты принимаешь решение, ты еще не знаешь, какую дорогу выбрал?

Мальчики прошли еще несколько минут молча по тропе, едва заметной под опавшей листвой.

— Но у нас вроде все хорошо? — спустя какое-то время не совсем впопад отозвался Лёма.

— Все хорошо, — кивнул Мовлади. — Мы просто передадим книги и познакомимся с товарищами по вере.

И тропа привела на поляну, о которой говорил Мансур. Плоскую вытоптанную площадку обрамляли колючие кусты шиповника, посередине была вмятина, — скорее всего, воронка от взорвавшейся мины. Рядом с воронкой лежало поваленное дерево. Издевательством природы оно было оставлено в живых и продолжало существовать в горизонтальном положении. Часть корней, вырванных взрывом и засохших, болтались в воздухе, но некоторые продолжали цепляться за землю. А из ствола поднимались тонкие хилые ветки, — поднимались перпендикулярно стволу, вверх. Летом они были бледно-зелеными, сейчас пожухли.

Мальчики остановились и смотрели на дерево. Они ничего не сказали, но подумали о том, что дерево должно жить стоя и умирать, когда упадет. Мрачно и зловеще выглядит почерневшее, высохшее дерево, которое продолжает стоять и тянет к небу ломкие кости своих омерт-

вельх ветвей. Но дерево, которое зеленеет поверженным, выглядит нелепо, отвратительно.

Мальчики сняли с плеч рюкзаки и сели на поваленный ствол.

Они ждали совсем недолго. Вскоре затрещали кусты, и на поляну вышли несколько человек с лицами, закрытыми черными шерстяными масками, как у грабителей в голливудском кино, в камуфляжной форме без знаков различия, с автоматами наперевес.

Мальчики встали и шагнули к ним.

Они не успели ничего сказать.

Камуфляжные люди одновременно вскинули автоматы и очередили от живота прочертили поляну, срезая пулями нижние ветки деревьев и неестественные горизонтальные отростки поваленного ствола.

Мовлади упал свернувшись, сложившись, как сброшенный с грузовика наполовину пустой мешок с початками кукурузы. Лёма падал на спину, долго, хватая ртом воздух, размахивая руками, как будто он пытался плыть или тонул в сияющем воздухе осени.

Входные отверстия ран едва сочились кровью. Это значило, что оба мальчика мертвы. Сердца остановились и не качали больше кровь. Из раненых, если они еще живы, кровь бьет фонтаном. Из мертвых тел кровь еле течет.

И все же один из камуфляжных людей подошел на несколько шагов ближе, перевел автомат на стрельбу одиночными и один за другим прострелил оба черепа, брызнувших на опавшую многоцветную листву темными сгустками мозга и кровью с костными осколками.

Закончив работу, камуфляжные люди сняли шерстяные маски.

— Чисто!

— Доставай фотоаппарат.

— Подожди. Раскрой рюкзаки. Книжки видно? Положи автоматы — поближе, совсем рядом. Да не переворачивай их!

— Блядь, у них бород нет!

— Али, сучий сын, опять сосунков из школы прислал!

— Размажь морды прикладом. Еще. Вот так.

— Положи под корни гранаты и взрывчатку.

— Все?

— Все вроде. Отойдите все, фотографирую.

— Я на камеру сниму.

— Снимай, только сегодня я говорить буду.

— Ну, говори.

— Сегодня в результате совместной спецоперации МВД Чеченской Республики и подразделений Внутренних войск в лесу около селения Сержень-Юрт при попытке оказать сопротивление уничтожены двое неизвестных боевиков, попавших в засаду у обнаруженного ранее схрона с боеприпасами и взрывчаткой. Сотрудники силовых структур республики выполняют обещание лидера Чечни Рамзана Кадырова очис-

тить республику от бандитов и ваххабитов, уничтожая всех, кто не захотел сдаться законной власти.

— Выключай камеру.

— Где так говорить научился, Сулим?

— В школу ходил, когда ты на речке в лягушек из рогатки стрелял.

Камуфляжные люди одобрительно засмеялись.

Когда трупы волокли за ноги к воронке, из кармана рубашки Лёмы выпала записная книжка, залитая кровью. Один из людей в камуфляже поднял и раскрыл ее. В книжку аккуратным ученическим почерком были выписаны цитаты. Камуфляжный человек прочел: «Коран, сура 6, аят 61. “Он посылает к вам хранителей...”».

Камуфляжный человек закрыл книжку, бросил ее на труп и сказал:

— Или предателей. На все воля Аллаха.

МЕНИНГИТНОЕ НЕБО СТОЛИЦЫ

* * *

А.Г.

спят без задних иные сновидцы
вящий космос в полночных прыщах
менингитное небо столицы
я несу на усталых плечах

перекресток пустует у парка
некто редкий заходит в метро
я иду как синоним упадка
беспокойством наполнив нутро

блеклым паром труба бородата
треплет ветер его в кураже
мне здесь радостно было когда-то
никогда так не будет уже

смуглый юноша средней закалки
муравей ежедневной возни
в неуютной норе коммуналки
я был счастлив с тобой черт возьми

**Ербол
ЖУМАГУЛОВ**

— родился в 1981 г. в Алма-Ате (ныне Алматы). Закончил Казахскую Академию спорта и туризма (специальность: тренер по игровым видам спорта). Пять лет работал журналистом Британского института по освещению войны и мира (IWPR), публиковался в прессе постсоветских государств, Великобритании (IWPR, BBC), Германии, США и Франции. Стихи публиковал в казахстанской периодике, в московских журналах «Дружба народов», «Знамя», Континент», «Молодость», «Октябрь», в сборниках «Антология новейшей русской поэзии» (Москва, НЛО, 2004), «Московская кухня» (СПб., Геликон, 2005). Лауреат конкурса «Казахстанская современная литература» фонда «Сорос Казахстан» в номинациях «Поэзия» и «Эссеистика» (2000), международного сетевого конкурса «Магия твердых форм и свободы» в номинациях «Триолет» (2002) и «Верлибр» (2003). Премия журнала «Русский переплет» (2004) в номинации «Поэзия». Автор книг «Стихи.RU» (совместно с Геннадием Банниковым) и «Ерболдинская осень». Живет в Москве.

и запомнил как это бывает
с поцелуем в горячий висок
только время увы убывает
убивает стирает в песок

потому до печального срока
жил на свете любовью горя
но шатаюсь теперь одиноко
под нездешним дождем января

чтобы эту тоску побороть мне
осторожно в последней строке
выйди господи из подворотни
с именным пистолетом в руке

то направо пойду то налево
незнакомому богу моля
и глядит менингитное небо
равнодушно глядит на меня

* * *

выйду к вечеру из села
в леса сторону побреду
что же ты меня извела
неизбежную на беду?

понимаю любовь терпя
черноземной идя тропой
жизнь неправильна без тебя
потому что верна с тобой

как же низок стрижей полет
исчезающих без следа
воздух мечется взад-вперед
ибо ветер туда-сюда

и разлит надо мной закат
как на скатерть вишневый сок
как любимая вышло так
что сберечь я тебя не смог?

в череде фрагментарных снов
наших дней промелькнет гряда
вот и были мы вместе слов
но и не были никогда

Бессонница. Абай. Пасутся табуны.
Я список лошадей прочел до середины.
Как бы ложилась ночь на горные седины,
блеща заржавленную фиксою луны.
Еще Кебек, шатаясь между юрт,
испытывал сердечный неуют.

К чертям считать кобыл! Я вышел на балкон.
Тоска, как волкодав, вгрызается мне в горло.
Зачем, зачем я был четыре этих года
бездушным выскочкой и круглым дураком,
которому на плечи небеса
упали в ночь, когда его броса...?

Себя же самого ругая на чем свет,
суровых дней моих отважная подруга,
я спрашивал тебя у яндекса и гугла,
но ничего, увы, не получал в ответ.
Я тосковал. Потом был твой звонок.
И выбило планету из-под ног.

Я шепот бормотал, я громок был на крик,
гуманитарный сын компьютерного века.
Что счастье, думал я, для юного Кебека,
когда пожар внутри и далеко Енлик?
За молодость, любимая, теперь
ты — самая большая из потерь.

Теперь нам не до нас. Мне остается ждать,
не то в любовь, не то в возможность чуда веря.
Тягучее, как мед, течет куда-то время,
куда, куда, куда мне от него бежать?
Зима вокруг — теплее, чем всегда.
От счастья, как от снега — ни следа.

А подо мною, мглы накрытый полотном,
уставший от тоски и жизни одноногой,
стоит лицом к лицу с морщинистой дорогой
мерцающий фонарь, сутулясь, под окном.
Температура близится к нулю.
Фонарь горит. И я тебя люблю.

* * *

Слепых созвездий рой осиный, луны фруктовый леденец.
Висит над городом осенней грозы дамоклов кладенец.

О ноябре — черна как сажа — листвою жухлою ропща,
бормочет ночь, белье пейзажа в холодных лужах полоща.

Деревья призрачные шатки и беззастенчиво голы,
и ветер облачные шапки срывает неба с головы.

Витийствуй, непогодь, покуда густа тумана пелена,
а неба грязная посуда похлебки ливневой полна.

Морозом пахнет воздух пресный: легко им дышится, пока
на горле осени окрестной зимы сжимается рука.

* * *

А. Цветкову

преуспел я в искусстве в котором
я катомом не слыл никогда

А.Ц.

снится мне собеседник усталый араб
с кем визином закапав моргала
мы дымим косяком разливая шарап
восседая на пнях у мангала
он грассирует мне сотоварищ и брат
повертев шампурами при этом
все что нужно не брить никогда бакенбард
чтобы стать гениальным поэтом

и хохочет и кашляет и говорит
размахавшись обрывком картонным
ты дружище зазря обнаглевший на вид
если слыть захотелось катомом
ведь запомнить пора навсегда и давно
раз приспичило жить печенегом
быть поэтами в скорбной россии дано
лишь евреям шотландцам и неграм

и немедленно выпили ты закуси
без закуски нельзя на руси

папиросу смочивши голодной слюной
с хитрым прищуром смотрит мне в оба
поделись произносит степенно со мной
не боишься ли бога и гроба
как тебе современники головы чьи
в бытовой лихорадке сгорая
не узнают о чем ты бормочешь в ночи
понапрасну пергамент марая

напрягая поставленный мозг на вопрос
умным фасом сократа являя
я пускаю поэту густой паровоз
вот такие слова добавляя
я о том бормочу от волненья багров
что страшнее чем черви и ящик
то что много в окрестной природе богов
но из них никого настоящих

и немедленно дунули слышишь родной
ты скрути нам еще по одной

и продолжил ожиданно я и впопад
мастера смолянистую пятку
мол из всех существующих в мире наград
я избрал карандаш и тетрадку
говорил вот и юности стало в обрез
но куда мне муза невеста
я живу не тужа только скучно мне без
но конкретно чего неизвестно

улыбнулся аэс папиросу туша
ну тогда протянул не спеша

не гонись ни за девками ни за баблом
ни за призрачным звоном медалей
но в семье многолюдной не шелкай ерблом
чтоб в него ненароком не дали
не победой судьба а бедой наградит
и душой от озноба дрожащей
только чаще грызи алфавитный гранит
ненадежные зубы крошащий

чем гранит неприступней тем зубы острей
ну взрывай черт возьми побыстрей

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ ВОЙНУ

Весна. Все затопило. И меня залило зимним жиром по уши. Пора худеть, иначе стыд-срам. Диета штука обременительная и накладная, но надо — Пасха на носу. А за ней и День Победы.

Лет пятнадцать назад я справлял Пасху в Израиле. Ходил по святым местам, купался в Кинерете. И вдруг стало не по себе, ни с того, ни с сего. Позвонил в Москву: все, вроде, живы-здоровы. А грусть-тоска грызет. Не иначе, решил, с будуна, хотя пьянствовал вроде весьма умеренно. Собрал манатки, полетел в Москву. И точно: друг умер. Леонид Михайлович Гуревич, бывший десантник, в миру конструктор парашютов, пробитый на обеих войнах — финской и немецкой. Пригорюнился я — надо долги отдавать: когда-то Гуревич взял с меня слово, что вместо поминок напишу рассказ «Почему проиграли войну». Я сдуру пообещал, хотя тут же удивился: мы же одержали победу. «Это не победа», — сказал Гуревич.

Помню, треть века назад на экранах шел фильм «Освобождение». Со сдержанной гордостью сообщалось о погибших — 20 миллионов. Впервые за много лет на экране появился мудрый Сталин с трубкой в руке, в скромном мундире генералиссимуса. К прошлогоднему юбилею погибших оказалось уже 27 миллионов. Сегодня разговор идет о 30, а историки грозятся: еще не вечер...

В середине приснопамятных шестидесятых цензура давала сбои. В частности, в «Новом мире» вышла статья В. Кардина «Легенды и факты». Выяснялось, что не только залпа «Авроры» не было, но и победа под Нарвой оказалась поражением, и с героями-панфиловцами неувязка. Статья устроила на Москве переполох, — правда, и огребли (автор и редактор) за себя и за того парня.

В то же время вышла книжка Александра Некрича «1941, 22 июня». Помню, в обеденный перерыв забежал в книжный у «Новослободской», а там битком, продавщица орет: «За Некричем не стойте, кончается!» Книжонка мне перепала, зачем, не знаю: я-то зашел просто покадриться. Принес ее в СКБ «Асбоцеммаш», где работал в ту пору исполняю-

**Сергей
КАЛЕДИН**

— родился в 1949 году в Москве. Окончил Литературный институт. Дебютировал повестью «Смирненное кладбище» («Новый мир», 1987). Автор повестей «Стройбат» (1989), «Поп и работник» (1991), цикла «Коридор» (в книге «Коридор», 1987), рассказов «Рождество в посольстве Канады», «Когда б вы знали...» («Континент», № 83, 1995) и повестей «Берлин, Париж и “Вшивая рота”» («Континент», № 84, 1995), «Тахана мерказит» («Континент», № 87, 1996). Живет в Москве.

щим обязанности ученика чертежника. Учреждение было замшелое, помещалось в подвале, работали там в основном евреи, спасшиеся от послевоенного жидобоя, в большинстве — воевавшие. В нашем подвале даже русские, ветераны, умудрялись носить сомнительные фамилии: Ганшин, Лямкин, Нуйкин. КБ было третьей — самой неденежной — категории. Отдать должное, и машины, сконструированные в нашем подвале, как правило, работали плохо, — конструкторы кляли советскую власть. Гуревич (недавно появившийся в КБ) ругал конструкторов — за техническое бескультурье. Его же локализованные механизмы, встроенные в машины, работали, наоборот, безупречно. Злые языки называли наше КБ «помесью синагоги с богадельней». Самый лихой злой язык огреб от главного конструктора проекта Нижанского Эдуарда Фабиановича ошеломительных бздянок и убыл: сначала на бюллетень, а потом и вовсе с концами. Командовал этим полем чудес орденоносец-ветеран подполковник Аркадий Соломонович Якубович, строгий, но справедливый дядька. На 16-летие я напился, прогулял работу, вызвали к начальнику. Пока я, обмирая, стоял перед ним, он выкурил длинную сигарету, крутанул чинарик в пепельнице и мрачно сказал: «Нехорошо, Сергей». Больше я не шалил. Но это к слову.

...Книжку Некрича у меня спешным порядком изъяли старшие товарищи — вояки, учредив на нее официальную очередь под надзором главного гидравлика, толстого лысого Лейзера Зеликовича Неменмана, с большим напрягом говорящего по-русски, разведчика. Оттягивались на нем в охотку: как же ты, Лиза, воевал, если ты по-русски не сечешь? — Я с русскими, таки вже, мало вдавался, а с немцами — на идише, конечно, на каком еще. — Он ржал вместе со всеми, а на вечера приходил в таких орденах, что смехуны завистливо скребли репу.

Я снова помчался в книжный. Но барышня моя тревожным шепотом пояснила: книжек нет, из главка примчался дядечка запретить продажу, дядя опоздал, директора хотят уволить. (Директора магазина в результате пожалели, а вот Некрича уволили: сначала из партии, потом — из России.)

Подобный ажиотаж мне довелось наблюдать лишь в седьмом классе. Там, правда, книгочеи были иного разлива. Пожилая татарка-уборщица орала на молодую, почему-то по-русски: «Когда Динисича отдашь?! Рашид весь злой! Морду побьет!..» Рашид был старик-дворник, а «Динисич» — соответственно — «Один день Ивана Денисовича».

Через четверть века в Гарварде я спросил Александра Моисеевича Некрича: «А что было в вашей книжке сверхъестественного, если у нас в подвале все ветераны ошалели? Книжку у меня отняли, разорвали пополам, чтоб быстрее читать, и не вернули...» (Некрича я к тому времени, конечно, прочитал; мне было интересно, что он ответит.) Александр Моисеевич снисходительно уклонился: «Я вам подарю». Но я его все-таки достал: «А у нас и на политзанятии в стройбате вас вместе с Солженицыным и Дудинцевым ругали “клеветническим отщепенцем”». Некричу компания понравилась, он усмехнулся: «Тогда много книг о войне выходило. Начальник Генерального штаба Штеменко, маршал

Жуков... Жуков, молодец, — про финскую компанию даже не упомянул, вероятно, из скромности... У меня там... статистика, положение в мире к началу войны... Если в двух словах: как умудрился Гитлер при всех козырях проиграть? Да и мы ведь не особо выиграли».

Я спросил, не знаком ли он с Гуревичем Леонидом Михайловичем? Но Некрич заскучал, сменил тему: «Хотите, Сергей, открою вам секрет, как вы в Бостоне оказались?.. Когда обсуждалась кандидатура гостя Гарварда, военная цензура запретила ваш “Стройбат”, вот и решили вам сделать подарок». То-то я недоумевал, когда ночью в Бескудникове раздался телефонный звонок и американский профессор Дональд Фангер пригласил меня с семьей на полгода в Америку. Выходит, министра обороны маршала Язова мне благодарить надо за презент.

К Америке я готовился основательно, бесполезно пошел на курсы английского, писал какие-то лекции...

Поселили нас недалеко от Гарварда в двухэтажной семикомнатной квартире с зеркальной залой и неработающим камином. В университете выделили кабинет. Я робко поинтересовался, что должен делать? Дональд Фангер, седой красавец, закурил запрещенную в университете трубку и посоветовал поехать по стране, для чего первым делом купить машину. А работа? А лекции?.. Профессор шумно выпустил дым, задумался... Через полгода, перед отъездом расскажете что-нибудь студентам...

Вот те на!.. Исполать вам маршал Язов, Дмитрий Тимофеевич! Земной поклон!

Впрочем, министра обороны благодарить повременю, лучше помяну Лешку Вербенко, своего товарища, с которого все и началось.

Повесился Лешка 8 марта 1969 года в военно-строительном отряде №21517 на Урале под Пермью.

Я влетел в техкласс, где мы, салабоны, прятались от ненавистой зарядки. И ударился башкой в Лешку. Висел он на поясном ремне. В шапке лежала записка: «После того, что случилось, жить больше не могу». Полагаю, злые дедушки над Лешкой надругались: они дослуживали третий год, а нас, москвичей, призвали на два.

Предсмертную записку Лешки вместе с письмом маме о том, что здесь происходит, тишком передал его родителям, приехавшим на похороны.

А происходило следующее. Стоял лютый стариковский мордобой, селедку жарили на олифе, черняшку нужно было у хлебореза выскуливать. За дембель полагалась немалая мзда, ибо стройбат был на хозрасчете и солдаты — при деньгах, кто же при деньгах не был, тот объявлялся должником и переслуживал полгода, чтоб рассчитаться. Всё официально, типа по закону.

Но чудеса и в те холодные времена случались.

История с Лешкой и прочие пикантные подробности через мамину подругу по издательству, через ее отца-генерала попали наверх — к заместителю начальника ГлавПура генерал-полковнику Радзиевскому... Приехала комиссия, стройбат расформировали, командование разжаловали... Меня, правда, там уже не было: про мой донос прознали и

предусмотрительно услали в Биллютуй Читинской области, туда, где урановые рудники, где солдаты, по слухам, служат на полгода меньше и в дальнейшей жизни не плодоносят. (Сейчас, кстати, в тех краях парится Ходорковский.) Но до радиации, слава Богу, почему-то не довезли, тормознули в Ангарске. Ликуй, Исайя! А то бы не родить мне не только сына, но и внучки Анастасии-Агнессы и внука Акая в далеком Квебеке.

...Однако весна на дворе. Утро туманное. Снега тают, обнажается собачье кало. Жена задает корм скотине: кошки беснуются вокруг «Вискаса». Я стою в мучительных догадках: откуда под березой еловые шишки, причем их количество с каждым днем увеличивается?.. Шишки свежие, но растрепанные, как будто кто-то их предварительно теребил. Может, думаю, мнится все это, весенние глюки шутки шуткуют? Или злая дита на мозги давит?

— Пасть закрой — кишки простудишь!

Это Старче зашел навестить, бравый пенсионер. Давно, когда он еще был просто немолодым мужиком, походя поздоровался с моей юной племянницей: здравствуй, мол, Машенька. «Приветствую тебя, Старче!» — воскликнула отроковица, не отрываясь от мультика.

Старче мне люб, не взирая на грубость: он безропотно пасет стадо ничьих шавок, которые своей жоркостью сводят на нет его пенсию. Вторая его проблема — печь, которую ему сложили местные. Он их материт, но от других критики в их адрес не терпит: вступается за русских, споенных нерусскими.

Старче, придерживая бейсболку не по сезону, задрал башку:

— Не иначе — дятел.. Точно!.. Ишь ты, шишкарь, наколотил..

Я побежал за очками. Действительно — дятел, маленький, скромный. Таскал себе из леса шишки, на березе питался, пустую шишку скидывал вниз.

Всегда, когда Старче проявляет слабину в словах или чувствах, он усугубляет интонацию:

— Сам что ль не слышишь, как долбит, оглох?! — Он выговорился и выжидательно смолкает...

Осенью я донимаю родню: жену, сестру, свояченицу. Гоняю их в лес по рябину. Потом на ней настаиваю водку. Получается божественное розовое пойло на манер амброзии. Но Старче настаивал на канонической. Пока я выковыривал из комода прозрачную, он закурил у открытого компьютера.

— Опять херовину пореешь!.. Мы ж выиграли войну!..

Обиделся, надо разбираться.

— Ты в Афгане был?

— Четыре года семь месяцев.

— Как о ребенке говоришь — «четыре года, семь месяцев» — с гордостью. Чего поперся?

Старче снял бейсболку. Лысая башка его была надколота посередине душманским прикладом.

— Насчет чего?.. Защищать... Патриотизм...

Старче в молодости служил на флоте, потом на заводе сантехником, и в Афганистан его в сорок лет взяли добровольцем без разговоров... Вернувшись с войны, награды вместе с удостоверением прилюдно положил в цехе под пресс... Был он беспартийный, на дворе назревала перестройка: его не посадили, с работы не выгнали, слегка пожурили.

Я завел безнадежный культпросвет.

— Вот прикинь: Гитлер положил восемь миллионов, мы — тридцать. Это Победа?.. Генофонд уничтожили... И перед войной — отрицательная селекция...

— Кого-о?..

Я сбавил газ.

— Кто довел?.. Советская власть. Коммуняки. Наливай.

Старче улыбнулся:

— Ты как эта... Новодворская... А сам не будешь?

— Я на диете.

— Опять?.. Ты ж в том году голодовал.

— Так это — в том. По новой надо, глядишь, и девки — вереницей... Обманули тебя коммуняки. Жил бы хорошо — в Афган не поперся. Тебе за Афган хоть бабки дали?

Я ударил Старче по больному: «из-за речки» он, кроме расколотой башки, привез полмешка поломанных грубых серебряных украшений, о происхождении которых незамысловато рассказывал, что нашел на помойке. Они-то и помогали ему на пенсии сводить концы с концами.

— ...Мало того, что у нас от советской власти одно страдание было, так они еще пол-Европы захватили, опустили, и СПИДом заразили...

— Это они — нас, — буркнул Старче.

— Идейным, имею в виду...

— «В виду», — передразнил Старче. — Что имею, то введу... Дался вам всем этот Сталин... (Я Сталина еще не касался, он только был на очереди.) Это татары всё натворили! Иго привезли, всё отняли и руки отбили... А коммунисты только напоследок подгадили. Вот мы и стали неудельные. Куда ж теперь?.. Какие есть...

— Плохие есть!.. Войну-то мы начали наступа-ательную, не оборонительную. И не в 41-м, а в 39-м по осени. Вместе с Гитлером в Польшу влезли. И дальше работали с ним рука об руку... Финляндия, Прибалтика, Бессарабия... По секретным соглашениям. А перед войной Сталин с Гитлером вообще целовался взасос: сообщая прикидывали, как мир делить будут... А когда Гитлер его кинул и на нас полез, то в шель забился, десять дней трясся, а вокруг — война! Дезертир, стало быть, расстрельная статья... У нас в мирное-то время в стройбате за три дня самовольки дисбат давали...

— Труханул малёк, — виновато согласился Старче. — С кем не бывает.

— Мне Гуревич рассказывал...

На слове «Гуревич» Старче поморщился.

Я исправился:

— ...Мне друган — фронтовик рассказывал: после войны они еще полгода в Будапеште стояли. Сталин все принимался, не огулять ли ему весь мир по инерции?.. Если бы не Хиросима...

— Наливай! — оборвал кощунственную тему Старче.

— Сам наливай! — рывкнул я, но смягчился: — Тем не менее — за Победу! — и подгадил напоследок: — которая вопреки Сталину.

Старче резко встал.

— Пойду. Печь топить. Дымит, пала. — И уже в дверях пробурчал: — Тебе-то что коммунаки сделали?

Мне они, действительно, ничего не сделали: не повесили, не посадили. Но, во-первых, я дышал с ними единым воздухом, проживал на совместной территории — уже урон немалый. За одно за это уже досрочная пенсия положена. Во-вторых, они меня без малого 10 лет не печатали. Но, главное, веру в Бога, скоты, отняли, а без него не то что помирять — жить страшно.

...После войны Гуревич продолжал прыгать, испытывал парашюты, которые сам и конструировал. Прыжки называл наркотиком и всячески отговаривал, когда я было вознамерился пойти по его стопам. Подарил мне фотографию прыжка на неуправляемом куполе, где его несло ветром на бетонную стену. С надписью — «Серёже Каледину, чтобы не прыгал». Жидобой его не коснулся, более того, его не отпускали из оборонки, несмотря на заявления.

В нашем захудалом КБ он работал руководителем группы; получал 140 грязными, 126 — чистыми, половина — дочкам: алименты. При этом цитировал сам себя: «Мне ни к чему зарплата, были б деньги». Отпуска не брал, сдавал кровь, за что имел приварок, а главное — свободный день. Волосы носил крашенные, штаны — ветхие, до такой степени, что наши бабы хихикали: в каких сегодня трусах Гуревич придет — синих или черных? Когда я намекал ему, что неплохо бы обновить гардероб, отмахивался: «Ну, так я не франт». Зубы имел стальные — цинга от голода на Северо-Западном. От того же голода — «жеванные складки желудка», которые обнаружились при операции в поисках рака. Складки расправили, и мы с Леонидом Михайловичем еще много лет пьянствовали сухеньким, пока его не сбил тихо бредущий «уазик», ибо смотреть по сторонам Гуревич считал ниже своего достоинства.

Отыскала его моя жена, скрупулёзно по справочнику обшаривая больницы, в морге Боткинской. Он уже месяц лежал замороженный, несмотря на ветеранское удостоверение. В гробу он улыбался.

Мрачным я его не видел, он хорохорил сам себя, развлекался, как мог, сочинял частушки, стихи про любовь, про политику. «Товарищу Брежневу 70 лет, вроде достаточно, так ведь — нет». «Не стучись милёнок в стену, — не вожусь с засранцами, — лучше дам Жискар д'Эстэну, президенту Франции».

Конструктором Гуревич пошел работать в пятнадцать лет. Мне грело душу, что и я пошел работать в пятнадцать. Правда, перед этим его вышибли как сына лишенки из ФЗО завода «АМО», а меня выперли из

девятого класса с оставлением на второй год за нерадивость. Ведущим конструктором в оборонке он работал до сорока лет — с семиклассным образованием. Затем за полтора года окончил пятилетний техникум с отличием. Поступил без экзаменов на заочный мехмат, по привычке прыгнул с первого курса на третий, но понял, что для науки уже поздно, и доучивался в машиностроительном. Когда коллеги в один голос диву давались, почему он не профессор, академик и т. п., посмеивался. Не въезжают, мол, товарищи: сын лишенки, кузен Григория Сокольников, который наркомфин при Ленине — отец золотого червонца; вокруг все расстреляны вчистую, потом пять ранений, еврей, беспартийный... И при таких-то выходных данных еще живой! Куда больше!

Матушку свою особо не жаловал: «Мама, врач, при НЭПе была богатая: два санатория — в Москве и Пятигорске, машины, лошади, а велосипед мне в 14 лет подарила подержанный». С обеих войн написал ей пять писем — по числу ранений: жив-здоров, ранен, пришли учебники по высшей математике.

Разбирая после смерти Гуревича его бумаги, я нашел «Отчет о парашютном прыжке №149».

«...Отделившись от самолета, почувствовал рывок, после которого продолжал беспорядочное падение, имея перед глазами выходящий из-за спины скомканный купол и прополаскивающие стропы... Раскрыв запасной парашют, я оказался обернутым зачехленным куполом главного п-та, причем контровой виток и 2 — 3 верхних витка строп остались не вытравленными из сот чехла... Попытка освободиться от главного купола в процессе спуска не удалась, т. к. полюсная часть зачехленного купола с вытяжным парашютиком вклинилась под ранец...

Приземлился благополучно. Состояние после прыжка — нормальное (через 30 мин. совершил повторный прыжок)».

Выходит, падал навстречу смерти, но — анализировал.

В детстве я стеснялся, что мой отец не был на войне. Хотя знал, что на войне, в основном, убивают, тем более — студентов. Зато на войне был мой двоюродный дед, в честь которого меня и называли Сергеем. Он был начальником, в очках, но исхитрился, несмотря на бронь, или «броню», как говорила моя бабушка Олимпиада Михайловна, уйти на войну в ополчение. Бабушка крикнула брату напоследок, как в кино: «Сережа, в плен не сдавайся!» — «Мы в плен не сдаемся!» — патетически ответил двоюродный дед. Он и не сдался. Его сдали. В числе прочих под Вязьмой.

А отец не воевал, и слава Богу. Впрочем, война и его достала. После его смерти я нашел проездной билет на пригородную электричку. Билет был с фотографией отца, но выписан на Каледина, хотя фамилию всю жизнь папа носил свою — Беркенгейм. Это робкое сокрытие нехорошей фамилии — тоже грустная дань безнаказанности ошалевшему от победы генералиссимусу. Не только над фашистами, но и над своими.

Сочинений о войне много. Литературы — мало. Практически ничего о ней мы так и не знаем. Военная тема — страшная. Да и судьба военных писателей (в отличии от сочинителей) невеселая.

Виктор Некрасов в грустях доживал в Париже. Василия Владимировича Быкова на старости лет тятя белорусский из дома выгнал, несмотря на заверения, что «возрос на стихах Василя Быкова». Кондратьев застрелился. Владимир Осипович Богомолов случайно уцелел, ибо непостижимым образом устроил свою жизнь, нигде не пересекаясь с государством. Уж как он намыкался со своим знаменитым романом, не приведи Господи! Да и Астафьеву Виктору Петровичу сотоварищи — патриоты под занавес тоже двойку поставили и вывели из класса.

Сейчас, надо полагать, власть Богу свечки ставит, что, наконец-то, прибрал всех фронтовиков, стариков трепливых. Наступает славная эра, эпоха благостных сказок о войне. Но радость, сдается, не будет долгой. Талантами русская литература не совсем оскудела, так что сюрпризы про ту, далекую, войну еще впереди. А что касается очевидности, так ведь Лев Толстой с Наполеоном тоже не воевал, времена по части цензуры были не менее мерзопакостные, ветераны французской войны еще здравствовали и высказали писателю фактологические претензии. Граф упреки, как известно, отмел, ибо писал не документальный очерк про войну. Да и Пушкин, когда сочинял «Годунова», прекрасно знал, что Борис не заказывал царевича.

...В прошлый раз мне не удалость перекричать Старче. Сейчас, когда потеплеет и ему не нужно будет топить ненасытную печь, может, он и выслушает меня со тщанием, не дергаясь, а уж я расстараюсь: кроме выпить-закусить, буду толерантным, постараюсь обойтись без мата. Скажу ему:

Сталин Победы не одержал. Её претерпел народ, презираемый Верховным злодеем. Победу добра над злом, победу идеи — всемирного братства, всеобщего счастья. Идеи, принятой страной и миром за чистую монету. Подлюю ее лживую изнанку, которая помогла большевикам победить еще в гражданскую, рассмотреть было трудно, для большинства — и невозможно.

Но крошечная скорбь о б е с т о л к у загубленных миллионах понимания у Старче, скорее всего, не отыщет, ибо принято на Руси: побитого жалеть, убитого не забыть. Но и только. Такая уж народная философия.

День Победы мы традиционно отмечаем в ресторане с Марком Соломоновичем Нейфельдом, другом отца, моим старшим товарищем по ветхозаветному ковчегу — СКБ «Асбоцеммаш». В КБ он изобретал машины для производства шифера; шифером торгуют по сей день, стало быть, его станки работают. Надеюсь, Марк Соломонович расскажет, как всегда, неканонические подробности своей войны. Потом я пойду домой не весьма свежий, а Марк Соломонович по лености пешком не пойдет и на метро не поедет. Он натурально сядет в свою иномарку с инвалидной буквой «Р» для обмана бдительности гаишников (на самом деле простреленная рука у него сильнее целой) и погудит на прощание — с тем, чтобы на следующие утро в 8.30 как всегда командовать своим конструкторским бюро. Ибо имя его от рождения — «Маркс».

Если в ресторане будет не слишком шумно, я прочту ему стихотворение Гуревича «Бад-Фёслау», — это в Венгрии, где Леонида Михайловича ранило в пятый раз.

И нальют вина... И без чувства вины
Поднимут круглые кружки выше
За тех, кто выжил, за тех, кто вышел
Сухим из воды и живым из войны.

За тех, кто ни разу не был убитым,
За кем война не защёлкнула пасть,
За тех, кому не случилось пасть
Смертью храбрых на поле битвы.

На поле битвы... На битом поле
С прибитым овсом и подбитыми танками,
Где вороны трудятся над останками,
А трупы тихо хохочут от боли.

Выпьют за бомбы, что не упали
За невзорвавшиеся мины,
За осколки, прошелестевшие мимо,
За пули, которые не попали.

За тех, кто пережил, выжил, ожил,
За тех, кто не спит замогильными снами,
За тех, кто вынес из боя знамя
Из собственной продырявленной кожи.

...А Я ВОТ УВИДЕЛ...

* * *

За окном пролетает ворона,
Разрезая безлунную ночь.
Что-то где-то стучит монотонно,
Шорох листьев уносится прочь.

Воздух в комнате душный и клейкий,
Залепляет глаза изолентой:
Овцы прыгают через скамейку
И ахейцы плывут за Еленой.

Вырываюсь из этого плена,
И упорной курчавою змейкой
Овцы прыгают через Елену
И ахейцы плывут за скамейкой.

И отчетливо слышно: лениво
У соседей работает слив.
Слава Богу, что вы еще живы.
Слава Богу, что я еще жив.

* * *

Стоишь над пропастью и видишь
твой город храмы и мосты
спешат водители куда-то
желают вовремя успеть

**Алексей
КАШЕЕВ**

— родился в 1986 году в Москве. Студент Российского Государственного медицинского университета. Участник мастер-классов ЮНЕСКО в Суздале, Четвертого и Пятого Форумов молодых писателей в Липках, Всероссийского форума молодых литераторов в Красноярске. Стихи публиковались в «Новой газете», журналах «День и ночь», «Новые писатели», «Пролог», «Студенческий меридиан», альманахах «Новые имена», «Очарованные словом», «Так начинают жить стихом», сборниках «Братская колыбель», «Илья-премия – 2004». Работает музыкантом в джазовом ансамбле. Живет в Москве. E-mail: kasch@hotmail.ru .

И пассажиры лезут в транспорт
друг другу ноги отдавив
а ты стоишь и наблюдаешь
и думаешь как дальше жить

Тем временем маршрутки ездят
алкаш спешит с вином домой
увы он счастья не ищет
и не от счастья бежит

Гуляет женщина с собакой
и пишут школьники диктант
Мешает эта мелочевка
За нею смысл жизни скрыт

А бездна эта под тобою
всего лишь крыша гаража
в траве бычках пивных бутылках
и даже если упадешь

Не разобьешься а всего лишь
сломаешь ногу в трех местах
два месяца и будто новый
ты будешь бегать и плясать

* * *

А.К.

Понял вдруг — и изумился сразу,
Приподнял при этой мысли брови:
Если б я в Балашихе родился,
Жил бы я в Балашихе с любовью.

Я люблю твой подмосковный привкус,
Твой асфальт, бетон и кирпичи,
Ватный воздух, звуки электричек —
Я бы жил здесь припева-ючи.

Перестал бы пить, купил собаку,
И ходил бы каждый выходной
В магазины — тот, что подешевле,
И второй, который дорогой.

Я зимой катался бы на лыжах,
По лесам наматывал круги,
Знал бы расписание маршруток,
Научился бы писать стихи.

Но родился я в других широтах,
Разделила МКАД с тобою нас,
Оттого я злой и агрессивный,
И полгода не платил за газ.

* * *

Речи праздничного президента
Слушает мой пьяненький народ.
Начиная с этого момента
Буду ненавидеть Новый год.

Он приходит бутафорским гадом,
В нем куранты блеют, как баран,
Расцветает детскою отрадой,
Поводом нажраться вдрибадан.

Ждут его и весело, и тупо,
В магазинах толчея и ад,
Елки новогодние, как трупы,
На базарах мрачно возлежат.

У метро, в ларьке, с лицом помятым,
Судя по наколкам, из тюрьмы,
Старый хачик соблюдает свято
Ритуал приготовления шаурмы —

Тот же самый. Те же мандарины,
Оливье, подкисшее пюре,
Телевизор, гости, запах винный —

Я умру, должно быть, в январе,

На рассвете, в собственной квартире,
И тогда уже совсем всерьез
Мне подарит жизнь в загробном мире
Белый и крылатый Дед Мороз.

* * *

Некрасов не видел, и Пушкин не видел,
А я вот увидел, по Пушкинской идя,
Идя по Тверской к отделению Росбанка,
Едят два бомжа из кастрюльки солянку,

Идут и едят — и идущие рядом
Обходят старательно эту плеяду:
Солянка, кастрюлька, бомжи — не элита —
Едят и идут, и молчат деловито.

Ведь это серьезно, взаправду я видел,
Солянку отнюдь не для рифмы похитил:
Есть множество рифм к «отделению Росбанка»,
Допустим, «Полянка», допустим, «баранка».

А это солянка — в кастрюльке — и с ложкой,
Бредово, абсурдно и жутко немножко,
Платонов не видел, а я наблюдаю,
Как эту солянку они поедают.

Я вижу, как девушка в платье бальном
Торгует собою — и это нормально,
Как парень кричит в телефон: «Я не слышу!»,
Как дышат машины и капает с крыши,

Как девочки-панки — и это нормально! —
Поют под гитару противно и сально,
Земфиру, зефиру, Глафиру, эфиру,
Про секс, про любовь, про траву, про вампиров.

Но эти бомжи с их солянкой в кастрюле
Страшной наркоты и серебряной пули —
Спокойной походкой, довольною миной
Они разрушают нормальность картины.

И я, без перчаток, без денег, без дома
Стою, отражаясь в витрине знакомой,
Гляжу на себя, и не так уж печально
Гляжу на других — это тоже нормально.

* * *

Лето кончилось — так как арбузы.
Между листьев листва не видна,
И шипящие отзвуки блюза
Из раскрытого слышу окна.

Воздух так неприлично прозрачен,
Что, куда бы ни падал мой взор,
Расплывается дымом табачным
Флегматичный пустой ля-мажор.

Где труба завывает, как плакса,
Где спокойно, как в утреннем сне,
И лохматая рыжая такса
Улыбается дружески мне.

* * *

Это конец. Поезд медленно мчится.
Сплю и не сплю, вспоминая другое.
Хуже того — это было в провинции,
Хуже того — это было со мною.

Время шаталось, как пьяная женщина,
Падали листья — тогда была осень.
Помню гостиницу, в сколах и трещинах,
В небе сибирском невнятную просинь.

Были: фонтаны (аллюзия к Кушнеру),
Яблоки в парке, река словно море,
Мыло и бритва, буфетчица скучная
(Хуже того — это было со мною).

Были: шатание влево ли — вправо ли,
Пиво с утра, а на завтрак — каша,
Множество чаек, которые плавали,
И воробьев, мои рифмы клевавших.

Стоит уехать из этого города,
Поездом скорым, в вагоне плацкартном,
Сумку сжимая, икая от голода —
Хуже того — не вернуться обратно —

Чайки потонут и небо развалится,
Все воробьи растворятся в асфальте,
Даже буфетчица с мужем расстанется
И с чемоданом уедет в Тольятти.

ГРЕХ

* * *

Ему было семнадцать лет, и он нервно носил свое тело.

Тело его состояло из кадьяка, крепких костей, длинных рук, рассеянных глаз, перегретого мозга.

Вечерами, когда ложился спать в своей избушке, вертел в голове, прислушиваясь: «...и он умер... он... умер...»

Пытался представить, как кто-нибудь заплачет, и еще закричит его двоюродная сестра, которую он юношески, изломанно, странно любил. Он лежит мертвый, она кричит.

Где-то в перегретом мареве мозга уже было понимание, что никогда ему не убить себя, ему так нежно и страстно живется, он иного состава, он теплой крови, которой течь и течь, легко, по своему кругу, ни веной ей не вырваться, ни вспоротым горлом, ни пробитой грудиной.

Прислушивался к торкающему внутри «...он умер... умер...» и засыпал, живой, с распахнутыми руками. Так спят приговоренные к счастью, к чужой нежности, доступной, легкой на вкус.

По дощатому полу иногда пробегали крысы.

Бабушка травила крыс, насыпала им по углам что-то белое, они ели ночами, ругаясь и взвизгивая.

По утрам он умывался во дворе, слушая утренние речи: пугливую козу, бодрую свинью, настырного петуха, — и однажды забыл прикрыть дверь в избушку. Зашел, увидел глупых кур, суетившихся возле отравы.

Погнал их, закудахтавших (во дворе, строгий, откликнулся петух). Подпрыгивая, роняя перья, не находя дверь (петух во дворе неумолчно голосил, позер пустой), куры выскочили, наконец, во двор.

Он долго, наверное, несколько часов, переживал, что куры затоскуют, как всякое животное перед смертью, и передохнут: бабушка огорчится.

**Захар
ПРИЛЕПИН**

— родился в 1975 г. в деревне Ильинка Рязанской области. Закончил филфак ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Участник контртеррористической операции в Чечне, в составе ОМОН. В настоящее время возглавляет нижегородское издание «Новой газеты» и региональное бюро «Агентства политических новостей». Участник коалиции «Другая Россия». Прозаик, поэт, публицист. Публикуется с 2004 года в журналах «Дружба народов», «Искусство кино», «Наш современник», «Новый мир», «Роман-газета», «Север». Постоянный автор газеты «Генеральная линия / Лимонка» и сайта «Назлобу.ру». Автор книг «Патологии» (2005), «Санька» (2006) и др. Живет в Нижнем Новгороде.

Но куры выжили: может быть, склевали мало, или, вернее, им не хватило куриного мозга понять, что они отравились.

Крысы тоже выжили, но стали гораздо медленнее передвигаться, словно навек задумались и больше никуда не спешили.

Однажды ночью, налутанный шорохом, включил свет в избушке. Крыса, казалось, бежала, но никак не могла пересечь комнату. Глядя на внезапный свет, забыла путь, пошла странной окружностью, как в цирке.

Схватил кочергу, вытянул тонкое, с тонкими мышцами тело, ударил крысу по хребту, и еще раз, и еще.

Присел на корточки, разглядывал хитрый, смежившийся глаз, противный хвост. Подхватил кочергой труп, вынес во двор, стоял, босой, глядя на звезды, с мертвой крысой.

С тех пор перестал говорить на ночь «...он... умер...»

Проснувшись, закрывал скрипучую дверь в избушке, где дневал-ночевал, никому не мешая, читая, глядя в потолок, дурака валяя, и шел в дом, где бабушка давно встала, чтоб подоить козу, выпустить кур, отогнать уток на реку, успела еще сготовила завтрак, а дед сидел за столом, стекластые очки на носу, чинил что-то, громко дыша.

Он заглядывал в большую комнату, видел спину деда и сразу исчезал беззвучно, пугаясь, что его попросят помочь. Он еще мог разобрать что-нибудь, но собрать обратно... детали сразу теряли смысл, хотя недавно казалось, что их уклад ясен и прост. Оставалось только смести рукой металлическую чепуху, невозвратно бросить в иной мусор, самого себя стыдясь и глупо улыбаясь.

— Встал? — говорила бабушка приветливо, тихо двигаясь, никогда не суетясь у плиты. Он присаживался за столик на маленькой кухне, следя за мушиными перелетами. Поднимался, брал хлопущку — деревянную палку, увенчанную черным резиновым треугольником, под звонким ударом которого всмятку гибли мухи.

Бить мух было забавой, быть может, даже игрой. То время, когда он еще играл, было совсем недалеко, можно дотянуться. Иногда находил на чердаке, куда лазил за старыми, пропыленными (и оттого еще более желанными) книгами, безколесые железные машины и терпко мучился желанием перенести их в свою избушку — если уж не по полу возить, так хоть полюбоваться.

Бабушка хорошо молчала, и ее молчание не требовало ответа.

Картошечка жарилась, потрескивая и салютуя, когда открывали крышку и ворошили ее, разгоряченную.

Малосольные огурцы, безвольные, лежали в тарелке, оплыв слабым рассолом. Сальце набирало тепло, размякая и насыщаясь своим ароматом — после холода, из которого его извлекли.

Он разгонял мух со стола и вдруг с интересом приглядывался к хлопущке: к ее тонкому, крепкому, деревянному остоу, врезающемуся в черный треугольник.

Бросал хлопущку, морщился брезгливо, вытирал руку о шорты, втягивал живот, в груди ломило, словно выпил ледяной воды (но вкуса влаги не осталось, только тяготная ломота).

«Отчего это мне дано?.. Зачем это всем дано?.. Нельзя было как-то иначе?»

— Дед-то будет завтракать? — спрашивала бабушка, выключая конфорку.

— Конечно, будет, — с радостью отвлекаясь от самого себя, бодро отзывался внук. Он знал, что дед без него не садился за стол.

Шел в комнату, громко звал:

— Бабушка есть зовет!

— Есть?.. — отзывался дед раздумчиво, — Я и не хочу, вроде... Ну, пойдем, посидим, — он снимал очки, аккуратно складывал отвертки и пассатижики, вставал, кряхтя. Тапки шлепали по полу.

Спокойно, легким гусиным движением дед склонял голову перед приоткрытой и входил на кухню. Мельком, хозяйски оглядывал стол, будто выискивал: вдруг чего не хватает, — но все всегда было на месте и, верится, не первый десяток лет.

— Не выпьешь, Захарка? — с хорошо скрытым лукавством спрашивал он.

— Нет, с утра-то зачем, — отвечал внук деловито.

Дед еле заметно кивал: хороший ответ. Степенно ел, иногда строго взглядывая на бабушку. Спрашивал что-то по хозяйству.

— Сиди уж! — отзывалась бабушка. — Не то без тебя я не знаю, чем курей кормить.

Почти неуловимое выражение мелькало на лице деда: «...дура баба — всегда дура...» — словно говорил он. Но на том все и завершалось.

Старики никогда не ругались. Захарка любил их всем сердцем.

— Сестрят навешу... — говорил он бабушке, позавтракав.

— Иди-иди, — живо отзывалась бабушка. — И обедать к нам приходите.

* * *

Двоюродные сестры жили здесь же в деревне, через два дома. Младшая, Ксюша, невысокая, миловидная, с хитрыми глазами, недавно стала совершеннолетней. Старшая, нежноглазая, черноволосая Катя, была на пять лет старше ее.

Ксюша ходила на танцплощадку в другой край деревни и возвращалась в четыре утра. Но спала мало, просыпалась всегда недовольная, подолгу рассматривала себя в зеркальце, присев у окна: чтоб падал на лицо дневной свет.

К полудню она приходила в доброе расположение духа и, внимательно глядя в глаза пришедшему в гости брату, заигрывала с ним, спрашивала откровенное, желая услышать честные ответы.

Брат, приехавший на лето, сразу понял, что с Ксюшей недавно случилось важное, женское, и ей это радостно. Она чувствует себя увереннее, словно получила еще одну интересную опору.

От вопросов брат отмахивался, с душой отвлекаясь на голоногого пацана, трехлетнего Родика, сына Кати.

Муж старшей сестры служил второй год в армии.

Родик говорил очень мало, хотя уже пора было. Называл себя нежно «Одик», с маленьким, еле слышным «к» на конце. Все понимал, только папу не помнил.

Захарка возился с ним, сажал на шею, и они бродили по округе, загорелый парень и белое дитя с пушистыми волосами.

Катя иногда выходила из дому, отвечая, слышал Захарка, Ксюше: «Ну, конечно, ты у нас самая умная...» Или так: «Мне все равно, чем ты будешь заниматься, но картошку почистишь!»

Строгость ее была несерьезна.

Выходила — и внимательно смотрела, как Захарка — Родик на плечах, — медленно идут к дому, общаясь.

— Камни, — говорил Захарка.

— Ками... — повторял Родик.

— Камни, — повторял Захарка.

— Ками, — соглашался Родик.

Они шли по щебню.

Катя, понимал Захарка, думала о чем-то важном, глядя на них. Но о чем именно, он не задумывался. Ему нравилось жить легко, ежась на солнце, всерьез не размышляя никогда.

— Проголодались, наверное, гуляки? — говорила Катя хорошим, грудным голосом и улыбалась.

— Бабушка звала обедать, — отвечал Захарка без улыбки.

— Ой, ну хорошо. А то наша Глаша отказывается выполнять наряд по кухне.

— Мое имя Ксюша, — отвечала со всей шестнадцатилетней строгостью сестра, выходя на улицу. Она уже нацепила беспечную на ветру юбочку, впорхнула в туфельки, маечка с неизменно открытым животиком. На лице ее замечательно отражались сразу два чувства: досада на сестру, интерес при виде брата.

«Посмотри, какая она дура, Захарка!» — говорила она всем своим видом.

«Заодно посмотри, какой у меня милый животик, и вообще...» — вроде бы еще прочел Захарка, но не был до конца уверен в точности понятого им. На всякий случай отвернулся.

— Мы пока пойдем яблоки есть, да, Родик? — сказал пацану, сидящему на шее.

— И я с вами пойду, — увязалась Катя.

— Подем, — с запозданием отвечал Захарке Родик к восторгу Кати: она впервые от него слышала это слово.

Они шли по саду, — оглядывая еще зеленые, тяжелые, желтые сорта, — к той яблоньке, чьи плоды были хороши и сладки уже в июле.

— Яблоки, — повторял Захарка внятно.

— Ябыки, — соглашался Родик.

Катя заливалась юным, ясным, сочным материнским смехом.

Когда Захарка откусывал крепкое, с ветки снятое яблоко, ему казалось, что Катин смех выглядит как эта влажная, свежая, хрустящая белизна.

— А мы маленькие, мы с веточки не достаем, — в шутку горилась Катя и собирала попадавшие за ночь с земли. Она любила помягче, покраснее.

Поочереды они вскармливали небольшие дольки яблок Родику, спущенному на землю (Захарка пугался случайно оцарапать пацана ветками в саду).

Иногда, не заметив, подавали вдвоем одновременно два кусочка яблочка. Безотказный Родик набивал полный рот и жевал, тараща восторженные глаза.

— У! — показывал он на яблоко, еще не снятое с ветки.

— И это сорвать? Какой ты... плотоядный, — отзывался Захарка строго; ему нравилось быть немного строгим и чуть-чуть мрачным, когда внутри все клокотало от радости и безудержно милой жизни. Когда еще быть немного мрачным, как не в семнадцать лет. И еще при виде женщин, да.

Чуть погода в саду появлялась Ксюша: ей было скучно одной в доме. К тому же брат.

— Почистила картошку? — спрашивала Катя.

— Я тебе сказала: я только что покрасила ногти, я не могу, это что, нужно повторять десять раз?

— Отцу расскажешь про свои ногти. Он тебе их пострижет.

Ксюша срывала яблочко с другой яблони — не той, что была по сердцу старшей сестре, — ни в чем не хотела ей последовать. Ела нехотя, все поглядывая на брата.

— Вкусно зелененькое? — спрашивала Катя с милым ехидством, с прищуром глядя на Ксюшу.

— А твое червивенькое? — отвечала младшая.

К обеду все они шли к старикам. Сестры немедля помирились, когда речь заходила о деревенских новостях.

— Алька-то с Серегой, — утверждала Ксюша.

— Быть не может, он же на Гальке жениться собирался. Сваты уже ходили, — не верила Катя.

— Я тебе говорю. Вчера на мотоцикле проезжали.

— Ну, может, он ее подвозил.

— В три часа ночи, — издевательски отвечала Ксюша, — За мосты...

«За мосты» — так называли те уютные поляны, куда влюбленные деревенские уезжали на мотоциклах или уходили порой.

Захарка посмотрел на сестер и подумал, что и Катя ходила «за мосты», и Ксюша тоже. Представил на большое мгновение задранные юбки, горячие рты, дыхание и закрутил головой, отгоняя морок, сладкий такой морок, почти невыносимый.

Отстал немного, смотрел на щиколотки, икры сестер, видел лягушачьи, загорелые ляжечки Ксюши и — сквозь наполненный солнечным светом сарафан — бедра Кати, только похорошевшие после родов.

Хотелось, чтобы рядом, в нескольких шагах, была река: он бы нырнул с разбегу в воду и долго не всплывал бы, двигаясь медленно, тихо касаясь песчаного дна, видя увиливающих в мутной полутьме рыб.

— Ты чего отстал? — спросила Ксюша, оборачиваясь.

Захарке хотелось, чтобы этот вопрос задала Катя. Катя разговаривала с Родиком.

— Пойдемте купаться? — предложил он вместо ответа.

— А ты Родика донесешь? — спросила Катя, обернувшись, — несколько шагов она шла по улице вперед спиной, улыбаясь брату.

Захарка расплылся в улыбке, против своей мрачной воли.

— Ко. Неч. Но, — ответил он, глядя Кате в глаза.

Родик тоже, подражая матери, развернулся и пошел задом, посекундно оборачиваясь, сразу запутался в своих ногах, повалился, и все засмеялись.

Они уже не помещались на кухне и обедали в большой комнате, за длинным столом, покрытым цветастой клеенкой, тут и там случайно порезанной ножом, а еще с пригоревшим полумесяцем раскаленного края сковороды.

Сестры хрустели огурцами.

Захарке нравился их прекрасный аппетит.

Было много солнца.

Катя положила Родiku картошки в блюдечко. Он копошился в ней руками, весь в сале и масле, поминутно роняя картошку на ноги. Катя подбирала картошку с ножек своего дитя и ела, вся лучась.

Захарка сидел напротив, смотрел на них и тихо гладил голой ступней ногу Кати. Она не убирала ноги и, казалось, вовсе не обращает внимания на брата. Опять подзуживала младшую сестру, слушала бабушку, рассказывавшую что-то о соседке, не забывала любоваться Родиком. Только на Захарку не смотрела вовсе.

Зато он видел ее неотрывно.

Ксюша замечала это ревниво.

Хлеб был очень вкусный. Картошка была замечательно сладкой.

Ели из общей сковороды, огромной, прожаренной, надежной.

— Завтра дед свинью будет резать, — сказала бабушка.

— Ой, хорошо, что напонила, — сказала Катя.

— А что? — спросила бабушка.

— Не приду завтра, не могу видеть.

— А кто тебя неволит, не ходи на двор, да и не смотри, — засмеялась бабушка.

— Я тоже не приду, — впервые согласилась с сестрой Ксюша.

Сестры помогли убрать со стола. Захарка в это время смастерил на улице лук — скорей не для Родика, а для себя. Что Родiku лук, как ему с ним справиться...

Но пацан неотрывно следил за работой Захарки: как он сначала нашел и срубил подходящий сук, потом, прогнув его, намотал бечевку, попадая в специально прорезанные желобки.

— Лук, — говорил Захарка внятно. — Ллук!

— Ук, — повторял Родик.

— Он у тебя скоро заговорит, — сказала вышедшая Катя.

— На охоту пойдете? — спросила вслед появившаяся Ксюша. — Возьмете меня? Родик, возьмете меня?

Родик, не мигая, смотрел на Ксюшу. Захарка, не моргая, на Катю.

— Только картошку все равно надо почистить, — сказала Катя. — Перед тем, как купаться пойдем. А то папке будет нечего есть...

Они забежали к сестрам. Катя поставила на пол ведро с водой, ведро с картошкой и кастрюльку. Расселись вокруг. Раздала ножи, Ксюше — самый маленький и непоправимо тупой. Та, ругаясь, пошла менять ножик.

Чистили втроем, смеясь чему-то. Родик крутился возле. Катя прикармливала его сырой картошкой. Ксюша корила ее:

— Ну, что делаешь? Вот мать, а... Как тебе доверили ребенка!

— Смотри, чтоб тебе не доверили, — отвечала Катя, сдувая павшую прядь с лица и затем поправляя ее кистью руки, сжимающей нож.

Захарка веселился и старался не смотреть сестрам на колени: у Ксюши они были загорелее, у Кати — блее. У Кати — круглые, у Ксюши — с изящной выпуклой костью, как у какого-то высокого зверя, не знаю, быть может, лани...

А еще Катя сидела чуть дальше от ведра с картошкой и когда склонялась...

«Боже ты мой, что ж ты пристал ко мне с этим...»

Захарка выходил на улицу. Медленно бродили куры, тупые от жары.

— Ахака! — засмеялась Катя в доме, голос ее приближался.

— Слышал, что он сказал? «Де Ахака»? Вот твой Ахака, Родик! Вот он де.

Родик выбежал на заплетающихся ножках, солнечные ресницы, уши в пушке.

До реки было минут десять ходьбы. Захарка снял шорты и бросился в воду с разбегу, чтобы не видеть, как раздеваются сестры. «Вообще бы их не видеть...» — подумал весело, неправдиво и сразу обернулся на их голоса.

— Как водичка? — спросили сестры одновременно, посмотрели друг на друга сначала недовольно, словно подозревая в издевке, и тут же засмеялись.

В этот день они больше не ссорились.

Катя прихватила с собой яблок. Лежа на берегу, копошась ногами в песке, они грызли румяные плоды. Захарка кидал огрызки в воду.

— Ну, зачем? — тянула брезгливая Ксюша.

— Рыбки съедят.

Катя поминутно садилась и кричала:

— Родик, не заходи глубоко! Нельзя! Там рыбки! Ай!

— Там? — переспрашивал Родик, показывая пальчиком на середину реки, и, вдохновенный, ступал дальше.

— Захарка, скажи ему, он только тебя слушается.

Брат смотрел, грызя яблочный черенок, как из-под плавков Кати выбилось несколько черных завитков, прилипнув к белой, сырой, в золотящихся, неперсохших каплях ноге.

— Родик! — закричал он, неожиданно для самого себя громко, так, что пацан вздрогнул.

— Господи, что ж ты так кричишь! — всполошилась Катя, резко поднявшись с песка.

— Я к нему пойду, лежите... — Захарка дошел до Родика.

— Камыша нарвем? — предложил ему. — Лук у нас уже есть, стрелы нужны.

— Подем, — готовно ответил Родик и вылез из воды.

Они пошли вдоль берега, маленькая, невинная лапка в юной руке со странной линией судьбы и глубокой — жизни.

Вернулись с поломанным на стрелы камышом. По дороге Захарка нашел проволоку, накрутил на одну из тростин.

— Ну что, лягушки, заждались жениха? — спросил, натягивая тетиву.

Сестры развернулись, улыбаясь разморенно. Поднял лук вверх, спустил камышовую тростину, взлетела неожиданно высоко.

Родик сразу потерял стрелу из вида, не понял, куда она делась, смотрел вокруг себя, удивленный.

* * *

Разбудил визг свиньи.

«Режут уже! Черт, не успел!»

Вскочил с кровати, натягивал шорты, едва не падая.

Но свинью пока лишь привязали: перетянутая впившимися в жирную шкуру веревками, она стояла в темноте сарая, и каждый раз при появлении человека начинала визжать.

Захарка наблюдал ее, встав в проеме дверей, едва разлепив глаза, еще не умывшийся, улыбался.

Не было ни единой мысли в голове, но где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть животной, смерти.

«Кричишь, свинья? Хочется тебе жить?» — что-то такое поддрагивало в темном и тайном закутке мозга.

Хотя рассудок, внятный, человеческий рассудок подсказывал: надо жалеть, как же так, неужели не жалко?

«Жалко», — согласился без усилия.

Визг, впрочем, долго терпеть было невозможно.

Захлопнул дверь, подошел к деду, сидевшему на пенечке. Дед подтачивал и без того жуткий нож, все время отсвечивающий на солнце длинным лезвием.

На Захарку дед не посмотрел, строгий.

— Откуда она знает, что ее зарежут? — громко спросил Захарка, едва визг умолк.

Дед на секунду поднял маленькие и отчего-то, как показалось Захарке, неприветливые глаза. Встал, зачем-то побрел к себе в мастерскую.

«Не расслышал», — подумал Захарка.

— Зверь все знает, — сказал дед негромко, сам себе, ни к кому не обращаясь.

Через минуту дед вернулся, и Захарка понял, что ошибся, подумав о тяжелом настрое деда.

— Не видел, как свинью режут? — спросил дед просто.

— Нет, — ответил Захарка радостно.

Дед кивнул. Не было ясно, что это означает: ну, сегодня узнаешь, или — и хорошо, что не видел.

Появилась бабушка, позвякивая железными тазами, которых исхитрилась принести сразу штук шесть.

Посмотрела на деда, медленно копошащегося, но торопить не стала, хотя неумолчный визг ей слушать вовсе не желалось.

Захарка потоптался с минуту и решил сбежать в туалет.

Деревянная, приветливая, оклеенная изнутри старыми обоями будка стояла возле огорода. Подходя к туалету, Захарка каждый раз оглядывал грядки с арбузами.

Арбузы были обидно малы и зелены.

«Не успеют к моему отъезду, не успеют», — привычно огорчился Захарка.

Внутри туалета всегда было сумрачно, но с хорошими солнечными просветами сквозь щели меж досок. Неизменно летали одна или две тяжелые мухи. Никогда не садились больше, чем на несколько секунд. Снова жужжали стервенело.

На гвозде — старый журнал сельского механизатора. В который раз Захарка рассматривал его, не понимая ничего. В этом непонимании, ленивом разглядывании запылевших страниц, солнечных щелях, беспутных мухах, близости деревянных стен, желтых обоев, тут и там оборванных, ржавой задвижке, покрытом черной толью, чтоб не подтекало, потолке — во всем была тихая, почти недостижимая, лирическая благость.

Свинья завизжала жутче, страшнее, отрешенней. Захарка поспешил.

Визг оборвался, когда он еще не добежал. Еще пришлось бабушку пропустить: она куда-то торопилась, и по ее виду — чуть взволнованному, но и успокоенному одновременно виду («...все конечно, слава Богу...»), — Захарка понял, что свинью зарезали.

Дед неспешно красными руками развязывал (мог бы разрезать, но не стал, сберег веревки) узлы, прикрепившие свинью к стояку сарая.

«Нарочно он меня не подождал... или не нарочно?» — подумал Захарка, и ответа не нашел.

Сначала, освобожденный, обвис зад свиньи, — но она еще держалась, привязанная к стояку за мощную шею. Дед отодвинул таз, полный кровью, натекающей из перерезанного горла, и распустил веревку на шее. Свинья с мягким звуком упала.

Захарка подошел близко, с интересом разглядывая смолкшее животное. Обычная свинья, только мертвая. Ровный разрез на горле, много белого сала.

— Что-то нож не вижу... — осматривался дед. — Захарка, посмотри.

Нож был воткнут в стену сарая. Рукоятка его была тепла, лезвие в подсыхающей крови.

Он подал нож деду, держа за острие. Измазал пальцы, смотрел потом на них.

Свинье взрезали живот, она лежала, распавшаяся, раскрытая, алая, сырая. Внутренности были теплыми, в них можно было погреть руки. Если смотреть на них прищурившись, в легком дурмане, они могли показаться букетом цветов. Теплым букетом живых, мясных, животных цветов.

Дед уверенно извлекал сердце, почки, печень. Кидал в тазы. Выдавил рукой содержимое прямой кишки.

Живое существо, смуро встречавшее Захарку по утрам, теревшееся боком о сарай, возбужденно похрюкивавшее при виде ведра со съестным, умевшее, в конце концов, издавать удивительной силы визг, — существо это оказалось ничтожным, никчемным, его можно было разрезать, расчленить, растащить по кускам.

И вот уже лежала отдельная, тупая, свиная голова, носом вверх, с открытой пастью. Казалось, что свинья желает завывать, вот-вот завоет.

И видя эту голову, даже куры немного придурели, и петух ходил стороной, и коза смотрела из темноты иудейскими страдающими глазами.

Захарка прошел в дом. Бабушка, спешившая навстречу с тряпкой в руке, сказала:

— Покушай, я там оставила...

Но он не стал — и не потому, что расхотел есть от вида резаного поросенка. Ему не терпелось к сестрам. Все это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном ее виде и вовсе лишенное души, — все это с яркими, цветными, ароматными, внутренностями, с раскрытыми настезь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клекотало внутри.

Та самая, тягостная ломота, словно от ледовой воды, мучавшая его, неожиданно сменилась ощущением сладостного, предчувствующего жара. Жарко было в руках, в сердце, в почках, в легких: Захарка ясно видел свои органы, и выглядели они точно теми же, что дымились пред его глазами минуту назад. И от осознания собственной теплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням, и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где все было... гордо от осознания бесконечной юности.

Прихватил зачем-то лук, валявшийся у дома, шел с таким ощущением, словно только что убил зверя, и не казался самому себе смешным.

Первым увидел Родика, тот уже распугивал кур, и так его боявшихся. С трудом сдержался от того, чтоб рассказать Родике, как все было. Даже произнес несколько слогов и оборвал себя, вхолостую шевеля нелепыми губами.

Вышла Ксюша. И Катя вышла следом.

— Ну что... зарезали свинью? — спросила Катя, расширяя глаза и такой вид имея, словно убитая свинья вот-вот должна прийти, сипя и хлюпая раскрытым горлом.

Ксюша тоже смотрела напугано.

— Отсюда слышно было, как визжит. Мы все двери и окна закрыли с Каткой, — сказала.

Захарка любовался на сестер, счастливые глаза переводя с одного милого лица на второе — прекрасное, и выискивал то слово, с которого стоит начать, рассказать про сердце, горло, кровь, и вдруг разом, в одну секунду понял, что сказать ему нечего.

— У вас есть пустые консервные банки? — спросил.

— Есть, — пожав плечами, ответила Ксюша. — Вон, в мусоре, вроде были.

Захарка нарезал от трех консервных банок крышки. Разделил каждую большими ножницами пополам. Пассатижами скрутил, подогнал ко вчерашним камышинам, подбил молотком полувывшееся острие.

Сестры разошлись по своим делам, только Родик перетаптывался рядом, иногда повторяя «Ук!», и подолгу сомнительно молчал на Захаркино: «Стрелы! Скажи: стрелы!»

«Ей».

— Точно, — согласился Захарка.

Натянул тетиву, запустил стрелу, она взмыла стремительно, потом, казалось, на мгновение застыла в воздухе и мягко пала вниз, в землю воткнувшись.

— Вау, — сказала Ксюша, выйдя с половой тряпкой на крыльцо. — Как красиво!

Пошатываясь на ветерке, стрела торчала вверх.

— Стоит, — добавила Ксюша мечтательно.

«В хорошем настроении сегодня, — подумал Захарка. — Полы моет». Не сдержался и спросил:

— Ты что это за грязный труд взялась?

— Ремонт начинаем сегодня. Нашей Ксюше так хочется свою комнату в оранжевые цвета раскрасить, что готова на любые жертвы, — ответила Катя за Ксюшу.

Ксюша, обиженная и на сестру и на брата, выжимала грязную воду из тряпки.

Захарка побродил по саду, погрыз, нехотя, яблоко.

Поносил Родика на шее, потом пацана отправили спать, и Захарка, чтоб не мешаться истово прибирающимся сестрам, отправился к себе.

Во дворе бабушка уже затерла кровь, а свиньи не осталось вовсе: только мясо в тазях.

Скрипнув дверью, вошел в избушку.

Было душно. Он стянул шорты, вылез, чуть взъерошенный, из майки. Упал на кровать, покачиваясь на ее пружинах. Завалился на бок, потянулся рукой к старой книге с затрепанной обложкой и без многих страниц, да так и не донес ее к себе. Припал щекой к подушке, притих. Вдруг вспомнил, что не выпался, закрыл глаза, сразу увидев Катю... о Кате, Катине, Катины...

Лежал, помня утренний визг, полет стрелы, черную воду из тряпки, вкус яблока, яблоню качает, раскачивает, кора близко, темная кора, шершавая кора, кора, ко... ра... ко...

Скрипнула дверь, проснулся мгновенно. «Катя», — екнуло сердце. Вошла Ксюша, в смешном купальнике: все на каких-то завязочках с бантиками.

Расщурив глаза, Захарка смотрел на нее.

— Разбудила, спал? — спросила она быстро.

Он не ответил, потягиваясь.

— Мы купаться собрались, — добавила Ксюша, присев на кровать так, чтобы коснуться своим бедром бедра брата. — А то от краски уже голова болит: мы красить начали. Двери.

Захарка кивнул головой и еще раз потянулся.

— Ты отчего молчишь? — спросила Ксюша. — Ты почему все время молчишь? — повторила она веселее, и на тон выше — тем голосом, какой обычно предшествует действию. Так оно и было: Ксюша легко перекинула левую ножку через Захарку и села у него в ногах, крепко упираясь руками ему в колени, сжимая их легко. Вид у нее был такой, словно она готовится к прыжку.

«Я вроде бы и не молчу...» — подумал Захарка, с интересом разглядывая сестру.

Ступнями он иногда чувствовал ее холодные, крепкие ягодицы. Она чуть раскачивала задком из стороны в сторону и вовсе неожиданно пересела выше, недопустимо высоко, — прижав ноги к его бедрам и тихо шекоча Захарку под мышками.

— А щекотки ты боишься? — спросила она, и без перерыва: — Какая у тебя грудь волосатая... Как у матроса. Ты куда пойдешь в армии служить? В матросы? Тебя возьмут.

Вид у Ксюши был совершенно спокойный, словно ничего удивительного не происходило.

Но Захарка, когда она шевелилась и ерзала на нем, внятно чувствовал, что под тканью ее смешной, в бантиках, одежды живое, очень живое...

Это продолжалось ровно столько, чтобы обоим стало ясно: так больше нельзя, нужно сделать что-то другое, невозможное.

Ксюша смотрела сверху спокойными и ясными глазами.

— Мне так неудобно, — вдруг сказал Захарка, ссадил Ксюшу и сел напротив ее, прижав колени к груди.

Они проговорили еще минуты две, и Ксюша ушла.

— Ну, пойдем купаться? — спросила уже на улице, обернувшись.

— Идем-идем, — ответил Захарка, провожая ее.

— Тогда я Катюшу позову. И мы зайдем за тобой, — Ксюша, вильнув бантиком, вышла со двора.

— «Катюшу позову...» — повторил он без смысла, как эхо.

Подожел к рукомойнику, похожему на перевернутую немецкую каску. Из отверстия в центре рукомойника торчал железный стержень. Если его поднимаешь — течет вода.

Захарка стоял недвижимо, пристально разглядывая рукомойник, проводя кончиком языка по тыльной стороне зубов. Чуть приподнял

железный стержень: он слабо звякнул. Воды не было. Потянул за стержень вниз.

Неожиданно заметил на нем сохлый отпечаток крови.

«Наверное, дед, когда свинью резал, хотел помыть руки...» — догадался.

* * *

Вечером Ксюша ушла на танцы, а Катя с Родиком пришли ночевать к бабушке с дедом: чтобы пацан не захворал от тяжелых запахов ремонта.

Долго ужинали. Разморенные едой, разговаривали нежно. Помаргивала лампадка у иконы. Захарка, выпивший с дедом по три полрюмочки, подолгу смотрел на икону, то находя в женском лице черты Кати, то снова теряя. Родик так точно не был похож на младенца.

Его уже несколько раз отправляли спать, но он громко кричал, протестуя.

Захарке не хотелось уходить в избушку, он любовался на своих близких, каких-то особенно замечательных в этот вечер.

Ему вдруг тепло и весело примнилось, что он взрослый, быть может, даже небритый мужик, и пахнет от него непременно табаком, хотя сам Захарка еще не курил.

И вот он небритый, с табачными крохами на губах, и Катя его жена. И они сидят вместе, и Захарка смотрит на нее любовно.

Он только что приплыл на большой лодке, правя одним веслом, привез, скажем, рыбы, и высокие, черные сапоги снял в прихожей. Она хотела ему помочь, но он сказал строго: «Сам, сам...»

Захарка неожиданно засмеялся своим дурацким мыслям. Катя, оживленно разговаривавшая с бабушкой, мелькнула по нему взглядом, таким спокойным и понимающим, словно знала, о чем он думает, и вроде бы даже кивнула легонько: «Ну сам, так сам... Не бросай их только в угол, как в прошлый раз: не высохнут...»

Захарка громко съел огурец, чтобы вернуться в рассудок.

Дед, давно уже вышедший из-за стола слушать вечерние новости, прошел мимо них из второй комнаты на улицу, привычно приговаривая словно для себя, незлобно:

— Сидите все? Как только что увиделись, приехали откуда...

Беседа случайным словом задела зарезанную нынче свинью. Катя сразу замахала руками, чтобы не слышать ничего такого, и разговаривавшая не в привычку бабушка вдруг рассказала историю, как в пору ее молодости неподалеку жила ведьма. Дурная на вид, костлявая и вечно простоволосая, что не в деревенских обычаях. Травы сушила, а то и мышей, и хвосты крысиные, и всякие хрящи других тварей.

О бабке, между иным прочим, говорили, что она в свинью превращается ночами. Решили задорные деревенские парни проверить этот слух, пробрались ночью во двор к бабке, в поросятый сарай, и в минуту отрезали свинье ухо.

А ранним утром бабу, спешившую с первым солнцем за водой к речке, впервые видели в платке, и даже под черным платом было видно, что голова у нее с одной стороны замотана тряпкой.

Катя сидела, притихнув, неотрывно глядя на бабушку. Захарка смотрел Кате через плечо, в окошко, и вдруг сказал шепотом:

— Кать, а что там в окне? Никак свинья смотрит?

Катя вскочила и взвизгнула. Бабушка хорошо засмеялась, прикрывая красивый рот кончиком платочка. Да и Катя охала, перебегая от окошка на другой конец стола, не совсем всерьез. Однако на Захарку начала ругаться очень искренне:

— Дурак какой! Я же боюсь этого всего...

Посмеялись еще немного.

— Сейчас пойдешь в свою избушку, а тебя самого свинья укусит, — посулила Катя негромко.

Захарка отчего-то подумал, что свинья укусит его за вполне определенное место, и Катя о том и говорила. У него опять мягко екнуло в сердце, и он не нашелся, что ответить про свинью, потому что подумал совсем о другом.

— А ты тут оставайся спать, — предложила бабушка Захарке полувшутку-полувсерьез, словно и правда опасаясь за то, чтоб внука не покусала нечисть; сама бабушка никогда ничего не боялась.

— Места хватит, всем постелем, — добавила она.

— Изба большая — хоть катайся, — сказал вернувшийся с улицы дед, обычно чуть подглуховатый, но иногда неожиданно слышавший то, что говорилось негромко и даже не ему. Все снова разом засмеялись, даже Родик скривил розовые губешки.

Дед издавна считал свою избу самой большой, если не во всей деревне, то на порядке точно.

Сходит к кому-нибудь, например, на свадьбу, вернется и скажет:

— А наша-то, мать, изба поболее будет? Тесно там было как-то.

— Да там четыре комнаты, ты что говоришь-то, — дивилась бабушка. — И сорок три человека званых.

— Ну, «комнаты...» — бурчал дед басовито. — Будки собачьи.

— У нас тут восемнадцать душ жило, при отце моем, — в сотый раз докладывал он Захарке, если тот случался поблизости. — Шесть сыновей, все с женами, мать, отец, дети... Лавки стояли вдоль всех стен, и на них спали. А ей вдвоем теперь тесно, — сетовал на бабушку.

В этот раз он про восемнадцать человек не сказал, прошел, делая вид, что смеха не слышит и не видит. Включил в комнате телевизор погромче — так, чтоб его гомон наверняка можно было разобрать в соседнем доме, где жил алкоголик Гаврило, никаких электрических приборов не имевший.

Катя помогла бабушке прибирать со стола. Захарка изображал Родика битву на вилках, пока вилки у него тоже не отобрали, унеся в числе остальной грязной посуды.

Они прошли в комнату, к подушкам и простыням, имеющим в деревне всегда еле слышный, но приятный, чуть кислый вкус затхлости: от больших сундуков, обилия ткани, долго лежавшей в душной тесноте.

Захарке достался диван. Он дождался, пока выключат свет, быстро разделся и лег, запахнувшись одеялом, хотя было тепло.

Дед спал на своей кровати, бабушка на своей. Кате с Родиком досталась низкая лежанка, стоявшая в другом от Захарки углу комнаты.

Захарка лежал и слушал Катю, ее вздохи, ее движение, ее голос, когда она строгим шепотом пыталась урезонить Родика.

Словно пугаясь, что и в темноте она увидит его взгляд, Захарка не смотрел в сторону Кати.

Родик никак не унимался, ему непривычно было на новом месте, он садился, хлопал пяткой по полу, пытался рассмешить мать, вертаться на лежанке. Когда он в который раз влез куда-то под одеяло, запутавшись в пододеяльнике, Катя резко села, и сразу же раздался треск и грохот: в деревянной лежанке что-то подломилось.

Родик получил по затылку, заныл, убежал к бабушке на кровать.

Включили ночник: на лежанке спать было нельзя, она завалилась на бок.

— Ложись к брату, — сказала просто бабушка.

Захарка придвинулся на край дивана, руки вдоль тела, взгляд в потолок, и все равно заметил, как мелькнул белый лоскут треугольный. Катя легла у стены.

Они оба лежали не дыша. Захарка знал, что Катя не спала. Он не чувствовал тепла Кати, не касался сестры ни миллиметром своего тела, но неизъяснимое что-то, идущее от нее, ощущалось физически остро, всем существом.

Они не двигались, и Захарке было слышно, как у Кати взмаргивают ресницы. Потом в темноте раздавался почти неуловимый звук раскрывающихся, чуть сохшихся губ, и тогда Захарка понимал, что она дышит ртом. Повторял это же движение, чувствовал, как воздух бьется о зубы, и знал, что она испытывает то же самое: тот же воздух, тот же вдох...

Родик пролежал спокойно минут десять, казалось, что он уже заснул. Но вдруг раздался его ясный голос:

— Маме.

— Спи-спи, — сказала бабушка.

— Маме, — повторил он требовательно.

— К маме хочешь?

— Да. Маме, — внятно повторил Родик.

Катя не отзывалась. Но Родик уже перебрался через бабушку и, двигаясь наугад в темноте, подошел к дивану.

Захарка подхватил его и положил между собой и Катей. Пацан счастливо засмеялся и сразу начал, при помощи задранных вверх ножек, какую-то бодрую игру с одеялом. Тем более, что ему было тесно, и своими

острыми локотками он упирался одновременно в мамин бок и в Захаркин.

— Нет, так мы не заснем, — сказал Захарка.

Быстро, пока никто не успел ничего сказать, он вышел, прихватив с пола шорты и бросив напоследок добродушное:

— Пойду свинью навещу. Спите.

В прихожей он влез в свои шлепанцы, одел, чертыхаясь, шорты и вышел на улицу. Было звездно, прохладно, радостно.

— Свинья не укусит, — повторял он, улыбаясь самому себе, не думая ни о какой свинье. — Не укусит, не выдаст, не съест...

В своей избушке сел на кровать и сидел, покачивая ногами, с таким видом, будто придумал себе занятие на всю ночь. Смотрел в маленькое окошко, где луна и туча.

* * *

Ранним, свежим утром Захарка с большим удовольствием красил двери и рамы в доме сестер.

Тепло медленно.

Когда появлялась Катя в белой рубашке, концы которой были завязаны у нее на животе, и в старых, завернутых по колени, восхитительно идущих ей трико, он легко понимал, что не заснул бы ни на секунду, если б остался рядом с ней.

Много смеялся, дразня по пустякам сестер, чувствовал, что стал непонятно когда увереннее и сильнее.

Ксюша повозила немного вялой кистью и ушла куда-то.

Катя рассказывала, веселясь, о сестре: какая она была в детстве, и как это детство в одно лето завершилось. И о себе говорила, какие странности делала сама, юной. И даже не юной.

— Дура, — сказал Захарка в ответ на что-то, неважное.

— Как ты сказал? — удивилась она.

— Дура ты, говорю.

Катя замолчала, ушла разводить краску, сосредоточенно крутила в банке палкой, поднимая ее и глядя, как стекает густое, медленное.

Спустя, наверное, часа три, докрасив, сидели на приступках дома. Катя чистила картошку, Захарка грыз тыквенные семечки, прикармливая кур.

— Ты первый мужчина, назвавший меня дурой, — сообщила Катя серьезно.

Захарка не ответил. Посмотрел на нее быстро и дальше грыз семечки.

— И что ты по этому поводу думаешь? — спросила Катя.

— Ну, я же за дело, — ответил он.

— И самое страшное, что я на тебя не обиделась.

Захарка пожал плечами.

— Нет, ты хоть что-нибудь скажи, — настаивала Катя, — ...об этом...

— А на любимого мужа обиделась бы? — спросил Захарка только для того, чтобы спросить что-нибудь.

— Я люблю тебя больше, чем мужа, — ответила Катя просто и срезала последнюю шкурку с картошки.

С мягким плеском голый, как младенец, картофель упал в ведро.

Захарка посмотрел, сколько осталось семечек в руке.

— Чем мы с тобой еще сегодня займемся? — спросил, помолчав.

Катя смотрела куда-то мимо ясными, раздумывающими глазами.

В доме проснулся и подал голос Родик.

Они поспешили к нему, едва ли не наперегонки, каждый со своей нежностью, такой обильной, что Родик отстранялся удивленно: чего это вы?

— Пойдем, погуляем? — предложила Катя. — Надоело работать.

Невнятной тропинкой, ни разу не хоженной Захаркой, они тихо побрели куда-то задами деревни, с неизменным Родиком на плечах.

Шли сквозь тенистые кусты, иногда вдоль ручья, а потом тихой пыльной дорогой, немного вверх, навстречу солнцу.

Выбрели для Захарки неожиданно к железной оградке, железным воротцам с крестом на них.

— Старое кладбище, — сказала Катя негромко.

Родику было все равно, куда они добрались, и он понесся меж могил и ржавых оградок, стрекоча на своем языке.

Они шли с Катей, читая редкие старорусские имена, высчитывая годы жизни, радуясь длинным срокам и удивляясь — коротким. Находили целые семьи, похороненные в одной огаде, стариков, умерших в один день, храбрых солдатиков, юных девушек. Гадали, как, отчего, где случилось.

У памятника без фото, без дат встали без смысла, смотрели на него. Катя — впереди, Захарка за ее плечом, близко, слыша тепло волос и всем горячим телом ощущая, какая она будет теплая, гибкая, нестерпимая, если сейчас обнять ее... вот сейчас...

Катя стояла, не шевелясь, ничего не говоря, хотя они только что балагурили без умолку.

Внезапно налетел как из засады Родик, и все оживились — поначалу невпопад, совсем неумело, произнося какие-то странные слова, будто пробуя гортань. Но потом стало получаться лучше, много лучше, совсем хорошо.

Вернулись оживленные, словно побывали в очень хорошем и приятном месте.

Снова с удовольствием взялись за кисти.

Весь этот день и его запахи краски, естественно яркие цвета ее, обед на скорую руку — зеленый лук, редиска, первые помидорки, — а потом рулоны обоев, дурманящий клей, мешающийся под ногами Родик, уже измазавшийся всем, чем только можно, — в конце концов, его ответили к бабушке, — и все еще злая Ксюша («...поругалась со своим...» — шептала Катя), и руки, отмываемые уже в размытых летних сумерках бензином, — все это, когда Захарка, наконец, к ночи добрался до кровати, отчего-то превратилось в очень яркую карусель, кажется, печную, на которой его кружило, и мелькали лица, с расширенными

глазами, глядящими отчего-то в упор, но потом сиденья на длинных цепях относило далеко, и оставались только цвета: зеленый, синий, зеленый.

И лишь под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина — прозрачная и нежная, как на кладбище.

«...Всякий мой грех... — сонно думал Захарка, — ...всякий мой грех будет терзать меня... А добро, что я сделал, — оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком...»

Следующие летние дни, начавшиеся с таких медленных и долгих, вдруг начали стремительно, делая почти ровный круг цепочной карусели, проноситься неприметно, одинаково счастливые до того, что их рисунок стирался.

В последнее утро, уже собравшись, в джинсах, в крепкой рубашке, в удивляющих ступни ботинках, Захарка бродил по двору.

Думал, что сделать еще. Не мог придумать.

Нашел лук и последнюю стрелу к нему. Натянул тетиву и отпустил. Стрела упала в пыль, розовое перо на конце.

«Как дурак, — сказал себе весело. — Как дурак себя ведешь».

Поцеловал бабушку, обнял деда, ушел, чтоб слез их не видеть. Легкий, невесомый, почти долетел до большака, — так называлась асфальтовая дорога за деревней, где в шесть утра проходил автобус.

К сестрам попрощаться не зашел: что их будить!

«Как грачи разорались», — думал дорогой.

Еще думал: «Лопухи, и репейник ароматный».

Ехал в автобусе с ясным сердцем.

«Как все правильно, Боже мой! — повторял светло. — Как правильно, Боже мой! Какая длинная жизнь предстоит! Будет еще лето другое, и тепло еще будет, и цветы в руках...»

Но другого лета не было никогда.

АПОКАЛИПСИС ОТМЕНЯЕТСЯ

* * *

Среди рутины и репья,
Лет средних, качеств,
Средь мыслей серого тряпья,
Речей иначесть,

Стою, как лето в январе
В районе Мцесты,
Собравшись с духом по морé
В иные места.

Жизнь бьет наотмашь, целя в лоб,
Туда, где правда
Про деревянный гардероб
Полметра на два.

Мозг, перекрученный в дугу —
На карантине.
Выкручиваюсь, как могу,
Что твой Гудини.

Забыты лица, города,
Пароли, явки...
И на сгоревших со стыда
Щеках две ямки.

И ночь, что прет с горы на мы,
Бросая тени
На голубые хохломы
И волн постели,

Знать, августееет неспроста
В садах Минервы;
Вспорхнуло что-то из куста —
Ни к черту нервы.

**Ави
ДАН**

— родился в 1970 в Магадане. Автор поэтических сборников «Место происхождения» (1992) и «Fin de Siecle» (1997). Лауреат конкурса Российской Национальной литературной сети (2002), дипломант Международного литературного Волошинского конкурса (2004). Стихи публиковались в «Иерусалимском Журнале» и журнале «Крешатик». Живет в Москве.

Я сплю, я грежу наяву.
Я жду подвоха.
Я мну забвения траву
И кончу плохо.

В озябших пальцах для души
Есть децл тяги.
Да на столе — карандаши
И лист бумаги.

И в сером этом январе,
В окне-мольберте —
Фонтан, забытый во дворе
До полусмерти.

* * *

Апокалипсис отменяется. Армагеддон повис
В воздухе. Дольче не хочет больше любить Габану.
На пределы сидонские сыпется сверху вниз
Энерджайзер Насралла и лупит по барабану.

Дефиле продолжается (Боже, храни гламур!)
Гавриил со своим саксофоном ушел в джаз-банду.
И глядят, улыбаясь, Бин-Ладен и Деми Мур
С голубого экрана, несущего пропаганду.

Смерть живет в моем доме, привычная как «Деньжат
Одолжишь до второго?» в потертом трико соседа,
Где как в ножны железобетонные мозг зажат
По весне, что уходит в климакс, миную лето.

Как сказал мне однажды Петров, прозевав ферзя
На прогулке по переулку у Маросейки:
«Ты не думал наверно об этом, но жить нельзя
В той стране, где у нас никогда не кончатся батарейки».

Там листва человечества, супер шалтай-болтай.
Да и вас никому уже больше не сжить со свету.
Плюс китайский болванчик по прозвищу Ху Эм Ай,
Что стучит в тишине и мешает уснуть поэту.

* * *

Море качается.
Волн мотив.
Солнце кончается.
Ветви ив.

Чайки над городом.
Ветерок.
Осень в провинции;
Пляж, песок.

Хлебово облака.
Старый свет.
Нечто без облика.
Смерти нет.

* * *

Язык мой — враг мой.

Россия-мать! сырая штукатурка,
Казенщина по стенам и углам,
Прости меня, родная, полудурка
За мой лукавый, с горем пополам

Годами онемеченный обмылок,
Сырой гортани лживый лепетун;
Пусть он бежал ножей твоих и вилок,
Всё в онемелых жилах колотун —

Ату его! — играет кукарачу
И полумесяц пробует на клык
Басманный рай, нам выданный на сдачу
За втридорога прожитый ярлык.

Дрожит холуй за барские копейки,
Строка к строке частит наверняка.
И не уйти ему из-под опеки
Великого Живаго Языка.

А он дрожит и лезет вон из кожи,
И правду-матку режет без ножа:
«Платон нам друг, но Родина — дороже!»
Ун зай гезунд погода хороша.

Цветет сарынь, окученная раком,
Московский дождик душу бередит;
С портретов царь, посверкивая зраком,
Ордынским храпоидолом глядит.

За ним цвета родного триколора,
Откуда площадь Красная видна.
От нашей дури нету димедрола.
И ни покрышки нет ей и ни дна.

«Рожденным ползать...» — далее по тексту.
Возьми свое и бога не гневи.
А прочее — не к сроку и не к месту,
Когда кругом такая селяви.

Когда от порчи многая и сглаза,
В одном сплошном живя полубреду,
Шевелится его сырое мясо
У вечности малиновой во рту.

Он к нёбу льнет, не мудрствуя о стиле,
Готовый к путешествию туда,
Где говорят на птичьем суахили
И лжи не существует никогда.

* * *

Бахыту Кенжееву

Ерболдинская осень на дворе;
На юг слоны и мухи улетели.
Качается чечен на фонаре.
В Кремле блатарь сидит на блатаре
И у народа нервы на пределе.

Пока еще не все запрещено,
Пока сентябрь над городом колдует,
Поэт глядит в холодное окно
На это черно-белое кино,
Пивко сосет и в ус себе не дует.

Господь не выдаст, ложь его не съест;
Он сам и нож, и брут себе, и цезарь.
Исчезла тень, покинувшая крест —
Поскольку степь да азия окрест —
А он еще по стопочке бы врезал.

Из дому выйдешь, век опередив,
В гортань двора арбатского — чего там! —
Играючи, что твой аперитив.
А жизнь течет, как старенький мотив
И смерть стоит за каждым поворотом.

И в сотый раз твердишь себе уже:
«Аз есмь адам, замешанный на глине...»,
Пока Москва в сентябрьском мандраже
Рифмуется в таком-то падеже
Сама с собой в речном аквамарине.

Не выйти из воды ее сухим,
Как серебрястых струн не бреди ты.
Пусть сам ты мим и жизнь твоя как дым —
Суди нас бог, кто более судим —
Есть музыка невнятная другим
И небеса нездешние разлиты.

Возвращение

...как будто жизнь начнется снова.

И.Бродский

Пошла река, ополоумев,
Косые льдины прут как танки.
И гений русского надыса
По зайцам лупит из берданки.

Дела идут, контора пишет.
Пенсне Лаврентий в пальцах крутит.
Бессмертный бог лежит — не дышит.
Никто будить его не будет.

Привыкший к видам запределным,
В душе не балую холоуя;
А с чемоданчиком картонным
К тебе, отудобев, иду я.

А в чемоданчике — газета
(В ней снимок траурный, нечеткий)
И томик старого поэта,
И кое-что по мелочевке.

Я прохожу вдоль рельсов, морщась,
Перебирая четки пальцев.
И вечность чувствую на ошупь,
Как ткань, распятую на палках.

Идет весна в порядке бреда
Среди российского надрыва.
И все идет своим порядком.
И я к тебе полжизни еду.

Проходит родина, мелькая
По старым тюрьмам в стиле ретро.
Проходит молодость, моргая
Сырыми, серыми от ветра.

Всегда теряюсь я, прохожий,
Перед лицом слепой развязки.
Но это хлебово — от бога.
И не канает за отмазки.

Проходит время как конторщик,
Мне руку жмет, во всем цивильном.
Оно — крамолы заговорщик
На рождестве любвеобильном.

Проходит жизнь, каная мимо.
Проходит смерть — свое не выдаст.
Проходит Волгой пароходик
Вчера, давно, непоправимо.

И ты не жди меня былого,
Когда вернусь я, замирая,
Пройдя к тебе через полмира,
На полуслове...

* * *

Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.

Иосиф Бродский

Все тебе одному, рабу божьему: вечный аминь
Безразличной просвирни, сугубый пиджак сибарита
Под шинелью Фомы, где средь прочих оплеванных спин,
То ли злая мишень, то ль бубновая метка нашита.

Поелику мигрень, — среднерусской словесности птах
Не по аглицкой фене над строчкой забытою бьется.
Как об стену горохом. И слышится эхо в горах.
(Никогда не узнаешь чем слово твое отзовется.)

Где ты ныне блазнишь фрау Музу, с грехом пополам
Выбираясь зрачком из пернатого хора наружу,
Аполлон подворотен, живущий по всем адресам;
На пиру праотцов с кем баюкаешь вещую душу?

Иль барыгой угрюмым, забывшим свою Гефсимань,
Выходя из-за туч и впадая в безмолвье, как в ересь,
Наблюдаешь закат сквозь стакана туманную грань.
Разминувшись с землею (точнее сказать — разуверясь

В землянике молвы, что красна ли едва на миру),
Пустяком пятаков — вверх орлами — от райской таможни
Откупиться ль душе, чтоб звездою упасть на юру,
Где, чем крест тяжелей, тем уже умереть невозможней.

Александр МИШУЛОВИЧ

ЗАГОВОРЩИКИ, ИЛИ КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ КОМПАРТИИ США

Возможность подчинить народ тоталитарному режиму определяется способностью Вождя собрать вокруг себя людей, готовых добровольно подчиниться тоталитарной дисциплине, которую они намерены навязать всему народу.

Фридрих фон Хайек¹

*...Вечером 10 октября **** года двенадцать членов ЦК собрались в петербургской квартире большевички Галины Флаксерман. Вождь явился на заседание в костюме лютеранского пастора, гладко выбритым, в парике. Лишь за неделю до этого он вернулся из Финляндии, где прятался от угрозы ареста. Его «доклад о текущем моменте» был посвящен одному: призыву к немедленному восстанию.*

Не правда ли, звучит, как начало политического «триллера»? Мы ведь с детства слышали о заговорах: кадетов и эсеров, Бухарина с Зиновьевым, доктора Вовси из Кремлевской больницы. Мы читали роман «Заговор равнодушных», смотрели фильм «Заговор обреченных» и засыпали над пудовым томом «Заговорщики» Н. Шпанова, бывшего начальника Ленинградского ГПУ.

Только на этот раз все взаправду. Мы уже не узнаем, что говорилось на том заседании. Не только в издании 1927 года, но и в папках секретного архива ЦК протокол был тщательно подчищен². Можно только догадываться, что поначалу большинство, — не только Каменев и Зиновьев, — были против этой авантюры. Но Ленин не отступал ни на шаг. Что это было? Железная логика, фанатическая страсть, заразительный азарт игрока? Как бы то ни было, но к трем часам утра этот человек, книжник и схоласт, прошедший пятнадцать из последних семнадцати лет за границей, сумел убедить ЦК, и десятью голосами против двух было решено: готовить вооруженное восстание.

¹ Hayek F. The Road to Serfdom. Chicago, 1994.

² Pipes R. Concise History of the Russian Revolution. N. Y., 1995.

**Александр
МИШУЛОВИЧ**

— родился в 1937 г. в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт и аспирантуру НИИ Цемента (Москва). Печатался под псевдонимом М. Александер в «Новом русском слове» и журнале «Вестник», а также под собственным именем — в специализированных технических изданиях. С 1978 г. живет в США.

Что было дальше — знают все. Созданный за день до этого Военно-революционный комитет Петроградского Совета, по сути независимый конспиративный орган во главе с Троцким, взялся за подготовку. Вооруженные отряды начали занимать ключевые позиции: телеграф, телефон, мосты. Министры Временного правительства заседали в Зимнем дворце. После холостого выстрела «Авроры» правительство капитулировало³.

По подсчетам Троцкого в «Уроках Октября», из двух миллионов населения столицы, 150 миллионов — всей страны, в петроградском восстании участвовало всего двадцать пять — тридцать тысяч человек⁴. Потери повстанцев составили шесть человек, из них двое убитых «дружеским» огнем. (Заметим, что в чисто символическом эпизоде Французской революции — взятии Бастилии — было убито 83 человека из числа атакующих)⁵.

Это был грандиозный триумф конспирации. Официальный миф о Великой Октябрьской социалистической революции возникнет еще не скоро. А вплоть до 30-х годов даже в официальной советской истории этот заговор назывался октябрьским переворотом.

* * *

Легкий успех петроградских заговорщиков вскружил головы тем, кому не терпелось повторить его в других странах. В феврале 1919 года верный ленинский оруженосец Зиновьев берется за дело. По радио (!) передается приглашение всем единомышленникам собраться в Москве на международный коммунистический съезд. Большая часть из 52 делегатов уже жили в Москве — «представители» Украины (Скрыпник), Финляндии (Куусинен), Белоруссии, Армении, Латвии, немцев Поволжья, неопределенных «народов Востока». Из сочувствующих военнопленных прямо на месте были сформированы австрийская и венгерская компартии. В результате образовался Коммунистический Интернационал, или Коминтерн (акронимы начинали входить в моду). «Победа коммунизма в Европе неизбежна, — вещал Зиновьев, назначенный его председателем. — *Через год вся Европа будет коммунистической. Революция началась!*»⁶

Не все идет, как задумано. В Берлине в январе 1919 года вооруженный и воинствующе левый «Союз Спартака» при прямом участии Зиновьева и Радека поднимает мятеж — против кого? Против германского Учредительного собрания и германских Советов Рабочих и Солдат. Роза Люксембург всеми силами пытается предотвратить бессмысленный и безнадежный мятеж. Руководство спартаковцев — Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Вильгельм Пик — арестовано. Либкнехт и Люксембург расстреляны; Пик выходит на свободу⁷.

³ *Shapiro L. The Russian Revolution of 1917: The Origins of Modern Communism. N. Y., 1984.*

⁴ Цит. по: *Pipes R. Three «Whys» of the Russian Revolution. Vintage Books, 1995.*

⁵ *Schama S. Citizens: A Chronicle of the French Revolution. N-Y, 1989.*

⁶ *Volkogonov D. Autopsy for an Empire. N.Y. — London, 1998. P. 46.*

⁷ *Wolfe B. Strange Communists I Have Known. N. Y., 1965.*

Кровавым провалом заканчивается попытка переворота в Венгрии. Красная Армия наголову разбита под Варшавой, — напрасно Юлиан Мархлевский уже готовил в Москве «галицийский ударный корпус» и формировал будущее правительство Советской Польши. Но революционный пыл не гаснет. Троцкий, проносясь в своем бронепоезде с одного фронта на другой, строит планы вторжения в Индию через Афганистан. Это должно вызвать революционный взрыв в Азии, а потом и во всем мире. «Путь к Парижу и Лондону, — пишет он в 1919 году, — идет через Пенджаб и Бенгалию». А в декабре 1920 года ЦК среди прочих текущих задач решает «создать советскую партию в Турции».

В 1919 году Ленин пишет Сталину (почему-то без знаков препинания): «Положение в Коминтерне превосходное Зиновьев Бухарин а также и я думаю что следовало бы поощрить революцию в Италии мое личное мнение что для этого надо советизировать Венгрию а может быть также Чехию и Румынию надо обдумать внимательно сообщите ваше подробное заключение немецкие коммунисты думают что Германия способна выставить тридцать тысяч войска из люмпенов против нас

Ленин»⁸.

Естественно, мировой пожар по дешевке не раздуешь. Ленин как убежденный материалист знал цену деньгам. Архивы Коминтерна сохранили ведомости выплат, адресованных зарубежным товарищам. Деньги выплачивались в немецких марках, шведских кронах, британских фунтах, а чаще всего — драгоценностями, собранными под революционным лозунгом «грабь награбленное». Шли они в Венгрию, Италию, Англию, Югославию, Швецию, Польшу. И с июля 1919 года по январь 1920-го — 2 миллиона 700 тысяч рублей драгоценностями — в Америку, товарищам Котлярову, Хавкину, Андерсону и Джону Риду⁹.

К этому времени в САСШ (Северо-Американских Соединенных Штатах. — *Ред.*), как писали тогда, были уже две подпольные коммунистические партии: Коммунистическая партия Америки и Коммунистическая рабочая партия (ее-то и возглавил Джон Рид). В обеих партиях состояло больше 30 тысяч человек, но только около четырех тысяч говорили по-английски¹⁰. Как ни грустно, большинство членов были наши соотечественники, в основном евреи.

Вот один из основателей Коммунистической рабочей партии — доктор Джулиус Хэммер, уроженец Одессы, привезенный в Америку в годовалом возрасте. Похоже, что главным источником доходов доктора была не столько медицинская практика, сколько небольшая фармацевтическая фабрика, поставлявшая лекарства для его же аптеки. Вскоре после основания партии доктор попал в тюрьму по обвинению в смерти его пациентки в результате аборта. Впрочем, его сын Арманд много лет спустя все еще утверждал, что обвинение было ложным и что Джулиуса Хэммера преследовали за его коммунистические взгляды¹¹.

⁸ Pipes R. (ed.), The Unknown Lenin. From the Secret Archive. New Haven, 1996.

⁹ Klehr H., Haynes J., Firsov F. The Secret World of American Communism. New Haven, 1995.

¹⁰ Klehr et al. Op. cit.

¹¹ Hammer A. (with Neil Lyndon). Hammer. N. Y., 1987.

Как бы то ни было, молодому Арманду, студенту-медику, пришлось взять на себя отцовский бизнес. Дела пошли неожиданно хорошо после введения сухого закона. Оказалось, что жаждущие охотно покупали для внутреннего употребления настойку имбиря на спирту. Производство пришлось срочно расширять. Так возникла, а позже и расширилась, фирма под названием Объединенная Лекарственная и Химическая Компания. Фирма на 50% принадлежала Людвигу Мартенсу, который в это время был неофициальным представителем Кремля (потом его из Америки выдворили). А на часть заработанных миллионов молодой Арманд Хэммер и купил тот легендарный вагон медицинских припасов, который в 1923 году преподнес Советскому правительству. Дальнейшая его судьба — это уже достояние истории: встреча с Лениным, концессии на Урале, карандашная фабрика в Москве, вывоз за рубеж шедевров из коллекций Эрмитажа и, между прочим, банк в Эстонии, через который отмывались субсидии для западных коммунистов.

Но это было потом. Пока что Третий конгресс Коминтерна решил, что две американские партии надо объединить, и в 1921 году создается уже легальная единая Рабочая (Коммунистическая) партия США. Конечно, теоретически Коминтерн оставался добровольным союзом коммунистов всего мира, и Компартия США была таким же равноправным его членом, как РКП(б). Только как-то так получилось, что все команды шли из Кремля, а коминтерновские вожди без лишних споров передавали их для исполнения соответствующим партиям. И вот в Москве француз Андре Марти (интернационализм в действии!) утверждает поименно, кто будет сидеть в заокеанском Политбюро. И едут в СССР будущие американские генсеки Эрл Браудер (он же Моррис), Юджин Деннис (он же Фрэнсис Уолдрон, он же Тим Райэн) и их сотоварищи — едут учиться в свежееобразованной Международной Ленинской Школе в Подлипках.

Единую североамериканскую партию возглавил Чарлз Рутенберг. Он умер в 1927 году, был похоронен у Кремлевской стены, а в партии начались обыкновенные дразги, не имеющие никакой идейной подоплеки. С согласия Москвы, после смерти Рутенберга партию возглавил Джэй Лавстоун, группировка которого среди прочих включала немногочисленных тогда коммунистов-интеллигентов. Ему противостояло меньшинство, возглавляемое Уильямом Фостером. Когда грызня между фракциями достигла полного накала, в дело вмешался Сталин. Он вызвал в Москву вожakov обеих фракций, отчитал и тех, и других и распорядился удалить из руководства Лавстоуна и его сторонников. Задним числом ему были приписаны бухаринские взгляды. Генсеком же был назначен Эрл Браудер, правая рука Фостера. Браудер был надежным человеком. Его младшая сестра Маргарет, она же Джин Монтгомери, обучалась в Москве в школе радистов и позднее работала нелегально в Европе. Его жена Айрин, урожденная Раиса Борисовна Лугановская, была «комиссаром с чрезвычайными полномочиями» в Харькове во время Гражданской войны. Выйдя замуж за Браудера, жившего тогда в Москве, она готовилась для работы в США в той же Ленинской Школе.

Ни компартия, ни ее члены не пытались создавать видимость даже минимальной самостоятельности. Официальное «Руководство по организации» провозглашало:

*«Мы не ставим под вопрос теорию о необходимости насильственного свержения капитализма. Мы не ставим под вопрос правильность революционной теории классовой борьбы, установленной Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным. Мы не ставим под вопрос контрреволюционную природу троцкизма. Мы не ставим под вопрос политическую правоту решений, резолюций и т. д. Исполкома Коминтерна, съезда партии или Центрального Комитета»*¹².

Этот документ, по стилю больше похожий на молитву (вспомним сталинское «*клянемся тебе, товарищ Ленин*»), составил Джозеф Питерс, он же Йозеф Петер, он же Алекс Стивенс, он же Гольдфарб, — один из вождей компартии. Питерс родился в Чопе в рабочей семье и до эмиграции в США в 1924 году носил законное имя Исидор Бурштейн. С начала 30-х годов, после учебы в Москве, он возглавил подпольный аппарат партии. Позднее Питерс был смещен, и на его место пришел Руди, он же Рэймонд, Бэйкер, он же Блум, Рудольф, Джон Тэйлор. Бэйкер тоже учился в Москве и даже умудрился получить там за что-то выговор по партийной линии. Но Питерс долго еще продолжал сотрудничать с советской разведкой. Еще в 1943 году генерал Ильичев, начальник ГРУ, деловито докладывал в Коминтерн Димитрову, что «*одна из коммунистических групп, выбранная руководством компартии, работает в Вашингтоне. Возглавляет группу работник ЦК, известный под именем Питер*».

С самого начала, по образцу уже проверенной ленинской стратегии, Коминтерн требовал от братских партий: «*Создать нелегальный организационный аппарат, который в решающий момент может помочь партии исполнить ее долг перед революцией*»¹³. И после объединения партии ее подпольный механизм продолжал существовать. Правда, Москва инструктирует: Америка — свободная страна, здесь большего можно добиться легальными способами. В самом деле, в какой другой стране можно было открыто издать книгу Уильяма З. Фостера под названием «За Советскую Америку» с такими, например, заявлениями: «*Коммунизм предлагает не захватить буржуазное парламентское государство, а победить его и уничтожить*»?!

Но под легальной поверхностью была стандартная конспиративная кухня: подпольные клички, липовые паспорта, секретные ячейки, обучение шифрам.

Дмитрий Волкогонов писал о большевиках: «*Нелегальный, заговорщицкий характер создаваемой партии предопределил в будущем взаимопроникновение “общественной” организации со спецслужбами*»¹⁴. То же самое может быть сказано и о коммунистах за рубежом. С начала 20-х годов Отделом международных связей Коминтерна руководит Михаил Москвин (Моисей Трилиссер), он же начальник одного из управлений ОГПУ, ведавшего шпионажем. И исполком Коминтерна, и Лубянка с самого начала работают как подразделения одного и того же сверхведомства. Вскоре конспиративная деятельность КП США переходит под контроль резидентур ГРУ и ОГПУ (с 1934 г. НКВД).

¹² *Romerstein H., Breindel E. The Venona Secrets. Washington, 2000.*

¹³ *Theses, Resolutions, and Manifests of the First Four Congresses of the Third International. London, 1980. P. 93.*

¹⁴ *Volkogonov D., 1994.*

Свободная Америка была удобной площадкой для запуска подрывных операций против менее доступных стран. В 1927 году в Калифорнии создается Обще-Тихоокеанский Секретариат Профсоюзов (PPTUS). Возглавляет его Харрисон Джордж, он же Фишер. Американские коммунисты проходят школу партизанской войны в Китае, в их числе — Эрл Браудер. Другой член Секретариата, Виктор Бэррон, отправляется в Бразилию для организации в подготовке вооруженного подполья.

Главная же цель PPTUS — это Япония. Формируется японская секция компартии США во главе с товарищем Такеда (Цуномо Яно). Именно эта секция распространяет через коминтерновские каналы фальшивый меморандум, в котором якобы от имени премьера Танака провозглашаются цели расширения агрессии против Китая — тогдашнего союзника СССР.

Для подпольной работы на Дальнем Востоке вербуются японцы, живущие на тихоокеанском побережье. В их числе оказался член PPTUS Йотоку Мияги, эмигрировавший в США вскоре после Первой мировой войны. В 1933 году Мияги был послан в Японию для работы с Рихардом Зорге, только что перебазировавшимся из Шанхая. Организация Зорге много лет действовала успешно. Но в 1940 году японская полиция решила пристальнее взглянуть на живущих в стране бывших эмигрантов. Мияги был арестован и (вероятно, под пытками) выдал полиции Зорге. Умер он в тюрьме, после неудавшейся попытки самоубийства.

Впрочем, Япония оставалась для американских коммунистов чем-то вроде побочного бизнеса. Главные дела разворачивались дома, где, казалось, назревала революционная ситуация. Великая Депрессия с ее социальными дислокациями вызвала сомнения в жизнеспособности рыночной экономики даже в верхних слоях общества, вплоть до избранного в 1932 году президента Рузвельта. На это десятилетие приходится полоса наибольшего влияния компартии. К 1939 году в партии состояло 100 тысяч человек. Это уже была серьезная сила.

В 1934 году VIII съезд КП США принял платформу, где главной задачей было превращение США в рабоче-крестьянскую советскую республику. Платформа была «спущена» из Москвы, где ее сочиняли Л. Мингулин, начальник англо-американского секретариата Коминтерна, а также немецкий коммунист Герхард Эйслер и эстонский коммунист Меринг (Ричард Миринг).

Год спустя лозунг «Советской Америки» пришлось забросить. Развитие событий в Европе заставило Москву взять курс на «Народный фронт». КП США заявила: *«Выбор стоит не между капитализмом или социализмом, а между прогрессом или реакцией, фашизмом или демократией»*. Новая политика партии требовала внедрения в массовые движения якобы беспартийных организаций, на самом деле контролируемых коммунистами.

Еще в 1929 году в Москве был образован Красный Профинтерн — легальное прикрытие для коммунистического проникновения в профсоюзы. И хотя организовать в Америке свои профсоюзы коммунистам не удалось, они способствовали образованию радикального Конгресса Промышленных Организаций (CIO), где сразу заняли ведущие позиции. В ходе проф-

союзной работы коммунисты вышли в авангард забастовочного движения. Они даже впервые стали выступать против расизма, — платформа не очень популярная среди профсоюзного большинства, но зато обеспечивающая поддержку негритянских рабочих и левой интеллигенции. Росло влияние партии среди писателей, художников, деятелей театра и кино. Как стало известно уже гораздо позже, два демократических конгрессмена — Джонни Бернард (Миннесота) и Хью Делэйси (Вирджиния) — были членами компартии, а республиканец Вито Маркантонио (Нью-Йорк) числился «попутчиком».

Все эти успехи не отвлекали партию от нелегальной деятельности. Еще в 1926 году по указанию Коминтерна она начала создавать систему «рабочих корреспондентов» для обыкновенного промышленного шпионажа. Под видом заметок для печати от рабочих требовалось писать о выпуске продукции, численности рабочих и т. д. Наиболее важная часть «корреспонденций» через подпольный партийный аппарат передавалась советской разведке.

* * *

Франклин Делано Рузвельт стал президентом в 1933 году и провозгласил свой «новый курс» (New Deal), стержнем которого было небывалое усиление роли правительства в управлении экономикой. Этот курс встретил активную поддержку в среде либеральной интеллигенции, которая не без влияния «сталинских пятилеток» склонялась в сторону плановой экономики. Только тридцать лет спустя серьезные исследователи стали обнаруживать трещины в броне рузвельтовского мифа¹⁵. А вначале новые правительственные агентства, выраставшие, как грибы, привлекли в Вашингтон молодых, прогрессивно настроенных выпускников лучших университетов. Несмотря на свои частые антисемитские высказывания, новый президент, как ни один из его предшественников, охотно назначал на правительственные посты евреев (по некоторым подсчетам, до 15%)¹⁶.

Из этой плеяды самую высокую должность занимал сын эмигрантов из Литвы, блестящий экономист Гарри Декстер Уайт. Оставив преподавание в Гарварде, он стал помощником секретаря казначейства и участвовал в формулировании важных аспектов экономической политики, — например (уже в 40-е годы), в создании Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. В то же время Уайт был агентом, поставлявшим секретную информацию советской разведке. Но он был не только шпионом: благодаря своему положению он имел возможность влиять на политику правительства.

В 1941 году советское правительство больше опасалось Японии, чем гитлеровской Германии. Поэтому оно было заинтересовано в обострении отношений между Японией и США. Глава нелегальной резидентуры НКВД в США Исхак Ахмеров через своего заместителя Виталия Павлова передал Уайту соответствующие инструкции. Буквально под диктовку Павлова Уайт подготовил меморандум, составленный в намеренно резких тонах. Японцы

¹⁵ *Friedman M.* Monetary History of the United States, 1867-1960. N. Y., 1963.

¹⁶ *Johnson P.* A History of the American People. N. Y., 1997.

ссоры с Америкой не хотели. Специальный представитель правительства Сабуро Курусу вел в это время переговоры в Вашингтоне, и компромисс, казалось, был уже достижим. Но у Рузвельта были другие, далеко идущие планы. Он позволил государственному секретарю Корделлу Халу направить Японии ультиматум¹⁷, в основу которого почти дословно лег документ Уайта. Как и следовало ожидать, ультиматум вызвал возмущение в Токио. Через неделю японцы атаковали Пёрл-Харбор.

Характерно, что Уайт формально не был членом компартии. В целях конспирации члены нелегального крыла партии исключались из партийных списков¹⁸. Та же политика применялась и к особо заслуженным коммунистам. Такая честь была оказана модному в 30-е годы, а ныне справедливо забытому драматургу Клиффорду Одету. Делалось это для того, чтобы сбегать наиболее ценные кадры в случае фашистского переворота в США (неизбежность такого была частью партийного символа веры)¹⁹. По той же причине на хранение в Коминтерн был отправлен и архив ЦК компартии. В 90-е годы этот архив был обнаружен в Уфе и стал важным источником для историков²⁰.

Уайт был наиболее видным, но далеко не единственным советским агентом в верхах администрации. Одну из нелегальных коммунистических ячеек в Вашингтоне возглавлял Гаролд Уэйр, сотрудник Департамента сельского хозяйства. В число его подпольных задач входила организация «революционного движения среди крестьян». Эта интересная идея была продиктована лично Сталиным. Но ячейка Уэйра, организованная под видом безобидного кружка по изучению марксизма, включала многих сотрудников и из других агентств.

Молодой юрист Алджер Хисс, член этой ячейки, после Департамента сельского хозяйства перешел на работу в комитет Конгресса, исследовавший оборонную промышленность. Именно в это время Коминтерн в одном из своих посланий американской компартии отмечал важность информации, полученной из этого комитета. Позднее он стал сотрудником Госдепартамента. Возможно, именно благодаря ему в архивах ЦК, отправленных в СССР, оказались копии документов Госдепартамента, в частности, переписка Рузвельта с послами Буллитом (Париж) и Доддом (Берлин).

Хисс сделал блестящую дипломатическую карьеру. В 1945 году он сопровождал Рузвельта на Ялтинскую конференцию. В том же году он фактически возглавил всю техническую работу по созданию Организации Объединенных Наций. Во время учредительной конференции в Сан-Франциско он уже исполнял обязанности генерального секретаря ООН. Одним из советников американской делегации бы не кто иной, как Гарри Декстер Уайт. Контакты с обоими «агентами влияния» осуществлял офицер НКВД Владимир Правдин («Сергей»), работавший под маской корреспондента ТАСС.

¹⁷ *Fleming T.* The New Dealers' War. Basic Books, 2001.

¹⁸ *Chambers W.* Witness. N. Y., 1987.

¹⁹ *Kazan E.* A Life. N. Y., 1997.

²⁰ *Klehr et al.* Op. cit.

С самого начала шпионской деятельности Уайта и других, таких как он, подразумевалось, что они работают не за деньги, а из идейных соображений. Впрочем, когда тогдашний руководитель советской военной разведки в США Борис Быков счел нужным отблагодарить своих агентов за услуги, он поручил одному из своих связанных купить и подарить четырем наиболее ценным агентам дорогие бухарские ковры. В числе получателей были и Уайт, и Хисс.

* * *

Во время сталинских чисток 30-х годов лихорадило и Коминтерн. В 1937 году генсек Георгий Димитров и секретарь Исполкома Мануильский жаловались на нехватку кадров, потому что органы НКВД разоблачили много врагов народа.

Чтобы не отставать от центра, компартия развернула свою собственную, вынужденно бескровную имитацию того, что происходило в Москве. Из партии были исключены тысячи подозреваемых в лавстоунизме. Чарлз Дирба (Лапин), глава Контрольной Комиссии, с гордостью докладывал Коминтерну, что компартия США извлекла правильные уроки из московских процессов и успешно искореняет троцкистов, лавстоунистов и их пособников. Начальник отдела кадров Коминтерна сообщал Димитрову, что тов. Бэйкер просит инструкций по организации борьбы против провокаторов и шпионов²¹.

Конечно, Бэйкеру было далеко до Ягоды и Ежова. Максимум, на что оказалась способной его организация, было похищение у Лавстоуна его политического архива. Вскоре представитель КП США в Коминтерне Пат Туи докладывал (несколько туманно), что *«в руках Центрального Комитета оказался весь архив пресловутого Лавстоуна»*²². Нечего и говорить, что вскоре все эти бумаги по каналам разведки были переданы в Коминтерн.

Но Москва требовала большего, — и компартия была готова услужить. В американских левых кругах все еще пользовался авторитетом изгнанный из СССР Троцкий. Бэйкер докладывал Центру, что ему удалось внедрить своих осведомителей в нью-йоркские троцкистские организации. Но это было только начало. Вскоре верхушка компартии оказалась втянутой в куда более зловещий заговор. Председатель ЦКК Джэйкоб Голос привлек к этой операции одного из редакторов «Дэйли Уоркер» Луиса Буденца, связанного в прошлом с троцкистской Коммунистической Лигой. Голос (Яков Райзен) родился в России, участвовал в большевистском подполье, бежал из ссылки в Америку и в 1919 году стал одним из основателей Американской компартии. С 1926 по 1930 год он был в Москве и вернулся в Штаты, чтобы стать одним из важнейших агентов ОГПУ.

Дальнейшие инструкции Буденц получал от доктора Григория Рабиновича, представителя советского Красного Креста и по совместительству агента НКВД по кличке Робертс. Буденц связался с некой Руби Уайл,

²¹ Klehr et al. Op. cit.

²² Romerstein H., Breindel E. Op. cit.

состоявшей в секретной коммунистической организации. Она в свою очередь втянула в заговор ничего не подозревавшую Сильвию Агелофф, участницу троцкистского движения. Отправившись с ней в Париж на троцкистский конгресс, Руби познакомила Сильвию с молодым красивым студентом из Бельгии по имени Жак Морнар. Последовал головокружительный роман. Сильвия провела с Жаком полгода в Париже, потом три месяца в Нью-Йорке, и в январе 1940 года влюбленные отправились в Мексику. Там Сильвия познакомила своего возлюбленного с самим Троцким, жившим в Мехико-Сити в тщательно укрепленной вилле.

Жак Морнар, он же Фрэнк Джэксон, по грубо подделанному канадскому паспорту, был на самом деле Рамоном Меркадером, сыном испанской коммунистки Карикад Меркадер. Во время гражданской войны в Испании она стала любовницей Леонида (Наума Исааковича) Эйтингона, одного из самых безжалостных операторов НКВД²³. Именно Эйтингону была поручена организация убийства Троцкого.

Что было дальше, хорошо известно. Меркадер явился в рабочий кабинет Троцкого, якобы чтобы показать ему свою статью, и смертельно ранил его ударом ледоруба. Эйтингон и мать Меркадера ждали убийцу в автомобиле неподалеку от виллы, но он был задержан двумя помощниками Троцкого. По приговору мексиканского суда Меркадер провел 20 лет в тюрьме. После освобождения он был отправлен в Москву и получил Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина из рук Александра Шелепина, председателя КГБ. Умер он в 1978 году в Гаване, где служил советником у Фиделя Кастро.

* * *

Когда Америка вступила в войну и оказалась на одной стороне с Советским Союзом, компартия вдруг стала почти лояльной организацией. Забыта была антивоенная пропаганда времен советско-германского пакта, организация забастовок на оборонных заводах, таких как Аллис-Чалмерс в Милуоки. Рузвельт из поджигателя войны в одночасье превратился в патриотического лидера и друга Советского Союза. И через те же коминтерновские каналы (подпольная сеть, конечно, продолжала действовать) Эрл Браудер начал сообщать в Москву о своих политических успехах: Рузвельт обещал помочь арестованному аргентинскому коммунисту Витторио Падилья; Рузвельт информировал Браудера о предстоящем вторжении в Сицилию; Рузвельт хвалил коммунистов за патриотическую пропаганду в вооруженных силах.

Посредницей между Браудером и Рузвельтом была художница Джозефин Траслоу-Адамс, и все эти успехи родились в ее воспаленном мозгу. В свое время она стала восторженной почитательницей Рузвельта: тогда это было модно. Ей удалось познакомиться с Элеонорой Рузвельт и даже написать ее портрет. После этого художница долго бомбардировала Первую Леди письмами, но ни с ней, ни тем более с президентом больше не встре-

²³ *Kuznetsov I. KGB General Naum Isakovich Eitingon. The Journal of Slavic Military Studies, vol. 14.1, 2002.*

чалась. Это не мешало Джозефин объявить, что у нее в руках были письма якобы от Рузвельта. Как «сочувствующая», она установила прочную связь с Браудером, который верил ей безоговорочно. Возможно, через каналы разведки ее «информация» доходила даже до Молотова и Сталина. Между прочим, в то же самое время художница предложила свои услуги и Федеральному Бюро Расследований (FBI), но там ее забраковали как психически неустойчивую. А потом и сам Браудер лишился своего поста, и письма от президента, конечно же, оказались липовыми. В 1956 году Джозефин Траслоу-Адамс впервые попала в психиатрическую клинику и до конца жизни почти постоянно была на лечении.

Созданное по образу и подобию московской партократии, руководство компартии действовало согласно тем же законам и привычкам. Элиа Казан, видный режиссер театра и кино, в начале своей карьеры, как и многие другие нью-йоркские левые художники, примкнул к компартии. Вскоре в молодежный театр, которым он руководил, прибыл с поручением от партии «товарищ из Детройта». Судя по всему, до этого товарищ занимался организацией забастовок в автомобильной промышленности, и теперь на основе полученного опыта он принялся наставлять молодых актеров-коммунистов. В тот же вечер Казан, хлопнув дверью, ушел из театра и из партии²⁴.

Говард Фаст, оставивший партию в 1956 году, в своем памфлете «Голый бог» рассказал об идейных проработках, которые он как писатель получал от партийных чиновников. Так, впрочем, было и в других странах: Симона Синьоре с отвращением вспоминала о встречах с Луи Арагоном, бывшим поэтом-авангардистом, превратившимся в партийного чинушу²⁵.

Каков был вес компартии среди населения в целом? В какой-то степени об этом можно судить по результатам президентских выборов. В 1940 году, во время наибольшего влияния коммунистов, кандидат Эрл Браудер получил: в штате Нью-Йорк всего 35 тысяч голосов из общего числа 5,5 миллионов, в Калифорнии — 13,5 тысяч из 3,2 миллионов, в Пенсильвании — 4,5 тысячи из 4 миллионов, в Огайо — 5,2 тысячи из 3 миллионов. И это в главных индустриальных штатах. В некоторых же штатах на Юге число голосов не выходило за сотню²⁶. Дело в том, что коммунистическая организация с ее культурой секретности, нерассуждающей дисциплиной, рабским подчинением зарубежному диктату была глубоко чужда американской политической традиции. Когда некоторые лозунги коммунистов звучали в резонанс с общественным мнением, они могли добиваться временного сочувствия. Но долго оставаться в такой партии могла только горсточка фанатиков.

К концу 30-х годов даже в среде коммунистов многие не могли уже закрывать глаза на разгул репрессий в Советском Союзе. Потом были пакт о ненападении между СССР и Германией и немедленный поворот партийной политики по отношению к нацизму. Бегство из партии стало массовой эпидемией: уходили тысячами, и это касалось уже не только рядовых коммунистов.

²⁴ *Kazan E. Op. cit.*

²⁵ *Signoret S. Nostalgia Isn't What It Used To Be. N. Y., 1978.*

²⁶ *The World Almanach & Book of Facts. N. Y., 1982.*

Уиттэкер Чамберс был видным журналистом и литературным критиком. Он вступил в компартию еще в 1925 году, будучи студентом Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1932 году, когда Чамберс успешно редактировал левый литературный журнал «New Masses», руководство партии неожиданно решило перебросить его на нелегальную работу. После некоторых колебаний Чамберс согласился. Вскоре выяснилось, что работа эта заключалась в передаче секретной информации, собранной членами партии, офицеру советской военной разведки Александру Улановскому. В последующие годы он находился в тесном контакте с коммунистической агентурой, в том числе с «марксистским кружком» Уэйра в Вашингтоне. Через его руки проходила вся информация, передаваемая Гарри Декстером Уайтом и Алджером Хиссом.

Но такая двойная жизнь не могла продолжаться вечно. Один за другим в мясорубке чисток исчезали люди, которым Чамберс как правдоверный коммунист привык доверять. Особенно тяжелой оказалась потеря близких друзей — Арнольда Икала и его жены. Икал был латвийским коммунистом, засланным в Америку для организации подделки документов. Супруги были отозваны в Москву и исчезли бесследно. Как стало известно потом, жена Икала была осуждена за... незаконный въезд в СССР с фальшивым паспортом.

Советско-нацистский пакт о ненападении стал последней каплей. В сентябре 1939 года Чамберс явился к помощнику госсекретаря Адольфу Берлу и рассказал все, что он знал о советском шпионаже. Алджер Хисс фигурировал в его рассказе как одна из центральных фигур. Но когда Берл в подробном меморандуме доложил об этом разговоре Рузвельту, тот высмеял его. До поры до времени репутация Хисса осталась незапятнанной. Чамберс целиком ушел в литературную деятельность и несколько лет публично не выступал.

Следующий удар по конспиративной сети компартии нанесла Элизабет Бентли. В ноябре 1945 года она связалась с ФБР и рассказала о своей шпионской работе в пользу Советского Союза. Бентли тоже вступила в компартию еще студенткой, вскоре была завербована для нелегальной работы и стала «правой рукой», а заодно и любовницей, упомянутого выше Джейкоба Голоса.

В июне 1941 года Эрл Браудер (досрочно освобожденный из тюрьмы, где сидел за пользование поддельным паспортом) связал Голоса с группой государственных служащих в Вашингтоне, которые хотели «помочь Советскому Союзу». Возглавлял группу коммунист с 1922 года Натан Сильвермастер, занимавший последовательно ряд ответственных постов в правительственных департаментах. Это были агенты с доступом к самой ценной информации, завербованные ранее советским резидентом Ахмеровым. Так, одним из членов группы был Локлин Керри, административный помощник Президента. Сильвермастер также получал информацию непосредственно от Г. Д. Уайта. После смерти Голоса в 1943 году Бентли (подпольная кличка Умница) унаследовала руководство группой и связь с НКВД.

Информация, накапливавшаяся в руках ФБР и других агентств, в конце концов заставила более серьезно взглянуть на факты внедрения комму-

нистического подполья в правительственные организации. В июле 1948 года Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности (НУАС) начал публичные слушания по этому вопросу. Уиттэкер Чамберс и Элизабет Бентли были в числе главных свидетелей. Конгрессменам пришлось полагаться только на устные показания Бентли. Зато Чамберс смог предъявить членам комитета не только документы, написанные рукой Хисса или напечатанные на его машинке, но и тайное хранилище, где Хисс прятал свои послания в выдолбленной тыкве.

Бентли и Чамберс назвали около 30 членов шпионской сети, действовавшей в Вашингтоне. Заседания комитета положили начало кампании по искоренению коммунистического влияния во всей стране. Как всегда в Америке, эта кампания не могла не встретить и оппозицию в определенных кругах. Делались (и делаются) многочисленные попытки представить коммунистов невинными жертвами охоты за ведьмами. Своеобразной иконой стал Алджер Хисс, в конце концов осужденный за лжесвидетельство. Попытки обелить его продолжались даже после его смерти в 1996 году. Но подтверждение обвинений, выдвинутых против него и многих других, пришло с другой стороны «невидимого фронта».

* * *

Вскоре после начала войны американские службы, наблюдавшие за эфиром, засекли незаконные радиопередачи из советских консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Когда эти передатчики были конфискованы, сети советской разведки в США пришлось полагаться на коммерческие телеграфные компании. Шифрованные и кодированные послания, проходившие через военную цензуру, оказались в руках контрразведки.

В 1943 году армейская служба разведки (Signal Intelligence Service) начала расследование этих посланий. Операция, получившая кодовое название «Венона», большей частью была закончена к 1952 году, хотя работа продолжалась еще почти 30 лет.

Результаты операции «Венона» были рассекречены только в 1995–1997 гг. Только тогда стал понятен размах разведывательной деятельности, проводившейся в Америке ее союзником в войне. Что еще более важно, американская общественность узнала наконец, что подавляющее большинство американцев, шпионивших в пользу Советского Союза, были членами коммунистической партии. Хотя многие факты были давно уже известны Федеральному Бюро Расследований и Комитету палаты представителей, в либеральных кругах компартия все еще считалась всего лишь лояльной оппозицией, стремящейся к прогрессивным реформам. «Венона» доказала, что коммунисты были лояльны только по отношению к Москве.

Опубликованные документы подтвердили все, что рассказал Чамберс о работе вашингтонского подполья. Среди множества ранее неизвестных фактов они содержали доказательства того, что Хисс в течение долгого времени был агентом ОГПУ (НКВД) под кодовой кличкой Алес²⁷.

²⁷ *White G. Alger Hiss's Looking Glass Wars: The Covert Life of a Soviet Spy. Oxford, 2003.*

В то время, когда военная разведка в обстановке глубокой секретности работала над материалами «Веноны», другое событие произошло в Оттаве. В сентябре 1945 года Игорь Гузенко, шифровальщик ГРУ в советском посольстве, попросил политического убежища в Канаде. Он, конечно, не был первым: всего годом раньше то же самое сделал в Нью-Йорке Виктор Кравченко, работник Внешторга, достаточно осведомленный о шпионских делах. До того были и другие беглецы. Еще перед войной Вальтер Кривицкий (Самуил Гинзбург), прежде возглавлявший агентурную сеть в Европе, во многом подтвердил показания Чамберса. Другим высокопоставленным чекистом был Александр Орлов (Лев Лазаревич Фельдбин). Он возглавлял работу НКВД в Испании (Эйтингон был там его заместителем). В разгаре чисток он укрылся в США и позднее опубликовал книгу «Тайная история сталинских преступлений»²⁸. Орлов указал американским властям и на действующих в США агентов, в том числе Марка Зборовского, соучастника операций против Троцкого.

Но случай с Гузенко был особый. Около сотни документов ГРУ, которые он доставил канадцам, содержали имена советских агентов в Канаде. В их числе были коммунист, член парламента Фред Роуз и национальный секретарь Коммунистической (Рабочей Прогрессивной) партии Канады Сэм Карр (он же Артур Росс, Шмуэль Коган и «Фрэнк»). Среди прочих был назван активный член компартии Аллан Нанн Мэй, англичанин, прикрепленный к атомным исследованиям в Канаде. От него потянулась цепочка, которая в конце концов привела к самому нашумевшему делу об атомном шпионаже, отзвуки которого услышал весь мир.

Советская разведка узнала о начале работ по созданию атомной бомбы еще в сентябре 1941 года от агентуры ГРУ в Лондоне. Атомные исследования в США немедленно оказались в центре внимания нового резидента НКВД Василия Зарубина.

Зарубин нелегально работал в США в 1934–1937 под именем Эдвард Джозеф Герберт. В 1942 году он вновь появился в стране как третий секретарь посольства Василий Зубилин. В промежутке он в качестве комбрига НКВД успел приложить руку к убийству 15 000 польских офицеров в Катыни. Он был связан с компартией на самом высоком уровне: его контактами были Браудер (кличка «Отец» или «Хозяин») и Бэйкер («Сын»). Через эту сеть Зарубин-Зубилин связался со Стивом Нелсоном, главой подпольного аппарата партии на Западном побережье.

Работа над атомной бомбой с начала войны велась в университетской лаборатории радиации в Беркли. Главным источником информации Нелсона в Беркли был физик-атомщик Джозеф Вайнберг. Другим путем проникновения в секретные лаборатории была Федерация архитекторов, инженеров, химиков и техников (ФАЕСТ) — профсоюз, входивший в Конгресс производственных организаций и полностью контролируемый коммунистами. Зарубин несколько раз посещал Нелсона в его доме, обсуждал ход операции и передавал ему деньги. Разумеется, Нелсон не знал о том, что ФБР установило в его доме подслушивающую аппаратуру и фотографировало всех его посетителей.

²⁸ Орлов А. Тайная история сталинских преступлений, 1956.

Зарубин вышел на связь с Джулиусом Розенбергом через своего связного Берни Честера, он же Бернард Шустер. В сентябре 1942 года Розенберг охотно согласился поставлять техническую информацию, связанную с оборонной промышленностью.

Джулиус и Этель Розенберги вступили в компартию задолго до войны. Они же уговорили Дэвида Грингласса, младшего брата Этель, вступить в Лигу Коммунистической Молодежи (YSL). Уже позднее Розенберги рекомендовали для вербовки и жену Грингласса Рут. В интересах секретности Джулиус не числился членом партийной ячейки и поддерживал связь только с Берни Честером. По поручению Берни Джулиус предложил для вербовки большую группу своих знакомых, большей частью инженеров, работавших в оборонной промышленности. Наиболее активными были Альфред Сарант и Джоэл Барр, инженеры-электронщики, и авиационный инженер Уильям Перл. Благодаря им резидентура сумела получить информацию о разработке «бомбы-робота», предназначавшейся для бомбежки Японии, и конструкцию дистанционного взрывателя для зенитных снарядов. Но главным, что послужило основой для ареста и приговора по делу Розенбергов, была передача советской разведке эскизов конструктивных элементов атомного устройства.

Когда ФБР заинтересовалось Сарантом и Барром, они бесследно исчезли. Только много лет спустя выяснилось, что оба бежали в Советский Союз и долго работали там в оборонной промышленности (Барр умер в 1998 году).

После бегства Игоря Гузенко и ареста Аллана Нанн Мэя цепочка потянулась к Клаусу Фуксу, немецкому физика, сыну видного протестантского богослова. Вступив в Германскую компартию в девятнадцатилетнем возрасте, Фукс бежал из Германии после прихода к власти нацистов и с 1941 года участвовал в британских атомных исследованиях. В Лондоне он впервые связался с резидентом ГРУ Семеном Кремером. Когда Фукс был командирован в США, его курьером стал некто Гарри Голд.

Фукс продолжал поставлять секретную информацию до конца войны. Именно он еще за две недели предупредил Москву о предстоящем первом атомном испытании возле Аламогордо, штат Нью-Мексико. После войны его судили в Англии за шпионаж. Через девять лет он вышел на свободу и вернулся в ГДР, где занимал ответственные посты в Академии Наук.

Гарри Голд был завербован советской разведкой еще в 1934 году. Любопытно, что он был не коммунистом, а «беспартийным большевиком». Его пугал рост антисемитизма, в Германии, в частности, и к работе на НКВД привлекла антинацистская риторика Советского Союза. Сначала Голд, инженер по образованию, занимался промышленным шпионажем, но через некоторое время уже участвовал как курьер во многих операциях НКВД. Это привело его к контактам с Дэвидом Гринглассом. Грингласс, работавший в атомном исследовательском центре в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, имел доступ к секретной технической информации. Он-то и доставил Розенбергам чертежи, ставшие главным вещественным доказательством на процессе Розенбергов и их сообщника Мортон Собелла²⁹.

²⁹ Radosh R. The Rosenberg File: a Search for the Truth. N. Y., 1983.

Процесс происходил в политически напряженное время. Шла война в Корее. Вынося приговор, судья Кауфман отметил, что Советский Союз никогда не решился бы на вторжение в Южную Корею, если бы американцы по-прежнему монопольно владели атомным оружием. Деятельность Розенбергов помогла эту монополию ликвидировать.

Даже самые убежденные защитники Розенбергов не могли отрицать, что Джулиус был глубоко замешан в шпионаже. Но Этель, по их утверждениям, была невиновна. Этому отчасти способствовало то, что обвинение по сообщению секретности не могло предъявить в открытом суде многое из того, что было у него в руках. Только публикация материалов «Веноны» сумела убедительно доказать, что Этель участвовала на равных и в сборе информации, и в вербовке агентуры.

Литература, появившаяся после распада Советского Союза, не оставила никаких сомнений ни в виновности Розенбергов, ни в той роли, которую сыграл шпионаж в создании советской атомной бомбы. Одной из таких книг стали воспоминания бывшего советского офицера разведки на связи с Розенбергами³⁰. Он пишет о том, что не менее 50 раз встречался с Джулиусом и получал от него информацию, переданную Барром и Перлом, — в общей сложности, около 9000 страниц. Даже его, бывалого разведчика, поразило не столько собственно качество материалов, сколько тот энтузиазм, с которым Розенберг выполнял свою изменническую миссию.

* * *

Пока дело Розенбергов проходило через суды, коммунистическая партия держалась в стороне. Впутываться в публичные дебаты об атомном шпионаже было чересчур рискованно. Смертный приговор супругам был вынесен в апреле 1951 года, но только в январе следующего года компартия развернула кампанию в их защиту. Дело в том, что в декабре в Праге начался откровенно антисемитский процесс Рудольфа Сланского, бывшего генсека чехословацкой компартии. Тут уж пропагандистская машина заработала на полную мощность. Вор кричит «Держи вора!» — по этому принципу защитники Розенбергов немедленно обвинили в антисемитизме и судью-еврея Э. Кауфмана, и обвинителя-еврея Э. Сэйпола, и всю американскую систему правосудия. Тон задал Жак Дюкло в газете «Юманите», и коммунисты всего мира подхватили тему. Неудивительно, что против этой бесстыдной кампании выступили ведущие еврейские организации, Бней-Брит и Американский Еврейский Комитет.

Просмотрим еще раз имена тех, кто играл ведущую роль в легальной и нелегальной деятельности компартии, — *«Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи»*, по бессмертному выражению камергера Митрича из «Золотого теленка». В самом деле, на протяжении всей деятельности компартии около половины ее членов, четверть ее руководства составляли евреи. Много ли это? Перед войной, когда партия переживала зенит своей популярности, численность ее была около 100 тысяч человек. Сравним половину этого числа с несколькими миллионами еврейского населения США.

³⁰ Feklisov A. The Man Behind Rosenbergs. N. Y., 2001.

К 1989 году в Нью-Йорке из полутора миллионов евреев только 300 были коммунистами.

Для Сталина и Коминтерна даже эти евреи были всего лишь неизбежным злом. Репрессии 30-х годов непропорционально ударили по евреям в советском руководстве³¹. Параллельно с этим Коминтерн усиливал плохо завуалированное давление на компартию США, чтобы удалить из руководства *«товарищей, не выросших среди американских масс»*³².

Но у Сталина, как и у Гитлера, были свои «полезные евреи». Война заставила генералиссимуса искать помощь где только можно, в частности, и у американской еврейской общины. Компартия, еще недавно приветствовавшая пакт между Сталиным и Гитлером, вдруг стала чуть ли не главной антифашистской силой. В этом качестве ей удалось найти поддержку среди либерально настроенной интеллигенции.

Вновь пошла в дело тактика «Народного фронта»: создавать псевдо-беспартийные организации и под их прикрытием заниматься привычной деятельностью. Можно только удивляться, сколько вполне благонамеренных людей попадались на этот старый трюк. Почетным президентом Американского Комитета Писателей, Артистов и Ученых был Альберт Эйнштейн. Но фактически командовал в комитете журналист и агент НКВД Альберт Кан. Читатели старшего поколения, помнят его книгу «Тайная война против Советской России» — апологию сталинских чисток с якобы объективных «западных» позиций. Когда комитет издал брошюру, отрицавшую разгул антисемитизма в СССР, предисловие к ней написал (или подписал?) Эйнштейн.

Впрочем, вскоре настало время, когда никакая пропаганда не могла уже скрыть погромную политику советского правительства. И КП США решилась на открытый мятеж. Вожди Еврейской секции компартии (была и такая) Пол Новик и Хаим Суллер вызвали к себе Говарда Фаста. Этот популярный писатель, борец за мир и жертва антикоммунизма в 1949 году собирался в Париж, на Конгресс Мира. И ему было поручено встретиться с главой советской делегации на конгрессе и официально заявить, что Национальный Комитет компартии США обвиняет ВКП(б) в актах антисемитизма и антиленинской позиции. Конечно, добавил тов. Новик, это должно держаться в полной тайне, чтобы не узнала буржуазная пресса.

Главой советских борцов за мир был Александр Фадеев. Секретная встреча с глазу на глаз происходила в маленькой комнате в подвале зала Плейель, где заседал Конгресс. Присутствовал только русский переводчик. Французские товарищи, организовавшие встречу, уверили, что в комнате нет спрятанных микрофонов, но о чем будет вестись разговор, понятия не имели.

Фаст произнес свою тщательно подготовленную речь. Он изложил всем известные факты: аресты, запрещение синагог и еврейских школ, закрытие газет и журналов. Фадеев спокойно, полужакрыв глаза, выслушал его и ответил:

— В Советском Союзе нет антисемитизма.

На этом вопрос был исчерпан³³.

³¹ *Armstrong J.* The Politics of Totalitarianism. N. Y., 1961.

³² *Romerstein H., Breindel E.* Op. cit.

³³ *Fast H.* Being Red. Boston, 1990.

* * *

В 1946 году Роберт Ла Фоллет, представитель уважаемой висконсинской политической династии (его отец был кандидатом от Прогрессивной партии на президентских выборах 1924 года) с трибуны Сената заклеил послевоенную политику СССР в Восточной Европе. Коммунистическая партия решила наказать сенатора, и на ближайших первичных выборах контролируемые коммунистами профсоюзы провалили его кандидатуру. Победителем на «праймериз», а потом и на всеобщих выборах стал никому не известный судья из города Эпплтон по имени Джозеф МакКарти. Вскоре его имя знали уже все, особенно коммунисты, которые ненамеренно помогли его избранию.

После трех малопримечательных лет в Сенате МакКарти, выступая в Уилинге (Западная Вирджиния), во всеуслышание объявил, что коммунисты проникли во все правительственные агентства Вашингтона. Он обвинил администрацию в мягкотелости и даже назвал число коммунистов, работавших в Госдепартаменте³⁴. Число это менялось от одной речи до другой, но вовсе не было чистым вымыслом. Расследование коммунистического влияния в правительстве началось еще в конце 1946 года. МакКарти жонглировал реальными цифрами, но смешивал в кучу число работников, прошедших и не прошедших проверку, уволенных и полностью оправданных, складывая и вычитая их так, как ему было удобно.

Влияние МакКарти в Конгрессе было по-настоящему значительным только в течение неполных двух лет, когда после победы республиканцев на выборах 1952 года он был председателем сенатского подкомитета по расследованиям. Сегодня уже очевидно: обвинения МакКарти были недалеки от истины. Однако ни сенатор, ни его малоквалифицированный и неопытный штат (включавший, между прочим, молодого юриста Роберта Кеннеди) не были готовы к серьезным расследованиям. В конце концов Сенат положил конец этому крестовому походу, подавляющим большинством выразив порицание МакКарти. Три года спустя он умер от пьянства.

К этому времени уже невозможно было отрицать, что политика и конкретные действия компартии враждебны по отношению к Соединенным Штатам. В отличие от своего предшественника, президент Трумэн вынужден был пойти на крутые меры. Любопытно, что руководитель компартии в Мэрилэнде Филипп Фрэнкфелд в своей брошюре 1951 года справедливо указал, что настоящим противником коммунистов был не МакКарти, а Трумэн. Но такая точка зрения шла вразрез с партийной линией, и Фрэнкфелд был вскоре исключен из партии. Именно МакКарти с его демагогией и бесславным концом был удобной фигурой для карикатур, и усилиями левых термин «маккартизм» вошел в словарь политических дискуссий. Подводя итоги его недолгой деятельности, до сих пор трудно сказать, принес ли он борьбе с коммунизмом больше пользы или вреда.

* * *

Послевоенные годы стали годами все ускоряющегося заката компартии. В 1945 году по распоряжению Москвы Браудер был снят со своего поста и

³⁴ Buckley W., Bozell L. McCarthy and His Enemies. N. Y., 1977.

заменен Юджином Деннисом. Вскоре оставила партию его сестра Маргарет. Вышли из партии и давали показания в комитетах Конгресса один из основателей партии Бенджамин Гитлов и бывший координатор связей с НКВД Луис Буденц. Был арестован и выслан в Венгрию Питерс. Вернулся на родину в Югославию и Бэйкер, там ему предстояло доживать свой век на мелких работах в аппарате Тито. Партию покидали старые ее члены, иссяк приток новых: кто-то разочаровался в самой идее, кого-то отпугнул антикоммунистический климат в стране. Рабочее движение стало избавляться от коммунистического влияния: в 1949–1950 годах Конгресс промышленных организаций (CIO) исключил 11 профсоюзов, которые контролировались компартией.

Партия, много лет не замечавшая сталинских зверств, после хрущевско-го «секретного» доклада на XX съезде КПСС наконец-то повернулась лицом к действительности. Венгерские события осенью того же года нанесли новый удар по безоговорочной вере в Советский Союз как оплот свободы и прогресса. Потом была Чехословакия. Оправиться партия уже не могла. Добил ее Горбачев, когда в 1989 году отлучил КП США от кремлевских субсидий. Некогда сплоченный союз бойцов-единомышленников развалился на несколько кучек, ссорившихся между собой из-за последних остатков партийного имущества.

Я помню, как в августе 1991 года вечерняя телепрограмма Эй-Би-Си вытащила для интервью Анджелу Дэвис. Вид у нее был какой-то линиялый, даже знаменитая прическа сильно поредела. И говорила она все теми же стертыми фразами, от которых морщился даже привычный ко всему телеведущий Тед Каппел.

За время существования коммунистической партии США через ее ряды прошло, вероятно, около четверти миллиона человек. Большая часть из них оставалась в партии не свыше двух лет. Мало-мальски мыслящим людям трудно было не заметить глубокий разрыв между идеалами и реальной жизнью партии. Но лицо партии, ее долговременные политические цели определяли не рядовые ее члены, а руководящая верхушка — те, кто слепо верили в марксистскую догму; для кого противостояние США и СССР было последней решительной битвой классовой борьбы; для кого не было сомнений, чью сторону принять в этой битве.

* * *

Взлет и падение коммунизма принадлежат ушедшему веку, вместе со многими другими «измами», о которых сейчас и вспоминать не хочется. Но вспоминать нужно, потому что сегодня над цивилизованным миром нависла угроза иного заговора. Многие роднит воинствующий Ислам с коммунистическим движением: то же черно-белое видение мира, та же воинствующая вера в Учение, то же стремление обратить в свою веру все человечество, та же неразборчивость в средствах борьбы против «неверных»³⁵. И так

³⁵ Не зря в послевоенный период, совпавший с политическими успехами арабского национализма, так много арабских лидеров легко нашли общий язык с советским руководством на основе общей враждебности к либеральной демократии Запада.

же, совмещая подпольную деятельность с легальной (обычно благотворительной), мусульманские заговорщики используют демократические свободы, чтобы безнаказанно оперировать на территории Америки и Европы. Сегодня, в эпоху глобализации, мусульманский фанатизм вышел на мировой рынок, и терроризм стал его главным предметом экспорта. Сейчас уже нет сомнений в том, что Западу противостоят не разрозненные горсточки заговорщиков, а Интернационал террора. Иорданские террористы воюют в Чечне, узбеки и чеченцы — в Афганистане. Египтяне, саудовцы, сирийцы, марокканцы свободно проходят через паспортный контроль в Европе и Америке, не говоря уж о пористых границах Ближнего Востока. Да и не только Ближнего Востока. В газетах уже мелькали сообщения об учебных лагерях для арабских террористов на территории Венесуэлы.

И опять возникает вопрос: можно ли судить о массах (в данном случае, мусульманах) по преступлениям фанатиков-экстремистов? Но беда в том, что именно экстремисты, с молчаливого согласия этих масс, определяют видимый окружающему миру облик Ислама. Вспоминается брехтовский «ЗОНГ»:

Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны.
Кожу для них дают
Сами бараны.

МЫ НЕ УВИДЕЛИ НЕБО В АЛМАЗАХ

Александр Привалов. Любитель Отечества. Публицистика

СПб.: Амфора, 2006. — 528 с.

Как печально, господа, было читать эту книгу! Какой прохладной волной находила на сердце эта глубокая печаль!.. А, казалось бы, отчего? По какому такому поводу?

А вот потому, что ее автор, собравший здесь свои статьи, написанные в 1997–2006 годах, расписался, по сути, в неудаче, может быть, даже в провале того, к чему стремился.

Вот он спокойно фиксирует: в постсоветской России *«нет качественного прорыва, не произошло чуда»*, мы *«и через семнадцать лет реформ все сидим на реках Вавилонских»*. Неоригинальный пафос, многие люди 90-х годов полны ощущения слома. Они не нашли себя в новом веке.

Но случай Александра Привалова, кажется, иной. И тем более показательный. Он-то как раз с радостью отряхнул прах минувшего столетия и шагнул вперед. Прилив социальных надежд застиг его в самом начале нового века, и связывал его наш автор с новым политическим режимом, сбросившим олигархическое иго...

Увы! От всех этих надежд остался только трехцветный платочек, коим махали мы, встречая новое время. *Грядущее настало*, теперь самое время — утереть этим платочком внезапную слезу.

Урок простецам.

Привалов — один из самых публичных аналитиков общественных процессов постсоветской России. Опытный, трезвый человек. За годы и годы я не раз искал и находил точки соприкосновения с ним. Не искал, но находил, однако, и существенные точки расхождения.

Как идеолог Привалов не всегда понятен. Он позиционирует себя как воплощение здравого смысла, являясь умеренным либералом, консерватором, патриотом и государственным — в одном флаконе. В самом общем (и самом располагающем) определении это человек, ищущий, как соединить «наконец» Россию и Свободу. Иной раз кажется, он даже знает, *как*. Как строить новую страну, как ткать ткань новой социальности. Еще чуть-чуть, и он объяснит нам, как сочетать Россию и Свободу законным браком. Но...

Евгений
ЕРМОЛИН

— родился в 1959 г. в Архангельской области. Закончил факультет журналистики МГУ. Как критик публикуется с 1981 г. Заместитель главного редактора «Континента». Дневник в Живом Журнале — erm_kontinent. Живет в Москве и Ярославле.

В аннотации к книге сказано: *«Анализ важнейших политических событий, особенностей взаимоотношения власти и общества в России сопровождается размышлениями о прошлом нашей страны и перспективах ее развития, и все это создает живую картину российской истории последних десяти лет»*. Картина — не картина, но... Этапы большого пути в тупик. Так бы я сказал. Хотя Привалов воздерживается от столь резких выражений. Он не отказывает себе в прозрачности видения реальности. Не строит больших иллюзий. Он даже почти не оптимист. Он скорее алармист. Но ему не хочется расставаться с позитивным видением возможной России.

Привалов не любит государство, созданное как механизм самообеспечения властной элиты, и не находит у российского чиновника ни нравственности, ни гуманности. Он критически настроен к бесхребетности, аморфности общества и элиты. Он видит, что одно с другим тесно связано — своеволие госмашин и сугубый пассивизм общества: *«...как СССР был чиновничьим царством, так им Россия и остается — а значит <...> 90-е годы не стали революционными в смысле смены общественно-экономической формации»*.

В обществе нет аристократии, интеллигенция советского пошиба *«историческую роль свою <...> провалила»*, не выдвинув ни лидеров общественного мнения, ни интеллектуальную элиту (в качестве исключений почему-то упомянуты покойные Михаил Гаспаров и Виктор Астафьев).

А новые люди тоже внушают надежды не вполне. Привалов рассуждает о Бродском как о ключевой фигуре в проявившемся в последние годы движении автономных одиночек, «частных лиц», которые живут и хотят жить отдельно от государства — в России ли, за ее ли пределами. И автор не видит добра от того, что таких индивидуалистов становится все больше... Здесь согласимся! Новое поколение россиян, входящее в мир в начале нового века, в момент духовного кризиса и максимального общественного распада, состоит, увы, большей частью именно из таких людей, напрочь лишенных социального чувства. Как с этим быть? Загадка.

Привалов намекает, что есть еще и такой фактор, как дикость простонародья, как духовный смрад русских пустырей и задворков (хотя стесняется говорить об этом сколько-то внятно, лишь тоскует иногда по избирательному цензу). К «простому» народу Привалов относится с большим подозрением. Вообще, недоверие к стихийной социальной активности регулярно дает у него о себе знать. В этот контекст входит аргументация на тему украинских выборных батальи. Ситуацию на оранжевой Украине Привалов мрачно определяет как *«глубокий и долгий национальный кризис»*, чуть ли не безнадежный... Более трезвый взгляд на события позволяет, однако, возразить: может, оно и так, но это кризис в открытой форме, диагностированный — и излечимый. Больше того, это кризис, который есть, в сущности, нормальное состояние не очень зрелой, но вполне здоровой демократии... Возникает ощущение, что Привалов сосредоточился на мелочах, не захотев понять главного: на Украине грубоватая, непричесанная демократия победила гнилой, вонючий авторитаризм. А наш автор вдруг затосковал о некоей утраченной, вожделенной «государственности», созданной Кучмой. Кажется, причина авторской слепоты здесь — именно принципиальная недооценка им позитивного ресурса социальной стихии, уличной демократии. Он видит

тупик (*«щелкают майданные капканы»*) там, где на самом деле открылась, наконец, перспектива.

Занятно, что крайне тенденциозный взгляд на украинские процессы Привалов использует, чтобы решительно отвергнуть перспективу низовой народной уличной демократии в России. Ему не по пути с Каспаровым, Белковским и компанией. Он идет своим путем. Каким?

Он рад уже тому, что в нынешней стране полицейское государство невозможно ввиду отсутствия элементарно дееспособной полиции. Некому завинчивать гайки. Или почти некому. *«Сталин не вернется»*. Нет у нас ныне той маргинальной волны, которая вздымает вверх, на гребень, таких вождей.

А упования Привалова выражены в одном из его лейтмотивов — не раз высказанной уверенности в том, что есть, есть же в России новые люди. *«Малая» Россия. «10–15% населения и бизнеса»*. Люди, поднявшиеся на социальных лифтах 90-х (*«и с каждым днем поднимается все больше»*, — непрозорливо уверен он в 2001 году). *«Они работают, а не воруют и не перераспределяют. Они профессиональны, ответственны, мобильны и подчеркнута самодостаточны»*. Они не полагаются на государство. Они с ним хотят общаться. Люди диалога. Люди, задающие вопросы власти. Люди, избравшие своего президента, В. Путина (это написано в статье 2000 года). Наш автор убеждает читателя (по крайней мере, так было в самом начале века) в том, что *«знаменитое гражданское общество у нас постепенно возникает: сгущаются некие центры общественной активности, начинаются их попытки выстроить их диалог и между собой, и с властью»*. *«Новый народ, и жить он хочет и должен — в новой стране»*. То есть как бы самотеком происходят позитивные перемены. Впрочем, автором не назван ни один такой центр активности.

Книга «Любитель Отечества» включает в себя «заметки», опубликованные главным образом в журнале «Эксперт». Собственно, с «Экспертом», соединяющим квалифицированную экспертизу (прежде всего экономическую) с подчеркнутым лоялизмом (если не сказать, с сервильностью), Привалов и связан предельно тесно, являясь «научным редактором», гендиректором и наиболее известным «штатным» обозревателем-колумнистом этого почтенного издания, редактируемого членом Общественной палаты и нежным защитником существующего порядка вещей Валерием Фадеевым. Фадеев — по слухам один из разработчиков программы партии «Единая Россия», и никто пока не растолковал нам: любовь это или брак по расчету? Также непонятно, до какой степени солидаризируется Привалов с апологетической фадеевщиной. Вопрос спорный. Ассоциируется — да.

В издательской аннотации Привалов назван, впрочем, также *«мэтром отечественной журналистики»*. Я бы добавил, что по своему статусу, по своей, так сказать, прописке Привалов заявляет о себе как об учителе российского среднего класса. Вот тех самых *новых людей*. Им он адресует свое послание, исходящее из уважительного отношения к читателю, его интеллекту, его пониманию жизни — как необходимой презумпции речи.

Привалов редкостно осторожен. Даже деликатен. Его риторика не только не агрессивна, она даже почти не эмоциональна. Он не ставит окончательных диагнозов. Хотя, по сути, их ставит, — но формулируя их в виде

пожеланий и предостережений: не будете слушаться — поставлю в угол. Не захотите меняться — провалитесь на экзамене истории.

Напрямик ни разу не обратившись к власти (и чем дальше, тем больше подозревая, очевидно, не без оснований, что обращаться к ней бессмысленно), Привалов пишет, например: *«Власть должна (о! вы слышите здесь вменяющую, директивную ноту? — Е. Е.) открываться, приглашать к диалогу — нет, затаскивать в диалог! — бизнес и общество. Без этого... “проработанных проектов” так и не слепится, а в непробиваемых бастионах свежеевыстроенной политической системы останется прежняя опасная пустота»*.

Не зывая к обществу, к *малой России*, он говорит, явно имея в виду воспитательные цели: *«Мы по-прежнему — великий народ, каковым были и до 1991 года, и до 1917-го. Нам не нужны никакие специальные лозунги для удостоверения этого факта — но нам нужно вспомнить о нем»*. И мечтает о самосознании новыми людьми себя как перспективной общности, как пресловутого *народа*.

Удачен ли приваловский опыт? Где они, приваловские миллионы учеников, создающих новую Россию?.. Нет их. Педагогический проект, кажется, скорее провалился, чем реализовался.

Почему? Потому, может статься, что жизнь учила совсем другому и жизнь победила прекраснотушных педагогов. А может, и уроки были не всегда убедительными, и не всегда Привалов учил тому, чему следовало?

Увы, о многом важном в книге даже не упомянуто. Это довольно странно для человека с такими амбициями, каков наш автор. Скажем, Привалов не нашел нужным подробно говорить о факторе Чечни. Ему посвящено пол-абзаца. Сильнее его взволновала ситуация 11 сентября, в статье о ней сказано много верного, особенно о язвах Запада; единственный минус, который перевешивает все прочее, — ни разу там не определено место России и русского человека в глобальных катавасиях минувшего и нового века.

Когда Привалов касается важных событий, он не всегда точен, не всегда глубок, он из дипломатических каких-то соображений недоговаривает, сглаживает, иной раз почти что лукавит... Немало у Привалова провалов. Даже возникает вопрос: а так ли уж хорошо он понимает то, что делается вокруг? Разочаровывает его статьи о гибели «Курска» и о ситуации «Норд-Оста». Почему-то все приваловские отравленные стрелы выпущены там в плохих, непатриотичных журналистов. Власть же аккуратно отмыта от греха. Вот уж поистине — *и умер бедный раб у ног непобедимого владыки*.

Удивительно бедна смыслом статья о визите Папы на Украину, главный вывод которой: знай сверчок-мирянин свой шесток и не смей коситься на архиереев, отождествленных почему-то с «церковью» как таковой. При том что это крайне редкий случай, когда Привалов касается религиозной темы. Духовный горизонт у него срезан очень жестко.

Не слишком убедителен Привалов и в своей, кстати не развернутой, но очень жесткой, критике социализма. Видали мы, конечно, советский вариант социализма — и не можем его принять. Но означает ли это, что в принципе не приемлемы социалистическая, левая идея, пафос социальной солидарности? Едва ли. Отчего-то мне кажется, что христианский солидаризм все-таки способен сыграть ключевую роль в духовном обновлении общества.

Полемизирует Привалов с Илларионовым. В общем-то, имеет право. Но здесь, как и во многих других местах, увы, внятная, хорошо аргументированная позиция автора отсутствует. Он часто бывает снисходителен, бывает пренебрежителен, но — увы! — реже бывает доказателен. В газете или журнале, пожалуй, можно позволить себе такую не вполне ответственную вкусовую импрессию, можно, — допуская, — позволить себе эмоцию взамен аргумента, амальгаму намеков и экивоков, проходные статейки, но книга — это гибель гораздо более всерьез. Она требует четкого концепта, внятной и убедительной аргументации, реально предъявленного всеобъемлющего понимания вопроса. Упрекаешь других — предъяви счет себе: а ты-то кто таков? и в чем твоя вера?..

Пожалуй, главный кошмар в книге — статьи о разгроме НТВ. Не совсем даже понятно, зачем они включены в томик. Вероятно, из добросовестности. Здесь Привалов крутится, как уж на сковородке, не поняв (или сделав вид, что не понял) ничтожной мелочи: власть в той ситуации была невменяема. Он пытается мурлыкать, как твой кот Леопольд. Старается, что есть силы, быть равноудаленным и убедить, призвать власть к здравому смыслу, ради этого смещая акценты, поругивая журналистов и т. п., сочиняя утопический проект публичного разбирательства, суда над НТВ, но — обязательно гласного, с учетом всех плюсов-минусов... Какая-то во всем этом видна растерянность. Нет твердой опоры.

Ну да, свобода слова в обществе складывается как результат выражения в СМИ самых разных позиций и точек зрения, каждая из которых по-своему субъективна. Абсолютной истиной не владеет никто, но в самом реальном приближении она имеет шанс состояться в публичном состязании... Осталось поискать, где оно, это состязание; где площадка для него в нынешней России.

Кажется, Привалов близок к тупику. Диалог нужен, а его нет. И никто во власти в нем не нуждается. Сколько бы Привалов ни размахивал руками, сколько бы ни уговаривал власть имущих, сколько бы ни подыскивал вежливые формулы... закончит он фразой, оценочным определением типа — «вырождение». А иной раз и вовсе обнаружит близость к радикальным критикам режима, которые говорят о превращении России в сырьевой колониальный отросток (например, в рассуждениях о том, что, сокращая часы на изучение литературы и русского языка и увеличивая часы на изучение языка иностранного в школе, мы превращаем эту школу в «колониальную»).

И о «деле ЮКОСа», — это основной сюжет книги, — Привалов сказал внятно. Эта тема ему оказалась близка, для него в политике властей почудился запах *«грубого ограничения свободы предпринимательства», «всевластия не государства, а чиновников», «прямого диктата силовых структур».*

Вот так вот, не хочет власть разговаривать с обществом. Не слушается А. Н. Привалова. Вопросы звучат как риторические восклицания. Да и замолкли многие вопрошатели уж давненько, года четыре как. Теперь лишь раз в году специально отобранный народ задает свои вопросы президенту. Прочие — власть не спрашивают. Теперь ее клеймят даже иные из недавних апологетов, вроде Владимира Голышева.

Не знаю, что сейчас у Привалова на душе. Не думаю, чтоб ему было весело. Кроме всего прочего, он не может не сознавать и свою ответствен-

ность за результаты провального на текущий момент эксперимента. Все-таки давно уж он — публичная, авторитетная фигура. Имел много возможностей воздействовать на институты и общности... «*Терпение и терпение*», — призывает он. Дескать, мы еще дети. Десять лет демократии, пятнадцать лет демократии — еще не критический возраст, «...так подождем же...» Есть еще «*шанс на национальный подъем и возрождение страны*». Уже то, оказывается, по Привалову, плюс, что мы из опыта 90-х убедились: «права человека» — только спекулятивный лозунг, плюрализм не абсолютен, да и личная свобода — не главная ценность, ее необходимо «ограничить, чтобы не вредить свободе ближнего».

...Может быть, он даже верит во все это сам. Ведь «*когда Бог создавал время, он создал его достаточно*». (Формула безупречная, но не слишком ли уж безмятежная?) Отсюда один шаг до признания существующего порядка вещей единственно возможным и даже вполне пристойным. Некоторые из коллег Привалова его, этот шаг, таки сделали. Он сам, к счастью, подобного репутационного ущерба вроде бы не понес. Его призывы к консолидации здоровых общественных сил лишены привкуса официозности, этого примитивного лукавства, которое так часто предъявлено нам на телеэкране. Он умеет отделять «страну» от «начальства», от «чиновничества», «доедающего» эту самую страну.

Вспомнишь Пушкина: *Боже, как грустна наша Россия!* Но с тех пор, когда впервые были сказаны эти слова, прошло почти два века. Пора делать другие выводы и искать другие смыслы. Кургузый порядок получившейся по факту новой страны соразмерен обывателю, но нам нечего делать в этих примитивных рамках. Нам нечего делать в этой унылой ситуации.

Настоящая альтернатива бескрылости эпохи, «*всеподавляющей второсортности жизни*» (как определил Привалов) — свободный личностный поиск, личностное самостроительство (и вопреки обстоятельствам, и независимо от них). Работа не политическая, не идеологическая, а экзистенциальная. Духовный, творческий, деятельный диалог — прежде всего с Богом. Именно так в России живет Свобода. Этот *свободный русский труд*, глубочайше укорененный в православном сознании и опыте, ведет к личному подвижничеству, к гражданскому служению, к осознанной и воплощенной личной жертве. О нем будут написаны другие книги. А у Привалова мы находим лишь пролегомены к этой теме. Скажем, когда он указывает на масштаб Рахманинова как на мерку наших потенциальных достижений.

**КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ***

(январь — март 2007 г.)

13.01.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж; как говорится у парашютистов — седьмой пошел! Теперь главное — чтобы перед восьмым годом вовремя раскрылся парашют. Судорожные попытки различных заинтересованных сторон дернуть на лету за кольцо и будут составлять главное содержание года, — который, по российской традиции, с первым боем курантов ухнул вниз головой в двухнедельное забвение...

Ухнули, впрочем, еще до всяких курантов, и до президентской отмашки в трезвой памяти дожили не все. А уж потом... Кто-то просто накатит — и лицом в салат, кто-то накатит вискаря — и лицом уже в Куршевель (и дай ему бог, этому счастливцу, чтобы все его модели оказались совершеннолетними)... Но Куршевель — это уже не круто! Группа самых затейливых россиян накатила давеча на Антарктиду... Ну, у них финансирование пожизненно бюджетное — они могут себе позволить!

Два вертолета МИ-8 Федеральной службы безопасности, в которых находились директор ФСБ Николай Патрушев и его первый зам. Владимир Проничев, а также вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров и глава Росгидромета Александр Бедрицкий, седьмого января пересекли пролив Дрейка и достигли Южного полюса. По информации «Российской газеты», впервые в истории человечества христиане встретили Православное Рождество на Южном полюсе.

Ну вот, а вы еще спрашиваете, почему у нас засекречены расходы на безопасность... То есть, вы и не спрашиваете. Ну, и не надо! Потому что — прошу представить перелет всей этой внезапно впавшей в православие тусовки на южную оконечность Земли, со всеми их бизнес-классами и охраной; прошу представить перелет туда же двух вертолетов Федеральной службы безопасности... Прошу представить себе их сухой православный паек,

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

**Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ**

— родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Шукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «“Здесь было НТВ” и другие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.

потом — все это сжигание казенной горючки надо льдами во имя Господа... Нет, если бы вся эта компания в Антарктиде и осталась, это, в конечно счете, окупило бы экспедицию, а так... Впрочем, когда Патрушев на рабочем месте, у нас случаются Бесланы. Так что — чем бы это дитя ни тешилось, лишь бы не работало.

Теперь поделюсь личным. Когда незадолго до Нового года мы уходили на каникулы, то лукаво намекали начальству: мол, хорошо бы нам еще одну недельку в нетях: все равно ж в политике ничего не происходит, начальство лицом в салатах, вместе с народом, нам тоже хочется! Но мудрое руководство сказала: выходи на работу, что-нибудь случится обязательно, без темы не останешься! Ну и вот, пожалуйста. Низкий поклон Путину, Лукашенко и всему личному составу «Газпрома»: обеспечили темой! Впрочем, ближе к Новому году круто пахнет газом уже второй раз подряд. Только спички не хватает для настоящего геополитического эффекта. Под прошлые праздники мы показали старушке Европе кузькину мать, задвинув задвижку Украине, — теперь исполнили все то же самое с братьями-белорусами. И Европа опять закоuchмала без газа. И то сказать: нефтепровод-то называется «Дружба», а не «Фройндшафт»! Но если с Украиной, с некоторых пор, мы хотя бы ведем раздельное хозяйство, то с Белоруссией уже седьмой год помолвлены официально порядком, — что, конечно, добавило обаяния происходящему...

Да! Они, конечно, нашли друг друга... Статус невинной невесты нашего двуглавого орла дает Белоруссии счастливую возможность много лет подряд, под сладкие разговоры о грядущем славянском слиянии, принимать многомиллиардные газовые подарки. Но стоит орлу приблизиться на интимное расстояние к какой-нибудь ее заветной части, вроде «Белтрансгаза» — тут же поднимается страшный крик о покушении на суверенную невинность. Нашему орлу плюнуть бы наконец на эту лысую кралю, чай, свет клином не сошелся, — но крала хотя уголовная, но классово близкая, последний наш оплот в Европе против оранжевой революции... Поэтому деваться им друг от друга некуда, хотя тошнит уже обоих, и давно. Битье посуды в союзной лавочке случалось, конечно, и раньше, но чтоб вот так, на всю Европу... Впрочем, надо же было когда-то и начинать! После повышения цены, встречных бредовых требований пошлины за транзит, банально-го воровства и встречного (уже с российской стороны) перекрытия трубы дело быстро дошло до фронтовых метафор.

Александр Лукашенко: «Пока идет шантаж, иначе не назовешь. Если россияне, российское руководство, пойдет на прежние шаги... Я сегодня поручил премьеру связаться с правительством России и сказать: «в землянки пойдём, но на шантаж мы не поддадимся».

Если бы Россия вовремя привернула Луке финансовый вентиль, батьку не спасли бы никакие землянки — свои же сограждане нашли бы его там еще лет восемь назад и аккуратно зарыли рядом с той трубой в назидание потомкам. Но, как уже было сказано выше, хотя сами мы до белорусских прелестей дотянуться никак не можем, отдавать ее умелому дяде Сэму — мысль для нас невыносима! И поскольку признаваться в собственной слабаватой потенции никому не охота, остается только собачиться и беречь имперские раны.

Депутат Харитонов: *«В начале января «Государственная граница» по НТВ кинофильм показывали в течение нескольких дней. Война, 41 год, Брестская крепость... — и вдруг предаем! И без конца на всех телеканалах мальчишки из «Газпрома» дают интервью. Мы с первых дней нового года, в год олененного кабана, свинью подложили своему брату, славянскому народу!»*

Метафоры коммуниста Харитонова, как всегда, открывают гораздо больший простор фантазии, чем он думает. Начальник нынешней Брестской крепости, который за сорок пять долларов за тысячу кубов согласен обороняться вместе с нами от Евросоюза, а при переходе на рыночную цену грозитися начать брать пошлину с боеприпасов, — это, конечно, картина, достойная показа по НТВ, — причем именно по НТВ (привет «Газпрому»!) Коммунисту Харитонову там же, на Охотном ряду, адекватно ответил ЛДПР-овец Иванов (говоря об адекватности, я имею в виду, конечно, уровень дискуссии).

Депутат Иванов: *«Простите, пожалуйста, только что было все нормально, теперь вдруг цены немножко подняли — и на тебе! Белоруссия поступила, наоборот, нам свинью подложила. Что это такое? С другой стороны надо смотреть! О своей стране заботиться! Вот это и есть проверка на вшивость наших коллег по Белоруссии».*

Не знаю, как обстоит дело со вшивостью у белорусских коллег депутата Иванова, но полагаю, примерно так же, как и у его российских коллег и у него самого. Нервная чесотка начинается при первых звуках хозяйского голоса. Впрочем, тут зачешешься!

Александр Лукашенко: *«Упаси вас господь... На внутреннем рынке... Мне доложат направленные вчера мною люди о том, что где-то на какой-то извините меня, самой вонючей вшивой заправке не будет как в конце прошлого года топлива... Ну, мужики пеняйте на себя... <...> Кто-то станет попереk — вот я вас специально пригласил, проинформируйте генпрокурора — немедленно наручники и в камеру!»*

Один шукшинский персонаж сообщал товарищам о своем немаловажном достоинстве: зато, говорил, я умею останавливать истерики. Вот его бы бросить на белорусское направление! Батка — он ведь такой же невменяемый, как Ким Чен Ир — приступы бешенства просчитаны до градуса. Держите меня семеро! Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня, атомный реактор, гуманитарную помощь, бесплатный газ... А то рвану, и всем будет плохо! (Вариант: а то отдамся Западу, и ты пожалеешь!) И член большой восьмерки Россия раз за разом ахает и тянется за валокордином, и суетится вокруг припадочного... Европа смотрит на нас квадратными глазами уже не первый год, пытаюсь, вопреки совету Тютчева, понять умом: что происходит? Ну, они пускай мучаются, а для местных никакой загадки в происходящем нет. Просто ихний батка, как ни в чем не бывало, позвонил нашему Гражданину Начальнику, и они в два счета отрулили ситуацию в исходное положение.

Теперь несколько слов об обороноспособности. Ей грозит серьезное укрепление. Нет, не подумайте лишнего: в строю как царила наркота со сволотой, так и будет царить, и миллиардные ракеты продолжают успешное падение по формуле « πr^2 квадрат» куда бог пошлет, — но в кадровом отношении армия со дня на день укрепитя со страшной силой!

По сообщениям «МК», Президент Путин утвердил изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Закон «снимает ограничения на получение воинских званий офицерами запаса». Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Сизуткин аргументировал принятие поправок тем, что это «позволит стимулировать офицеров запаса к совершенствованию своего профессионального воинского уровня путем прохождения военных сборов».

О да! Военные сборы — это такое совершенствование воинского уровня... Кто был, не забудет! До самого края наливают, чтобы уровень не упал! Еле живые возвращаются... Но в процессе шлифования Закона даже и эти картонные сборы из текста исчезли — так что никаких препятствий больше нет, и пока лейтенанты тянут лямку в гарнизонах и боевых точках, половина депутатов и сенаторов станут генералами. Вот тут-то НАТО и кранты! Кстати, о сенаторах. У одного из них — бывшего замминистра финансов Вавилова — возникли плановые неприятности, но я полагаю, до получения генеральского звания все рассосется...

По запросу Генеральной прокуратуры Верховный суд РФ вынес заключение о том, что в действиях Андрея Вавилова десятилетней давности — в эпизоде с финансированием производства самолетов МИГ по контракту с Индией — есть признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса «мошенничество в особо крупных размерах» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Вот интересно — с чего бы это они вдруг? Нет, сенатора Вавилова и помимо МИГов есть о чем допросить, и уже пробовали не раз, но быстро остывали — и прокуроров можно понять. Тут ведь вопрос тонкий... Не приведи господи, начнет г-н Вавилов давать чистосердечные показания — кому будет лучше? Придется допрашивать остальных персонажей эпохи, от Руцкого до Шафраника, со всеми остановками... А Руслан Имранович, первым в новой России установивший ставки на законотворчество? А Виктор Степаныч, вошедший в список «Форбс», не приходя в сознание? Да что Виктор Степаныч — у нас еще Сосковец не пытан! Помните, был такой вице-премьер? О-о-о... Нет, если деваностыми годами заниматься не выборочно, чтобы посадить Ходорковского, а подробно и поименно — Садовое кольцо опустеет; Антибы вымрут, в Куршавеле цены упадут! Так что — вы осторожнее там, в Верховном суде, с Вавиловым...

Кстати, о правосудии и вытекающей из него пенитенциарной системе. В этом деле намечается огромный поворот гуманистического свойства.

На встрече в Кремле с членами Совета по правам человека и руководителями общественных организаций президент Путин признал, что «многие люди до сих пор находятся в тюрьмах несправедливо» и выступил за ужесточение контроля над тюремной системой в России.

Если у вас остались слезы благодарности, — начинайте плакать. А если осталось хоть немного юмора, можете поржать. Потому что этот номер Владимир Владимирович исполняет, с нарастающим успехом, седьмой год. Номер классический, в постоянном репертуаре у любой власти со времен цезарей; называется — «Все в дерьме, и тут выхожу я весь в белом». По технологии номера, чтобы выход в белом смотрелся эффектнее, ящик с

дерьмом, взорванный над публикой, должен быть заполнен из личных запасов цезаря. Нет, ей-богу! Семь лет напролет Владимир Владимирович и подручная ему опричнина с наслаждением отворачивали у гражданского общества все механизмы контроля, доотворачивались до полного габона — и вот теперь выходит благодетель в луче света, под барабанную дробь, с европейским лицом, озабоченным нарушениями прав россиян. Вау!

Кстати, Владимир Владимирович, ну раз такое дело — раз у нас месяцник гуманизма открылся... — может, хоть Бахмину из тюрьмы выпустим? Я не говорю — «Ходорковского», я ж не зверь, — Бахмину! Семь с половиной лет получившую под басманную раздачу, рядового юриста ЮКОСа, мать двоих малолетних детей... Два года она уже отсидела, — может, насытилось у кровушкой правосудие наше румынское? А, Владимир Владимирович? Давайте выпустим ее, — ну, пока вы весь в белом...

А покамест, по совокупности впечатлений, — из опроса, проведенного Международным институтом изучения общественного мнения Hagris, выяснилось, что президент России входит в тройку самых антипатичных политиков мира. Впереди, в номинации «самый противный», только иранский Ахмадинежад со своей маленькой ядерной боеголовкой и Джордж Буш-юниор со всей силой своего неброского интеллекта. Они, значит, впереди, а у нашего особиста — твердая бронза! Даже Уго Чавес отстал, хотя уж на что противный... Мои поздравления. Что же до перспектив... Ну, Джордж Буш через год из этого списка выпадет (с глаз долой — из сердца вон), а вот Владимиру Владимировичу с Махмудом, кажись, еще конкурировать и конкурировать, ноздря в ноздрю...

Вот в который уж раз замечаю: реальность перегоняет фантазию. «Торжество православно-монархической идеи» отметили в Петербурге участники «Русского имперского движения». Как сообщает издание «Благовест-Инфо», в очередную годовщину подавления восстания декабристов на Сенатской площади был проведен митинг у памятника Гоголю на Малой Конюшенной под лозунгом: «Декабристы — кровавые слуги Запада».

Как замечательно, что весь этот цвет православно-монархической мысли собрался именно у памятника Гоголю! Видимо, это был не тот Николай Васильевич, который написал «Ревизора», а гораздо более поздний, психически нездоровый... Ну, что ж; каждый выбирает для себя — в том числе, и Гоголя... А что декабристы — кровавые слуги Запада, это ему известно: Пестель вообще немец, а Рылееву с Бестужевым, поди, за каждый стишок присылали денег из Англии, должно быть — Березовский...

Но вернемся напоследок к главной теме прошедших каникул. Рядом с драмой, как известно, всегда ходит анекдот. Так вот: буквально за пару дней до того, как на белорусском газовом направлении рвануло, ничего не подозревавший Международный фонд единства православных народов наградил компанию «Газпром» премией «за укрепление духовного единства России, Белоруссии, Украины и ряда других стран с православной традицией». Руководство «Газпрома», стало быть, получило эту премию, мысленно перекрестилось — и выкатило братьям по вере новую цену на газок. Легкий, так сказать, пост перед рождеством, — в рамках геополитического православия...

Счастья вам!

20.01.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, кто не спрятался, я не виноват — начинаем восстанавливать имидж России, ее отдельных руководителей и крупнейших ведомств. Сколько, в самом деле, можно терпеть попытки недоброжелателей измазать грязью лучшее, что у нас есть — наше начальство, наш бизнес, нашу армию, наконец! С армии и начнем.

Там на отчетной неделе все шло в пределах нормы: какой-то прапор забил до комы рядового, солдат сжег в печке сослуживца, несколько человек сделали ноги из казармы... В общем, обычный распорядок дня. Но злые солдатские матери и недобитая журналистская сволочь по-прежнему мошкуют выются вокруг министра обороны Иванова, хотя его кадровой крови. Маньяки! Из-за какого-то инвалида Сычева чуть было не навредили целому вице-премьеру России! Ну, слава богу, у нас не Англия, чтобы из-за такой мелочи, как искалеченный солдат, портить жизнь начальству... Теперь нашли новый повод наброситься на славное министерство — на этот раз, из-за Романа Рудакова. Солдат, действительно, лежит в госпитале в тяжелейшем состоянии, — но причем тут армия?

Сергей Иванов: «Этот случай, прежде всего, хотел бы подчеркнуть, не имеет абсолютно никакого отношения к правопорядку и дисциплине в войсках. Это чисто медицинский случай».

Тысячу раз прав министр обороны! — случай, действительно, чисто медицинский. Рассмотрим его с самого начала.

Сначала — у Рудакова было серьезное заболевание крови, но это же не повод для военкома, чтобы не забирать человека в армию! (Тем более, Рудаков из бедной семьи, и пяти тысяч долларов принести за него в военкомат было некому...) Военно-врачебная комиссия признала Романа годным, и его забрали, и увезли на выполнение священного долга в учебку, где в учебных целях били и морили голодом; обучив таким образом, передали в стройбат, в пользование капитану Бахтину, который, для повышения обороноспособности, продал солдатика в рабство на тяжелые хозяйственные работы местному майору. Когда же неблагодарный солдат, уже к тому времени пытавшийся вскрыть себе вены, стал отказываться от работы, капитан начал собственноручно лечить его от симуляции... Когда рядовой российской армии, он же раб капитана Бахтина, перестал приносить хозяину прибыль и начал загибаться, капитан самым благороднейшим образом отпустил-таки его в госпиталь — пешком, за 80 километров, без копейки денег... Там солдату отрезали большую часть кишечника, потом сделали еще десяток операций, но все это помогло уже не сильно — и вскоре выяснилось, что жить симулянту остается, кажется, совсем недолго. Ну, да это не страшно, правда? — мало ли солдат у нас гибнет втихую, главное — чтобы статистика поправлялась!

И вот тут случилась действительно неприятная для министерства обороны вещь: добросердечный персонал госпиталя допустил утечку, и о случае рядового Рудакова стало известно журналистам. Так бы никто и не чухнулся, а туг... Ну, армейское руководство немедленно предприняло необходимые санитарные меры... Во-первых, не допустили переправки Руда-

кова в гражданскую больницу, чтобы он лишнего на свободе не наболтал. Во-вторых, — перекрыли входы-выходы в госпиталь, запретили погибающему солдату общение с близкими и начали давить на сестру Рудакова, требуя, чтобы она не показывала журналистам писем брата из армии, в которых отдача священного долга описана со всеми подробностями... Затем фальсифицировали историю болезни, а у самого солдата в госпитале отобрали мобильный телефон. В общем, правильно сформулировал министр обороны Иванов: случай, действительно, медицинский! И если на спасение солдатики еще остается надежда, то в случае с нашим армейским начальством медицина, кажется, бессильна!

Как раз в дни, когда стала известна история с рядовым Рудаковым, в Москве собрался на первую встречу долгожданный Общественный совет при Министерстве обороны. Вообще-то, по случаю такого совпадения, я немного тревожился за министра Иванова: сейчас, думаю, Никита Михалков ка-ак врежет ему за вранье и за «дедовщину» — и вообще, и за солдатики Рудакова в частности, а потом еще Василий Лановой догонит и ка-ак добавит!.. Но, кажется, обошлось. Деятели культуры и деятели Генштаба заглянули друг другу в глаза и остались страшно довольны увиденным. Глубина анализа не заставила себя ждать.

Никита Михалков: «Огромные проблемы заключаются армии в том, что потеряна связь с культурой. Армия и культура — это очень важная связка!»

О да! Связь армии с культурой — вот что нужно! Чтобы в промежутках между пытками и рабским трудом салагам еще крутили «Сибирского цирюльника». Вместо сна. Но и помимо внедрения культуры — можно не сомневаться, общественный контроль за армией развернется теперь не на шутку! Уже на первом заседании были поставлены задачи улучшения имиджа армии; общественные деятели должны помочь и в борьбе с уклонистами... То есть, с теми молодыми людьми, которые не хотят питаться объедками, строить пирамиды для армейских фараонов, а потом безвестно подыхать для улучшения статистики... Кстати, судьбой солдата Рудакова, судя по отчетам СМИ, общественники министра не потревожили. Да и зачем, если уже решено, что все вот так и будет!

Министр обороны России Иванов заявил, что перевод всех Вооруженных сил на службу по контракту производиться не будет по двум причинам. «Во-первых, — сказал он, — у нас на это нет средств, а во-вторых, это нам не нужно с учетом исторических и культурных традиций России».

Ну, насчет того, что нет средств — это как посмотреть. Если сложить все деньги, потраченные на содержание военкомов-взяточников, дедов-садистов, офицеров-рабовладельцев и генералов-бездельников и добавить к полученной сумме то, что все они своровали — не то что контрактную армию, НАТО пару лет содержать сможем! Но вот насчет традиций Иванов не солгал: тысячи людей, подыхающих в солдатчине, — это наша давняя славная традиция.

По части традиций гуманизма с российской армией успешно конкурирует многие учреждения, но лучше прочих — Генеральная прокуратура. По большей части, как и в армии, все это не выходит наружу, но время от времени что-то все-таки — вываливается...

По информации газеты «Ъ», в Москве исчез гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсия. Его обвиняют в соучастии в хищении \$13 млрд., организаторами которого якобы были руководители ЮКОСа. Из-за побега, пишет газета, было сорвано вынесение приговора, который предполагалось приурочить к предъявлению новых обвинений по аналогичным эпизодам Ходорковскому и Лебедеву.

Ну, добить Ходорковского (чтобы никакая амнистия его не освободила как минимум до восьмого года) — дело государственной важности, это мы все понимаем. Поэтому нет ничего удивительного и в истории этого испанца, работавшего в ЮКОСе: сначала его заманили в Россию в качестве свидетеля, потом задержали и начали таскать по следственным кабинетам, уговаривая во всем признаться. Мы-то привычные, а испанец от таких уговоров попросту выпрыгнул в окно во время допроса; менты привезли его, покалеченного, в больницу как пострадавшего от ДТП — и, подлатав, продолжили уговоры. Теперь Вальдес-Гарсия сбежал-таки. А вы еще спрашиваете, откуда у хлопца испанская грусть...

Ну, ничего: испанец сбежал, зато евреи никуда не денутся. Я не про Ходорковского, а про четверых израильтян, попавшихся на контрабанде алмазов. По закону, они могли отбывать наказание и в Израиле (на этот счет есть соглашение между странами), ну так это по закону... А по понятиям — за то, что Израиль отказался выдать Невзлина, израильтян отправляют в Мордовию. Вы спросите: где имение, где наводнение? Почему, если Израиль не выдает Невзлина, контрабандисты должны сидеть в Мордовии? Да по понятиям, говорю же вам! Вот как у ивантеевских с солнцевскими. Пальцы вращать, заложников — на счетчик! Ну, а в сторону Лондона пальцы торчат вращать уже много лет.

Генпрокурор России Юрий Чайка поставил повторный визит британских следователей в Москву в зависимость от визита российских следователей в Лондон. Британские СМИ называют это ультиматумом Скотланд-Ярду. Российский генпрокурор прямо заявил, что рассчитывает найти убийцу «среди богатых россиян, которым Великобритания предоставила политическое убежище».

Таким образом, получается, что убийцу Литвиненко рассчитывают найти обе стороны, — но почувствуйте разницу в классе! Англичане хотят допросить Лугового и Ковтуна, потому что именно к этим двум ведут следы полония. Грубая работа, дедуктивный метод, позапрошлый век... Эдак каждый может — если есть следы... То ли дело Генпрокурор Чайка! Он хочет допросить Березовского, потому что уже второй месяц чувствует, что убийца именно Березовский. Доказательства, факты? Ну что вы... — он чувствует, говорят же вам! Вот с того дня, как Путин в сторону «Березы» кивнул, — Чайка сразу и почувствовал. Такие сеансы душевного единения — это тоже по нашим понятиям...

Невероятная тонкость и телепатические возможности российской Генпрокуратуры с лихвой компенсируются ее способностью не видеть в упор реальных следов.

Генеральная прокуратура вновь отказалась возбудить уголовное дело по факту гибели Юрия Щечокчихина. В официальном ответе сказано, что

экспертами признаков отравления не обнаружено и что причиной смерти Щекочихина явилась тяжелая интоксикация, развившаяся на фоне самостоятельного приема ряда лекарственных препаратов.

Замечательный, исчерпывающий ответ! И все было бы хорошо, но доблестным прокурорским чайкам опять подгадила все та же, в печенках сидящая, Англия — со своим тяготением к точным наукам вместо политической целесообразности. Лучшие британские специалисты исследовали список лекарств, которые принимал Щекочихин, — и в один голос заявили, что от этих лекарств не случается ничего из того, что произошло с Щекочихиным в последние два дня его жизни. Ведущие британские специалисты — люди настолько бестактные, что, заинтересовавшись этим случаем, попросили дать им посмотреть историю болезни Щекочихина и материалы экспертиз, — но вот тут-то им и случился облом: наша Генпрокуратура все эти документы закопала, забросала сверху ботвой своих отписок и объявила «врачебной тайной». Я раньше думал, что «врачебная тайна» — это инструмент защиты пациента, но ошибался. Врачебная тайна — инструмент защиты убийцы пациента. По крайней мере, у нас.

Теперь — несколько слов о репутации. Она у России отличная! По крайней мере — отличная от других европейских стран. Были бы мы Албанией, Европе было бы по барабану, что у нас там с репутацией, хоть в занавески сморкайся... Но мы не Албания (как минимум по размеру), и Европа сильно нервничает.

Министр иностранных дел Германии 2-н Штайнмайер назвал сближение с Россией нелегкой задачей, заметив, что назвать сегодняшнюю Россию «демократией чистой воды» — нельзя. Цитируя главу немецкого МИДа, СМИ напоминают, что именно так — «демократией чистой воды» в свое время охарактеризовал стиль управления Владимира Путина бывший канцлер ФРГ Шрёдер.

Ну, насчет чистой воды... Вода, как известно, бывает с газом. В случае со Шредером — вода точно с газом! И если бывший канцлер на свою репутацию, говоря по-русски, забил, то концерн, в котором он теперь служит, готов за это дело выложить одиннадцать миллионов долларов в год — именно такую сумму называют посвященные...

«Газпром» начал переговоры с консорциумом PR-агентств о проведении серии PR-мероприятий в странах ЕС и США. Как заявил газете источник в корпорации, «сегодня на Западе «Газпром» прочно ассоциируется с именем президента России Владимира Путина и его политическим окружением». Корпорация хотела бы избавиться от этого и просит «сделать упор на позиционирование компании как коммерческой структуры».

Ну да, — это по-нашему! Сначала полтора десятка лет работать кошельком власти и людей власти, по отмашке Кремля съедать телекомпаний, с портретом Путина в руках пинком открывать двери арбитражных судов, взащей выгонять с месторождений конкурентов ... — а потом начать озираться — чего это все морды воротят? — и вспомнить: ах, ну да, репутация! Пустите квазимоду на конкурс красоты! Ну, а что? главное ж макияж... За вышеупомянутые одиннадцать миллионов долларов в год группа западных стилистов быстро сделает конфетку из этого существительного, вот

увидите! Теперь — ну, скажем так... новости культуры. Какая культура — такие и новости.

Картина кисти губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко «Ежик под елкой» была продана за 2 млн. 210 тысяч рублей на благотворительном аукционе. «Я не ожидала, — прокомментировала случившееся г-жа Матвиенко. — Сотсби отдыхает после нашего аукциона».

Сотсби не просто отдыхает, Валентина Ивановна — он валяется без сознания! Чтобы дебютные полотна уходили за такие суммы!.. Вообще-то обычно покупатели таких серьезных произведений живописи предпочитают оставаться неизвестными, но это был явно не тот случай, и мир (а главное, сама Валентина Ивановна) тут же узнали, что картину Матвиенко купил гендиректор компании «Максидом», владелец крупной сети хозяйственных магазинов Сергей Голиков. Кстати, как вы думаете, в каком городе развивает свой бизнес этот внезапный любитель примитивизма? Правильно, в городе на Неве! А как вы догадались?

И напоследок — пара картинок из нашей нынешней непридуманной жизни, на заветную тему.

В Волгограде создана новая общественная организация — «Национальный проект», активисты которой намерены добиваться того, чтобы президент РФ Владимир Путин остался в Кремле еще на один срок. Глава движения Владимир Краснов заявил «Независимой Газете»: «Новая социальная политика — это путинская политика. Если он уйдет, то никто не сможет предсказать судьбу и приоритетных нацпроектов...»

В благонадежном доводе волгоградского активиста спрятан нечаянный, отчего еще более ценный, диагноз всей путинской вертикали. Стало быть, как только Путин отойдет в сторонку от нацпроектов, весь этот вавилонский долгострой с грохотом навернется в мелкую пыль, и ничего не станет: ни жилья, ни образования, ни демографии... Отличное, видать, было качество строительства! Остается одно из двух: либо начать строить в России что-то более устойчивое, не зависящее от присутствия одного, довольно, между нами говоря, небольшого человека... — либо оставить Путина пожизненно подпиравать то, что есть, замирая от метафизического ужаса всякий раз, когда ему зевнется от усталости... Гаранты держат небо на каменных руках! Покамест страна очевидно склоняется ко второму варианту развития событий.

Счастья вам!

27.01.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, что я вам скажу? — симпатичная неделька получилась, без особой уголовщины... Я имею в виду: без массовых смертоубийств! А воровство носит в России дежурный характер и за уголовщину не считается. Ну, обо всем по порядку...

Начнем с национальных проектов! Жилье, образование, демография — все это многие годы катилось под откос, пока в конце 2005-го не было взято под личный контроль вице-премьера и по совместительству главы «Газпрома» Медведева. С этих пор Медведева показывают в новостях по

всем телеканалам круглые сутки — уж он и там, и сям, и где ни появится — там расцветает благоденствие. На минувшей неделе приехал с докладом в Государственную Думу — и, судя по теленовостям, ничего важнее этого номенклатурного эпизода в жизни страны в тот день не было. В общем, не знаю, как там насчет жилья и образования, а медведевский рейтинг за этот год поправился существенно. В 2005-м его, раба божьего, и в первой пятёрке политиков не было, а в 2006-м — твердое второе место, которое на самом деле первое, потому что бог солнца Ра Владимир Владимирович в нашем Египте идет вне конкурса. В общем, Медведев за 2006-й так хорошо взмошел, что в 2007-м его первым делом повезли на смотрины в Давос. Вообще-то туда уже много лет ездили наши бизнесмены, но времена изменились, и те, которые не в Краснокаменке, решили не искушать судьбу и не раздражать Отчизну самостоятельным интересом к Западу. Вместо них среди преловой элиты мира два дня дефилировал туда-сюда вице-премьер Медведев: мол, свой я, ребята, свой! Привыкайте помаленьку... Его конкуренты по номенклатурному Олимпу тоже лапу не сосали: вице-премьер Иванов из телека тоже не вылезает: обложился деятелями культуры, чуть не победил Грузию и постоянно делает замечания блоку НАТО. Так что, кому из них в восьмом году ляжет карта России — пока неизвестно. Или, вырвавшись на финишной прямой мимо Лобного места, первым в Спасские воротах прорвется еще кто-то из когорты допущенных к главному телу страны? Возможно и это. Само тело пока темнит и ясности в исход забега не вносит.

Путин: «Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы будущий глава государства продолжил ту политику, которая проводилась в последние годы. <...> Уверен, что граждане России, наши люди смогут отличить порядочного и дееспособного человека от болтунов, краснобаев и бездельников».

Раньше я полагал, что болтуны, краснобаи и бездельники — это одно и то же, но судя по всему, это — три конкурирующие группы, хорошо известные президенту России. Ему же, кажется, известно имя этого самого «порядочного и дееспособного человека», на которого в свое время, по знакомству, будет нахлобучена шапка Мономаха... Кто это, гадать не берусь: претендентов там, наверху, как собак, а вот насчет «порядочных и дееспособных»... Ну, не знаю: может, выпишут откуда-нибудь! Впрочем, не наше собачье дело. Ближе к восьмому году в любом случае скажут, за кого голосовать — уж это дело точно на самотек не пустя! Ибо главный национальный проект в том и заключается, чтобы передать власть своим и потихому свалить на хорошую углеводородную должность с гарантией неприкосновенности... Именно этому будут посвящены последние два года работы кремлевской администрации!

Теперь о коррупции. Впрочем, это у нас всегда актуально. Про что ни начни рассказ, в одно касание выйдешь на гоголевского городничего, «не пропускавшего того, что плывет в руки...»

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа возбудила уголовное дело против заместителя главы города Нефтеюганска Киселева. Киселев обвиняется в получении взятки. СМИ напоминают, что год назад бывший мэр города Ткачев был условно приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Я думаю, это климат. Ну, место такое... И вообще: если в самом названии города фигурирует слово «нефть», — как-то даже смешно полагать, что эта нефть не начнет затекать в рукава к начальникам... А впрочем, Россия вообще щедрая душа — по отношению к начальникам, разумеется. И безо всякой нефти!

В открытом письме к жителям Ставрополя жена губернатора региона Черногорова рассказала, в частности, о том, как руководитель региона тратил тысячи долларов на покупку бильярдных киев и «испытывал нездоровую страсть к роскошным автомобилям». По словам Ирины Черногоровой — «в понастроенных в соседнем дворе гаражах стоят самые престижные модели, вплоть до Бентли».

Дружите с женами, губернаторы, вот вам мой совет! Либо сразу: молилась ли ты на ночь, любительница открытых писем? — и это самое ее, в превентивном порядке... А то ведь как начнет рассказывать — причем, что самое неприятное, правду! Причем перед выборами... А Черногоров, разумеется, возглавляет список «Единой России», которая у нас кто? — правильно, главный борец с коррупцией! Накладочка получается... Конечно, прокуратура могла бы безо всяких выборов поинтересоваться у губернатора, с каких это средств у него образовались гаражи с коллекциями иномарок, — но тут имеется важная подробность: Черногоров был переназначен на пост главы региона лично Владимиром Владимировичем, который у нас борьбу с коррупцией возглавляет, начиная с «Байкалфинансгрупп»... ну, вы помните... Так что — не требуйте от прокуратуры невозможного!

В этой маленькой ставропольской истории, как в капле воды, отразилось то счастливое положение, в котором оказалась Россия в начале двадцать первого века! Какое счастье, что российские власти своевременно решили проблему политической конкуренции, затоптав все более или менее крупное и независимое и выпустив на арену карликов из собственного зоопарка! А то было бы у нас сейчас как в какой-нибудь богом забытой Швеции!

В Швеции резко упал уровень доверия к только что избранному правительству. Виною тому коррупционные скандалы вокруг новых министров: в частности, министр по делам иммигрантов не платил за телевидение, министр окружающей среды «незаконно получал субсидии от государства, указав неверные данные о своей зарплате»... А министры торговли и культуры не платили налоги за услуги домработниц. После того как это выяснилось, они были вынуждены уйти в отставку.

Понимаете, до чего доводит людей неуправляемая демократия с реальной политической конкуренцией и свободной прессой? За неуплаченный налог на услуги домработницы теряет кресло министр торговли! Дорогой шведский министр! Если вы уже подписали «бегунок» и свободны, — айда к нам! За небольшие деньги встроим вас в нашу вертикаль — будет у вас и Бентли в гараже, и «котлеты» денег по карманам, и никто слова не скажет! Единственное требование: вы должны начать любить Путина. Извините, это не обсуждается. Начинайте любить прямо сейчас. Как будете готовы, дайте знать, я вам все устрою.

Про исполнительную власть рассказали — поглядим, что у нас там на Охотном ряду! А там, братцы мои, продолжается неуклонное повышение дисциплины.

Кодекс парламентской этики подготовлен и будет разослан депутатам Государственной думы в ближайшее время. Как заявил председатель думской Комиссии Геннадий Райков, в Кодексе будет предусмотрена возможность лишать депутата зарплаты за непосещение пленарных заседаний. Если за сессию депутат без уважительной причины пропустит более 30% заседаний, у него удержат 25% зарплаты, за пропуск половины заседаний — половину зарплаты, а за пропуск 70% заседаний — всю зарплату.

Страшная угроза! Они там рыдают в настоящее время. Сидят где-нибудь в закрытом клубе за вискарем, по штуке баксов бутылка — и плачут. По данным экспертов, один средненький депутатский запрос в Госдуме этого созыва стоит не меньше семи тысяч долларов. Запросы в Генеральную прокуратуру стоят еще дороже, а за протекцию в комитете Госдумы депутат получает «откат» в размере 10% от финансового выигрыша заказчика, а суммы там семивосьмизначные, и в долларах... В общем, ударили им рублем по зарплате, напугали ежа голой жопой. Да! Не забыть бы отдельно предупредить об опасности депутата от ЛДПР Керимова! Он, в процессе законотворчества, пару месяцев назад разбился в Ницце на «Феррари» — ну, вы помните... но как раз на минувшей неделе, по заявлению своей пресс-службы, вышел на работу, так что — как бы ему не пропустить пленарного заседания, а то оштрафуют.

Теперь несколько слов про политическую жизнь на Кавказе. Она прекрасна. В Дагестане, например, народ вовсю готовится к выборам в Народное собрание. А тамошний Избирком уже приготовился: зарегистрировал грызловскую «Единую Россию», мионовскую «Справедливую Россию» — ну и, для смеху, аграриев... И дверку закрыл. А КПРФ, «Яблоко» и СПС регистрировать не стал. И то сказать: все уже давно решено — зачем понапрасну тревожить мозг избирателя? Теперь оппозиция пойдет, конечно, искать справедливости в суд, и суд им этой справедливости отвесит сколько хошь — сначала налево, потом направо... Вот же судьба-индейка: одни хотят поучаствовать, а нельзя! А другой сам не понимает, как попал в политику...

Президент Чечни Алу Алханов заявил, что не хочет быть президентом республики по истечении в 2008 году своего срока на этом посту. В интервью газете «МК», опубликованном в минувший вторник, Алханов заявил: «Кстати, я никогда не собирался становиться президентом Чечни — просто так вышло».

«Так вышло» у него... Кстати, типичный случай для нашей местности! Путину весной 99-го если бы кто-нибудь про шапку Мономаха рассказал — он бы только чистыми руками за холодную голову схватился! С Алхановым — тот же несчастный случай: шел по Грозному, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся — президент!

А теперь посмотрим, что у нас там с нравственностью. Она ж падала все время! Но больше ей никто падать не позволяет: кажется, нравственность попала, наконец, в умелые государственные руки...

Как сообщила газета «Ъ», издательский дом Родионова проиграл в суде четырехлетнюю тяжбу по поводу рекламы в журнале Moulin Rouge с изображением полуобнаженной модели. В своем решении суд опирался на определение управления Федеральной антимонопольной службы, которая признала рекламу журнала неэтичной, руководствуясь цитатами из Библии и Корана.

Когда государственные органы начинают принимать решения на основе Нагорной проповеди и сур Корана, гражданам этого государства полезно умыться с утра пораньше на холодке, проснуться хорошенько и поинтересоваться названием страны и веком, в котором они живут. Потому что эдак однажды можно проснуться и в Иране. Или в Европе, но такой... с дымком... при святой инквизиции... А вообще — отличная логика! Мусульман и ортодоксов, стало быть, оскорбляет вид обнаженного женского тела — так запретить это дело всем! Отлично, но почему только «обнаженку» в журнале *Moulin Rouge*? Будем последовательны — опечатаем Пушкинский музей! И потом: почему надо ограничивать себя только двумя религиями? У нас все религии равны! Иудеев, скажем, оскорбляет некошерная пища — давайте закроем рестораны... И чтоб по субботам метро не ходило! Гулять так гулять! В общем: в борьбе за нравственность открываются большие перспективы...

И напоследок — страничка занимательной истории. Никелевый олигарх Прохоров прокомментировал наконец недавнюю занимательную историю с куршевельским арестом. Ну, вы помните: лионская полиция пыталась понять, зачем ему шестнадцать девочек эскорта — и все ли они любят его общество бесплатно... И вот какие глубокие мысли высказал по этому поводу сам олигарх Прохоров в интервью «Комсомольской правде»:

«Знаете, российские люди после многих лет унижений и трагедий заслужили право на красивую и веселую жизнь. Конечно, жаль, что не все себе это могут позволить».

Да, знаете. Не буду от вас скрывать: еще не все! Но почитаем дальше, там еще интереснее! *«Корни некоторых проявлений пренебрежительного отношения французов к россиянам как к варварскому народу следует искать в истории наполеоновских войн, когда Франция, униженная поражением в войне с Россией, создала целую серию анекдотов о вошедших в Париж «диких» казаках, якобы питающихся стеариновыми свечами...»*

Ну, я так и знал: дело вовсе не в русских оргиях и не в бесстыдстве нуворишей, нет! — это французы мстят за Наполеона! Да-да; особенно сильны эти настроения в лионской полиции. Они там тайно собираются под портретом императора (в двенадцать часов по ночам) и до утра думают, как бы им побольнее унижить Россию. Согласитесь, в это легко поверить, — особенно, будучи читателем «Комсомольской правды».

Счастья вам!

03.02.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, неделя была выдающаяся, с запланированными радостями — вроде президентской пресс-конференции. Но кое-что ветер принес и сверх плана: страна-то большая, политиков как собак, и все говорящие... Начнем, пожалуй, с одного регионального руководителя; в каком-то смысле, это наше с вами коллективное... хотя и очень бессознательное... Ей-богу, в это зеркало стоит всмотреться попристальнее!

Амман Тулеев выступил в минувший понедельник со статьей в «Независимой Газете». Вообще-то он губернатор Кемеровской области, где все время горят шахты и, по данным врачей, три четверти населения нездоровы,

но этим всем заниматься — такая тоска! То ли дело сорвать планы Запада и врезать по врагам России! Это ж человеком себя чувствуешь! Как и следовало ожидать, кемеровского губернатора возбудила история с памятником Воину-освободителю в Таллине. Эстонцы собираются перезахоронить останки павших, а Воина убрать, поскольку Воин этот — до того, как Эстонию освободить, ее оккупировал, а потом оккупировал еще раз и значительную часть эстонского народа выслал в Сибирь. Отчего и не вызывает у эстонцев праздничных чувств даже в бронзовом виде. По-человечески их легко понять, не правда ли? Ну, так это по-человечески... Не требуйте невозможного от пожизненного губернатора!

«У меня нет сомнения, — пишет Амман Тулеев в статье в “Независимой Газете”, — что все эти недружественные жесты — часть фронтального наступления на интересы России, залпы войны, ведущейся против нас антироссийским интернационалом, в первом эшелоне которого как провокаторы выступают страны Балтии. Их кукловоды сидят совсем в другом месте».

О! Чистый Уэллс! Машина времени... Поджигатели войны, западные кукловоды... Ах, моя молодость! Но, наслаждаясь лексикой, не пропустим смысловую часть — как говорил папаша Мюллер, там есть интересный поворот...

«В Эстонии готовится законопроект, который приравнивает советскую символику к фашистской, — пишет Амман Тулеев. — Антисоветская истерика, которая уже несколько лет подряд трясет страны Балтии, достигла своего пика». Несколькими строчками ниже глава кемеровской области предлагает «переломить хребет» балтийской антироссийской политике.

Ну, насчет «переломить хребет» — это в тулеевской голове опять органик заиграл, не обращайтесь внимания... Но вот насчет приравнивания советской символики к фашистской — это, конечно, настоящий эстонский ужас! У нас-то страна серпами-молотами и свастикой поочередно разрисована, у нас это на здоровье, братский привет от Молотова Риббентропу, свободная страна!

Но главное: как гладко вытекла у Тулеева из «антисоветской истерики» — «антироссийская политика»! Он ведь, наверное, и сам не заметил подмены... Но в том-то и соль. «Большая восьмерка», демократия, август 91-го... — это все нам привиделось! Там, где пишется «Россия», следует теперь без лишних эквивалентов читать «СССР», и кто против оккупации Прибалтики, тот опять предатель Родины! Именно под этим углом и следует воспринимать тулеевские слова о России, которая *«встает с колен, возрождает свое былое величие и авторитет в мире...»* Увы, в этом «авторитете» все ощутимее проглядывает его новейшее блатное значение; и, между нами, когда такое встает с колен, ей-богу, имеет смысл его притормозить, а лучше даже временно положить лицом вниз — как минимум, до тех пор, пока не протрезвеет.

Насчет же «былого величия» — спора нет. Вот только: в чем именно величие-то? Чем гордимся? Пушкинским языком, вторым концертом Рахманинова, академиком Вернадским? Три ха-ха, не смешите кемеровский обком! Гордимся тем, что за короткий срок сгноили миллионы сограждан и на полвека распяли пол-Европы. На том стояли и стоять будем!

День в день со статьей Тулеева в «Независимой» вышла статья в «Новых Известиях» — по совершенно иному поводу. Но вместе два этих газетных материала смотрятся замечательно! И читать их, по моему скромному мнению, следует подряд: сначала монолог губернатора в «Независимой», а потом (в качестве некоторого комментария) — вот что.

В России существенно выросло число страдающих шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. Эксперты считают, что тут сказываются последствия «глобальной посткоммунистической травмы». Немалый вклад в увеличение числа психически больных людей, пишут «Новые Известия», вкладывают и российские власти, культивируя образ врага. «Многие психически больные люди находят себя в политике — и в этом качестве начинают заражать людей своими бредовыми идеями (в том числе и «образом врага»)».

Как писал Высоцкий, «тут примчались санитары и зафиксировали нас». Но этих к кроватям не привяжешь — эти сами кого хошь свинтят. Дума, Кремль, Совет Федерации — геополитик на геополитике, обострение за обострением! Поляки, грузины, прибалты — кругом враги! О Штатах с англичанами я уж не говорю, эти пожизненно во всем виноватые... И где именно и по какому поводу рванет, при масштабах нашей страны и фантазии заранее не догадаешься. Вот — в Кемерово сдетонировало... Ну, ничего-ничего, главное не подходить к носителю возбуждения слишком близко, не контактировать, даже через прессу, держать голову в холоде...

Теперь — отчасти в продолжение темы вечного противостояния с Западом... ***В Англии на минувшей неделе переданы в королевскую прокуратуру результаты расследования «полониевой» истории. Официальных звуков наружу не доносится, но источники в Скотланд-Ярде давно и недвусмысленно показывают пальцем на бывшего офицера ФСБ Лугового. Ветер донес до журналистских ушей и словосочетание «государственный терроризм».***

Луговой сразу же заявил, что все это «ложь, провокация и правительственная пропаганда». Ну, ложь или не ложь, решит суд, а вот насчет «правительственной пропаганды» — тут наш доблестный «полонист» перепутал меридиан. На Гринвиче правительства не дают указаний полиции, где искать преступников, — чем невыгодно отличаются от правителей, обитающих на нашей долготе. Наши-то сразу указывают прокуратуре направление поиска! А Тони Блэра, если бы он во время следствия начал высказываться эдаким образом, пинками погнали бы с Даунинг-стрит.

Кстати, о Тони. Ему не позавидуешь. Если в английской прокуратуре подтверждаются сведения о государственном происхождении полония в чайнике у Литвиненко, Блэру придется как-то реагировать... что-то решать с собратом по большой восьмерке! Впрочем, до этих геополитических катаклизмов еще далеко, да и вообще: если большую восьмерку положить на бок, получится большой знак бесконечности... А вот в бытовом сознании землян уже произошли тектонические подвижки.

Алексей Венедиктов рассказал мне: едет он давеча на такси по Парижу — из отеля в аэропорт. И сидит за рулем нормальный такой конголезец. И узнавши, что Венедиктов из России, радостно реагирует: а-а, Литвиненко-полоний! Таксист-конголезец, повторяю. Это, братцы мои, называется: репутация... И в геополитическом смысле это будет почище любого приговора

суда. Но какой прогресс по части ассоциаций! «Горбачев — гласность», «Ельцин — водка», «Абрамович — Челси», «Литвиненко — полоний»... Приплыли.

Ну, а уж когда страна поворачивается к миру чайником с полонием, то и внутри у нее, ясный перец, — не сахар!

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «О состоянии свободы в мире». По ее данным, в 2006 году Россия стала еще более несвободной страной и по уровню политических свобод оказалась на одном уровне с Анголой, Габоном и Пакистаном. А степень гражданских свобод в России, по мнению Freedom House, такая же, как на Кубе, в Ливии и Северной Корее.

Ну, это они немножко того, насчет Корен... Все-таки, мы тут еще разговариваем напоследок... на коротких волнах. Но в целом, можно посочувствовать, конечно — Анголе с Пакистаном! Потому что у них там шаром покати, а в нашем Северном Габоне у нашей северогабонской администрации, слава богу, есть деньги на поправку имиджа! Начальник в четверг сказал: четыреста миллиардов долларов золотовалютного запаса! Да и технологии имеются.

Выступая в редакции газеты «Комсомольская правда», спецпредставитель президента России Сергей Ястржембский, в частности, сказал: «Национальный имидж — это серьезная работа, которая не решается за счет разовых услуг информагентств». «Мы должны создавать больше положительных новостей, — заявил далее Ястржембский. — Это будет выгодно для страны».

Дорогой г-н Ястржембский! Хочу вас серьезно расстроить. Имидж (национальный ли, персональный) — это не работа, а результат работы. Вот, например, вы нам рассказывали про крепнувшее ельцинское рукопожатие, про победоносную чеченскую войну, про заговор Запада в деле Литвиненко... — и у вас появился имидж (вот какой сейчас). И никаким макияжем тут ничего не поправишь — менять нужно лицо! Это я насчет создания положительных новостей. Кто кому должен создавать положительные новости, Сергей Владимирович? Мы — вам? Ну, лично я воздержусь, а некоторые коллеги справляются с этим делом вполне... Вот, например, «Российская газета», светлой-зеркальце родимой администрации... Уже много лет каждое утро с утра пораньше произносит нужный текст! Прочитируем свеженькое.

На Западе «очарованы руководителем российской делегации в Давосе, первым вице-премьером Дмитрием Медведевым и вовсе сравнивают его с Михаилом Горбачевым», — пишет «Российская газета». «Общественность была потрясена заявлением первого вице-премьера Дмитрия Медведева о том, что в этом году Россия перегонит по добыче нефти Саудовскую Аравию!»

Ну, в политическом смысле Медведев Горбачеву где-то примерно по шиколотку, и насчет соревнования с Саудовской Аравией общественность, надо признать, откровенно прыскала в кулак: общеизвестно, что запасы нефти в Саудах намного больше, добыча там легче и качество выше, — и, по мнению экономистов, Аравия просто в голову не берет идею с нами соревноваться, — но кому интересны эти подробности! Главное — есть положительная новость! «Запад очарован, общественность потрясена...» Так держать!

Но — Запад западом, а на Родине все заинтересованные стороны прекрасно представляют себе и истинные размеры медведевского очарования,

и силу альтернативного обаяния вице-премьера Иванова. Оба этих потенциальных преемника из всех сил сучат ножками навстречу две тысячи восьмому году, но путинского фокуса пока что явно не выходит — второго кролика из одной шляпы не вынешь. Да и фокусник Березовский давно осел в Лондоне, и секрет утрачен... Короче, служивый народ нервничает все сильнее.

Выступая в Совете Федерации, заместитель министра юстиции Колесников предложил увеличить срок президентства в России, мотивировав предложение следующим образом: «Это разве нормально — четыре года для президента такой огромной страны? Это ему времени не хватит, чтобы объехать всю страну».

Тут, конечно, хорошо было бы спросить генерала: какого хрена президенту объезжать страну? Она что, лошадь? Или он — Федор Конюхов? Что за клуб кино-путешественников в рабочее время? Но следующая реплика Колесникова внесла полную ясность в проблематику.

На вопрос вице-спикера Торшина: насколько своевременно предлагаемое увеличение президентского срока? — Колесников ответил: *«Время уходит»*.

Вот! Это уже по делу. Время (у них) действительно уходит, а снизу (под них) подходит сачок, откуда, после демократической смены власти, обычно идут на судебное жарено те, которые злоупотребляли этой властью чересчур сильно. Генерал Колесников — одна из самых заметных рыб путинского садка — знает, что говорит: время уходит... Так что — оставайтесь, Владимир Владимирович, не подводите товарищей. Вам-то хорошо, у вас неприкосновенность, а вокруг чего начнется, соображаете?..

Впрочем, я думаю, Путин ориентируется в этой проблематике получше нашего — предметнее, так сказать. Да и не дадут расслабиться! Во время традиционной пресс-конференции в минувший четверг гарант раз, наверное, пятнадцать вынужден был отвечать на вопросы о две тысячи восьмом годе и своих планах на этот счет... Вот вы представляете, чтобы кого-нибудь в Америке интересовали планы Буша на 2009 год? А у нас — главный вопрос для всей страны!

Корреспондент НТВ Вл. Кондратьев: Владимир Владимирович, при Президенте Ельцине мы имели дело с практикой, когда тот то и дело называл своих будущих преемников. При Вашем правлении все наоборот — никаких имен до поры до времени, и все в растерянности и в догадках. <...> И хотелось бы узнать Ваше мнение, между какими политическими силами на этих выборах будет идти основная борьба и между какими политическими силами граждане России будут делать выбор?

Тут даже и ответ не важен, ей-богу! Вслушайтесь: журналист главной либеральной телекомпании интересуется у президента, на кого он нас, убогих, собирается оставить — и между какими политическими силами нам будет дозволено выбирать? Да и слово «выбор» тут — больше для демократического кружева... По простому-то говоря: кого нам выведут на крыльцо, когда надежда царь откинёт мандат: Шуйского-боярина или Басманова-воеводу? Медведева али Иванова накроют с ногами шапкой Мономаха? А то, может, и не отдаст он мандата на радость прокурору юстиции Колесни-

кову? Как-то, ей-богу, странно ответил Путин на вопрос корреспондента Рейтер о преемнике...

Корреспондент Рейтер: *«Когда Вы собираетесь все-таки — а Вы говорили, что Вы это, возможно, сделаете — указать на кандидата, который больше, на Ваш взгляд, соответствует должности следующего президента? <...> Может ли этот человек оказаться на высшем государственном посту?»*

В. Путин: *«Все, кому надо, уже на своих постах работают».*

М-да... Относится ли эта фраза только к Иванову и Медведеву или касается и самого Путина, — как говорится, будем посмотреть...

Венцом президентской искренности стал его разговор с журналисткой из Владивостока. Диалог «несравненного» с «несогласованной» — это было чудо что такое!

Журналистка: *«Здравствуйте, несравненный Владимир Владимирович! <...> Кто про что, а я про коррупцию опять. Я здесь несогласованная, как и мой вопрос. <...> Вы знаете, Вы только улетели недавно из Владивостока, а масса всяких референтов, помощников, бывшие сенаторы, депутаты-контрабандисты, бывшие вице-губернаторы, которые разворовали наш бюджет, — они уже делят эти сто миллиардов, которые правительство нам пообещало. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, — Вы же все знаете, все умеете — как Вы будете нас защищать от этих воров, бандитов? И хотя Вы говорите, что Вы работаете, а не правите, но, может быть, ввести во Владивостоке и в Приморье президентское правление?»*

Ах, милая! Вам еще путинской руки не хватает? А Дарькина-братка вам в губернаторы кто назначил? А Пуликовского-генерала кто прислал? Он самый, Несравненный ваш. И неужели там до сих пор коррупция? Ай-яй-яй. Ну, хоть, по крайней мере, теперь скажет, что делать, правда?

Путин: *«Другого наиболее эффективного способа борьбы с коррупцией, кроме развития гражданского общества и свободы средств массовой информации, — другого эффективного способа все-таки нет».*

О! Я так и знал. Божий человек, святой! И глаза честные.

В так называемом информационном меню, рассылаемом по средствам массовой информации, на понедельник 29 января было запланировано Заседание Совета Общественной палаты с повесткой дня: «о создании Госсовета по нравственному и творческому аудиту».

Знаете, когда я рассказал об этом своему другу, немолодому хорошему поэту, он мне даже не поверил, пока я ему документик не показал. Тут он поверил и среагировал очень болезненно. «Во гориллы», говорит. А я не согласен. Почему гориллы? Нормальные люди со здоровыми рефлексам. Новый Госсовет, новые места, сметы, аппарат, машины с флажками... Отличная идея! Я даже готов пойти к ним первым подопытным. Политолог Никонов пускай проведет мне творческий аудит, но уж нравственный аудит чур проведет Алина Кабаева! Я первый занял.

Реставрация «совка» в нашей песочнице идет полным ходом по всем направлениям. Вот вам еще, напоследок, маленький архитектурный сюжет.

Префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков заявил, что памятник Дзержинскому нужно вернуть на историческое место — на Лужанскую площадь. «Я негативно отношусь к тому, что памятник Дзер-

жизнскому снесен, хотя мне понятно состояние народа, который делал это, находясь в эйфории, — сказал Байдаков. — Я думаю, памятник лучше вернуть на место».

Трогательно звучит это «вернуть на место» — как строгий папа расшалившимся детям... Побаловались — и хорош! Ну, а что в 91-м мы были в эйфории, — это факт. Иначе вместе с памятником вынули бы из этой лубянской грядки и весь ихний корешок, чтобы он больше никогда не прос на всю Россию. Ну, ничего, в другой раз.

Счастья вам!

10.02.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Выразительная неделька кончается, я вам доложу! Головой этого не придумать, что само случается. Впрочем, мы тут привыкшие, и как сказано не мною, рождены, чтоб кафку сделать былью. Делаем помаленьку...

Начнем с новостей правосудия. Новостей там, строго говоря, с гулькинос — ничего нового, кроме масштабов...

Генпрокуратура России предъявила экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и главе группы МЕНАТЕП Плутону Лебеву новые обвинения — в хищении и легализации денежных средств. Общая сумма вменяемых хищений — около 25 млрд. долларов. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко назвала новые обвинения — «безумием».

Диагноз, поставленный адвокатом Кариной Москаленко, живо напомнил мне рассказ Эдгара По — в котором сумасшедшие захватили власть в психиатрической лечебнице, переоделись во врачебные халаты и начали мучить нормальных людей... Но по некотором размышлении я решил все-таки вступить за деятелей родимого правосудия: вот чего-чего, а безумия в их действиях нет.

Конечно, 25 миллиардов долларов хищения, вменяемых Ходорковскому и Лебеву — это больше не то что ЮКОСа, а всего состояния Абрамовича, и похитить такие деньги физически невозможно, как невозможно, не уходя в чистую математику, вычесть из меньшего большее... И разумеется, если схему налоговой оптимизации ЮКОСа, по которой предъявлены новые обвинения, считать преступной, то сажать надо и «Роснефть», и «Лукойл», и вообще всех по периметру... Все так! И все-таки — это не безумие. Безумием (с точки зрения Генпрокуратуры) было бы совсем другое... Безумием было бы пренебречь ясными знаками из-за зубчатой стены! А для тех, которые за зубчатой стеной, уже полным безумием было бы позволить Ходорковскому выйти на свободу до 2008 года. Ведь даже российские суды дают иногда сбой — ну, отказываются признавать нарушением режима чтение заключенными документов Минюста и хранение им двух лимонов в тумбочке! Не Северная Корея, еще пока... Значит, возможно досрочное освобождение после отбытия половины срока, а это уже вот-вот! Плюс Страсбург, куда пошло дело Ходорковского-Лебедева... А в Страсбурге нашу Фемиду будут таскать за путинские волосы и возить басманным лицом по европейской конституции — и что ж тогда, выпускать Михаила Борисовича под телекамеры, перед выборами?

Короче, новое уголовное дело для кремлевского спокойствия — что блендамед для зубов: специалисты рекомендуют! Признано целесообразным защитить человека в читинский мешок насовсем... А вы говорите: безумие... «Я так нормален, что сам удивляюсь», — как говорил один шварцевский персонаж, большая сволочь, между прочим.

Да уж. Вообще, в вопросах правосудия Россия, по мере укрепления своей фараонской вертикали, опрощается так, что никакому толстому не снилось... А уж ежели кто поперек Путина, с этими все совсем просто! С адвокатами ихними тоже никто цацкаться не намерен.

По словам адвоката Ходорковского Юрия Шмидта, его и трех его коллег, вылетавших в прошлое воскресенье в Читу, демонстративно, с особой тщательностью обыскали в аэропорту «Домодедово». Все происходило под надзором высокопоставленных чиновников силовых ведомств. У адвокатов отобрали документы, посадили под замок в милицию и продержали там до самого вылета самолета в Читу.

Все-таки, значит, пустили адвокатов к подзащитным? Совсем по-африкански, стало быть, еще стесняемся? — пока что, как в том анекдоте: не съем, так понадкусаю... Ну, хоть так... Но что в этой истории особенно приятно, так это численность бойцов невидимого фронта, милиции и прокуратуры! На трех адвокатов — толпа тружеников тыла! Досматриватели эти, специалисты по потрошению, какой-то толстый майор с видеокамерой, начальства, как собак... Приехали всей толпой в воскресенье в Домодедово — маршрут выходного дня! Трудится царева служба, аж ошейники трещат от удердя! Мо-лод-цы!

Трудятся не только в Москве и Подмосковье, разумеется. По мере сил и ума зажигают по всей стране... В Новороссийске давеча взяли с поличным девятирх членов благотворительной организации «Фрода» — они решили, вишь ты, средь бела дня попить чаю с двумя немецкими туристами! Ну, до баранок не дошло — сахарок размешать не успели, как в кабинет ворвались вооруженные офицеры ФСБ и провели задержание всей группы. Огромный успех! В Новороссийске с сорок четвертого года немцев живыми не брали! Справедливый суд не заставил себя ждать.

Благотворительная организация «Фрода» была оштрафована за нарушение закона об НПО. В суде было разъяснено, что «по новому закону на любую встречу двух и более человек с целью обсуждения общественно важных вопросов следует получать разрешение у местных властей за три дня до ее проведения».

Британская The Telegraph, рассказавшая об этой истории, назвала ее эхом сталинской эры, когда советским гражданам было запрещено иметь какой-либо контакт с иностранцами. Ну, англичане нам не указ, мы произошедшее в Новороссийске смело назовем торжеством законности! Работает новый закон об НПО, работает! Не зря президент старался, лично редактировал... Сероглазое наше эхо сталинской эры...

Продолжаем обзор простых и чудесных нравов нашей Родины. Нравы эти довольно неплохо унифицированы на безразмерных просторах, и чем именно ты мешаешь начальству, большого значения для грядущей плюхи не имеет...

По информации газеты «Ъ», в Озерском горсуде Московской области на процессе по уголовному делу бывшего лидера движения «Русское национальное единство» Александра Баркашова произошел скандал. Невропатолог Озерской центральной райбольницы Сергей Маникин, выступавший в суде в качестве свидетеля, рассказал, что его избili милиционеры, которых не устроил диагноз, поставленный им лидеру РНЕ.

Вот, привел меня господь вступаться за Баркашова... Чего только не бывает на свете! Тем не менее...

Год с лишком назад задержанного главу РНЕ привезли в райбольницу, поскольку тот жаловался на острые головные боли. И вышеупомянутый невропатолог Маникин поставил ему диагноз «черепно-мозговая травма». (Откуда у задержанных в России случаются черепно-мозговые травмы, даже не спрашивайте... видать, климат такой.) Диагноз Маникина ментам не понравился, поскольку они имели в планах поработать еще немного с задержанным Баркашовым, а с «черепно-мозговой» его следовало оставить в больнице. Тогда менты вывели доктора Маникина на улицу — для профилактической беседы. Но поскольку непонятливый доктор настаивал на диагнозе, они продолжили беседу вручную, и беседовали до тех пор, пока уже сам невропатолог не начал нуждаться в госпитализации... А Баркашова через пару часиков свели ко врачу попонятливей, и тот поставил ему диагноз полегче, и главу РНЕ увезли в изолятор для дальнейших — как это у них называется — процессуальных действий... В общем, поймали людоеда — и едят его живьем... Кровь, хрипы, торжество добра!

И вот что я вам скажу: Баркашов, конечно, не мать Тереза. Но милиция, которая так меня от него охраняет... — в этом, право, есть уже что-то кафкианское. А впрочем, повторяю: нам не привыкать!

Аналогичный способ борьбы со злом проходит апробацию и на армейских просторах. Только там, в силу специфики, строевое людоедство аккуратно описывается суконным языком инструкции. Мать одного солдата-кавказца, служащего в Алтайском крае, переслала в журнал «Коммерсантъ-Власть» инструкцию по борьбе с «дедовщиной». Дело происходит в 11-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты, и уж не знаю как бригада, а инструкция эта — действительно что-то отдельное! При обнаружении фактов дедовщины неизвестный автор инструкции, явно армейский практик, рекомендует проводить со старшим призывом «занятия до посинения» или посылать всех старослужащих «на земляные работы большого объема и желательно в ночное время». Далее следуют подробности офицерской работы с «лицами кавказской национальности». К ним, согласно инструкции, следует применять «жесткий прессинг», а лидеров «опускать при любом удобном случае». В случае употребления старослужащими спиртных напитков командирам надлежит проводить следующие мероприятия: «фотографирование в самых скотских позах для помещения фотографии в стенгазету и отправки родителям» и «промывание желудка два-три ведра и постановка клизмы (в присутствии солдат старшего призыва)».

Ах, где вы, Ярослав Гашек? Почему не дожили до этой фразы? Целиком бы ее в «Швейка» — без единого шва! Но согласитесь — как много общего

с баркашовским случаем! Одна технология: борьба с проказой путем прививки рака четвертой степени...

Теперь — некоторые исторические хроники... Так сказать, дела давно минувших дней...

Член парламентской комиссии по Беслану, член КПРФ Юрий Иванов обвинил президента России Владимира Путина в том, что он лично отдал распоряжение начать обстрел здания бесланской школы из гранатометов, сообщает агентство Associated Press. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление, сказав только, что «выводы парламентской комиссии были серьезными и беспристрастными».

Главное умение для профессионального политика — все делать вовремя. Коммунист Иванов работал в парламентской комиссии почти два года, и все свидетельства имел на руках давным-давно, а интервью он дал только сейчас, к началу предвыборных баталий! Пора, стало быть, в оппозицию...

Ну, а главное умение для работы «представителем Кремля» — во все времена — умение не краснеть. Их там так и отбирают в отделе кадров. Соврал — покраснел — или глаза отвел от неловкости — все, профнепригодность! Равнение на президента! «Она утонула» — и светлый взгляд на собеседника... Что же до торшинской комиссии, то серьезности в ее выводах было столько же, сколько беспристрастности... Вот и не услышал Торшин многочисленных показаний о том, что первый взрыв в заминированной школе был следствием залпа снаружи; вот и не заинтересовался совпадением даты штурма с возможным приездом Масхадова, вот и не спросил генерала ФСБ Проничева, чья группа работала автономно и, как выясняется, поддерживала тайную от остальных членов штаба телефонную связь с Москвой, — кто именно дал ему отмашку на начало операции? Ни-че-го. Только беспристрастно повторили выводы устиновской Генпрокуратуры, беспристрастной до такой степени, что улики вывозили с места события грузовиками, чтобы поскорее уничтожить!

Ну что же: стало быть, подождем две тысячи девятого года... или две тысячи девятнадцатого... когда-нибудь все эти вопросы зададут, конечно, — и Проничеву, и Путину... Они люди нестарые, дай им бог здоровья — доживут! Пиночету вон только ближе к девяноста вопросы начали задавать, так что торопиться некуда...

Ну, а пока... Обыски адвокатов, взаимный беспредел в армии, полууголовная милиция, президент, откупающийся от личного политического поражения стрельбой по детям... Нет ли тут какой-нибудь точки приложения сил для лучших людей нашей страны, для ее совести, для членов Общественной палаты? Вы угадали: есть точка приложения сил. Они ее нашли!

Член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена предложил создать организацию, которая займется мониторингом свободы слова и соблюдения прав человека на Западе. «Мы привыкли, что в основном критикуют только Россию и указывают на недостатки в нашей стране. А почему бы не проводить замеры по проблеме прав человека и основных свобод в США и Европе?»

Правильным путем идете, Анатолий Григорьевич! У них же негров линчуют. Нам ли не знать? Или уже не линчуют? Неважно, что-нибудь надбыва-

ем. Зря я, что ли, за свободу Анжелы Дэвис полдетства проболелся! А Леонард Пелтиер? Нешто рефлексy пропади? Не-ет... Щас мы им отольем прав человека из своих запасов, они мигом про Ходорковского забудут. А впрочем, если и не забудут, — главное, чтобы про него здесь не вспоминали. Так что валяйте, господин Кучерена, про ужасы западной демократии. Мы мысленно с вами!

Теперь — новости политической жизни. Она, как уже сказано, входит помаленьку в предвыборное пике.

Партия «Единая Россия» запускает общественную дискуссию «Русский проект», задача которой — привлечь голоса националистов на предстоящих выборах в Госдуму. Руководить проектом будет бывший телеведущий Иван Демидов. Как считает газета «Ведомости», к борьбе за симпатии националистов могут подключиться коммунисты и мионовская «Справедливая Россия».

Вот же, действительно, коллизия... Рогозинскую партию «Родина», выведенную в кремлевской колбе, из Кремля же и присыпали дустом, но микроб уже пошел гулять по стране: народ возбудили русским вопросом не на шутку! Теперь хорошо бы переварить этот неоприходованный, озабоченный собственной «русскостью» электорат своими силами! А на сладкий гниловатый запах лишних 5-7 % голосов тут же набежало, конечно, со всех сторон на халяву, как в саванне, разных ребят с сильными челюстями — тут тебе и Мионов, и Зюганов... И до декабря порвут они и переварят «националистический» сектор так, что шкурки не останется! Озадаченный результатами собственных экспериментов, Кремль тоже решил поучаствовать, и вот это вещь относительно новая! Конечно, в кремлевские палаты и Дугин похаживал, и черт знает еще кого там приватно ни ласкали, — но чтобы вот так, в открытую?

Глава «Русского проекта» Иван Демидов заявил о намерении организовать общественную дискуссию о понятии «русская нация», о соотношении «рускости» и православия и о национальной идентичности в условиях глобализации. Демидов заявил также о необходимости вернуть правильное понимание словам «русский» и «национализм».

Что-то у меня от ваниного похода в теорию в голове слиплось... Кажется, ни у французов, ни у японцев проблем с идентичностью до сих пор не возникало — как-то они себя от других отличают, и глобализация им не помеха! И православие тут — пришей кобыле хвост: несть, Ваня, в христианстве ни элина, ни иудея, а «русскость» там вообще не при чем. Ты почитай, Ваня, все опубликовано! А вот с «национализмом», Ваня, надо совсем осторожно... Отгитарить этого кобеля добела ты взялся не первый, только пустое это все... Тут как в анекдоте: что ни собирай, а получишь пулемет. Начнется с Нибелунгов, Ваня — кончится Освенцимом, это проверено как таблица умножения, не стоит проверять на себе еще раз! Но хочется, хочется проверить...

По сообщениям СМИ, в ходе обсуждения так называемого Русского проекта член Общественной палаты Алексей Чадаев заявил, что в наше время необходимы «профессиональные русские».

Ну что же, если приличной профессии нет, можно и в «профессиональные русские» податься — дорожка-то, повторяю, протоптанная, не мы пер-

вые, не мы последние. В Германии когда-то жили-были немцы-дилетанты: Альберт Эйнштейн, Томас Манн... А потом потихоньку образовались вокруг них немцы-профессионалы, и дилетантам пришлось бежать с Родины... Когда профессионалы угробили полмира, главных из них наконец повесили и уж думали — всё с этой профессией. Ан нет! То профессиональный серб Милошевич начнет раскачивать Балканы Великой Сербией, то Уго Чавес — Латинскую Америку — Великой Колумбией... Мы, по всему судя, решили не отставать. Кстати, Алексей Чадаев этот (автор идеи о «профессиональных русских»), год назад написал предусмотрительную книгу об идеологии Путина: она и выдвинула юношу в видные палатные общественники. Так что его интуиции можно доверять, курс юноша чувствует верно. Стало быть — переходим в профессионалы?

Теперь коротко — о делах внешнеполитических. На минувшей неделе с легкостью необычайной решился грузинский вопрос.

В Тбилиси прошла первая после возвращения видеоконференция посла России в Грузии Вячеслава Коваленко. Дипломат объяснил проблемы в выдаче российских виз грузинским гражданам «рядом чисто технических вопросов». «Технической проблемой» назвал Коваленко и вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами.

О как. Еще, кажется, вчера российский президент, сидя в Сочи, готовился лично отражать удары грузинской военщины; еще вчера мы перекрывали границы, устраивали облавы на людей с неправильными фамилиями и доводили их до смерти в спецприемниках, а нынче — погляди в окно! «Технические проблемы!» Эта версия звучит особенно трогательно в свете истории с выдачей российских паспортов жителям Абхазии. Господин посол заявил, что это было «*продиктовано гуманитарными целями*». Стало быть, выдать сотням граждан Грузии российские визы «технически проблемно», а выдать тысячам граждан Грузии российские паспорта — никаких проблем! Гуманитарный аспект превыше всего! Я прям шас разрыдаюсь от ихнего технического гуманизма...

Теперь — внутренняя политика. То есть, какая там политика... так, пиаровские гульки по телеэкранам. Все как обычно...

Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки обсудил с преподавателям Псковского сельскохозяйственного техникума проблемы подготовки кадров для села и обратил внимание на то, что большинство имеющейся в техникуме техники давно устарело. «Надо переоснащаться», — подчеркнул Медведев. Как сообщает РИА-Новости, «представители министерства сельского хозяйства, сопровождавшие первого вице-премьера, пообещали, что в техникум будет поставлена новая техника».

Обнадеживающая весть! С Псковским сельскохозяйственным, считай, проблему решили! Осталась сушая ерунда — еще около четырех тысяч российских профтехучилищ и две с половиной тысячи техникумов. Кажется, медведевская жизнь начинает наполняться смыслом... Чтoб Вам везде поездить, Дмитрий Анатольевич!

И напоследок — уже дежурное сообщение по эскалатору. Ну, вроде как: стойте справа, проходите слева, держитесь за поручень... Ничего нового.

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового органа по борьбе с коррупцией — межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по борьбе с коррупцией. Группу возглавит помощник президента Виктор Иванов.

Ну что же, жизнь продолжается... Путин борется с коррупцией, а она растет. Он еще поборется, а она еще наверх. Путин ее каленым железом в президентском послании, а она еще выше... Путин ее за горло на встрече с силовиками, а она, падла, прям зашкаливает... Причем прямо там, в силовых органах, и зашкаливает... Прямо возле гаранта! Но не тот человек гарант, чтобы сдаваться! — себя не шадит, новый указ подписал... Сейчас еще один орган создадут... еще один Иванов на поверхность вылезет... Бедная коррупция, что ж с ней теперь будет?

Счастья вам!

24.02.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная неделя обнаружила классические пропорции, но не в микеланджеловском, а в нашем отечественном смысле: очень гармонично распределились в ней бюджетное воровство, державная пошлость, полицейское хамство и номенклатурный идиотизм. Ну, обо всем по порядку.

В первых словах — мои поздравления всем нам и особенно народу Чечни по случаю окончательного прихода к власти наследного принца Рамзана. Он и раньше рулил без особых проблем, но милиционер-президент Алханов все же немного мешался под ногами... Теперь Кадыров обеспечит народу такие светлые времена, что глазам больно заранее! Конечно, грандиозные планы по превращению черной чеченской дыры в цветущий туристический край, озвученные главой кавказских нью-васюков в его тронной речи, требуют денег, — но видный экономист Кадыров уже знает, откуда их взять!

На «круглом столе», посвященном стратегии чеченского восстановления, Рамзан Кадыров заявил о готовности отказаться от договора о разграничении полномочий с Москвой в обмен на контроль за средствами, полученными от добычи чеченской нефти.

Ну что сказать? Ломоносов был самородок, но по сравнению с Рамзаном Кадыровым это детский лепет. Без академиев, с лесной школой за плечами, а как про нефть сообразил, а?

Масхадов, помнится, с Хасавюрта все вел речь как раз о разграничении полномочий... политические соображения в голове держал, наивный человек... Ну, мы его сначала кинули в лучших традициях бизнеса девяностых, а потом, в лучших традициях новых путинских времен, просто замочили... Забыли взять живым, чтобы он на суде лишнего не рассказал. А Кадырову разграничение полномочий даром не нужно! Он Москву любит, а за Путиным вообще горло порвет! Да и как Кадырову за Путина горло не порвать, когда он под этой «крышей» пятый год в субъекте Российской Федерации работает исполняющим обязанности аллаха: хочет карает, хочет милует, берет, дает... Но сильные чувства истощают душу — и вот для поддержания любви на должном уровне Рамзану нужны теперь двадцать миллиардов в год с чеченской нефтедобычи...

А впрочем, и до этих новых миллиардов нынешний глава Чечни поража́л воображение своими организационными талантами. В республике с повальной безработицей и разворованными сметами на восстановление, Рамзан Ахмадович, как сообщают СМИ, *«при поддержке Кремля сумел привлечь инвестиции чеченских предпринимателей»*. Живо представляю себе этот процесс. Дзынь! Алло, это Рамзан. Слушай, мне тут Владимир Владимирович твой телефончик дал — говорит, ты хочешь дать денег на восстановление родной республики... Говорит, двадцать миллионов хочешь дать... Это правда — или Владимир Владимирович врет? Тогда мои ребятки к тебе подъедут... И лучше «налом», дорогой, зачем нам формальности? Боюсь фантазировать дальше — насчет организационных усилий в отношении тех, кто не понял с первого раза. Боюсь гадать и о связи этой технологии восстановительных работ с возросшей кредитоспособностью самого Кадырова.

Как пишет газета «Время Новостей», альтернативой федеральным ассигнованиям на восстановление Чечни, стали, в частности, собственные капиталовложения Рамзана Кадырова, происхождение которых, как замечает газета, «обсуждать не принято».

Ну да. Что город, то норов, как говорит пословица. В Лондоне не принято крышевать бизнесы; в Москве не принято обсуждать происхождение чиновничьих капиталов... Не будем нарушать местных обычаев. Порадуемся лучше этому уникальному филантропическому случаю: человек восстанавливает республику практически на свои! И ведь мог бы, кажется, возгордиться, но нет: как был простым человеком, так и остался; я бы сказал, проще некуда. Сам недавно так и сформулировал: *«Некоторые, — говорит, — называют меня бандитом, некоторые — хозяйственником, некоторые — строителем. А я — простой Рамзан!»*

Ну, тут дело такое... как выражаются умники, амбивалентное. По-русски говоря: бабушка надвое сказала! Думаю: лучшее, что может сделать для любого человека восточный властитель — это как раз о нем забыть. Ибо многие, о ком эти хозяева жизни вспоминают, быстро перестают жить, а оставшиеся в живых потом долго ищут справедливости...

В Пресненском суде Москвы завершилось рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к министерству обороны России. Представитель министерства заявил, что «документальные подтверждения» «зачистки», проведенной бойцами спецназа ГРУ «Восток» летом 2005 года, «в суде не были представлены». Суд согласился с ответчиком и в иске жителям Бороздиновской отказал.

В той станице, в порядке кровной мести, навели порядок бойцы другого нынешнего владыки Кавказа — Сулима Ямадаева, Героя России и брата депутата Госдумы России. Подвиги у этого Героя, как у Геракла, причем большая часть их еще не описана в судебном эпосе (все впереди). А на минувшей неделе Герой России, вместе с группой своих боевых чеченских товарищей, проходил еще и по делу о рейде на петербургский мясоперерабатывающий завод «Самсон». Они там отловили директора, перешедшего им дорогу по бизнесу, тоже чеченца, и долго били его, как сказано в деле, *«руками и ногами, рукоятками пистолетов и клюшкой для гольфа»*. После чего директор, разумеется, подписал все бумаги, которые перед ним поло-

жили. Ничего личного: чисто бизнес! Уходя из кабинета, офицеры батальона ГРУ Минобороны прихватили пару ценных вещей, директорский бумажник и горсть ручек «паркер». Тяга к литературному труду прорезалась: мемуары писать будут... Ну, мемуары — это позже, а пока что история с налетом Героя России на мясной завод получила принципиальную оценку законодателей!

Депутат Госдумы Руслан Ямадаев заявил, что кампания по дискредитации его брата, командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева организована и проплачена его врагами. Уверенность в невиновности Ямадаева выразил и другой депутат от «Единой России» — Франц Клинецвич. *«Возглавив батальон «Восток», Сулим стал очень сдержанным как в высказываниях, так и в поступках»*, — заявил Клинецвич.

Реплика Клинецвича добавила обаяния портрету: стало быть, на заводе «Самсон» и особенно в станице Бороздиновская — это Ямадаев так себя сдерживал... Представляете, как он жил раньше, до того как начал сдерживаться? А биография у Сулима обширная — так сказать, этапы большого пути из бандитов в Герои России.... Это дорогого стоит. Вот бы одним глазом посмотреть, пока оба не выдавили!

В общем: в чеченской станице или на берегах Невы, — кавказский порядок, подкрепленный московским правосудием, наполняет душу покоем и уверенностью в завтрашнем дне... Избитый клюшкой для гольфа директор завода от правосудия, кажется, уже отказался сам, а насчет жителей Бороздиновской — даже непонятно, на что они рассчитывали, идя в Пресненский суд... Ну, пожгли у них дома, избили среди бела дня сорок человек, двоих убили, одиннадцать увезли в неизвестном направлении — где ж суду взять документальные подтверждения всего этого? Нельзя требовать от Фемиды невозможного, она у нас честная, работает в повязке на глазах, то есть наощупь. Пошупала истцов — голь перекатная; пошупала ответчика, а там — боже святой! — звезда Героя России; пошупала вокруг звезды, а там мордовороты вооруженные, из ГРУ Минобороны, и брат, депутат от «Единой России»! От таких тактильных ощущений руки у правосудия, разумеется, слабеют, и доказательства вины из них выпадают немедленно...

Но, слава богу, — когда речь заходит о классово чуждых элементах, у правосудия обнаруживается железная хватка! Любо-дорого смотреть. Находят доказательства там, где не то что доказательств — вообще ничего не было! Материализуют обвинение из воздуха, как джинна. Потрут сбоку волшебный кремлевский кувшинчик, и вылезет оттуда то прокурор Шохин, то судья Колесникова: слушаю и повинюсь! И вот тебе и статья, и срок, и новое уголовное дело. Ну, и конечно, в рамках этого нового дела все происходит уже совершенно волшебным образом...

Например: сначала адвокатам Ходорковского и Лебедева сообщают, что следственные действия по новому делу продлены до третьего марта; когда же они из Читинского СИЗО перебираются в Москву и Петербург, там их ждет факс из Генеральной прокуратуры о том, что предъявление обвинения их подзащитным состоится назавтра, причем, в субботу, причем, разумеется, в Чите... А? Как вам? По-моему, очень остроумно! А адвокат Шмидт — совсем без чувства юмора оказался: это говорит, уже не нарушение закона,

а просто издевательство! — и ну тормошить общественность, и ну приводить статьи УПК, по которым прокуратура не имеет права ни назначать предъявление обвинения в субботу, ни вообще на следующий день, ни тем более за тысячи километров от места юрисдикции... Как будто прокуратура у нас для того существует, чтобы исполнять законы! И как будто общественности еще не все до лампочки, кроме шоу Малахова! Смешной человек этот Шмидт...

Ну, а по части издеательства надо всем, что пахнет ЮКОСом, Генпрокуратура работает теперь в острой конкуренции с Верховным судом...

Верховный суд России удовлетворил протест Генеральной прокуратуры на приговор в отношении бывшего главы службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина, осужденного на 24 года по обвинению в убийствах и организации убийств. Обвинение посчитало этот приговор слишком мягким, сообщают РИА-Новости.

Совершал ли Пичугин убийства, которые ему приписываются, — не знаю. В принципе, такое выясняют в суде, но по делу Пичугина вместо суда случилось цирковое представление, — правда, почему-то без зрителей, а совершенно засекреченное. Клоунов-присяжных на это представление привозили автобусом из прокуратуры (после того, как первый состав присяжных был распущен за тяготение к оправдательному приговору, иначе было нельзя). Так что убивал ли Пичугин — ей-богу, не знаю. Но прокурорская мысль о том, что 24 года тюремного заключения могут быть слишком мягким приговором, вызывает восторг сама по себе! А когда с этой мыслью соглашается Верховный суд, хочется уже сдать билет, чтобы больше не видеть этого шоу никогда.

Теперь, не отходя далеко от манеры российского правосудия, поговорим о новостях российской культуры — в самом широком смысле этого слова...

Работы петербургского фотохудожника Ивана Ушкова сняты с его первой столичной выставки, проходящей в настоящее время в Центральном доме художника. Причиной скандала стала серия «Welcome to Russia», которую представители выставочного комитета признали не соответствующей имиджу России.

Вот так и выясняются важные вещи! Стало быть, у России есть правильный имидж! Хранится где-то... в Георгиевском зале, или дома у Ястржембского... как эталон метра в Париже. И специально обученные люди строго следят за порядком в этой области. И ежели полученное с натуры изображение не совпадает с высочайше утвержденным имиджем, — изображение запрещают. Ну, и правильно: не менять же натуру! Натура — она у нас уж какая есть. И в свойства этой натуры входит закоренелая привычка чуть что винтить всех, кто выпадает из шеренги официально утвержденного патриотизма. «Заведомо ложные измышления», «клевета на советский строй», нешто мы забыли? За это сроки давали, а не то что выставку заколачивали!

Впрочем, мы на верном пути: к фотографу Ушкову уже приходили люди в штатском. Без лишних формальностей вроде ордера они обшмонали его мастерскую и изъяли компьютер с дисками. Особенно заинтересовала пришедших фотография под названием «Единая Россия», на которой был изоб-

ражен некто с козлиными копытами. Эта работа произвела на людей в штатском такое сильное эстетическое впечатление, что они тут же отвели художника для дачи показаний в отдел по борьбе, заметьте, с экономическими преступлениями, где (заодно, до кучи) выяснилось, что Ушков разжигает национальную рознь и пропагандирует фашизм. В общем, сейчас его научат Родину любить. За козла ответит. Welcome to Russia!

Теперь заглянем в новости социологии. Хотя это уже давно никакая не новость...

Половина россиян не готова выбирать президента в 2008 году, а 38% ждут предложений Путина по этому поводу — таковы результаты последних опросов «Левада-центра». Среди достоинств нынешнего президента россияне называют энергичность, образованность, интеллигентность, ум и талант. На просьбу охарактеризовать людей из окружения Путина, большинство либо назвало их «серыми» и пассивными, либо затруднились с ответом.

Ну да. В общем, он такой талантливый, что окружил себя серыми и пассивными... В чем и состоит главный талант. Нет, правда: это ведь тоже надо уметь! Вытоптать всех, кто ярче тебя, и заполнить номенклатурное пространство полной безнадегой, чтобы твой унылый колор заиграл всеми цветами радуги... Так и сияет надежда наша, Владимир Владимирович: умный возле Миронова, интеллигентный на фоне Иванова...

И напоследок — об огромном интеллектуальном прорыве, случившемся в минувший вторник. Дело касается борьбы с коррупцией. Власть ужасно озабочена этим делом и давно со страшными криками бьет сама себя по рукам, но ничего не помогает. И вот на помощь ей пришла Общественная палата.

Главное препятствие развитию России — это коррупция. К такому выводу пришли авторы доклада Общественной Палаты. По словам председателя подкомиссии Палаты по проблемам противодействия коррупции Андрея Пржездомского, это явление «охватывает все поры государственного организма и общества».

Представляете, охватывает все поры! Ужас! Что же теперь делать? Ну, первым делом, конечно, создать комиссию и подкомиссию, что и было сделано Общественной палатой! Подкомиссия изучила мнения экспертов и членов других комиссий и подкомиссий, — и передала в Кремль свои рекомендации. Там на двадцати семи страницах подробно описана технология борьбы с этим страшным злом — сплошные ноу-хау, например «*в большей степени задействовать общественный механизм.*» О! Ну, теперь, когда пути борьбы с коррупцией прояснены, и умственные силы Общественной палаты освободились для дальнейшего служения обществу, я предлагаю срочно создать там специальный совет по доказательству таблицы умножения, и на новых двадцати семи страницах исследовать, каким образом дважды два получается четыре. А когда прояснится и с математикой, уполномочить главу палаты физика Велихова по старой памяти вывести еще разок закон Ньютона. Посадить его под яблоней, на яблоню посадить адвоката Кучерену, и чтобы Кучерена падал на голову Велихову, а председатель подкомиссии Пржездомский записывал результаты... В общем, у них впереди много славных дел.

Счастья вам!

03.03.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, минувшая неделька снова дала основания для гордости за наши победы. Ну, обо всем по порядку.

А ждут нас победы на непростых дорогах управляемой демократии! И прежде всего, в области науки... или искусства. Мы уже выдавали на-гора сто десять процентов голосования за Путина — наука это или искусство, считайте как хотите, только останавливаться на достигнутом мы не собираемся! На минувшей неделе пресса прославила новые рекорды, только что побитые российскими избиркомами в ожесточенной борьбе с теорией вероятности. Побитые, можно сказать, в кровь!

Состоялись жеребьевки, определившие порядок партий в избирательных листах для голосования на областных выборах 11 марта. В восьми из четырнадцати регионов первое место в списках досталось партии «Единая Россия». Как сообщает журнал The New Times, вероятность подобного события составляет примерно один к пяти тысячам. «С точки зрения теории вероятности это практически невозможно», — заявил один из математиков в Российской Академии Наук.

Нет, ну вот же: ученый, а ни черта не соображает! Да как же невозможно, когда вот оно, уже случилось и зафиксировано! Один к пяти тысячам — ну и что? Просто везет лучшим, особенно в России. Конечно, в стране какой-нибудь неуправляемой демократии за такую математику посадили бы организаторов — безо всякой теории вероятности, сто процентов посадили бы! А у нас — честь и слава стахановцам-вешняковцам! И нечего рассуждать в журналах про охлажденные шарики, меченые конверты и прочие цирковые премудрости. Это все выбор народа! — включая охлажденные шарики.

Областные выборы — это только начало новейших чудес. Скоро начнется настоящий копперфильд... На горизонте уже маячит смена персонала на Охотном ряду, и под это дело на глазах у почтенной публики совершаются поразительные превращения! Сергей Миронов, начинавший политическую карьеру с защиты выхухоля и пару лет тихим городским сумасшедшим бродивший по обочине политического процесса, за хорошее поведение получил от Кремля разрешение на прогулки по всему левому флангу, вошел во вкус — и вдруг обнаружил в себе страшного социалиста! Кто бы мог подумать?

Спикер Миронов: «Только социалистическая идеология и социалистическая идея объединяет людей. И назвавшись партией защиты человека труда, мы безусловно исповедуем социалистические идеалы».

Социалистические идеалы — это, братцы, полбеда, это и в Швеции случается, но дальше спикер заспикал такое, что Анпилову впору разрываться от зависти!

Выступая на съезде партии «Справедливая Россия», Миронов призвал установить контроль над крупным капиталом, чтобы не допускать чрезмерного обогащения отдельных россиян, а также «*зафиксировать народную собственность в ценных бумагах, отдав их тем, кого государство ограбило в 1991 году*».

Вот тебе и выхухоль. Это уже «банду Ельцина под суд», практически! Ну, или — не Ельцина... Кстати! Можно, конечно, предположить, что, говоря

про «чрезмерное обогащение отдельных россиян», бесстрашный Миронов имел в виду группу питерских чекистов во главе с Сечиным, — но нервничать почему-то начали совсем другие.

Олег Дерипаска опроверг сообщения о том, что стал самым богатым человеком России. В интервью газете «Гардиан» он назвал «ошибкой» данные российского еженедельника «Финанс» о том, что его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Как отмечает издание, Дерипаска затруднился назвать точные размеры своего состояния, однако, по его словам, оно примерно вдвое меньше. «Я знаю с десяток людей в России богаче меня», — заявил Дерипаска.

Деньги, как известно, идут к деньгам. И титул первого миллиардера страны (даже и возникший по ошибке журналистов), должен был бы тихо радовать этого счастливица к неистовой злобе и зависти десятка остальных. Это они бы должны требовать опровержений и кричать на всех углах: нет, мы богаче! Представляете: Билла Гейтса отодвинули бы с первой строчки, как отодвинули Абрамовича! Да он сгноил бы тот журнал за моральный ущерб и упущенную выгоду — костей бы не собрали! Но мы в России, и скоро выборы... Поэтому самый богатый радостно помалкивает, а на миру в страшном волнении мечется тот, которого объявили богатым по ошибке и страшным голосом кричит: не я это, братцы, не я, — они самые богаче! Ну да. Перед выборами в России главное дело — не оказаться богатеем, которого выволокут на крыльцо и бросят народу с криком: вот он, кровопивец, вот он, из-за которого вы сидите тут без порток на холодке! А если он еще еврей, то народу вообще счастье. В прошлый раз Ходорковского показательно растерзали — всем сразу полегчало, не правда ли? А «ходорковские» деньги попилили промеж собой те, которые на него громче всех указывали. Теперь им бы желательно остаться втихаря у власти, а тут, как назло, снова выборы, и хошь-не-хошь, требуется следующий объект для указательного пальца. Вот Дерипаска, хоть и не еврей, а нервничает...

Но вернемся к предвыборным баталиям... Нежданная активность спикера Миронова давно злила коллегу Грызлова, которому, по кремлевской доверенности, выдали правую половину поляны. Но обидные слова про ЕдРо, сказанные на съезде... а Миронов назвал Грызлова... нет, не желтым земляным червяком... как-то иначе, но все равно очень обидно, — короче, все это переполнило чашу терпения, и Грызлов сквозь зубы пообещал, что у Миронова могут случиться проблемы с переизбранием в Питере... И не быть ему спикером, и шиш с маслом, а не ресурс на выборах в Госдуму... Миронов завыл и побежал жаловаться Матвиенке. Короче, маленькие подрались. Сейчас в детскую придет папа и всех нашьлепает.

Ужас-ужас. А ведь еще недавно все было так хорошо, так ясно! Все знали, что папа любит Бюро. А теперь выясняется — то ли он любит еще и Сережу впридачу, то ли уже обоих видит в гробу... А в декабре-то раздача сладкого на Охотном ряду, и обстановка в детской нервная: маленькие не понимают, кто из них любимый папин лапусик, и догадываются, что на всех сладкого может не хватить. Удрать бы им из детской, да запузырить напоследок угогом по папиным вертикальным сервизам, но опасно: папа может рассердиться, как рассердился на Димку Рогозина — и вообще прогнать из

кремлевской спальни... Вот и мутузят Боря с Сережкой друг дружку, на потеху дворне. Ай да молодцы!

Кстати, кто там у нас еще, в детской; нет ли новеньких? Есть! Ну, может, не совсем новенькие, но зато со свеженашитым на пижамку новым названием.

Партия «Свободная Россия», которую эксперты давно называли основой для нового кремлевского «правого» проекта, на минувшей неделе сменила название. Как сообщил на пресс-конференции председатель Высшего совета партии Михаил Барщевский, отныне партия будет называться «Гражданская сила».

В своем предыдущем воплощении эта «Свободная Россия» запомнилась россиянам не слишком. Попросту говоря, ничем и не запомнилась, кроме того, что по наводке Кремля утянула брэнд у Хакамады, а потом, во время московских выборов, изо всех сил мочила Явлинского. Других гражданских подвигов за этим сурковским гомункулюсом не припоминаю. Но «Свободная Россия» — дело прошлое; теперь — совсем другое дело!

Барщевский: Считаю, что «Гражданская сила» более точное, более энергичное название. И главное: оно делает ударение, на то, что нам нужно гражданское общество. И гражданская сила — это та сила, которая должна управлять государством. <...> И об этом очень хочется напомнить власти.

Это был адвокат Барщевский, полпред правительства России в высших судебных инстанциях и, с недавних пор, по совместительству, глава новой партии. В общем, вы все поняли. Сейчас она обрушится на российскую бюрократию, эта гражданская сила из фрадковского аппарата! Вот прямо с минуты на минуту и обрушится... Подождем. (Пауза). Еще не обрушилась? Ну, тогда наверное, кто-нибудь другой из них проявит гражданскую силу... В прессе уже опубликован состав Высшего совета партии, там общественных деятелей выше крыши, и один гражданственнее другого... Я думаю, например, Мария Арбатова завтра потребует открытого расследования обстоятельств детоубийства в Беслане... Или Валдис Пельш, выступая на Первом канале, призовет прекратить судебный беспредел в деле Ходорковского-Лебедева... А может быть, их обоих опередит гендиректор компании «Трансстрой» Ефим Басин — и со всей гражданской силы вдарит по питерским чекистам, «закрышевавшим» весь бизнес в России... В любом случае, это будет нечто невиданное! С нетерпением ждем. М-да. Одно немного смущает — эмблема этой новой партии. На ней, по словам Барщевского, предполагается изобразить подсолнух. Это, я думаю, по неосторожности подсознание сработало, выдав глубокое природное стремление этой гражданской силы поворачиваться за солнцем. Куда солнце наше, Владимир Владимирович, туда и они... А впрочем, все это, конечно, семечки!

Теперь — один математический сюжет из жизни элиты. Точнее — из жизни двух элит... Жил да был сенатор от Башкирии по фамилии Измestьев. Жил он и был он, как и полагается сенатору от Башкирии или откуда-нибудь еще, — на Рублево-Успенском шоссе, и ни в чем себе не отказывал (включая заказные убийства, как утверждают теперь компетентные органы). Но до поры до времени заказные убийства никому не мешали, а мешали фейерверки, которыми Измestьев, как шекспировский король Клав-

дий, отмечал тосты во время пикников на своем двухгектарном участке. И мешали эти фейерверки не кому-нибудь, а главе ФСБ Патрушеву, живущему на симметричной дачке напротив. Куда, по слухам, время от времени приезжал отдыхать от дел праведных и лично Владимир Владимирович. Короче, к Измествьеву пришли из Федеральной Службы Охраны и добром попросили продать дачку за десять «лимонов» долларов.

И вот тут обнаружилось, что сенатор отстал от жизни. Застрял в девятых со своими фейерверками. Вместо того, чтобы изобразить на лице счастье от возможности порадовать любимого президента и его доблестным опричников, Измествьев растопырил по старинке пальцы и назначил за свое имение сорок пять «лимонов», причем евро. Ну, ему, в порядке педагогики, и начали пальцы отламывать. И вместо десяти миллионов долларов, совершенно бесплатно, получил Измествьев в гости Митволя из Росприроднадзора — и теперь измествьевскую дачку (полторы тысячи квадратных метров) сносят как чрезвычайно вредную для экологии, а сам сенатор сидит наконец в СИЗО по обвинению в заказных убийствах... Раскрылись глаза у правосудия, аж до базедовой болезни. Вы спросите: почему этот сюжет — математический? Так минус на минус — все-таки иногда равняется плюсу...

По какому поводу начали отламывать пальцы на другом конце страны другому крутому представителю народоласти, — пока загадка.

По сообщениям СМИ, на минувшей неделе закончилась двухнедельная прокурорская проверка администрации Владивостока. Ее результатом стало открытие уголовного дела в отношении мэра города Николаева. Его подозревают «в злоупотреблении полномочиями».

Инкриминируют мэру Николаеву страшное: он, оказывается, содержал на бюджетные деньги личную охрану, нецелевым образом поддерживал команду по спидвею и за счет подставных фирм летал с семьей в Сеул. Все это, я вам скажу, было бы очень нехорошо для репутации папы Римского и могло бы существенно дискредитировать главу любого швейцарского кантона. Но мэр Николаев!.. Как бы мягче сказать... В общем, он давным-давно, до всякого спидвея и Сеула, привлекал внимание правоохранительных органов. И с обликом нынешнего градоначальника — анфас и профиль — милиция была знакома задолго до его предвыборной кампании... И статус его был более или менее известен следователям.

Следователь про мэра: «особых примет нет. Статус: лидер формирования. Клички: «Винни-Пух», «Вова-Колбасник», «Анаболитик», «Анаболук»...

В общем, кажется, пчелы что-то подозревают... И даже знают наверняка. Но жужжать начинают, по неизвестно чьей отмашке, вдруг и раз в десять лет, и не про богатую биографию Николаева (кличку «Колбасник» в среде братков, согласитесь, надо заслужить), а про нецелевую поддержку спидвея и прочую ерунду. А из какого темного леса взялся и к кому ходил в гости по утрам с начала девяностых этот «Винни-Пух», он же глава администрации Владивостока, — прокуратуру все никак толком не заинтересует! Видать, слишком много общего меда съедено. И населению остается только мечтать о временах, когда под суд пойдет не только этот Винни-Пух, но и все-все-все...

Не отходя далеко от темы прокурорского надзора, вернемся в столицу — посмотрим, за кем и как надзирают здесь. О, тут закон на страже!

Тверская межрайонная прокуратура Москвы потребовала у правозащитного центра «Мемориал» в течение двух часов предоставить в прокуратуру документы, поясняющие, кто и на какие средства издал пособие для россиян, желающих направить жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Как заявил председатель Совета «Мемориала» Олег Орлов, правозащитники представили все требуемые документы и направили запрос в Генпрокуратуру, в котором попросили объяснить, что стало причиной проверки.

Ну, вот как не стыдно этим, из «Мемориала», валять дурака! Мало их жучили, шпионов! Ну, зачем делать вид, что не понимаешь? Зачем на голубом глазу задавать неловкие вопросы прокуратуре? Она, конечно, формально орган надзора за законностью, и с этой стороны к страсбургской книжке не подьехать... Но по сути-то, по сути! По сути, со времен царя Петра Алексеевича, прокуратура — «око государево». Государево! — причем же тут законность? И всё прекрасно понимают все эти орловы из «Мемориала» и, можно сказать, сознательно провоцируют нашу несчастную, разорванную надвое, шизофреническую власть. Которая левой половинкой мозга хочет в Европу (не в смысле Руссо, а в смысле Давоса), а правой половинкой мозга, пожизненно, в стрелецких казнях, и всем телом, по уши, в опрочинине, и руками, по самые плечи, в казне... И Страсбургский суд ей — во где, а уж пособие это «мемориальское» — просто пощечина! Эдак любой беженец, или чеченец пытанный, или зэк заморенный — любая, короче, лагерная пыль сможет засудить администрацию? Ужас. Ну, ничего, Генпрокуратура ответит правозащитникам... По закону ответит... дайте срок!

А пока что от прокурорской инициативы пошли приятные побочные эффекты — не вполне те, о которых мечтала прокуратура. Как только СМИ написали о прокурорском наезде на пособие для Страсбурга, в «Мемориал» тут же начали звонить из провинции и просить прислать им побольше экземпляров этой вредоносной книжки. У «Мемориала» своих-то рекламных бюджетов не предусмотрено, но спасибо Тверской прокуратуре, помогла с распространением... Правозащитники с нетерпением ждут следующих наездов.

Прокуратура — вообще дивный рекламный агент! А прокурор — большая подмога прогрессу! Низкий вам поклон, синенькие наши.

Россияне, которых прокуратура охраняет от провокаторов из «Мемориала», вообще по мере удаления от столиц живут все защищеннее, а уж в Чечне, по давней традиции, права человека достигают нечеловеческих размеров...

На встрече с Рамзаном Кадыровым комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг сообщил, что получил многочисленные свидетельства о пытках задержанных в следственном изоляторе федерального ОРБ-2 — Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД. Хаммарберг подчеркнул, что «это целая система, а не единичные случаи». Рамзан Кадыров согласился с комиссаром Совета Европы. «У меня есть серьезные вопросы к ОРБ-2, — заявил Кадыров. — Я неоднократно ставил вопрос о том, что в этой структуре нарушают права человека».

Немного найдется на земном шаре вещей, на которых сойдутся во мнении Томас Хаммарберг и Рамзан Кадыров: следственный изолятор ОРБ-

2 из их числа. Но какова коллизия! Хозяин чеченских зинданов протестует против пыток людей в ментовском застенке! Глава местных эсэсовцев, можно сказать, озабочен гуманитарным аспектом в работе гестапо! О да. Они бы с удовольствием запытали друг друга насмерть, но пока что работа идет по преимуществу с населением, а население одно на всех, и народ не резиновый... Короче: конкуренция! В которой как нельзя кстати для Кадырова пришелся комиссар Совета Европы... Но сколько новых впечатлений для г-на Хаммарберга!

Теперь — новости столичного народовластия. Помимо избирательного права, с которым уже все понятно, имеется у граждан и право на митинги и собрания. Оно зафиксировано в Конституции, свято и незыблемо! Но легкими номенклатурными движениями легко измывается в пыль.

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки мэра Лужкова, ужесточающие порядок проведения массовых акций в столице. Поправки запрещают проведение митингов вблизи исторических памятников и вводят жесткие нормы «предельной заполняемости территории»: количество участников пикетов и митингов не должно превышать норматив в два человека на квадратный метр.

Похвальна забота мэра Москвы и его депутатов о сохранении исторических памятников столицы! Вот недавно (я уж вспоминал об этом) по Риму прошли семьсот тысяч демонстрантов-оппозиционеров, — так глупые римские власти даже рта не посмели открыть насчет охраны исторических памятников. То ли они не любят свой город, то ли в Риме нету исторических памятников, даже не знаю... А москвичи, ежели приспичит помитинговать, могут теперь в полном соответствии с Конституцией собираться в Бирюлево, не больше двух на квадратный метр. Хотя, скажем прямо, Конституция совершенно не запрещает им и сидеть тихо по домам!

И напоследок, ближе к ночи — старшилочка.

В России появилось общественное движение «Лукашенко-2008», имеющее благой целью выдвижение батеньки Александра Григорьевича в президенты Российской Федерации.

Галерея агитационных плакатов, уже представленная на сайте, не раскрывает секретов предвыборной программы, но дает хорошее представление о психическом состоянии кандидата. «Ащкий отжиг!» — прокомментировал все это на молодежном сленге один из первых посетителей сайта. В приблизительном переводе: с ума сойти... Другой посетитель осторожно предположил, что все это — бестактная шутка белорусской оппозиции. Может быть, может быть... Но если «Лукашенко-2008» — не шутка, то... Владимир Владимирович, давайте, правда, на третий срок, а? Лука на пороге — в средневековом шлеме с крыльями-рогами и кисточкой в цвет триколора — тут уж не до Конституции.

Счастья вам!

10.03.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же: вполне симпатичная получилась неделька, классическая, можно сказать: тут тебе и народовластием по голове, и борьба с соб-

ственным отражением в зеркале, и в качестве бонуса — научное открытие! Ну, обо всем по порядку...

Для начала — вот как раз про народовластие. Тут дело обстоит так: после ужасных, нестабильных, преступных девяностых народ, слава те господи, выбрал себе наконец власть достойную! Ну, просто несказанно повезло с персоналом! Один лучше другого — все как на подбор из Питера, на три четверти чекисты, умницы, профессионалы и, главное, совершенно не коррумпированные. Они подняли Россию с колен и повели ее, болезную, под локотки в даль светлую. И от народа теперь, в сущности, требуется только одно: не мешать! Перебирай тихонько ногами и кочуй в ожидании Третьего Рима... В целом народ с задачей справляется, ножками перебирает и благодарит. Но есть в этом прекрасном многомиллионном стаде пара сотен паршивых овец, которые и сами упираются, и других мутят! Это я про организаторов «Марша несогласных», который прошел в Питере в прошлую субботу. Кто эти люди? Спросите у губернатора Матвиенко, она вам все разъяснит.

Матвиенко: Два вагона, 120 человек приехало экстремистски настроенной молодежи из Москвы с провокационными лозунгами. Кого не устраивает то, что город очень поступательно развивается? Лозунги у митингующих были такие: «Поддержим Ходорковского!», «Березовский, мы с вами!». Понятно, откуда финансовые источники для таких митингов.

Вот за что люблю Валентину Ивановну — за ум и порядочность. То одним сверкнет, то другим. Тут ведь что ни слово, то слово правды! Во-первых, про два вагона с экстремистски настроенной молодежью из Москвы. Это я готов подтвердить: содержимое одного вагона знаю лично — страшные отморозки! Некоторым давно шестой десяток, а всё экстремистская молодежь. Каспаров в шахматной доске пластид по стране возит. И разумеется, все лозунги «Марша несогласных» оплатили Ходорковский с Березовским! Это слепому видно! Ну кому еще, кроме Березовского, может прийти в голову, например, требование к строительной компании «ЛЭК» остановить снос детского сада? Только Березовскому! Тянется Абрамыч щупальцами с Альбиона, вредит развитию бизнеса в городе на Неве!

Или вот еще ужасный лозунг: «Верните выборы!». Ежу понятно, что бесплатно требовать такую гадость никому в голову не придет! Все сознательные россияне давно поняли: зачем честные выборы, если лучшие люди уже у власти? Причем не просто у власти, а пустили такие корни, что из власти выдрать их можно только вместе с нефтью, газом и недвижимостью, а это уже прямая угроза России! Ну и, наконец, лозунг «Россия без Путина»... Это, конечно, предусмотрено Конституцией, но тем более экстремизм! Короче, правильно поступили с «Маршем несогласных» в Питере — ОМОНом их по балде, бунтовщиков, и вся любовь! Пенсионеров, депутатов, молдняк, середняк, крупный бизнес, мелкий бизнес — короче, всех, кто против народа! А кто народ-то? А Матвиенко с сыном и «Газпром» с чекистами. Остальные все экстремисты. Мочи их, не дожидаясь сортира! Правда, свой питерский ОМОН застенялся метелить земляков, но городские умницы-начальники все предусмотрели, привезли на берега Невы ОМОН из Владимира. В каком-то смысле, из Владимира Владимировича...

Ну, а что касается освещения подобных эксцессов в федеральных СМИ, то вслед за Матвиенко они были предельно объективны! До шести вечера про «Марш Несогласных» вообще ни слова! — видать, искали формулировки. Ну, и нашли. Шестичасовой выпуск Первый канал начал с главной новости дня: массовых волнений в Копенгагене. (Интересно: начинались ли в этот день новости датского телевидения с волнений в городе на Неве?) Показав, какая в державе датской гниль, Первый канал наконец поглядел в сторону Родины... Прочитируем, пожалуй.

Из новостей Первого канала: «Беспорядки возникли сегодня и в самом центре Петербурга, но если в Дании у молодых людей были явные причины для возмущения — их насильно выселяют из дома, то в северной столице столкновения были спровоцированы хулиганами».

Что же это за тысячи хулиганов, вдруг заполнившие половину Невского проспекта? Ясность внесло Российское телевидение. Это, оказывается, были «разномастные радикалы от фашистов до леваков, называющих себя «непримиримой оппозицией». О! Как про стаю дворовых собак: разномастные... Узнаю брата Колю; привет тебе, родное Гостелерадио! Тоньше других, как и положено по статусу, проявило себя в освещении «Марша несогласных» НТВ. Сначала скормили народу десяток важнейших новостей — от перезахоронения Гамсахурдия и женитьбы датской принцессы до выхода сборника поговорок, собранных татарстанским прокурором... короче, самое насущное! — а потом, уже после рекламы, чтобы половина аудитории успела свалить с канала, пустили репортаж из Питера. Новость звучала так: «Сегодня в Петербурге едва удалось избежать массовых беспорядков». Вот как надо работать! И эти горизонты журналистики покорятся молодым, которые понимают правила игры! А которые не понимают, тех вон. Как погнали вон журналистку Воробьеву, которая привезла на свое «Русское радио» репортаж из Петербурга. Она, вишь ты, думала, что долг журналиста — рассказать об увиденном! Детский сад, честное слово! Ну, старшие товарищи с «Русского радио», в порядке педагогики, мелко покровсали ее репортажик в мусорное ведро. Саму Воробьеву трогать не стали: думали, опомнится, но неблагодарная в тот же вечер пошла на «Эхо Москвы» — и все-таки рассказала населению о том, что видела в Петербурге! Ну, ее с работы и поперли. Взрослеть надо, Ирина! Мы тут не в бирюльки играем, чтобы правду по радио рассказывать, — мы драим скипетр и чистим к восьмому году шапку Мономаха! И не надо понапрасну будоражить население!

Но вот заграница, гадина, продолжает вредить. И при первой возможности вместо приятных картинок сует нам в нос всякую гадость. Но мы это молча нюхать не намерены!

Депутаты Государственной Думы критически отреагировали на положения доклада Госдепартамента США, касающиеся ситуации с соблюдением прав человека в России. Председатель комитета по международным делам Константин Косачев категорически возразил против «общей тональности и основных выводов» этого документа. По словам Косачева, он не узнал в докладе страну, в которой живет.

Ой... Не узнал он страну, в которой живет... А вы в какой стране живете, Константин? Одним бы глазком поглядеть. Ах, это, наверное, дивная страна!

О, в этой стране, ограниченной с севера депутатским залом Шереметьево-2, а с юга VIP-залом во Внуково, с министерствами в закрытых клубах возле Охотного ряда, — живут несколько тысяч VIP-граждан, солидные люди с удавшейся судьбой. Иногда между горячим и десертом они вспоминают о России; после стакана виски и сигары им даже начинает казаться, что вот эта страна, в которой они живут, и есть Россия... В минуты этого лингвистического недоразумения они сильно обижаются на доклады Госдепартамента США и прочий страбург, и их можно понять. Вы попробуйте сами проехать с Охотного ряда, на БМВ с затененными стеклами и мигалкой, на ужин ну, скажем, в ресторан «Ваниль»... сядьте в это кресло с видом на Храм Христа Спасителя, закажите что-нибудь легкое... на пять минимальных зарплат... выкурите сигару — и вы сами почувствуете, какими нелепыми покажутся вам все эти разговоры об убийствах журналистов, о каких-то спецприемниках для высылаемых грузин, о Чечне, о беспределе силовиков... Какой беспредел? Вот же он, этот силовик, сидит рядом, с такой же сигарой и вискарем, нормальный мужик, всегда можно договориться... Нет, не узнает Константин Косачев своей страны в докладе Госдепа США, — вот как хотите: не узнает!

Для лучшего узнавания России Косачеву и остальным обитателям этой VIP-зоны было бы, конечно, полезно пожить немного на зоне под Краснокамском, но для начала, в порядке ознакомительного экскурсионного тура, можно проследовать и в клетку Басманного суда, — ту, в которой, вслед за Ходорковским и Лебедевым, получали давеча сеанс силового правосудия еще двое из ЮКОСа.

К 12-ти и 11-ти годам лишения свободы соответственно приговорены Владимир Малаховский и Владимир Переверзин, бывшие руководители компаний, подконтрольных Корпорации ЮКОС, обвиненные в хищении 13 млрд. долларов. При этом, как отмечают СМИ, Малаховскому суд назначил наказание выше того, которое просил прокурор.

Ну, не смог затормозить судья, что поделать! Хотел, но не смог: энтузиазм переклинило. Чистый стахановец, выдал больше нормы. Такой рефлекс на слово ЮКОС в этих стенах — рука сама сроки выписывает, всем хочется сделать президенту приятно! Уже четырнадцать человек осуждены, еще двадцать один — в бегах или под подпиской о невыезде, и конца-края не видно... Эту грибницу правосудия решило вынуть до последнего корешка, все силы туда брошены! А с остальной преступностью — там уж как придется. С кингисеппской преступной группировкой, например, обошлись вполне по-человечески: в банде, по данным следствия, было два десятка молодцов — посадили семерых, остальных тревожить не стали... А пускай себе живут на свободе, кому от этого хуже? Бандит — существо классово близкое, это ж не юрист Бахмина из ЮКОСа, правильно я говорю? Во-во.

Продолжим разговор о классово близких гражданах — которые не в тюрьме (хотя имеют основания), а в шоколаде. Приятные люди, ясные правила игры... Одно удовольствие поглядеть!

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков сообщил в понедельник президенту России о том, что принял решение освободить от занимаемой должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Рамила Хабриева. Хабриев уволен за лекарственный кризис, случив-

шийся в феврале. Глава Минздравсоцразвития Зурабов заявил в связи с этим, что готов сам «лечь на плаху». «Если это успокоит общественное мнение, с удовольствием».

Мягкая отдельная плаха, на которой со всеми удобствами уже много лет лежит Михаил Юрьевич Зурабов — мечта сотен тысяч российских чиновников! Особенности этого лобного места таковы, что четвертуются на нем бюджеты, и палач в доле. Этим обстоятельством, видимо, и объясняется поразительное хладнокровие Зурабова, обреченного уже много лет... Кроме того, у всякой номенклатуры, как у кошки, девять жизней: казнят их в одном месте — они тут же воскресают в другом. Но Зурабов, конечно, случай особый даже в нашем безразмерном царстве! Это уже не министр, а разновидность громоотвода. И просто так снимать его с крыши никто не позволит. Тем более в год выборов, когда на снятии этого предмета можно заработать столько очков!

Глава думского комитета по труду и социальной политике Исаев заявил, что «единороссы» потребуют отставки Зурабова, если до 20 марта он не представит предложения по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением населения. Вслед за этим спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Миронов потребовал немедленной отставки Зурабова.

Это называется: наперегонки! Новый олимпийский вид: кто сильнее врежет по Зурабову. Все проснулись и побежали если не побеждать, то участвовать. Я уж не говорю о коммунистах: у них Зурабов в очереди на казнь сразу за Чубайсом! Короче, все, ну буквально все требуют этой гниловатой кадровой крови! И Зурабова, можете не сомневаться, уволят. И когда это случится, все будут кричать, что это они, они добились этого! И кто-то главный выйдет на публику весь в белом, радетель народа... Но произойдет все это, конечно, не сейчас, а ближе к выборам... А до тех пор Зурабов будет полегивать на своей плахе со всеми удобствами, и никто его, болезного, не тронет. Как говорил Король в «Маленьком принце», *«надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна...»*

Теперь — несколько слов про наше нетрадиционное московское гостеприимство.

Почти триста тысяч таджикских мигрантов работают в Москве в рабских условиях и на нелегальных основаниях, пишут «Новые Известия». Между тем, как сообщает газета, по спискам сотрудников РЭУ и фирм-подрядчиков на должностях московских дворников «трудятся» исключительно коренные россияне.

Конечно, всем известно, что с нелегальной иммиграцией Лужков борется не щадя себя. И вообще: любимая тема всей патриотической общественности, от Рогозина до Белова-Поткина — «черная» мафия, сосущая соки из честных и трудолюбивых россиян... Понаехали тут!

Понаехали — и с четырех утра до глубокой ночи убирают, скребут, строят, вывозят мусор... За копейки, поскольку деваться им некуда — на родине и того нет. А мы — ребята легальные, честные и, как было сказано выше, трудолюбивые! Уж мы поднапряжемся и оформим друзей и родных дворниками в РЭУ, и будем платить таджику-рабу, за шестнадцатичасовой рабочий денек, четыре тысячи в месяц, а разницу из городской сметы возьмем

себе за сообразительность... Десять бабок — рубль, как говорилось в анекдоте про Раскольников, а двадцать таджиков-дворников — миллион, причем в месяц... Худо ли? Ну, конечно, не все себе, надо ж делиться с теми, кто отворачивается и не видит, а это ого-го какая работа: отворачиваться и не видеть! Шей затекает! А те, в свою очередь, отслюнивают еще и наверх — тем самым, которые, не шадя себя, борются против нелегальной иммиграции... Короче, работает Москва, работает!

Есть у меня, однако ж, практическое предложение и к руководству Москвы, и к личному составу всех наших многочисленных патриотических, этнически озабоченных организаций. Большой простор для деятельности открывается, братцы! Не пропустите момент! Восстановим законность! Очистим Москву во всех смыслах! Валяйте хоть к нам в Сокольники — вышлем вон всех таджиков, вот хоть из моего микрорайона... Но только чур потом сразу не уходить, а часика в четыре утра лопаты в руки — и вперед! Во главе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Я за такое зрелище из окон лично, не из бюджета, готов платить четыре тысячи рублей в месяц.

Кстати, к вопросу о «понаехали тут»... Кто, куда и откуда сюда понаехал — это, оказывается, еще вопрос! Свеженький привет нашим отечественным «наикам» от академической науки! Россия для русских, говорите? Ну-ну...

В Институте этнологии и антропологии Российской академии наук воссозданы графические и скульптурные облики вятичей, древних обитателей нынешнего Подмосковья. По данным ученых, уже в домонгольский период предки россиян имели смешанный генотип из славянской, балтской, финно-угорской и даже негроидной составляющей.

О как... Сами мы не местные, оказывается! И до всяких батыев имели «приплюснутый нос, и более узкое и плоское лицо». Предупреждал Сан Саныч Блок: скифы мы... Азиаты мы, с негроидной составляющей. Ой...

И напоследок, как всегда, о приятном.

В среду на заседании совета по реализации приоритетных национальных проектов, в присутствии телевидения, президент России вдруг обратился к первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву не по теме.

Путин: «Как мне стало известно, «НТВ-Плюс» вместе с футбольным союзом и его председателем Виталием Мутко чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей... Вы, пожалуйста, с ними пообсуждайте...»

Но Медведев ничего «пообсуждать» с Мутко не успел, потому что едва этот рядовой болельщик высказал свое пожелание, как глава РФС сообщил, что контракт с «НТВ-Плюс» может быть изменен. Понимаете степень текущего демократизма? Провели тендер, подписали бумаг на 25 миллионов долларов, но один рядовой болельщик попросил — и полный поворот кругом! «НТВ-Плюс», конечно, жаль, зато в остальном все складывается замечательно: народ и раньше президента любил, а теперь просто взвывает от благодарности! Да и президент поступил предусмотрительно. Потому что Беслан там или политзаключенные пачками — это нам побоку, но вот если нам не дать посмотреть «Томь» — «Сатурн», мы за себя не ручаемся!

Счастья вам!

17.03.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, — богатая выдалась неделя: тут тебе и новые горизонты практического народовластия, и Сурков с теорией на подхвате, и нерусским гостям наказывали по традиции, и погаллюцинировали всласть... В общем, есть что вспомнить!

Но начнем мы со слов скорби. Не то чтобы ушел от нас, но вот-вот уйдет глава Центральной Избирательной Комиссии Александр Альбертович Вешняков. То ли послом на Мальту уйдет, то ли еще куда-нибудь — разное говорят, — но вот что на Ильинке ему не жить, это точно: президент перекрыл кислород лично! В траурном молчании застыли штабы партий... Приспущены цифры на табло. Гудят заводы и фабрики... Еще теснее сплотятся вокруг Старой площади избиркомы по всей стране... На кого он нас покинул, еще не известно, но это и не важно... Новенький будет рыть землю с новой силой, но в прежнем направлении!

По информации РИА Новости, член Центральной Избирательной комиссии России Эльвира Ермакова, комментируя грядущую смену председателя ЦИК, в частности, заявила: «Уход Вешнякова не повлияет на качество выборной кампании, которая нас ждет впереди, поскольку Александр Альбертович слишком много сделал для этого».

О да! Сделано было, действительно, «слишком много»... Краткий обзор сделанного следует начать, пожалуй, с первой путинской кампании. Очень тогда не хотели россияне второго тура! Ну, не то чтобы все, но некоторые россияне — очень не хотели! Центризбирком пошел навстречу этому демократическому призыву, и новенький в ту пору Вешняков, чисто Атлант, взял на себя всю тяжесть этой деликатной сферы, и в последние часы голосования за Путина россияне выдали, по подсчетам математиков, 110 процентов поддержки будущего гаранта. Из десяти проголосовавших одиннадцать были за Владимира Владимировича! За семь путинских лет этот математический подвиг стал нормой, традиции перешли в рефлекс, и глаз уже помаленьку привыкает к пейзажу этого северокавказского народного единства. Правда, в последний год (перед тем, как уйти от нас) бессменный глава путинского Центризбиркома стал вдруг задумываться о душе: недавно, ни с того, ни с сего, выразил сомнения по поводу новых законопроектов, окончательно превративших российские выборы в театр Карабаса-Барабаса... Но тысячу раз права член ЦИК Эльвира Ермакова — сам Вешняков так много сделал для этого театра, что на качестве ближайших спектаклей, в декабре и в марте, его робкие поздние прозрения, как и его исключение из труппы, уже не повлияют... Поставят другого, без рефлексий — механизм-то сменный, колесиков полные склады.

По каким рельсам едет наш избирательный «трамвай», пассажиры поняли давно, но дембельский вешняковский «аккорд», состоявшийся в прошлое воскресенье, все равно достоин отдельного изучения. Чем и занялся глава СПС Никита Белых в эфире радиостанции «Эхо Москвы». На пару с Алексеем Венедиктовым они сверяли результаты выборов на одном из участков с результатами по тому же участку, но уже после их обработки волшебной системой ГАС-Выборы...

Белых: *Московское областное отделение политической партии «Единая Россия», у тебя сколько?*

Венедиктов: 313.

Белых: *У меня — 685. «Патриоты России» — сколько?*

Венедиктов: *У меня 13.*

Белых: *У меня — ноль. ЛДПР — сколько?*

Венедиктов: 56.

Белых: *У меня — ноль.*

Венедиктов: *Как ноль?*

Белых: *Ноль. «Яблоко» — сколько?*

Венедиктов: 38.

Белых: *У меня — ноль. СПС — сколько?*

Венедиктов: *У меня аж 63 души.*

Белых: *У меня — ноль.*

Венедиктов: *Да ладно.*

Белых: *КПРФ — сколько?*

Венедиктов: 146.

Белых: *А у меня — 15. «Справедливая Россия»?*

Венедиктов: 71.

Белых: *Ноль.*

Как я уже упоминал, некоторые СМИ прогнозируют, что после отставки нынешний глава ЦИК полетит послом на Мальту. Нести ли Вешнякову этот мальтийский крест или СМИ это выдумали — не знаю, но вот что я знаю точно, так это нормы закона, предусмотренные для авторов такой выборной арифметики. Это, уверяю вас, не Мальта. Это вообще в другую сторону, года на четыре, по статье 142-ой Уголовного кодекса. Впрочем, это так, на будущее... А пока — не будем о грустном! Главное — выбор народа, а он очевиден, особенно если своим вместо 313 писать 685, а остальным фигачить нолики. С победой вас, товарищ Грызлов! А остальных россиян — с резким, как от пенделя, ускорением народовластия. То ли еще будет!

Необходимость всей этой уголовной арифметики через пару дней после выборов блестяще обосновал главный теоретик нашей «управляемой демократии», замглавы администрации президента Сурков.

«Для сохранения стабильности в стране партия “Единая Россия” должна получить небольшое преимущество в будущем парламенте, — заявил Владислав Сурков, — и предостерег против иного развития событий. — Будет море демократии, — заявил замглавы кремлевской администрации. — Но будет ли это лучше для страны? Я в этом не уверен. Надо ли, чтобы будущий президент столкнулся с вязким парламентом?»

Расшифруем. Вязкий парламент — это такой парламент, который не берет под козырек с мужественным лицом капрала Грызлова, а обсуждает законы, перед тем, как за них проголосовать. Вязкий парламент имеет политические обязательства перед народом, которым избран, а не перед монархом, которым поставлен в законотворцы при помощи ловкости рук и автоматизированной системы ГАС-Выборы. Независимый он, этот парламент, оттого и вязкий для монарха! Эту политическую азбуку Европа, пошедшая в обучение с четырнадцатого века, давно вызубрила наизусть, но Сурков в ее

правильности, видите ли, не уверен! Этот юноша вообще готов к глобальным открытиям каждую минуту... Откровение на откровении — повезло же нам с замом главы администрации! Слушайте дальше.

Из выступления Владислава Суркова: «Государство должно быть сильным, решать проблемы и эффективно бороться за сохранение демократических институтов».

С кем должно бороться государство за сохранение демократических институтов? Само с собою? С обществом? Эту тайну золотого ключика Сурков раскроет Дуремару в своем следующем выступлении. А пока придется чесать репу самостоятельно. До сих пор ведь считалось, что все наоборот! Что демократические институты ограничивают государство, не давая последнему фараонить в свое удовольствие. Но, видать, у России своя азбука и свой путь: наши фараоны намерены сами *«бороться за сохранение демократических институтов»*, пристраивая к своим пирамидам разнообразные общественные палатки...

Впрочем, я отвлекся от сурковского текста. Нет ли там еще каких-нибудь открытий? Да полно! Вот, например: *«Надо помнить, что демократия — это власть народа...»* (Это, я считаю, нобелевская премия!) *«...а власть народа, как известно, суверенна, и это власть нашего народа, а не другого народа в нашей стране»*. Что за загадочный «другой народ» тянется своими грязными лапами к нашей нежной лолите-демократии, Сурков не сказал, оставил россиян мучаться догадками. Зато как выглядит на практике эта «власть нашего народа», мы окончательно выяснили 11 марта! «Власть нашего народа» — это когда народ голосует за семь разных партий, а замглавы кремлевской администрации с поделельниками передает все их голоса одной, своей собственной...

Вы спросите: почему россияне не возьмут за горло эту шарашкину контору? Парадоксальный ответ на это нашелся в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина.

Ситуация с правами человека в России неудовлетворительная, но прогресс есть, суммируют СМИ содержание доклада Владимира Лукина. Как сообщает *gazeta.ru*, оптимизм российского омбудсмана вызван «началом реализации ряда важнейших национальных проектов, позволяющих рассчитывать на то, что некоторые традиционные болевые узлы общества будут в обозримой перспективе развязаны».

В советское время (Владимир Петрович должен помнить это лучше меня) авторам художественного произведения предписывалось непременно увидеть оптимизм «в обозримой перспективе»... Это называлось — «свет в конце тоннеля». Хотя ты пиши про ослепшую лошадь в кемеровской шахте, а социальный оптимизм изволь обнаружить! Иначе мигом пойдешь по разряду идеологических диверсий... Так что нынешний оптимизм Лукина понять можно: так сказать, критика в рамках системы... осторожноенько так. Но уж и опору для оптимизма Владимир Петрович нашел мощную — «медведевские» нацпроекты! Покамест, изо всех прав человека, эти проекты укрепляют только право россиян на получение бесплатной дозы пиара, но чем черт не шутит? — может, однажды после медведевских поездок по ПТУ россиян перестанут бить в «ментовках», а от селекторных совещаний по вопросам рыбоводства понизится уровень коррупции в судах... Будем ждать.

Вернемся, однако, к докладу Лукина, посмотрим, с чем бьют ему челом россияне? Да, в общем, ничего нового.

Основными темами для обращения граждан к уполномоченному по правам человека СМИ называют низкие зарплаты и пенсии, отсутствие достойного жилья и медицинской помощи, рост коррупции... Главной же точкой раздражения, по мнению Владимира Лукина, остается огромный разрыв между бедными и богатыми: многие россияне «не могут понять, почему небывалый объем нефтегазового богатства мало сказывается на их благосостоянии».

Ну, вот не могут россияне понять, как это получается! И пишут Лукину с нарастающей скоростью — вал жалоб на недостаточное благосостояние и всякое такое, по сравнению с 2005 годом, поднялся в среднем на трети! А вот жалоб на уничтожение политических прав (ну, вот, в частности, на рисование ноликов всем партиям, кроме «Единой России») — почти не прибавилось. Это и есть настоящий повод для оптимизма — по крайней мере, в Кремле. На фиг они, правда, сдались народу, эти политические права! Емеле в настоящий момент не нравится главным образом то, что печь, по шучьему велению, везет его медленнее, чем ему бы хотелось — но идея слезть с печи и разобраться со всей этой механикой в голову ему пока что не приходит. Впрочем, я бы на месте Кремля чересчур сильно не радовался и начинал думать заранее: когда Емеля слезает с печи, обычно выясняется, что его фамилия — Пугачев...

В продолжение темы о правах человека в Российской Федерации — вот вам, до кучи, еще один повод для оптимизма!

Власти Чечни не согласны в выводами экспертов Совета Европы о том, что в республике сохраняется практика пыток и плохого обращения с задержанными. «Сегодня в Чечне борьба с этими явлениями стоит на самом жестком контроле президента республики Рамзана Кадырова, — заявил «Интерфаксу» вице-премьер Чечни Зияд Сабсаби. — Пусть комитет Совета Европы по предотвращению пыток посмотрит, как обходятся с русскоязычным населением в Прибалтике».

О да! Это и раньше было общеизвестно, а уж после слов кадыровского вице-премьера привлечет, надеюсь, и внимание мировой общественности! Зияд Сабсаби забыл рассказать подробности, но по последним чеченским данным, в подвале Домского собора в Риге находится зиндан, в котором пытаются русскоязычных; в Кадриорге под Таллином тайно работает фильтрационный лагерь, в котором бесследно исчезают активисты Русской Партии, а в районе Шауляя регулярно находят отрезанные головы противников литовского премьер-министра... Надо позвать туда наконец Кадырова с нукерами — вот он наведет порядок с правами человека в Прибалтике, любо-дорого будет посмотреть!

Что же касается прав человека в России, в особенности человека приезжего и темнокожего, — ну, там вообще налаживается райская жизнь! Дня не проходит, чтобы где-нибудь кого-нибудь не отметилили. Но закон на страже...

Правоохранительные органы не намерены искать связь между тремя нападениями на иностранных студентов, совершенными с девятого по одиннадцатое марта в Воронеже. Как сообщают «Новые Известия», следствие не усматривает националистические мотивы в действиях нападавших и

квалифицирует произошедшее как хулиганство. «Неудивительно, что напали, например, на иракца, — цитирует газета источник в прокуратуре. — Дело было на следующий день после праздника 8 марта, и нападавшие, наоборот, просто продолжали его отмечать».

Ну, разумеется. Это такая старая русская традиция — фигачить иностранцев на восьмое марта! Ходят, по древнему обычаю, толпой по Воронежу, с деревянными палками в руках. Как увидят темнокожего, сразу к нему. И если он на чистом русском не расскажет биографию Клары Цеткин, то, по обычаю, следует крикнуть «слава России» и поломать ему руки-ноги... Никакого национализма, чисто народное гуляние! Местная традиция. Прокуратура, не замечающую связи между тремя такими нападениями в одном городе за два дня, тоже можно считать явлением уже глубоко традиционным...

Теперь — несколько слов о крупном внешнеполитическом успехе России: на минувшей неделе грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление страны в НАТО! Согласитесь, это была непростая задача для России — сделать так, чтобы страна Георгиевского трактата, край, воспетый лучшими русскими поэтами, земля, где похоронен Грибоедов и играл Давид Кипиани, чтобы родина «Мимино» и Софико Чавчава, — чтобы Грузия захотела в НАТО! Надо было очень постараться, и мы постарались. Мы взрывали одного президента этой страны и делали порнофильм про другого, мы оставляли людей этой страны без газа и электричества, мы поддерживали ее сепаратистов и перекрывали границы для нормальных людей, мы организовали в своей стране этнические чистки грузин, мы гадили, провоцировали и унижали — и наконец добились почти невозможного. Крикнем же хором «браво» нашей политической элите плюс персонально группе Ивановых и лично Путину! Они сделали все, что могли. Отморозили-таки палец назло батьке — до полной ампутации. Молодцы!

Впрочем, Грузия, готовая вступить в НАТО — это мелочи жизни... По крайней мере, в российских новостях об этом сообщили вскользь, между прочим... То ли дело зимняя Олимпиада в Сочи! Сие галлюцинаторное событие у нас нынче везде и всюду, крупным шрифтом и первым делом! И результаты уже налицо.

Почти две трети россиян оптимистично настроены в отношении шансов Сочи принять у себя Олимпиаду 2014 года, только 11% считают предпочтительными шансы Зальцбурга, а 5% — корейского Пьенчонга. В прошлом году, как отмечает ВЦИОМ, россияне были более осторожны в прогнозах — в преимущественные шансы Сочи верили только 45% опрошенных.

Вот ведь интересно... Мы же, вроде, нормальные люди, да? Ложку в ухо не сеем, зимой с сачком на бабочек не ходим... Откуда этот нарастающий оптимизм насчет шансов тропического Сочи против горного Зальцбурга в области зимних видов спорта? Да откуда же, откуда рейтинг Путина и успех фруктового йогурта — из телевизора! Сто тысяч раз пропой там осанну желанному предмету — и готово дело! А впрочем, мы вообще известны миру своей патриотической адекватностью. По результатам соцопроса, проведенного в мае прошлого года, перед чемпионатом мира по футболу, шесть процентов россиян ждали от этого чемпионата — победы сборной России! Которая, как известно, на него даже не смогла попасть...

И напоследок — важнейшая новость из недр Роспотребнадзора. Это дивное ведомство, прошлой весной оградившее россиян от Боржоми, а летом добившееся их массового перевода с водки на стеклоочиститель, — дожило до форменного праздника на своей улице!

По сообщениям СМИ, в начале марта глава Роспотребнадзора Онищенко издал приказ, по которому сотрудникам Роспотребнадзора предписано носить специальную форменную одежду.

Согласно приказу, работники службы мужского пола в обычные дни летом *«должны носить фуражку, костюм темно-бордового цвета, бежевую рубашку и черный галстук»*. Зимой, поверх этой красоты, им полагается шапка-финка из искусственного каракуля черного цвета, зимняя темно-бордовая куртка, шарф или кашне черного цвета. Для себя Главный санитарный врач России тем же приказом предусмотрел *«нарукавный знак в виде фигурного щита с красным кантом на поле темно-бордового цвета с изображенной на нем эмблемой Роспотребнадзора в венке специального рисунка серебристого цвета»*. На зимний период времени голова, издавшая этот приказ, будет отныне покрыта шапкой не из искусственного, а из натурального каракуля. Раскатысто «ура», товарищи!.. Ну что тут сказать? Онищенко в форме.

Счастья вам!

31.03.2007

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленный сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что: неделька была чудесная, классическая. И управляемая демократия с демократами управлялась, как хотела, и закон торжествовал во все стороны, и международное признание пришло, откуда не ждали, и рекорд зафиксирован! Впрочем, обо всем по порядку.

Начнем как раз с демократии. Вести, приходившие из Нижнего Новгорода в прошлую субботу, отбрасывали сознание в сорок второй год. Враг рвется к Волге. Город на осадном положении. Объявлена спецоперация «Крепость». Перекрыто движение, оцеплены центральные кварталы, закрыты кафе и рестораны... В новейшей истории страшнее нижегородцам было только год назад, когда в Нижний приезжал Пугин — по случаю той радости менты вокруг тамошнего Кремля стояли, говорят, сплошной цепью, по трое на каждом перекрестке и повзводно на автобусных остановках в центре, чтобы перед светлейшим ликом не мелькнуло случайно лицо обычного гражданина. Но в прошлую субботу Путина в Нижнем не было, а был... — то есть, был объявлен — «Марш несогласных». Около тысячи человек планировали пройти от одной нижегородской площади до другой и провести часовой митинг.

По европейским меркам, надо сказать, — совершенно бытовая история: там недели не бывает, чтобы люди не ходили с транспарантами, с чем-то несогласные. Ну, они ходят, правительство почешет репу и, принимая во внимание, что сегодняшний демонстрант — это завтрашний электорат, хошь не хошь, а попробует что-нибудь придумать: не в смысле мордобоя, а в смысле компромисса... Но у нас уже давно обходится без этих европейских тонкостей. То есть, из БТРов, как в Андижане, по недовольным еще не стреляют, но ежели кто против администрации, — то ОМОН ему, экстремисту, обеспечен.

И заметьте, никто из администрации не беспокоится за свое кресло после того, как дал отмашку милиции месить своих же сограждан. А чего им беспокоиться, если судьба всех выборов зависит не от сограждан, а от способа подсчета, а способ подсчета определяет Кремль, а ты как раз его от сограждан и защищаешь... Так что все правильно: даешь ОМОН!

СМИ обращают внимание на демонстративную жесткость, с которой был подавлен нижегородский Марш несогласных. Задержаны и избиты больше двухсот человек, в том числе журналисты. Комментируя действия милиции, заместитель губернатора области Потапов сослался на необходимость «оградить детей, защитить их от этого влияния». Количество задержанных в операции сотрудников МВД Потапов оглашать не стал, сказав лишь, что милиционеров было «достаточно, чтобы защитить детей».

С детьми этими — отдельная песня. Детей сама администрация и погнала стадом на площадь, чтобы занять место, запланированное для митинга, — а потом послала несколько тысяч милиционеров на их защиту от трех десятков демонстрантов. Сама садик я садила, сама буду поливать... Причем СМИ, разумеется, считали только тех ментов, которые были в форме. А когда у моего нижегородского приятеля, в субботу, возле площади Минина, заглох «жигуль», к нему тут же бросились трое в штатском... Вообще, вы заметили? — рабочего класса с трудовым крестьянством что-то не видно, зато ментов и особистов — как саранчи... Однако вернемся к детям. У детей в тот день случилось счастье. Им дали послушать в выходной губернатора Шанцева, потом раздали гири и мячики и велели все это кидать и тягать в скверике, и никуда не уходить, чтобы ментам было из-за кого держать оцепление вокруг площади. Над площадью барражировал вертолет, из динамика неслось «С чего начинается Родина», изнемогающая от ответственности тетка-организатор с мегафоном приватно шептала «нам бы еще полтора часа продержаться»... В общем, праздник детства! Что же до работы администрации с оппозиционным населением, — ну, тут ничего нового не случилось: все, как доктор Путин прописал!

По сообщениям СМИ, участников «Марша несогласных» блокировали и задерживали в массовом порядке. До места проведения марша не смогли добраться около тысячи человек. Приехавших фотографировали и переписывали их паспорта... Помощница Каспарова Марина Литинович была задержана на семь часов по подозрению в угоне собственной машины, а потом оштрафована за незаконное тонирование стекол.

Незаконное тонирование стекол — конечно, страшная угроза для общественного порядка; но если в машине нет тротила, что ж делать? Приходится задерживать и за стекла... Ну, а переписывание паспортов у оппозиции — вообще святое дело, это вы хоть у Лукашенко спросите... И ложь, конечно, — куда ж без вранья? К тому же, и особого правдоподобия в этом деле не требуется: народ у нас невзыскательный, варезку разинул. Чего туда положишь, то и переварит... Участников «Марша» власти объявили геями и скинхедами одновременно. Вы когда-нибудь видели гея-скинхеда? Нет? Это вы не были в Нижнем Новгороде во время «Марша несогласных»! Ну, ничего, я, когда ходил на выборы в Госдуму супротив единоросса Говору-

хина, мигом стал сексуальным маньяком и импотентом, причем тоже одновременно... Я ж говорю: ничего нового! Старый велосипед, старый добрый «медвежий» цирк... Вот и фамилия вице-губернатора этого — Потапов. В общем, все в масть — и ОМОН с мордобоем, и вранье с демагогией. С чего нынче начинается Родина, дети запоминают надолго.

Вскоре после Нижнего случилась у ментов еще одна халтурка... Но тут уж надо было не метелить, а бережно охранять, потому что на улицы — в честь семилетия восшествия на престол нашего мандарина — вышли не противники режима, а его верные незатейливые хунвейбины, опора Великой кремлевской стены, движение «Наши», пятнадцать тысяч огольцов. То есть, никуда они не вышли, конечно, а свезли их как всегда, заранее, на хляву, автобусами из областей, в подмосковный пансионат, там проинструктировали, подкормили, одели в маечки-шапочки, дали знамена и привезли на проспект Сахарова, перекрыв под это дело на два дня пол-Москвы. Сначала они помычали под фонограмму гимн, а потом начали говорить своими словами, и это был пир интеллекта.

— Мы сюда пришли, из Нижнего Новгорода приехали, поддержать политику президента Путина Владимира Владимировича... Хотим, чтоб дальше он продолжал свою политику, направленную на сохранение суверенитета нашей страны.

— Ну, а могли бы вы в общих чертах описать, какая основная идеология? Что это за политика?

— Наша основная идеология... Я не знаю...

Более или менее их идеологию прояснили анкеты. Анкеты эти были призваны расширить штат огольцов, отобрав из числа бездельников самых тупых, то есть пригодных к делу. Конкурс на дебилизм был серьезный, вопросы — на засыжку. Например: *«Как вы относитесь к тому, что вокруг России разворачиваются американские военные базы и нагнетается напряженность?»* А? Вот то-то... Главное — правильно сформулировать. Вы против США или вы предатель Родины? Вы за Путина или едите по утрам маленьких детей? Ну и слог, конечно — прямо сказать, не Набоков. И мысли коротенькие, и предложения простые, назывные по преимуществу. Мы — Россия. Кругом враги. Оппозиция — власовцы. В общем, год тридцать шестой — пятьдесят второй, по желанию...

С каждым днем нас будет становиться все больше и больше. Сейчас нас пятнадцать тысяч. Вечером будет сто. Через месяц — миллионы. Пусть уже сейчас узнают все враги, что мы идем.

Вся эта комсомольская уголовщина называлась: акция «Связной президента». Танцы хип-хоп и анкетирование перемежалось отправкой благодарственных SMS-ок батюшке-кормильцу Владимиру Владимировичу — притом что у батюшки-кормильца, по его собственным словам, нет мобильного телефона.

Теперь — новости правосудия. Или новости медицины. Это уж как вам угодно...

Басманный суд столицы признал законным перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в СИЗО Читы для проведения следственных действий по новому уголовному делу.

Это, как вы догадались, были новости правосудия. А новости медицины заключаются в том, что за неделю до этого тот же Басманный суд признал проведение предварительного следствия по новому делу в отношении Ходорковского и Лебедева в Чите — незаконным. Тут надо медленно, для лучшей усвояемости этой юридической науки: стало быть, следственные действия по делу Ходорковского в Чите — незаконны, а его перевод туда для проведения этих действий — в рамках закона. То есть, ватерполистов в бассейн запускаем, но без воды. Шизофрения басманная, обыкновенная...

Не отлетая мыслями далеко от мест заключения и прочих пеницитарных радостей, заглянем на Охотный ряд.

В Госдуме подготовлен ко второму чтению закон «Об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания». По информации «Новых Известий», в закон внесена поправка, позволяющая ведомствам самим устанавливать порядок посещения проверяющими тюрем и колоний.

Ну, наконец-то! А то раньше правозащитники просто зверствовали: нагрянут, бывало, в СИЗО, а там такое... ну, в общем, ничего особенного, обыкновенное СИЗО... кто не был, тот будет, кто был, не забудет... Рядовое гестапо с местной спецификой... Где током под ноги, где пакеты на голову, где бутылками с водой по ребрам, где просто, без затей, ногами по почкам... Ну ветераны НКВД еще в тридцатых гестаповцев обучали, так что традиции-то есть! Короче, идет нормальная жизнь, и тут на тебе — правозащитник! Эдакий Сергей Ковалев, вражина страсбургская... Нагрянет — и ну мучить родное государство! Но теперь все будет тип-топ. Назначаем Ковалеву время и место визита, хоть с Лукиным и Памфиловой до кучи, и на зону их, в час назначенный, а там — чистая пионерская зорька! Все сытые, довольные, а в глазах такая любовь к ментам, что и спрашивать неловко. Лица улыбками парализованы так, что рты не открываются... Коммунизм, мля!

Теперь заглянем в следственное управление Генеральной прокуратуры. Там, я думаю, нынче царит большая радость: ведь в деле Политковской появились новые данные о возможных организаторах убийства! В Генпрокуратуре должны быть этому рады, не правда ли? Итак:

К гибели Анны Политковской могли быть причастны боевики бывшего командира спецотряда ГРУ «Горец» Мовлади Бойсарова, убитого вскоре после гибели Политковской в Москве. Об этом написали в своем открытом письме несколько бывших бойцов отряда. Приказ убить журналистку, по их словам, исходил от Рамзана Кадырова, а непосредственно организовывал убийство некий полковник ФСБ по фамилии Дранец.

Авторы письма, после расстрела пахана растворившиеся, надо полагать, где-то за пределами Отечества, — это, конечно, те еще борцы за законность! Чем один из них, некий Адам из Самашек, мог заслужить кличку «Стоматолог», не хочется даже фантазировать... Но ребята, судя по всему, информированные, и могли бы, думаю, многое рассказать следствию и про работу спецотряда ГРУ «Горец», и лично про Рамзана Кадырова. А по делу Политковской уже и рассказали, с фамилиями и подробностями... Информация появилась во вторник, и я думаю, следователи уже нашли и допросили полковника ФСБ по фамилии Дранец (или того, кто скрывался под этим

именем), и уже готовят его очную ставку с авторами письма... Не все ж ей, прокуратуре, Закаева ловить, правда? Как вы думаете? Только вот что-то ничего не слышно ни о какой реакции Чайкиного ведомства на это письмо. И никакой полковник Дранец не арестован, и Адама по кличке «Сто-матолог» никто не ищет... Кажется, все-таки ловим Закаева, да, господин Чайка? А убийство Политковской... Ну, президент же ясно дал понять, что это сделал Березовский — зачем отвлекаться от правильной версии?

Что же до Кадырова, то за его деятельностью, где надо, следят, уверяю вас... Еще как следят!

По сообщениям СМИ, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоен высшей награды Международного Комитета защиты прав человека «Золотая Звезда. Честь и Достоинство» — за заслуги перед международным сообществом и личный вклад в дело защиты прав человека.

Я, признаться, раньше ничего не слышал об этом Комитете, но награждение Рамзана Кадырова Золотой Звездой за защиту прав человека — ей-богу, хороший повод, чтобы протереть глаза. Что же это за организация такая? Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи...

Международный комитет защиты прав человека был создан как раз в Украине, успел объединить 247 неправительственных организаций и открыл 46 представительств-комиссариатов в других государствах. В членах комитета состоят десятки всемирно известных господ: от Кофи Аннана и Софи Лорен, проездом через какого-то Блаженнейшего Владимира, до Ильхама Алиева и Владимира Жириновского... В общем (цитирую их самооценку), это — «влиятельная международная организация». Тут, кстати, чистая правда, потому что пару лет назад организаторам этой синекуры удалось, по случаю, втащить в нее в полном составе руководящий состав Совета Европы и Парламентской Ассамблеи. Эти лохи как увидели в заголовке «защиту прав человека», так всем скопом туда и подались... Теперь эти божьи люди делят членство с Ильхамом Алиевым и под руководством генерала Казанцева, у которого после двух чеченских войн руки в защите прав человека примерно по локоть, награждают Рамзана Кадырова... Большая честь для Страсбурга! Софи Лорен и раньше защищала животных (или это была Брижит Бардо? впрочем, неважно), — а вот Парламентскую ассамблею точно можно поздравить с почином!

Теперь коротко — о законодательном творчестве на местах. Жизнь там кипит, и самые важные для россиян вопросы решаются, как всегда, в первую очередь!

Депутаты Нижегородского законодательного собрания подняли вопрос о легитимности значков, которые они носят на лацканах своих пиджаков. Поводом для разбирательства стал прецедент в Волгоградской области, где прокуратура опротестовала решение областной Думы двенадцатилетней давности и поставила депутатские значки вне закона, сославшись на новую редакцию Закона «О государственном флаге РФ». В ближайшее время проблему рассмотрит комиссия по регламенту и депутатской этике совместно с правовым управлением.

О, ну там сейчас начнется! Потому что в городе, граждан которого только что сотнями месил дубинками заезжий ОМОН, главное — срочно уточ-

нить вопросы легитимности ношения депутатских значков! Тем более если имеется прецедент в Волгоградской области. Кабы не было прецедента, совсем другое дело, но теперь... О-о-о, мы жить перестанем, но с легитимностью ношения значков — вдоль Волги порядок наведем!

Теперь — новости образования. Недавно президент Российской Федерации узнал, что через семь миллиардов лет Солнце *«прекратит свое существование и превратится в белого карлика»*. Раньше эту информацию до первой головы государства никто доводить не решался. И, видимо, правильно делали, потому что, узнавши такое, президент расстроился и расстройством своим, в минувший четверг, даже поделился с товарищами на выездном Госсовете в Калуге. Это, говорит, огорчительно... Правильный масштаб у человека! А то спикер Миронов, в тот же день, все о каких-то мелочах хлопотал в Совете Федерации: три срока, говорит, нужно для президента, да по семь лет... Какие там семь по три! Семь миллиардов нужно, один раз, пока совсем не стемнеет... А покамест — правильно президент говорит — *«развивать космическую отрасль, чтобы улучшить жизнь людей»*. Правда, не всем из космоса поможешь.

Вот, например, давеча в Кондопоге... Вот только не надо вздрагивать от слова «Кондопога»! Вовсе не обязательно, если «Кондопога», так какой-нибудь беспредел! Ничего там страшного не случилось, а даже напротив... Можно сказать, случилось нечто успокаивающее, ибо жизнь явно входит в нормальное русло. Слушайте же.

В Кондопоге участковый лейтенант милиции Константин Шабликов выпил — за месяц! — 348 бутылок алкоголя и получил срок.

Вы скажете: что за черт! Да за такие показатели в книгу Гиннеса надо нести вперед ногами, а не срок давать! Но, во-первых, Гиннес — это пиво, а пил Шабликов по преимуществу водку, а во-вторых, выпитый алкоголь самим же Шабликовым был перед этим реквизирован из магазина как незаконно хранящаяся продукция, но вовремя не оформлен надлежащим образом и хранился на квартире. Ну, сами посудите: сколько дней могут безнаказанно храниться на квартире участкового полторы сотни литров спиртного? Ну, он их, с горя, и того... все 348 бутылок. И жив-здоров! А еще говорят: демография... Да мы их всех переживем!

Но финал у этой истории получился счастливый: Шабликов извинился, компенсировал ущерб и получил условный срок. Ну, и слава богу! Потому что за такое по настоящему человека сажать — это ж надо совсем не русскими быть, честное слово!

Счастья вам!

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
первого квартала 2007 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями, находя их и на сей раз почти исключительно в Рунете. В этом обзоре предлагается изложение наиболее интересных публикаций с сайтов apr.ru, gazeta.ru, globalrus.ru, kasparov.ru, lenta.ru, lenta.com.ru, nazlobu.ru, polit.ru, prognosis.ru, vz.ru и др., а также нескольких статей в бумажной прессе.

Режим. Практика и идеология власти

Подводя итоги политического 2006 года, **Татьяна Щеглова** («Приватизация будущего» — Lenta.ru, 9 января) резюмирует: «Год можно смело назвать годом Путина — весь он был посвящен приватизации его будущего, а заодно и будущего страны». Власть неустанно пеклась о благе граждан, создавая для них жестко выстроенную политическую систему с партиями на любой вкус и разрабатывая государственную идеологию. А чтобы граждане не грустили, предвкушая расставание с любимым президентом, весь год их занимали «игрой в преемника». Политическое поле в течение года «зачищалось» не только от неконтролируемых волеизъявлений граждан, но и от «млетворного влияния Запада» путем разработки и принятия соответствующих законов. Внесены изменения и в избирательное законодательство, благодаря чему сведена к минимуму возможность протестного голосования граждан. Еще одним новшеством стала попытка предложить россиянам национальную идеологию.

На сайте ПОЛИТ.РУ публикуется в три захода (17, 22 января и 21 марта) обширное интервью с **Лилией Шевцовой**. Прошедший год, полагает она, останется в истории как год консолидации постсоветской системы. Это был период консолидации путинского режима, год выхода на поверхность всех тенденций, когда они приобрели окончательную четкость — уже нет никакой неопределенности, нет никакой аморфности. Четко прослеживается национальный консенсус, которого долго не было. Он сформировался по поводу одной идеи — стремления сохранить все как есть, стремления сохранить все как шло — из страха перед любыми переменами. В политике в 2006 году произошло оформление новой избирательной машины, которая готова для основного действия — воспроизводства власти, но таким способом, чтобы не было никакой спонтанности, никакой стихийности, чтобы результат выборов не был totally детерминирован. Кроме того, создана политическая машина, которая включает множество механизмов, имитирующих демократию: клоны партий, движений, создана Общественная палата. Кроме имитации демократических механизмов использован способ кооптации, то есть привлечения в круги власти либо ко двору власти — не только

в ряды опричников, но и в ряды обслуживающего, сервильного слоя — представителей различных групп общества. Здесь и уважаемый директор театра, и режиссер, и уважаемый актер, и уважаемый врач. *«Мы можем констатировать, что российская интеллигенция в своей значительной части сама себя закопала. По крайней мере, уже не слышно голосов остатков советской интеллигенции, которая была движущим мотором Перестройки, тех динамичных и волнительных лет. Их практически не осталось».* Правда, появились новые интеллектуалы технократического поколения, dot-comer («дот-комеры»), которые далеки от политики — она им не нужна, неясна и неприятна. Они выживают в своих блогах и сетях в одиночку. Пока — выживают. Им достаточно индивидуальной свободы, и, возможно, для того чтобы они объединились, необходим какой-то перелом, который заставили бы их ощутить чувство локтя либо отойти от аморфности... Система создала для самозащиты также репрессивную машину. *«Возникает вопрос, подо что тогда эта машина заточена? <...> Иногда возникает машина, которую архитектор и ее создатель не имеют ни смелости, ни воображения, ни потребности использовать. <...> Путин создал репрессивную государственную машину, но до сих пор режим ею в тоталитарных целях, в целях массового насилия не воспользовался. Может быть, потому, что, во-первых, нет уверенности в том, что опричнина будет защищать власть с необходимой энергией. Во-вторых, возможно, нет реальной необходимости в этом, потому что власть удерживается и без массового использования опричнины».* Упомянув об угрозе национал-этнической стихии, Шевцова говорит, что в экономике путинский режим сумел достроить, отшлифовать и зацементировать модель бюрократического капитализма — перспективно неэффективную. От 2007 года она ничего не ждет. Нет пока *субъектов прорыва*, которые бы рискнули изменить неумолимую траекторию России, которая все больше вползает в стагнацию. Более того, в обществе даже нет осознания того, что за внешними экономическими успехами кроется истощение ресурсов дирижистской модели, а стабильность является следствием отсутствия альтернатив и инерционности. Рассуждая о передаче власти, Шевцова полагает, что Путину не удастся остаться кукловодом после ухода с поста. *«У нас такой традиции двоевластия не было. Даже в нашей советской истории. Тем более эта традиция не уживется в рамках бюрократического авторитарного режима. Я думаю, при любой ситуации преемник, назначенный или легитимированный выборами, через какое-то время попытается взять власть в свои руки... более того, — новый режим будет консолидироваться именно на основе отрицания путинского режима.<...> нефтяная власть не будет вечным наркотиком, необходимо будет реагировать на то, что отложил Путин. А он отложил буквально все — начиная с пенсионной реформы, заканчивая реформой ЖКХ. Поэтому опираться на прежний путь не удастся. Нужно будет объяснить народу, почему не работает пенсионная система, ЖКХ, почему не проведена военная реформа, почему не работает местное самоуправление, здравоохранение. Как объяснить? Брать все на себя? Нет. Чтобы не нести ответственности за путинское наследство, новой власти придется отрезать пуповину, которая ее связывает с ее предшественниками. И чем больше проблем они оставляют, тем жестче будет операция по обрезанию. <...> Миссией Путина может быть провал*

Путина. Если бы Путин показал, что бюрократический авторитаризм, что жестко контролируемая экономика, что такая централизованная власть отбрасывают Россию в прошлое,— это был бы его вклад в российскую историю. Если же он, уйдя из власти, докажет, что система работает,— это лишь продлит наше провисание в традиционном интервале».

Прогнозами занят и **Виталий Лейбин** («Повестка-2007»: ПОЛИТ.РУ, 12 января). Пока верхи делят сверхдоходы от нефти, «*российское население продолжает строить свою жизнь: меняется облик домов, городов и регионов, есть люди, которые строят новые компании, есть — которые строят новые церкви, есть те, кто пишет книги, есть те, кто помогает обездоленным. Наше общество уже состоит из множества активных и самостоятельных людей, среди которых не так популярно презрение к своей стране. Патриотизм в моде. Темы, в которых задевается небольшой частный интерес,— вопросы небольшой собственности и локальной справедливости (дело Щербинского, Южное Бутово и пр.), — вызывают неподдельный общественный интерес*». Конвенция, которая существует на протяжении этих лет между президентской властью и народом, состоит в том, что президент трогает своих «подчиненных» (административную систему и олигархов), но не вмешивается в интересы народа. Единственный раз, когда такое вмешательство произошло, — монетизация льгот, — напугал обе стороны. Следующая точка — отмена отсрочек для студентов, которую лоббируют военные в связи с сокращением срока службы до 1 года в 2008 году, — наверное, все-таки неподъемна для предвыборного периода. Основные же вопросы внутреннего устройства жизни в России (суды, армия, милиция, образование, медицина, наука, собственность и пр.) в этом году всерьез обсуждаться и не начнут.

Целая серия статей посвящена бизнесу режима. **Станислав Белковский** и **Владимир Голышев** («Бизнес Владимира Путина» — NaZlobu.Ru, 21 февраля) в своей обычной теме: они находят меркантильные корни у путинской политики. Путин был, по их логике, нанят. Его «*в 1999-м уговорили, потому что только он, тихий, праведный и надежный, суверенно понимающий астрономическую разницу между риторикой (для доверчивого народа) и большим бизнесом (для мнительного себя), мог исполнить триединую сверхзадачу нынешней российской элиты: 1) закрепление итогов приватизации; 2) обналичивание властесобственности; 3) легализация обналиченного на Западе. Он это и делал. Четко, почти безукоризненно. Не больше, но и не меньше, чем должен был. <...> Путин никогда никому не обещал проводить модернизацию. Строить новое государство. Брать приступом небывалые горизонты*».

Алексей Грушевский судит еще строже («Насекомое — как и было сказано!» — NaZlobu.Ru, 15 февраля). «*Что сделал Путин, имея колоссальные доходы от нефти? Он ограбил пенсионеров, безжалостно лишив их последних копейных льгот. Он уничтожил последние остатки системы бесплатного здравоохранения. Он уничтожил последние остатки академической науки, последние остатки бесплатного высшего образования. Он ограбил собственный народ безумным ростом цен на бензин, электроэнергию, коммуналку... Он безжалостно обдирает свой совсем небогатый народ все новыми и новыми налогами, хотя профицит бюджета составляет 30%! Его государство не знает, куда девать деньги. Оно не способно даже в самом безумном, и развратном*

роскошестве потратить то, что выбило из своих нищих подданных, но не на минуту не ослабляет своей безжалостной фискальной хватки. Имея сотни миллиардов долларов, он не построил в стране дорог. Он не заменил рассыпающуюся коммунальную инфраструктуру. Он не построил доступного жилья, и при его правлении жилье стало окончательно доступно только вконец обнаглевшим от безнаказанности, буквально лопающимся от взяток чинушам. Он не восстановил недавно еще великую индустрию. Армия превратилась в гомосексуальный публичный дом... Единственное, на что он не жалел никаких средств, так это на создание иллюзии собственного величия, теща свое чем-то уязвленное самолюбие».

А почему это так? Экзотическое объяснение дает **Йоганн Вайс** в NaZlobu.ru («**“Исламское шампанское” для Владимира Путина**» — 14 февраля). Он уверен: «Путин уже много лет последовательно, год за годом реализует проект **“Российская Нигерия”**. Суть этого проекта в отношении России в следующем: превращение коренного белого населения страны в “негров” (с обеспечением их маргинализации и вымирания) и выращивание на пустом месте популяции молодых, здоровых и агрессивных мусульман. При этом исламизации страны должна оказываться повсеместная поддержка». Тайный исламофил разоблачил себя в Катаре, призвав арабских банкиров открывать филиалы в России. В мусульманское лобби Вайс записал также руководство РПЦ и мэра Москвы, поощряющих строительство мечетей: «речь уже идет о полной исламизации Москвы в обозримые сроки». «Вот она, искусственно созданная Нигерия! У нас на глазах возникает мусульманский анклав».

Олег Бондаренко в статье **«Государство-Газпром»** (АПН, 23 марта) анализирует казенное неомифотворчество. «Суть идеологии “энергетической империи” и “суверенной демократии” состоит в построении эффективного государства-корпорации, целью деятельности которого является рыночный принцип извлечения максимальной выгоды... для членов самой корпорации. Излишне будет говорить уже о том, что народ в данном качестве не фигурирует и фигурировать в принципе не может. Его кормят байками с “Первого канала”, эксплуатируя чувство ностальгии по утраченной имперской мощи». Путин так и не сформулировал, куда он ведет страну и какое государство строит. Но «вместо разного рода деклараций, он давно и планомерно... строил настоящее корпоративное государство. Государство-Газпром». Корпоративизм пронизывает всю жизнь страны. Новый стиль жизни — желание выслужиться. «Принесенная с Востока корпоративная культура, официально провозглашающая человека маленьким винтиком Большой Системы, обрела новое звучание в милом родному уху желании “не выделяться”, “быть как все”, а главное, стремлении к самопожертвованию ради Общего Дела. И ничего, что это дело, по большому счету, такое же частное, как и всё корпоративное,— главное, чувство сопричастности с Великим. <...> PR как средство государственной политики в России в эпоху Путина превратился в цель этой политики. Власть заявляет о возрождении российского государства с имперскими амбициями (для внутреннего пользования) и при этом отчуждает от России последних потенциальных союзников на постсоветском пространстве; неустанно говорит о повышении благосостояния населения и росте ВВП, при этом экономика России держится исключительно на

“нефтедолларах”; твердит о “национальных проектах”... и при этом не развивает инновационные технологии, культивируя добычу полезных ископаемых как главный способ пополнения бюджета».

Михаил Пироговский (**«Ксенофобии больше нет»** — GlobalRus.ru, 21 февраля), анализируя молчание власти в ответ на вспышки национальной розни в стране, предполагает, что речь идет о сознательной смене акцентов: отказе от националистической гласности в пользу имперского безмолвия. В империи не бывает национальной розни. На межгосударственном уровне Россия стала вести себя требовательно и важно, явно в духе СССР, если не Александра III. Возможно, что в связи с этим Кремль решил отказаться от демонстративной заботы о коренном населении, да и напряжение из-за экстремистских акций и действий ксенофобов больше нагнетать не будет. Вместо внутреннего реванша народу предложат внешний — даже если он кончится всего лишь Олимпиадой в Сочи, это будет ощутимым триумфом. Суровое государственное молчание покроет эксцессы на национальной почве, как сукном.

В смежном контексте **Сергей Маркедонов** анализирует неосоветскую мифологию (**«Возрождение СССР — обреченная надежда»** — PROGNOSIS.RU, 14 февраля). Советский миф — инструмент в руках политиканов. Он выгоден, во-первых, новой российской элите. С его помощью обеспечивается «подморозка страны» и минимальная степень автаркии. Однако, несмотря на резкие заявления, на максимальное «закрытие страны» у нынешних хозяев Кремля вряд ли хватит сил и воли. *«Все же очень хочется пользоваться пластиковыми карточками системы Visa, ездить VIP-туристами по миру, заседать в Большой Восьмерке. Во-вторых, советский миф интересен и выгоден консервативным кругам США и Европы для того, чтобы оправдывать собственные провалы, завышенные и не оправдавшиеся ожидания <...> “ястребы-антисоветчики” из Вашингтона и Брюсселя косвенно выступают “стратегическими партнерами” российских поборников “возрождения великой державы”. Причем с позиции как российских, так и западных мракобесов, современная Россия — непризнанное государство».* Далее, уже, кажется, от себя, Маркедонов добавляет: *«Она остается заложницей прошлого и не может прагматично оценить собственные (не советские) ресурсы, реалистично понять свои национальные интересы, определить своих геополитических союзников, партнеров и оппонентов. Для этого нужно сделать то, на что так и не решились за последние 15 лет, — сбросить с себя неподъемный советский груз».*

О национальной идее и национальном проекте размышляет **Денис Драгунский** (**«Утро туманное. Современная Россия в поисках национальной идеи»** — «Неприкосновенный запас», № 50). В 2000 году автор основал Институт национального проекта. В нем в начале 2000-х были предложены четыре сценария развития России до 2015 — 2020 годов: собственно, три национальных проекта и один тупиковый вариант. Первый проект базировался на идее развития институций гражданского общества, местного самоуправления, парламентаризма на всех уровнях. Второй проект — «ударная стройка» не менее чем сорока современных университетских центров на всей территории России, с привлечением средств нефтяного бизнеса. Третий проект — преимущественно инфраструктурный: строительство мощного сухопутно-

го транспортного коридора «Нидерланды — Япония» (российской его части), который мог бы взять на себя до трети контейнерных перевозок, в настоящее время идущих морем. Четвертый же сценарий предостерегал от превращения России в зону транзита — законного транзита невосполняемых ресурсов (энергонасителей), почти законного перемещения нажитых денег на Запад, полузаконного транзита мигрантов, незаконного транзита наркотиков, оружия, пиратской интеллектуальной собственности. Конечно, проект — это еще далеко не идея, чего Драгунский, кажется, не учел. Но теперь он сожалеет: *«потихоньку сбывается именно четвертый сценарий, который можно обозначить как полный национальный кошмар. <...> Жаль, что значительная часть российской элиты (и властной, и вроде бы независимой интеллектуальной) вновь погружается в евразийские сноповидные фантазии. Жаль, что до сих пор так и не определена наша позитивная национальная специфика — в политике, общественном устройстве, в культуре и в повседневности. Парадоксы типа “мы азиаты, но белые” или “Европа сидит на нашей газовой игле” — неглубоки и ничего не объясняют. То есть национальной идеи нет, как не было. Утро туманное слишком затянулось и затянуло нас в воронку советской, а то и самой настоящей архаики».*

Иначе смотрит на суть момента идеолог правящего режима **Александр Дугин** в статье **«Русская ось»** (Правая.ру, 26 марта). Он постулирует: опыт русской истории доказывает, что, несмотря на все различия между эпохами, Россия всегда выбирала самобытную идеологическую модель, противопоставленную Западу. Принцип персонификации власти в лице царя или вождя, идея вселенской миссии, вверенной русским другими народами, связавшими с нами свою судьбу, масштаб централистской империи, отстаивание своей уникальной идентичности — вот, что было осью нашей идеологии во все века, уверяет Дугин. *«Горячая вера, стремление видеть соборную личность во главе государства, исполнение особой миссии, завет соединения огромных континентальных просторов, построение общества на принципах братской любви и социальной справедливости, открытость к народам, разделяющим вместе с нами русскими идею такого построения,— вот то, что лежит в основе нашей ценностной системы на протяжении всех веков».* Естественно, что именно здесь и стоит, по Дугину, искать основы нашей будущей идеологии.

Оппонентом этих идей выступил в «Новом мире» **Валерий Сендеров** («Кризис современного консерватизма», № 1), говорящий, в частности, о «сегодняшнем неоконсерватизме в России», представленном у Сендерова именами М. Ремизова, Б. Межуева, Е. Холмогорова и др. и являющим пример последовательного антизападничества. Сендеров находит у них теологическую ошибку. *«Катехон, апокалиптика, Третий Рим, последние времена... Авторы уверенно и непрерывно оперируют этими понятиями, — и в чем они не правы? <...> сосредоточенность именно и только на Апокалипсисе, фактически едва ли не в отрыве от остального библейского текста, часто приводила к серьезнейшим искажениям христианского сознания, вплоть до так называемой ереси хилизма: ожидание скорого всеобщего конца и “тысячелетнего Царства” вытесняло стремление к мирному “тихому” христианскому житию».* Сендеров указывает на радикализм новых апокалиптиков. О М. Ремизове он пишет: *«Свои очевидные симпатии автор определяет абсо-*

лютно точно: перед нами действительно фашизм...» Далее Сендеров указывает на фундамент идеологии Ремизова, Холмогорова и др.: у них нет понятия Личности, «на месте этого понятия в православно-политической идеологии зияет пустота». В христианстве же нет стадности, толп, «в нем каждый персонально исчислен. Когда же эта персональная исчисленность исчезает — христианство исчезает вместе с нею. Остается лишь оцетинившийся прилагательным конфессионализм. <...> Лучшее и сладостнее всего обернуться к врагу своему азиатской рожей. <...> А ежели обернуться слабо — выходом становится гордая самоизоляция. Можно окопаться в какой-нибудь новой запсковской пустоши — от поганого мира подальше — и прозвать себя Третьим Римом. Тамерланов и Филофеев лики сермяжно-ордынского антизападничества резонно дополняют друг друга. Но те, кому мил какой-нибудь из этих ликов, должны ясно понять одно. Борьба с “Европой” сегодня — не борьба с Фукуямой и Бушем. Это прежде всего борьба с европейским путем собственной страны, со всеми свободами и правами, выпестованными великой западнической Российской империей за XIX век и возрождаемыми в России сегодня. Готовы ли сочувственники “Третьего Рима” быть последовательными? Готовы ли они при “первой необходимости” (а ждать себя она не заставит) отказаться от этих свобод?»

Продолжается и обсуждение проблемы-2008. **Игорь Жордан** в статье «Ловушка для тирана» (NaZlobu.Ru, 5 февраля) вспоминает короля Лира. «Наступит неизбежный и страшный час, когда правитель, выпестовавший авторитарную систему, должен будет уйти в отставку. Как не погибнуть под... демократическими декорациями — с виду такими невесомыми?» Итак, «судьба короля Лира хорошо известна. Он попал в ловушку, сплетенную им самим. Он установил правила игры для тех, кому передавал власть, забыв, что эти правила не подчинены закону, что они действуют только до тех пор, пока действует его собственная воля. С концом его королевской воли наступил конец и правилам, и самому Лиру... Что же делать нашему незадачливому герою, ВэВэПутину, — невысокому лысеющему очень усталому человечку, который прекрасно понимает ужас приближающейся бездны и которому изо всех сил хочется ее избежать? Которому очень хочется надеяться, что в толпе хищных преемников мелькнет не узнанная до сих пор Корделия, от которой придет спасение в нужный миг. Который снова и снова рассматривает на полу своих деревянных солдатиков, надеясь, что они за него сразятся... потом, когда-нибудь. Увы, увьи!»

Иначе видит ситуацию **Вадим Дубнов** («Преемников не бывает» — Газета.Ru, 26 января): «Тому, кто будет после, не требуется быть ни намного слабее нынешнего, ни намного сильнее. Он будет таким, каким требуется в заданной модели элитных договоренностей. Смена иерарха не влечет за собой никакой необходимости менять схему. Отдельные показательные расправы тревожи в элитных массах не вызвали, а частью этих масс вообще были встречены с одобрительным пониманием. Словом, нет никакой тяжелой крышки, под которой вызревал бы страх или протест. Нет даже никаких проблем с внутренним давлением — страна открыта. Пружина сжата ровно в той степени, в какой ее дальнейшего сжатия или, при случае, расслабления никто в массовом порядке уже не заметит. И вечный реванш, который вкупе с

имеющимися ресурсами списывает любую ошибку или глупость. В общем, не деспотия и даже не фарс. Суверенно-серая демократия. Как выясняется, тоже вполне самовоспроизводящаяся модель».

Описывая с кучей цифири деградацию армии (в аспекте вооружений и структурных реформ), военный аналитик **Александр Храмчихин** на GlobalRus.ru (7, 8, 14 и 22 февраля) умозаключает, в частности: лет через десять ядерное сдерживание не будет обеспечиваться. США смогут вполне обоснованно рассчитывать на уничтожение всей этой группировки одним ударом (особенно с учетом полной деградации ПВО). Значительную ее часть сможет, видимо, уничтожить первым ударом и Китай... Но режим, вероятно, и не планирует ни с кем воевать. Назначением нового министра обороны, в прошлом мебелищика, *«армии совершенно четко указано, где ее место. Она у нас для мебели».*

Общество

Виталий Портников полагает, что *«Россия перестала грезить о Советском Союзе» («Миф умер — да здравствует миф!» — «Неприкосновенный запас», № 50).* После «оранжевой революции» на Украине Советский Союз умер по-настоящему. До той поры житель России продолжал *«жить в стране, которую воспринимает и как Россию, и как Советский Союз (или СНГ) одновременно. Он знает имя президента своего государства — Владимир Путин. Его президент без обиняков советует украинцам — таким же, собственно, людям, как и граждане России, живущим в том же самом СНГ»* — избрать своим президентом хорошего человека, Виктора Януковича. И вдруг оказывается, что эти, казавшиеся своими, люди не только не хотят голосовать за хорошего человека, но и ради его поражения неделями живут на центральной площади Киева, штурмуют поезда, устанавливают палатки. Украинцы, ради единства с которыми, собственно, и создавалось Содружество, и распускался Советский Союз, и отпускались на волю другие союзные республики, — оказались другими. Оказались чужими». Вот здесь и появилась новая Россия — она рассталась с мечтой о Советском Союзе, но вспомнила о дореволюционной империи. *«Россия, ощутившая себя крепостью, окруженной кольцом не врагов, но чужих и равнодушных людей, только и норовящих сбежать на Запад, под американский “зонтик”, а пока что наживающихся на российской доброте».* Социологи фиксируют: россияне воспринимают неграждан страны как «чужих». *«Да, они по-прежнему благожелательно настроены по отношению к тем же украинцам или белорусам, но уже точно знают: эти люди в России — не у себя дома. Пусть ремонтируют квартиры, строят дома — и уезжают в свои бедные страны. В России всем места не хватит. Общественное мнение спокойно отреагировало на президентское указание изгнать иностранцев с рынков. То, что среди этих иностранцев окажутся не только не пользующиеся популярностью среди посетителей рынков жители стран Закавказья, но и вполне русскоязычные торговцы откуда-нибудь из Крыма, не взволновало практически никого».* В этой «другой России» «национальными категориями начинают мыслить уже не только обыватели, не только привычно ищущая виновного в своих бедах на чужой улице, люмпенизированная

часть общества, но и вполне респектабельные политические деятели. В этой России уже привыкли к выходкам скинхедов, нападающих на иностранных студентов в тихих провинциальных городах. К неблагополучию на Кавказе, который вроде бы и Россия — но какая-то другая. <...> люди, строящие осажденную крепость на песке, живут во много раз лучше... Их прошлое удачно, их настоящее транслируется по всем телевизионным программам, переполненным отрежиссированной официальной хроникой, их будущее обеспечено. <...> Подмосковная Жуковка с роскошными бутиками и ресторанами, цены в которых превышают цены в Лондоне или Нью-Йорке, со светской жизнью “а-ля рюс” — лишь одна из многих манящих иллюстраций того, как сегодня можно жить в России. <...> И все же это уже другой — постсоветский, а значит, цветной мир. Советская Россия, как, впрочем, и весь Советский Союз, была обществом серым, скучным, обществом очень похожих людей и обычаев. <...> Современная Россия — это десятки не соприкасающихся между собой сообществ, живущих очень по-разному. Это и власть, все еще мечтающая править с большевистским размахом, но пока что удовлетворившаяся демонстрацией своих успехов по телевидению. И бизнес-элита, живущая в совершенно далеком от российских реалий мире лондонских экономических форумов и швейцарских горнолыжных курортов. И активная часть россиян, понемногу превращающаяся в средний класс, учащаяся делать дорогие покупки, путешествовать за рубеж, осваивать собственную страну, — но этих людей все еще трагически мало, и они отнюдь не склонны интересоваться политикой, более того, они стараются не связывать свой жизненный успех с происходящим в России. Это Россия глянцевого журналов и деловой прессы, Россия, заканчивающаяся за московским Садовым кольцом, но зато очень привлекательная, европейская, интернетная... А в нескольких остановках метро — маргинализирующиеся спальные районы с их трудной жизнью, снимающими однокомнатные квартиры молодыми семьями и приезжими из глубинки. А в нескольких остановках электрички от спальных районов — все еще идет привычная советская жизнь, нарушаемая разве что нашествием дачников-москвичей. И только реставрирующиеся церкви, в которых раньше танцевали на дискотеках или хранили картофель, напоминают своими взметнувшимися в васильковое русское небо куполами, что коммунизм кончился... А дальше — еще одна Россия, Россия поволжских республик, Россия Татарстана, только недавно бившегося с Москвой за право перевода татарского языка на латиницу... А ведь есть еще Кавказ, который — отнюдь не одна страна, но много различных стран, обществ, народов, проблем. <...> А ведь если полететь на Дальний Восток, побывать где-нибудь на Камчатке или на Сахалине, мы увидим еще несколько России. Журналы путешествий... описывают находящийся всего в нескольких минутах речного путешествия от Китая Благовещенск с его китайскими вывесками, ресторанами, магазинами и приезжими из, казалось бы, далекой страны, которые остаются здесь — и в других близлежащих регионах Российской Федерации — навсегда. <...> И все это множество цивилизаций должно сохранить себя, не поссориться с соседями, научиться уважать себя и других».

Директор ВЦИОМ по исследованиям **Владимир Петухов** («Граждане могут сильно удивить власть на выборах-2008» — Point.Ru, 29 января)

формулирует парадоксы социальности в современной России: *«Потребительский бум и чувство бесправия. Политическая пассивность и готовность к погромам. Всеобщий прагматизм и вера в демократические ценности»*. Страхи 1990-х годов — распад страны, гражданская война, экономический коллапс и т. д. — остались в прошлом. Заметно снизилась угроза терроризма, а «чеченский фактор» переместился на периферию общественного внимания. Быстрыми темпами идет формирование среднего слоя. Сегодня к нему можно причислить от трети до 40% занятого населения. Между тем политическая и социальная стабильность сама по себе перестает восприниматься значительной частью населения (в первую очередь молодежью) как приоритетная ценность, а выход страны из экономического кризиса резко повышает планку общественных притязаний активных слоев населения. Увеличение числа людей, способных к активному потреблению, причем не только товаров, но и качественных услуг, застало врасплох нашу государственную систему. Большинство услуг, предлагаемых сегодня населению государством, либо откровенно низкого качества, либо недоступно по цене даже для людей со средним достатком. Все менее доступными становятся не только жилье, но и качественные медицинские и образовательные услуги, отдых. Показательная ситуация с обманутыми дольщиками, когда вполне благополучные люди, которые много работают, неплохо зарабатывают, оказались не в состоянии решить проблему элементарного «кидалова» с жильем. Все менее понятно, каким образом средний слой может конвертировать свои знания, опыт, навыки, приверженность моральным ценностям в материальный достаток и карьерный рост. Люди не видят, как в этом им могут помочь демократические институты. Произошла прагматическая селекция демократических ценностей, в результате чего на передний план вышли те из них, в которых есть реальная заинтересованность, либо те, которые в последнее время оказались «дефицитными». В первую очередь это весь комплекс социально-экономических прав и свобод, а также такие ценности, как равенство всех граждан перед законом и независимое судопроизводство. Ни того, ни другого на практике наша демократия де-факто не обеспечивает. И поэтому отношение к ней большинства граждан можно охарактеризовать как *«выжидательный скептицизм»*. Происходит внешне малозаметная, но вполне ощутимая перегруппировка «активных» и «инертных» в политическом отношении групп и слоев. Социальные «низы» теряют интерес к политике и общественной деятельности, в то время как средние слои, напротив, начинают чаще ею интересоваться, а кое-где и участвовать в ней. Главным признаком такой активности является широкое распространение в последние годы движений «одного требования» (обманутых дольщиков, автомобилистов, жителей сносимых домов и т. п.), которые, с одной стороны, спонтанны, а с другой, — неплохо организованы и, как показывает практика, порой весьма эффективны. Проблема массовости участия сегодня уже не столь актуальна, как раньше. Прошли времена, когда политика начиналась там, где миллионы. Сегодня даже небольшие группы активистов благодаря современным средствам коммуникаций могут оказывать заметное влияние как на общественное мнение, так и на власть. *«Конечно, далеко не все из вновь создаваемых объединений отстаивают либе-*

ральную идеологию, как этого хотелось бы доморощенным и импортированным теоретикам гражданского общества. “Живое творчество масс” только за последнее время породило, например, такие пугающие многих явления, как ДПНИ (движение против нелегальной иммиграции. — Ред.). К этому можно добавить, что, как сообщает Страна.Ru (23 января), 52% опрошенных социологами ВЦИОМ россиян заявили, что, даже если бы у них был выбор, они предпочли бы жить в современной России. Год назад современность другим временам предпочли лишь 39% респондентов. Следующий по популярности среди россиян период — время правления Леонида Брежнева. Застойные годы с удовольствием вспоминают 26% наших сограждан, тогда как год назад вернуться в этот период хотел бы 31% респондентов.

Между тем **Роман Доброхотов («Неединая Россия»** — «Новые известия», 18 января) привлекает другие данные и других экспертов, чтобы показать, что, пока часть страны переживает нефtedолларовый подъем, провинция продолжает вымирать. Примерно треть населенной территории России — это депрессивные регионы, где ситуация с каждым годом не только не улучшается, но и становится хуже. Развиваются только сырьевые регионы, регионы, которые включены в транспортную структуру, — рядом с аэропортами, крупными дорожными и железнодорожными магистралями, портами. Расслоение идет и на уровне отдельных городов, микрорайонов. Но здесь еще много хаоса.

Сергей Градировский в статье «Миграционная политика исторического поражения» (ПОЛИТ.РУ, 16 февраля) говорит, что «сегодняшняя миграционная политика РФ — это беда прежде всего самой России. <...> Что мы видим: политику открытых дверей на входе (безвизовый режим + претензия на “осевое положение” на постсоветском пространстве) и разрушительный, не в последнюю очередь для самой же системы управления, произвол внутри страны. <...> Такая политика может привести только к одному: отвалить от России, отпугнуть всех тех, у кого существуют хоть какие-то альтернативные варианты миграции. <...> Таким образом, из-за своей корысти, трусости и ксенофобии Россия последовательно, хоть и неосознанно, проводит отрицательную селекцию входящего потока». Три страны Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан — являются нашими ключевыми донорами на ближайшие десятилетия. Двадцатипятимиллионный Узбекистан (через 20 лет — тридцатипятимиллионный) станет ключевым, практически неиссякаемым источником дешевой рабочей силы. Рассуждая о попытке привлечь русских из СНГ в Россию, Градировский пишет: «Государственная программа добровольного переселения соотечественников — шаг слабый. Она (по факту наблюдаемой реализации) имеет основательный этнокультурный крен, но все же не настолько сильный, чтобы осмелиться перейти на позицию этнической репатриации, собиравая “своих по крови”, как это делают Израиль или Германия. Но такое решение не стало бы для России спасительным и запустило бы глубинные процессы сворачивания возможностей Москвы в направлениях традиционной внешнеполитической активности. А собирать “своих” по праву “советской почвы” не позволит малодушие и далеко зашедшее попустительство этнонационалистам. Выскребая остатки русских из окружающих нас стран, мы сворачиваем русскокультур-

ное присутствие в этих странах, тем самым закладывая на будущее ситуацию куда большей социокультурной дистанции соседних территорий. Это политика отрицания российского и советского наследства. Это политика исторического поражения».

На ПОЛИТ.РУ публикуется также отчет с конференции Аналитического центра Юрия Левады «События и тенденции 2006 года в общественном мнении» («От политики к реальности», 16 февраля). Подводя итоги 2006 года, Борис Дубин резюмировал: *«год был ничего»*. Это был год успокоения, привычки, равнодушия, самоугаваривания, год отсутствия шоковых событий, но не надежды. Лев Гудков рассказал о результатах исследования «Элита и массы». В течение 8 — 9 лет социологи отмечают общее «посредствие» людей, когда разные социальные группы теряют свою специфику, исчезают различия между ними, «наступает эпоха усреднения». Ученые наблюдали ситуацию «глухой закрытости»: чтобы получить одно интервью, надо было предпринять около 35 попыток без гарантии на успех (с такими же проблемами сталкиваются и другие социологические фонды). Люди говорили: «Почему я? Я не элита». Из выводов левадовцев: с 1998 — 1999 крайне трудно увидеть следы влияния какой-либо элиты. Одновременно с ослаблением влияния элиты, в риторике политологов тема элиты усиливается, она становится и инструментом политтехнологии, и системой объяснения. Советские великодержавные комплексы сохраняют свою силу, а новые комплексы значений: свобода, демократия, либерализм и др. — остаются очень слабо проработанными. По мнению исследователей, идея элиты является дополнительной, замещающей по отношению к двум базовым иллюзиям 1985—2000 годов: 1) возможна демократическая модернизация сверху: стоит запустить процесс, и далее все само пойдет; 2) *«парадоксальным образом идея элиты связывается с идеей об экономическом детерминизме и укладывается в логику авторитарной модернизации»*... Если на Западе действуют автономные, не зависящие от власти, механизмы формирования элиты, то в России элита назначенная. Авторитет утвержденных на определенные позиции людей базируется не на их компетенции, моральном авторитете, достижениях в науке, труде и пр., а на авторитете назначившей их инстанции. По мнению опрошенных, власть опирается в своей деятельности не на интеллектуалов или предпринимателей и другие группы, которые могут задать России какое-то движение, а на силовиков, которые не обладают достаточной компетенцией, символическими ресурсами и не в состоянии придать стране какой-либо новый модернизационный импульс. Получается, что у президента нет команды, способной модернизировать Россию. Сквозь успокоительную идеологическую риторику об особом пути развития страны людям видится базовый мотив поведения назначенной элиты: это не модернизация, а «цинические, шкурные мотивы, борьба за власть и стремление ее удержать, сознание временщиков». Главный вывод: *«Российская элита неспособна как целое»,* ее характеризует *«чрезвычайно высокий уровень группового цинизма и в то же время уровень групповой сплоченности — все держатся за власть, все ориентируются на власть и считают ситуацию крайне нестабильной... К действительной политике модернизации эта элита отношения не имеет»*. Татьяна Ворожейкина проанализировала ответы респондентов на вопросы

о событии года и человеку года и отметила, что практически все события, отмеченные россиянами, индуцированы властью и государством. Кого власть предлагает на роль врагов или героев, того общество таковыми и признает. Это позволяет сделать вывод о «беспозвоночности» россиян. Две тысячи шестой оценивается комментаторами как скучный год, вся политика непублична, осуществляется наверху, при этом как в России, так и во всем мире отмечается новый тип пустой, церемониальной и иллюзорной политики, так называемой politics light (по аналогии с «облегченными» вариантами «кока-колы» или йогурта). Судя по ответам респондентов, максимально состоявшаяся, самая инициативная часть населения России предпочитает заниматься семьей и личной карьерой, уходя от решения проблем страны — «никакой готовности к коллективному действию они не демонстрируют».

Владимир Голышев («Приказано: выжить!» — NaZlobu.Ru, 7 февраля; Каспаров.Ру, 20 февраля) предлагает считать, что мы находимся в оккупации. В действиях руководства Российской Федерации он видит признаки двух взаимоисключающих стратегий: *«последнего ханка»* и *«туркменской модели»*. Первая предполагает окончательное допиливание миллиардов до 2008 года. Вторая — построение на территории России сырьевой деспотии туркменского типа, *«Русистана»*. Голышев полагает, что Русистан вполне реален, потому как *«у Путина и путинцев есть сомнения в возможности красивого “отхода на Запад”. А раз есть риск остаться в этой стране навсегда, нужно создать для этого соответствующие условия. <...>Некуда им бежать с подводной лодки. А такие пустяки, как человеческая кровь, их не остановят»*. Но *«если путинщина сможет себя воспроизвести в 2008 году и переживет грядущий экономический кризис, задействовав репрессивные и пропагандистские инструменты, наша государственность навсегда перестанет быть российской (русской она никогда не была)»*. Как в этих условиях жить? Голышев полагает: единственно адекватная модель — жизнь на оккупированной территории. Пассивная позиция: выживание и сохранение всего того, что было приобретено до оккупации. Активная позиция: *«позиция партизана, то есть человека, сознательно наносящего оккупанту урон»*. Отказ от сотрудничества. Уклонение от повинностей. Выезд из страны. Малая корпоративность (любого типа) как фактор, помогающий выживать за счет взаимовыручки. *«У России сегодня есть только один шанс — множество точек сопротивления по всей стране в какой-то момент сольются в солидарные группы, способные, каждая на своем уровне, защищать интересы своих, создавая для оккупантов проблемы. Если таких групп будет достаточно много, путинский “Русистан” развалится, как трухлявый пенек. А виновники его гибели смогут учредить новое государство, как это сделали американские колонисты триста лет назад»*.

Оппозиция. Революция. Улица. Национализм

Главная тема здесь — новые публичные формы деятельности внесистемной оппозиции: уличная активность, кульминация которой — разнообразные марши. Основная проблема — видение (и сотворение) новой нации.

Либеральный публицист **Леонид Радзиховский** в статье **«Под ними хаос шевелится»** (сайт ВЗГЛЯД, 2 марта) по поводу годовщины Февральской

революции 1917 года говорит, что социальная динамика 1917 года напоминает «до смешного» процессы 90-х годов. *«Размах — не тот, результат — противоположен. <...> И исторический вывод очевиден. Против двух экспериментов не пойдешь. Российская империя в границах 1917— 91 годов отжила свое. Нежизнеспособна, в третий раз ее не будет».* Принципиальнее другой вывод Радзиховского, вдруг обнаружившего, «что парламентская республика — не для нашего климата. Выбора: парламентская демократия или авторитарный режим — в России нет. <...> Реальный выбор другой: между кровавой диктатурой большевиков и мягким буржуазно-бюрократическим авторитаризмом. В 1917 сорвались в первое, в 1990–2000-е удалось зацепиться за второе». И потому Радзиховскому остается закидывать либеральных сторонников уличного протеста против нынешнего режима: «с чем и на какую улицу люди призывают выходить? Увы. Как в 1917-м, так и сегодня от “улицы” ничего приятного для либерально настроенных людей ждать не приходится. Дезертирство (“немедленный мир”) — вот был лозунг улицы 1917. Национализм — вот лозунг улицы 2007. Другого она (улица) не услышит». Национализм страшит Радзиховского. И он, по сути, воспроизводит знаменитую пораженческую формулу Гершензона в «Вехах»: будем молиться на гнилой режим и прятаться от улицы за его штыками, авось пронесет.

Национализм как зловеющий жупел сочиняет и **Сергей Черняховский** («Идеология национальной усталости» — АПН, 11 января). Он у нас, полагает впавший в крайность автор, тотально выродился в этносепаратизм, зовущий к обособлению: *«Мы развалим нашу страну и сами будем жить “без чужих” в том осколке, который от нее останется»; «нам никто не нужен, проживем сами», «хватит кормить инородцев».* Русские этносепаратисты, утверждает Черняховский, зовя к «очищению России», зовут к ее дальнейшему разделу и уменьшению. А поскольку никакого сверхпроекта будущего они тоже не предлагают, они, похоже, просто не хотят напрягаться. Этносепаратисты апеллируют к тому, что «русский народ устал нести имперское бремя», понимая под русским народом самих себя любимых. Потому, что если кто-то не устал, он признается минимум «не вполне русским». Отсюда — тезис: «Империя нужна полукровкам». Вместо идеи «народа-богоснца», вместо идеи народа — строителя коммунизма, вместо идеи народа — потенциального спасителя человечества, — идея народа с одним цветом глаз, — народа, который живет, потому, что живет, и большего ему в жизни не надо. Да любой нормальный русский удавится или запьет с тоски от такой перспективы... Абсолютизовав одну из тенденций, Черняховский живописует ее закономерный финальный пункт: *«В конце концов, они провозгласят “Истинную Русь” в Суздале или Звенигороде... — и здесь, наконец, обретут благолешие и истинную этническую благодать. Там они действительно заживут без забот. Потому что превратятся в континентальный музей-заповедник, в который из других стран мира будут возить экскурсантов, чтобы показать, чем кончаются этнические игры, и экскурсанты будут кидать евроценты и просто центы бывшим певцам этносепаратизма, играющим на баяне и на бис после стакана медовухи или поднесенной иным англосаксом “Белой лошади” выкрикивающим: “Слава России”».*

А Егор Холмогоров («Сепаратизм и опричнина» — АПН, 14 февраля) обнаруживает, что наши сепаратисты взывают к древнему архетипу русской политики, архетипу «опричнины» — территории с чрезвычайным режимом, на которой предполагается установить некий идеальный, более совершенный порядок, чем на остальной земле, в «земщине». Но замысел опричнины был связан с идеей локомотива для всей страны. В то время как без-смысленный, спровоцированный пространственным коллапсом нации «русский сепаратизм» так и остается «опричниной» без царя в голове.

Холмогоров, Радзиховский и Черняховский пугают, но страшно не всем. Не всех вводят в ступор национализм как таковой и уличная вольница как таковая.

Идеолог-другоросс **Станислав Белковский** (LentaCom.Ru представляет стенограмму его пресс-конференции, прошедшей 22 марта в Нижнем Новгороде) считает: *«Улица сегодня — инструмент достижения определенных целей, политических и неполитических, просто потому, что механизм обратной связи с народом разрушен»*. Только улица рождает лидеров, когда традиционные механизмы воспроизводства элит разрушены. Единственный эффективный способ давления на власть — уличная политика. Белковский уверен: нынешняя правящая элита уходит. Эта элита никогда не была ориентирована на модернизацию. Она была ориентирована на утилизацию советского наследства, на использование государства в своих частных интересах, и, естественно, ей была нужна политическая стабильность. Для обеспечения этой стабильности правящая элита использовала риторику, а также политтехнологические ходы, которые позволяли ей выглядеть в глазах народа национально ориентированной. У Путина была цель закрепить результаты приватизации и обеспечить возможность обналичивания власти и собственности и легализации на Западе. На это и ушли восемь лет. Этот цикл завершен. У власти в России на следующем этапе может закрепиться только тот, кто будет осуществлять модернизацию. По Белковскому, стратегическая задача «Другой России» — сформировать идеологические контуры новой элиты. Это не движение, не партия. Это дискуссионная площадка. Она объединяет людей разных идеологий и единых в одном — в том, что путинской системы быть не должно, что она вредна и пагубна для России. Далее, вторя Радзиховскому, и Белковский утверждает: мы, безусловно, должны избежать революции, в России всегда революции являются не причиной, а следствием распада власти, поэтому самые разные темные энергии в этот момент выходят на поверхность и могут привести к сокрушению государства. «Другая Россия» создавалась как альтернатива, возможность избежать аварийного сценария, но вместе с тем поменять систему.

А пока что **Игорь Жордан** в статье «Зачем мы вышли?» (NaZlobu.Ru, 6 марта) просто исходит из неизбежности протеста. *«Сейчас невозможно предугадать, как и каким образом будет происходить рождение новой России-Руси, какой она будет. Но я знаю одно: свободная Россия-Русь — это страна, в которой народ создает свое государство. Нынешняя Россия — Россия имперская, советская, путинская, Россия «эзфовская» — это страна, в которой государство пожирает свой народ. Если русский народ захочет выжить, ему придется Россию реформативировать. Это значит — сначала реформа-*

тировать себя самого: стать ответственным, независимым, способным на поступок и самостоятельный выбор. Начинать придется с себя. Вот мы и начали — с себя. Вот затем мы и вышли. Мы вышли, чтобы начать создавать новую русскую нацию — нацию свободных людей. Создавать эту нацию внутри разлагающейся имперской. Марши несогласных по стране — это метки на пути создания новой русской нации. Мы — русские, поскольку наши помыслы и чаяния связаны не с Китаем или Польшей, Америкой или Грузией, но с сотворением новой, свободной России-Руси. Это будет наша страна. Людей с волосатыми сердцами мы просим отойти, чтобы не попасть под горячую руку. Им представится восхитительная возможность сгнить на руинах империи».

Не бояться революции. Таков посыл **Ильи Переседова** («Где революция?» — NaZlobu.Ru, 7 марта). Сами по себе революции в России не были кровавыми, а характеры революционных переворотов и разгул постреволуционного террора определялись у нас не активностью, а, наоборот, пассивностью населения. «...если что-то и грозит нам провокацией репрессий, разгулом экстремистских банд, произволом криминала, то в первую очередь гражданское равнодушие и молчание. То, что в нас по сей день глубоко сидит страх публичного оглашения личной позиции, а всякое открытое несогласие рождает ощущение крамолы, выдает наше происхождение из советского интерната для глухонемых». На произвол власти общество может ответить либо организованным гражданским недовольством-сопротивлением, либо молчаливым прикрытием экстремистских бесчинств. Второй сценарий кажется Переседову гораздо опаснее первого. Участие в Марше несогласных подарило многим уникальный опыт: почувствовать себя свободными людьми. Это чувство независимости от авторитарной власти, переживание ожидаемых последствий гражданского выбора. Но в то же время эта акция в момент проведения не несла в себе никакого содержания, кроме констатации несогласия. Переседов призывает ускорить процесс выработки «*позитивной идеологии*». Хуже всего, если более чем сомнительная риторика НБП будет лишь сопровождаться рассказами демократов об ограниченности народного терпения, а не опровергаться популяризацией либеральных идей.

Четко излагает тактику сопротивления мусульманам с Урала **Даниял Туленков** («Русский Майдан: инструкция по применению» — NaZlobu.Ru, 27 марта): «...Итак, первый пункт нашей программы: самоорганизация на местах. Последний — Майдан в Москве».

А нижегородец **Захар Прилепин** («Господа офицеры, думайте своей головой!» — NaZlobu.Ru, 20 марта) в этой же связи обращается уже к представителям исполнительной власти и местным правоохранителям с предостережением: «У вас должна быть своя голова, слышите, нет? Идите, правьте ее на плечах. Ваш Путин скоро уйдет, господа. Ваша «Единая Россия» скоро смоеет себя в сортире, и только усы безвременно постаревшего Грызлова останутся плавать в белой воде. Что вы будете тогда делать? Думайте, думайте. Никто за вас думать не будет».

Ну а как же национализм? Скорей нужно говорить о национализмах. Единых в неприятии режима, но программно весьма разных.

Обширный трактат на сей счет представил **Владимир Голышев** («Национализм, который победит (материалы к манифесту)» — NaZlobu.Ru, 11 января). Свои соображения он завершает так: *«До последнего времени национальное движение находилось в определенной изоляции, не имея точек соприкосновения с левой и либеральной частью политического спектра. Это было обусловлено: — негативным отношением к “демократической риторике”, дискредитированной в 90-е годы; — ставкой на “сильную патриотическую власть” как залог национального возрождения; — приверженностью “традиционным ценностям” и настороженным отношением к прогрессу; — ошибочным отождествлением русского народа и русской нации, дававшим основания для обвинений в “этнонационализме” и пр. В данный момент многие из этих факторов утратили свою силу. <...> Представление о русской нации как о коллективном носителе достижений русской цивилизации и создателе ее будущего позволяет переформатировать современный русский национализм так, что он будет принят и признан всеми ответственными политическими силами и главное — подавляющим большинством населения страны. <...> Каждый ответственный гражданин России (независимо от этнического происхождения) должен понять, что он — русский националист».*

Язычник-антиэтатист **Алексей Широпаев** в статье «Весна на протестной улице» (NaZlobu.Ru, 13 марта) рад тому, что *«в российскую политику возвращается революционный ветер улицы, не гулявший с осени 93-го года».* Конец чиновной стабильности, облаченной в мундир царского покроя, моде на «консервативные ценности», на церковно-государственный традиционализм. Улица снова становится и ареной, и субъектом политики. Кончается эпоха чиновной имитации политической жизни. Но вот в движении «Другая Россия» Широпаеву чудится присутствие российской имперско-бюрократической идеологии. Ему нужна не «Другая Россия», а другая страна на месте России, некая «Гардарика». *«Ткань этой, другой страны уже зарождается в недрах регионалистских объединений и краеведческих клубов, на народных сходах в режиме прямой демократии — от Кондопоги до Бутovo. Это — возникающая, пока еще в тонком, духовном пространстве, “новая Гардарика”, конфедерация свободных земель, снова обретающих свою идентичность, когда-то задавленную центром».*

О судьбе русского либерализма задумался **Юрий Коргунюк** («Союз пасивных сил» — Газета.Ru, 19 марта). Риторика его мрачна: *«Мутная лужа популизма растеклась по всему политическому полю, от края до края. <...> У всех одна цель — выжить во что бы то ни стало. И если эта цель требует пожертвовать прозрачными принципами — что ж, жертва будет принесена. <...> Видимо, либерализм окончательно сделался уделом маргиналов или беспартийных интеллигентов. <...> Впереди бесконечно долгий левый дрейф, бесконечно долгая полярная ночь. И неизвестно, когда наступит рассвет и наступит ли он для нас. Бывали уже в российской истории поколения, расцвета так и не дождавшиеся».*

А вот **Алексей Лапшин** по этому поводу не горюет («Узурпаторы смыслов» — Каспаров.Ru, 20 марта). Нужно отказаться от привычной политологической терминологии. Сам факт союза правых и левых, национал-большевиков и либералов вызывает у традиционно мыслящих аналитиков ра-

стерянность. Но в политических условиях, созданных путинским режимом, союз левых и либералов даже более естественен, чем *«патриотическая коалиция, действовавшая в прошлое десятилетие»*. Появление такого движения, как «Другая Россия», — не результат произвольного решения нескольких человек, а следствие исторической необходимости. *«По сути “Другая Россия” — первая в нашей стране демократическая коалиция, идеологически не связанная с советским прошлым. <...> Произошедшее объединение либералов, левых и патриотов покончило с зависимостью от советского прошлого. Теперь единой оппозиции необходимо выработать свой новый язык, убедительно для всего народа демонстрирующий ложность утвердившейся в нашей стране политической системы. Главное — убедить людей, что интересы номенклатурно-олигархического государства РФ и страны Россия неравнозначны и даже противоположны друг другу»*.

История

NewsInfo излагает содержание статьи **Егора Гайдара** в журнале «The New Times» (5 марта). Анализируя сделки ЮКОСа 90-х годов, бывший первый вице-премьер Гайдар приходит к выводу, что они были легальными. Хорошо это или плохо, но это было по существующему тогда законодательству легально и государством не оспаривалось. Теперь же это ставится Ходорковскому и Лебедеву в вину. Гайдар пеняет: история России XX века — печальный памятник принципам революционной «законности», когда право было подменено целесообразностью.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Документальная повесть Виктора Левенштейна «За бутырской каменной стеной», главы из которой (в журнальном, сокращенном варианте) мы предлагаем сегодня вниманию читателей, рассказывает о годах, проведенных автором в советских тюрьмах и лагерях по сфабрикованному в НКВД громкому политическому делу.

В 1944 году сотрудники НКВД арестовали 13 московских молодых людей, в большинстве своем студентов, и обвинили их ни много ни мало в подготовке к убийству товарища Сталина. Сшитое на живую нитку дело «зверенышей», как их обзывали в НКВД, не имело под собой никаких иных оснований, кроме желания чекистов выслужиться и добиться новых званий и наград. Один из тринадцати осужденных действительно погиб в заточении, один умер через 10 дней после освобождения, еще один скончался через полгода после выхода из заключения от заработанной в неволе неизлечимой болезни, остальные вышли на свободу после смерти Сталина, оттрубив в лагерях и тюрьмах кто 10 лет, кто чуть меньше.

Все это были очень талантливые люди, и дальнейшая их судьба, когда они оказались на свободе, подтвердила это со всей неопровержимостью. Михаил Левин стал крупнейшим физиком, одним из создателей знаменитой на весь мир Горьковской школы радиофизики. Светлана Таптапова — доктор медицинских наук, известный в Москве логопед. Валерий Фрид и Юлий Дунский стали известными кинодраматургами (авторы сценариев к фильмам «Служили два товарища», «Экипаж», «Затерянный в Сибири», «Жили были старик со старухой» и многих других). Александр Гуревич, подружившийся в лагере с А.И. Солженицыным, стал экономистом. Марк Коган до ареста был студентом Юридического института, а выйдя из заключения, окончил заочно два института, защитил диссертацию и приобрел заслуженную известность как один из самых авторитетных московских адвокатов.

Автор публикуемой книги Виктор Матвеевич Левенштейн родился в 1922 году в г. Николаеве. В 1940 году поступил на физический факультет МГУ, в 1944 году был арестован в Москве вместе с другими двенадцатью «зверенышами» за участие в «антисоветской молодежной террористической группе» и провел пять лет в лагерях, а затем еще пять лет в ссылке. В 1957 году он закончил Московский горный институт, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию и работал старшим научным сотрудником в одном из московских исследовательских институтов. В 1980 году эмигрировал в США, где, несмотря на вроде бы солидный уже возраст (ему исполнилось 58 лет), прошел по конкурсу и был принят на работу в крупную фирму, стал проектировать горные комплексы (его машины сейчас внедрены в США, в Южной Америке и Южной Африке, в Европе и в Австралии), получил три патента на свои изобретения и пользуется ныне огромным уважением в инженерном мире Соединенных Штатов. Несколько лет назад опубликовал книгу «Повесть о моем отце» (М., 2001).

В числе арестованных были и три женщины. Елена Бубнова — дочь расстрелянного Сталиным члена первого Политбюро партии большевиков, затем наркома просвещения — училась в школе вместе с Левенштейном, вышла замуж за своего одноклассника Владимира Сулимова. Его чекисты «выдвинули» на роль главаря банды террористов, вознамерившихся убить Сталина. Сулимова уморили в тюрьме, а Лена Бубнова выжила, закончила институт, стала научным сотрудником Исторического музея в Москве. Арестована была и мать Володи Сулимова, Анна Афанасьевна. Третьей соучастницей дела была Нина Ермакова — до ареста студентка Станкоинструментального института. По сценарию энкаведэшников она играла в «террористической группе змеенышей» важную роль: именно из ее квартиры на Арбате заговорщики якобы собирались обстрелять из немецкого пулемета машину Сталина и убить его, когда он ехал из Кремля в Кунцево.

Большинство подсудимых были доведены в ходе допросов до признания невменяемости и подписали самооговоры. Однако в результате ходатайств уважаемых людей дело было подвергнуто тщательной проверке, и вот тогда-то выяснилось, что сфабрикованный на Малой Лубянке «террористический заговор» не подтверждается никакими уликами. Однако никого из арестованных не освободили и обвинения в терроре с них не сняли. Более того, через три года (когда ему исполнилось пятнадцать лет) арестовали Ваню, младшего братишку Алексея Сухова. Нина Ермакова вышла по амнистии в 1945 году. Она была сослана в пригород Нижнего Новгорода (в то время Горького), там познакомилась с физиком В.Л. Гинзбургом и вышла за него замуж. Тогда он был доктором физико-математических наук, затем стал академиком, а недавно получил Нобелевскую премию.

Вот об этом «деле» и рассказывает В.М. Левенштейн. Его повествование дополняет многими новыми и очень важными деталями и фактами, помогающими лучше представить себе и понять механизм преступной «ленинско-сталинской» репрессивной машины, книги А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова и Е.С. Гинзбург.

Валерий Сойфер,

профессор и директор
лаборатории молекулярной генетики
Университета им. Джорджа Мейсона (США),
член редколлегии «Континента»

«ЗА БУТЫРСКОЙ КАМЕННОЙ СТЕНОЙ»¹

*Моей жене Доре с любовью и благодарностью
за поддержку, участие и неоценимую помощь*

... А слова той песенки сложились
За Бутырской каменной стеной...

Из тюремной песни

1. Следственное дело № 7375

Ночью 19 мая 1944 года мы с мамой проснулись от стука в дверь.

— Милиция. Проверка документов.

На пороге стояли трое людей в военной форме. Я узнал синие погоны госбезопасности. Чернобровая кавказского вида физиономия одного из пришедших испугала меня своим зверским выражением. Они предъявили мне ордер на арест и обыск. Чернобровый (у него были погоны майора) спросил:

— Оружие есть?

— Н...нет, — ответил я испуганно.

Я вспомнил, как семь лет до этого арестовывали моего отца. Тогда его не спрашивали об оружии. «То ли у них порядки теперь другие, то ли я влип в скверную историю», — подумал я.

Обыск они закончили быстро: мы с мамой жили в одной маленькой комнате. Отвезли меня на Лубянку, и на следующий день следователь объявил, что меня арестовали «как участника антисоветской террористической молодежной группы в городе Москве».

— Что это значит: «террористической»? — спросил я.

— А то значит, что вы, змееныши, товарища Сталина собирались убить...

Шел мне тогда 22-й год...

В конце мая 1993 года мы с женой на неделю прилетели в Москву из Соединенных Штатов, где живем с 1980 года. Мы узнали, что Федеральная служба безопасности России дает возможность жертвам сталинских репрессий читать материалы следственных дел.

Приемная ФСБ России была на Кузнецком Мосту, напротив зоомагазина. Место знакомое: мы с матерью ходили туда в 1937 году узнавать об арестованном отце. Я сказал дежурному о причине моего прихода, он позвонил по телефону, и несколько минут спустя появился человек с папками в руках. Он проводил меня в соседнюю комнату, где за двумя примыкающими друг к другу столами сидели шесть или семь седых женщин. Они делали выписки из лежащих перед ними раскрытых дел. Я сел. Передо мной лежали две папки. На обложке первой было написано:

¹ Журнальный вариант.

Дело № 7375

начато 19 мая 1944 г.

окончено 1 февраля 1945 г.

Это было мое следственное дело... Погас свет летнего московского дня за окном. Я погрузился во мрак и отчаяние моего следствия.

Дело открывалось следующим документом:

Объяснение подполковника Букурова

В 1944 г. Свердловским Райотделом УНКГБ г. Москвы по агентурному делу «Змееныши» была арестована молодежная антисоветская группа, состоящая в основном из лиц, родители которых в свое время были репрессированы органами Советской власти за вражескую работу². В антисоветскую группу входили: Сулимов В.М., Сулимова-Бубнова Е.А., Дунский Ю.Т., Фрид В.С., Сухов А.В., Михайлов Ю.М., Гуревич А.С., Левенштейн В.М., Коган М.И., Левин М.Л., Ермакова Н.И., Таптапова С.Л., Каркмасов Д.Э.

До оперативной реализации агентурного дела и ареста проходящих по нему лиц, наряду с оперативно-агентурными мероприятиями, по делу в январе—апреле 1944 г. был проведен ряд литерных мероприятий: на квартире Сулимова был установлен литер «Н», за Сулимовым, Дунским, Фридом и другими был проведен литер «НН».

Полученные от агентуры материалы и материалы литерных мероприятий свидетельствовали о наличии антисоветской группировки, состоящей из вышеуказанной молодежи.

14 апреля 1944 г. были арестованы Дунский и Фрид, и Дунский дал показания об антисоветской деятельности. 20 апреля 1944 г. Фрид подтвердил показания Дунского. На основании оперативных материалов и показаний Дунского и Фрида в апреле — мае были арестованы Сулимов, Сулимова-Бубнова, Гуревич, Сухов, Михайлов и Левенштейн.

Следствие вначале велось Следственным отделом УНКГБ Московской области. Впоследствии дело... было передано в Следственную часть по особо важным делам НКГБ СССР. Обстоятельства были таковы: родители Левина обратились с заявлением в НКГБ СССР с какими-то просьбами в отношении своего сына. Для проверки зам. начальника Следственной части по особо важным делам Родос и Шварцман приезжали в Управление, знакомились с материалами, и дело в результате этой проверки было взято...»³

² Я узнал позже, что 15 августа 1937 года был подписан приказ по НКВД СССР № 00486, в котором говорилось: «Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за их учебой и воспитательной жизнью (? — В. Л.) возлагается на наркомов внутренних дел республик, начальников управлений НКВД краев и областей».

³ Цитирую это Объяснение и все последующие протоколы — по выпискам, которые были сделаны мною из Дела № 7353 в приемной Федеральной службы безопасности в мае 1993 г. Сохраняются орфография и пунктуация документов.

Я тут же вспомнил Букурова. Это был тот самый майор, который пришел меня арестовывать и испугал вопросом об оружии. Букуров появлялся на первых моих допросах. Смотрел на меня пристально черными дикими глазами, спрашивал:

— Ну как, Рыбец, будешь разоружаться перед органами или будешь оставаться заклятым врагом советской власти?

После этого шептался с моим следователем, поглядывая на меня недобрый взглядом, и уходил из кабинета. «Рыбец» было мое школьное прозвище. Когда я учился в пятом классе, мама как-то пришла в школу и имела неосторожность спросить:

— А где моя рыбонька?

С тех пор я стал «Рыбонькой», а когда подрос, — «Рыбой» и «Рыбцом». Следователи, однако, настаивали, что «Рыбец» — это подпольная кличка участника «нелегальной антисоветской террористической группы», и называли меня *«Левенштейн, он же — Рыбец»*.

«Что же это за литеры такие?» — подумал я. Судя по тексту, *литер «Н»* — это подслушивающее и записывающее устройство. А что же это за *литер «НН»*? На это фантазии моей не хватило. Ну а *«полученные от агентуры материалы»* — это, по-видимому, донесения стукачей.

Далее было подшито датированное тем же 1944 годом объяснение заместителя начальника следственного отдела УКГБ по Московской области подполковника Вислова, где тоже было сказано:

...основанием для ареста послужили данные нескольких агентов, данные наружного наблюдения и литерные мероприятия...

Вслед за объяснениями Букурова и Вислова был подшит документ уже касающийся меня лично:

**Нач. Управления НКГБ МО
Комиссар Госбезопасности
Блинов**

**«Санкционирую»
военный прокурор
Толстопыткин**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА АРЕСТ

г. Москва

19 мая 1944 г.

Я, начальник Свердловского РО УНКГБ г. Москвы, майор Госбезопасности Букуров,

рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности Левенштейна Виктора Матвеевича 1922 года рождения, уроженца г. Николаева, еврея, гр-на СССР, беспартийного, холостого, студента МГИ; отец арестован и осужден за антисоветскую деятельность. Проживает: Москва, ул. Щукина 8а кв. 6.

Нашел:

Левенштейн, являясь участником молодежной антисоветской террористической группы, в основном состоящей из детей лиц, репрессированных за контрреволюционные преступления, в составе: Сулимова В.М., Бубновой Е.А., Михайлова Ю.М. и других — ведет активную антисоветскую деятельность.

Говоря об антисоветской деятельности Левенштейна, арестованный участник группы Сулимов В.М. показал: (допрос от 25 апреля 1944 г.)

«В конце 1943 г. к нашей группе присоединился мой бывший одношкольник, студент Горного института Левенштейн В.М., отец и мать которого в 1937 г. арестованы органами Советской власти за контрреволюционную деятельность (мать последнего была освобождена).

Таким образом, в конце 1943 г. у нас сколотилась вполне определенная группа лиц, которые объединились на почве единства политических взглядов, стали проводить антисоветскую работу...»

Другой участник антисоветской группы, арестованный по делу Михайлов Ю.М., говоря о роли в составе группы Левенштейна, показал: (допрос от 28—30 апреля 1944 г.)

«...Нашими единомышленниками, кроме вышеуказанных лиц (Сулимов, Сулимова-Бубнова, Сухов, Фрид, Дунский, Гуревич) являлись Коган Марк, отчества не помню, Левенштейн Виктор Матвеевич, студент Московского института и Левин Михаил. Все эти лица по своим убеждениям являлись антисоветски настроенными, имели тесную связь с нами по антисоветской работе...»

Арестованная по настоящему делу участница антисоветской группы Сулимова-Бубнова Е.А., говоря о роли в составе группы Левенштейна, показала:

«На собраниях, которые устраивались на квартире Фрида, бывал Левенштейн».

На основании изложенного —

Постановил

Левенштейна Виктора Матвеевича, проживающего:

Ул. Щукина 8 а кв. 6 — подвергнуть аресту и обыску.

Нач. Свердловского РО УНКГБ г. Москвы

Майор Госбезопасности

Букуров

«Согласен»:

Нач. Следственного отдела УНКГБ МО

Подполковник Госбезопасности

Ореханов

Далее в папке шли страницы протоколов допросов и очных ставок и постановлений о продлении срока следствия. Я листал эти страницы, и возникли передо мной картины пятидесятилетней давности: лубянские боксы и камеры, и прогулочные дворы, и кабинеты следователей. Я услышал грохот ключей в замке камеры и цыканье и щелканье пальцами *вертухаев*, предупреждающее о том, что ведут арестованного, и чтобы, не дай бог, не встретить другого арестованного в тюремном коридоре. И запахло карболкой. И увидел я себя в камере — жалкого, запуганного бесконечными угрозами, с затуманенным от постоянного недосыпа сознанием, со сломленной волей к сопротивлению.

Страницы дела, что были передо мной, ничего не говорили о многих сутках без сна с непрерывными ночными допросами и днями в камере, где спать не разрешалось и где посаженный сосед — *наседка* — советовал соглашаться во всем со следователем. Они не говорили об угрозах и запугиваниях, сменявшихся словами о молодости, «*всей жизни впереди*» и уго-

ворами признаться *«по-хорошему»*, о невозможности поговорить не только с адвокатом, но и просто с человеком, которому можно довериться. Они не говорили обо всей той страшной, многими годами усовершенствованной и на сотнях тысяч жертв отлаженной машине подавления и сокрушения человеческой воли, в которую я попал.

В деле были показания моих друзей, которых я ценил и любил, о моей *«преступной антисоветской деятельности»*. На основании этих показаний меня арестовали. А дальше, после первых дней запертостей и отрицания вины, шли мои развернутые показания в этой самой *«преступной деятельности»*, то есть в том, что я там-то, тогда-то, в присутствии того-то что-то сказал и что было сказано тем-то в моем присутствии. И наверняка в делах моих друзей подшиты эти мои показания, компрометирующие их.

Несмотря на то что я помнил, как эти показания были добыты, читать это было унизительно и стыдно. Было досадно за свою слабость. Меня не утешало, что так же, как я, поддались и признали себя виновными 11 моих друзей, что мне все же удалось отбиться от обвинения в терроре, в котором *«признались»* семеро из них. Двадцать один год от роду, не маленький мальчик, где был характер? Где было понимание того, что ты в лапах смертных врагов и поддаваться им и уступать им нельзя?

Хотелось избавиться от чувства отвращения к себе, возникшего от чтения дела, хотелось хоть в чем-то оправдать себя. Я стал думать о том, что протоколы допросов и очных ставок, подшитые в папку, которая лежала сейчас передо мной на столе, и приговор, и лагерный срок меня не сломали. Что после следствия и лагеря была целая жизнь. Что вся история страны повернулась не в пользу тех, кто заседал тогда в лубянских кабинетах. Эти мысли приносили утешение, но они не избавляли от досады и стыда.

Я тогда впервые подумал о том, что надо было бы написать о моем деле, объяснить и другим и себе самому, как это происходит, как от человека добиваются того, что он соглашается оговорить и себя и других и идет на поводу у негодяев. Я подумал о том, что ОСО НКГБ СССР, которое меня осудило, было судом негласным и заочным, и даже с точки зрения формальных правовых норм за мной осталось право сказать свое *«последнее слово подсудимого»*. И что я осуществляю это право, написав о моем деле.

Во второй папке оказались материалы по пересмотру нашего дела. Дело, оказывается, проверялось в 1954 году в результате, как было сказано, *«жалобы, поступившей в центральный аппарат от некоторых академиков в защиту Левина»*. Оснований для отмены решения ОСО не нашли, и дело было оставлено в силе. Жалобы академиков в папке я не нашел. Было там ходатайство о пересмотре дела от летчика, героя Отечественной войны Георгия Сухова, брата моего однодельца Алеши Сухова, поданное в конце 1945 года. К ходатайству было приложено письмо Алеши из лагерного лазарета от 6 ноября 1945 года. Привожу его целиком.

«Мои дорогие родные! О моей болезни писать вам очень тяжело. Ограничусь сообщением, что вот уже несколько недель, как я сактирован по поводу туберкулеза, перикардита, экссудативного плеврита, малярии и не знаю чего

еще. Таким образом, я теперь полнейший инвалид, поэтому поспешите взять об этом справку из с/о Темлага. Иногда надежда окрыляет меня и я начинаю верить, что откуда-то придет спасение, а потом опять впадаю в уныние. Напишите честно: за что мне суждено так ужасно пропадать? Ведь за свою жизнь я никому не сделал никакого зла. Все мои проступки сводятся только к тому, что я, быть может, недостаточно хорошо учился и мало работал по дому и для семьи. Но что я мог поделать со своим характером, который вы знаете. Всей душой и мыслями с вами.

Целую вас несчетно раз. Алексей.

Алеша Сухов, до ареста — красивый и здоровый молодой человек, был активирован, то есть освобожден из заключения по болезни, за несколько дней до смерти. Он умер в лагерьном лазарете в Темняках вскоре после написания этого письма, через полтора года после ареста. Он умер формально уже «вольным» человеком, не испортив, таким образом, лагерной статистики. Было ему от роду 23 года.

Нашел я в этой папке и ходатайство о пересмотре нашего дела, подписанное в 1954 году известным кинорежиссером Михаилом Ильичом Роммом и, как было сказано, «заслуженным деятелем искусств, художественным руководителем института им. Гнесиных, профессором Еленой Фабиановной Гнесиной». И моей душе, измученной четырьмя часами чтения свидетельств человеческих слабостей и нравственных и физических мучений, эта подпись принесла облегчение. Я подумал: шел 1954 год, Сталина уже не было, но далеко не известно было, куда все повернется, до XX съезда и разоблачения культа личности оставалось более двух лет. Михаил Ромм был кузеном и близким другом Зинаиды Кизельштейн, мамы нашего однодельца Юры Михайлова. А Елена Фабиановна Гнесина была всего лишь руководителем института, где Юрина мама преподавала фортепиано. И она почла своим долгом подписать это ходатайство.

Среди грязи и мерзостей, которые наполняли папку следственного дела, вдруг прозвучал чистый голос порядочного человека.

Я читал, что актриса Раневская говорила: «Какая я старая! Я еще помню порядочных людей».

2. Шурик, Валя и Володя

Начало событий, которые привели меня в тюрьмы и лагеря, я всегда относил к тому дню, когда одиннадцатилетним мальчиком пришел в четвертый класс «А» 25-й Образцовой московской школы.

25-я школа была известна тем, что в ней учились дети Сталина, Молотова, Бубнова, Буденного, Булганина, внуки Максима Горького, сыновья героя полярных экспедиций Отто Юльевича Шмидта, дочь знаменитого певца Собинова, дети других высокопоставленных деятелей и известных людей того времени. По этой причине школа была прекрасно оборудована и в ней были собраны превосходные преподаватели. Мои родители не принадлежали к советской элите, но я хорошо учился и, когда мы поселились рядом со школой, меня приняли в 4-й класс.

25-я Образцовая школа была действительно особая. Кто-то назвал ее «Царскосельский лицей в Москве». Школа размещалась в прекрасном здании бывшей гимназии Креймана, построенном в 1912 году. Большой вестибюль заканчивался широкой лестницей, которая вела на второй этаж. Классы были просторные, с высокими потолками и широкими окнами. Так случилось, что, волею судеб, до встречи со мной, моя жена была знакома с несколькими учениками 25-й школы. Она говорит, что на всех, кто учился там в те годы, был особый отпечаток: правильная русская речь, образованность, интеллигентность, хорошие манеры. Мне школа дала массу знаний по истории, географии, литературе, математике, физике, которые служат мне всю мою жизнь, и научила меня учиться.

Помимо обучения, 25-я школа служила вывеской успехов советского образования и занимала свое место в ряду потемкинских деревень того времени.

В те годы, когда я начал учиться, 25-я школа была полностью свободна от протекционизма. В то время еще помнили лозунги равенства и братства недавней революции, и внешний демократизм еще соблюдался. Школьное начальство во главе с директором Ниной Иосафовной Грозой следило за тем, чтобы не было привилегий для детей *«руководящих деятелей»*. К ним не было никакого особого подхода или снисхождения. Рыжий и веснушчатый лоботряс Василий Сталин, учившийся на класс старше меня и так и не окончивший школу, заслуженно хватал свои двойки и тройки, и так же заслуженно получала свои пятерки прилежная и усердная и такая же рыжая и веснушчатая его младшая сестра Светлана.

В директорском кабинете, по слухам, хранилось собственноручное письмо Сталина, написанное в начале 30-х годов. Он просил директора школы, *«в порядке исключения и в целях правильного коммунистического воспитания»*, отправить его сына Василия в школьный летний пионерский лагерь, так как обстановка правительственных дач дурно влияет на формирование его характера. Лагерь был предназначен в первую очередь для детей из семей с низким доходом, для которых летняя дача была недоступна. Не могу поручиться за правильность слухов о сталинском письме, но одно лето Василий действительно в школьном лагере провел. Ребята рассказали, что юный Сталин привез туда настоящую реликвию: футбольный мяч, на котором были вырезаны пятиконечная звезда и полумесяц. Этим мячом играли между собой сборные футбольные команды Турции и СССР, и это была чуть ли не первая в истории СССР международная встреча на уровне сборных команд. Васю Сталина в лагере не любили — он был высокомерен и заносчив. К всеобщему злорадному удовольствию, исторический мяч был украден и исчез.

Перемены в школе начались в 1936 году. Светлана Сталина, которая училась в то время в четвертом классе, уговорила своего папу разрешить экскурсию в Кремль для ее класса (Кремль в те годы был закрыт, и народ туда не пускали). Ребят повела на экскурсию классная руководительница Ольга Федоровна Леонова, типичная учительница младших классов из «новых», ограниченная и малоинтересная дама. Сталин встретился с ребятами, и Ольга Федоровна ему понравилась. С этого дня началась ее головокружительная карьера. На первых же выборах в Верховный Совет СССР ее из-

брали депутатом. В начале 1937 года арестовали мужа нашей директрисы — Нины Иосафовны Грозы, и директором школы стала Ольга Федоровна Леонова. В школе появился толстый и высокомерный человек, неподвижно сидевший в вестибюле все время, пока Светлана Сталина была на занятиях, и провожавший ее домой в Кремль либо в автомобиле, либо следуя за ней по улице Горького, если она с подругами шла пешком. Для Светланы отделили комнату в школьной столовой, где она в одиночестве ела специально для нее приготовленные кремлевские завтраки.

Для нас, школьников, общественное положение родителей было не важно, и дружбы складывались не по «классовому» признаку. Учившийся с нами маленький Семин, сын школьной уборщицы, который обыгрывал многих из нас в шахматы и был непременным участником нашей футбольной команды, пользовался в классе большей популярностью, чем глупый и бесталанный маршальский сын Сергей Буденный. Дочь наркома Лену Бубнову в классе любили потому, что она умела быть другом и ее дом всегда был открыт для нас. Сборы нашего пионерского звена происходили у Лены, в особняке в Ермолаевском переулке. Это был дом, который в начале двадцатого века выстроил для себя известный в то время архитектор Шехтель.

Во время наших сборов иногда появлялся папа Лены — нарком просвещения. Был он из «старых большевиков», в прошлом рабочий, самоучка, получивший образование в царских тюрьмах и ссылке (благо, возможности для этого, в отличие от нашего времени, там были). В 1917 году он, вместе с Володарским, Урицким, Свердловым и Сталиным, входил в штаб октябрьского переворота, был членом Политбюро первого состава. В Гражданскую войну и в 20-е годы был начальником Политуправления Красной армии. Нарком был всегда одет в гимнастерку из тонкого сукна и такие же, заправленные в сапоги, военного покроя брюки. На деятеля просвещения он был мало похож.

Бубнов был всегда рад нам, приглашал всю компанию зимой в выходной день поехать к нему на дачу в Кунцево покататься на лыжах и бегал с нами. Он заставлял нас у себя в доме вечером и говорил: «А ну, звоните домой родителям. Я вас всех сейчас забираю. Поедем в цирк».

Андрей Сергеевич Бубнов и его жена, мама Лены, были расстреляны в 1940 году.

С первого дня в школе моим близким другом стал Шурик Гуревич. Он стал вводить меня в курс жизни класса, объясняя «кто есть кто». Этот подвижный мальчик небольшого роста страдал астмой, был освобожден от уроков физкультуры и читал книжки, пока другие бегали, прыгали и подтягивались на турнике. Шурик с раннего детства был выраженным гуманитарием. Математика, физика его мало интересовали, и он занимался по этим предметам кое-как. Зато он был эрудирован, остроумен, прочитал уйму книг и помнил массу интересных фактов по истории, литературе, искусству. Он легко и живо писал, хорошо рисовал и был прекрасным рассказчиком. Я был хорошим слушателем. Это сочетание послужило основой для нашей дружбы.

Шурик жил рядом со школой, в Воротниковском переулке. Я стал бывать у него. В квартире была атмосфера московского интеллигентного дома.

Шурик, как и я, был единственным сыном. Родители были врачами. Они жили в одной большой комнате, в которой с помощью буфета и книжных шкафов было отделено небольшое пространство, где стояли Шурина постель и стол для занятий. Главной достопримечательностью этого «угла» были тянувшиеся до высокого потолка книжные полки. Тут были многотомная Энциклопедия Брокгауза и Эфрона, прекрасные полные дореволюционные издания русских классиков, «История» Ключевского. Сексуальное образование в те годы в школе дальше пестиков и тычинок не шло, и мы с большим интересом восполняли этот пробел, читая все соответствующие статьи в медицинской энциклопедии.

Я интересовался биологией, читал Поля де Крюи. Мои родители, поощряя этот интерес, купили мне живого ужа. Уж сидел в стеклянной банке, закрытой марлей, пил молоко. Я тут же принес его в школу. На перемене мы с Шуриком, к восторгу всего класса, запустили ужа за шиворот сидящей перед нами на первой парте Иссе Черняк.

Когда наступала весна, начинались наши с Шурой прогулки по Москве. После школы мы оставляли у Шурика свои сумки с тетрадками и книжками и по Воронцовскому и Дегтярному переулкам выходили на Тверскую. Мы шли вниз по Тверской, мимо памятника Пушкину, который стоял тогда в начале Тверского бульвара. Я вырос на Украине, Москва была для меня новым городом. Я слушал, а Шурик рассказывал мне о доме Нирензее в Большом Гнезниковском, который когда-то был самым высоким зданием в Москве, и про церковь Николы-на-Брюсах, и о том, что здание Моссовета было когда-то резиденцией московского градоначальника. От Шуры я узнал, что Музей революции на Тверской был в старое время Английским клубом — тем самым, о котором упоминал Чацкий.

Шурик рассказывал, что кинотеатр «Центральный» на Страстной площади был когда-то театром «Ша-нуар» и в нем в начале двадцатых годов выступала «Синяя блуза», популярная в то время новая революционная театральная форма. Шурик рассказывал, что Маяковский, Кирсанов, Юткевич были авторами постановок «Синей блузы», а ее организатор и руководитель Южанин был Шурикиным однофамильцем, а может быть, и родственником, — его настоящая фамилия Гуревич.

Это были годы так называемой *Сталинской реконструкции Москвы*. Уже был разрушен храм Христа Спасителя. Мы пошли на выставку проектов Дворца Советов, который предполагалось воздвигнуть на месте храма, и узнали, что новый дворец будет выше самого высокого здания в Соединенных Штатах — Empire State Building в Нью-Йорке, а статуя Ленина на верхушке дворца — выше статуи Свободы, и длина указующего пальца Ильича будет 6 метров. Сведения эти наполнили наши двенадцатилетние сердца гордостью за нашу страну, которая и по этим показателям собирается *догнать и перегнать*. Нам непонятно было, правда, почему этот замечательный дворец нельзя было построить в другом месте, а не ломать для этого национальную святыню, — Шурик рассказал мне, что храм Христа Спасителя был выстроен на народные деньги в честь спасения России от Наполеоновского нашествия, что он строился 45 лет и погибшие при разрушении храма фрески были написаны величайшими русскими художниками того времени.

Я вспоминаю сейчас эти прогулки двенадцати-пятнадцатилетних мальчиков и понимаю, что они сопровождались работой мысли часто более интенсивной, чем наши классные занятия. Не помню, чтобы мы с Шурой говорили тогда о политике. Нас она мало занимала. Своей точки зрения у нас не было, а официальной хватало на уроках и пионерских сборах. Но хорошие книги, которые мы читали, и хорошие учителя, учившие нас думать о прочитанном, делали свое дело. Мы стали замечать нелепости и несуразицы в официальной пропаганде, которой нас пичкали, и потешались над ними.

Приближался Пушкинский юбилей. Мы с Шуриком сидели рядом на школьном вечере, а на сцене наш одноклассник Валя Токарь читал «Юбилейное» Маяковского:

Сукин сын Дантес, великосветский шкода.
Мы б его спросили: — Ваши кто родители?
Чем Вы занимались до семнадцатого года?
Только этого Дантеса бы и видели!

Шурик толкнул меня в бок:

— Если бы «мы» Пушкину задали такие вопросы, то, наверное, и его самого *«только бы и видели»*.

Мы захихикали.

Журнал «Иностранная литература» печатал роман Генриха Манна «Юные годы короля Генриха IV». Шурины родители выписывали журнал, и мы читали роман по мере выхода. В промежутках были прочитаны «Королева Марго» Дюма и «Варфоломеевская ночь» Мериме. Мы поражались, как одни и те же исторические события у трех писателей описывались так по-разному. Впервые мы соприкоснулись с относительностью трактовки истории.

В кабинете истории над классной доской висел плакат с цитатой:

Старую Россию непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие бей. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость.

И. Сталин

Непонятно нам было, как же это: Россию всегда и все били, а она все расширялась и захватывала все новые земли? Мы прочли только что напечатанный роман Алексея Толстого «Петр Первый». Там было все наоборот: Россия всех била, и в Москве говорили, что сам Сталин одобрил книгу.

Я рассказал Шурику, как моя мама, учившаяся в польской гимназии в Австро-Венгрии, где до Первой мировой войны жила семья моего деда, приехала в Россию и в Киеве, в центре города, над Днепром, увидела красивый памятник. Она подошла поближе и увидела, что это памятник Богдану Хмельницкому. Она не верила своим глазам. Ее учили, что Хмельницкий был двойным предателем: будучи поляком, он предал свою страну, воюя против Польши; будучи дворянином, он предал свой класс, выступая во главе холопского войска, которое грабило и жгло шляхетские усадьбы. Кроме того, он был одним из самых страшных злодеев, каких к тому времени знала

история: он был организатором геноцида еврейского населения тех областей, где проходило его войско. Еврейские погромы, организованные Хмельницким, унесли 60 000 жизней. Его имя было синонимом предательства и злодейства. И этому человеку был поставлен памятник!

— История — наука диалектическая, — глубокомысленно изрек Шурик.

Чем старше мы становились, тем противоречия и нелепости официальной пропаганды становились для нас заметнее. Мы, однако, не были способны на обобщения или на формирование собственного мировоззрения. Когда слышали громкие и трескучие фразы, одинаково критически к ним относились, но дальше иронии дело не шло. Мы были пионерами и, завидя старшеклассникам, мечтали о времени, когда нас примут в комсомол и можно будет ходить в школу без пионерского галстука — в нашем понимании, атрибута детства.

Полной противоположностью Шурику был мой другой близкий школьный друг Валя Токарь. Он был человеком необычайной организованности и многочисленных талантов. Его тетрадки всегда были в образцовом порядке. У нас в классе он был первым учеником — по всем предметам у Вали были только пятерки. При этом он прекрасно читал стихи, играл на школьных вечерах пьесы Шопена, был вратарем в нашей футбольной команде и уже в седьмом классе имел вторую всесоюзную категорию по шахматам.

Валя был высоким худым мальчиком с длинными руками и ногами, с острыми чертами лица, крупным горбатым носом, большими ушами и щеткой темных волос над невысоким лбом. Он был некрасив, но пользовался у наших девочек не меньшим успехом, чем первый красавец класса Жора Гандель. Мне тогда это было непонятно, но с годами я понял, что у девочек были все основания относиться к Токарю с интересом: он был всегда первым — во всем, чем бы мы ни занимались. Мы с Валею вскоре сдружились, к большому удовольствию моей мамы, считавшей, что Валина организованность и умение учиться оказывают на меня благоприятное влияние.

Как-то мы готовили уроки у Вали, он принес свежую газету. На первой странице были огромные заголовки и фотографии: советская полярная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта достигла Северного полюса и высадила на лед зимовщиков! Мы с Валею ликовали, чувствовали себя в какой-то степени причастными: мы жили в стране, летчики и ученые которой совершали эти исторические подвиги, к тому же главного героя полярной эпопеи, О.Ю. Шмидта, мы встречали в нашей школе: его сыновья Зига и Володя в ней учились!

Не дано было нам тогда понять, что эти огромные газетные заголовки о подвигах героев-полярников, и гром радиопередач, и митинги, и ликующие многотысячные толпы на улицах, встречающие героев, и грохот оркестров — все это делалось для того, чтобы свидетели не вспоминали о страшном молчании, опускавшемся на вымершие от голода украинские деревни, и чтобы заглушить уже начинающуюся беспрецедентную в истории расправу над миллионами людей. Мы бегали в кино смотреть «Чапаева» и «Веселых ребят» и распевали: *«Легко на сердце от песни веселой...»*

В шестом классе у нас появился «новенький». Звали его Володя Сулимов. Он был одержим кино. Когда на уроках по литературе разбиралось очередное произведение, у него в голове складывался сценарий, и он рисовал последовательные схемы кадров. Книга превращалась в его воображении в кинофильм, и он объяснял нам, как она будет выглядеть на экране.

Володя жил со своей мамой в большой комнате, которая была частью коммунальной квартиры на Страстном бульваре. О своем отце рассказывал, что тот происходил из семьи уральских заводчиков, учился в Петербурге в гардемаринском училище. Еще в училище он примкнул к революционному движению, участвовал в знаменитом ледовом походе революционных кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт, участвовал в Гражданской войне, командуя флотилией на Волге, и женился на Володиной маме, которая была горничной в их доме. Он говорил, что отец был командующим Тихоокеанским военным флотом и жил на Дальнем Востоке.

Однажды зимой 1937 года, придя к Володе, я застал его отца. Володя сказал, что отец получил новое назначение: начальник Волжского пароходства. Он уехал на свою новую работу, где его тут же арестовали, и он исчез навсегда.

У Володи была способность увлекать своими идеями и завоевывать людей. Мы с Шуриком стали его первыми друзьями. Он объяснял нам, что лучшим советским фильмом является вовсе не «Чапаев», который мы все помнили наизусть, а «Мы из Кронштадта», и мы соглашались с ним. У него о многом было свое собственное мнение. Он бравировал своей независимостью, всегда придумывал что-нибудь интересное, мыслил критически, ниспровергал авторитеты.

Учился Сулимов из рук вон плохо. Часто вообще не появлялся в классе. Он объяснял нам, что ему все это скучно и не нужно, поскольку он собирается быть кинорежиссером и всякие там физики и биологии ему ни к чему. Он подтрунивал над «старательными отличниками», и мне неловко было за свои пятерки. В 25-й школе, однако, к учебе и дисциплине относились серьезно, и в конце учебного года в седьмом классе Володю перевели в другую школу. Для меня это было ударом. Я считал, что это несправедливо, хотел идти к директору, объяснять, какой Володя способный и умный, какой потерей для школы будет его уход. Но Шурик Гуревич только похмыкал, когда я ему все это изложил, и сказал:

— Не вздумай идти, тебя, чего доброго, вместе с Володькой выгонят!

Я все-таки пошел, но не к директору, а к нашей классной руководительнице, учительнице биологии Татьяне Михайловне, «Танечке», как мы ее между собой звали.

— Это не мое решение, это решение директора, но я с ним согласна, — сказала Танечка, — мало того, что Сулимов плохо учится и прогуливает школу. Вы все — под его влиянием. Не спорь, я это вижу. И ты, и Гуревич, и другие. И это плохое влияние. А плохое влияние в школе всегда сильнее хорошего. Класс будет лучше без Сулимова.

Володя стал учиться в школе неподалеку, и мы с Шуриком продолжали с ним встречаться.

3. Год 1937-й

1937 год в истории Советского Союза навсегда связан со страшной бедой, которая постигла страну — сталинским Большим террором. Ключом к началу этой беды было убийство Кирова в Ленинграде 1 декабря 1934 года. И по странному свойству детской памяти я запомнил события и обстоятельства дня, когда это стало известно. Наша классная руководительница Татьяна Михайловна прочла нам газетное сообщение. Киров был убит в Смольном. Убийцу звали Николаев. Тут же, на большой перемене, разыгралось действие. Упитанный, румяный, с ямочками на щеках, подвижный Миша Червонный вытащил из портфеля «стреляющую» рулетку.

— Я буду Николаев, а ты будешь Киров. Беги! — кричал Миша Юре Муралову.

И, к восторгу всего класса, лента летящей рулетки ударила в спину убегающего Юре.

— Падай, ты убит! — кричал Миша.

Думаю, что и Миша, и Юра запомнили этот день, как запомнил его я. Миша был сыном известной в Гражданскую войну «красной атаманши» Маруси Червонной. Отцом его был подсудимый на процессах 1936—1937 годов — не то Сокольников, не то Серебряков (оба расстреляны). Юра Муралов был сыном заместителя наркома сельского хозяйства и племянником командующего Московским военным округом и руководителя Октябрьского восстания в 1917 году в Москве (оба Муралова тоже были расстреляны). В тот день ни Мише, ни Юре, ни мне не могло прийти в голову, какой страшной тенью ленинградское убийство ляжет на наши судьбы.

Весной 1937 года мы заканчивали седьмой класс. В Испании шла Гражданская война, мы следили за военными действиями на фронтах, и все наши симпатии были на стороне правительства Народного фронта. Мы читали все, что публиковалось об Испании в газетах и журналах, знали географию фронтов, не пропускали ни одного выпуска киножурналов. Новости о боях под Гвадалахарой и обороне Мадрида обсуждались на переменах между уроками. Бойцы интернациональных бригад были нашими героями. Осведомленные дети ответственных работников, учившиеся с нами, по секрету рассказывали о советских летчиках, танкистах и советниках, воюющих в Испании, о том, что в интербригадах воюет много коммунистов из европейских стран, живших до войны в СССР, что настоящее имя командующего интербригадами генерала Клебера — Лазарь Штерн, а генерала Лукаша — Матэ Залка и оба они воювали в Красной армии во время нашей Гражданской войны. Мы завидовали этим смелым людям, сражающимся, как мы считали, за правое дело.

За всем этим мы мало внимания уделяли тем зловещим переменам, которые происходили вокруг нас. Прошли процессы Зиновьева — Каменева, потом Пятакова — Радека. Газеты были полны призывами *«разоблачить до конца троцкистско-зиновьевскую банду шпионов и убийц»*. Я читал публикуемые в газетах отчеты о процессах, и они не казались мне правдоподобными. Все обвиняемые, как один, признавались в страшных преступлениях, не пытаясь ни в чем оправдаться. На процессах говорилось, что все они в тече-

ние многих лет получали инструкции от Троцкого, и в то же время на процессах не фигурировало ни одной такой инструкции. Родители говорили об этом не хотели и не велили разговаривать ни с кем на эти темы.

Я рассказал о своих сомнениях Шурику.

— Странно все это, — согласился он и заговорил о другом. Видно было, что Шурик не хочет распространяться на эту тему, да и я помнил родительские наставления.

В школе со стен классов, коридоров и пионерской комнаты стали исчезать портреты вождей и героев революции и Гражданской войны. В классе стали заменять тетрадки с определенным рисунком на обложке. Кто-то сказал, что в завитках рисунка можно разглядеть портрет Троцкого. Мы с Шуриком и Валей рассматривали тетрадки с разных сторон, смотрели через лупу — ничего, кроме завитков, не разглядели, но тетрадки все-таки выбросили.

В газетах появилось сообщение прокуратуры о деле Тухачевского, Якира, Уборевича и других руководителей Красной армии. Все это казалось далеким от нас. Нам было не до этого: в эти дни в Москву из охваченной Гражданской войной Испании приехала футбольная команда басков и первые в истории нашего футбола встречи советских футболистов с командой высшего европейского класса целиком занимали наши умы.

Но вот в классе стали говорить шепотом о том, что арестованы родители ребят из старших классов, которых мы хорошо знали. Наши одноклассники, которых приняли в комсомол, так как им исполнилось 15 лет, тоже шепотом рассказывали, что те ребята на комсомольских собраниях получили выговор за *потерю бдительности*, что они публично отрекались, *отмежевывались* от арестованных родителей. А кто-то даже благодарил сталинские органы госбезопасности, разоблачившие преступную деятельность папы и мамы.

1 сентября 1937 года я пришел в школу, в восьмой класс. В школе были заметны перемены: со стен исчезло еще больше портретов, а главное, вслед за портретами из школы стали исчезать и дети вождей. После бессонной ночи, обыска в квартире и ареста отца (а порой и матери) сын или дочь приходили на уроки с опозданием или на следующий день с опухшим от слез лицом. Лишь немногие делились происшедшим с самыми верными друзьями или подругами. Их и не выпрашивали. В классе всем все было ясно. Исчезали дети по-разному: осиротев, попадали в Даниловский детприемник — в том самом монастыре, что был открыт к 1000-летию крещения Руси. Те, кому повезло, уезжали к родственникам в другие города или в другие районы Москвы и переходили в другие школы.

Так исчезли из нашего класса лучшая наша спортсменка Лора Могильная — дочка управляющего делами Совнаркома СССР и самая хорошенькая девочка в классе, блондинка Алла Лебедь — дочь зампреда Совнаркома РСФСР. Исчезли Юра Муралов и Миша Червонный, которые в декабре 1934 года разыгрывали убийство Кирова. Исчез Володя Гугель — сын начальника Магнитостроя.

Пришла в школу с заплаканным лицом Инночка Данкман, и через пару дней мы прочли в «Известиях» статью о развале работы в руководстве Московского цирка в результате деятельности орудовавшего там врага на-

рода Д., и поняли, что речь идет об Инночкином отце — он был начальником ГОМЭЦ — Государственного управления музыки, эстрады и цирка. Лена Бубнова после ареста обоих родителей осталась в школе. Ее бабушке дали маленькую комнату в коммунальной квартире на Кропоткинской улице, и Лена стала жить там.

10 декабря 1937 года пришла моя очередь опоздать в школу.

Ночью раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли трое мужчин в военной форме и наш татарин-дворник — понятой. Они пришли за моим отцом. Ему велели оставаться в первой от входа комнате, нам с мамой — в своих кроватях во второй комнате. Один из военных с дворником стоял у входной двери, двое других вели обыск. Через открытую дверь я видел папу. Он сидел одетый за обеденным столом. Лицо его было бледным и сразу осунулось, как у больного. Я задвигался в своей кровати, он посмотрел на меня, и я увидел, как задрожали мускулы его лица. Он отвернулся. Военные, проводившие обыск, показывали ему книги, письма, спрашивали о чем-то. Он отвечал. Внешне он был спокоен.

Я не думал ни о чем. Я сидел в своей кровати, смотрел на отца и чувствовал только отчаяние, бессилие и горе... Они закончили обыск, и один из военных сказал отцу:

— Можете попрощаться с семьей.

Я ждал, что он скажет, что это — недоразумение, что там разберутся, все выяснится и он скоро вернется домой. Вместо этого он подошел ко мне, обнял и поцеловал.

— Помни, что я всегда был честным человеком, — сказал он.

Мы с мамой тщетно пытались узнать, где находится отец. Я продолжал ходить в школу, и там у меня возникла проблема. Незадолго до папиного ареста меня рекомендовали в комсомол, и я прошел предварительные стадии приема. Оставалась последняя и главная — утверждение на комсомольском собрании. К этому времени отречения от родителей комсомол уже не требовал и выговор за потерю бдительности уже не выносили — слишком много стало комсомольцев с арестованными родителями. Но я только вступал. Примут ли меня? А если примут, то какой ценой? Лена Бубнова после ареста родителей забрала свое заявление. Я спросил у мамы, что делать.

— Может быть, мне просто не ходить на это собрание? Бог с ним, с этим комсомолом.

— Иди, — сказала мама, — тебе учиться надо, а без членства в комсомоле да еще и с арестованным отцом тебя ни в один вуз не примут.

Теперь я понимаю, что это был плохой совет. Я пошел на собрание.

— Это верно, что твой отец арестован органами НКВД? — спросили меня.

— Да, — сказал я.

— Знал ли ты об антисоветской деятельности твоего отца?

— Нет, не знал.

— Как ты относишься к аресту отца? НКВД ведь ошибок не делает.

— Я все-таки верю, что мой отец честный человек и его оправдают, — сказал я и разревелся.

Не глядя на меня, они проголосовали за то, чтобы принять меня в члены ВЛКСМ.

До сих пор мне стыдно вспоминать это собрание. Конечно, хотелось учиться. Конечно, без членства в комсомоле это было бы трудно, а учиться там, где мне хотелось, и вовсе невозможно. Но что важнее? Тогда я этого еще не знал. И вместо четких нравственных понятий о добре и зле, голова была заморочена *марксистской диалектикой*, которая провозглашала, что правильно то, что полезно и важно, и *прекрасными идеалами коммунизма*, и героями-испанцами, и революционной романтикой, и всей этой дребеденью, чем пичкали нас, начиная с детского сада. И казалось, что ради будущей жизни, ради учебы можно уступить. И не было простого понимания, что перед тобой зло и нельзя уступать злу ни в большом, ни в малом потому, что, уступая, никогда ведь не знаешь, где предел уступкам.

Через несколько дней после этого комсомольского собрания арестовали мою маму. Узнав об аресте, в Москву выехала мамина сестра, тетя Анна, чтобы увезти меня в Николаев. Мы с тетей Аней обошли все московские следственные тюрьмы, пытаясь сделать продуктовую передачу и узнать таким образом, где находятся мои родители. Всюду были огромные очереди, и на каждую тюрьму уходил день. Мы были на Большой и Малой Лубянке, в Бутырках, Лефортовской тюрьме и на Матросской Тишине. Передачу нигде не приняли, и нам не удалось ничего узнать. Мы уехали в Николаев, где почти два года я прожил у тети Розы, сестры моего отца, и все это время она была мне заботливой и любящей матерью.

Я пошел в восьмой класс николаевской школы № 2, завел себе новых друзей, ходил на комсомольские собрания, читал газеты и пытался понять, что же происходит вокруг. Почему эта власть, которая провозглашает такие, казалось, справедливые и прогрессивные лозунги, хватает и арестовывает честных, хороших и полезных людей? В чем тут дело?

Я подружился со своим одноклассником Изей Гиммельбрандом, который помогал мне освоить украинский язык. Его отец был сапожником. Он работал дома и любил прислушиваться к нашим занятиям, вставляя свои замечания и рассказывая украинские прибаутки. Он знал мою историю и часто расспрашивал меня о Москве, о родителях, вздыхал, глядя на меня, и качал головой. Однажды я сказал:

— Я все-таки надеюсь, что и мои родители и многие другие, кто, так же как и они, арестованы ни за что, скоро вернутся. Это не может долго продолжаться. Должны же разобраться с этим делом. Ведь арестованы тысячи не только невинных, но полезных стране людей.

Изин отец усмехнулся.

— «Невинные», «полезные»... — передразнил он меня. — Ты думаешь, что те, кто в Кремле, пекутся о людях или о деле? Все, чем они озабочены, это — как самим удержаться у власти. Они сгубили миллионы мужиков, которые кормили страну, потому что эти мужики всегда могли себя прокормить и одеть и были от них независимы. С тех пор вот уже шесть или семь лет, как во всей стране есть нечего, а они все виновных ищут, вместо того чтобы в зеркало посмотреть. А сейчас они хватают всех, кто думает не так, как они, или вообще умеет думать, или просто — каждого десятого, чтоб остальные

девять боялись и шли за ними, как бараны. Вот что это за люди. Они о своем народе не думают, они со своим народом воюют с первых дней, как они к власти пришли!

Он махнул рукой, отвернулся, забил в подметку ботинка очередной гвоздь и снова посмотрел на меня:

— Забудь все, что я тут сказал, и Боже тебя избавь кому-нибудь это повторить!

Спустя много лет, осмысливая то, что произошло в моей жизни, я вспомнил папу Изи Гиммельбранда и подумал о том, как не хватало мне четкости понятий, которая была у этого провинциального еврейского сапожника, не обученного марксистской диалектике. Не хватало и при моем решении поступать в комсомол, и в следовательских кабинетах и камерах Лубянки. Но об этом речь будет впереди.

В начале 1939 года мы получили из Москвы телеграмму от мамы. Она была освобождена из следственной Бутырской тюрьмы, как было сказано в выданной ей справке, «в связи с прекращением ее дела». Маме посчастливилось попасть в относительно небольшое число людей, освобожденных из следственных тюрем после того, как Берия сменил Ежова на посту наркома НКВД, и до того, как новая команда приняла эстафету и стала заполнять освободившиеся в тюрьмах места.

В конце года пришло письмо от моего отца из Ивдельлага. Он прислал заявление на имя генерального прокурора. В нем он писал:

«Я был подвергнут ряду физических и моральных воздействий (избиения, непрерывная стойка на ногах на протяжении 7–8 суток), глумлениям и всяким издевательствам, а затем последовали угрозы ареста жены и сына. Не будучи в силах перенести совершенных надо мной насилий и издевательства и боясь ареста семьи, я вынужден был подписать протокол показаний, надуманный и продиктованный мне следователем Зайцевым, где я принужден был признать свое якобы участие в контрреволюционной фашистской организации, имеющей своей целью совершение вредительских диверсионных и террористических актов на Метрострое (взрывы станций, поездов метро с членами правительства). Эти показания, по существу, ложные и надуманные следователем Зайцевым, я в дальнейшем принужден был подтвердить на очной ставке с моим бывшим начальником Боровиковым С.Г., который меня якобы завербовал в преступную организацию в апреле 1933 г. (заявление Боровикова на очной ставке), то есть в период, когда я фактически жил и работал в Харькове и Боровикова не знал и никогда не видел.

Несколько оправившись от пережитых потрясений, в феврале 1938 г., я спешу исправить свою ошибку и направляю заявление на имя наркома Ежова, в котором решительно отказываюсь от подписанных мною, по существу ложных показаний, указывая причины и обстоятельства, вынудившие меня дать их. В дальнейшем, на протяжении всего 1938 г., почти ежемесячно я направляю одно заявление за другим в НКВД СССР и прокуратуру, требуя возобновления следствия по моему делу. Ответа не последовало. Лишь по истечении 11 месяцев моих бесплодных обращений новый следователь возобновил следствие по моему делу, и в январе 1939 г. я подписал новый протокол с полным

отказом от ранее подписанных мною показаний. Однако 4 июня мне объявили решение ОСО при НКВД СССР от 29 мая 1939 г., в котором я был признан виновным в участии в контрреволюционной диверсионной организации на метро и приговорен к заключению сроком на 5 лет».

Мама рассказывала мне о своем следствии, о тюрьме. После ареста ее привезли в Бутырскую тюрьму и на следующий день привели на допрос. Следователь объявил, что она арестована как жена *врага народа* и предложил рассказать все, что ей известно о контрреволюционной деятельности мужа. Мама ответила, что ей об этом ничего не известно, и спросила, в чем конкретно его обвиняют. Следователь объявил маме, что ее муж с револьвером в руках душил рабочих в шахтах метро. Мама ответила, что этого не могло быть по нескольким причинам:

- во-первых, у ее мужа никогда не было револьвера;
- во-вторых, он был далеко не гигант и, согласно маминему представлению о могучих рабочих по советским плакатам, любой рабочий уложил бы его одной рукой, если бы дело дошло до драки;
- в-третьих, ее муж занимался снабжением строительства и за все время работы в метрострое в шахты ни разу не спускался.

Следователь заметил, что женам не всегда все известно о мужьях и, в частности, мама могла не знать о папином револьвере. Мама на это ответила, что она не может говорить от имени всех жен, но ей-то про ее мужа все было известно.

Следователь опять сказал, что маме далеко не все известно об ее муже. Например, ей не известно о его шпионской деятельности, в то время как он был американским шпионом. А когда мама, услышав это, стала возражать, следователь объяснил ей, что папа не мог не быть шпионом, поскольку в двадцатые годы он работал в американском обществе «Джойнт». Мама в ужасе вспомнила, что папа действительно работал в этом обществе, распределяя американскую помощь голодающему населению сельских районов Украины.

— Всем известно, что «Джойнт» был американским шпионским гнездом, — сказал следователь. — И если ваш муж там работал, значит, он и сам шпион.

После этого маму увели в камеру, где она и просидела больше тринадцати месяцев. В конце января 1939 года маму второй раз вызвали на допрос, и новый следователь объявил ей, что ее следственное дело прекращается и ее освобождают.

— У нас к вам больше претензий нет, — сказал следователь.

Мама подумала, что у нее есть много претензий к ним, но благоразумно предпочла промолчать.

Она рассказывала мне о Бутырской тюрьме, о том, что в камере, где она сидела, были сплошные нары вдоль стен, покрытые набитыми сеном матрасами. Женщин в камере было намного больше, чем матрасов, и спать можно было только на боку, плотно прижавшись друг к другу. Среди ночи по команде все поворачивались на другой бок.

В Бутырках была прекрасная баня, рассказывала мама, и в эту баню их водили всей камерой раз в 10 дней — и всегда почему-то по ночам. В бане женщины успевали выстирать свое белье и, придя в камеру, сушили

его, держа в руках и раскачивая. И вот однажды, когда они вернулись из бани, в камеру ввели *новенькую*. Это была молодая женщина в нарядном вечернем платье, арестованная, видимо, в театре или в ресторане. Она увидела больше ста женщин, среди ночи сидящих на нарах с распущенными волосами и размахивающих своими лифчиками и трусиками. Вошедшая забилась в истерику, стала молотить кулаками в дверь:

— Я не сумасшедшая! Заберите меня отсюда! Я не сумасшедшая!

Ее насилу успокоили, объяснив, что происходит.

Среди маминых сокамерниц было много интересных людей. Одно время маминой соседкой по нарам была первая жена Бухарина, которую он оставил, женившись на молодой Лариной. Обстоятельство это, однако, не спасло мамину соседку от ареста и пыточного следствия. Она показывала маме следы, оставленные на ее теле электрическими ожогами.

Мама подружилась в камере с женщиной по имени Шурочка Железнякова. Ее освободили тогда же, когда и маму, и они продолжали встречаться на воле. Шурочка, как и мама, была арестована из-за мужа. Но на этом сходство между ними кончалось. Шурочкин муж был частью истории октябрьского переворота.

Когда выяснилось, что на выборах в Учредительное собрание большевики получили всего четвертую часть голосов российских избирателей, Ленин и компания решили разогнать этот первый свободно избранный русский парламент. И вот в советских учебниках истории, на картинах советских художников, в десятках произведений советской литературы, в художественных кинофильмах фигурировал бравый матрос — начальник караула, который в конце первого же заседания Учредительного собрания, в пятом часу утра 6 января 1918 года, тронул за плечо председательствующего и произнес «историческую фразу»:

— Караул устал. Пора расходиться!

Начальником караула, разогнавшим Учредительное собрание, был Шурочкин муж, революционный матрос Железняков. Прошло 20 лет, и вместе со своими друзьями, уцелевшими в битвах революции и Гражданской войны, получил свою пулю в затылок от революционной власти и бравый матрос Железняков. Жене его повезло больше.

Я запомнил мамины рассказы о тюрьме и о следователе, о людях, встреченных в тюрьме, и об их судьбах. И отчаяние, звучавшее в заявлении, присланном моим несчастным отцом, осталось в моей душе. Кто знает, может быть, родительский опыт помог мне в мой трудный час на Лубянке.

4. Открытка из МГУ

В конце лета 1939 года мы вернулись в Москву. После школы мы с Валей Токарем решили поступать учиться на физфак МГУ. Мы оба окончили школу с отличными отметками по всем предметам и были зачислены в МГУ без экзаменов.

Было начало июля 1940 года, до 1 сентября было далеко, и я решил уехать на это время в Николаев. Меня ждал дом моей любимой тети Розы, друзья, пляжи и южное солнце.

Когда я вернулся в Москву, мама рассказала о странном эпизоде. Вскоре после моего отъезда на мое имя пришла почтовая открытка из МГУ: меня просили прийти в назначенное время на физфак. В открытке был указан номер комнаты, куда надлежало прийти. Мама заволновалась. Она позвонила по телефону Вале Токарю. Валя тоже получил такую открытку и тоже не знал, зачем нас вызывали. В назначенное время мама пришла в университет. Комната, куда меня вызывали, была в том же крыле здания, что и деканат, учебная часть, диспетчерская. На дверях висели соответствующие таблички. На двери этой комнаты таблички не было — только номер. За столом сидел человек, при взгляде на которого мама тут же поняла: это человек *оттуда*. «Я их видела достаточно, я их знаю», — говорила она.

Мама положила на стол открытку.

— Я мать Виктора Левенштейна. Сына нет в городе, он уехал на юг отдыхать. Если нужно, я могу вызвать его в Москву.

— Нет, нет, не нужно его вызывать, пусть отдыхает, — сказал человек за столом. — Тут небольшая справка от него нужна. Когда придет, мы все выясним.

— Может быть, я могу дать эту справку, — сказала мама. — У меня дома все его бумаги.

— Нет, не беспокойтесь. Мы с ним все выясним, когда он придет и начнет учиться.

Мама ушла. На другой день она позвонила Токарю.

— Валя, ты ходил в МГУ? Чего им от вас нужно?

— Ходил, Гитта Иосифовна. Справка им нужна была маленькая.

— Какая справка, Валя? У меня все Витины документы, я могу им отнести, если нужно.

— Да нет, не волнуйтесь, Гитта Иосифовна, ничего серьезного. Не надо, не ходите. У меня медицинской справки одной не было, а у Вити, может быть, еще чего-нибудь не хватает. Они у него попросят, когда он придет...

Я приехал в Москву, пришел в университет, зарегистрировался на факультете, выяснил, в какой я группе, получил расписание занятий, начал учиться. Никто не просил у меня никакой справки. Зачем же нас вызывали в июле? Мама считала, что это была вербовка в осведомители НКВД. «И если так, — говорила мама, — то в случае Вали Токаря, по-видимому, успешная, иначе он не скрывал бы, зачем его вызывали». Мне было трудно в это поверить, и я вскоре позабыл об этой истории.

Учеба на физфаке захватила меня. Все было интересно и ново. Лекции нам читали известные ученые. Мы чувствовали себя причастными к великим гуманистическим традициям этого храма науки и культуры. Мы слушали лекции в знаменитых огромных аудиториях старого здания МГУ на Моховой, думая о том, как много великих людей сидело на этих скамьях.

Шурик Гуревич поступил в Первый московский медицинский институт. Мы иногда встречались с ним, но значительно реже, чем раньше.

Сулимов еще в шестом классе знал, что будет кинорежиссером. Окончив школу, он сдавал экзамены во ВГИК, но по конкурсу не прошел. Его это не смутило. Нам с Шурой он объявил, что это к лучшему. На приемных

экзаменах по специальности он понравился режиссеру Игорю Савченко, и Савченко предложил ему работать у него помощником режиссера.

— Ни Пудовкин, ни Ромм, ни Барнет ВГИКа не кончали, — объяснял нам Володька. — Это не помешало им стать великими режиссерами.

Подразумевалось, естественно, что и ему не помешает. Сулимов всегда казался немножко старше нас с Шуриком, а сейчас и вовсе: мы учились, а он уже работал, и не где-нибудь, а в кино, на Мосфильме! Он приглашал меня на вечеринки, где были красивые девушки — первокурсницы актерского отделения ВГИКа. Он встречался с Леной Бубновой и не делал из этого секрета. Он, как и раньше, выглядел очень уверенным в себе.

На улице Горького открылся коктейль-холл, и Сулимов пригласил туда нас с Шурой. Он заказал сложную смесь ликера, рома и яичного желтка. Было вкусно, но главное, мы себя чувствовали героями Ремарка или Олдингтона.

Это был период советско-германской дружбы, и за соседними столиками сидели аккредитованные в Москве немцы. Глядя на нас, кто-то из них сказал:

— Junge russische Gentlemanen⁴.

Володя был на седьмом небе. Об этих «junge russische Gentlemanen» вскоре знали все наши знакомые.

Мы не часто встречались с Володей в этот год, я был занят в университете, но мне, как и раньше, интересно было с Сулимовым. Я старался выкроить время для встреч с ним, читал рекомендованные им книги, смотрел фильмы, которые он хвалил. Володе была дана способность увлекать и завоевывать людей.

Закончился учебный год. В середине июня 1941 года я сдал последний экзамен. В воскресенье 22 июня мы с ребятами из моей группы уговорились встретиться в полдень у станции метро «Красные ворота», чтобы обсудить, как отпраздновать окончание первого курса. Было теплое солнечное утро. У выхода из метро теснилась обычная воскресная толпа. Кто-то из ребят уже был на месте, кто-то опаздывал. Мы ждали. Вдруг зазвучал репродуктор над выходом из метро. Выступал Молотов:

«Сегодня в 4 часа утра немецко-фашистские войска без объявления войны атаковали советскую границу. Немецкие самолеты бомбили Киев, Минск и другие наши города. Красная армия ведет борьбу с коварным врагом на всем протяжении фронта от Черного до Балтийского моря. Наше дело правое, победа будет за нами».

Пока Молотов говорил, толпа перед репродуктором росла и к тому времени, когда он кончил свою речь, занимала уже весь тротуар и часть мостовой перед выходом из метро. Я запомнил напряженные, испуганные лица. Мне вспомнилась патристическая горячка при объявлении Первой мировой войны, о которой я читал и которую видел в кино. Ничего подобного этому не было: на лицах людей был только страх. Мне показалось это странным. Конечно, война — это страшно, думал я, но ведь СССР — огромная

⁴ Молодые русские джентльмены (нем.).

страна, у немцев населения вдвое меньше, чем у нас, сам Сталин говорил, что в результате пятилеток построена мощная тяжелая индустрия, основа обороноспособности СССР. Все газеты писали о том, что к войне мы готовы, что Красная армия сильна. Почему же все вокруг так подавлены и испуганы?

Мы решили ехать в университет. Там уже висели объявления о митинге в Ленинской аудитории. Мы дождались начала и пошли на митинг. Вот где был патриотический подъем! Ораторы выступали один за другим и наконец-то говорили о нацистах все, что замалчивалось последние два года.

Меня захватило общее настроение. Я думал о том, что сейчас не время для моих обид на советскую власть, что нужно забыть о них. Мое место сейчас — вместе со всеми, вместе со всей страной, которой суждено победить это ужасное историческое зло — немецкий нацизм. Странно, в то время я уже знал достаточно много о политической системе, в которой мы жили, но мысль о том, что нацизм и коммунизм друг друга стоят и неизвестно, что из них хуже, пришла мне в голову значительно позже. А тогда меня захватило и увлекло и даже принесло какое-то облегчение чувство принадлежности к общей массе, к большинству. У меня не было больше отчужденности, не было неприязни, не было обид. Я был как все и вместе со всеми.

Спустя несколько дней в университете объявили, что студентов-мужчин посылают на оборонительные работы. Мама сказала было, что я могу представить врачебную справку и меня освободят (у меня с 16 лет были камни в почке, и время от времени были приступы сильных болей), но я об этом и думать не хотел.

Нас погрузили в теплушки и повезли на юго-запад. Было весело и интересно. 3 июля наш эшелон стоял на станции Калуга. Кто-то прибежал к вагону:

— Выходите, сейчас по радио выступит Сталин!

Мы выскочили из теплушки и побежали к платформе, где у репродуктора уже собиралась толпа. По дороге я подумал: странно, война уже двенадцатый день идет, а он только сейчас решил выступить. Раньше, в обстановке всеобщего возбуждения, эта мысль мне в голову не приходила. Сталин долго не начинал говорить, слышно было, как звенит стакан, видимо, он пил воду. Наконец, он начал:

«Товарищи! Граждане! Бойцы армии и флота! Братья и сестры! Я обращаюсь к вам, друзья мои!»

Странно было, никогда он так не говорил. Я много раз его слышал, но эта речь была непохожей на другие, чувствовалось, особенно вначале, что он волнуется. Впервые нам было сказано, что потеряны Латвия, Литва, Западная Белоруссия и большая часть Западной Украины. *«Наша страна в серьезной опасности»*, — сказал он. Он говорил о том, чтобы все жечь и уничтожать, ничего не оставлять врагу... Значит, отступление наших войск, о котором можно было понять из сводок Совинформбюро о «тяжелых боях» и его слов, — дело серьезное и будет продолжаться, иначе зачем же уничтожать добро? — подумал я. Сталин кончил свою речь, и тут же загудели

стоящие на станции паровозы: воздушная тревога! Наш эшелон тронулся. Мы на ходу вскочили в теплушки и, едва отъехали от станции, как увидели пикирующие на станцию юнкерсы и разрывы бомб...

Нас привезли на берег Десны восточнее города Рославля, поселили в армейских палатках, раздали лопаты. Июль, август и большую часть сентября мы копали по 12—14 часов в день, строя оборонительную линию по левому высокому берегу Десны. Мы копали *эскарп*, то есть крутую, почти отвесную стену над рекой, а за эскарпом — широкий и глубокий противотанковый ров. Позади рва военные саперы строили доты — долговременные огневые точки.

К западу от нас по ночам было видно зарево, которое с каждой ночью поднималось все выше и становилось все ярче. В июле мимо нас нескончаемым пешим потоком, с ранеными на повозках, двигались остатки разбитых в боях под Смоленском армий. Мы слышали рассказы о полном преимуществе немцев в воздухе, о наводящих ужас пикирующих самолетах, о немецких танковых прорывах, о панике, о растерянных и неумелых командирах, о плохом снабжении наших войск, о пятизарядных трехлинейных винтовках образца 1890 года против немецких автоматов и танков, о том, что и этих винтовок часто не хватало.

В августе мы узнали о печально известном сталинском приказе по армии № 270, по которому все советские военнопленные были объявлены «изменниками родины»⁵.

На нашем участке фронта в сентябре все остатки участвовавших в боях и не попавших в окружение частей Красной армии отошли за Десну, и нашу оборонительную линию стали занимать свежие части. Работая на берегу реки, мы оказались на передовой. Позади нас строили доты и окапывались свежие части Красной армии, в небе над нами целыми днями висела «рама» — немецкий самолет-разведчик, да время от времени пролетали юнкерсы и мессершмидты, а на правом берегу были немцы. Нас несколько раз обстреливали пролетающие самолеты, и тогда все прижимались к скату рва, а пулеметные очереди поднимали ряды клубков пыли около нас. То ли оттого, что ни разу никого не задело, то ли оттого, что мы всегда были вместе, — но страха не было.

Мне запомнился холодный день в конце августа. Нас перебрасывали на новый участок работ. В ожидании грузовика все лежали в высокой траве

⁵ Многих я встречал потом в тюрьмах и лагерях — «пленяг», как их там звали, с *десяткой по букве «бэ»* (десять лет лагерного срока по статье 58-1Б — измена родине в военное время). По их рассказам выходило, что не они предали родину, а родина их предала. Они попали в плен не по своей воле, а по бездарности начальства, предавшего их на поле боя. В немецком плену оказались они низшей кастой, пленные союзники получали посылки Международного Красного Креста, а советские были преданы и покинуты подыхать от голода — Сталин сказал, что у нас пленных нет, есть изменники. И еще раз предали их, заманив домой: сказали, что родина их простила, и посадили в тюрьму, когда они поверили. По данным А.Н. Яковлева, за время войны были осуждены 994 000 советских военнослужащих, из них свыше 157 000 — к расстрелу. Во время войны пятнадцать дивизий были расстреляны своими!

над рекой. По небу с запада ветер гнал тучи. Я думал о руководителях моей страны, о «мудрости и прозорливости Великого Сталина». Вот чем занят был Сталин, думал я: вместо того чтобы заботиться об обороне, он арестовывал и убивал тех, кто призван был защищать страну. Я вспомнил рассказы о расстрелянных перед войной маршалах и командармах, о массовых арестах командиров Красной армии. Я не знал тогда точных цифр⁶, не знал, что ни одна армия во всей мировой истории войн не понесла таких ужасных потерь, какие понесла в мирное время Красная армия в результате сталинского террора, но и того, что я знал, было достаточно, чтобы объяснить происходящее вокруг. Я знал, что Сталин коварен и жесток. Впервые подозрение, что он бездарен во всем, что не связано с коварством, жестокостью и интригой, зародилось в моем сознании.

Эти мысли гасили тот патриотический пыл, с которым я ехал на оборонительные работы. Умирать за *Сталина* — после всего, что я увидел и обдумал?

Не знал я тогда про московское ополчение. Набор в него объявили уже после того, как мы уехали рыть укрепления. Останься я в Москве, мой патриотический порыв вполне мог бы привести меня в ополчение. Цвет московской интеллигенции пошел в ополчение и был брошен Сталиными в вяземскую мясорубку на убой под немецкие танки — и уже не с винтовками 1890 года, а с берданками 1866 года, да и то — одна на троих.

В последних числах сентября нам объявили, что наша работа закончена и нас будут возвращать в Москву. У меня к этому времени разыгрался приступ жутких болей в пояснице. Почти три месяца работы лопатой сдвинули мои камни, и они выходили с болью, которая доводила меня до рвоты. 30 сентября с попугий автомашиной меня подвезли на станцию Сушиничи, и оттуда, эшелоном с ранеными, я уехал в Москву.

В поезде мне сделали обезболивающий укол, а к тому времени, когда я добрался до Москвы, камни вышли и боли мои прошли. Первый день дома я потратил на то, чтобы избавиться от вшей, войну с которыми на Десне мы безнадежно проигрывали. На следующий день, придя в МГУ, я узнал, что, пока мы копали противотанковые рвы, физфак эвакуировали в Ашхабад. С университетским эшелоном уехал и Валя Токарь. Володю Сулимова призывали в армию. Шурик Гуревич продолжал учиться в Первом медицинском институте, который оставался в Москве.

По ночам немцы бомбили Москву. Мама рассказала, что, когда я был на Десне, бомба попала в Вахтанговский театр и там погиб актер Куза, дежуривший в эту ночь на крыше театра. Куза жил в квартире под нами. Я записался в пожарную команду нашего дома. Командиром был наш сосед по балкону, милый и добрый человек, заведующий музыкальной частью Вах-

⁶ Были арестованы все 11 заместителей наркома обороны, нарком военно-морского флота, нарком вооружений, 16 командующих военными округами, 5 командующих флотами, 98 из 108 членов Высшего военного совета, 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командармов, 8 из 9 адмиралов флота, 50 из 57 корпусных командиров, 154 из 186 командиров дивизий. Всего 43 000 командиров Красной армии были «репрессированы» за время между 1937 и 1941 годом.

танговского театра, муж народной артистки Цецилии Львовны Мансуровой, граф Николай Петрович Шереметьев. По ночам мы сидели на чердаке, глядя на феерию трассирующих зенитных снарядов, прожекторных лучей и пожаров, и в ящиках с песком гасили падающие на нашу крышу маленькие шипящие зажигательные бомбы.

Сводки Совинформбюро сообщали о «тяжелых боях на Вяземском направлении». Мы не знали тогда, что положение на фронте под Москвой резко ухудшилось. Соседка рассказала, что в городе царит паника, что предприятия не работают, все, кто может, уезжают, а кто не может — уходят пешком на восток по шоссе Энтузиастов, что над Лубянской стоит черный дым — жгут документы.

Мы с мамой собирали на всякий случай рюкзаки. Мама знала, что ее старшая сестра эвакуировалась из Ленинграда и оказалась в Караганде. Мы решили, что, если придется покинуть Москву, мы будем стараться попасть в Караганду, где были свои люди. Во время наших сборов позвонила мамина кузина:

— Я только что получила железнодорожные билеты до Алма-Аты для себя и дочери. У меня есть третий билет для племянника. Он сейчас в Куйбышеве, там я его подхвачу. Понимаешь, я могу взять кого-нибудь одного из вас до Куйбышева. Только — быстро, поезд уходит через два часа.

Мама ехать решительно отказалась.

— Тебе нельзя оставаться в Москве: ты — мужчина, тебя убьют, — сказала она. — А я как-нибудь перебуюсь. В крайнем случае, уйду пешком. Уезжай. Старайся попасть в Караганду. Если я уйду из Москвы, я тоже буду туда добираться.

Времени для обсуждения не оставалось — надо было ехать на вокзал. И, поспорив немного, я согласился ехать.

Сейчас мне это непонятно и стыдно: именно в силу того, что я мужчина, мне надо было поступить иначе.

...Я возвращаюсь мыслями в приемную Федеральной службы безопасности России, в который раз открываю папку с делом № 7375 и думаю: если бы понимал в 1937 году, что нельзя после ареста отца вступать в комсомол, и это важнее будущего поступления в вуз; если бы понимал, что надо идти работать, и это важнее, чем получать пятерки на физфаке; если бы понимал, что нельзя уезжать и мать одну оставлять в городе, когда немцы у ворот, то, быть может, в тюрьму попал бы с другим характером и знал бы, что смертельному врагу уступать нельзя — и это важнее будущей жизни, как знал это мой однодед Моня Коган, когда вскрыл себе вены в камере, поняв, что не может устоять перед следователями. И не было бы стыда при чтении следственного дела.

Может быть, правда, в этом случае и дело некому было бы читать ...

Мама так никуда не уехала и не ушла. Она проработала всю войну в Москве и даже получила медали «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

С маминой кузиной я доехал до Куйбышева, а оттуда, уже без всяких билетов, в эшелонах с эвакуируемыми предприятиями, меняя поезда и теп-

лушки, за неделю добрался до Караганды. В это же время туда прибыл эвакуированный Московский горный институт. У меня с собой были документы об окончании первого курса физфака, и по этим документам меня зачислили на второй курс электромеханического факультета, но уже не МГУ, а МГИ. Мне предоставили место в общежитии, и два года я прожил в Караганде, занимаясь в Горном институте, подрабатывая на жизнь и заводя новых друзей.

Жизнь в студенческом общежитии в Караганде была замкнутой. Общезитие было большое, студентов много, и все — москвичи. Общение с местными жителями ограничивалось редкими знакомствами с девушками из Педагогического института. После приезда в Караганду в институте состоялось общее комсомольское собрание, на котором было объявлено, что *«имели место случаи братания студентов с местным населением, и это нежелательно, так как здесь большой процент населения составляют ссыльные — раскулаченные и прочие враги»*.

В мае 1943 года я получил письмо от Шурика Гуревича. Он писал, что не уезжал из Москвы, продолжает учиться и работает фельдшером на «скорой помощи». Как всегда весело и легко, он писал о том, что Москва опрывается от налетов немецкой авиации и угрозы близкого фронта. Я запомнил конец письма: *«И вообще, пора тебе возвращаться к родным пенатам: по улице Горького опять ходят хорошенькие девочки, а в “Эрмитаже” трюбит зорю Эдди Рознер»*.

Тем временем в Москве возобновил занятия Горный институт, и в первых числах ноября 1943 года я вернулся домой.

5. Год 1944-й

Я был рад возвращению, я скучал по Москве. В Караганде я вспоминал Тверскую, и все дома от площади Маяковского до Моссовета, и переулки между Тверской и Большой и Малой Дмитровками и между Тверской и улицей Герцена — места прогулок и встреч с друзьями. И вот я снова хожу по этим улицам и переулкам. Война изменила их, но это была все та же Москва, которую я любил...

Номер телефона Шурика Гуревича я не забыл. Он обрадовался моему звонку, тут же приехал к нам, поговорил немного с моей мамой и потащил меня к себе:

— Поехали, поехали. Тебе предстоит познакомиться с моей женой.

Изумлению моему не было предела: Шурик — женат! Меньше всего я мог ожидать, что он женится двадцати лет от роду. Что-нибудь новое узнать, что-нибудь интересное прочесть, чего никто из нас не читал, — это было на него похоже. Но жениться?!

Однако еще больше изумился я, когда в Воротниковском нас встретила Тania Перчикова, милая, тихая и умненькая девочка из нашего класса. Перед моим отъездом, когда мы почти ежедневно встречались с Шуриком, никакой Тани Перчиковой и в помине не было.

— Поздравляю вас. Очень за вас рад. Как же вы нашли друг друга после школы?

— А мы учимся вместе в Первом медицинском.

В следующее воскресенье мы встретились с Шуриком и вместе пошли на Страстной бульвар к Сулимову. По дороге Шура рассказал, что Володя попал на фронт вскоре после начала войны. По сравнению с другими ему повезло: он был ранен до того, как его часть попала в окружение, и его с госпиталем успели вывезти в тыл. Ранило его осколком мины, он сильно хромает, ходит с тростью.

Мы позвонили, и дверь нам открыла Лена Бубнова.

— Рыбонька! Здравствуй, дорогой, — обрадовалась Лена. — Володя, иди сюда: Шура Рыбу привел!

Мы обнялись с Володей. Лена стала хлопотать у стола.

— Идите сюда, сейчас я вас всех кормить буду. Отпразднуем твой, Рыбонька, приезд.

Я смотрел то на Володю, то на Лену, не понимая, что она здесь делает.

— Тебе, что ли, Шурка не сказал ничего? Мы с Володей женаты. И это значит, что у вас появился семейный дом, куда вы с Шурой будете в гости ходить, а не просто так: «выходи, Володька, прошвырнемся по Тверской». Будете в гости ходить, а я вас буду чаем поить.

Видно было, что Лена наслаждается ролью хозяйки. Я поздравил их. Меня расспрашивали о житье в Караганде, о маме.

Сулимов рассказал, что Лена учится в МГУ на искусствоведческом факультете, что он, после фронта и госпиталя, еще раз пытался поступить на режиссерский, но плохо сдал общие предметы и не был принят. Он вернулся в съемочную группу Игоря Савченко, где начинал работать до войны помрежем, и теперь надеется вскоре стать ассистентом режиссера. А на эту должность поступают обычно после окончания института.

Шура стал прощаться, я тоже собрался уходить, но Лена с Володей задержали меня:

— Не уходи. Скоро Валерики придут. Колоссальные ребята, познакомишься.

Я остался. Вскоре действительно появились *Валерики*: Валерий Фрид и Юлий Дунский. Володя познакомился с ними на приемных экзаменах. В отличие от него, Фрида с Дунским в институт приняли, и теперь они учились на сценарном факультете. Лена рассказала, что они — неразлучные друзья еще с первых классов, занимаются вместе, везде бывают вместе, поэтому Лена и зовет их «Валерики».

Знакомство с «Валериками» подтвердило, что они, действительно, «колоссальные ребята». В них чувствовались одаренность, живость ума, наблюдательность и юмор.

Несколько дней спустя у меня выдался свободный от занятий день в институте, и я зашел к Сулимовым.

— Пойдем, мне надо с Лешкой Суховым повидаться, — встретил меня Володя. — Я его знаю через Валерики, они друзья со школы.

Леша Сухов жил в одном из домов, которые раньше выходили фасадом на Тверскую. Когда Тверская стала улицей Горького и ее стали перестраивать, превращая в главную московскую магистраль, эти дома задвинули внутрь дворов, а на их месте выстроили парадные, облицованные розовым

гранитом здания. По узкой лестнице мы поднялись на третий этаж и мимо кухни прошли в маленькую Алешину комнату. Во время разговора о девице, с которой недавно познакомился Алеша, в комнату влетел его младший брат, одиннадцатилетний Ванька — и тут же был выставлен: разговор был для взрослых. Я сидел, слушал рассказ о незаурядных физических достоинствах Лешкиной девицы и представить себе не мог, какую роль в нашей общей судьбе предназначено сыграть этому маленькому Ваньке.

У Суховых была дача под Москвой, недалеко от станции Быково. В Быково был аэродром, и на его территории находилась свалка останков немецких самолетов, сбитых во время налетов на Москву в 1941 и 1942 годах. Ванька Сухов с приятелями утащили с этой свалки крупнокалиберный пулемет со сбитого немецкого бомбардировщика. Мальчишки установили этот пулемет в сарае на даче Суховых, и звонкое мальчишеское «та-та-та-та» будило задремавших после обеда Алешиных теток.

Об этой комической истории Леша рассказал у Сулимовых. Все посмеялись, и дело на этом, казалось, кончилось. Однако история эта всплыла на следствии, когда этот пулемет стал фигурировать в нашем деле как потенциальное оружие, с помощью которого должен был быть осуществлен террористический акт против товарища Сталина. Пулемет стал сущей находкой для Московского областного управления госбезопасности: «змее-ныши», как окрестило нас это управление, оказывались не просто болтунами, а террористической организацией в центре Москвы, готовившей ни много ни мало, а покушение на жизнь самого Сталина!

Сулимов, Лена, Шурик Гуревич, Фрид и Дунский, Алеша Сухов — так у меня сложился круг друзей. С ними было интересно: разговоры о фильмах, о книгах, о событиях, которыми наполнена жизнь. Это были молодые люди более сложные и интеллектуальные, чем те, с которыми я встречался в институте. И потом, среди них были Шурик, Володя, Лена — друзья детства и отрочества. Виделись мы нечасто — почти все учились, многие работали. Мы пили чай, иногда вино. Втроем с Володей и Шуриком мы развлекали компанию, пели популярные в то время песни, переиначивая их и пародируя. У Фрида родители были в эвакуации, и в квартире, помимо Валерия и Юлика, жили еще две красивые девицы, студентки ВГИКа, будущие киноактрисы. Там иногда устраивались вечеринки с танцами. У Фрида я познакомился с его друзьями Юрой Михайловым и Моней Коганом.

В конце 1943 года вернулся из Ашхабада в Москву Валя Токарь. Мы встретились. Валя продолжал учиться в МГУ, на физфаке.

— Ты не думаешь вернуться к нам, в университет? — спросил он меня.

— Нет, куда мне. Я на четвертом курсе. Если возвращаться, надо два или даже три года терять — идти на второй курс. Сейчас не время для «вечных студентов».

Валя со мной согласился.

— Знаешь, за эти годы я поостыл к перспективе заниматься наукой, — сказал он. — Нет у меня уже того энтузиазма. Я в Ашхабаде очень серьезно занимался в студенческом театре и думаю, что в этом мое будущее.

— Ты что, бросить университет собираешься?

— Нет, что ты! Получу диплом, а после этого думаю поступить в училище МХАТа или в Щепкинское.

Я не знал, что Фрид и Дунский решили идти добровольцами в армию; 14 апреля 1944 года военкомат направил их в воинскую часть. И никто из нас не знал, что в поезде они были арестованы.

Воскресенье 23 апреля 1944 года в Москве было теплым и солнечным. Я решил зайти к Сулимову. Дверь мне открыла Володина мама, Анна Афанасьевна.

— Уходи, Витя, уходи скорее! Володю и Лену сегодня ночью арестовали.

Я посмотрел поверх плеча Анны Афанасьевны и увидел разоренную комнату. На полу валялись одеяла, книги, листы бумаги. Я пустился бегом в Воронцовский переулок, к Шурику Гуревичу.

Там об аресте Сулимовых уже знали. И мы, и бывшие в комнате родители Шуры гадали, что было причиной, и боялись, что это может коснуться нас.

— Господи, у Володьки была моя книга «Романтики» Паустовского, — сказал вдруг Шура. — Я там нарисовал кое-что. И они небось нашли...

— Не бойсь, — ответил я. — Эта книга у меня: мне Володька дал почитать. Мама увидела твои рисунки и велела порвать их немедленно. И я их извел. Жалко было, ты колоссально их нарисовал. Но если бы не я, мама бы их все равно сама извела.

На чистых страницах в начале и в конце книги Шурик нарисовал портреты лидеров антигитлеровской коалиции: Рузвельта, Черчилля, Сталина и Чан Кайши. Портреты были слегка шаржированы. Сталин был очень хорош: при полном сходстве кавказские черты его физиономии были гипертрофированы, что придавало лицу злобное и хищное выражение.

Я стал прощаться. Отец Шуры пошел меня провожать. Он открыл дверь на лестницу и, когда я выходил, сказал со вздохом:

— Горячая вы молодежь. Вы потеряли одного бога, а другого себе не создали. Нет у вас основного стержня.

Спустя несколько дней арестовали Шуру. Потом пришли за мной...

Майской ночью 1944 года майор Букуров с подручными на черной легковой «эмке» привезли меня к большим железным воротам на улице Малая Лубянка. Створки ворот раздвинулись, автомобиль въехал внутрь тюремного двора, и я услышал, как со скрежетом закрылись ворота, отрезав меня от вольной жизни. Я оказался в другом мире. Я знал, что параллельно с миром, в котором мы жили, существовал другой, таинственный и страшный; знал о том, что где-то в нем находятся исчезнувшие из нашей жизни люди, и среди них — мой отец. И вот настала моя очередь...

На следующее утро от следователя дано мне было узнать, что место, куда меня привезли, называется «*Следственная тюрьма Московского управления госбезопасности*». В тюремном обиходе это место называлось «*Малая Лубянка*».

Мне приказали выйти из автомобиля и провели в большое помещение, предназначенное для первичной обработки арестантов. Там мне велели раздеться догола, тщательно обыскали мою одежду, ощупав все швы, забрали зажигалку, бывшую в кармане мелочь, брючный ремень и шнурки от

ботинок, срезали все металлические пуговицы и крючки, осмотрели внимательно мое тело, заглянув повсюду и, велев нагнуться, разняли даже мои ягодицы и заглянули в то место, которое Пушкин называл «*грешной дырой*». После этого велели одеться, сняли отпечатки всех пальцев и подвели к столу, за которым сидел старший лейтенант. Молча, поглядывая на меня, он заполнил короткую анкету. Когда в 1993 году я читал свое дело, я нашел там эту анкету и узнал кое-что о своей внешности:

Приметы Левенштейна Виктора Матвеевича

Рост — *высокий*
Фигура — *средняя*
Волосы — *черные*
Глаза — *карие*
Лицо — *овальное*
Лоб — *прямой*

Брови — *прямые*
Нос — *большой*
Рот — *большой*
Губы — *толстые*
Подбородок — *прямой*
Уши — *большие*.

Далее меня остригли наголо, скомаңдовали: «Руки назад!» и, придерживая за плечо, завели в отдельную комнату, где предстояло сделать мои фотографии. В комнате этой стояла фотокамера на треноге, у стен позади камеры и по бокам располагались штативы с многочисленными лампами и отражателями, стояло несколько реостатов для регулирования яркости освещения, а на полу лежало множество толстых изолированных проводов. У стены напротив фотокамеры стояло кресло, на которое усаживали фотографируемого заключенного.

Для удобства съемки кресло было сделано так, что фотографу не надо было менять положение фотокамеры и настраивать фокус. Поэтому кресло было довольно сложной конструкции, которая позволяла с помощью специальных рукояток менять высоту сиденья и поворачивать его на 90 градусов с тем, чтобы делать снимки в профиль и анфас. Посреди сиденья вдоль всей его длины был устроен треугольного сечения невысокий выступ, который, когда человек садился в кресло, оказывался между ягодицами и таким образом точно фиксировал положение тела. Вместо спинки кресла торчала железная штанга, на которой располагался металлический подголовник для точного фиксирования головы фотографируемого по вертикальной оси тела. Высота подголовника тоже регулировалась.

Все вместе, учитывая учреждение, где это находилось, производило зловещее впечатление и походило на пыточную камеру. Однако в результате этой сложной механики вся процедура фотографирования заняла меньше минуты. Меня усадили в кресло, раздался скрежет реостатов, лампы ярко засветились, фотограф сделал снимок, кресло повернули — второй снимок, в профиль, и меня вывели из комнаты. Думаю, что вся эта техника появилась на Лубянке в тридцатые годы, когда тюрьма вынуждена была вводить усовершенствования организации труда, для того чтобы справиться с гигантским потоком арестов.

Я прошел всю процедуру без особых потрясений. Из приемной части провели меня в бокс — малюсенькую одиночную камеру без окна, где ни сидеть, ни лежать нельзя было, так она была мала. Я вспомнил мамыны

рассказы, как водили ее в 1938 году по тюремным коридорам в Бутырке. Тогда ведущий арестанта вертухай бил ключом по пряжке на своем ремне — давал знать, что ведут заключенного, чтоб не встретиться с другим арестантом, которого ведут навстречу. В мое время вели так же. Встреча арестованных в коридоре, очевидно, считалась страшным нарушением тюремного порядка, и вдоль длинных тюремных коридоров были установлены маленькие «боксы», куда спешно заталкивали одного из арестантов, пока второго проводили мимо. Вот в такой бокс меня и завели.

Расстояние между боковыми стенами в боксе было примерно метра полтора, а от двери до задней стены — и того меньше. Под потолком висела яркая электрическая лампочка без абажура, которая горела круглые сутки. На задней стене была узкая полочка, сидеть на которой было трудно, так как она была расположена над полом выше, чем обычное сиденье. Когда я садился на нее, то ноги свисали, и чтобы усидеть, надо было упираться рукой в дверь или в противоположную стену. Спать в этом помещении можно было только стоя или лежа на полу и согнув колени. И то и другое днем запрещалось. Вертухай время от времени заглядывал в «очко» в двери и шелкал замком, как только я закрывал глаза. Как мне довелось вскорости убедиться, такое строгое соблюдение тюремного режима было важной частью следственной тактики.

Первый допрос был на следующее утро. Кабинет следователя: белые стены с зелеными панелями. Пахнет карболкой. Большой письменный стол, за которым лицом к двери сидит следователь в форме госбезопасности с погонами капитана. Над ним — большой портрет Вождя и Учителя. У стены напротив — табурет для арестованного. После вопросов об имени и возрасте следователь объявляет:

— Вы арестованы за активное участие в антисоветской террористической группе. Это — преступления, предусмотренные статьями 58-8, 58-10, часть 2 и 58-11. Признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

— Нет, не признаю.

— Вам известны имена Сулимов Владимир, Михайлов Юрий, Гуревич Александр?

— Да, знакомы.

— Каким образом вы знаете этих людей?

— С Сулимовым и Гуревичем я учился вместе в школе, с Михайловым познакомился прошлой осенью.

— Где вы познакомились с Михайловым?

— У Сулимова.

— Вам известно, что на квартире у Сулимова велись разговоры антисоветского содержания?

— Нет, неизвестно. Я ничего не знаю о таких разговорах.

— И вы не принимали в них участия?

— Нет, не принимал.

— А вот арестованные Сулимов и Михайлов дали показания, что вы принимали в этих разговорах активное участие. И арестованный Гуревич показал то же самое.

- Не знаю, я никаких таких разговоров не вел.
- А при вас названные лица вели такие разговоры?
- Нет, не вели.
- Значит, не помните разговоров антисоветского содержания?
- Нет, не помню.
- Подумайте, может быть, вспомните.
- Нет, не помню.
- Антисоветских разговоров не помните, значит?
- Нет.

Наступает пауза. Следователь долго пишет что-то. Дает мне прочесть. Это — протокол допроса. Я читаю. Все правильно, все записано так, как я отвечал. Я подписываю протокол.

— Ну, хорошо, теперь идите в камеру и подумайте о том, о чем я вас спрашивал. Только хорошенько подумайте!

И меня ведут в мой бокс. Думаю не о разговорах, думаю о словах *«террористическая группа»*. Мне делается страшно. Значит, те же дела, что в 1937-м, то, о чем мама рассказывала, и то, что я знаю из папиных писем: будут заставлять подписывать всякие фантастические выдумки? С другой стороны, пока не бьют, не пытаются, не дают, разговаривают вежливо. Протокол составили правильно, как я отвечал. Что же дальше будет? Мне не приходится в голову, что мое сидение в боксе, где спать нельзя, где двигаться нельзя и полное отсутствие движения составляет ужасный контраст с нормальной жизнью на воле, которая была только вчера, где нет окон, и яркий свет горит круглые сутки, и теряется представление о времени, — это уже пытка, это психологическая подготовка человека к тому, чтобы сломить его волю и способность к сопротивлению.

Ночь проходит в приступах страха. Как давно я здесь? Сколько часов прошло с тех пор, когда меня заперли в этом боксе? А может быть, не часов, а дней? Вдруг начинало казаться, что время остановилось и я замурован в этом ящике-боксе на всю оставшуюся жизнь... Но вот приносят пайку хлеба и кипятка, и я понимаю, что прошла всего одна ночь и наступило утро.

Меня повели на допрос. Такой же кабинет, тот же запах карболки, часы показывают 10 утра. Следователь новый. Объявляет мне:

— Я — старший лейтенант госбезопасности Макаров. Мне поручено вести ваше дело.

Арестовали меня в ночь на воскресенье, и вчерашний следователь, капитан, был, по-видимому, дежурный. Макаров с самого начала задал другой тон. Вежливость кончилась. Отвечая на один из вопросов Макарова, я назвал его «товарищ следователь».

— Брянский волк тебе товарищ! Я для тебя — гражданин следователь. Понял? Заруби это себе на носу!

Вопросы те же: с кем встречался на квартире у Сулимова, с кем — у Фрида. Какие были взаимоотношения с Сулимовым, Бубновой, Гуревичем, Михайловым, Фридом, Дунским, Суховым. Когда и как познакомился с ними. Расскажи про свои антисоветские настроения. Какие были антисоветские разговоры на квартире у Сулимова, принимал ли в них участие, высказы-

вал ли свои антисоветские взгляды, высказывались ли такие взгляды в моем присутствии. Отвечаю так же, как вчера: «нет, не было, не слышал, не принимал участия, не высказывал». Реакция следователя уже другая:

— Что же ты врешь, Левенштейн?! Следствие располагает исчерпывающими данными о твоем участии в антисоветских разговорах, о твоих антисоветских настроениях.

Речь идет пока только о настроениях и разговорах.

— Да нет, товарищ следователь, не участвовал я ни в каких таких разговорах.

— Твои товарищи в брянском лесу хвостами машут. Я тебе сказал, что для тебя я — гражданин следователь. Мы с тобой не товарищи! Запомни! И запомни, что нам про тебя все известно: и то, что ты говорил, и то, что при тебе говорили.

Так продолжается часов до двух. После очередного моего «нет» Макаров говорит:

— Сейчас я тебя отправлю в камеру. Иди и подумай хорошенько.

Меня ведут в мой бокс. Приносят баланду. Я ем. Часа в 4 (Макаров успел пообедать в своей столовке) дверь в бокс открывается.

— Без вещей!

Я уже знаю, что это значит: на допрос. Тот же кабинет. Макаров за столом. Те же вопросы, те же ответы.

— Значит, не хочешь говорить правду, не хочешь разоружаться перед советскими следственными органами.

— Да как мне разоружаться, я ведь не вооружен, я вам правду говорю.

— Ты правду скрываешь и этим очень сильно себе самому портишь. Это значит, что ты не только был врагом Советской власти, но и сейчас не раскаиваешься и остаешься врагом. И выводы из этого твоего поведения будут сделаны, помани мое слово. И подумай об этом, Левенштейн Виктор Матвеевич. Вот посиди здесь и подумай хорошенько.

Я сижу. Макаров листает какие-то бумаги, читает, поглядывает на меня исподлобья. Проходит час.

— Ну как, надумал давать правдивые показания?

— Да я вам все сказал, тов... гражданин следователь.

— Не все, не все ты сказал. Ты еще многое мне расскажешь. Так что думай, думай.

Макаров продолжает чтение бумаг. Изредка спрашивает: «Ну как, надумал?» Наконец, Макаров долго что-то пишет. Показывает мне написанное.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного Левенштейна Виктора Матвеевича 1944 г. мая 22

Вопрос: Вы арестованы, как участник антисоветской группы. Что можете показать следствию по существу своего ареста?

Ответ: Участником антисоветской группы я не был. Почему это послужило поводом к моему аресту, мне не известно.

Вопрос: Вы напрасно стараетесь отрицать свою причастность к антисоветской группе. Это полностью доказано материалами дела. Предлагаю Вам дать правдивые показания по данному вопросу.

Ответ: Я еще раз подтверждаю, что участником антисоветской группы я не был. Несколько моих знакомых арестованы органами госбезопасности.

Вопрос: Кого имеете в виду?

Ответ: Моих товарищей по учебе в средней школе Сулимова Владимира, его жену Сулимову (Бубнову) Елену, Гуревича Александра и Михайлова Юрия, с которым я познакомился через Сулимова.

Вопрос: В чем заключалось Ваше знакомство с указанными лицами?

Ответ: Мое знакомство с Сулимовым, Гуревичем, Михайловым заключалось в том, что в 1944 г. я *бывал у них на квартире*.

Вопрос: Как часто бывали на квартире у Сулимова, Гуревича, Михайлова и где встречались с ними еще?

Ответ: У Сулимова бывал до 1 раза в неделю, а в последнее время реже, у Гуревича за все время был 4 — 5 раз, к Михайлову заходил несколько раз, когда проходил мимо его дома — жили мы недалеко друг от друга. Кроме того, со всеми этими лицами я виделся у Фрида, у которого был 4—5 раз, два раза ходил к нему специально для того, чтобы он помог мне в переводе с английского языка.

Вопрос: Следствию известно, что, посещая Сулимова и Фрида, Вы были участником антисоветских сборищ, происходивших у них на квартире. Дайте показания об этом.

Ответ: В моем присутствии антисоветских разговоров у Сулимова и Фрида не было. Показать об этом следствию ничего не могу.

Вопрос: Вы напрасно стараетесь скрыть свое участие в антисоветских сборищах. Предлагаю Вам не упорствовать, прекратить бесцельное заpiresательство и приступить к правдивым показаниям.

Ответ: Я от следствия ничего не скрываю. О том, что я не являюсь участником антисоветских сборищ, могут подтвердить Сулимовы В. и Е., Гуревич, Михайлов, Фрид и Дунский...

Ответы на вопросы с моих слов записаны верно.

Протокол мною прочитан.

Подпись

Ст. следователь спецотдела УНКГБ МО

Ст. лейтенант госбезопасности

Макаров

Я подписываю протокол, и допрос кончается знакомой уже формулой:
— Иди теперь в камеру и там подумай хорошенько: оставаться тебе врагом заклятым или разоружиться перед Советской властью.

Меня опять ведут в бокс. Часы в коридоре показывают 4 часа утра. Я еще не понимаю, как можно спать в боксе. Да я слишком взволнован допросом, чтобы спать. Стою. Приносят завтрак: пайку хлеба, кипяток и 2 кусочка сахара. Стою в боксе, пытаюсь сидеть — неудобно, опять стою. Приносят обеденную баланду — что-то вроде пшеничного супа, потом ужин — жидкую кашу из того же пшена-сечки. После ужина проходит какое-то время, и появляется вертухай:

— Без вещей!

Макаров встречает меня все тем же:

— Ну как, надумал давать правдивые показания?

— Я вам правду говорю, гражданин следователь.
— А кто такой Рыбец?
— Это я — Рыбец, меня так в школе звали.
— Опять врешь, пытаешься ввести в заблуждение следствие. Но не выйдет! Рыбец — это твоя подпольная кличка, как члена нелегальной антисоветской группы. Легально ты — Левенштейн Виктор, а для нелегальной работы ты — Рыбец.

— Да меня так с пятого класса зовут. Какая еще нелегальная работа в пятом классе, что за глупости!

— Глупости? Да я тебя, блядь, в карцере сгною, если еще раз услышу «глупости». Ты с кем разговариваешь, шенок? Я тебе рога обломаю, падло! Давай, колись, сука! А не расколешься сам, я тебя ниже жопы расколю!

Макаров выскочил из-за своего стола, орет и машет кулаками перед моим носом:

— Гад антисоветский, вот кто ты есть! Я думал, ты — змееныш, а ты — гад матерый, не желаешь разоружаться перед следствием. А с гадами у нас разговор короткий! Не таких, как ты, здесь обламывали, а тебя, щенка, враз обломаем! В мешок с говном тебя превратим!

Макаров отдышался, заходит за мою табуретку и сзади тычет пальцем мне в затылок.

— Вот тут пуля в твою вражью башку войдет, когда мы тебя кончать будем, а отсюда она выйдет.

Он теперь стоит передо мной и его палец направлен мне в лоб. Наступает пауза. Макаров успокаивается и начинает меня убеждать:

— Ты же не дурак, Левенштейн, он же — Рыбец. Ты скажи мне, много ты знаешь людей, кто был нами арестован и выпущен на волю?

— Знаю: моя мама.

— Твоя мама — это особый случай. Это выпуск 1939 года. Был такой. Это, когда Ежов лишних людей нахватал и новое руководство дало ему по шапке и людей выпустило. Все! Больше такого не было и не будет. Если мы кого берем, значит, его вина доказана и обратно ему пути нету. Госбезопасность зря людей не арестовывает. Раз взяли, значит — виновен! И таких случаев, даже единичных, чтоб выпустить кого из-под следствия, нету. Нет таких случаев, понял? И ты не выйдешь, что бы ты тут ни врал. Вина твоя перед советской властью доказана документально, понял? А вот судьба твоя дальнейшая — в твоих руках. Ты думаешь, суд тебя будет судить: прокуроры, адвокаты, судьи? Глупости все это! Судьба твоя решается здесь, на следствии. Судить тебя будет наш судебный орган — Особое совещание при НКВД СССР. Рассмотрит дело без твоего присутствия. И приговор это Особое совещание вынесет точно такой, какой мы рекомендуем. Так что все зависит от нас, от следствия. Какую рекомендацию мы даем, так суд и решает. Теперь слушай внимательно. То, что ты виноват, это нам известно, это материалами дела доказано. Без вины мы тебя бы не арестовали. А вот кто ты есть и что от тебя в будущем ожидать, это ты должен показать своим поведением на следствии. Если ты был врагом советской власти и им остался — одно решение. А если ты раскаялся, разоружился перед советским следствием, перед органами госбезопасности, — значит, у тебя есть будущее. И есть надежда, что в

будущем ты станешь советским человеком. И мы это учитываем. Мы не только карательные органы, мы также воспитательные органы. Мы людей перековываем. Все от нас зависит: какой срок дать, в какой лагерь послать, лагерь ведь тоже разные бывают... Подумай об этом. Посиди вот и подумай.

Макаров включает мощную лампу, стоящую у него на столе. Яркий свет бьет мне в глаза. Сегодня Макаров не листает бумаг. Он читает газету. Время от времени он поглядывает на меня и продолжает чтение. Я сижу. Думаю. То, что я в их власти и никакой суд мне не поможет, я понимаю. Но я не собираюсь сдаваться. Да и в чем мне признаваться? Ни в какой антисоветской группе я не принимал участия, никакой антисоветской работой я не занимался, что за бред. Я устаю сидеть прямо и закладываю ногу на ногу. Макаров это замечает.

— Ты что, блядь, у тещи на блинах расселся? Сядь, как положено: ноги вместе, руки на коленях. Вот так. Так и сиди!

Макаров прочел газету от первой страницы до последней. Аккуратно сложил, спрашивает:

— Ну как, Рыбец, надумал давать чистосердечные, правдивые показания?

— Мне нечего вам сказать, кроме того, что я уже сказал.

— Плохо, значит, думал. Жалко мне тебя, Рыбец, портишь себе будущую жизнь, сам себе портишь. Подумай еще.

Он читает вторую газету. Первую страницу, вторую, третью... Время идет. Макаров откладывает прочитанные газеты, берет новые. Я гадаю, что он прочитал: «Правда», «Известия», «Труд», «Красная Звезда», «Советский спорт», «Вечерняя Москва»... Наконец, после очередного «ну как, надумал?», Макаров гасит свою адскую лампу, вызывает по телефону вертухая.

— Иди в свой бокс и думай там. Не будешь показания давать, сгноим тебя в боксе. Понял?

Меня ведут в бокс. Часы в коридоре показывают 5 часов утра...

В боксе я замечаю, что у меня распухли ноги. Идут уже четвертые сутки, как я либо стою, либо сижу. Я ложусь на пол, задираю ноги вверх по стене бокса. В 6 утра в тюрьме подъем. Вертухай велит подняться. Он уходит, я вновь пытаюсь задрать вверх ноги, но он видит это в «волчок» на двери. Дверь снова открывается.

— Ня безобразничайтя! Днем спать нельзя!

После утренней хлебной пайки с кипятком мне приносят передачу от мамы: жареные картофельные оладьи. После трех дней на голодном тюремном рационе я быстро съедаю эти оладьи и вдруг начинаю плакать. Я злюсь на себя за эти детские, как я считаю, слезы, но ничего не могу с собой сделать: мне жаль маму, я думаю о том, сколько горя доставляет ей мой арест и сколько горя ей еще предстоит пережить из-за меня, и мне жаль себя. Мне кажется, что жизнь моя загублена, и я плачу и не могу остановиться...

6. «Колись, Рыбец!»

День в боксе проходит в тщетных попытках лечь и задрать ноги. К вечеру я на какое-то время засыпаю, опустившись на корточки (я не спал уже три ночи), но будит вертухай:

— Без вещей!

В кабинете Макарова, кроме него, — знакомый мне майор Букуров, тот самый, что меня арестовывал. Видно, что он здесь начальник. Все те же вопросы: «Подумал? Надумал давать правдивые показания?» Все те же мои ответы. Букуров открывает лежащую на столе папку.

— Слушай, Левенштейн, слушай внимательно.

Он передает папку Макарову. Макаров вновь включает направленную на меня мощную лампу. Свет бьет мне в глаза, мешает сосредоточиться. Макаров читает:

«...Вопрос: Левенштейн был курсе вашей антисоветской деятельности?»

Ответ: Левенштейн был не только в курсе нашей антисоветской деятельности, но и сам лично принимал участие в антисоветских собраниях, происходивших у меня на квартире и на квартире у Фрида.

Вопрос: Каковы политические настроения Левенштейна?

Ответ: Левенштейн настроен был антисоветски, то есть так же, как и я, и мои соучастники — Фрид, Дунский, Сухов, Гуревич, Михайлов и другие.

Вопрос: Покажите о роли Левенштейна в составе антисоветской группы.

Ответ: Принимая участие в антисоветских собраниях, организуемых у меня на квартире и на квартире у Фрида, Левенштейн, наравне с другими, вел антисоветские разговоры, в процессе которых допускал враждебную критику мероприятий партии и советского правительства.

Когда речь заходила о Конституции и советской демократии, Левенштейн полностью разделял установившееся между нами мнение, что Конституция есть ни что иное, как формальный документ, ничего общего не имеющий с действительным положением вещей в стране.

Левенштейн разделял также общее мнение, сводившееся к тому, что в Советском Союзе при существующем правительстве, конкретно при Сталине⁷, права граждан ущемлены до предела. Нет свободы слова, свободы печати и существования различных партий.

Особенно Левенштейн был недоволен карательной политикой советского правительства. Помню, как в одном из разговоров со мною Левенштейн заявил, что органы НКВД неправильно арестовали и осудили его отца, как и многих других ни в чем не повинных людей.

Левенштейн также принимал участие в таких разговорах, когда допускались различного рода клеветнические измышления по адресу главы советского правительства. Конкретно он разделял лично мое мнение и мнение моих единомышленников о том, что в стране, вопреки конституционным законам, существует диктатура одного человека — Сталина, что в этой связи деятельность органов советской власти, в том числе — Верховного Совета, сведена к формальному существованию и выполнению воли Сталина как полномочного «диктатора».

В общем, о роли Левенштейна, как участника антисоветской группы, можно сказать следующее: он, наравне с другими, принимал участие в антисоветс-

⁷ Так читал Макаров. Когда я читал дело в приемной ФСБ, во всех протоколах допросов вместо фамилии Сталина стоял прочерк.

ких собраниях, на которых, как и все мы, вел антисоветские разговоры, клеветал на советскую власть и руководителей ВКП(б) и советского правительства, высказывал пожелания в установлении в России строя по типу Западно-Европейских стран и Америки.

Вопрос: Был ли Левенштейн в курсе ваших террористических замыслов?

Ответ: Прямых высказываний террористического характера в отношении представителей советской власти я от Левенштейна не слышал. Однако при всем этом не исключаю возможности его присутствия при обсуждении подобных вопросов между мною, Дунским, Фридом, Михайловым и Суховым.

Макаров кончил читать. Мне делается жутко. Все, о чем здесь говорилось, было в моих мыслях. Но я не назвал бы это взглядами. А эти категорические формулировки... Конечно, были у меня раздумья и сомнения. Конечно, я понимал, что нет у нас никакой свободы слова, и хотел, чтобы она была. Конечно, я понимал, что Америка и Англия — свободные страны, а СССР — нет. Но я, даже для себя самого, никогда не сформулировал бы все так категорично! И потом, если я и думал так, то никогда не произносил вслух этих мыслей, за исключением, может быть, того, что людей арестовывают и осуждают напрасно, и никогда я не слышал, чтобы так конкретно кто-либо формулировал все это в моем присутствии. С другой стороны, мне легко представить себе, что Сулимов (я понимаю, что это — его показания) или кто-либо еще из нашей компании мог так думать или говорить. Но я никогда не был участником какой-то антисоветской группы, а главное: что это за «высказывания террористического характера», что это за «обсуждение подобных (то есть террористических) вопросов» — что это значит? Букуров прервал мои размышления:

— Это — показания твоего друга Сулимова. Ты подпись Сулимова знаешь? Покажи ему! — Это он говорит Макарову.

Макаров подносит ко мне папку, закрывает текст листом бумаги, оставляя подпись.

— Да, вроде подпись Сулимова, — говорю я. — Но это неправда. Сулимов говорит неправду, ничего этого не было!

— Ах, не было! — говорит Букуров. Он берет папку из рук Макарова. — Слушай:

«...Нашими единомышленниками, кроме вышеуказанных лиц являлись... и Левенштейн, студент Московского института... Все эти лица по своим убеждениям являлись антисоветски настроенными, имели тесную связь с нами по антисоветской работе. Таким образом, в ноябре 1943 г. на почве единства враждебных к существующему в СССР политическому строю взглядов содалась вполне определенная группа лиц...»

— Это показания твоего друга Михайлова. Хочешь подпись посмотреть?

— Я его подписи не знаю.

— Можешь поверить, под этим стоит подпись Михайлова. Ну что, Рыбец, понимаешь, что ты изобличен этими показаниями. Есть еще и другие, ты с ними, когда надо будет, познакомишься. А сейчас пора тебе приступить к

даче показаний. Покажи, что ты честный человек, не жди, пока тебя изобличат во всех подробностях.

— Нет, это неправда! Ни с кем я никакой связи не имел, ни по какой антисоветской работе!

— Подумай, Левенштейн, подумай хорошенько. Ты видишь, что ты полностью изобличен показаниями твоих бывших друзей. Мы тебе еще не все прочитали из того, что против тебя показано. Зачем тебе упрямиться, на рога лезть? Ты же был хорошим советским парнем, учился хорошо, членом комсомола был. Ну, ошибся малость, в дурную компанию попал. Зачем тебе этот груз на сердце держать? Сознаться, разоружайся перед следствием. Увидишь, сразу легче тебе станет. Накажем тебя, конечно. Но — мягко, как человека, который ошибся и раскаялся в своих ошибках. Поедешь в легкий лагерь, трудом свою вину искупишь, вернешься в общество и будешь дальше жить честной жизнью, как советский человек. Знаешь, как много людей успешно и плодотворно работают, отбыв срок наказания. Мы, чекисты, не только наказываем, мы многих направили на верный путь. Среди них — герои труда, изобретатели, страна гордится ими. Читал небось про Рамзина? Враг был, вредитель, а сейчас — профессор, уважаемый всеми инженер, ордена получает от советского правительства. Так и ты можешь жизнь свою повернуть на правильный путь. Ты же молодой еще, у тебя вся жизнь впереди, зачем тебе жизнь свою калечить?

Букуров уходит, на прощанье говорит:

— Макаров, держи его в боксе, пока он не разоружится перед следствием.

Я остаюсь с Макаровым. Ночь проходит так же, как и предыдущая. Свет направленной на меня лампы режет мне глаза. Макаров читает газеты. Я пытаюсь думать о прочитанных мне показаниях. И понимаю, что дело мое — дрянь. Я соображаю, наверное, плохо — это моя четвертая ночь без сна, да еще этот свет... Что это за *«антисоветская работа»*, *«антисоветская группа»* и *«террористические высказывания»*? И вообще, какого черта Сулимов с Михайловым все это обо мне, да и о себе несут? Я вести себя так не собираюсь. Я уверяю себя, что все, что было мне сейчас сказано, это следовательские уловки и верить им нельзя. Однако слова о том, что вся жизнь впереди и зачем ее калечить, лезут и лезут мне в голову.

Еще один день в боксе проходит в тщетных попытках уснуть, и вечером меня опять ведут на допрос. Все те же вопросы, все те же ответы, все тот же направленный в глаза свет. В какой-то момент я засыпаю сидя. Макаров оказывается напротив меня, больно бьет носком сапога по моей ноге, орет:

— Ты что, спать сюда пришел, вражина антисоветская?! Давай, телись, Рыбец, раскрывай свою черную душу! Колись, Рыбец, колись сам, спеши, пока мы тебя ниже жопы не раскололи! Сволочь, вражина, обломаем тебе рога, сука!

— Да нечего мне вам рассказывать, не примыкал я ни к какой антисоветской группе.

— Ах, не примыкал? Ах ты, вражина контрреволюционная! Нянькаемся здесь с тобой. Не будешь у нас колотиться, пошлем тебя в Лефортово, там узнаешь, что такое активное следствие! Да ты знаешь, гад, как с тобой по-

ступят, как с нераскаявшейся вражиной? Стгноим тебя живьем, жопой клюкву будешь давить, пока не издохнешь!

— Что это значит «*жопой клюкву давить*»? — спрашиваю я робко.

— Не знаешь? Это значит — на лесоповале в тайге бревна пилить, пока от холода и голода не издохнешь, как собака, вот что это значит! Вот как мы поступаем с нераскаявшимися врагами!

Мне страшно, свет режет глаза, смертельно хочется спать... Допрос опять заканчивается перед самым утренним подъемом.

...Я думаю о показаниях, которые мне прочитали. Пытаюсь осмыслить наш арест и все, что с нами произошло.

Мы все росли и взрослели в обстановке всеобъемлющей, во все проникающей пропаганды. Начиная с детского сада внушали нам, что наша страна строит самый справедливый на земле социальный порядок. В семьях, как правило, этому не противоречили. Вся страна жила в страхе перед карающей десницей государства. И в этой обстановке многие запрещали не только детям, но и самим себе сомневаться в святости официальной доктрины — так было «спокойнее».

Сомнения, однако, были у многих. Об эксцессах коллективизации, об-рекших на разорение, голод и смерть миллионы, мы, родившиеся в 20-е годы и жившие в городах, знали мало, но сталинский террор в конце 30-х коснулся всех.

Мы были хорошо образованными молодыми людьми. И конечно, мы понимали, что «социалистическая демократия» — это никакая не демократия. И что «социалистический реализм» — это никакой не реализм. Арест моих родителей открыл мне глаза на многое. Я понимал, что представляют собой «карательные органы».

Володя Сулимов рассказывал о непризнанном гении советского кино, режиссере Барнете, прекрасные фильмы которого «Старый наездник» и «Новгородцы» шли на полку; о бездарных писателях и режиссерах, осыпаемых наградами за *«идеологически выдержанные»* произведения; об американском кино, которое свободно от идеологического контроля и потому великолепно. Об этом же говорили Валерики. Все мы посмеивались над бездарными «уропатриотическими» фильмами, которые заполняли московские кинотеатры.

В наше время можно было прочесть переводы на русский язык книг Хемингуэя, Стейнбека, Синклера, Драйзера, Ремарка, Моэма, Грина, Олдингтона. Многих из этих авторов печатали, считая их *«критиками буржуазной действительности»*. Мы зачитывались этими книгами, и перед нами возникал очень привлекательный образ западного мира, критика которого не заслоняла его главного отличия от нашего мира — свободы.

Все это, однако, большинством из нас не додумывалось до конца. В один и тот же день я мог хихикать по поводу прочитанных в газете слов о *«городских джунглях Нью-Йорка»* и с гордостью читать о *«мощной социалистической индустрии, кующей оружие для победы над фашистским врагом»*. Думаю, что примерно такое же отношение к жизни было у Шурика Гуревича и других, а Валерий Фрид, например, казался еще более «советским». Разве это не показывает, думаю я, пытаясь усидеть на узкой скамейки бок-

са, как далеки были и я и Володя Сулимов от какой-либо деятельности, которая могла бы властям показаться подозрительной? Не было у нас никакой «антисоветской группы»!

Днем вертухай объявляет: «С вещами!» Меня ведут в баню, оттуда — в камеру. Перед тем как вертухай огромным ключом с грохотом открывает дверь, я успеваю увидеть над дверью номер 18. Вхожу. Оглядываю камеру. Большая комната, у стен кровати: два ряда по восемь. Окно с решеткой закрыто снаружи сплошным железным ящиком — *намордником*. Пахнет карболкой. У дверей стоит *параша* — большой железный бак с двумя ручками, закрытый крышкой. Рядом с парашей свободная кровать — моя.

Знакомлюсь с обитателями камеры. Вид у них жуткий. Бритые головы, бледные, какие-то даже серые, худые, нездоровые, отечные лица. Все сидят давно. Спрашивают, нет ли табаку, расспрашивают о новостях с воли, о положении на фронтах. Спрашивают, за что арестован. Рассказываю.

— Сознался во всем? — спрашивают.

— Нет, не в чем мне сознаваться.

Ухмыляются, отходят. Один, неправдоподобно худой, с мешками под глазами на пол-лица остается рядом со мной.

— Вот смотри, здесь в камере 15 человек. И все сидят по такой же статье, что и ты, — по 58-й, и у всех пункт 10 — разговоры и пункт 11 — группа или организация. И все, как один, сознались. Потому что упираться бесполезно. Рано или поздно все равно подпишешь, заставят. Так зачем себя мучить. Отсюда на волю пути нет, только через лагерь. Я вот упирался, упирался, а потом все подписал, жду теперь, чтоб осудили и в лагерь отправили. Потому что лагерь — это уже немножко воля. Ходить можно по зоне, работать, это уже жизнь какая-то. А здесь, в тюрьме, пропадешь. Жалею теперь, что сразу не подписал, результат один, а мучений больше. Ты молодой, послушайся моего совета: подписывай все, и дело с концом. Ты поговори в камере с кем хочешь, все тебе то же скажут.

Я не помню этих людей в первой моей лубянской камере. Как ни стараюсь вспомнить, не могу, все они слились для меня в одно серое одутловатое лицо с огромными мешками под глазами. Я помню тех, с кем я сидел в других камерах, а этих не помню. Видимо, соображал я тогда плохо.

В камере я могу, наконец, задрать вверх ноги, чтоб сошел отек. Но спать днем нельзя. Вертухай следит и гремит ключами, стоит закрыть глаза: не положено по режиму. В 11 вечера — отбой. Я быстро раздеваюсь, залезаю под одеяло и засыпаю тут же. Просыпаюсь оттого, что сосед по кровати трясет меня за плечо. В дверях камеры стоят два вертухая. Один из них с бумажкой в руках, произносит: «На “лы”!»

— Твоя фамилия на «эл» начинается? — спрашивает сосед.

— Да. Левенштейн.

Вертухай смотрит на свою бумажку.

— Правильно. Собирайся живо. Без вещей!

Допрос в кабинете у Макарова начинается привычным уже вопросом: «Ну как, надумал давать правдивые показания?» Соображаю я плохо: идет шестая ночь без сна.

— Ну, ты же был антисоветски настроенным. Так? Что ты мне лепещь «нет»? У тебя отца посадили? Посадили. Тебе что, это нравилось? Ага, не нравилось. А кто его посадил?

— НКВД.

— Значит, Рыбец, не мог ты к органам советской власти, которые твоего отца посадили, хорошо относиться. Не мог. И пора тебе в этом признаться. Давно пора. А чтобы легче тебе было это сделать, вот почитай, это — собственноручные показания твоего друга Гуревича Александра. Ты его по черк знаешь?

Макаров подносит ко мне страницу, исписанную знакомым почерком Шурика. Я читаю:

«...На антисоветских сборищах в квартире Фрида мне Левенштейна встречать не приходилось. В моем присутствии у Фрида Левенштейн был на двух вечеринках, которые не носили антисоветского характера. У Сулимова я встречал Левенштейна чаще, чем у Фрида. Бывал он несколько раз и у меня. У Сулимова обычно бывало несколько участников антисоветской группы, среди которых велись разного рода враждебные разговоры по отношению к советской власти и ее руководителям, затрагивались вопросы внутренней и внешней политики, которые истолковывались в антисоветском духе. Присутствуя при этих разговорах, Левенштейн обычно соглашался с тем, что говорилось, однако вспомнить его конкретные высказывания я сейчас не могу.

При наших встречах с Левенштейном я высказывал ему мое недовольство условиями жизни в СССР, говорил, что молодежь не имеет перспектив на будущее, таланты затираются и творческим людям не дают работать так, как они хотят. В результате происходит упадок литературы и искусства. Такое положение является результатом режима диктатуры и до тех пор, пока это будет продолжаться, рассчитывать на улучшение нам нечего.

С моими антисоветскими настроениями Левенштейн полностью соглашался, но его дополнений к моим высказываниям я сейчас не помню...»

В мою затуманенную бессонницей и страхом голову не приходит, что Шурик, в отличие от Сулимова, говорит обо мне очень осторожно, что он оставляет мне лазейку. Ведь, по его словам, я сам ничего не «высказывал». Я могу сказать, что да, слушал, но нет, не соглашался. Я, однако, не понимаю этого.

Никогда он не говорил мне о том, что таланты затираются. Он не говорил мне об упадке литературы и искусства. Он мог похихикать по поводу дурацкого фильма или лозунга в газете. И я с этим соглашался, а не с этими жуткими формулировками о недовольстве условиями жизни в СССР. Но как я могу объяснить это следователю? Я чувствую только страх и безнадежность. Единственное, что я понимаю, это: «И он — тоже. Все они раскололись, все они дают показания не о том, как все было, а так, как требует следователь. И мне деваться некуда!»

Макаров долго на меня смотрит и, наконец, спрашивает:

— Ты книгу «Романтики» Паустовского читал?

Я мгновенно вспоминаю эту книгу и Шурикину карикатуру на Сталина. Господи, и это они знают!

— Читал, — говорю я и чувствую, что это — конец.

— Что там было нарисовано?

Я бормочу что-то о дружеских шаржах.

— А почему же ты уничтожил эти «дружеские шаржи»? — спрашивает Макаров.

Мне бы сказать: «Вот потому я их и уничтожил, что я не был антисоветски настроенным и, как советский человек, не хотел, чтобы эти рисунки существовали». Но мысли мои путаются, направленный на меня свет больно режет глаза. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Я не способен больше к сопротивлению. Я устал и хочу спать. И я молчу.

— Потому ты уничтожил эти рисунки Гуревича, что это были не дружеские шаржи, а злостные карикатуры на вождя партии и правительства. Ну что, Рыбец, будем давать показания?

И я опускаю голову и говорю:

— Да...

7. Показания

Я признаюсь в том, что у меня были антисоветские настроения и я понимал, что мои друзья были настроены так же, но ни в какую организацию я не входил и никакой антисоветской работой никогда не занимался. Макаров садится за стол, составляет протокол допроса и дает мне прочесть:

Вопрос: Признаете ли себя виновным?

Ответ: Виновным себя признаю. Я вошел в состав антисоветской группы, принимал участие в нелегальных антисоветских собраниях на квартире у Сулимова.

Вопрос: Покажите о характере антисоветских собраний, участником которых Вы являлись.

Ответ: Припомнить сейчас подробно о характере имевших место антисоветских разговоров я затрудняюсь. Прошу дать мне время для продумывания этого вопроса, на который дам показания на следующем допросе.

— Но это ведь не то, что я вам сказал, — говорю я робко. — Я не входил в состав антисоветской группы, это просто была группа моих друзей!

— Но ты же сказал, что у этих друзей были антисоветские взгляды. Группа людей с антисоветскими взглядами и есть антисоветская группа.

— А вот: *«нелегальные антисоветские собрания»*... Я не принимал участия ни в каких таких нелегальных собраниях.

— Вы вместе собирались? Собирались. Значит, собрание или собрание, все едино. Понял? Простая логика.

Я упираюсь долго, но ничего не могу доказать. Я чувствую ужасную усталость, и я не в силах спорить с «простой логикой» следователя. И я подписываю протокол.

Придя в камеру, я вдруг чувствую облегчение. Странно, но я не думаю о последствиях моего признания, у меня нет сожалений, только — облегчение от сознания, что кончилась эта страшная борьба и не нужно больше

изворачиваться и скрывать то, что было. От моих показаний никто не пострадаёт, так как я арестован последним, и, судя по тому, что мне дали читать, все уже признались во всем. Я буду говорить правду и — будь что будет!

...Началась вторая бессонная неделя, и мне вскоре предстояло убедиться в том, что борьба далеко не кончилась.

Макаров требует от меня показаний о «характере высказываний на антисоветских собраниях». Я пытаюсь объяснить ему, как все было на самом деле. Я ведь решил говорить правду!

— Понимаете, когда мы встречались, мы не говорили специально о политике, мы говорили обо всем на свете: о книгах, о фильмах, о девочках. При мне не было никаких формальных «политических высказываний». Мы знали друг друга с детства. Когда мы слушали вместе радио и диктор говорил что-то, что нам казалось фальшивым, никаких «высказываний» не нужно было. Достаточно было переглянуться или кому-нибудь улыбнуться, и мы все понимали без слов. Понимаете?

— Я понимаю, что ты мне тут лепишь горбатого к стенке. Ты хочешь, чтобы я в протоколе допроса написал, что вы слушали радио с антисоветскими улыбками? Ты хочешь, чтобы надо мной все управление смеялось? Не выйдет, Рыбец!

И все начинается сначала. Ночные допросы, сидение на табурете, яркий свет в глаза, уговоры, угрозы, опять уговоры... И я понимаю: *коготок увяз, всей птичке пропасть*.

Первый протокол допроса с подробными моими показаниями, как и остальные, был отпечатан на пишущей машинке. По стилю, почти грамотному русскому языку и относительно мягким формулировкам я понял, что я сам это писал, что это были, как выражались на Лубянке, «собственноручные показания», по-видимому отредактированные Макаровым и позже перепечатанные. Вот они:

...Ответ: Дать следствию подробные и последовательные показания обо всех тех антисоветских собраниях, участником которых я являлся, — затрудняюсь, т. к. не помню их подробно.

Однако могу показать, что, в основном, антисоветские собрания я посещал на квартире у Сулимова. В них принимали участие, кроме меня, Сулимов, Сухов, Гуревич, Дунский и Фрид. На этих собраниях обсуждались разные вопросы внутренней и внешней политики, проводимой Советским правительством. У участников собраний при разговоре о внутривластном устройстве в нашей стране сложилось убеждение, что в Советском Союзе существует диктатура одного человека, который и является полновластным диктатором, проводящим свою политику, ни с кем и ни с чем не считаясь. Государственный орган управления — Верховный Совет СССР рассматривался как формально существующий и никакого практического влияния на управление страной не имеющий, а его депутаты не пользуются авторитетом у народа. На Конституцию Советского Союза смотрели, как на клочок бумаги, не обеспечивающий народ никакими свободами, записанными в ней.

Проводя сравнение условий жизни в СССР и буржуазно-демократических странах, участники собраний приходили к выводу, что действительная де-

мократия существует в буржуазно-демократических странах, где, по мнению участников группы, народ пользуется всеми благами свободы, может свободно высказывать свои политические взгляды, не боясь за это репрессий со стороны правительства, а люди искусства и литературного труда могут свободно заниматься творческой работой.

Кроме того, участники группы отмечали на своих собраниях, что материальные условия жизни в буржуазно-демократических странах намного выше, чем в Советском Союзе. В связи с этим Сулимов и Михайлов высказывали свое пожелание поехать в Америку, где, как они полагали, они могли бы свободно жить и заниматься творческой деятельностью, имея в виду кино⁸.

На собраниях у Сулимова говорили о карательной политике Советского правительства, касаясь прошедших в 1937 — 38 г.г. арестов. При этом приходили к выводам, что в эти годы _____ для усиления своей диктатуры, убрал всех тех, кто не разделял проводимой им политики, объявляя их врагами народа, хотя они были только личными его противниками, добиваясь лучших условий жизни для народа и демократических свобод, что среди них было много в прошлом видных деятелей партии и правительства. Одновременно с этим говорилось, что в период 1937-38 г.г. пострадало очень много ни в чем не повинных людей.

В разговорах на эти темы участники собраний делали вывод, что советская демократия ложная, существует только на словах и на бумаге, а вся власть находится в руках диктатора _____. Усиление диктатуры _____ привело к лишению всех демократических свобод, когда-либо существовавших в СССР. Верховный Совет и Конституция существуют для видимости, и ими _____ прикрывается, проводя свою политику

На собраниях группы много говорилось о том, что у нас в стране люди искусства и литературы, якобы, лишены возможности свободного творчества, могут работать только в рамках социального заказа, что не дает возможности правдивого отражения действительного положения, существующего в стране. В результате, не создано ни одного произведения, отражающего советскую действительность со всех сторон...

Вопрос: Покажите об участии в указанных Вами разговорах присутствовавших при них.

Ответ: Среди присутствовавших на антисоветских собраниях всегда было одинаковое мнение по всем указанным вопросам, так что показать об участии каждого в отдельности в происходящих на антисоветских собраниях разговорах затрудняюсь.

Когда я читал эти показания в 1993 году, я на время забыл, где и при каких обстоятельствах это было написано, и подивился тому, как верно и политически зрело мне с помощью старшего лейтенанта Макарова удалось тогда сформулировать свое отношение к советской действительности сталинской эпохи. В пересыльных тюрьмах и в лагерях мне довелось встречать и старых и молодых участников так называемых антисоветских групп, имевших вполне «советские» программы: эти люди не соглашались лишь

⁸ Этот абзац, судя по стилю, принадлежал перу ст. лейтенанта Макарова.

со сталинскими отступлениями от ленинских идей. Октябрьская революция, Ленин, Карл Маркс были их богами. Судили их более сурово, чем нас. Мечты о «чистоте ленинских идей» были для властей, видимо, опаснее наших идеалов буржуазной демократии.

Через два дня после того, как я дал эти, как говорил Макаров, «развернутые показания», на очередном допросе в присутствии военного прокурора мне вручили следующий документ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ОБВИНЕНИЯ

Ст. следователь следотдела УНКГБ МО

Ст. лейтенант госбезопасности **Макаров,**

рассмотрев следственные материалы по делу и приняв во внимание, что Левенштейн Виктор Матвеевич достаточно изобличается в том, что на базе своего враждебного отношения к существующему в СССР политическому строю, осенью 1943 года вошел в состав антисоветской террористической молодежной группы, состоящей, в основном, из детей лиц, репрессированных органами Сов. власти за контрреволюционные преступления.

Как один из активных участников группы, Левенштейн В.М. принимал участие в антисоветских сборищах, на которых подвергал антисоветской критике внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Партией и Правительством, возводил клевету на советскую действительность и условия жизни в СССР, был сторонником изменения существующего в СССР политического строя.

Антисоветская группа, в которую входил Левенштейн, наряду с другими задачами, ставила своей целью совершение террористического акта против Главы Советского Правительства.

На основании изложенного

Постановил:

Руководствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК РСФСР привлечь Левенштейна Виктора Матвеевича в качестве обвиняемого по ст. 19-58 п. 8, 58 п. 10 ч. 2, 58 п. 11 УК РСФСР, о чем объявить обвиняемому под расписку в настоящем постановлении.

Я не замечаю, что формулировки в этом неграмотно написанном документе уже не те, что в моих предыдущих показаниях. Мне уже не до того, что я вошел в эту «группу» не на базе враждебного отношения, а на базе школьной дружбы, что я не «возводил клевету» и никто и ничто не доказывает, что я был сторонником изменения существующего политического строя. Мне уже не до споров из-за этих «мелочей». Все это я готов признать, чтобы только доказать, что я «разоружился», чтобы только мне поверили, что я говорю правду. И, главное, что я понятия не имею о том, что «группа... ставила своей целью совершение террористического акта». Я понимаю, что с этим террористическим актом недолго и под расстрел угодить, и притом я действительно понятия не имею ни о каких террористических актах. И я не обращаю внимания на то, что они формально предъявили мне обвинение только *после того, как я сознался*. Не обращаю внимания на то, что они мне ввали, говоря, что для обвинения достаточно чужих показаний.

Составляется протокол допроса:

Вопрос: Вам понятно предъявленное обвинение?

Ответ: Понятно.

Вопрос: Признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении?

Ответ: Виновным себя признаю, но не полностью.

Вопрос: В чем конкретно признаете себя виновным?

Ответ: Признаю себя виновным в том, что, будучи недовольным существующим в СССР политическим строем, осенью 1943 г. вошел в состав антисоветской молодежной группы, состоящей из моих старых школьных товарищей, через которых был познакомлен с другими участниками уже организовавшейся к тому времени группы. Войдя в состав антисоветской группы, принимал участие в нелегальных собраниях ее, на которых подвергал враждебной критике политику, проводимую Партией и Правительством, клеветнически отзывался об условиях жизни в СССР и советской действительности, высказывался за изменение существующего в СССР политического строя по типу буржуазно-демократических стран.

Вопрос: В чем еще признаете себя виновным?

Ответ: Больше ни в чем не признаю.

Вопрос: Почему не признаете себя участником террористических замыслов против руководителя Советского Правительства, которые имелись у участников группы, в которой Вы состояли?

Ответ: О террористических замыслах со стороны участников группы мне ничего не известно. Что касается меня, то таких настроений я не имел.

Вопрос: Вы говорите неправду. Следствие располагает данными, что Вы являлись участником разговоров террористического характера в отношении главы Советского государства, происходивших на собраниях группы. Требую правдивых показаний.

Ответ: Я еще раз подтверждаю следствию, что участником разговоров террористического характера я не был и о таких настроениях ни от кого не слышал...

Вот так я начал давать показания. И вот уже полвека я думаю о том, как и почему это произошло и пытаюсь объяснить, как вышло, что я *ИМ* уступил, и стыжусь и презираю себя за это.

Что же это было? Что послужило этому, помимо следовательского давления? Слабость характера, недостаток силы воли, чтобы противостоять этому давлению? Конечно. Но было еще что-то. Когда Макаров или Букуров говорили: «Ты же, в конце концов, в глубине души — советский человек. Не признаешься — пропадешь, мне тебя жалко, молодой еще, вся жизнь впереди, сними с души груз, расскажи все, и мы оценим, позаботимся о твоей судьбе. Срок получишь малый, в лагерь пошлем легкий, вернешься в общество», — я понимал, конечно, что верить этому нельзя, но что-то все же западало. И не от слабости характера, а от недостаточной уверенности в том, что передо мной — заклятый враг, что ни одному его слову верить нельзя, что вся его болтовня — это подлая ложь, что если он говорит «хорошо», это значит — плохо, а если говорит «плохо», это значит — хорошо!

Как ни скептически, как нам казалось, относились мы к советской пропаганде, а оставалось, как выяснилось, что-то и от сказок Павленко, и от пьес и фильмов Погодина о перековке заключенных, и даже от «*светлых идеолов коммунизма*». Не было того, что Солженицын называл «*отдельной позицией*», и потому не было нравственной опоры для борьбы до конца. И это подвело и меня, и, думаю, всех нас.

Ну и, конечно, давление. Тому, кто не испытал на себе советское политическое следствие, трудно представить себе, как чувствует себя человек после многих суток без сна, под направленным на него слепящим светом электрической лампы, под градом угроз, криков и издевательств. Сознание перестает работать, мысли путаются. Ты перестаешь быть самим собой. И не можешь больше выдержать все это, и не можешь больше сопротивляться.

Из тринадцати арестованных по нашему делу не «признались» только двое: Миша Левин и Моня Коган. Им было немножко легче, чем остальным. К их аресту наше дело было уже сфабриковано, определено было основное ядро «террористов», которые «признались» во всем, в чем надо было, и обоим «новеньким» по разработанному сценарию была отведена скромная роль.

Миша Левин был человеком блестящим. Он был старше и умнее нас, успел закончить физфак МГУ и проявить себя талантливым ученым. Он работал в лаборатории академика Леонтовича, и после его ареста о нем хлопотали крупные ученые-физики, которые в то время уже пользовались авторитетом в высшем эшелоне власти. Шел 1944 год, и Берия курировал работу по созданию советского атомного оружия. Срок Миша получил для 58-й статьи необычайно мягкий — 3 года.

Моня Коган учился на юридическом факультете МГУ. Там обучали теории Вышинского о том, что признание обвиняемого — царица доказательств. Поэтому он лучше нас понимал, как важно не признаваться. У него хватило для этого юридического образования.

Когда Моня понял, что не может больше сопротивляться следовательскому давлению, он решил уйти из жизни, но не подписывать требуемых «признаний». В одиночной камере на Большой Лубянке перед самым отбоем он вскрыл себе вену на руке, написал кровью записку о том, что кончает жизнь самоубийством в знак протеста против гестаповских методов следствия, и лег в кровать, накрывшись одеялом, чтобы вертухай ничего не заметил. Он допустил ошибку: лег в кровать, не сняв ботинок. Вертухай, заметив, что арестованный лег спать, а ботинок на полу не видно, вошел в камеру, и Моню спасли. В Бутырьках, когда мы встретились после осуждения, Моня рассказал нам, как все это было. Давить на него снова уже опасались, и Моня, ни в чем не признавшись, получил, как и я, пять лет лагерей.

История эта подтверждает слова Александра Исаевича Солженицына:

«...Как устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному? Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана?»

Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель... Имущее-

ства у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются для меня дороги и важны.

И перед таким арестантом дрогнет следствие!'

8. Близко было...

Допросы продолжались. Макаров добивался признаний в том, что я вел или при мне велись разговоры о терроре. Я отказывался. В деле был протокол допроса от 15 июня, где с моих слов записано:

...Я отрицаю свое присутствие при разговорах террористического характера. Ни на собраниях, ни в личной беседе таких разговоров я не вел. Если такие разговоры были, я свидетелем их не являлся. В моем присутствии террористических намерений или настроений никто не высказывал...

Мне помнится, что ежедневные ночные допросы с перерывами на две ночи: с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник, продолжались в течение трех недель. Как я не «признался» в терроре в это время — не знаю. Устоял. Помогло, видимо, то, что я действительно никогда не слышал от ребят никаких «террористических» высказываний.

Во второй половине июня в следствии наступил перерыв, и в этот период затишья мне удался один трюк. За все время следствия это было, пожалуй, единственное, чем я мог гордиться. Утром и вечером нас водили *на оправку*. В уборной стены были облицованы темным кафелем, я кусочком мыла нарисовал в углу на кафеле рыбку и написал свои инициалы: «В.Л.» На другой день я увидел под ними «В.С.», потом появились «А.Г.», «В.Ф.», «Ю.М.», и вскоре все уже посаженные участники «группы» оставили свои инициалы на стене тюремного клозета. Я надеялся, что таким образом все узнают, кто посажен, а кто нет. А это, быть может, спасет кого-нибудь из тех, кто остался на воле, от оговора и ареста. В «сборищах» участвовало несколько молодых людей, которых наша судьба миновала. Я и сейчас надеюсь, что моя уловка кого-то спасла.

В июле допросы возобновились. Макаров, видимо, закончил свою роль, и за меня взялись майор Букуров и подполковник Волков. Вальяжный, полнотелый, в расстегнутой на шее коверкотовой гимнастерке, подполковник Волков разговаривал на правильном русском языке и поначалу был даже чем-то симпатичен по контрасту с худым, маленьким, желчным и безграмотным Макаровым. Волков вежливо, с улыбкой расспрашивал меня о наших «*террористических замыслах*», по-отечески уговаривал признаться в намерении убить Сталина, а когда я упорствовал, начинал дергаться, топтать ногами, орать, рвал из висящей на поясе кобуры пистолет и размахивал им перед моим носом: — Убью гадину! Застрелю, как собаку!

Белая пена собиралась в углах его рта, и становилось страшно: псих ведь. Вдруг застрелит!

Волков не читал газет на допросах. Он вел со мной длинные беседы о моем отношении к жизни, об учебе, и вдруг спросил, как я отношусь к идеям Паолой Цион. По звучанию слова «цион» я понял, что это имеет какое-то

отношение к сионизму, и ответил, что впервые слышу это название (что было правдой), и Волков поверил. Только выйдя на волю, я узнал, что Паолей Цион — это польская рабочая сионистская организация. Это был единственный случай, когда на следствии была затронута еврейская тема. Нас посадили слишком рано. Еврейскую тему ГБ стало раскручивать четыре года спустя.

Тактика следствия, которое вели Волков и Букуров, была та же: допросы по ночам, с вечера до утра, днем спать нельзя. Свет лампы в глаза. Угрозы.

Все мои душевные силы были направлены на то, чтобы устоять перед непереносимым давлением. Сознание после всего этого работало плохо. Оставался голый инстинкт самосохранения. Статья о терроре — это смерть! Ни за что не соглашаться! Все, что угодно, но только не это! И, видимо, уступили другие, не связанные с инстинктом самосохранения, душевные тормоза. Результатом этого явились показания, которых я стыжусь больше всего.

Протокол допроса обвиняемого Левенштейна В.М.

7 июля 1944 г. начат 21:20 окончен 2:50

Вопрос: Были ли известны антисоветские взгляды и контрреволюционная деятельность участников вашей молодежной группы и Ваша лично лицам старшего поколения?

Ответ: Находясь в камере и анализируя обстоятельства и пути, приведшие меня к антисоветской деятельности, я неоднократно задавал себе вопрос, почему нас, в том числе и меня, своевременно не поправили, не остановили от спалзывания в болото контрреволюции, окружающие нас более зрелые политически и с точки зрения накопленного житейского опыта лица... Возьму семью Гуревича как наиболее близкую мне, в которой я, как об этом уже показывал выше, часто проводил свой досуг.

От своего друга Гуревича Александра я в свое время узнал, что его отец — Гуревич Соломон Абрамович является старым меньшевиком-бундовцем, в прошлом активно боровшимся с царским самодержавием, подвергавшимся преследованиям и репрессиям вплоть до вынужденной эмиграции за границу в Швейцарию.

Отдав некоторую часть жизни борьбе с самодержавием, Гуревич С.А. после Октябрьской революции, по словам его сына Александра, сохранил буржуазно-демократическую идеологию и, занимая ряд ответственных должностей в Советском государстве, вскоре оказался в оппозиции к руководству ВКП(б) и Советской власти, вступил в борьбу с ними, был отстранен от ответственной работы, затаив недоброжелательное отношение к существующему строю... Отец Гуревича хорошо знал политические взгляды и настроения как своего сына Александра, так и нас — других участников группы, в том числе, мои, Сулимова, Дунского и др. Он знал о наших собраниях, содержание происходивших разговоров, о всей нашей антисоветской деятельности и не только не мешал этому, а наоборот, содействовал, сообщая сыну ряд клеветнических вымыслов по адресу ВКП(б) и ее руководителей...

Я вспоминаю ряд таких антисоветских «новинок», как например, обсуждение факта, якобы, насаждаемого руководителями ВКП(б) антисемитизма, прояв-

лявшегося в удалении лиц еврейской национальности с руководящих постов, восхищение медобслуживанием личного состава германской армии и т.п., источником которых являлся отец Гуревича — Соломон Гуревич.

Уже после ареста отдельных участников нашей группы, в частности: Сулимовых, я, узнав об этом, пришел на квартиру Гуревича. На квартире я застал самого Гуревича Александра, отца Гуревича — Соломона Абрамовича и мать. Обсудив случившееся, Гуревич Александр при мне заявил, что нам также не миновать ареста и немедленно приступил к уничтожению всей имеющейся у него переписки, карикатур на вождей ВКП(б) и деятелей Советского государства, которые он лично изготовлял как обладающий талантом живописца. Когда я в этот вечер собрался уходить, меня по своей инициативе пошел провожать Гуревич С.А. и по дороге заявил: «Горячая вы молодежь! Вы потеряли одного бога, а другого себе не создали. Нет у вас основного стержня».

Зная прошлое Гуревича как меньшевика-бундовца, я понимал его намек на потерю бога, как потерю Троцкого, молчаливо с ним согласился...

Мы встретились с Шурой Гуревичем в марте 1945 года в коридоре Бутырской тюрьмы после объявления приговора. Первое, что он сказал мне, было:

— Рыбец, почто на батю капал?

Мне было стыдно, я промолчал и только в камере ответил Шуре:

— Ты что, забыл, через что мы все здесь прошли? Меня арестовали по показаниям Володьки, да Юрки, да Лены. Я на них не в обиде. Ты знаешь, что меня «раскололи», дав прочитать твои показания? Я и на тебя не в обиде. Тот, кто здесь не был, может нас упрекать, но не мы друг друга!

Мы больше не возвращались к этой теме. Заноза эта, однако, сидела во мне, и я думал о Соломоне Абрамовиче по ночам. Думал в лагерях, где мне пришлось сидеть, думал и после освобождения. Нам довелось встретиться с Шуриком спустя 6 лет в Экибастузе, и первым моим вопросом было:

— Как твои родители?

— Спасибо, ничего, отец хворает часто, мама — лучше.

— Там же живут, на Воротниковском?

— Конечно, куда им деваться?

Шура не обратил внимания на мое беспокойство. У меня гора с плеч свалилась. Я перестал думать об этой больной для меня истории, и какой-то защитный механизм задвинул ее в самый дальний угол памяти.

И вот 1993 год. Я читаю свое дело в ФСБ на Кузнецком и вижу протокол от 7 июля 1944 года. Я пытаюсь вспомнить этот допрос — и не могу. Видимо, постарался тот самый защитный механизм в мозгу. Я думаю о том, как это могло произойти, что я дал показания, по которым запросто могли посадить человека. Мне ясно, что это не были «собственноручные показания». Мне было известно, что Соломон Абрамович был социал-демократом и перед Первой мировой войной учился в Швейцарии и там познакомился с Шуриной мамой. Но я ничего не знал о том, что он был меньшевиком или бундовцем... Скорее всего, кто-нибудь дал эти показания до меня, Макаров вставил их в протокол допроса, а я их подтвердил, как это бывало много раз и как это было с показаниями обо мне самом.

Но как быть с фразой Соломона Абрамовича: *«горячая вы молодежь...»*? Я помнил, как он это сказал. И помнил, что мы с ним были вдвоем в пере-
дней. Никто, кроме меня, не мог это слышать. Значит, я сам это вспомнил и
рассказал на допросе. Но как они заставили меня подписать это идиотское
толкование: *«Зная прошлое Гуревича как меньшевика-бундовца, я понимал его
намек на потерю бога, как потерю Троцкого...»*? Непостижимо!

Прочитируем А.И. Солженицына: *«...оглядываясь потом на свое следствие,
я не имел основания им гордиться... Затмение ума и упадок духа сопутство-
вали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня
раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было»*.

Соломон Абрамович остался на свободе. А если бы его посадили? Ведь
близко было...

9. Следственная часть по особо важным делам

В начале сентября 1944 года в камере № 18 на Малой Лубянке, где я
досиживал четвертый месяц своего заключения, после отбоя на пороге
появился вертухай.

— На «лы!», — объявил он.

— Левенштейн, — отозвался я, моя фамилия была единственной в ка-
мере на «лы».

— С вещами! Живо!

«В другую камеру переводят», — подумал я. Я оделся, быстро собрал свое
скудное хозяйство, где главной ценностью был полученный недавно от мамы
табак, и попрощался с сокамерниками.

Меня привели в уже знакомые приемные камеры. Опять шмон:

— Вещи на стол! Раздевайтесь! Поднимите руки! Откройте рот! Нагни-
тесь! (Это в задницу заглядывают.) Одевайтесь!

Собираю вещи. Выводят во двор. Там — *черный ворон*, или *воронок*, как
ласково называли в то время, о котором я пишу, арестантский автобус без
окон с дверью сзади, на котором снаружи для камуфляжа было обычно
написано «мясо» или «молоко».

Меня привезли на Большую Лубянку, как называли и арестанты, и сле-
дователи Центральную внутреннюю тюрьму Наркомата государственной
безопасности СССР — в самую главную тюрьму Советского Союза и всего
«прогрессивного человечества».

В приемной части ждала уже знакомая мне процедура обыска, снятия
отпечатков и фотографирования (видать, не доверяют своим коллегам по
Московской области). Потом повели в баню. Баня — роскошная. Моюсь один.
Выдают тюремное белье: холщовую рубашку и кальсоны с завязками вме-
сто пуговиц. Одеваюсь.

Долго ведут по широким коридорам — это здание бывшей гостиницы
страхового общества «Россия». Приводят в одиночную камеру. По сравне-
нию с Малой Лубянкой, помещение роскошное: маленькая комната с
чистыми белыми стенами и паркетным полом, с окном, закрытым наморд-
ником, с небольшим столом посредине и железной кроватью у стены.

Вечером следующего дня на допросе я узнал, что нашим делом занялась Следственная часть по особо важным делам НКГБ СССР.

В моем деле был подшит такой документ:

«Утверждаю»

Зам. нач. Следчасти по особо важным делам

НКГБ СССР подполковник ГБ Родос

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии дела к следственному производству

г. Москва 20 августа 1944 г.

Я, старший следователь Следчасти по особо важным Делах НКГБ СССР майор ГБ Галкин, рассмотрев поступившие из УНКГБ по Московской области материалы следственного дела по обвинению Левенштейна В.М. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР, **нашел:**

Левенштейн Виктор Матвеевич арестован 20 мая 1944 г. по обвинению в принадлежности к антисоветской террористической группе и в проведении вражеской работы. Учитывая, что для полного выявления преступной работы, проводимой Левенштейном, и его антисоветских связей, необходимо продолжить следствие, руководствуясь ст. 110 УПК РСФСР,

постановил:

Дело по обвинению Левенштейна В.М. принять к своему следственному производству.

Копию настоящего постановления направить наблюдающему прокурору.

Ст. следователь Следчасти по особо важным делам

Майор госбезопасности

Галкин

Следственная часть по особо важным делам! Это была высшая политическая следственная инстанция государства. Чем же мы заслужили такую честь?

Вспомним рассказ Алеши Сухова о его маленьком брате Ваньке, который стащил крупнокалиберный пулемет со свалки сбитых немецких самолетов на территории Быковского аэродрома и сделал его своей игрушкой. Вспомним и о *литере «Н»* — подслушивающем устройстве, установленном на квартире Сулимовых.

Арестованный одним из первых, Володя Сулимов сознался в том, что в кругу друзей он говорил о том, что единоличная диктатура Сталина препятствует развитию искусства и литературы и Сталиным попорчены демократические свободы. Получив эти показания, следователи на Малой Лубянке объяснили Сулимову, что, по логике вещей, он, Сулимов, должен был желать смерти Сталина, потому что до тех пор, пока Сталин жив, ничего не может измениться. Сулимов «сознался» и в этом. Я не знаю, сколько бессонных ночей понадобилось для того, чтобы Михайлов, Сухов, Фрид, Дунский и Гуревич подтвердили эти «признания».

Получив показания о том, что Сулимов желал смерти Сталина, следователи стали разрабатывать сценарий практического осуществления этого

желания. И тут история с пулеметом маленького Ваньки Сухова оказалась как нельзя более кстати. Налицо было оружие: крупнокалиберный пулемет, пули которого могли пробить броню сталинского автомобиля. Брат Ваньки, Алексей, по сценарию Московского управления ГБ, должен был снабдить этим смертоносным оружием своих друзей-заговорщиков. Антисоветская молодежная группа, таким образом, получала главный, наиболее зловещий эпитет — террористическая.

Среди записанных *литером «Н»* в комнате Сулимова разговоров был, видимо, и рассказ Шурика Гуревича о том, что он встречал автомобильный кортеж Сталина. Шурик учился на 4-м курсе Медицинского института и подрабатывал санитаром на автомобиле «скорой помощи». Околотком его был Арбат, а по Арбату Сталин ездил в Кремль со своей дачи в Кунцево. Встреча со Сталиным, естественно, была событием, и я помню, что Шурик рассказывал друзьям, как милиция останавливала движение транспорта по Арбату, и мимо его машины «скорой помощи» проносились черные автомобили, в одном из которых ехал Сталин. В результате этого рассказа, по лубянскому сценарию, Шурику отведена была роль разведчика. Он должен был поставить террористам сведения о том, в какие дни и часы Сталин проезжает по Арбату.

Еще одна петля в ткани заговора связалась, когда выяснилось, что Валерий Фрид влюблен в девушку по имени Нина Ермакова и бывает у нее дома. А Нина жила на Арбате! Вот оно, коварство змеенышей-заговорщиков! Фрид, выходит дело, завлек в террористические сети Нину Ермакову, чтобы воспользоваться ее квартирой для покушения. Как только все это сплелось на Лубянке, арестовали бедную Нину.

Когда в процессе формирования антисоветской террористической группы на Лубянке понадобился руководитель группы, Володя Сулимов заявил, что руководителем был он и ему принадлежала главная инициатива в разработке планов террористического акта.

В *«террористических замыслах»* и подготовке покушения, кроме Володи, «признались» Лена Бубнова, Фрид, Дунский, Сухов, Гуревич и Михайлов. В августе 1944 года дело об *«антисоветской молодежной террористической группе в г. Москве»* в следственной части Московского областного управления госбезопасности было в основном закончено. Думаю, что авторы этого дела: Букуров, Волков, Макаров и другие — уже протыкали дырочки для новых орденов в своих кителях и гимнастерках и предвкушали повышения в званиях. Они обнаружили и вовремя обезвредили опаснейшее гнездо молодых «змеенышей», угрожавшее драгоценной жизни Вождя!

Нам же судьба не сулила ничего хорошего. Катя Гуманская, сестра моего школьного товарища, работала секретаршей во Фрунзенском райкоме партии. Она встретила на улице мою маму и узнала от нее о том, что я арестован. Катя попросила секретаря райкома навести справки обо мне. Спустя какое-то время он сказал Кате: «Забудь об этом человеке. Он не вернется. Это дело очень плохое». Думаю, что если бы наше дело было закончено так, как оно выглядело к концу следствия на Малой Лубянке, наиболее вероятный исход был бы расстрел для основного «террористического» ядра — 6 или 7 человек — и десятилетний срок в каторжных лагерях для остальных.

Но тут вмешались мамы.

Моя мама сразу после моего ареста установила контакт с родителями Шурика Гуревича и с Зинаидой Самуиловной Кизельштейн, мамой Юры Михайлова. Когда арестовали Мишу Левина, к ним присоединилась мать Миши, Ревекка Сауловна Левина. У этих мам были связи. И они решили действовать.

Ревекка Сауловна в то время была человеком влиятельным — членом-корреспондентом Академии наук СССР, заместителем директора Института мирового хозяйства и мировой политики. Директором института был академик Варга. Кроме того, она была научным руководителем диссертации Панкратовой, автора учебника истории СССР, одобренного Сталиным. И Панкратова, и Варга были членами ЦК КПСС, и где-то там на цэковском уровне они попросили наркома госбезопасности Меркулова принять Ревекку Сауловну.

С такой же просьбой обратился к наркому известный кинорежиссер Михаил Ромм, который был кузеном и близким другом Зинаиды Самуиловны Кизельштейн. А Ромму отказать было трудно: Сталин любил его фильмы, ценил мнение режиссера и приглашал его по ночам в Кремль показывать новинки кино.

Меркулов принял обеих мам и сказал им, что следствием установлено, что их сыновья участвовали в подготовке покушения на жизнь Вождя. И они поняли, чем это грозит их детям. Зинаида Самуиловна рассказывала моей маме, что Ревекка Сауловна стала кричать:

— И вы хотите, чтобы мы в это поверили?! Вам стыдно должно быть! Война идет, а вы, вместо того чтобы делом заниматься, детей хватаете и выдумываете идиотские обвинения! Сталина они убивать готовились?! Еще какую небывлицу выдумаете? Я — член партии с 1918 года, вы тогда еще под стол пешком ходили! Я своего сына знаю и никогда не поверю вашим выдумкам! Это — преступление перед партией — то, чем вы тут занимаетесь! — И, не помня себя, замахнулась на наркома стоящей на его столе тяжелой чернильницей.

Зинаида Самуиловной говорила, что страха перед Меркуловым у них не было: они понимали, что жизнь их детей под страшной угрозой. Помимо этого визита, они добились того, что с просьбой лично разобраться в нашем деле обратились к наркому академики Варга и Леонтович и Михаил Ромм. В результате Меркулов, вместо того чтобы по тогдашней логике вещей арестовать обеих мам, обязал, по-видимому, разобраться в нашем деле высшую следственную инстанцию своего ведомства⁹.

Следователям на Большой Лубянке, проверяющим дело по распоряжению высокого начальства, пришлось, наконец, в голову ознакомиться с квартирой Нины Ермаковой, на которой готовилось «покушение на жизнь Вожда», а также с пулеметом Ваньки Сухова, с помощью которого это преступле-

⁹ Р.С. Левина, однако, не избежала ареста. В январе 1948 г. ее арестовали по обвинению в сионизме и подвергли страшным пыткам. Вскоре после освобождения Р.С. в 1953 году моя мама встретила ее на улице. Сын помогал ей идти. В свои 54 года она выглядела глубокой старухой и полным инвалидом.

ние предполагалось совершить. И тут выяснились некоторые подробности. Оказалось, что, хотя адрес Нины был улица Арбат, дом 43, окна Нининой комнаты и всей квартиры выходили во двор, а двор — на соседнюю улицу Молчановку. То, что мальчишки называли пулеметом, оказалось куском гнутого и искореженного пожаром металла.

На волю, в результате этих находок, нас, однако, не отпустили. Более того, у всех арестованных по нашему делу осталось обвинение в терроре. Обвинение теперь было по статье 19-58 пункт 8. Статья 19 обозначала *намерение* совершить преступление. Версия непосредственной подготовки террористического акта провалилась, но остались *признания* семерых обвиняемых в том, что квалифицировалось как «*террористические намерения*». Этого было достаточно для обвинения в терроре. В той области, которая называлась «*антисоветская деятельность*», наше законодательство не знало разницы между словом и делом¹⁰.

Всего этого я тогда, конечно, не знал и гадал, что же кроется за перемещением в Центральную тюрьму госбезопасности и какую судьбу мне это сулит. Вечером в дверях моей камеры появился вертухай и распорядился: «Руки назад!» Он привел меня в просторный светлый кабинет с высокими стенами и широким окном, выходящим на площадь Дзержинского. За окном была вечерняя Москва. Большие портреты Сталина и Дзержинского строго смотрели со стен. Меня усадили на стоящий одиноко у стены стул.

Из-за большого письменного стола поднялся высокий подтянутый человек, похожий скорее на армейского офицера. Гимнастерка из тонкого сукна ладно сидела на нем. Он расписался на бумажке приведшего меня вертухая, объявил мне, что он, майор Галкин, будет отныне вести мое дело, и вежливо и доверительно обратился ко мне:

— Расскажите мне, Левенштейн Виктор Матвеевич, не для протокола, а просто откровенно, в качестве знакомства, так сказать: что там у вас было, в вашей компании? Только правду давайте.

И я, решив, что вот, наконец, я попал в учреждение, где меня выслушают и поймут, стал рассказывать, как мы подружились с ребятами еще в школе, как встречались и говорили обо всем. Может быть, мы говорили что-то, чего не следовало бы говорить. И уж, во всяком случае, никакой организации или организованной группы у нас не было, и никакой антисоветской работы мы не вели, просто разговаривали...

— Ты что, мне сказки пришел сюда рассказывать? — прервал меня Галкин, переходя на «ты». — Ты понимаешь, где ты находишься?! Следственная часть по особо важным делам НКГБ, понял: **особо важным**, — прозвучал он раздельно и со значением, — высший следственный орган государства! Слышал имена Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков? Это мы их дела вели, это мы их сломали. Это из этих вот кабинетов их на суд повезли, где они признавались в своей преступной деятельности. Государственные люди!

¹⁰ Генеральный прокурор СССР Вышинский писал: «*Мы не отличаем намерения от самого преступления, и в этом превосходство советского законодательства перед буржуазным*».

Председатель Совнаркома, лидер Коминтерна, члены Политбюро! И мы их заставили говорить, что надо, давать показания об их антипартийной и антисоветской, подрывной террористической и шпионской деятельности. Понял, Левенштейн Виктор Матвеевич?

— Понял.

— А теперь пойми дальше: если мы таких людей заставили говорить, что надо, то с такими сосунками, как вы, легко справимся. Заруби это себе на носу и не вздумай от следствия что-нибудь укрывать, Левенштейн Виктор Матвеевич. Давай рассказывай, как вы товарища Сталина убить собирались, а не сказки о школьных товарищах, понял? Не расскажешь добром, в Сухановскую тюрьму отправим, а там не цацкаются, там другие меры воздействия. Там не заговоришь, там запоешь!

И все пошло по уже знакомой мне схеме: допросы по ночам, свет в глаза, угрозы (мать посадим, вон у Сулимова — мать уже сидит), ругань, уговоры. Днем одиночная камера, бессонная морочка, когда усталый от постоянного недосыпа мозг работает плохо, способность к сопротивлению притуплена.

И полная безнадежность...

Вот первый протокол допроса, датированный 15 сентября, то есть спустя примерно неделю:

Вопрос: Признав себя виновным в предъявленном Вам обвинении, Вы далеко не полностью показали о своих преступлениях против Советской власти. Намерены ли Вы приступить к полным и правдивым показаниям о своей антисоветской деятельности?

Ответ: Да, я буду показывать правду, как о своих преступлениях, так и о вражеской работе своих сообщников.

Вопрос: Прежде всего, покажите, в чем Вы признаете себя виновным?

Ответ: Признаю себя виновным в том, что я являлся участником существовавшей в Москве антисоветской группы, в которую был вовлечен своим приятелем... Сулимовым В.С.

Вопрос: Какую основную цель ставила перед собой ваша антисоветская группа в борьбе против Советской власти?

Ответ: На этот вопрос ответить не могу, так как по этому поводу я ни с Сулимовым, ни с другими участниками группы не говорил.

Вопрос: Неправдоподобно. Будучи активным участником антисоветской группы, Вы не могли не знать о ее задачах. Говорите правду.

Ответ: Я показал все, что мне было известно об антисоветской работе нашей группы и моей, в частности, как одного из ее участников. Других познаний по этому поводу дать не могу.

Вопрос: Вы явно пытаетесь уйти от правдивых показаний о всей сумме совершенных Вами преступлений. Заявляю Вам, что у Вас это не выйдет. Материалами следствия Вы будете изобличены во всей Вашей преступной деятельности.

Ст. следователь Следчасти по особо важным делам
Майор госбезопасности

Галкин

И майор Галкин принялся меня избличать. Его методы ведения следствия мало отличались от тех, с которыми я познакомился на Малой Лубянке...

Показаний о целях и задачах антисоветской группы майор Галкин от меня так и не добился. Протоколы допросов повторяли то, что было уже записано на Малой Лубянке. Нового было мало.

Начальником следственной части по особо важным делам был в мое время генерал Влодзимирский. Я не удостоился чести быть с ним знакомым, а Володя Сулимов рассказывал, как большой и вальяжный Влодзимирский барским голосом командовал: «Побейте его!», и Володю клали на стол у генерала в кабинете и били резиновой дубинкой. Он рассказывал, что его били по спине до тех пор, пока у него не пошла горлом кровь. Чего хотел от него Влодзимирский? Чего добивался? К этому времени Володя уже «признался» в том, что был организатором и руководителем группы, которая замышляла покушение на Сталина.

Мне довелось видеть на допросах и очных ставках двух заместителей Влодзимирского: полковников Родоса и Шварцмана. Все трое были палачами крупного масштаба, вошедшими в историю. Фамилию Влодзимирского я с большим удовольствием прочитал летом 1953 года в списке судимых и расстрелянных вместе с Берия и Кобуловым, тем самым Кобуловым, который утверждал своей подписью пытки и избиения моего отца.

Родос заходил в кабинет моего следователя Галкина во время допросов. Я запомнил, как, ткнув в мою сторону поросшим рыжей шерстью кулачком, он произнес: «К стенке этих мерзавцев надо ставить, а не возиться тут с ними!»

В докладе на XX съезде Хрущев говорил, что Родос был инициатором многочисленных жестоких и бессмысленных расправ над невинными людьми. Среди его жертв были члены Политбюро Косиор, Чубарь, Постышев, которых он лично пытал. «Я думал, что выполняю указания партии», — заявил он. Родоса расстреляли после XX съезда.

Я вспоминаю всех своих мучителей: Букурова, Макарова, Волкова, Галкина, Шварцмана, Родоса, других офицеров этого ведомства, которых мне довелось видеть на очных ставках и допросах. Пожалуй, за исключением Родоса и Букурова (первый выглядел уж очень гнусно, а у второго была зверская морда), все они были похожи на обычных людей. Нормальные чиновники тоталитарного государства. Выполняли указания начальства. Исполнительные чиновники... Время, в которое я сидел, вносило свою коррективу, дополнительный повод для того, чтобы быть исполнительным: теплые московские кабинеты были предпочтительнее окопов Сталинграда.

10. Проблемы перевода

Все, что было показано раньше, на Малой Лубянке, я подтвердил, но твердо держался того, что ничего не знаю о терроре. Майор Галкин, видимо, смирился с этим. Ночью в дверях одиночки, где я сидел, появился вертухай:

— На «лы»! С вещами!

Поднимаемся по широкой лубянской лестнице на несколько этажей вверх. Приводят в коридор с несколькими обитыми железом дверьми. Открывают дверь. Шагаю внутрь камеры, дверь за мной закрывается с привычным уже грохотом. Осматриваюсь. Яркая лампа под потолком освещает чистую комнату с белыми стенами и паркетным начищенным полом. В камере четыре железные кровати. Одна — пустая, на трех других поднимаются разбуженные люди в таких же, как и на мне, холщовых тюремных рубашках.

— Здравствуйте! — говорю я. — Меня зовут Виктор. Меня сюда из одиночки перевели.

Три фигуры на кроватях улыбаются, кивают мне и... молчат.

— Здравствуйте, — снова говорю я, — как вы тут живете?

В ответ опять — кивки, улыбки и молчание.

Мне становится жутко. Куда это меня привели? Кто они — сумасшедшие или немые?

— Курить хотите? — Я лезу в свой мешок и достаю табак, который получил сегодня в передаче.

Табак в тюрьме — редкость и богатство, самокрутки на Малой Лубянке сворачивали тоньше карандаша, и курили такую самокрутку часто вдвоем и втроем. Мои новые соседи повылезали из своих кроватей, подошли. Я протягиваю им табак, сворачиваю самокрутку себе. И вдруг слышу быстрый разговор на чужом языке. Улавливаю слово «gauchen». Немцы! Гора с плеч — слава Богу, не психи.

— Ich heiße Victor, ich bin aus Moskau¹¹, — говорю я, вспоминая свои уроки немецкого языка.

— Матиас Шмидт, — говорит высокий человек, старший из троих.

— Карл фон Хёген, — это молодой, моего возраста парень. — Wir sind Kriegsgefangener¹², — говорит он, показывая на себя и на Матиаса.

— Йон Андресен, — называет себя третий, — я плёхо говорю по-русски, — произносит он с очень сильным акцентом и подбирая слова. — Я — эстонец.

Так началась моя жизнь в этой камере, где мне довелось провести четыре месяца.

— Wo sind wir? Welche Gefangnis ist das?¹³ — были их первые вопросы. Они не знали, где они находятся.

— Лубянка. Москва. Moskau.

— О, so genante Lubianka!¹⁴ — Мои новые знакомые приуныли. Видно было, что Лубянка пользуется известностью и репутация ее не из приятных. Позже немцы рассказали, что узнали про Лубянку из геббельсовских «Kulturfilmen» — пропагандистских кинофильмов, где ужасы ГПУ-НКГБ описывались очень похоже на описания ужасов гестапо в советском кино. Думаю, что недалеко от истины были и те и другие.

¹¹ Меня зовут Виктор, я — из Москвы (нем.).

¹² Мы — военнопленные (нем.).

¹³ Где мы? Что это за тюрьма? (нем.)

¹⁴ О, так называемая Лубянка! (нем.)

История Шмидта была такой. Он окончил университет в Геттингене как микробиолог и работал там над докторской диссертацией. В 1941 году его призвали в армию. В январе 1943 года под Сталинградом попал в плен. В лагере для военнопленных его спросили о гражданской специальности. Он ответил — микробиолог. Тогда его отвезли в Москву на Лубянку и стали допрашивать, что он знает о подготовке Гитлером биологической войны. Он отвечал, что не знает об этом ничего, что его специальность была Schimmelpilze — плесенные грибки.

Мне тогда это слово — Schimmelpilze — ничего не говорило, но прошло всего несколько лет — и в результате работ с плесенными грибами появилось магическое лекарство — пенициллин, с помощью которого стали спасать раненых и вылечивать воспаление легких, и я вспомнил тогда моего лубянского знакомого с его диссертацией.

Матиаса вызывали на допросы раз в неделю, давали бумагу, и в кабинете следователя он по памяти восстанавливал свою диссертацию. Он считал, что тем самым проверяют правдивость его слов о биологическом оружии, хотя в свете истории пенициллина вполне вероятно и то, что он трудился тогда во славу советской фармакологии. Лет ему было 30–35. Он с жалостью поглядывал на Карла и меня и вздыхал: «О, Junge, Junge!»¹⁵

Йон Андрезен вырос в Таллинне. Отец его был лучшим мужским портным в городе, владел мастерской, где шились костюмы и фраки для эстонских дипломатов. Йон учился в университете в Германии, летом 1940 года приехал к родителям на каникулы и неожиданно для себя оказался гражданином СССР: советские войска оккупировали Эстонию и присоединили ее к Советскому Союзу. На этом учеба Йона закончилась, а когда через год началась война, мастерскую отца эвакуировали в Свердловск. Йон поехал с родителями, и его тут же арестовали как немецкого шпиона.

Йон был оптимистом. Он убеждал меня, что с нами все будет в порядке. Война идет к концу, говорил он, союзники побеждают, после войны Советский Союз будет истощен и ослаблен, будет нуждаться в помощи Запада.

— Ты не знаешь Черчилля, это такая голова.

С такого рода надеждами, с этим упованием на западных союзников я впоследствии не раз встречался и в тюрьмах и в лагерях, но никогда не разделял этих надежд. «Я, может, Черчилля и не знаю, — думал я, слушая этих оптимистов, — но что касается товарища Сталина — недооцениваете вы его, ребята. Что значит страна будет ослаблена и истощена? Да пусть подстраны с голоду подохнут, а от тюрем да от лагерей наш великий вождь нипочем не откажется!»

Йон много и интересно рассказывал о жизни в независимой Эстонии, и страна, о которой он рассказывал, была совершенно не похожа на то «буферное государство» и «марионетку западного капитала», каким представляли Эстонию наши учебники и газеты. В декабре Йона увели от нас «с вещами», и больше я его не встречал. Боюсь, что кончил он плохо, не дождавшись помощи от Черчилля.

¹⁵ Ох, мальчишки, мальчишки! (нем.)

Карл фон Хеген был моим ровесником. До того как его призвали в армию, он успел закончить гимназию. Мы сравнивали наши школьные программы. Я читал ему немецкие стихи, которые мы учили в школе: Гете, Шиллер. Он знал эти стихи, помнил их наизусть, о русских писателях или поэтах не имел ни малейшего представления, и его ничуть не удивляло, что в московской школе учили немецких поэтов: немцы были расой господ, этому его тоже научили. Я спросил его о Генрихе Гейне. Он не слышал этого имени.

— Не было такого немецкого поэта!

— И ты не знаешь этих стихов: «Ich weisse nicht, was soll es bedeuten das ich so traurig bin...»¹⁶? — спросил я его.

— Конечно, знаю, но это не стихи, это песня. Очень популярная песня.

— А кто сочинил слова?

— Неизвестно, кто сочинил. Слова народные. Так всюду написано.

Немецкий я знал довольно прилично: в детстве занимался с частной учительницей из немцев-колонистов, в школе получал пятерки и читал немецкие книжки. Знания мои, однако, были «пассивными»: разговорному языку в то время в Советском Союзе не обучали. Попав в камеру к немцам, я испытал то, что называют *погружением в языковую среду*. Через пару месяцев я уже говорил свободно, думал по-немецки, и мои сокамерники уверяли, что я понимаю и говорю лучше их лубянских переводчиков.

Тюремный рацион состоял из 450 граммов хлеба, кусочка сахара и кружки кипятка утром, жидкого супа и черпака каши из пшенной сечки днем и еще одного черпака каши и кружки кипятка вечером. И многие мои соседи по общей камере на Малой Лубянке потребляли бесконечное количество воды, отчего отекали и приобретали специфический вид тюремных *доходяг*: худых, с отчетными бледными лицами и огромными мешками под глазами. Мои новые соседи еще не доходили, но были уже порядком истощены.

К тому времени мне были разрешены передачи. Голод был одним из многочисленных средств давления на арестованного, и в первый период следствия передачи мне не разрешались. На воле время тоже было голодное — 1944 год, но какие-то продукты и табак мама получала по своим карточкам и несла мне. И это было большой поддержкой и для меня, и для моих сокамерников.

Однажды, когда мы доедали мамины картофельные оладьи, я спросил соседей: знают ли они, что я еврей? Нет, они не знали и не догадывались.

Карл очень удивился.

— Почему же ты тогда в тюрьме сидишь? — В геббельсовских пропагандных фильмах говорилось, что все евреи в Советском Союзе — коммунисты и занимают господствующее положение.

— Ну, это неправда, врали твои filmy. Вот тебе доказательство: я — еврей, а сижу в тюрьме за антисоветскую деятельность. А как ты сам к евреям относишься? — спросил я Карла.

¹⁶ «Не знаю, что это значит, что я так печален...» (нем.) — начало стихотворения Гейне «Лорелея».

— Я с ними не встречался. Я знаю только, что они наживали богатство за счет немецкого народа, а, когда Гитлер пришел к власти, у них это богатство отобрали. И мы все в классе считали, что это справедливо, — ответил Карл.

— Все это вранье и свинство — Schweinerei, — сказал Матиас. — Я учился с евреями, я дружил с одним евреем — биологом, способный был человек, и никакой он не был богач. Их всех потом выслали неизвестно куда, говорили, что в Польшу. Schweinerei! — повторил он.

На одном из редких теперь допросов майор Галкин спросил:

— Ну, как ты себя в камере чувствуешь в немецком окружении? Мне передавали, что у вас там дружба народов...

— Нормально себя чувствую, учу немецкий язык.

— Ты учи, да не заучивайся. Ты не забывай, что ты, хоть и подследственный, но все же — русский человек. — Он посмотрел на меня и поправился: — То есть советский человек. Ну, не совсем советский, — усмехнулся он своей ошибке, — но ты меня понимаешь, что я хочу сказать: они ведь наши общие враги. Так вот, имей в виду, они с тобой в камере откровенно разговаривают, и если ты услышишь что-нибудь, что нас интересовать может, ты — парень грамотный, понимаешь, если услышишь, что они что-то от следствия скрывают или с тобой поделятся, что следствие в заблуждение вводят, ты мне сообщи. Понимаешь, о чем я говорю?

Я кивнул. Я понимал, о чем он говорит. Как странно, подумал я, идет война и они — враги. А майор Галкин — соотечественник. Но почему-то я чувствовал, что пленные немцы, мои соседи по камере и товарищи по несчастью, мне куда ближе, чем майор Галкин и те, кто этих немцев допрашивает. И что, если бы я действительно услышал от них что-нибудь, что было бы интересно их следователям, я не доложил бы об этом майору Галкину.

Был конец 1944 года. Моя война шла не на полях Восточной Европы и Прибалтики. Моя война шла здесь, в следственном кабинете. И враг смотрел на меня не из амбразуры немецкого танка. Он смотрел, ухмыляясь, через письменный стол, и на нем была новенькая форма майора советской государственной безопасности.

В ноябре от нас увели Йона Андресена, но кровать его долго не пустовала. На следующий же день в камере появился Василий, московский шофер, сбивший насмерть пешехода. Работал он шофером в НКГБ, и позже я узнал, что в «органах» было заведено: если их работники совершали уголовные преступления, их содержали в тюрьмах НКГБ и следствие вели «свои» следователи. Дело велось, так сказать, внутри семьи, наружу не выходило. Преступника судили «свои» суды и в лагерь посылали, который получше и полегче. Ведомство старалось и срок скостить, чтобы «свой» человек поскорее на волю вышел.

В конце декабря меня переместили в другую камеру. Что стало с моими соседями, я не знаю.

11. Статья 206 УПК РСФСР

В новой камере, куда меня перевели, обстановка была та же: паркетный пол, белые стены, железные кровати, посередине небольшой стол, яркая лам-

па под потолком, горящая всю ночь, закрытое намордником окно. В камере нас было пятеро.

Старше всех был крепкий широкоплечий усатый человек лет тридцати. Звали его в камере по имени-отчеству — Иван Викторович. Он распоряжался: чья очередь нести парашу на оправку, кому подметать и натирать пол, как делить табак. Все его слушались. Он воевал, осенью 1942 года попал в окружение и в немецкий плен. По дороге в лагерь военнопленных бежал, нашел партизан и воевал в белорусских лесах до соединения с Красной армией в 1944 году. Когда выяснилось, что он — из пленников, его доставили в армейский СМЕРШ и, после допросов там, отправили на Лубянку.

В камере у всех, кроме Ивана Викторовича, были клички. Австрийца Пауля звали Фриц, морячка Федю — Швед, Колю — Партизан. Когда я вошел в камеру, Иван Викторович посмотрел на меня и сказал:

— Ты у нас будешь Перс.

— Почему Перс? — поинтересовался я.

— А ты похож на персюка. Вон — усики, бородка пробиваются, брови черные, башка стриженная. Я встречал персов, они как раз такие и есть.

Так я стал Персом. Не знал об этом следователь Галкин, иначе к подпольной кличке, которую дал мне следователь Макаров: «*Виктор Левентейн, он же — Рыбец*», прибавилась бы еще одна: «*он же — Перс*».

В январе 1945 года начались очные ставки. По моим наивным понятиям, очные ставки должны были быть в самом начале следствия, для избличения, так сказать, «не сознающихся». Здесь, однако, цель была иная. Все уже было сказано и подписано, следствие, по существу, закончено. Нужно было теперь оформить наше дело так, чтобы оно выглядело, как полагалось по гзбэшной версии юриспруденции, чтобы начальство хвалило и прокурор по «надзору» за следствием был доволен.

За все время следствия я не знал, что такой прокурор и такой надзор существуют, но в самом конце, уже после очных ставок, был допрос с участием прокурора. Фамилия его была Дорон. Одна из наших матерей добила свидания с ним, и в состоявшемся разговоре сказала о нас: «Они же дети!» Дорон ответил:

— У меня — единственный ребенок, и я его очень люблю. Но, если бы я услышал от него что-нибудь из того, что ваши «дети» говорили о вожде, я бы взял его за ноги и разможил его голову о стену!

Поздним вечером 4 января 1945 года меня привели в кабинет нового следователя. За большим письменным столом сидел толстый невысокий еврейской внешности человек с погонами подполковника. Я узнал потом, что фамилия его была Генкин. Рядом сидел мой майор Галкин. Я огляделся и увидел, что, вместо одного стула для подследственного, на большом расстоянии друг от друга стояли два стула. Галкин объявил мне:

— Сейчас ты увидишь кое-кого из своих знакомых.

В кабинет ввели Шурика Гуревича. Он появился стриженный, как и я, наголо. Меня поразили его впалые щеки, большие темные круги под глазами. Его длинный и кривой нос стал еще длиннее и кривее. В профиль он

был похож на орла, глаза только добрые. Видно было, что прошедшие месяцы дались ему не легко.

Мы посмотрели друг на друга. Все было очень непросто: меня, собственно, арестовали на основании его, Володи Сулимова и Юры Михайлова показаний. И он понимал, что я это знаю. Зла на него у меня не было, я понимал, под каким страшным давлением он это сделал. Но он не знал, как я к этому отношусь. Под этим же давлением я подписал протокол допроса, где говорилось, что его отец был свидетелем наших с ним антисоветских разговоров и не протестовал против них. Шурик тогда еще этого не знал, узнал позже, когда читал дело по окончании следствия. А я не знал в этот момент, известно ли ему об этом.

«Господи, да что же это они, сволочи, с нами сделали?» — думал я.

Я был рад его видеть и жалел его. Видно было, что и он рад мне. Генкин с Галкиным стали задавать вопросы. Спрашивал в основном Генкин, видимо как старший по чину, мой Галкин был, так сказать, «на подхвате». Мы отвечали.

В начале очной ставки я чувствовал напряжение и страх. Что Шурик скажет о моем участии в *«террористических разговорах»*? Я знал, что сам он в этом «признался». Но вот его спросил об этом мой Галкин, и Шура, поколебавшись (он ведь не знал, чего я на себя наговорил) ответил осторожно: *«при мне не участвовал»*. Напряжение спало, на все остальное мне было наплевать. Шурик тоже обрадовался, что ответил правильно...

После того как был отпечатан на машинке текст очной ставки, майор Галкин стал его читать, спрашивая нас после каждого абзаца: «Правильно?» Мы соглашались. Дошли до слов: «...разговаривая с Левенштейном об аресте Сулимовых, он мне сказал, что в случае ареста нас, — мы на следствии должны отрицать свою связь с последним...»

— Правильно? — спросил Галкин Шуру.

— Нет, так по-русски нельзя сказать. Наша учительница русского языка Анна Андреевна за такую фразу двойку ставила.

— Да? А как надо сказать по-русски, Левенштейн?

— По-русски надо сказать: «...в разговоре со мной об аресте Сулимовых, Левенштейн сказал, что в случае нашего ареста...»

Галкин посмотрел на Генкина, тот проворчал что-то по поводу *«грамотеев гребаных...»*

Читая дело в 1993 году, я вспомнил всю сцену и как мы с Шуриком тогда переглянулись и улыбнулись друг другу. Это было маленькое, ничего, конечно, не стоящее, но все-таки торжество. Впервые за восемь месяцев унижений, насилия и глумления над нашей волей, нашими чувствами порядочности и дружбы, над нашим самоуважением мы почувствовали пусть незначительное, но все же превосходство над ними.

8 января была очная ставка с Юрой Михайловым, 9-го — с Юликом Дунским, 10-го — с Алешей Суховым, 12-го — с Валерием Фридом. Все шло по стандарту: мы подтверждали свое участие в антисоветской группе, участие *в собраниях, где с клеветнических позиций...* и т. д.

Ясно было, что к этому времени следователи составили уже окончательный сценарий, по которому в антисоветской группе существовало «ядро»

людей с террористическими намерениями и, так сказать, «периферия» антисоветчиков, которые до террора не доросли. Мне удалось попасть в периферию.

Когда закончилась очная ставка с Фридом, меня, вместо того чтобы увести в камеру, перевели в другой следственный кабинет. У стены на стуле сидела Лена Бубнова. Я привык уже видеть моих друзей худых, бледных, стриженных наголо, одетых в тюремные рубашки с тесемками вместо пуговиц. А тут передо мной была хорошо одетая, красивая, молодая женщина с накрашенными губами и подведенными глазами. К тому же она пополнела. В той обстановке, в которой мы встретились, выглядело все это странно. Мы поздоровались. Все шло, как и на предыдущих очных ставках, и тут, отвечая на очередной вопрос, Лена сказала:

— Левенштейн принимал участие в наших собраниях, когда обсуждалась необходимость изменения существующего в нашей стране строя и высказывались намерения террористического характера.

Так гладенько проговорила все это, как будто прочитала. Меня спросили, подтверждаю ли я ее слова. Я ответил, что нет, при мне ни о каких террористических намерениях никогда не говорилось и о необходимости изменения строя я тоже не слышал. Лена спокойно сказала, что, может быть, она и ошиблась, она точно не помнит, при каких именно разговорах я присутствовал.

Лена не улыбалась мне, она смотрела прямо перед собой, держалась официально. По виду и поведению Фрида, с которым я перед этим расстался, было ясно, что он не верит ни одному слову из собственных показаний об «*антисоветской группе*» и «*антисоветской работе*». То же можно было сказать и о других ребятах, с которыми у меня уже были очные ставки. Здесь же было странное ощущение, что Лена относится к тому, что она говорит, серьезно, что она действительно верит в то, что говорит. Я смотрел на нее и думал: «Бедная Леночка. Нас всех сломали. Но, похоже, что ее сломали серьезнее, больнее, чем всех нас». Мне было жаль ее.

19 января была последняя очная ставка — с Володей Сулимовым. Я испугался, когда увидел его. Выглядел он ужасно: худой, сутулый, какой-то серый. Все были бледными после восьми месяцев тюрьмы, но Володин вид был болезненный. Меня поразили его стриженная шишковатая голова, желтизна впалых щек, морщины у рта.

Очную ставку вел подполковник Цепков (тот же следователь, что был у его жены Лены). Майор Галкин сидел рядом с Цепковым. Обращаясь к Володе, Цепков сказал:

— Покажите о вашем участии в работе антисоветской террористической группы и об участии в этой группе Левенштейна.

Володя ответил, как мне показалось, с гордостью:

— Я был руководителем антисоветской молодежной террористической группы, в состав которой, помимо других, входил Левенштейн.

Я привык уже к формулировкам: «*участник антисоветской группы*», «*антисоветские разговоры*», но когда он сказал, что был руководителем, дикий смысл дьявольского фарса, который разыгрывался передо мной и участием которого мы все были, вдруг дошел до меня.

«Какой, к черту, руководитель, какая группа? Что за бред собачий?! — подумал я. — Вон до чего его довели. Он уже не соображает, что это реальная жизнь — его и наша. Он играет в эту игру, но он так до расстрела доиграется, и мы все, вместе с ним! А я — что, лучше? Вот сейчас я возьму и скажу, что не было никакой группы, просто собирались вместе. Оцените, как хотите, наши разговоры, но не приписывайте нам какие-то политические цели или организацию, не было ничего подобного!»

И тут я вспомнил, что уже выступал с подобными заявлениями дважды. И я помнил, чем это кончалось. Начинать все с начала? Я представил себе весь ужас *активного следствия*, всю эту безнадежную борьбу. И промолчал.

Если бы я сказал Цепкову и Галкину то, о чем подумал тогда, как бы я гордился собой сегодня!

Очные ставки кончились. Прошло еще несколько дней, и, вызвав меня на допрос, Галкин дал мне прочитать отпечатанный на листе бумаги документ:

Постановление о предъявлении обвинения

Я, ст. следователь следчасти по особо важным делам НКГБ СССР майор госбезопасности Галкин, рассмотрев материалы следственного дела № 7375 по обвинению Левенштейна Виктора Матвеевича, 1922 г. р., урож. г. Николаева, еврея, гражданина СССР, быв. чл. ВЛКСМ, до ареста — студента МГИ в преступлениях, предусматриваемых ст. ст. 19-58-8, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР,

нашел:

Левенштейн В.М. достаточно изобличается в том, что будучи враждебно настроенным к существующему в СССР государственному строю, в ноябре 1943 г. вошел в состав существовавшей в г. Москве антисоветской группы молодежи и вместе со своими сообщниками принимал участие в нелегальных собраниях, на которых с антисоветских позиций критиковали политику ВКП(б) и советского правительства и возводили клеветнические измышления на советскую действительность.

В связи с тем, что материалов о террористической деятельности Левенштейна следствием не добыто, руководясь ст.ст. 128 и 129 УПК РСФСР, —

постановил:

во изменение ранее предъявленного Левенштейну В.М. обвинения по ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР, привлечь его в качестве обвиняемого лишь по ст.ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР, о чем объявить ему под расписку в настоящем постановлении.

Копию постановления в порядке ст. 146 УПК РСФСР направить прокуратуру.

Ст. следователь майор ГБ

Галкин

Настоящее постановление мне предъявлено

31 января 1945 г.

подпись обвиняемого

Я расписался в том, что постановление мне объявлено и смекнул, что пока что остаюсь живой: если меня обвиняют *лишь* по 10-му и 11-му пункту, расстрела мне при любом раскладе не будет.

На следующий день меня в последний раз вызвали на допрос. В кабинете Галкина на этот раз было светло от блеска золотых погон. Кроме Галкина в комнате были Шварцман, Цепков и еще один офицер, как потом оказалось, военный прокурор Дорон. Стул, на котором мне полагалось сидеть, стоял, как всегда, у стены напротив стола следователя. На этот раз было, однако, новшество: перед стулом, на который меня усадили, стоял небольшой столик.

Галкин объявил мне, что следствие закончено, добытые данные достаточны для предания нас суду и, согласно статье 206 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, перед подписанием протокола об окончании следствия мне предоставляется право ознакомиться с моим следственным делом. Галкин положил на стоящий передо мной столик папку с материалами, и я стал читать.

Смысл процедуры, которую имела в виду ст. 206 УПК был в том, что обвиняемый мог ознакомиться со своим следственным делом перед предстоящим судебным процессом, с тем чтобы иметь возможность подготовить свою защиту.

1 февраля 1945 г. я подписал последний протокол о том, что, согласно ст. 206 УПК РСФСР, ознакомлен с материалами следственного дела № 7375. Жизнь на Лубянке заканчивалась. Впереди была Бутырская тюрьма. В этой тюрьме полагалось ждать суда либо постановления Особого совещания, которое судило заочно, экономя государству средства, необходимые для судебной процедуры.

Вмешательство матерей Миши Левина и Юры Михайлова в критический момент нашего следствия, видимо, сыграло свою роль. Я думаю, что, не будь этого вмешательства, многие из нас запросто могли угодить под расстрел. Шутка ли — *покушение на вождя!* Но в результате того, что статья 58-8 стала читаться «через 19», участники основного «ядра» антисоветской группы, признавшие в «*террористических намерениях*», получили по 10 лет лагерей, а «периферия», к которой принадлежал и я, — по 5 лет.

12. «Как ты выжил?»

Меня часто спрашивали и спрашивают:

— Так много людей погибло в лагерях. Как ты выжил?

Как я выжил? Прежде всего наша группа, по определению госбезопасности, была «молодежная»: нам было, когда нас арестовали, по 21–22 года от роду. В молодости, как известно, физические, да и нравственные тяготы переносятся легче. Кроме того, все мы всю нашу жизнь до ареста учились, и если никто из нас к этому времени не успел выучиться какому-нибудь полезному ремеслу, мы были, как говорили в лагере, *грамотные*.

По нашему делу были осуждены тринадцать человек. Мне известна судьба двенадцати. Из этих двенадцати погибли трое: Володя Сулимов, Юра Михайлов и Алеша Сухов. Алешино предсмертное письмо я прочел в приемной ФСБ. Володе отбили легкие во время избиений на допросах, и он умер в лагере от развившегося туберкулеза. Юра Михайлов, отсидев свой восьмилетний срок, вернулся из лагеря психически и физически больным и умер вскоре после освобождения.

Остальные девятеро выжили. Каждый из них, кто раньше, кто позже, стал, по лагерной терминологии, *придурком*, то есть нашел для себя профессию, дающую возможность привилегированного положения по сравнению с убийственными *общими работами*. Так что статистика выживания для нашей группы была намного выше средней по ГУЛАГу даже для того, сравнительно «либерального» времени, когда мы отбывали свои сроки.

О Мише Левине хлопотали известные физики, и он прямо из Бутырской тюрьмы попал в *шарашку* — в конструкторское бюро НКВД, аналогичное тому, которое описано Солженицыным в «В круге первом». Там он и просидел свой недолгий срок.

Валерий Фрид в своих «Записках лагерного придурка» рассказал, как в первом же его лагере — Каргопольлаге стал хлебным табельщиком, а потом, окончив курсы, — лагерным бухгалтером и проработал в этой должности весь свой десятилетний срок. Главную роль, как он пишет, сыграло не его личное обаяние и не образование, полученное в Институте кинематографии, а посылки, которые каждый месяц слали ему родители. Ну и грамотных людей, способных выучиться бухгалтерии, не так уж было много.

Юлик Дунский в Кировской области попал в жуткий лагпункт, где годовая смертность составляла чудовищный процент. Он *доходил*, пытался покончить с собой, но каждый раз на выручку приходили лагерные друзья. И опять случай — знакомая по воле помогла ему получить должность нормировщика.

Шурику Гуревичу пришлось туго в Коми — в Устьвымлаге. Нездоровый — он с детства страдал астмой, — не способный к какому-либо физическому труду, он стал *доходить* на общих работах и был совсем плох. На лагпункте, куда попал Шурик, старшим нормировщиком работал Лев Разгон, который к тому времени закончил свой срок и отбывал ссылку. Разгон принял в нем участие, и стал Шура учетчиком стройчасти, а после — нормировщиком. Нормировщиком Шура работал и в Экибастузе, куда попал после Коми.

Мой счастливый случай явился еще в Бутырской тюрьме, в большой камере, куда собрали более 100 человек, ожидавших осуждения. Рядом со мной на нарах оказался пожилой, по моим тогдашним представлениям, человек лет 45—50, который назвался Петром Михайловичем. Он стал спрашивать, кто я, где учился, за что попал в тюрьму. Смотрел на меня сочувственно, вздыхал.

Я рассказал ему все о нашем следствии, об обвинениях в терроре, которые были с меня в конце следствия сняты, и об обвинениях в участии в антисоветской группе и антисоветской агитации, которые остались.

— Теперь вот ожидаю суда, — закончил я.

Петр Михайлович подумал, потом сказал:

— Никакого суда вам не будет. Вас осудят заочно, без всякого суда, Особым Совещанием при НКВД СССР — ОСО. И получишь ты пять лет исправительно-трудовых лагерей. А теперь хочешь получить совет, который поможет тебе выжить в лагерях?

— ?

— Из этой камеры тебя вызовут и прочтут постановление ОСО — твой приговор. После этого тебя переведут в камеру для осужденных, где ты

будешь ожидать отправку на этап. В этой камере существует порядок: всем желающим дают листок бумаги и карандаш для заявления, просьбы или жалобы в любую инстанцию. И все будут писать, что они невиновны и просят пересмотреть их дело. Так вот, ты этого не пиши, потому что такие заявления никто рассматривать не будет: дело сделано, ты осужден и это окончательно. Ты возьми этот листок бумаги и напиши следующее... На каком курсе ты учился в Горном институте, когда тебя арестовали?

— На четвертом.

— Отлично. Ты напишешь заявление в Главное управление лагерей НКВД СССР — ГУЛАГ. Напиши, что, несмотря на то что у тебя нет инженерного диплома, фактически ты — горный инженер, так как к моменту ареста ты прошел весь курс обучения в институте и арест помешал тебе только защитить дипломный проект.

— Но это же неверно. Мне надо было сдать все экзамены за четвертый курс, учиться целый год на пятом, пройти преддипломную практику, сделать дипломный проект и только тогда защитить диплом.

— Неважно. Там, куда ты будешь писать свое заявление, никто тебя проверять не будет. Так вот, напишешь, что фактически ты — горный инженер. Как называется твоя специальность?

— Электромеханик.

— Прекрасно. Напишешь, что ты — горный инженер-электромеханик и просишь направить тебя для работы по специальности на строительство Ангренского угольного разреза.

— А что это такое — Ангренский угольный разрез?

— Это — стройка в Узбекистане, в горах, недалеко от Ташкента. Стройка поручена ГУЛАГу, сейчас ГУЛАГ подбирает туда кадры, и у них — нехватка специалистов. Так что твое заявление они получат как раз вовремя. Для тебя это двойной шанс. Во-первых, будешь в тепле. Понимаешь? Это не Колыма, не Воркута, не Заполярье, не Норильск, а Узбекистан, Средняя Азия. А во-вторых, будешь работать профессионально, по специальности. В лагере это ценят, отношение совсем другое, условия жизни другие.

— Но я же не инженер. Как я справлюсь?

— Справишься. Если голова есть на плечах, справишься. Нужда заставит. Я переварил эту информацию.

— Петр Михайлович, а откуда вы все это знаете?

Он услышал недоверие в моем голосе. Он посмотрел на меня, помолчал, вздохнул.

— Я там работал. Я — инженер из ГУЛАГа, работал в Москве, в Главном управлении. Я не политический, меня посадили за растрату. Сделай, как я сказал, и не вздумай кому-нибудь в камере сказать, кто я. Если скажешь, мне живым из этой тюрьмы не выйти. Дойдет до блатных, а они не станут разбираться, инженер я или надзиратель. Для них я — человек из ГУЛАГа. Задушат в первую же ночь.

Я много думал впоследствии почему этот человек открылся мне? Только пройдя пересыльные тюрьмы и лагеря, я понял, насколько серьезной была угроза его жизни, как сильно он рисковал. В тюрьмах новости такого рода распространяются быстро. Мне не довелось присутствовать при камерных

убийствах, но я слышал рассказы о том, как воры в камере уличали сидевшего с ними проворовавшегося, или попавшегося на взятках бывшего надзирателя или конвоира, или чина лагерной администрации и как учиняли над ним немедленную расправу.

Так что же вело этого человека? Не знаю. Может быть, у него на воле остался сын моего возраста и я ему его напомнил? Может быть, это была еврейская взаимовыручка? Других объяснений у меня нет. Я не знаю фамилии этого человека, которому я, может быть, обязан жизнью, как не знаю ничего о его дальнейшей судьбе.

Через несколько дней после этого разговора мне приснился сон. Меня по горло погрузили в зловонную жижу. Я был то ли в большой выгребной яме, то ли в канализационном канале. С трудом я выбрался из ямы и вышел на мостик, а в конце мостика был луг и чистая трава. Я пошел по мостику, дошел до середины и проснулся. Сон был необычайно ясный. Я рассказал о нем толкователю снов, которого все звали Иваном Хоттабычем, популярному в камере человеку.

— Ты был в большом говне, мог вышку схлопотать, но обошлось, а дадут тебе *полкатушки*.

Полной *катушкой* называли максимальный срок — 10 лет, или *червонец*. Полкатушки, следовательно, было 5 лет.

Я запомнил число, когда мне этот сон снился — в ночь с 3 на 4 марта 1945 года. Вскоре меня вызвали из камеры с вещами, завели в другую камеру. В этой был стол. За столом сидел майор госбезопасности. Он протянул мне лист бумаги.

— Прочтите и распишитесь, что ознакомлены.

Я прочел:

**Выписка из протокола № 10
Особого Совещания
при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от 3 марта 1945 г.**

СЛУШАЛИ:

Дело № 7375 Следчасть по Особо — Важным Делах НКГБ СССР по обвинению Левенштейна Виктора Матвеевича, 1922 г. рожд. уроженца г. Николаева, еврей, гражданин СССР, быв. член ВЛКСМ, до ареста студент Московского Горного ин-та. Обвиненного по ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР.

ПОСТАНОВИЛИ:

Левенштейна Виктора Матвеевича за участие в антисоветской группе — заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на ПЯТЬ лет, считая срок с 19 мая 1944 г.

Нач. секретариата Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР

подпись

Документ был датирован 3 марта. Может быть, ночью они заседали, когда мне мой сон снился? Ведь главная работа у них была по ночам.

Я расписался в том, что ознакомлен с постановлением ОСО. Конвоир вывел меня в коридор, открыл ключом дверь и впустил меня в новую камеру — *накопитель* без нар и скамей, где уже стояли несколько человек. Привели еще одного, потом еще... Я стоял и пытался осмыслить то, что сейчас произошло. Вот я и получил свой срок! Первой реакцией было облегчение: только пять! Выйти после следствия на волю я не рассчитывал. С тем, что меня осудят, давно, еще на Малой Лубянке, примирился. Я понимал, что за участие в антисоветской группе, за антисоветскую агитацию в военное время получить *десятку* можно было запросто.

Пять лет жизни — это не так уж много, когда тебе 22. Я молод, здоров. Справлюсь как-нибудь, авось не подохну. Так я думал, стоя в «накопителе». В камеру по одному вводили новых людей. Все молчали.

«Чему я радуюсь? — подумал я вдруг. — Меня осудили на 5 лет лагерей. Пять лет мне не видеть свободы. За что? За то, что я имел смелость или, как считали многие, глупость самостоятельно думать о том, что происходит в стране, где я живу? Я ведь только думал об этом и с друзьями делился своими мыслями. Вот, пожалуй, и все».

Это было очень далеко от железных формулировок моих «признаний». Но ведь теперь, когда я изнутри узнал, что такое «органы», вплоть до самой верхушки их иерархии, не пора ли было иметь, наконец, настоящую позицию и понять, что настоящие враги нашего народа — это они: следователи, тюремщики и их начальники всех рангов? Как их еще называть, когда они ведут войну против своего народа?

«*Сын за отца не отвечает*» — это их главный кремлевский сыч сказал. Вранье! Мало им было наших отцов, этим людоедам, теперь за нас взялись. Во всем одно вранье! Подумать только! Диктатура пролетариата — вранье: какого еще пролетариата эта диктатура?! Пролетариат у нас вкальывает, а не диктаторствует. Весь их СССР — сплошное вранье: «Союз» — вранье, разве может быть союз не добровольным? «Советских» — вранье, как это у меня в протоколе записано: «*Советы существуют формально и никакого влияния на управление страной не имеют*», правильно записано! «Социалистических» — вранье: хорош социализм, если миллионы за решеткой! Да и «Республик» — вранье: никакие это не республики, а единая восточная деспотия.

А правда — это то, что записано в протоколах моих допросов. Не важно, что я так не думал до того, как меня арестовали. Если я так думаю теперь, то я сижу «за дело» и все, что со мной произошло, приобретает смысл. И я не один, я разделяю судьбу всех тех, кто сумел не поддаться треску их пропаганды и понял и оценил, что такое эта власть.

Пока я так стоял и думал, к нам подвели другую группу заключенных, человек 15, и я увидел среди них Шуру Гуревича.

— Рыбец! — Он кинулся ко мне.

В этой же группе был Юлик Дунский. Мы обнялись.

Обе группы соединили и вместе нас ввели в *церковь* — пересыльный корпус Бутырской тюрьмы. До революции это действительно была тюремная церковь, а в советское время ей нашли более практичное применение — построили перекрытия и на трех этажах разместили три большие круглые камеры для осужденных, ожидающих отправки в лагерь или в пересыльную тюрьму.

Первое, что поразило нас, вошедших в камеру, был шум голосов. И в маленьких и в многолюдных камерах Малой и Большой Лубянки и Бутырки была тишина. Разговаривать разрешалось либо шепотом, либо вполголоса. А тут человек полтора-два громко разговаривали, из-за шума старались перекричать друг друга. Пока мы разглядывали камеру, к нам бросились Валерик Фрид, Миша Левин и Алеша Сухов. Их привели сюда незадолго до нас. Вдруг я услышал:

— Перс, здорово!

Это был мой старый лубянский знакомый Иван Викторович.

— Слушай, это что — твой? — Он показал на шестерых радостно обнижавшихся моих однодельцев.

— Мои.

— Здорово, ребята! Меня зовут Иван Викторович, я — староста этой камеры. Будете моей полицией?

— А что это значит? — спросили мы.

— Надо порядок поддерживать. Народ тут смешанный. Воры вон собираются воровской закон установить, передачи курочить. А мы установим здесь закон фразеров: жить честно, не отнимать, не воровать. Согласны?

Мы согласились. В круглой камере вдоль стен стояли деревянные нары. Рассчитана камера была человек на 50—60, поэтому люди сидели и лежали на нарах и под нарами.

Хотя камера предназначалась для 58-й, «политической» статьи, в ней были и уголовники — блатные. Вор получал статью 58, пункт 14 — «*саботаж*» или «*экономическая контрреволюция*» и за побег из лагеря, и за «*систематическое уклонение от работы*». А воровской закон не разрешал блатарю работать. Таким образом, считалось, что, убегая из лагеря или не работая, он как бы подрывал советскую социалистическую лагерную экономику. Основное население составляли «*болтуны*» или «*язычники*» (статья 58, пункт 10 — антисоветская агитация) и «*пленяги*» (58, пункт 1-б — измена Родине).

Первые дни мы бесконечно разговаривали о следствии. Все «признались», кроме Миши Левина, и, как вскоре выяснилось, зла друг на друга не держали. Всех интересовало, как дело происходило у других: кто вел следствие, какие меры принимали, кого сажали в бокс, в карцер, кто сколько суток был без сна, кого лишали передач, кого били...

Первые три дня среди нас не было Сулимова. Мы волновались: не под расстрел ли он угодил? Может быть, решали, не послать ли его дело в Военный трибунал, который давал *вышку* — высшую меру наказания, расстрел (ОСО на это не был уполномочен).

Когда Володя появился в камере, он выглядел еще хуже, чем на очной ставке со мной. Поздоровавшись с нами, он спросил:

— Вы как тут живете, коммуной или каждый свое жрет?

Он был голодный. Мы все последние месяцы, когда «активное следствие» кончилось, получали из дома передачи, а ему носить было некому: и мать и жена его были арестованы. Мы успокоили Володю, что живем коммуной, и накормили. Он рассказывал, как его били в кабинете генерала Влодзимирского, как сажали в карцер. Ему досталось больше, чем остальным.

По вечерам, когда камера затихала, накатывалась тоска. Я понимал, что моя ситуация с пятилетним сроком — не худшая, но это утешало слабо. Пять лет казались огромным сроком, это была четвертая часть прожитой жизни! А каково было ребятам, получившим «червонец»... Днем было легче. Свойственное возрасту легкомыслие брало верх. Наговорившись вдоволь о следствии и отъехавшись на передачах, мы проводили дни как старые друзья, собравшиеся вновь после долгого перерыва.

Прошло несколько дней нашего пребывания в Бутырской церкви, и желающим писать заявления действительно раздали маленькие, в половину тетрадной страницы, листки бумаги и карандаши. И, помня совет Петра Михайловича, я написал в Главное управление лагерей о том, что я — горный инженер-электромеханик, прошу направить меня для работы по специальности на строительство Ангренского угольного разреза.

Жизнь с друзьями-однодельцами в Бутырской церкви была недолгой. Из нашей компании я первым попал на этап. Мое заявление с просьбой отправить в Ангрен еще, разумеется, не дошло до адресата, и, учитывая мой, по тогдашним масштабам, малый срок — 5 лет, меня послали в «ближний» лагерь.

Я попал в маленький, человек на 300, лагерь в Подмоскowie. Внутри лагерной зоны было два жилых барака, мужской и женский, и небольшая стройплощадка.

Через несколько дней меня вызвали к начальнику лагеря.

— Собирай вещи, — сказал начальник, — поедешь на Красную Пресню, на пересылку. На тебя спецнаряд пришел.

Я собрал вещи. Мне отрядили одного охранника с винтовкой. Пешком мы пришли на станцию подмосковной электрички, сели в вагон и приехали в Москву, на Казанский вокзал. Конвоир был строгий, оглядывал всех, кто сидел в вагоне близко к нам, в разговоры со мной не вступал. Когда мы приехали в Москву, в вокзальной толчее он взял меня за руку выше локтя, и так мы вышли на Комсомольскую площадь.

Я глазел по сторонам. Был теплый день первых чисел мая. Ровно год прошел с моего ареста, и интересно было вновь видеть московские улицы. Но вот, что было поразительно и странно: вид толпы идущих в разные стороны мимо нас людей. Зрелище людей, идущих свободно, куда они хотят!

Конвоир привел меня к остановке. Народу было, как всегда, много. Подошел трамвай, и я увидел в вагоне Колю Тихонова, который учился со мной в одной группе на физфаке МГУ. Коля был инвалид. Он стоял со своими костылями у окна, в сторонке. Конвоир потянул меня за рукав, но я вырвал руку и решительно направился к Коле. Конвоиру ничего не оставалось, как последовать за мной.

Я окликнул Колю. Он меня узнал.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он растерянно. Видимо, знал о моем аресте.

Что я здесь делаю, было ясно по моей стриженной голове и арестантской одежде.

— *На охоту иду, ружье сзади несут*, — ответил я старой шуткой.

— Не разговаривать! — пробравшийся к нам конвоир потянул меня за рукав. — Не разговаривать!

Рядом с нами, наблюдая за этой сценой, стоял капитан с многочисленными орденскими ленточками на груди. Он продвинулся вперед и плечом решительно отодвинул конвоира от нас с Колей.

Российская добрая черта: сочувствие к арестантам. Когда-то в «проклятое царское время» на станциях к арестантским вагонам несли еду, в Сибири к таежным тропам выносили горшки с кашей, одежку. Сколько вытравляли это сочувствие в советское время газетными статьями и фильмами о «выродках-людоедах врагах народа», речами и политбеседами, угрозами! Специальная статья нашего Уголовного кодекса карала 58-й статьей «за соучастие» тех, кто помогал арестантам. А вот человек, прошедший войну, долго не раздумывал, на чью сторону встать!

— Коля, позвони моей маме... — Я назвал номер телефона. — Скажи, что меня везут на Красную Пресню, в московскую пересыльную тюрьму.

Коля кивнул. Капитан, наконец, пропустил рвавшегося к нам конвоира. На следующей остановке Коля Тихонов вышел.

На пересылке меня ввели в камеру размером с большую жилую комнату, в которой помещалось человек полтора. Люди сидели на двухэтажных нарах, на полу, тесно друг к другу. Ступить было некуда. Только блатные на верхних нарах у окна размещались привольно.

На второй или третий день после моего прибытия на Краснопресненскую пересылку, вечером грянул салют с фейерверком. В те дни салюты были обычным делом. Но кто-то в камере заметил, что этот салют продолжается дольше обычного. И тут вдруг началась стрельба: сквозь намордник на окне камеры слышны были автоматные очереди, одиночные выстрелы. Беспорядочная стрельба продолжалась.

— Это охрана стреляет с вышек, — сказал кто-то.

И тут мы поняли:

— Победа! Это война кончилась!

Все вскочили на ноги. В камере начались объятия, пляски.

— Теперь амнистия будет, братцы! На волю пойдем!

— Хер вам в грызло Усатый даст, а не амнистию, — негромко проворчал рядом со мной пожилой вор по имени Никола Чума...

Прошло недели две моей жизни на пересылке, когда в середине дня открылась дверь камеры и дежурник ткнул в мою сторону пальцем и командовал:

— Выходи. Без вещей!

Это было странно. Формула «без вещей» в моей прошлой тюремной жизни означала вызов к следователю, на допрос. Но какой может быть следователь сейчас, когда я уже осужден? Меня завели в небольшую комнату, где два вертухая проверили мои карманы, ощупали бока и ноги, и один из них сказал:

— Вам будет свидание.

Свидание? Вот уже год почти, как я сижу, это моя четвертая тюрьма, и ни разу я не слышал, чтобы нашему брату политическому давали в тюрьме

свидание. Меня провели в смежную комнату, где за столом сидела женщина со знакомым лицом. Я стал вспоминать, кто же это.

— Витенька, — сказала женщина. — Я твоя тетя Туся, мы виделись, когда ты с мамой приезжал в Ленинград. Я принесла тебе передачу от мамы. Она здорова, передает тебе привет, я ее видела сегодня утром. Здесь продукты и гимнастерка и брюки. — Тетя Туся понизила голос: — Тебя пошлют в Бескудники. Это лагерь с хорошими условиями. И близко от Москвы...

Много лет спустя, вернувшись в Москву после лагерей и ссылки, я стал бывать у тети Туси, познакомился с ее мужем Борисом Бакманом. Я узнал тогда, что при московской пересыльной тюрьме был кирпичный завод, с которого он получал кирпичи для предприятия, где работал заместителем директора. Он был в дружеских отношениях со старшим лейтенантом НКВД по фамилии Красный, начальником кирпичного завода при тюрьме.

Старшему лейтенанту Красному, который был вхож в тюремную канцелярию, где подбирал эков для работы на своем заводе, не составляло большого труда заставить заключенного нарядчика разыскать мое дело, несмотря на спецнаряд, положить его в «хороший» этап — в ближний подмосковный Бескудниковский лагерь.

До отправки в Бескудники, однако, мне пришлось «загорать» на пересылке два месяца. Я подружился в камере с молодым евреем из Палестины. Звали его Изя, лет ему было около двадцати. Парня угораздило приехать перед войной на Украину, в гости к родственникам. В 1939 году началась война, вернуться домой он не мог. В 1941 году его вместе с родственниками эвакуировали в Свердловск, а там арестовали как английского шпиона.

Мальчишка учился в художественной школе и был способным художником. Мне приносили передачи с продуктами от мамы. В камере я был уважаемым блатными человеком, так как *тискал романа*, то есть рассказывал по вечерам, когда кончалась игра в карты, разные истории, и по этой причине меня не *курочили*. Я подкармливал отошавшего в тюрьмах Изю. В очередной передаче мама завернула что-то в большой носовой платок. Изя натянул носовой платок на рамку, несколько дней мы собирали у всех курильщиков спичечные огарки и этими огарками на носовом платке Изя сделал мой портрет. Я свернул платок и бросил его в мешок из-под передачи, который надзиратели, прошупав, вернули маме. Мама нашла рисунок, разгладила его, зафиксировала у знакомого художника, и мой портрет, нарисованный в московской пересыльной тюрьме, счастливо прошедший через все *шмоны* — и краснопресненских тюремных надзирателей, и советских таможенников, — висит над моим столом в Америке.

13. «Изделие номер один»

В июле этап в Бескудники был, наконец, сформирован, и на двух грузовиках с высокими бортами, по 25 эков в каждом, нас привезли в лагерь. Лагерь этот был при заводе № 1 Управления материально-технического снабжения ГУЛАГа НКВД СССР. Завод был большой, на нем изготавливали для лагерей самые разные вещи: оборудование для шахт Печоры и Ворку-

ты, основные орудия лагерного производства — тачки, кирки, лопаты и ломы, электрическую аппаратуру, изоляторы и многое другое.

До ареста как-то не заметно было, а когда вышел на волю, всюду: в Москве и Подмоскowie, повсюду, куда ездил в командировки или по своим делам, в любом пейзаже родной страны опытным уже глазом различал знакомые вышки и *колючку* — колючую проволоку. Среди советских лагерей были фабрики смерти вроде Колымы, Норильска или Ивделя, поглотившие миллионы человеческих жизней. Были каторжные лагеря. Были лагеря специально губительные, как урановые шахты и обогатительные фабрики, откуда почти никто живым не освобождался, и знали мы о них только по слухам. Но и в «обычных» лагерях губили людей так называемые общие работы — непосильный физический труд при скудном питании. И без медицинской помощи. И при постоянном терроре уголовников и издевательствах надзора. А на место тех, кто умирал, привозили новых.

Лагерь в Бескудниках был большой и какой-то «ненастоящий». Я понял это потом, когда увидел «настоящие» лагеря. Работа на заводе не тяжелая и в теплых цехах, а лагерная кормежка, хоть и скудная, но рядом была Москва, у многих там жили родственники, существовали передачи, посылки от родных. И уголовники не *курочили* тех, кто получал продукты с воли.

В бараке я как-то сразу попал в общество милых и интеллигентных людей. Соседом по нарам оказался журналист Николай Николаевич Кружков. Он был намного старше меня, но мы подружились. Во время Гражданской войны в Испании он был там корреспондентом, потом редактировал газету «Рабочая Москва», а во время Отечественной войны работал в главной газете Красной армии «Красная звезда», был полковником. Подвело его «*волнение в крови*»: он ушел от одной женщины к другой, и первая, желая ему отомстить, донесла, что он «*расхваливал порядки в буржуазных странах*» (он рассказывал ей об Испании).

Рабочий день в лагере был 10-часовой, но все же после работы в КВЧ (культурно-воспитательная часть) эки занимались самодеятельностью. Там была знакомая мне обстановка самодеятельных театров. Готовился очередной концерт. На сцене стоял рояль, играл известный в Москве пианист и композитор Владимир Клемперер. Молодой поэт Лазарь Шерешевский читал свои переводы стихов Киплинга:

...пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог,
И отдыха нет на войне солдату...

В лагере был женский барак. От остальной жилой зоны он был отделен колючей проволокой, и надзиратели охраняли проход в «женскую зону», но участниц самодеятельности пускали вечером в КВЧ, так что было и женское общество. Это придавало посещениям КВЧ дополнительную привлекательность. Лишенные привычного общения и развлечений, оторванные от любимых дел, люди тянулись к возможности хоть на пару часов забыть, что они — в тюрьме.

Лагерь разделялся на жилую зону, где были бараки, и рабочую зону — завод. Моим начальником цеха был молодой инженер Волгин. Он был на 10 лет старше меня, знал дело, и я относился к нему с почтением и старался учиться у него. Как-то Волгин спросил меня:

— Ты говорил, что учился в Московском горном институте. Ты там преподавателя Сальникова не знал?

— Знал, как же, он был доцентом на кафедре горных машин.

— Он здесь, на заводе, начальник девятого цеха. Зайди после работы во второй барак и спроси его.

Я зашел во второй барак. Сальников узнал меня, обрадовался. Срок он получил за финансовые злоупотребления.

— Приходи ко мне в цех. У меня много станков-автоматов, тебе будет интересно. — Сальников оставался преподавателем и в лагере.

На следующий день я отправился в девятый цех. Был конец октября 1945 года, и на фасаде цеха висел огромный лозунг:

ВСТРЕТИМ XXVIII ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ПО ИЗДЕЛИЮ № 1

— Что такое изделие номер один? — спросил я у встретившего меня Сальникова.

— Наручники. Наш цех специализированный. Мы только наручники и делаем.

Я посмотрел на Сальникова. Он спокойно продолжал говорить о своем цехе. Видимо, ни ему, ни лагерному начальству не приходила в голову мысль о чудовищном юморе ситуации. Меня распирало желание высказаться по поводу актуальности и мудрости лозунга на фасаде его цеха, но воспоминания о следствии еще были свежи, и я промолчал¹⁷.

Наручники, которые изготовлял девятый цех, назывались «строгие» и состояли из двух плоских, толщиной в 4–5 миллиметров стальных полуколец, соединенных шарниром. Они запирались защелкой с пружиной, позволяющей движение полуколец только в одном направлении — внутрь. Пара наручников соединялась между собой короткой цепью. Таким образом, если после того как на вас надели наручники, вы ведете себя спокойно, наручники остаются в том же положении, в каком они были заперты. Но стоит вам попытаться растянуть руки, дернуть цепь, как полукольца затягиваются и врезаются вам в запястья. Благодаря своему устройству «изделие № 1» легко превращалось в орудие наказания и пытки.

Вспоминаю одну из историй, связанных со строгими наручниками (нестрогих наручников мне видеть не приходилось).

В начале 1946 года меня везли в столыпинском вагоне этапом из куйбышевской пересылки в ташкентскую. Дорога была долгая, тяжелая и голод-

¹⁷ А. И. Солженицын писал, что массовый выпуск наручников был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции. Как видим, уже к 28-й годовщине специализированный цех на заводе № 1 УМТС НКВД клепал их полным ходом. Так довелось мне найти ответ на вопрос, который задал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»: *«На каком-то заводе делали их (наручники) рабочие с сидящими усами, образцовые пролетарии нашей литературы — ведь не сами же Сталин с Берией делали их?»* Сами же заключенные и делали их для себя. И завод был в лагерной зоне. И в этом еще раз проявилась мудрость лагерной системы: сами же заключенные и делали, да еще и благодарили судьбу за то, что работают в теплом цехе, а не на гибельном заполярном лесоповале.

ная. Последние пять дней пути мы питались только кипятком, который конвой приносил дважды в сутки. Начальником конвоя был у нас молодой лейтенант, похоже из фронтовиков: пара медалей была приколоты к его гимнастерке. Парень был хорош собой: румяные щеки, белобрысый чуб, фуражка набекрень, гимнастерка аккуратно затянута под ремень, брюки заправлены в начищенные хромо́вые сапоги, низко спущенные в гармошку — образцовый вояка из кинофильма, симпатичный своей лихостью и аккуратностью.

Столыпинский вагон — это пассажирский купированный вагон, в котором вместо стенки, отделяющей купе от прохода, вдоль всего вагона на всю его высоту установлена металлическая решетка с толстыми косыми перекрещивающимися прутьями. Конвоир, прогуливаясь по коридору, видит все, происходящее в камерах. Меня везли в купе рядом с тамбуром. В соседнем купе было набито человек 20 малолеток, мальчишек лет по 10—15. Голодные, как и все, они развлекались тем, что дразнили конвой:

- Начальничек, срать хочу! Отнеси мой х.. поспать!
- Пить хотца! Начальничек, надень на х.. чайничек!
- Дубаки, псарня, лягашки! Гав-гав! Вохровские кобели!..

Начальник конвоя решил навести порядок. Через решетку моего купе я увидел, как конвоиры вывели в коридор мальчишку лет 13, видимо из громких крикунов. Его держали за руки, и симпатичный бравый лейтенант надел мальчишке на запястья наручники. Он ставил сперва одну, потом вторую мальчишкину руку с наручниками себе на колено и, придерживая его ладонь левой рукой, кулаком правой бил по наручнику, затягивая его все туже и туже. Боль, видимо, была непереносимой. Несчастный малолетка вначале кричал:

— Прости, дяденька! А-а-а! Больше не буду! Век свободы не видать, больше не буду! Сука буду! Прости, дяденька!

Потом только вопил страшным голосом и извивался. Из ширинки его кальсон лилась струя мочи. А бравый лейтенант все бил и бил кулаком по наручникам...

Через несколько дней после этой экзекуции я встретил бедного малолетку на ташкентской пересылке. Запястья его распухли так, что были шире ладоней. Не знаю, что стало с его руками. Я видел, как он ел, вылизывая баланду из миски, как собака, не касаясь миски руками.

В конце года стали уходить из Бескудников этапы. Заметили мы, что на этапы уходит много народа с 58-й статьей — политических. Старшим рядчиком в лагере был бывший полковник авиации Кузминых, осужденный на 10 лет. В лагере говорили, что сел он за особые отличия в мародерстве Советской армии в побежденной Германии: гнал оттуда «трофейное» добро домой на подчиненных ему самолетах. Ему не повезло — попался. Дело было громкое, говорили, что и генералы и даже маршал авиации проходили по этому делу. Каким-то образом и жена его, молодая и красивая Зоя, оказалась вовлеченной в это дело, получила, кажется, 3 года лагерей и отбывала срок здесь же, хотя, по лагерным правилам, мужу с женой в одном лагере сидеть не полагалось. Она приходила по вечерам к нам в КВЧ на занятия

самодеятельности. Зоя и шепнула мне, что лагерь чистят от 58-й статьи: узнала от мужа-нарядчика. Мол, не место им в Подмоскovie, шлют на Север. Сейчас отправляют политических с 10-летним сроком, а за ними пойдут и все остальные. Время, когда товарищ Сталин решил согнать 58-ю в каторжные ОСОБЛАГи, еще не пришло, но уже сейчас в конце победного 1945 года для могучей державы, победившей нацизм, и фашизм, и японский империализм, оказалось опасным держать «политиков» вблизи столицы *Всего Прогрессивного Человечества*.

Через несколько дней после этого разговора Зоя, со своей бытовой статьей и малым сроком, ушла на этап: то ли провинился в чем-то ее муж и начальство решило не закрывать больше глаза на то, что жена его сидит в том же лагере, то ли не знали этого раньше, а тут выяснили.

Вскоре после этого, вызвали и меня на вахту «с вещами». Оказалось, что на меня пришел спецнаряд из ГУЛАГа, и по этому спецнаряду я направляюсь на Ангренстрой: сработала-таки записочка, поданная мной в Бутырской тюрьме по совету соседа по нарам.

Из лагеря привезли меня в уже знакомую краснопресненскую пересыльную тюрьму.

Вводят в камеру. Осматриваюсь и понимаю, что хозяева здесь блатари, они «держат» камеру. По стенам — нары в два этажа, посредине проход. Камера переполнена. Народ располагается в три яруса: на нарах и под нарами. На верхних нарах у закрытого намордником окна — *куток*. Там лежат *люди* — блатные, воры *в законе*. Дальше, на тех же верхних нарах — *шестерки*, обслуживающие блатным, ворье пожиже и ээки, которым, как считают блатные, по той или иной причине *положено* место на верхних нарах. На нижних нарах располагаются *самостоятельные фраера*, то есть ээки, не принадлежащие к воровской аристократии, но могущие постоять за себя. Наконец, места в проходе между нарами и под нарами занимают новенькие и низшая каста — *фитили-доходяги* и всевозможные штрафные — *ссученные, заигранные* и *загнанные под юрцы*, то есть под нары, за разные провинности перед хозяевами — блатными.

Не успеваю я решить, куда мне направиться, как из *кутки* поднимается невысокий худощавый человек, одетый по всем правилам тюремного воровского шика.

— Студент?

Я киваю: студент.

— *Романа тискаешь?*

Что это означает, я уже знал по своему предыдущему тюремному опыту. Когда компания в кутке уставала от карточной игры и камерного бандитизма, наступало время развлечений: театра и литературы. Освободалось место на полу, где обязательно присутствующий в многолюдной камере цыганенок — *мора* отбивал четку. После этого в куток приглашался рассказчик. Слушатели располагались лежа на расстеленных одеялах и шинелях, закуривали и готовились слушать *романа*. Рассказы, которые мне довелось слышать, начинались обязательной фразой: «*По темным улицам города Лондона мчался черный автомобиль с потушенными фарами*». Дальше шли примитивные истории из жизни благородных и бескорыстных воров

и бандитов и красавиц-аристократок, где пафос сменялся сентиментальностью, а фабула была на уровне детского сада. В мою предыдущую бытность на Красной Пресне мне доводилось пробовать себя в жанре «романиста».

— Романа я тискаю, — отвечаю я стоящему надо мной блатарю.

— Так я и знал, в рот меня туда-сюда! Я человека насквозь вижу, — говорит он. — У нас тут тоже студент был, очкарик правда. — Он критически осматривает меня. Очков на мне нет, и это, видимо, его огорчает. — Так он, бля, такие романа тискал, в каморе тихо было, слышно, как муха перднет, лопни мои *шнифты*, блядь-человек буду! Юлёк его звали. Тебя, студент, как звать? Давай, Витёк, лезь на юрцы. Хавать будешь? Подвиньтесь, суки, дайте человеку место!

Так началась моя творческая жизнь на пересылке.

— По темным улицам города Лондона мчался черный автомобиль с потушенными фарами, — начал я свой первый *роман*, отдавая дань форме. — Я сидел за рулем. Вместе со мной в машине сидели мой старинный друг, известный всему миру сыщик Шерлок Холмс, и доктор Мортимер, с которым мы, Шерлок Холмс и я, познакомились сегодня. Он пришел на квартиру к Холмсу в большом волнении: накануне умер его пациент, сэр Баскервиль, и обстоятельства его смерти были страшными, загадочными и таинственными...

Рассказ о собаке Баскервильей был прерван отбоем, продолжен на следующий день и имел огромный успех. За ним последовали «Тайна Боскомской долины», «Скандал в Богемии», «Пестрая лента», «Черный Питер», «Второе пятно». Запас рассказов Конан Дойла в моей памяти стал иссякать, но еще до этого, по реакции слушателей, я стал замечать, что тематика моих романов не вполне соответствует составу слушателей, так сказать, идеологически. Шерлок Холмс ведь с помощью своего дедуктивного метода ловит вора. Как же вырос в глазах моих слушателей Шерлок Холмс, когда в конце рассказа отпустил вора на все четыре стороны!

Я понял, что, как ни симпатичен был герой, раскрывающий ужасные преступления, герой, совершающий их, был ближе сердцам моих слушателей. Вот где пригодились школьные уроки литературы о том, что *искусство должно служить народу*, и про *социальный заказ*. В моих пересказах Конан Дойла постепенно сыщик стал уступать главную роль удачливому мошеннику.

Тут в дело пошли «Признания авантюриста Феликса Круля». Потекли рассказы о лихом прохвосте и воре, подделывающем подписи, разъезжающем по миру под чужим именем, присвоившем себе титул маркиза и неизменно обманывающем сыщика Шерлока Холмса, который гоняется за ним из страны в страну. Рассказы эти так полюбились моим слушателям, что мне едва хватало времени, чтобы обдумать, в какую сторону пойдет следующее повествование. Когда исчерпался сюжет Томаса Манна, Круля наконец-то арестовали и водворили в ужасную темницу замка Иф на скале, окруженной морем...

Так и велись мои рассказы, где герои одной прочитанной в детстве книжки врывались в действие другой книжки. Мне приходилось додумывать лишь связки и переходы, а остальное подсказывала память. И неизменно участвовал в них черный автомобиль, мчащийся с потушенными фарами по темным улицам то Лондона, то Марселя, то Лиссабона.

С самого начала повелось так, что все герои моих рассказов звали меня доктор Ватсон, и так стали звать меня и мои слушатели. Я был Рыбцом в лубянской следственной кабинетах, Персом в Бугырке, а на Пресне стал Доктором Ваценом — так трансформировалась в советских тюрьмах знаменитая английская фамилия... А уже перед самым моим освобождением уселся рядом со мной орлом в лагерной уборной прибывший с новым этапом эзк и очень вежливо спросил:

— Когда можно к вам прийти на прием, доктор? У меня нога болит.

Из пересыльной тюрьмы на Красной Пресне поехал я этапом в Ангрен. Вот тут погибнуть было недолго. Путь мой лежал в столыпинском вагоне на куйбышевскую пересылку, потом, опять же в *столыпине*, на ташкентскую пересылку и оттуда в *краснухах* — теплушках с решетками на окнах — в Ангрен. Выехал я в декабре, приехал в Ангрен в конце марта, по дороге тощая телом и набираясь по крохам арестантского опыта.

В Москве ночью, после *шмона* и многочасового ожидания в тюремном дворе, посадили в воронок, повезли куда-то недалеко и подогнали воронок, на котором везли меня и еще несколько эзков с Пресни к вагону.

— Давай! Быстро! Давай! Заходи! — орет конвой по обе стороны от двери. Зашел в вагон под эти крики, не оглянувшись. Что за вокзал был, что за станция — не знаю. В вагоне завели в купе — одного. Выдали еду на дорогу: хлеб и селедку. Объявили: паек на 4 дня. Поел немного, остальное засунул в мешок. И на всякий случай положил мешок с едой и вещами, что были у меня с собой, под голову. Расстелил телогрейку, лег и уснул. Проснулся утром — голова лежит на пустом мешке, ни вещей, ни продуктов нет. Оглянулся — в купе все так же пусто, только весь пол в шелухе от семечек. Видимо, ночью подсадил конвой ко мне компанию, которая меня и *работнула*. То ли у них ближняя перевозка была, то ли подсадили специально, чтобы меня обчистили: хлеб и селедку мою сожрали, а вещички тому же конвою и пульнули за то, что подсадил. Осталась у меня телогреечка военная, что тетка моя ленинградская прислала, да тюремная наука: если перепала какая еда, съедай все зараз, ничего не оставляй. И чем меньше у тебя добра, тем лучше: не отнимут.

А дальше купе мое стало наполняться. Если нормально, по-арестантски, разумеется, ехать, то на нижних полках могут сидеть шестеро, на средних можно лежать троим (две средние полки в столыпинском вагоне соединены еще одной полкой, где в нормальном вагоне окно), да еще двое могут лечь на верхних — багажных — полках, итого — одиннадцать. Когда мы приехали в Куйбышев, из нашего купе вышли 23 человека. Последних четверых подсадили к нам за двое суток до Куйбышева, и конвойные заталкивали их в купе ногами и так же ногами заталкивали нас в купе после оправки (на opravку нас водили в уборную поодиночке дважды в день).

После голодной куйбышевской пересылки было путешествие, опять же в столыпинском вагоне, в Ташкент с тем самым симпатичным начальником конвоя, который познакомил нас с возможностями использования строгих наручников.

Как описать эти путешествия из одной пересыльной тюрьмы в другую? Вначале предназначенных на этап выдергивают на пересылке из камер. Идет *шмон*:

— Раздевайся догола! Вещи сюда! Повернись! Нагнись!

Вот проверили вещи.

— Одевайся! Быстро!

Выводят во двор.

— Садись!

Садись на землю. Ждешь, пока других проверяют, обыщут и приведут. Вот все собрались.

— Встать! По пятеркам разобраться! Первая пятерка, марш! Вторая пятерка! Третья пятерка!..

Сосчитали, не сошлось. Опять все с начала. Грамотных среди них не много. Надо ведь помножить число пятерок на пять! Наконец, привели на станцию. Это все, конечно, ночью, чтоб люди не видели. Прожектора светят. Вокруг конвой с собаками. Команда:

— На колени!

И стоящую на коленях в грязи под дождем колонну из нескольких сот человек по много раз пересчитывают, наслаждаясь зрелищем коленопреклоненных, подвластных им людей. Привели, наконец, на пересылку. Опять переключка, опять проверка (счет, конечно, сходится только с третьего раза). Опять *шмон*, все голые — в баню, вещи — в прожарку. После бани получили вещи.

Опять проверка, опять переключка.

Пересыльные тюрьмы — это особый мир, где царствуют блатные (они же — *уржи, воры, люди или жуковатые*). Этот мир и есть, по-видимому, мечта блатного, «*страна Лимония, где вечно пляшут и поют, где триста дней в году — выходных, а шестьдесят пять — этапных*». Там, где они царят, в камерах — произвол, у попадающего туда прежде всего забирают все съестное, а после этого приходит очередь вещей. Все имеющее товарную ценность: приличные пиджаки, брюки, рубашки, куртки, пальто, свитеры, — отбирают. Если вещь снимается с человека, то взамен дается *сменка* — лагерьная рвань. Оказывающего сопротивление зверски избивают всем, что попадет под руку: палкой, табуреткой, если ничего нет, отламывают доски от нар. Избитого заталкивают *под юрцы*. Тут же начинается карточная игра на отобранные вещи. При удобном случае их сплавляют *вертухаям* за водку. Часто блатным бывает скучно просто грабить и они затевают игру. К получившему передачу или пришедшему в камеру с продуктами заключенному подсылают *малолетку* — малолетнего батаря, мальчишку лет двенадцати. Он пытается отобрать мешок с продуктами. Владелец мешка не отдает. Тогда в дело вступают взрослые:

— Ребенка обижаешь, сука! — И начинается побоище.

Малолетки в тюрьме или в лагере — это страшные своей жестокостью существа. Если у взрослых блатных еще можно обнаружить какие-то остатки человеческих чувств, то малолетки лишены их полностью. На моих глазах в Ангрене, на главном лагунке двенадцати-четырнадцатилетние мальчишки сварили своего товарища живьем. Вот как это случилось. Малолеткам полагается легкий труд. Их бригада обслуживала *вошебойку* — дезин-

фекционную камеру, в которой обрабатывалась одежда вновь прибывавших на лагпункт заключенных. Камера задраивалась герметической дверью, и в нее пускали перегретый пар при температуре 140 градусов по Цельсию. Одного из мальчишек обвинили в том, что он *стучит*, то есть доносит начальству о своих товарищах. Ему поручили заносить вещи в камеру и, когда он внес последнюю вешалку с телогрейками, дверь за ним захлопнули и завинтили затвор... Его вытащили из камеры вместе с прожаренными вещами, и перед моими глазами до сих пор стоит это зрелище: желтого цвета сваренный мальчик.

Ташкентскую пересыльную тюрьму я запомнил по глинобитным камерам и таким же заборам, разделявшим дворы, где заключенные грелись на мартовском солнышке. Я попал в компанию туркменов. По-русски они говорили плохо, но, побыв с ними пару дней, понял, что сидят все они по 58-й статье — за измену родине. Оказывается, они пытались перейти государственную границу СССР.

— Куда же вы бежали, в Иран, что ли?

Выяснилось, что никуда они не бежали. Часто скот, который они пасли, заходил на ту сторону, где трава была лучше, — через границу. Ну и они за скотом шли. И тех, кого задержали, стали судить за переход границы, а следовательно — за измену родине! Рассказывали они о своем мыкании по лагерям, там же — в Средней Азии, и всегда прибавляли: «*Там много наши люди омэр*». Значит, и здесь помирали...

14. Ангрен

Наконец, стали собирать этап в Ангрен. Этап был большой: целый эшелон товарных вагонов-красных, тысячи полторы эков. Нас привезли, и оказалось, что наш этап — первый. Огромный лагпункт на две с половиной тысячи человек был выстроен военнопленными японцами. В долине между горами была выстроена зона с обязательными двумя рядами колючей проволоки, полоской вспаханной земли между ними и сторожевыми вышками.

Мы прошли в зону. «Две Лубянки, Бугырки, пересылки в Москве, Куйбышеве и Ташкенте, два подмосковных лагеря — это моя девятая тюрьма», — считал я.

Внутри зоны были выстроены большие бараки, которые выглядели странно: ниже человеческого роста. Оказалось, что бараки были наполовину землянками. Лес в Средней Азии дорог, поэтому строители нашли экономичное решение: копался котлован, и, таким образом, при низеньких стенах снаружи, внутри было достаточно пространства для двухэтажной *вагонки*: широкий проход посередине, где стояли две железные печки, а по бокам — дощатые нары, каждая секция на четверых — двое внизу, двое наверху — и узкий проход между соседними секциями. Больше двухсот человек размещалось в таком бараке.

Мы прошли санобработку.

Прибывший этап стали распределять по баракам. Меня вызвали к начальнику лагеря. Молодой лейтенант вскрыл знакомый уже мне по пере-

кликкам и проверкам на пересылках большой конверт с пятью сургучными печатями — спецнаряд.

— Ты сколько лагерей до этого прошел? — глядя в мое дело, спросил лейтенант.

— Два.

— Значит, лагерную жизнь знаешь?

Знаю ли я лагерную жизнь? Похоже, что он мне работу предлагает. В пересыльных тюрьмах встречались мне люди из дальних лагерей: из Колымы, Воркуты, Урала, Норильска. Все они говорили: «В лагере самое страшное — это общие работы. Попадешь на *общие* — пропадешь. Общие — это кирка, лопата, тачка, лесоповал. И голод, и холод, и плохая одежда, и сырые бараки, и издевательства блатных, и произвол начальства. Поэтому, берись за любую работу, лишь бы не попасть на *общие*».

— Знаю, — ответил я.

— До работы, для которой тебя сюда прислали, еще далеко. Нам сперва надо лагерь обустроить. Будешь у меня помпобытом. Садитесь со старшим нарядчиком и подберите честных людей для столовой, кухни, хлеборезки, бухгалтерии, подберите дневальных для бараков.

Как показали дальнейшие события, по-настоящему ни я, ни лейтенант лагерную жизнь не знали. Уже то, что начальник выбрал меня на должность помпобыта, и его распоряжение: «*подбери честных людей*», говорило о том, что о лагерной жизни он понятия не имел.

Слово «*помпобыт*» означает помощник начальника лагеря по быту. В каждом лагере у начальника — офицера НКВД — есть два помощника из заключенных, которые фактически руководят в лагере всем, кроме надзора за заключенными. Первый помощник — пом. по труду, или старший нарядчик, по лагерному — *трудила*, отвечает за работу. Ему подчинены бригадиры, нормирование и учет работы, распределение основных и дополнительных пайков в соответствии с выполненной нормой и т. д. Второй помощник — помпобыт, в его распоряжении находятся все службы в лагерной жилой зоне.

Как правило, и старший нарядчик и помпобыт — это старые прожженные лагерники, *лагерные волки*. Часто это — *ссученные воры*, то есть матерые уголовники, вышедшие из воровского закона и перешедшие на службу лагерной администрации. Они бесчеловечны, коррумпированы. От них зависит жизнь и смерть заключенного, согласного заплатить любую цену, чтобы не попасть на губительные общие работы, получить тепленькое местечко лагерного *придурка*: дневального, санитаря, хлебореза или учетчика. Бригадиры берут взятки у членов своей бригады за то, чтобы поставить на работу полегче и выписать пайку побольше, и дают взятки и старшему нарядчику, и помпобыту.

Оба они живут в волчьем мире: их боятся и ненавидят. Живя в постоянном страхе за свою жизнь, они всегда готовы заплатить чей-либо еще жизнью за право жить самому. Они заканчивают свой лагерный срок либо с толстым *прессом* — пачкой денег в кармане, либо с *колуном промеж глаз*, то есть — с топором в черепе.

Вот на такую должность назначил меня начальник. Видимо, он решил, что человек, присланный по спецнаряду, должен обладать какими-то адми-

нистративными способностями. А я, по неопытности, согласился. Я стал «подбирать честных людей», как мне было велено. На должность заведующего пищеблоком назначил инженера-котельщика Мещерякова. Перебирая вместе со старшим нарядчиком папки личных дел заключенных, мы подобрали людей на другие «хлебные» должности.

Среди полутора тысяч людей, прибывших в Ангрен с первым этапом, оказался только один медик — студент Ташкентского медицинского института Ибрагимов. Его мы назначили заведовать медпунктом. Он оказался славным малым, и мы впоследствии подружились. По скудности медицинского опыта и знаний, а также недостатка медикаментов, доктор Ибрагимов всех своих больных и ото всех болезней лечил йодом: «Понимаешь, — объяснял он, — мой метод лечения одним хорошо: хуже от него не будет».

Вечером этого первого, богатого событиями дня в Ангренском лагере я решил обойти все теперь подведомственные мне лагерные службы и зашел на кухню. Увидев помпобыта, повар навалил мне полную кастрюлю пшенной каши с маслом — «для пробы». И я, стыдась и пряча свою добычу от чужих глаз, нашел в пустой столовой темный угол, начал есть кашу, не мог остановиться и съел ее всю...

Стыдно сейчас об этом вспоминать, но поначалу я добросовестно занялся своими административными обязанностями. Работы было много. Лагерное начальство, которое вело надзор за строительством, позаботилось о том, чтобы военнопленные японцы выстроили на совесть важные для охраны части лагеря: лагерную зону, то есть ограждение, вышки и проходную. Все остальное было выстроено халтурно и со многими недоделками. Все помещения внутри зоны надо было утеплять, устанавливать печи, вставлять стекла и запоры. Надо было дооборудовать кухню и баню, пустить в работу *вошебойку*, проводить свет, устроить служебные помещения, достраивать бараки для новых этапов.

Недели через две после нашего прибытия, ночью, меня разбудил надзиратель:

— Помпобыт, вставай. Новый этап пришел. Иди принимать.

Этап принимала целая свора надзирателей и придурков во главе с начальником лагеря.

После прихода нового этапа обстановка в лагере стала меняться — пришла большая компания блатных. Воры, или *люди*, как они себя называли, были в зоне и до этого, но их было мало, и они не *лезли на рога*. А тут пришла большая группа воров *в законе*, которым по воровскому закону работать не положено, а все необходимое для жизни и карточной игры положено отбирать у *чертей* или *фраеров*, то есть бытовиков и контриков. Сколотилось уже приличное воровское *кодро*, и стали они все более нагло показывать свою силу. Им нужны были «свои люди» на пищеблоке, в каптерке, которые бы обеспечивали им независимость от лагерного начальства.

Ко мне стали приходить посланники. Приходил человек и говорил, что хорошо бы определить «одного *Шурика*» на кухню поваром. А назавтра приходил другой — «*люди из второго барака*» просили пристроить Мишаню Армяна на вещевой склад. Они пока были вежливые, заискивающие, они ведь не знали еще, что за *олень небитый* в помпобытах ходит. Они за свою лагерь-

ную жизнь небось видали помпобытов, от которых воры на колючую проволоку лезли. Но я узнал, что кому-то уже угрожали, что бухгалтеру пищеблока показали топор за пазухой, а кого-то уже и ножом пырнули.

Что тут было делать? К этому времени прошло уже два месяца моей жизни в Ангрене. Я узнавал настоящую лагерную жизнь и понял, что с этой должности надо мне убираться, пока жив. Я придумал такую тактику — постепенно перестал заниматься своими обязанностями. Не принимал решений, не отдавал распоряжений. Когда приходили люди с какими-либо делами, я отсылал их к тем, кто этими делами занимался. Прошло не так много времени, и оказалось, что мне вообще нечего стало делать. Все лагерные службы, подчиненные помпобыту, прекрасно без меня обходились. Вскоре я услышал, как за моей спиной было сказано:

— Думали, помпобыт как помпобыт, а тут болтается, бя, по зоне какой-то *фрей* небитый, как говно в проруби!

В лагерь приехала комиссия. Утром к проходной подкатили легковые автомашины, и несколько офицеров прошли в кабинет начальника. В середине дня меня вызвали к начальству. За столом начальника лагеря сидели подполковник и два майора. Я поздоровался. Никто мне не ответил. Все сидели и смотрели на меня. Тыча в мою сторону пальцем, подполковник спросил начальника лагеря:

— Это кто такой у тебя тут по зоне ошивается?

— Это помпобыт, — ответил начальник.

— ЭТО помпобыт? — спросил подполковник издевательским тоном. Он оглянулся на сидевших рядом майоров. — Кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь встречал таких, бя, помпобытов?

Оба майора только усмехнулись.

— В бригаду его! — распорядился подполковник, — чтоб завтра он у тебя был, как штык, на разводе! Помпобыт, бя, где только такого откопали! — насмешливо проговорил он, качая головой.

Так закончилась моя недолгая административная карьера...

На следующее утро я был на разводе в составе бригады, идущей на самую тяжелую работу — на каменный карьер. Карьер заготавливал камень для строительства. До выхода на работу заключенных вольнонаемные бурильщики бурили в каменной породе скважины. Заключенные взрывники закладывали в скважины взрывчатку. После взрыва оставались большие куски камня, которые надо было разбивать вручную кувалдами и клиньями. Взорванный и разбитый камень лопатами грузили в тачки и отвозили к бункерам. О том, что происходило с людьми в результате такой работы, я получил представление, когда попал в лагерный лазарет.

Я проработал в бригаде дней десять и опять был вызван к начальству. На стройку прибыл присланный из Америки, в соответствии с программой помощи Советскому Союзу, энергопоезд — чудо американской техники: передвижная электростанция на железнодорожном ходу. Создавались три бригады для монтажа станции. Меня назначили бригадиром по монтажу электрической части. Как и предполагал мой сосед Петр Михайлович, в ГУЛАГе не нашлось другого кандидата на эту работу, кроме недоучивше-

гося студента. Бригадиром по монтажу турбины стал пришедший тоже по спецнаряду Георгий Александрович Уваров — высокий пожилой инженер. Он был осужден за «вредительство» еще в начале 30-х годов по одному из многочисленных процессов, последовавших за процессом «Промпартии».

В первые же дни монтажа Уваров поразил меня тем, как на моих глазах быстро рассчитал балку крана для установки турбины и подобрал нужное сечение, не пользуясь ни справочниками, ни таблицами. Это была наглядная и убедительная демонстрация могущества инженерного знания. И я испытывал гордость за свою профессию, впоследствии каждый раз вспоминая старого инженера Уварова, который показал мне, что такое авторитет знания.

О том, чем мне предстояло заниматься на монтаже энергопоезда, я имел смутное представление. Четыре года занятий в институте по специальности горная электромеханика к практической работе по монтажу электростанции меня не подготовили. Мне удалось, однако, отыскать среди двух тысяч заключенных, которые были к этому времени в Ангренском лагере, трех опытных электромонтеров.

С энергопоездом пришла полная техническая документация на английском языке. По счастью, когда я начал учиться в институте, я решил, что, кроме немецкого, хорошо бы изучить еще один иностранный язык, и четыре года меня, хоть и плохо, учили английскому. Ввиду малости срока заключения мне была разрешена переписка. Мама прислала несколько технических книг, и по вечерам я их штудировал. А главное, как ни скудны были мои знания, на всей стройке не было никого, кто знал бы больше, включая вольных — главного механика и главного энергетика, так что все решения мне приходилось принимать самому. И это была настоящая инженерная школа.

Мы смонтировали энергопоезд и пустили его в эксплуатацию. Обслуживание электростанции также поручили заключенным, и я стал работать дежурным электриком у щита генератора.

На Ангренскую стройку прислали подвижные ремонтные мастерские — Подрем. Это было изобретение ГУЛАГа длястроек железных дорог. В вагонах-теплушках были установлены токарные и фрезерные станки, кузница, электроремонтные и слесарные мастерские. В таких же теплушках разместили работающих на Подреме заключенных — по 16 человек в теплушке. Для Подрема оборудовали небольшую лагерную зону, обнесенную, как полагалось, рядами колючей проволоки, с вышками по углам и вахтой-проходной. Нашу бригаду, обслуживающую электростанцию, перевели с общего огромного лагпункта, где жили больше 2000 заключенных, в Подрем. На фоне лагерной жизни это был райский уголок, вместе с нашей бригадой там было меньше двухсот человек. Жизнь на Подреме была без блатных, без воровства и грабежа, с квалифицированными людьми, которые часто прирабатывали, делая всякие поделки для вольных, по роду работы бывавших в зоне. От этого лагерная диета время от времени обогащалась сахаром, хлебом, маслом и урюком. Подрем, как и «шарашки», был *кругом первым* лагерного ада.

Вольный главный механик, бывший зэк, как и большинство работавших на стройке вольных, Григорий Александрович Моргулев, изредка приносил

мне материалы на немецком языке для перевода. Это были технические описания оборудования, которое гнали из Германии по послевоенным репарациям. Думаю, что Моргулев прилично на мне зарабатывал, а я был ему благодарен за масло и сахар, которые он мне приносил в качестве гонорара. На Подреме я и провел весь остаток своего срока — до освобождения.

То, каким настоящим райским уголком, по сравнению с общим лагпунктом, был Подрем, я убедился, когда был послан в лагерьный лазарет монтировать трофейную рентгеновскую установку и чинить оборудование физиотерапии. Это было мое второе посещение лазарета. В первый раз я попал туда, когда на Подреме разразилась эпидемия инфекционного гепатита, то есть желтухи. На лагпунктах медицинской помощи, по существу, не было. Поэтому нас, человек двадцать, заболевших этой инфекционной желтухой, стали переводить в лазарет, когда мы совсем *дошли* и собирались помирать. Там нас быстренько поставили на ноги внутривенными вливаниями глюкозы и отправили обратно.

Во второй мой приход в лазарет, уже не в качестве больного, а мастера, я подружился с заключенным хирургом Коноваленко, который фактически заведовал всеми делами в лазарете, так как был лучшим врачом во всем Ангрене и лечил и оперировал, помимо заключенных, все лагерное начальство и их семьи. По вечерам, если не было срочных больных, Коноваленко приглашал меня к себе на чарку медицинского спирта.

Коноваленко рассказывал о больных лазарета. Добрую половину составляли *доходяги*, которых пытались подправить, то есть подлечить и подкормить, с тем, чтобы вернуть на работу либо, если это не удавалось, активировать. Активирование заключенных было придумано в ГУЛАГе для улучшения статистики: безнадежно больных активировали, освобождали из заключения по болезни — с тем, чтобы они умирали не в лагере, а на воле.

Коноваленко любил свою работу. Это было видно по тому радостному возбуждению, в котором он находился утром операционного дня, по увлеченным рассказам о проведенных сложных операциях.

— Ты знаешь, у меня в лагере такая практика, какой на воле быть не могло. Там всегда вместо меня «светило» находилось для сложных случаев. А здесь я — один. И надо самому до всего додумываться и самому решать. Я думаю, по черепным ранениям я могу хоть сейчас диссертацию писать.

— Я про себя могу точно то же сказать. Я многому научился в лагере по той же причине. Спасибо, однако, мы лагерю не скажем, правда, доктор?

— Знаешь, рабы, что гребли на галерах, были, наверное, сильнее и выносливее своих погонщиков. Если, конечно, пайка у них была приличная. Неволья от этого для них слаще не становилась.

Для ремонта сгоревшие трансформаторы отослали на Подрем, а меня Коноваленко оставил на это время в лазарете и решил использовать в качестве писаря в комиссии по активированию. Основными болезнями, по которым проводилось активирование, были алиментарная дистрофия и пеллагра. Диагностировались они по внешнему осмотру. Голые, обтянутые сухой шелушащейся кожей скелеты представляли перед комиссией, в которую входили лазаретные медики и лагерное начальство, и я записывал, помимо других симптомов, поразившие меня слова: «*анус зияет*». У этих людей не

было ягодич! Я вспомнил эту комиссию, когда увидел документальный фильм об освобождении нацистских лагерей смерти. Почти так же выглядели люди, проходящие перед комиссией в ангренском лагерном лазарете...

Осужденные по 58-й статье в то время активировке не подлежали. У активированных был хоть и слабый, но все же шанс поправиться на воле и остаться в живых. *Врагам народа* такой шанс нельзя было давать. Они умирали в лагере.

За колючей проволокой зоны лазарета, в открытой взгляду степи было кладбище. Специальная бригада из поправляющихся в лазарете больных копала общие могилы. Они хоронили трупы и засыпали могилы желтой ангренской землей. Мертвецы были завернуты в простыни, к лодыжке каждого привязывалась фанерная бирка с номером дела. Имен не было. Из закопанной ямы торчал деревянный колышек, указывающий, что новую могилу надо копать в другом месте. И все это — в теплом Узбекистане, где отсутствовал один из основных факторов, губивших людей в советских лагерях, — холод. А над въездными воротами в зону лазарета, как и на всех лагпунктах ГУЛАГа по всей огромной стране, красовался написанный лагерьным художником лозунг-цитата:

**«ТРУД В СССР ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ,
ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА» И. СТАЛИН**

Я вернулся на Подрем и поблагодарил Бога за то, что до ареста успел приобрести специальность, и за то, что моим соседом в Бутырьках оказался Петр Михайлович.

15. Экибастуз

Срок моего заключения кончался. Я думал о своей будущей жизни на воле и у сотрудников-*вольняшек* наводил справки о жизни вне зоны. С моим клеймом бывшего политического заключенного и отсутствием инженерного диплома лучшее, на что я рассчитывал, была работа электромонтера на электростанции где-нибудь в маленьком провинциальном городке, где мне разрешили бы жить.

И все, что я знал и понимал, держал при себе. Боже меня упаси критиковать что-нибудь или про лагерь и следствие кому-нибудь рассказать. Только бы выпустили, жить буду тихо, ничего мне не надо, прокормить себя и маму, и всё!

Наступил май 1949 года. Я слушал радио и знал о том, что в стране идет важная государственная кампания: травля *«безродных космополитов»*, и догадывался, что кроется под этим определением. Непонятно только было одно: сажают их уже или только критикуют? Зная историю моей страны, я подозревал, что сажают. Знаком я также был и с широко применяемой в лагерях практикой, когда перед освобождением заключенному зачитывают постановление о продлении его срока в связи с тем, что на волю выпускать его *«нецелесообразно»*. Я думал о том, что при расширительном понимании слова *«космополит»* вполне подпадаю под это определение. И если сажают новых *безродных космополитов*, то зачем им отпускать на волю того,

кто уже сидит? Я перестал спать по ночам, томился и все думал: отпустят или не отпустят? Дни, что оставались до 19 мая, когда кончался мой срок, оказались чуть ли не самыми трудными из всей моей лагерной жизни.

За пару дней до освобождения меня перевели на главный лагпункт. В лагерной конторе я встретил старшего нарядчика Алексея Кравцова, полагерному — Лёху, с которым мы подружились еще на ташкентской пересылке. Был он умным, деловым и энергичным — бывший капитан-летчик, осужденный за какой-то должностной проступок. Леха пригласил меня вечером:

— Бутылка завелась, надо раздавить, отпраздновать твое освобождение! Мы выпили, поели.

— Хочешь свое личное дело посмотреть? Завтра надо передать на оформление освобождения, а там фотография отвалилась. Надо подклеить.

— Конечно, хочу!

В деле ничего интересного не оказалось: приговор, спецнаряд, по которому меня прислали в Ангрен. Я рассматривал фотографию, сделанную на Лубянке. Обычная тюремная фотография: фас и профиль, внизу — номер, фамилия, имя, отчество, год рождения.

— Слушай, дай мне это фото на вечер, я сделаю копию и утром перед разводом тебе верну.

— Ты с ума сошел! Кто тебе копию сделает?

— Гришаню фотографа попрошу. Я его на должность назначил, когда помпобытом был.

— Ничего тебе твой Гришаня не сделает. Ему за такое дело срок могут намотать и мне заодно!

— Я попробую, может, сделает. Ты ничего не знаешь, я ее сам у тебя из дела вытащил. А если Гришаня откажется, я тебе в любом случае фото перед разводом принесу, как штык!

Леха дал мне фотографию. Я побежал к фотографу, но, сколько его ни уговаривал, он, как и предсказывал Леха, делать копию не согласился: слишком опасно. Время было позднее, и я ушел в барак спать. Утром я побежал возвращать фотографию. У входа в кабинку старшего нарядчика толпился народ. Я протиснулся вперед. На кровати ничком лежал Леха. Подушка и простыня были красные от крови. В голове Лехи торчал топор.

Слишком многое в лагере зависело от старшего нарядчика. И всем угождать он не мог, да и не хотел, наверное. Бедный Леха! Я вспомнил свое недолгое пребывание на должности помпобыта. Если бы не приезжее начальство, которое выгнало меня с позором с этой должности, и меня могла постигнуть такая судьба.

Я смекнул, что теперь, когда бедный Леха уже не подсуден земному суду, мое личное дело прекрасно обойдется без фотографии. В тот же день я передал ее шоферу-водовозу и получил обратно в первый свой день на воле.

Теперь она украшает стену нашего американского дома...

За месяц до моего освобождения главный механик Моргулев спросил, что я собираюсь делать, когда выйду на волю.

— Не знаю. Я об этом не думал. Просто сижу, жду и думаю: освободят меня или новый срок навесят?

— Освободят, освободят, не бойся! А вот, когда освободят, ты получишь «собачий» паспорт по статье 19 паспортного режима. И ни в одном городе Советского Союза с населением больше, чем то ли 20, то ли 30 тысяч человек, тебя не пропишут. Кажется, 270 городов будет для тебя закрыто. Понимаешь? Ни в одном нормальном городе тебе жить нельзя будет — только в глуши. То есть практически это ссылка. Добавь к этому, что ты бывший политический заключенный и что у тебя нет инженерного диплома, и ты поймешь, что с устройством на работу у тебя получается картина неприглядная.

Я согласился. Это все я понимал.

— Так вот, слушай внимательно, — сказал Моргулев. — В Ангрене стройка заканчивается. И мы все, кто строил Ангрэн, переезжаем в Северный Казахстан на новую стройку. Там все начинается с нуля, нет ни города, ни поселка, так что тебе там жить будет можно. Я говорил о тебе с начальством. Мы тебя знаем. Чтобы с нами работать, диплома тебе не нужно. Нам люди нужны. Подумай. Я так понимаю, что для тебя это — единственный шанс, если хочешь работать профессионально. Приедешь — получишь хорошую инженерную работу и хорошие деньги.

Я сразу согласился. Моргулев сказал, что через несколько дней он уезжает на новую стройку. Там пока и адреса еще нет. Но, когда я освобожусь, на почте на мое имя будет от него письмо с подробным описанием, как туда приехать. Место это называется Экибастуз, и его еще нет на карте.

19 мая 1949 года дежурный на вахте отодвинул здоровенный железный засов, и передо мной открылась дверь на волю. Я вышел с фанерным чемоданчиком в руках, где были немногочисленные мои пожитки, — и пустился бежать по каменистой пыльной дороге, которая вела из зоны, и остановился, когда сторожевые вышки скрылись за холмом, который огибала дорога. Я отдышался и огляделся. Вокруг никого не было. Меня окружали холмы, поросшие бурой травой. «Не спеши, — сказал я себе, — подумай: ты на воле, ты можешь идти по дороге, а, если хочешь, можешь на эту сопку полезть. И никто в тебя за это не будет стрелять. Ты — свободен! Ощути это, проникнись этим, не спеши!» Пятьдесят лет прошло с тех пор, а я до сих пор волнуюсь, когда вижу в кино выходящего из ворот тюрьмы человека, я все волнуюсь и радуюсь за него: чувство это ни с чем сравнить нельзя.

Я приехал в Экибастуз, когда в бескрайней до горизонта степи забивали колышки будущих жилых кварталов и не было еще ни милиции, ни НКВД, а вечером по будущей городской улице шли с работы девушки, строительные рабочие, и пели:

В Ебисътузе я была, уголь там копала,
Если б не п...а моя, вовсе бы пропала...

В Экибастузе действительно были места, где уголь можно было копать лопатой, так близко к поверхности земли подходили угольные пласты. И теперь здесь предполагалось построить самые большие в стране разрезы для разработки угля открытым способом и гигантскую электростанцию, работающую на этом угле.

На стройку стали присылать экскаваторы, и меня поставили руководить их монтажом. На мое счастье, в монтажной бригаде были опытные экскаваторные машинисты, приехавшие вместе со всей стройкой из Ангрена, они и без меня знали, как из пришедших в деревянных ящиках узлов и деталей построить огромную машину. Я об этом понятия не имел, но машинисты помнили меня по Ангрону, все они бывали по делам ремонта на Подреме. Несмотря на то что я был моложе, у нас установились дружеские и уважительные отношения. Машинисты были людьми серьезными, хорошо зарабатывали и добросовестно относились к своему делу.

Я учился у них многому, но, когда надо было монтировать системы электропривода, без меня дело не обходилось: я сидел вечером после работы, разбирался в схемах и наутро знал, что надо делать.

Как только начались основные работы на разрезе, меня назначили главным механиком управления, которое вело горные работы. Эта должность была, так сказать, номенклатурная, с высоким окладом, и поэтому из министерства на нее время от времени присылали дипломированных инженеров. Меня в этих случаях переводили на работу в трест, и там я ждал, пока очередного присланного из центра деятеля вскоре не увольняли за беспробудное пьянство. То ли бескрайние казахские степи ввергали их в такую тоску, то ли в министерстве считали, что Экибастуз — самое подходящее место для алкающей и нарочно слали нам такую публику, но все трое, присланные в разное время на мою должность, пили запоем.

Как на всех советских стройках, строительство жилья не поспевало за притоком рабочих и люди жили в бараках. В степях Северного Казахстана зимой случались бураны: при морозе в 20 — 30 градусов по Цельсию дул такой ветер, что идти было трудно. Ветер нес снег, и через несколько минут на лице образовывалась ледяная корка.

Жарким летом случались песчаные бури. Весны не было, снег таял, и начиналась жара. Единственным хорошим временем года была осень. Когда народ на стройку стал прибывать, из двух стандартных барakov построили клуб и появилась культура: по субботам привозили кино. На стенде около клуба киномеханик вешал пустую афишу и от руки вписывал название фильма. Однажды я прочел надпись: «Устин Малапага». Делать в этот вечер было нечего, и я пошел в кино. Фильм оказался одним из шедевров итальянского неореализма — «У стен Малапаги».

Я приехал в Экибастуз в мае 1949 года, а в конце лета туда пригнали 5 тысяч заключенных. Новый лагерь назывался ОСОБЛАГ и отличался от тех, где *тянул* свой срок я. Оказалось, что в 1948 году товарищ Сталин решил разделить социально-близких советской власти заключенных (воров, грабителей, убийц и бытовиков) и социально-безнадежных (58-я антисоветская статья) и последних загнать в лагерь с особо жестоким режимом. В этих «особых» лагерях заключенных водили на работу автоматчики с овчарками и у каждого зэка на груди, на спине и на шапке в одежду был шит его номер. По сравнению с татуировками, практикуемыми в Освенциме, советская система вновь доказала свое преимущество: начальство могло видеть номер издали. Я успел освободиться из обычного ИТЛ, что

означало *«исправительно-трудовой лагерь»*, а вот *поделщики* мои с десятилетними сроками угодили в ОСОБЛАГи.

Различие между ИТЛ и ОСОБЛАГа́ми было не только внешним. В 1947 году, к тридцатилетию «Великого Октября», Сталин ввел 25-летние сроки заключения, видимо для удобства работы *органов*: раньше максимальный срок был 10 лет, и многим «контрикам», посаженным в 30-е годы, по истечении их срока приходилось добавлять новый. Приговор к 15, 20 или 25 годам позволял избавиться от этой дополнительной канители, сэкономил *государству рабочих и крестьян* средства и позволял лучше использовать людские ресурсы *органов*.

Такие приговоры, однако, создали новую породу заключенных. Это были молодые люди, прошедшие войну и немецкий плен или сражавшиеся в дивизиях Власова, в войсках Краснова, в партизанских отрядах Бандеры и литовских «лесных братьев». Приговоренные к 25 годам за *«измену Родине»*, они сознавали, что терять им нечего. Эти люди устраивали побеги, уничтожали лагерных осведомителей — *стукачей*, отстаивали свои права и в 1952 году в Экибастузе подняли настоящий мятеж.

Стройка в Экибастузе, как и все крупные строительные работы в то время, должна была вестись руками заключенных. Началось строительство городских кварталов, огромной электростанции, которая должна была работать на экибастузском угле, кирпичного и цементного заводов, деревообделочного комбината, каменных карьеров. Вольные вели только горные работы.

Имена руководителей стройки в Экибастузе звучали зловеще: управляющего трестом звали Карашук, а главного инженера — Хищук. Они, однако, не имели предрассудков в отношении приема на работу бывших заключенных, особенно бывших эзков с 58-й статьей. Проработав много лет в системе ГУЛАГа, они знали, что это люди добросовестные. Они понимали, что бывшие эки — люди без претензий и будут работать в таких гиблых местах, как Экибастуз, и, что еще важнее, они из кожи будут лезть, чтобы доказать, что они честные и хорошие работники и что посадили их напрасно. Как правило, это было и так очевидно и в доказательствах не нуждалось, но такова уж была страна, где мы жили. Я и был одним из таких людей.

Поначалу для работы в качестве главного механика у меня не было ни опыта, ни образования. Но было желание вернуться к «нормальной» человеческой жизни и было знание закона лагерного выживания: «если тебе предлагают работу, требующую какой-то квалификации, сперва соглашайся, а потом уже думай о том, как с ней справиться».

16. «В зоне бунт!»

Как-то из лагеря принесли проект расширения электрической подстанции в жилой зоне, и я его утвердил, написав на чертеже свою фамилию. Прошло время, начальство велело мне сходить в жилую зону и посмотреть, правильно ли там ведут работы на подстанции. Мне выписали разовый пропуск, и, впервые после освобождения, я оказался в лагере.

Чувствовал я себя в жилой зоне неважно: вокруг была знакомая лагерная обстановка, люди шли от бараков в столовую, в строениях на моем пути я узнавал БУР (барак усиленного режима) — лагерную тюрьму, лазарет, столовую, каптерку, хлебоборезку. Не так уж давно я был заключенным, и возникло знакомое ощущение неволи. Задерживаться в зоне мне не хотелось. Я стал прощаться с электриками, когда ко мне обратился вошедший в контору заключенный:

— Главный инженер строительства просит вас зайти к нему.

Меня встретил человек с остриженной по-лагерному под машинку головой и аккуратно подстриженной бородой.

— Александр Маврикиевич Людвиг, — представился он¹⁸. — Садитесь, пожалуйста. Я прочитал вашу фамилию на чертеже и, когда узнал, что вы в зоне, пригласил, чтобы спросить: не родственник ли вы Яну Александровичу Левенштейну?

— Это мой дядя, вернее, двоюродный брат моего отца.

— Ян Александрович — милейший человек, прекрасный архитектор и мой большой друг. Мы были знакомы на воле, но подружились в лагере, много лет были вместе. Его освободили в 1947-м, а мне вот добавили срок.

Мы поговорили о Яне Александровиче, я собрался уходить, но Людвиг сказал:

— Здесь находится ваш одноделец и друг Александр Гуревич. Он в лагере — нормировщик. Хотите его видеть?

Вопрос Людвига покажется странным только тому, кто не знаком с тем временем и его порядками. Я был хоть и ссыльным, но — на воле. Шурик — ээком. Встреча с ним на юридическом языке того времени называлась «*связь с заключенным*», считалась государственным преступлением и каралась сроком до 5 лет.

— Ну, конечно, я хочу его видеть!

Людвиг открыл дверь, позвал ээка, который привел меня к нему, сказал ему что-то, и через несколько минут появился Шурик. Мы обнялись, и Шура быстро сказал:

— Ты можешь в четверг прийти в зону кислородной станции? Я выйду туда с бригадой.

— Могу.

— В четверг, значит.

Я понял, что чем короче будет наше свидание в жилой лагерной зоне, тем лучше.

В четверг мы встретились в рабочей зоне, где бригада заключенных монтировала кислородную станцию. Вот тогда я узнал, что отец Шуры жив и не был арестован, и тяжелый камень свалился с моей души. Шура работал в жилой зоне, и на объекты его выводили редко. Я рассказал ему, что часто бываю в мехмастерских.

— Туда с бригадой ходит Лева Гроссман, — сказал Шурик. — Ты его случаем не знаешь?

¹⁸ Позднее, в Москве, я узнал, что Людвиг был известным строителем и архитектором, специалистом по железобетону, членом президиума Академии архитектуры.

— Конечно, знаю. Он чертежник в проектной группе. Я к ним часто захожу.

— Мы слевой дружим. Он тебе скажет, когда меня выведут в какую-нибудь рабочую зону.

Несколько дней спустя у меня зазвонил телефон.

— Виктор Матвеевич?

— Да.

— Говорит старший оперуполномоченный МГБ капитан Хуторной. Вы можете зайти ко мне завтра в 14 часов? (Не «*прийти*», не «*быть у меня*», а «*зайти*». Вроде бы приятель он мой.)

— Могу, конечно (как будто кто-нибудь может сказать: «не могу»!). А куда надо идти?

— Где милиция находится, знаете? Спросите меня там, они покажут.

Наша беседа с Хуторным началась, как водится, издали: он спросил, что нового у меня на работе. Я начал рассказывать об экскаваторах, поступающих на стройку. Он прервал меня, и я понял, что не работа моя интересовала оперуполномоченного.

— Вы отбывали срок по 58-й статье?

— Да.

— По каким пунктам вы были осуждены?

— Пункт 10, часть вторая, и пункт 11.

— Значит, групповое было дело?

— Да. Групповое.

— Много народу проходило по делу?

— Тринадцать человек.

— Можете назвать ваших однодельцев?

Хуторной положил перед собой лист бумаги и приготовился писать, а я подумал: «Боюсь, что он знает о нашей с Шуриком встрече». Я сказал: «Сулимов». И я увидел, как Хуторной написал «Сулимов» на своем листе. Я продолжал:

— Бубнова, Фрид, Дунский, Михайлов...

Хуторной записывал названные мной фамилии столбиком.

— Гуревич, — продолжил я.

Хуторной записал: «Гуревич» и подвел под списком черту.

— Вам известно что-нибудь о ваших однодельцах?

«Хоть что-то полезное дала мне тюрьма: опыт и знание, как с вами, гадами, разговаривать», — подумал я. Не знаю, был ли у старшего оперуполномоченного опыт работы следователем; по тому, как он провел этот допрос, похоже, что не было. Но у меня-то опыт подсудственного был: я сказал оперу, что по делу проходило тринадцать человек, назвал только шестерых, и он подвел черту после того, как я назвал Шурика. Все было ясно: лагерный *стукач* дунул своему лагерному оперу — куму, а тот передал информацию Хуторному. Я посмотрел в глаза Хуторному и сказал:

— Мне известно только об одном — Гуревиче. Он отбывает срок здесь, в Экибастузе. Я был по делу в жилой зоне, и мы случайно встретились. Об остальных я ничего не знаю.

— Вот видишь, — по-отечески сказал Хуторной, переходя на «ты». — То, что ты мне сейчас рассказал, дает мне основание на тебя дело завести — за связь с заключенным. Я этого делать не буду. Я навел о тебе справки, мне сказали, что ты хорошо работаешь, и я не хочу, чтобы стройка тебя лишилась. И то, что ты сам правдиво рассказал об этой встрече, говорит, что она была, как ты говоришь, случайной и злого умысла не имела. Но имей в виду, я строго тебя предупреждаю: если ты еще раз с этим Гуревичем встретишься, я на тебя дело заведу, понял?

Я ответил, что понял, и мы расстались. Прямо от Хуторного я поехал в мехмастерские и рассказал чертежнику Леве Гроссману о своей беседе с опером. Я регулярно бывал в мехмастерских, и вплоть до моего отъезда в Москву весной 1954 года Гроссман передавал приветы и рассказывал, что Шурик жив и здоров и продолжает работать нормировщиком.

Шурик освобожден был в том же 1954 году, после окончания своего десятилетнего срока, и в следующий раз мы встретились уже в Москве два года спустя, перед нашей реабилитацией, когда он вернулся домой из Кустаная, где отбывал ссылку после освобождения из лагеря.

Я жил в Экибастузе в «соцгородке», — в скоплении стандартных маленьких двухквартирных домов, выстроенных еще до приезда заключенных, над которым возвышалось двухэтажное здание нашего треста. Огромная жилая зона лагеря расположена была между соцгородком, и мехмастерскими. Это сооружение выглядело очень солидно: два ряда заборов с колючей проволокой, спирали Бруно из той же колючей проволоки, разложенные в предзоннике, надолбы из бревен с заостренными концами, направленными внутрь зоны, овчарки, бегающие вдоль специальной проволоки, натянутой между заборами, распаханная земля вокруг ограды, мощные фонари, заливающие ярким светом это ограждение по ночам, вышки с прожекторами и дежурными автоматчиками — все это наглядно показывало могущество страны победившего социализма.

Наступила осень 1951 года. В лагере стали заметны странные новшества. От знакомых эзков в мехмастерских я узнал, что к ним пришел большой этап оуновцев — западно-украинских партизан.

В воскресенье я проезжал мимо жилой зоны и увидел, что в лагере играют в волейбол. Все, как у людей: площадка, сетка, мяч, игроки в спортивной форме. Присмотрелся и глазам не поверил: на одной стороне игроки в желтых майках и голубых трусах, а на другой — голубые майки и желтые трусы. Да это же цвета украинского национального флага — *жовто-блакитный*! За такую спортивную форму еще в 1931 году людей бы посадили за *буржуазный национализм*, а тут 1951-й кончается, время пострашнее! Вот тут я впервые подумал, что появилась новая порода заключенных.

Бывая в мехмастерских, я старался выкроить время, чтобы зайти в маленькую комнату проектного бюро. Работавшие там, в разное время, Юрий Карбе, Лев Гроссман, Юрий Киреев и Дмитрий Панин¹⁹ были людьми

¹⁹ Этот замечательный человек стал прототипом Сологдина в солженицынском «Круге первом»,

интеллигентными и интересными, и была в том, что они говорили, непривычная для того времени свобода. Не знаю, что было источником этой информации, я не задавал вопросов. Страх еще крепко сидел во мне, и я старался помалкивать и только слушать.

После украинского волейбола, который я видел, прошло несколько недель, и в проектном бюро мне рассказали о новостях в зоне:

— У нас *рубилровка* — режут *стукачей*.

— Как так? Кто?

— Неизвестно кто. Бараки на ночь запираются. Утром, перед разводом, когда все еще спят, надзиратели отпирают замки. И в это время в барак входят люди в масках, идут к тому месту, где спит *стукач*, всаживают в него ножи и уходят. Уже несколько человек зарезали. Нас теперь по часу держат перед вахтой, *имонают*, ищут ножи, считают, что их в мехмастерских делают.

В следующий мой приход в мехмастерские рассказывают, что зарезали уже десятка два народу. Начальство — в ярости: никто не *стучит*, боятся мести: режут уже среди бела дня. Люди в лагере разговаривать стали свободно. В зоне говорят, что это западные украинцы привезли свою организацию, созданную когда они партизанили. Говорят, что у них свой секретный ЦК. Дошло до того, что оставшиеся в живых *стукачи* бегут в БУР, просят, чтобы их там заперли.

— Бригадирь отказываются от работы, просят в бригады — работягами. А кто за собой грехи знают, тоже побежали в БУР прятаться. У нас в бригаде бригадир новый, Саня.

Мне назвали длинную фамилию, которую я не запомнил.

— А он, что ли, не боится? — спросил я.

— Он — не боится. Ему бояться нечего, он человек честный, все это знают.

Прошло несколько дней, и мне довелось встретиться с новым бригадиром.

Это был человек лет 35 на вид, с широким лбом, сужающимся к подбородку лицом и внимательными невеселыми глазами. Я запомнил глубокую вертикальную складку на его лбу. Номер Ш-232 был нашит на его телогрейку и на брюки.

Прошли годы. Умер Сталин. Расстреляли Берия и нашего главного следователя Влодзимирского. Прошел XX съезд партии. Нас реабилитировали. В конце 1962 года по Москве прошел слух: в 11-м номере журнала «Новый мир» опубликована *настоящая* повесть о лагерях. Книжка журнала с повестью, которая называлась «Один день Ивана Денисовича», мгновенно стала редкостью, и счастливы, которые выписывали журнал, составляли длинные очереди друзей — на прочтение. Я позвонил Шурику:

— Ты читал?

— Читал.

— Как? Где? Расскажи!

— Рассказ не для телефона, приезжай.

Я приехал, и он рассказал.

— Понимаешь, я с автором сидел в Экибастузе. Его зовут Александр Исаевич Солженицын. И вся повесть — об Экибастузе.

— А где он работал в Экибастузе?

— Он в зоне каменщиком был, БУР строил, потом его на объекты выводили, одно время он был бригадиром в мехмастерских.

— Я в этой зоне часто бывал и бригадиров помню. Панин был одно время бригадиром, Карбе был бригадиром...

— Карбе и Панин с ним дружили.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» вскоре была напечатана в «Роман-газете». На опубликованной там фотографии я узнал знакомого мне Саню-бригадира, заключенного из экибастузских мехмастерских.

В конце 1951 года я проезжал мимо лагеря и увидел, что поперек лагерной жилой зоны строят высокий забор из саманных кирпичей. Мои знакомцы из конструкторского бюро в мехмастерских рассказали, что в лагере никто не понимает, зачем нужна эта стройка, и прозвали ее *«строительством Великой китайской стены»*.

В первых числах января на должность механика горных работ из министерства прислали инженера Плеханова. Меня перевели на работу в трест. Сергей Трейвиш, технический руководитель мастерских, приехал по делам в трест и зашел ко мне. Он рассказал, что в мехмастерских царит полная неразбериха. Жилую зону лагеря разделили (вот, оказывается, зачем нужна была стена). По одну сторону стены поселили 2000 украинцев, по другую — 3000 русских и всех остальных. Поскольку бригады живут в лагере по баракам, их, в связи с переселением, перемешали и к нему, вместо квалифицированных слесарей и токарей, прислали людей из строительных бригад. Как выяснилось позже, смысл разделения был в том, чтобы прекратить *рубиловку*, отделив украинцев, с которыми начальство справиться не могло, от остальной массы заключенных. Это позволило бы восстановить обычный порядок вещей с действующими оперуполномоченными и *стукачами*.

В конце января 1952 года мне выписали пропуск в жилую зону лагеря. Надо было разобраться с электроснабжением в связи с разделением на две части. Начальство лагеря хотело, чтобы отделенная зона получала электроэнергию независимо, и для этого была построена дополнительная электролиния. Я пришел в трест за пропуском и узнал, что в зону направляются по делам два сотрудника планового отдела, и нам выписали общий разовый пропуск.

Памятуя о беседе с капитаном Хуторным, я не хотел задерживаться в жилой зоне, но плановики были заняты с лагерными нормировщиками, и мне пришлось дожидаться их — пропуск у нас был общий.

В зону стали возвращаться с рабочих объектов бригады. Кончался короткий зимний день, стало темнеть. Наконец, подошли Володин и Новикова (так звали плановиков) и мы пошли к проходной. Что-то было не так в лагерной зоне. По дороге, ведущей к проходной, бежали люди. Шум и крики были слышны у БУРа. Из барака рядом с БУРом несли бревна. Мы увидели, что эки ломают забор.

— Что-то мне все это не нравится, — сказал Володин. — Давайте скорей, как бы нам не вляпаться в историю.

Мы побежали к проходной. И тут застучал пулемет с ближайшей к нам угловой вышки. Фронтоник Володин потянул Новикову за рукав, и оба они

упали на землю. Я последовал их примеру и плюхнулся носом в грязный снег. До проходной было шагов 15—20. Володин осмотрелся и сказал:

— Похоже, они по БУРу стреляют. Давай, Лена, бегом в проходную, не останавливайся и не оглядывайся. Ты — в пальто, видно, что женщина, тебя не тронут. Скажи им, что мы — вольные. Давай!

Лена Новикова вбежала в проходную. Мы с Володиным подождали минуту и последовали за ней. В проходной было тесно от набившихся туда надзирателей. У многих в руках были палки, водопроводные трубы. Командовал старший лейтенант. Увидев нас, он заорал:

— Стойте здесь! В зоне бунт!

Стрельба с вышки прекратилась. Стемнело, но пространство вокруг проходной, как и ограждение зоны, были ярко освещены. Через окошки проходной мы увидели, как открылись ворота в лагерь. Снаружи, по обе стороны ворот, стояли конвойные солдаты с оружием наготове. Впечатление было такое, что заключенных провоцируют, чтобы они побежали через открытые ворота. Никто, однако, не побежал. Тогда солдаты прошли в зону и открыли огонь по площади, через которую мы только что прошли, и по баракам.

Когда пьянчугу Плеханова отправили обратно в министерство и я вернулся к своим обязанностям на разрез, я снова стал ездить в мехмастерские. В конструкторском бюро мне рассказали, как развивались события, которые привели к бунту в лагере. Уцелевших от расправы *стукачей* для их спасения заперли в БУРе. К ним в БУР надзиратели стали сажать эзков, подозреваемых в участии в убийствах, чтобы *стукачи* с ними расправились и выяснили, кто еще причастен к убийствам. Из БУРа стали слышны крики избиваемых людей. Когда пришедшие с работы бригадники услышали эти крики и поняли, в чем дело, они повалили забор вокруг БУРа, притащили брусья от нар и стали таранить решетки на окнах БУРа. Заодно выбили окна в штабном бараке, и надзиратели убежали оттуда на вахту. В БУРе пытались пробить дверь, но не смогли, притащили бочку с горючим, хотели поджечь БУР, но в это время началась стрельба. Мне показали пробитый пулей котелок: стрельба велась без разбора, и стены бараков пули пробивали легко. Убитых, однако, было не так много — человек десять, были раненые.

На следующий день бригады на работу не вышли. Лагерь забастовал и объявил голодовку. Все лежали на своих нарах и не шли за едой. Забастовка и голодовка продолжались 5 дней. В лагерь примчалось начальство: полковники МВД, прокуроры, — стали уговаривать прекратить забастовку, пообещали много послаблений, перестали запирать на ночь бараки, вернули хлеб и еду, не съеденные во время голодовки, обещали улучшить питание, выдать новую одежду, кино показывать в зоне. Бригады вышли на работу, а в феврале прибыли отряды следователей, и всех раненых и других подозреваемых в участии в мятеже стали таскать на следствие, судить лагерными судами, *навешивая* новые лагерные сроки, и отправлять на этапы в штрафные лагеря.

— Из знакомых *взяли* кого-нибудь? — спросил я.

— Панина отправили на этап, наверное в штрафной лагерь.

— А как других судили?

— Добавляли срок.

- К *вышке* приговорили кого?
- Нет.
- Слушайте, это же настоящий мятеж был. Раньше за одну только попытку к мятежу расстреливали.
- Понимаете, начальство — тоже люди. Они свою шкуру спасали. Они понимали, что с ними сделают за то, что они допустили политическое выступление. Поэтому они называли забастовку *волынкой*, и судили людей за хулиганство. А за хулиганство расстрел у нас пока не предусмотрен.

17. Прогулка по Садовому кольцу

Шел четвертый год моей жизни в Экибастузе. Мне исполнилось 30 лет. Возможностей окончить институт, получить инженерный диплом, вернуться к нормальной жизни не было. У меня была бессрочная статья паспортного режима, по которой разрешалось жить только в местах типа Экибастуза.

Так продолжалось до начала 1953 года, когда в мою судьбу вмешались космические силы. В конце февраля по вечерам мы стали слушать сводки о состоянии здоровья Вождя и, хотя об этом никто не смел говорить, ясно было, что дело идет к концу. Наконец, 5 марта из репродукторов полилась траурная музыка, в тресте у входа в здание поставили огромный портрет Сталина, обвитый траурными лентами. Публика приходила к портрету плакать, а я смотрел на портрет и думал: куда же теперь повернется дело: хуже — вроде бы некуда, но с другой стороны, были же 1937–1938 годы, кто их там знает...

Вечером 5 марта постучался ко мне Вася Косякин. Мы распили принесенную им бутылку, и тогда он сказал:

— Да, бля, великий человек умер, большая потеря, но (тут Вася сделал паузу и хитро прищурился), если бы он десять лет тому назад умер, мы бы сегодня десятилетие праздновали!

Прошло 50 лет, и каждый год мы празднуем эту прекрасную годовщину — 5 марта, смерть тирана и звоним сыну в Нью-Йорк, друзьям, чокаемся по телефону, и я вспоминаю эти Васины слова.

Перемены пришли не сразу. Газета «Правда» вдруг напечатала целиком речь президента Эйзенхауэра о смерти Сталина, где были слова: «*кончилась эра*». И не столько эти слова, сколько сам факт публикации речи американского президента в центральном органе Коммунистической партии СССР показывал, что эра действительно кончилась.

Газету с речью Эйзенхауэра повесили на стенде в жилой зоне лагеря, где жили три тысячи заключенных, и каждый хотел прочитать, что сказал американский президент. Лагерное начальство боялось новых конфликтов — газету не снимали, и несколько дней у стенда стояли длинные очереди. Начальник лагеря, майор Максименко, ходил мимо очереди и ехидно спрашивал:

- Что, контра, на него теперь надеетесь?
- А что, начальник, на тебя, что ли, надеяться? — отвечали ему из очереди.

Вскоре после смерти Сталина была объявлена амнистия всем, осужденным на срок до пяти лет. Амнистированным снимали судимость. В соответ-

ствии с указом об амнистии экибастузская милиция выдала мне новый, «чистый» паспорт. В глазах милиции я теперь был обычным советским гражданином с правом жить везде, где мне заблагорассудится. Кончилась моя ссылка, открывались новые горизонты.

Однако одного права жить, где хотелось, было недостаточно. Оказалось, что уехать из Экибастуза я не могу. В стране действовали сталинские законы, по которым люди не могли менять место работы по своему желанию. Начальство меня не отпускало, а самовольный уход с работы считался уголовным преступлением.

Мне удалось получить отпуск и поехать в Москву. Я сдал вступительные экзамены и был зачислен на ВИК — трехгодичные высшие инженерные курсы для людей с производственным стажем и незаконченным высшим образованием. Закон, по которому самовольный уход с работы считался преступлением, допускал исключение: человека, зачисленного в высшее учебное заведение, обязаны были с работы отпустить.

Я вернулся в Экибастуз со справкой о зачислении в Московский горный институт. Управляющий трестом Карашук сказал со свойственной ему прямоотой: «Ничего не поделаешь, обь..ал ты нас!» И выдал мне расчет.

Наступила счастливая пора моей жизни. В сентябре 1954 года, распрощавшись навсегда с Экибастузом, я вернулся в Москву, в ту же маленькую комнату, из которой меня увезли на Лубянку более 10 лет назад. Сбывались мечты: я был дома, начал заниматься в институте. Счастливые события происходили одно за другим: в конце года я встретил Дору, и в июне следующего года мы навсегда соединили наши жизни...

Шел второй год моего обучения в Горном институте, когда в конце февраля 1956 года газеты сообщили о том, что открылся XX съезд КПСС. Прошло несколько дней, и партийная девушка из нашей группы шепнула мне, что в воскресенье состоится партийное собрание факультета, на котором будут читать секретный доклад Хрущева на съезде. Выяснилось, что партийное собрание будет открытым, беспартийным тоже можно присутствовать.

Доклад читала знакомая преподавательница кафедры электротехники. Ничем не примечательная скромная женщина преобразилась неузнаваемо. Она читала громко, делая смысловые ударения, выделяя важные мысли и факты. Когда я увидел ее блестящие глаза и румяное от возбуждения лицо, она показалась мне красавицей. Слушатели доклада, однако, своих эмоций не проявляли. В аудитории стояла напряженная тишина. Когда чтение закончилось, члены партии расходились молча, стараясь не смотреть друг на друга. Я услышал, как кто-то сказал, что через полчаса начнется чтение доклада на горно-технологическом факультете, пошел на это собрание и прослушал доклад второй раз.

Я шел домой потрясенный. Неужели действительно кончается эра, думал я, неужели действительно кончается эта жуткая, Богом проклятая эра и мы будем жить без страха, как нормальные люди в нормальной стране?

Вскоре после окончания XX съезда по Москве распространились слухи о том, что специальные комиссии освобождают людей из лагерей и ссылки и бывших политических заключенных реабилитируют. В эти дни

Зинаида Самуиловна, с которой мама поддерживала контакт, сказала о том, что мои ссыльные однодельцы подают документы на реабилитацию, что оформлением документов занимается адвокат Чайковский и мне надо с ним встретиться и составить прошение в прокуратуру о пересмотре дела и реабилитации.

Чайковский заведовал юридической консультацией на Мясницкой улице. Я принес ему черновик прошения. Это были подробные объяснения того, как следователи на Малой и Большой Лубянке добивались от меня ложных показаний. Я написал об угрозах, о физических и нравственных пытках, о том, как беседы школьных друзей превращались в *«нелегальные сборища участников антисоветской молодежной группы»*... Чайковский ничего не изменил в моем черновике, сказал, что все написано правильно и толково.

— Теперь идите в Военную прокуратуру и подайте официальную просьбу о реабилитации, — сказал он. — Такие заявления уже подали ваши друзья Левин и Коган, а из ссылки прислали Михайлов, Гуревич, Фрид и Дунский. Жду заявление от Бубновой, она тоже в ссылке. Ваш следователь из следственной части по особо важным делам, майор Галкин, уволен из органов, разжалован и исключен из партии. Я все это знаю, потому что Галкин юрист, и он приходил в нашу консультацию, хотел устроиться на работу. Я ему отказал.

Я порадовался такому повороту событий и пошел в Главную военную прокуратуру. Для подачи прошения надо было выстоять длинную очередь. Люди в очереди отличались от обычной московской толпы. По каким-то неуловимым признакам я понял, что это наш брат — бывшие ээки. Мне объяснили, что таких прошений, как мое, теперь подаются десятки, если не сотни тысяч и до рассмотрения придется ждать долгие месяцы. Зато, когда очередь подойдет и если речь идет о 58-й статье, реабилитируют сразу, без всяких расследований.

Однако все оказалось иначе. Прошло не больше месяца, и меня вызвали в прокуратуру. Непривычно вежливый прокурор стал очень подробно и тщательно расспрашивать о нашем деле, о том, как проходило следствие, какую роль в нем играли мои знакомцы Букуров, Макаров, Волков, Галкин, Шварцман и Родос. У меня был опыт подследственного, и по тому, как прокурор формулировал вопросы, на что обращал внимание, я понял, что это следствие, помимо реабилитации, имеет своей целью собрать обвинительный материал на наших лубянских следователей.

Вскоре выяснилась причина того, что наше дело начало разбираться в таком срочном порядке. В Москву приехала Лена Бубнова. Она рассказала, что в тот поселок, где она отбывала ссылку где-то в глуши на Алтае, приехал человек из Москвы. Узнав, кто она, этот человек сказал, что в Москве полным ходом идет реабилитация бывших политических заключенных и будто бы кто-то встречал в Москве отца Лены, бывшего наркома Андрея Сергеевича Бубнова. Лена рассказывала:

— Я продала все, что у меня было, и наскребла денег на билет в Москву. Мне сказали, что реабилитацией занимается Комиссия партийного контроля при ЦК. Я пошла туда. Когда я назвала себя, они все встали и ска-

зали мне, что, к сожалению, мои сведения об отце не верны, что он был расстрелян вместе с мамой в 1940 году и сейчас посмертно реабилитирован. Они сказали, что он был осужден неправильно и я, согласно положению, могу получить справки о реабилитации родителей, папину зарплату за два месяца и гроши за ту прекрасную живопись, которая была в нашем доме и конфискована при аресте. Я им сказала, что тоже была осуждена, что я теперь ссыльная и в Москве не имею права быть. Они не знали, что я была осуждена. Они сказали мне, что по поводу моего дела они мне могут устроить свидание с Анастасом Ивановичем Микояном — он по линии ЦК возглавляет работу по реабилитации. Я сказала, что не знакома с Микояном. Они спросили, с кем бы я хотела встретиться, и я ответила, что с Ворошиловым: я родилась у него на квартире. На следующий я пошла в Кремль. Ворошилов²⁰ увидел меня, сказал: «Буба (он меня так звал с детства), родителей твоих нет в живых», — и заплакал. Я рассказала ему о себе, о том, что была арестована вместе с мужем, что муж мой воевал, был ранен и умер в лагере. Ворошилов опять заплакал. Он сказал мне: «Буба, я сейчас расстроен, я не запомню всего. Ты пойди в приемную, там сидит мой секретарь. Он даст тебе лист бумаги, ты все напиши, а я позабочусь, чтобы все, что надо, было сделано».

Ворошилов распорядился о пересмотре нашего дела, и это объясняло, почему прокуратура занялась им вне очереди.

После того, как прокурор расспросил меня обо всех аспектах нашего дела, он сказал мне:

— Найдите людей, которые знали вас в период, предшествовавший вашему аресту, и согласны дать показания о том, что знали вас как честного человека и комсомольца. Хорошо, если вы найдете людей, с которыми вы учились, дружили (из тех, которые не были арестованы), соседей по квартире и так далее. Вы говорили, что встреча Нового 1944 года, которая инкриминировалась вам как антисоветское сборище, была обычной вечеринкой и там были молодые люди и девушки, которые не были арестованы. Хорошо, если кто-то из них мог бы подтвердить ваши слова.

Я сразу же подумал о Вале Токаре. Валя, как и Шурик Гуревич, до моего ареста был моим лучшим другом. Мы не только дружили в школе, мы вместе поступили на физфак, вместе учились, вместе занимались в университетском театре. Наконец, Валя был на встрече Нового года, о которой говорил прокурор.

Мне не удалось найти Валу, и я разыскал Люсю Шубину, которая была со мной на встрече Нового года у Юры Михайлова. Люся познакомила меня со своим мужем и сказала, что расскажет прокурору, как мы с ней целовались на этой новогодней вечеринке.

В Гипроуглемаше работали супруги Тамара Падохина и Игорь Поволоцкий, с которыми мы вместе учились в Караганде и жили в студенческом общежитии. Мы дружили, с Тamarой мы учились в одной группе. Они оба не задумываясь сказали, что готовы пойти в прокуратуру.

²⁰ Ворошилов был в это время Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Мы жили в доме Вахтанговского театра, и знаменитая актриса Цецилия Львовна Мансурова знала о всех моих невзгодах, сочувствовала им и расспрашивала меня о визите в прокуратуру. Я рассказал, что ищу свидетелей, и она тут же воскликнула своим знаменитым голосом, которому подражали все молодые актрисы, учившиеся в Щукинском училище:

— Витя, скажите, что я вас знаю и могу рассказать о вас.

— Ну что вы, Цецилия Львовна, я не к тому рассказал, право, мне неловко...

— Нет, нет, я пойду. Представляете, как это прозвучит: «У меня свидетель народная артистка!» Это на них очень хорошо действует, я знаю, я к ним не раз ходила выручать моего мужа.

Таким образом, у меня было достаточно свидетелей.

В Горном институте, где я учился, регулярно происходили хорошие концерты. Приглашались известные артисты, музыканты. В апреле я увидел афишу: «*Валерий Токарев читает Шекспира*». На афише был портрет, и я узнал повзрослевшего Валю, который из Токаря превратился в Токарева. Перемена эта меня не удивила. Прошли те времена, когда фамилии героев книг могли быть Левинсон и Альтман, и фамилия Токарь для советской эстрады, видимо, была неприемлемой.

В день концерта я купил билет и, заранее, одним из первых вошел в зал. Валя вышел на сцену. Высокий, стройный, он хорошо выглядел. Он начал читать сонеты Шекспира в переводе Маршака, и я подумал, что он читает намного лучше, чем в юности. Чувствовались интеллект и культура, было чувство меры...

Он начал читать 60-й сонет, увидел меня — и запнулся. Наступила пауза. Несколько мгновений он молча смотрел на меня. Наконец, совладал с собой и продолжил чтение. Когда выступление кончилось, я пошел в артистическую комнату. Валя встретил меня тепло, стал расспрашивать, каким образом я вновь оказался в Москве, прервал себя:

— Ты можешь меня подождать? Я переоденусь, и мы обо всем поговорим. Хорошо?

Он появился через несколько минут.

— Ну все. Пойдем, поговорим по дороге. Ладно? Ты знаешь, когда я тебя увидел, у меня текст из головы вылетел. Вот уж не ожидал! Ну, рассказывай, как у тебя жизнь складывается? Ты на улице Щукина живешь по-прежнему? Мама жива?

Я похвалил Валино чтение, стал рассказывать о себе. О лагере, о ссылке, о том, как удалось вырваться из Экибастуза и поступить снова в институт. Он внимательно слушал, задавал вопросы, видно было, что его действительно интересует моя судьба. Мы прошли по Большой Калужской до Садового кольца, по Крымскому мосту перешли Москву-реку... Я заканчивал свой рассказ:

— ...И вот теперь наше дело пересматривается в Военной прокуратуре на предмет реабилитации, я уже был у прокурора. Ты знаешь, даже чудно: совершенно другое отношение, всё понимают, интересуются тем, какими методами следствие состряпало наше дело. Да, кстати, Валя, прокурор ска-

зал, чтобы я дал ему список свидетелей — людей, которые меня знали во время, предшествовавшее аресту, и могут подтвердить, что я не был анти-советчиком.

В начале нашего разговора я не собирался просить Валя быть моим свидетелем, я уже передал список в прокуратуру. Однако Валин интерес и участие обрадовали меня и согрели. Я почувствовал, что после двенадцати лет встретил старого друга, и я сказал:

— Слушай, ты мог бы дать такие показания? Было бы очень здорово. Ведь в то время ты был моим другом, кому, как не тебе?

Какое-то время мы шли молча.

— Понимаешь, сейчас очень неудачное для такого дела время, — сказал, наконец, Валя. — Меня назначили руководителем актерской бригады, которая едет за границу, в ГДР. И райком как раз сейчас должен утвердить. Понимаешь, это моя первая заграничная поездка.

— Ну и что? Время-то сейчас уже другое. В райкоме ведь знают, что XX съезд партии прошел.

В ответ Валя стал рассказывать, как трудно складывалась его сценическая карьера. Учась в МГУ на физфаке, он твердо решил, что его призвание — сцена, и поступил в театральную студию Завадского. Когда закончил учебу в студии, время было, как он выразился, «плохое». В стране велась кампания против «космополитов», и человеку с именем Валерий Абрамович Токарь путь в московские театры был закрыт. Ему удалось поступить на радио, но все попытки пробиться на сцену долго ни к чему не вели. Наконец, он понемногу начал выступать как чтец. Вначале — в клубах, потом был принят в Москонцерт, стал ездить по стране. И вот теперь первая заграничная поездка, да еще руководителем актерской бригады.

— Понимаешь, как это для меня важно? Это, можно сказать, переломный пункт моей сценической карьеры!

— Я очень хорошо понимаю, Валя, — сказал я. — Но какое это все имеет отношение к моей просьбе? Сейчас другое время. Сейчас все, в том числе твой Москонцерт и райком, знают, что при Сталине сажали невиновных, и даже ярлык для этого придуман: *«нарушения социалистической законности»*. Так ведь, Валя?

— Так-то оно так, но ты должен понять, что для меня значит эта поездка, и если хоть что-нибудь может поставить ее под угрозу...

— Валя, ты помнишь, как мы встречали Новый 1944 год? Обыкновенная веселая вечеринка была, ведь так? Так вот в нашем деле эта вечеринка фигурировала, как *«нелегальное сборище участников антисоветской группы»*. Ты там был. Скажи, ты думаешь, что это было «нелегальное сборище»?

— Нет, конечно.

— Ну так вот: можешь ты это сказать? То есть сказать правду — то, что было на самом деле.

— Конечно могу, но ты меня пойми...

Разговор наш пошел по кругу: каждый повторял свои доводы.

— Валя, я тебе вот что скажу. У меня уже есть достаточно много свидетелей. Мне важно не то, чтобы был еще один свидетель мне важно, чтобы **ты** был моим свидетелем, понимаешь? Ты же был моим другом!

— Извини, Витя, я тебе уже несколько раз рассказал о причинах, по которым я не могу сейчас это сделать.

И тут я сказал то, что уже давно пришло мне на ум, но я гнал это от себя, надеясь на то, что Валя согласится дать показания и мы никогда не коснемся этой темы. Я сказал:

— Валя, причины, которые ты мне называл, — ерунда. Невозможно поверить в то, что из-за вонючих гастролей в ГДР ты отказываешь в просьбе бывшего друга. Есть, однако, одна причина, которую я могу понять: *если в свое время ты уже дал показания и то, о чем я тебя прошу, будет противоречить тем твоим показаниям.*

Валя молчал. Не говоря больше ни слова, не прощаясь, я повернулся и пошел в сторону Смоленской площади. Больше мы не встречались.

В конце мая 1956 года я получил из Военной коллегии Верховного суда СССР документ такого содержания:

СПРАВКА

Дело по обвинению ЛЕВЕНШТЕЙНА Виктора Матвеевича
пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР
23 мая 1956 года.

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР
От 3 марта 1945 года в отношении ЛЕВЕНШТЕЙНА В.М.
отменено и дело за отсутствием состава преступления
прекращено.

Председатель военной коллегии
Верховного суда Союза ССР
генерал-лейтенант юстиции
А. Ченцов

Я отнес эту справку в канцелярию Московского горного института, где я учился, и, согласно государственному постановлению, мне выдали денежную компенсацию за перенесенные страдания и ущерб: студенческую стипендию за два месяца — 60 рублей.

Такую же справку получили все мои однодельцы. Трое — посмертно. Дело №7375 о группе «Змеенышей» было, таким образом, закончено.

В 1956 году моя мама получила из КГБ справку о том, что ее муж, Левенштейн Матвей Акимович, мой отец, умер в Ивдельском лагере в апреле 1942 года от сердечного заболевания. Это было стандартное объяснение причины смерти в заключении. Вскоре отец был реабилитирован. Посмертно.

Эпилог

Наш сын заканчивал учебу на художественном факультете Йельского университета. В марте 1987 года в университете открылась его Thesis show, что можно перевести, как «дипломная выставка». Мы с женой поехали на

открытие выставки в город Нью-Хейвен, штат Коннектикут, где находится Йельский университет.

Выставка была групповая. Поскольку наш сын выставлял и живопись, и скульптуру, для его работ было предоставлено большое помещение. На стенах висела живопись, а посредине зала и у стен стояли большие скульптуры, и они, в первую очередь, привлекали внимание входящих в зал. Большею частью это были деревянные конструкции, грубо оштукатуренные и окрашенные. Преобладали серые тона.

Одной из скульптур была кровать, сделанная в натуральную величину, что-то вроде больничной койки. На тонкой, выполненной из серого цемента подушке было углубление, как бы от головы, и тонкий, тоже цементный, матрас слегка прогнулся посредине и вдоль кровати. Было ощущение неуюта, печали, горя. Впечатление было такое, что на кровати лежит кто-то, кого мы не видим. Или — что лежащий только что встал и ушел, и на кровати остался отпечаток тела.

Посредине зала стояло сооружение из трех высоких, выше человеческого роста, стен. Одна стена была узкой и две широких. Внутренние поверхности стен были покрыты штукатуркой светло-серого цвета, и на одной из стен, тоже внутри, была пластинка шлифованного алюминия, вроде бы — окоско. Все вместе походило на очень узкую, чуть шире человеческих плеч, и длинную комнату без одной стены.

Я походил вокруг этой комнаты, заглянул внутрь, вошел. Я почувствовал себя неуютно. Возникло смутное воспоминание о чем-то неприятном, мучительном. Я поспешил выйти наружу и остановился, глядя на эту необычную скульптуру и размышляя, чем было вызвано мое неприятное ощущение. Ко мне подошел Джейкобс, коллеги и друг нашего сына.

— Вы понимаете, что это? — Джейкобс показал на скульптуру. — Это ведь вам посвящается.

И тут я понял, что это. Это был лубянский бокс. Мой сын для своей дипломной выставки выстроил специальную камеру советской внутренней тюрьмы. Помня мои рассказы, он выстроил камеру, в которой я провел самые страшные и мучительные дни своей жизни! В этот момент Матвей подошел к нам. Я положил руку на плечо сыну и сказал:

— Спасибо, Матюша. Для меня очень важно, что ты сделал *это*.

Мне было трудно сказать что-нибудь еще. Я просто стоял рядом с ним и держал руку на крепком Матюшином плече. Матвей сказал:

— Я понимаю, пап.

Мы молча смотрели на лубянский бокс, стоящий в выставочном зале американского университета.

— Что ты собираешься с этим делать, когда закроется выставка? — спросил я.

Матвей пожал плечами:

— Сломаю.

Господи, подумал я, сделай так, чтобы люди сломали все **настоящие** боксы и камеры и лагеря в СССР, в Польше, в Чехословакии и Венгрии, всюду, где коммунисты держат людей в неволе.

Был март 1987 года.

Александр КЫРЛЕЖЕВ

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

От автора

В основу публикуемого ниже текста положено мое выступление на семинаре «Эволюция моральных принципов и прав человека в поликультурном обществе». Семинар был организован и проведен 30 октября 2006 года Советом Европы в рамках деятельности Комиссара СЕ по правам человека. Особенностью семинара стало участие в нем, наряду с представителями СЕ, политиками и специалистами по правам человека, также и официальных представителей Русской Православной Церкви (равно как и представителей католиков, протестантов и иудеев)¹. Соответственно целью доклада было выявление особенностей подхода к проблеме прав человека (по сравнению с той светской правозащитной концепцией, которую отстаивают Совет Европы и другие, типологически близкие, организации и группы) прежде всего со стороны именно современной РПЦ. Следует помнить, что другие христианские конфессии и иные религиозные сообщества могут демонстрировать и демонстрируют иные интерпретации прав человека, которые в настоящем тексте не рассматриваются.

Одной из характерных особенностей современной мировой ситуации можно считать процесс очевидной активизации религий. Этот вывод, который некоторое время назад сделали социологи², сегодня, думаю, ни у кого уже не вызывает серьезных возражений. Другое дело, что эта активизация

¹ См.: http://strasbourg-reor/modules.php?name=News&new_topic=31&file=article&sid=393, а также *Церковь и время*. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. ОВЦС МП. 2006, № 4 (37).

² См.: Peter L. Berger (ed.). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Washington, DC: Ethic and Public Policy Center, 1999.

**Александр
КЫРЛЕЖЕВ**

— родился в 1957 г. в Москве. Закончил Московский институт культуры и Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале Московской патриархии», в газете «Русская мысль», в Центре по изучению религий. Научный консультант Синодальной богословской комиссии Русской православной церкви, преподаватель кафедры государственно-конфессиональных отношений Российской академии государственной службы. Автор многих богословских и литературно-публицистических статей. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

религии (иногда говорят о возродившейся религии — *resurgent religion*) происходит в разных формах — в зависимости от специфики самой религии и региона ее распространения.

Активизация религий проявляется, в частности, в их все возрастающем участии в общественной жизни. В том числе — и в политике. Носители и выразители религиозного сознания все чаще становятся участниками публичной дискуссии и политического процесса, что не было характерно для еще совсем недавнего прошлого, если иметь в виду европейское культурное пространство. И эта тенденция побуждает, естественно, обратить самое пристальное внимание на то, в каком внутреннем соотношении находятся логика религиозного сознания и логика сознания безрелигиозного, или секулярного.

Именно с этой точки зрения я и попытаюсь здесь кратко сопоставить современную концепцию прав человека в ее доминирующем светском варианте с тем пониманием человека, которое характерно для религиозного сознания. Причем под религией я буду иметь в виду по преимуществу европейскую христианскую традицию, в лоне которой и, одновременно, в полемике с которой и сформировалось современное представление о фундаментальных правах и свободах человеческой личности.

Понятно, что выражение «права человека» всегда так или иначе задает определенную антропологическую перспективу. То есть неразрывно связано с вопросом о том, что такое человек. Ответ же на этот вопрос зависит от представления о месте человека в универсуме — перед лицом космоса, истории, себе подобных и т. д. И это значит, что любое понимание человека всегда покоится на фундаменте какого-то *мировоззрения*, какой-то системы взглядов на то, что представляет из себя мир, в котором живет человек, и, соответственно, что составляет его собственный «жизненный мир» (*Lebenswelt*).

Какой же взгляд на мир можно различить за современной светской концепцией прав человека?

Этот взгляд базируется на концепции так называемого *естественного права*. Согласно этой концепции, каждый человек обладает определенными правами и свободами уже в силу рождения — своей принадлежности к человеческому роду (или виду *homo sapiens*). Соответственно источником этих прав является именно порождающая человека природа — или мир как природа. Природа наделяет человека разумом, и в контексте своих отношений с себе подобными (равно как и с самой природой) человек выступает как *творец культуры* — реальности, кардинально отличной от самой природы. В пространстве культуры субъекты прав человека, то есть все «рожденные людьми», являются *равными* друг другу и *абсолютно суверенными* соучастниками общей жизни.

Но реализация врожденных прав и свобод в сообществе равноправных требует определенной культуры взаимоотношений. То есть — некоей конвенции, в качестве каковой, наряду с другими, выступает и концепция прав человека. Другими словами, люди *сами* устанавливают законы общежития, так как кроме природного пространства и обладателей прав человека в мире больше ничего нет. Человеческий индивид является не просто *основным*, но и *последним* в ценностном отношении элементом социальной реальности —

абсолютно самодостаточной суверенной единицей, не подлежащей ни какому-либо делению, ни смещению или слиянию с другими единицами. Иначе говоря, правами человека в собственном смысле всегда являются, таким образом, права *индивидуальные*.

Нетрудно понять, что такая антропология и, соответственно, то мировоззрение, которые лежат в основе концепции прав человека, существенно отличаются от антропологии и мировоззрения религиозного типа..

В религиозной картине мира природный космос не является самодостаточной реальностью: за ним стоит Бог Творец. И место человека в мире определяется тем, что он является одним из творений, но вместе с тем — творением особенным. *Imago Dei*, образ самого Творца — вот первое определение человека. Разум и свободная воля являются чертами этого образа, и человек обретает их в силу рождения. Однако подлинный источник этих качеств — Бог, а потому их ценность определяется прежде всего тем, что они позволяют человеку следовать призыву, с которым к нему обращается Бог: призыву к богообщению и богоуподоблению. Собственно, именно этот призыв, или зов, с которым Бог обращается к человеку, и делает человека тем, что он есть. В то же время этот призыв означает, что «человек рожденный» только еще должен стать человеком в полном смысле — человеком в единстве с Богом.

Таким образом, с религиозной точки зрения, человек отнюдь не является самодостаточным целым, и его принципиальное равенство с другими людьми — это не просто равенство «начальных условий», а прежде всего равенство *призвания*. Поэтому и взаимоотношения между людьми мыслятся в этой системе мировоззренческих координат не как отношения самодостаточно суверенных индивидов, вынужденных создавать неконфликтный социум посредством некоей конвенции, определяющей правила сосуществования. Нет, эти взаимоотношения мыслятся, — конечно, в идеале, — как *братство*, как отношения внутри *семьи*, которая потому и семья, что имеет общего небесного Отца.

Понятно, что такое патриархальное — или, если угодно, патерналистское — представление о человеческой общности очень непросто согласуется с прагматическим секулярным пониманием прав человека. И дело здесь не в контрасте между идеалом и реальностью. Концепция прав человека тоже по существу является идеальной, потому что никогда полностью не воплощается в жизни. У нее есть и высокий этический пафос: уважай свободу другого, как свою, и — не навреди. Другими словами, здесь различима высокая забота о здоровье общества, высокий «врачебный» мотив: исцелить и по возможности предотвратить раны, которые могут быть нанесены одним субъектом прав другому.

Однако в том-то и дело, что здесь это здоровье общества предполагает строить «снизу», исходя из произволеней индивидов, между которыми существует принципиальная дистанция. Для религиозного же сознания, напротив, общность строится «сверху». И существенное различие состоит здесь, таким образом, в том, что хотя в обоих случаях признается равенство людей, однако совершенно по-разному *понимается общность*. В одном случае это свободная ассоциация, образованная по договору, или «уставу»; в

другом — заранее заданная сопринадлежность одному общему, пространству жизни и призвания. Это равно касается и тварного природного мира, и религиозной (церковной) общины, и, в идеале, сообщества «полисного», то есть Града земного.

Очевидна разница и в понимании выбора. Светская концепция прав человека опирается на идеологию либерализма — идеологию свободного выбора, который делает личность, исходя из своих предпочтений. Религиозное сознание опирается на идеологию долженствования, определяемого религиозным призванием. Заостряя, можно сказать, что в первом случае выбор делается из возможного, а во втором — заранее выбрано невозможное (в том смысле, что человек призван преодолевать свою данность и данность мира, духовным усилием устремляясь к Богу).

Так, скажем, права человека гарантируют каждому возможность придерживаться любых убеждений, выбирать любое мировоззрение (в узких рамках индивидуального взгляда на мир) — в том числе и конструировать новое. В религиозном же пространстве выбор убеждения, или веры, делается только один раз, и в дальнейшем работа разума происходит уже в рамках сделанного выбора. И хотя в обоих случаях речь идет о структурировании человеком своего «жизненного мира», в первом случае это «мир» индивида (даже если он в чем-то близок «мирам» других индивидов), а во втором — мир одновременно индивидуальный и сверх-индивидуальный, расширяющийся до пределов созданного Богом космоса и всего человеческого рода и включающий самого Творца.

Другой важный момент связан со свободой и творчеством. С точки зрения светского индивидуалистического подхода права человека обеспечивают ему возможность творчества нового в природном и социальном пространстве. Новое возможно именно потому, что его творец, человек, обладает врожденной свободой. В этом смысле он призван к творчеству нового, и сама культура есть не что иное, как продукт человеческого творчества, его само-деятельности в природном мире.

Иное дело — в религиозном сознании. Здесь человек тоже призван к творческой деятельности, однако действует он в сотворенном мире и перед лицом Бога. Это значит, что всякая деятельность, входящая в противоречие с внутренним строем мира и с призванием человека как «образа Божия», не просто утрачивает ценность, но и становится негативной, богопротивной. Творчество нового вполне легитимно только в рамках общего религиозного миропонимания, то есть в рамках традиции, которая для идеологии свободного и суверенного индивида как раз и является тормозом, препятствием. А в конечном счете — и врагом, подавляющим свободу.

Конечно, предложенное выше описание религиозного сознания и его отдельных аспектов очень схематично. Более того, эта схема не отражает многообразия типов религиозного сознания даже в пределах христианства. Скорее, она отражает структуру религиозного понимания «жизненного мира» человека, характерную для восточно-христианской традиции.

Но в рамках заданной темы я хотел обратить внимание прежде всего на те контрасты, которые очевидны при сравнении идеологии, лежащей в основе ныне доминирующей концепции прав человека, и системы пред-

ставлений, соответствующей определенному типу религиозности. Ведь сегодня в публичную дискуссию о правах человека включаются и выразители именно такого, традиционного, религиозного сознания.

Какова же ожидаемая реакция на такое религиозное миропонимание со стороны защитников той концепции прав и свобод человека, которая утвердилась во второй половине XX столетия?

Для них подобного рода религиозная логика представляется, как правило опасной, если не сказать враждебной. Ведь эволюция концепции прав человека исторически была параллельной процессу секуляризации публичного пространства и культуры в целом. Все началось с утверждения религиозной свободы по принципу *cujus regio, ejus religio* («чья власть, того и вера»), но сегодня все чаще можно слышать другую максиму (хотя она и представляет собой крайность): «там, где начинается религиозная свобода, кончаются права человека». При этом имеется в виду, что религия не должна выходить из частного пространства, не должна переставать быть *Privatsache*, «частным делом» суверенного индивида, свобода которого не должна посягать на равную свободу других.

Это опасение за свободу другого вполне понятно: выходя за пределы личных убеждений и переживаний, религиозность может становиться фактором дискриминации — в отношении как приверженцев иных религиозных убеждений, так и убеждений безрелигиозных или антирелигиозных. Именно поэтому совместная религиозная практика признается легитимной только в рамках *частных*, по существу, религиозных ассоциаций (по своему статусу практически ничем не отличающихся от обществ, скажем, филателистов).

Понятен и обычно приводимый в данном случае аргумент, согласно которому только светские принципы гражданских отношений могут предотвратить конфликты между приверженцами разных конфессий и религий в условиях выраженного религиозного плюрализма, характерного для западных обществ.

Но ведь это еще вопрос — годятся ли средства, предоставляемые принципиально секулярной концепцией прав человека, для достижения такой цели. Социокультурная динамика, которую мы наблюдаем сегодня как в глобальном, так и в европейском пространстве, свидетельствует о том, что правовые инструменты, разработанные после перехода исторического рубикона, которым стала для Европы и для мира в целом Вторая мировая война, уже не соответствуют нынешним реалиям. Потому что сейчас, судя по всему, мы переходим очередной, новый рубикон.

Было бы ошибкой считать, что нынешняя активизация традиционных и нетрадиционных религий есть просто движение вспять, проявление архаики. Если, с точки зрения определенного мировоззрения, это и архаика, то *новая* архаика. То есть результат исторического процесса, реальность новой культурной эпохи, которую некоторые называют «постсовременной» («пост-модерной»). В культурное (в том числе, политическое) пространство «европейского» социума, расширившегося до глобального масштаба, возвращаются религиозные традиции. Вопреки вере некоторых в силу и окончательность секуляризации в течение всего «секулярного» периода эти традиции

продолжали жить — как в «подполье» приватной религиозности, так и в зонах предполагаемой вестернизации. Сегодня они выходят на свет, вынося с собой богосознание, целостное мировоззрение и императивы религиозной жизни. В том числе — и морали, источник которых — не во всецело постороннем индивиде, а в трансцендентном Творце мира.

Вспоминая безызвестные лозунги, можно сказать, что после «смерти Бога» (Ницше) и последовавшей за нею «смерти человека» (М. Фуко) наступает историческое время публичного «воскресения Бога» и, соответственно, религиозного понимания человека. В поиске своей идентичности не просто в сообществе индивидов, а в предельно «индивидуализированном обществе» (*individualized society*), говоря словами Зигмунта Баумана (*Zygmunt Bauman*), человек нередко обращается именно к религии. Ему бывает недостаточно той уникальности, которая предполагается концепцией прав человека: он хочет услышать зов и призыв Бога и готов найти свое место в системе координат, предоставляемых религиозной традицией. Поэтому современному обществу становится все важнее и необходимее понять внутреннюю логику религиозных традиций.

Значит ли это, что перед лицом возврата религий в публичную сферу секулярная концепция прав человека, тоже уже имеющая свою традицию, устаревает?

Думаю, что на этот вопрос никак не может быть однозначного ответа. Исторически устаревшими следует признать претензии на универсальность и «вечность» того *мировоззрения* и той *идеологии*, которые лежат в основе этой концепции. То есть определенного, исторически обусловленного обоснования идеи фундаментальных и неотчуждаемых прав и свобод человеческой личности. Сама же идея достоинства и врожденной свободы каждого человека, как представляется, не является и не может быть предметом спора между религиозным и секулярным сознанием *по существу*. Можно говорить лишь о конфликте интерпретаций.

Однако этот конфликт интерпретаций, обнаруживающий конфликт мировоззрений и антропологий, является весьма серьезным вызовом для обеих сторон. И простого решения в данном случае быть не может. Это показывает полемика относительно концепции так называемых *коллективных прав*. Даже если понятие о коллективных, или групповых, правах признается легитимным с точки зрения теории и практики права, интерпретации этого понятия в контексте секулярного и религиозного сознания могут сильно, если не принципиально, отличаться друг от друга. С религиозной точки зрения, коллективные («общие») права не могут быть сведены к совокупности индивидуальных прав, поскольку целое не является простой суммой его частей. Но с точки зрения классической светской парадигмы прав человека как прав по существу своему *индивидуальных* в качестве неделимого «целого» выступает именно индивид, который должен быть защищен от любых попыток каких-либо иных, сверх-индивидуальных «целостностей» его поглотить.

С точки зрения существующих правовых теорий эта коллизия, судя по всему, является неразрешимой. Однако с точки зрения самой идеи права, цель которого — эффективное регулирование общественных отношений,

разрешение этой коллизии является не чем иным, как практической задачей. Если угодно — задачей исторической значимости. Актуальность такой задачи очевидна, например, в свете серии недавних событий, получивших всемирный резонанс и касающихся свободы выражения мнения, с одной стороны, и проблемы оскорбления чувств верующих, с другой. Крайние реакции, которые имели место с обеих сторон, не снимают самой проблемы, которая не сводится к проявлениям радикализма. Проблема — в новизне ситуации, когда обе стороны действуют в одном пространстве, единство которого не обеспечено необходимым консенсусом. Ибо общность этого пространства является фактической, а не идеологической.

Думаю, в этой ситуации следует идти навстречу друг другу, проясняя позиции и в реальном диалоге вырабатывая способы разрешения уже существующих и вновь возникающих на наших глазах конфликтов — разрешения практического, а затем и правового. Ибо исторически установление правовых норм всегда следовало за новыми общественными реалиями.

«НА НАС НАДВИГАЕТСЯ НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...»

Размышления над «Дневниками»¹ протоиерея Александра Шмемана

Выход толстого тома «Дневников» протоиерея Александра Шмемана именно в 2006 году и их живое, неравнодушное обсуждение в сегодняшней российской церковной и околоцерковной среде заставляют вспомнить известное: «*Всему свое время, и время всякой вещи под небом*» (Еккл 3:1). Ведь невозможно себе представить, чтобы эта книга могла быть издана и обсуждаема еще хотя бы лет десять назад, при захлестнувшей тогда церковно-общественное сознание мощной волне охранительной реакции! Многим, наверное, памятли и резко негативные отзывы о вышедшей в середине 90-х книге протоиерея Александра Борисова «Побелевшие нивы», и радикальное отрицание деятельности Сретенского братства священника Георгия Кочеткова — вплоть до подписания коллективных писем от московского духовенства, публиковавшихся в газете «Радонеж». Однако проблемы церковно-приходского быта, затронутые в книгах и выступлениях тех опальных тогда московских священников, еще резче и гораздо раньше затрагивались, оказывается, в дневниковых записях о. Александра Шмемана! И в том, что его голос, обращенный тридцать и более лет назад прежде всего к самому себе, был все-таки услышан сейчас и с пониманием оценен хотя бы частью церковной общественности и некоторыми известными священниками (протоиерей Георгий Митрофанов, протоиерей Владимир Воробьев, игумен Петр [Мещеринов]²), проявился, несомненно, промысел Божий, действующий во времени и через определенные обстоятельства. Сейчас дневники отца Александра живо обсуждаются, комментируются, никого из читателей не оставляя равнодушным. Причем разброс оценок довольно широк — от полного, искреннего и живого одобрения до категорического отрицания — с отзывами типа: «*Смердяков от православия*».

Что же в этих личных записках возбудило такую острую, неоднозначную реакцию? Что позволило им стать востребованными и обсуждаемыми больше, нежели сходные — и по тому же поводу — мысли и наблюдения десяти-

¹ Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973–1983. М.: Русский путь. 2005. 720 с.

² «Московский Церковный Вестник», 2006, № 6 (331).

**Священник
Филипп
ПАРФЕНОВ**

— родился в 1967 году в Москве. Окончил Биологический факультет МГУ и Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт. Рукоположен в 1997 г. Служил в Читинско-Забайкальской и Корсунской епархиях. В настоящее время за штатом. Живет и служит в Москве.

летней давности, когда священники, выступавшие за реформы, с легкостью и пренебрежением были окрещены «неообновленцами»? Какие особенности наступившего времени способствовали изданию книги о. Александра Шмемана в России и вызванному ею резонансу?

Думается, причиной прежде всего послужило еще большее усиление за последние годы именно тех непривлекательных тенденций, о которых пишет отец Александр. Тех самых черт церковного быта, что оказывают явный антимиссионерский эффект и не замечать которые или терпимо закрывать на них глаза уже просто невозможно.

История знает три основных состояния церковной жизни на протяжении всех ее 2000 лет: **период гонений**, когда границы самой Церкви были довольно четко очерчены и вероучением, и общим состоянием душ верующих, а пропасть между христианской общиной и внешним миром была огромна и глубока (раннее христианство или русская Церковь с 1917 по 1987 гг.); период внешнего церковного расцвета и государственного покровительства — так называемой **симфонии светской и церковной властей** (Средневековье — византизм или также русский Синодальный период), когда границы между Церковью и внешним миром неизбежно размывались, и, наконец, состояние нейтралитета и **невмешательства светской власти в церковные дела** при множественности разных исповеданий и плюрализме мнений (Церковь в сегодняшнем секулярном западном обществе). Современная русская Церковь находится в промежуточном положении: с одной стороны, налицо светский характер государственной власти; с другой же, власть эта покровительствует РПЦ как «государствообразующей» конфессии с ее ведущей ролью в истории и общественной жизни страны.

В каждом из перечисленных состояний можно найти как определенные преимущества, так и подводные камни, представляющие опасность для христианской миссии, поскольку зачастую сводят на нет все благие намерения и усилия Церкви по преобразению окружающей жизни и благовестию христианской свободы. Так, если в период гонений на Церковь в ее рядах практически нет случайных людей и, соответственно, опасностей, подстерегающих внутреннюю жизнь общины (кроме, разумеется, отречения от веры по малодушию), то в период относительного внешнего благополучия, когда быть православным христианином нисколько не опасно, а в чем-то даже и престижно, церковная жизнь непременно встречается с множеством соблазнов.

Одна из таких опасностей была указана еще Владимиром Соловьевым более века назад в его статье «Об упадке средневекового миросозерцания». Как культурно-историческое и духовное явление Средневековье фактически зародилось, как мы знаем, именно тогда, когда Церковь из ранее гонимой превратилась в господствующую. И Соловьев обращает внимание на то, что даже и после утверждения христианства в качестве государственной религии Византии нравы в обществе по-прежнему оставались больше языческими, нежели христианскими. Причем дело тут было отнюдь не только в немоги человеческой природы, но в намеренном компромиссе, немощь эту санкционировавшем, — в приспособлении христианства к существовавшим порядкам «мира сего», их освящении и оправдании, в результате чего само христианство оказывалось всего лишь внешним придатком и украшением к мирскому царству.

«Но Христос приходил в мир не для того, конечно, чтобы обогатить мирскую жизнь несколькими новыми церемониями, а для того, чтобы спасти мир, — пишет Вл. Соловьев. — Своею смертью и воскресением Он спас мир в принципе, в корне, в центре, а распространить это спасение на весь круг человеческой и мирской жизни, осуществить начало спасения во всей нашей действительности — это Он может сделать уже не один, а лишь вместе с самим человечеством, ибо насильно и без своего ведома и согласия никто действительно спасен быть не может. Но истинное спасение есть перерождение, или новое рождение, а новое рождение предполагает смерть прежней ложной жизни, а умирать никому не хочется. Прежде чем решиться принять настоящее спасение как свою собственную задачу, свой подвиг, языческий мир захотел попробовать легкого, дешевого спасения, спасения мертвою верою и делами благочестия, делами, а не делом. И притом делами внешними; но настоящее христианство есть прежде всего дело — дело жизни для человечества, а потом уже дела. Но дело трудно, а дела легки; а всего легче отвлеченная вера в непонятные предметы, т. е. собственное словесное исповедание такой веры. С этой стороны главным образом и было принято христианство»³.

Этот призыв был, однако, мало кем услышан во времена Соловьева. И, думается, совсем не случайно в одной из своих работ он специально — и не без горького остроумия — обратил внимание на то, что по части социальных преобразований в христианском духе и улучшения общественных нравов люди неверующие, отошедшие от Церкви, сделали в Новое время куда больше, чем сами христиане. И получается, что именно эти неверующие люди и оказались, стало быть, пусть бессознательными, но главными проводниками дела Христова на грешной почве земной социальности: *«Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, т. е. в духе Христовом. Уничтожение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере на Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства — если все эти христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих»⁴.*

Вдумываясь в эту мысль, невозможно не вспомнить слова Евангелия: *«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попращание людям»* (Мф 5:13). Действительно, не по этой ли причине происходили неоднократные восстания против Церкви в разные времена мировой истории, не исключая трагические коллизии и века минувшего?

И вот, осмысливая эти проблемы семьдесятю годами позже Вл. Соловьева, о. Александр Шмеман пишет о том же самом неизжитом соблазне: *«На нас надвигается новое средневековье, но не в том смысле, в каком употреблял это понятие Бердяев, а в смысле нового варварства. Православные “церковники”, в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили — Ферапонта»⁵.*

³ Соловьев Вл. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 344.

⁴ Там же. С. 349.

⁵ Ферапонт — персонаж романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», «темный» монах.

Он им по душе, с ним все ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, — все это соблазн, все это нужно сокрушать. В культуре начинается торжество... “нео-нео-славянофилов”. Расцвет упрощенчества, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих пашиим человеческим “нутром”, как оправдание этих идолов (подчеркнуто мною. — Свящ. Ф. П.). Тут глубочайший соблазн. Ферапонт — действительно аскет, молитвенник, подвижник, традиционалист и т. д. И расхождение между Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским — чистая историческая случайность. Большевизм уже и сейчас — национальная русская власть, как суть эмигрантского национализма и антикоммунизма — большевистская. И у того и у другого большевизма только один враг — свободный человек, особенно же свободный “во Христе”. Это единственно подлинно свободный. Подспудная ненависть ко Христу, судящему вечно “Церковь” и “великого инквизитора” в ней»⁶.

Атмосфера, создаваемая этой самой «религией без Бога», превращаемой в идеологию, воистину может быть удушающей и безблагодатной. И здесь — при неправильном устройстве душ людей и их воли — нисколько не помогают даже совершаемые церковные Таинства. «В нашем мире всякая религия без Христа (даже христианство, даже православие), — пишет о. Александр, — есть явление отрицательное и даже страшное, и даже соприкосновение с нею опасно. Ее можно изучать для лучшего уразумения христианства или, лучше сказать, Христа. Но сама по себе она не может быть “спасением”, что бы под этим словом ни разуместь. <...> Ранние христиане: Тело Его на престоле, потому что Он среди них. Теперешние христиане: Христос тут, потому что Его Тело на престоле. Как будто бы то же самое, а на деле та основная разница, что отличает раннее христианство от нашего, разница, о которой почему-то не знают, которую почему-то не понимают богословы. Там все от знания Христа, от любви к Нему. Здесь — от желания “освятиться”. Там к причастию приводит следование Христу и из него вытекает следование Христу. Здесь — Христос почти что “ни при чем”. Это почти две разные религии <...> но как же тогда знать, где сохранилась Истина? Все та же забота — о внешней гарантии. “Православие сохранило Истину”. Но на самом деле надо говорить иначе: ничего внешнего само по себе не “сохраняет” Истину. Истина живет и побеждает только сама собою»⁷.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет 5:5)... Тысячи книг издаются со словами о пользе и необходимости смирения. Тысячи слов на эту же тему произносятся с амвонов храмов. Однако Евангелие упрямо свидетельствует: **«По плодам их узнаете их»** (Мф 7:20). Вот тут бы и опомниться, придти в себя не только на личном уровне, но и в общецерковном масштабе! Ибо крупнейшая из православных стран мира в XX веке оказалась легкой добычей самоуверенного и агрессивного атеизма, а сейчас — вот уже двадцать лет после того пленения — никак не может достигнуть ни в индивидуальном, ни в общественном масштабе реализации

⁶ Шмеман А. Дневники. С. 18–19.

⁷ Там же. С. 67.

элементарного ветхозаветного и в то же время древнего общечеловеческого принципа «не делай другому, чего не желаешь себе самому» и остается лидирующей по уровню преступности и количеству абортот. (Показательно, впрочем, что и в других странах с традиционным преобладанием православного вероисповедания [Украина, Белоруссия, Молдавия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, Грузия, Македония, Албания] те же самые, что и у нас, проблемы с коррупцией, низким уровнем жизни, полуфеодалными внутриобщественными отношениями, чинопочитанием, произволом чиновников и силовых структур, неприличным разрывом между богатым меньшинством и подавляющим бедным большинством; глухота и жесткость в отношениях одних к другим, доходящие до цинизма... Исключения в этом ряду составят разве что лишь две небольших страны — Греция и Кипр!) Что это — опять неизжитое средневековое мирозерцание с его феодальными отношениями?

Вл. Соловьев пишет: «Здесь, на Востоке, особенно резко проявился контраст между язычеством города и христианством пустыни. За единственным исключением св. Иоанна Златоуста, проповедь восточных аскетов не имела в виду никаких христианских преобразований общественного строя. Во всей византийской истории нельзя указать ни одного определенного требования в этом смысле. Мудрено ли, что государство и его законы оставались такими же языческими, как и общественные нравы? Мудрено ли, что кодекс Юстиниана есть в сущности лишь подкрашенное христианскими словами законодательство языческой римской империи? <...> Христианство есть религия воплощения Божия и воскресения плоти, а ее превратили в какой-то восточный дуализм, отрицающий материальную природу как злое начало. Но злым началом сама по себе материальная природа быть не может: она пассивна и инертна — это женственный элемент, принимающий то или другое духовное начало. Христос выгнал из Марии Магдалины 7 бесов и одушевил ее Своим Духом. Когда же мнимые христиане отлучили от духа Христова материальную природу, эту всемирную Магдалину, — в нее, естественно, вселились злые духи. Я разумею чрезвычайное развитие черной магии и всякой чертовщины к концу средних веков и в начале новых»⁸.

Поразительно, — но ведь и это снова — о нас, о наводнившем современное российское общество оккультным и астрологическим ширпотребом...

Вслед за Соловьевым об этой же проблеме дуалистической разорванности между индивидуальным благочестием и мирской жизнью пишет о. Александр Шмеман: «Этот кризис обойти Православие не может, это вопрос о веках совершенно отрешенной церковности, о духовном крахе сначала Византии, а потом — России. Но как силен образ этого отрешенного Православия, какое сильное алиби он делает людям, как легко и «благочестиво» — гарантируя чистую совесть — дает он православным “право”, в конце концов, мириться со всяким злом, просто не замечать его или же бороться совершенно неверной борьбой, впадать в чистейшее манихейство. Слишком сильна прививка “благочестия”, слишком, по-видимому, прекрасно оно в качестве “опиума для народа”. И получается удивительная, по своему противоречию Еванге-

⁸ Соловьев Вл. Сочинения. Т. 2. С. 347–348.

лию, двойственность: благочестие и жизнь. К этой последней благочестие не имеет никакого отношения. В благочестии — логика благочестия, а в жизни — логика зла: вот к чему все это неизбежно приводит. Самое же, конечно, удивительное и трагическое во всем этом — это то, что на деле, в глубине, в истоках своих “благочестие” — это именно о жизни и для жизни, что для того, чтобы стать манихейским, оно должно восприниматься сознанием иначе, вопреки тому, свидетельством о чем, призывом к чему оно является. Люди не понимают, какая глубокая “псевдоморфоза” определяет собой историческое Православие. Не понимают глубочайшей “еретичности” своего восприятия и переживания “православия”. Православие с маленькой буквы не дает им увидеть, услышать подлинное Православие»⁹.

И тем не менее, когда речь в современном церковном быту заходит об отношениях православных к другим христианским конфессиям или иным вероисповеданиям, все прежние привычные и сокрушенно произносимые слова о пользе неосуждения и смирения куда-то сразу исчезают, сменяясь коллективным превозношением себя самих и «своего» и уничижением «чужого»!

«В Православии — историческом — начисто отсутствует сам критерий самокритики. Сложившись как “православие” — против ересей, Запада, Востока, турков и т. д., Православие пронизано комплексом самоутверждения, гипертрофией какого-то внутреннего “триумфализма”. Признать ошибки — это начать разрушать основы “истинной веры”. Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла: преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда — во “внутри”. И пока это так, то, по моему убеждению, никакое возрождение Православия невозможно. Главная же трудность здесь в том, что трагизм и падение по-настоящему не в грехах людей (этого не отрицают), а укоренен, гнездится в тех явлениях, которые принято считать, в которые принято верить, как именно в саму сущность Православия, его вечную ценность и истину. Это, во-первых, какое-то “бабье” благочестие, пропитанное “умилением” и “суеверием” и потому абсолютно непромокаемое никакой культуре. Стихийная сила этого благочестия, которым можно жить, как чем-то совершенно самодовлеющим, вне какого бы то ни было отношения ко Христу и к Евангелию, к миру, к жизни. Тут все слова “жижеют”, наполняются какой-то водой, перестают что-либо означать. Это “благочестие” и есть то, что вернуло христианству “языческое” измерение, растворило в религиозной чувственности. Оно и Христа мерит собою, делает Его — символом самого себя»¹⁰.

Христианство, утверждал Шмеман, есть конец религии. Оно эсхатологично, оно устремлено к Царству Божьему, которое и возвещает («да придет Царствие Твое»), но до конца не вмещается ни в адекватные слова, ни в формы, ни в правила, поскольку «проходит образ мира сего» (1 Кор 7:31). Наоборот, «Христа распяла именно “религия”, которая есть единственный настоящий грех, единственное настоящее зло — “отец ваш дьявол”»¹¹. «Религия» со своими правилами, авторитетами и догмами (не путать с догма-

⁹ Шмеман А. Дневники. С. 78.

¹⁰ Там же. С. 108–109.

¹¹ Там же. С. 218.

тами) принадлежит всецело «миру сему». Христианское же богословие, напротив, узнает себя в церковном опыте как причастие Святого Духа, и оттого-то по природе своей оно и мистично, и апофатично, то есть описывает Бога путем последовательного отбрасывания всех относящихся к Нему определений как несоизмеримых с Его природой (понятие «апофатическое богословие» и происходит ведь от греческого *αποφατικός*, что значит «отрицательный»).

«Где дух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17) и нет внешних подавляющих авторитетов. Если же наоборот, то «не только Бог, но, по сути дела, вся тварная реальность, все бытие вне Духа Святого превращается в “авторитет” — внешний, посторонний человеку принудительный порядок — отвратительный “мир объективности” Бердяева. В роли авторитета могут выступать “истина”, “справедливость”, “порядок”, “равенство” и т. д. — все ценности падшего “мира сего”, включая и право на неограниченную свободу — пустой и бессмысленный принцип выбора ради выбора и несогласия ради несогласия, право, которое ведет в никуда. Но главной функцией Духа Святого как раз и является упразднение авторитетов, — точнее, их преодоление, и Он достигает этого упразднением всего внешнего, что лежит в основе “авторитета” и самого “мира сего” как падшего мира»¹². То есть «церковность» или «религия», по Шмеману, относятся к миру объективации, где угашается дух и происходит отказ от свободы и связанного с ней богословского апофатизма. Он пишет: «Все “законченное”, завершенное и, следовательно, не открытое к другому, мне кажется тяжелым и самым себя разрушающим. Это в равной мере относится и к идеям, и к чувствам. Ошибочность — по моему убеждению — и всякого “диалектизма”: тезис, антитезис и синтез, снимающий противоречие (то есть опять называющийся “целостным мировоззрением” и “идеологией”). Я думаю, что открытость и незавершенность должны всегда оставаться, они-то и есть вера, в них-то и встречается Бог, Который совсем не “синтез”, а жизнь и полнота. Может быть, это и есть “апофатика”, *via negativa*: интуиция, что все “завершенное” — измена Богу, превращение всего в идола. Совершенство в искусстве пропорционально его открытости: совершенное искусство вечно открывает то, что оно открыло, являет то, чего явлением оно было. Потому и в “идеях”, богословии, философии и т. д. живет, остается лишь одно то, что сродни искусству, и только в ту меру, в какую оно сродни искусству»¹³.

В этом со Шмеманом удивительно сходен современный греческий богослов Христос Яннарас, который также настаивает на том, что отказ от апофатизма истины был первым еретическим искажением веры, и это радикальным образом изменило дальнейшее развитие христианской мысли и привело к возникновению средневековой схоластики. Практика юридических оценок и формулировок, характерная для Рима как колыбели юриспруденции, пишет Яннарас, неизбежно порождает склонность к «объективации казусов», к принятию жестких схем и моделей взамен полнокровного многообразия жизни. Так «истина была отождествлена с ее определением,

¹² Шмеман А. Свобода в Церкви — в сб.: *Церковь, мир, миссия*. М., 1996. С. 220.

¹³ Шмеман А. Дневники. С. 106.

а познание (то есть обладание истиной) — с индивидуальным усвоением формулировок. Истина оказалась оторванной от динамики жизни, была сведена к чисто рассудочному моменту, к правильному способу рассуждения. Правильное мышление подменяет собой динамичную неопределенность жизни; жизнь втискивается в рамки «логики» (*ratio*), логика возводится на уровень высшего авторитета — будь то моральные нормы или же требования общественной и политической практики»¹⁴.

Продолжая мысль Яннараса, можно добавить, что в практике современной «церковности» (понимаемой в том смысле, который вкладывает в это слово о. Александр Шмеман) святые отцы, церковные каноны и даже отдельные стихи Священного Писания чаще всего воспринимаются и цитируются то ли в духе ведомственных профессиональных инструкций, то ли в духе классиков марксизма-ленинизма в былые времена (если и вовсе не в качестве параграфов Уголовного Кодекса...). Но только не в духе творческой свободы сынов Божиих...

В связи со сказанным необходимо коснуться и следующей проблемы — Шмеман и святоотеческое Предание. Эта тема вызывает у охранительно настроенных читателей отца Александра стойкое недовольство. Те, кто привыкли сыпать в полемику многочисленными святоотеческими цитатами с той, как правило, целью, чтобы упрекнуть оппонента в неправомыслии, могут не просто возмутиться Шмеманом, но придти в шок от таких, например, его строк: *«Если кто-нибудь когда-нибудь будет "изучать" "источники" моего богословия(!), он вряд ли догадается, что на меня всегда неизмеримую тоску нагоняли, например, Кавасила, Дионисий Ареопагит и т. п., а что в "schémiment obscur"»*¹⁵ моего мироощущения и, следовательно, мысли и убеждений сыграли странную, но несомненную роль: прислуживание в церкви... русская и французская поэзия, Андре Жид, дневник Жюльена Грина и дневник же Поля Леото (прочел все восемнадцать томов! — как они оба этому удивились бы!) и бесконечное число самых разнообразных биографий (например, Талейран и Де Голль). Как объяснить самому себе, прежде всего, что я люблю Православие и все больше и больше убежден в его истине и все больше и больше не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего того, что для всех — синоним Православия. Я бы умер со скуки на "конгрессе византинистов". Только самому себе я могу признаться в том, что мой интерес к Православию обратно пропорционален тому, что интересует — и так страстно! — православных»¹⁶.

Нет уж, могут воскликнуть современные православные книжники и хранители древностей, одно из двух: либо мы считаем близкими себе Шмемана и его единомышленников, либо византийских святых!

Чисто русская дилемма в подобного рода мировоззренческих интеллигентских спорах — «или — или»... При этом сами радетели православного Предания, в особенности литургического, обычно не берут оттуда, как показывает опыт, ничего подлинно ценного, с точки зрения духа и вечности. И никто из них не написал такой вдохновенной книги о Великом посте,

¹⁴ Яннарас Х. Вера Церкви. М., 1992. С. 217.

¹⁵ «Извилистых путях» (фр.).

¹⁶ Шмеман А. Дневники. С. 236–237.

как отец Александр, рассказавший простым и понятным современному читателю языком о всех жемчужинах богослужебного предания. Так, он писал, в частности: «Без преувеличения можно сказать, что у святых Отцов, духовных писателей и создателей песнопений Постной Триоди, которые мало-помалу разработали общую структуру постных богослужений, придали Литургии Преждеосвященных Даров эту особую, свойственную ей красоту, было одинаковое, единое понимание человеческой души. Они действительно знают духовное искусство покаяния, и каждый год, в течение Поста, они дают всем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, возможность воспользоваться их знанием <...> Незнание Триоди — главная причина, почему в христианском сознании постепенно иначе стали пониматься смысл и значение Поста, что мало-помалу обратило Пост в соблюдение чисто формальных “предписаний” и ограничений в пище. Подлинное вдохновение и призыв Великого Поста в настоящее время почти утеряны, и единственная возможность их вновь приобрести — это внимательное слушание всех песнопений Триоди <...> Постная Триодь — неизвестная, забытая книга! Если бы мы только знали, что в ней мы можем найти возрождение, приобрести вновь дух не только Великого Поста, но и всего Православия, — “Пасхального” образа жизни, смерти и вечности»¹⁷.

Что же касается многих других богослужебных текстов, то, нужно признать, далеко не все из них отличаются содержательностью и духовной глубиной; нередко они написаны как раз весьма подражательно, по определенной обкатанной схеме. И не замечают у нас это просто потому, что большинством молящихся в храме смысл изменяемых песнопений на каждый день года в принципе улавливается. Правда, эта проблема уже выходит далеко за рамки моих заметок, однако вот хотя бы мнение архимандрита Киприана (Керна) — литургиста, настроенного, как известно, куда консервативнее, нежели отец Александр: «По сравнению с кондаком классического времени наши богослужебные каноны являют яркий пример декаденции как церковной поэзии, так и богословской мысли. Тавтология, иногда одобренная игрой слов, перифразы псалмических стихов, часто бессодержательные похвалы мученических и преподобнических подвигов святого пришли на смену когда-то богатой по содержанию и богословской остроте и очень замечательной в отношении поэзии красоте кондаков. Невыразимо грустно, что кондак, во всем своем объеме составлявший главное содержание богослужения праздника по уставу Студийскому и еще в XI—XII вв. бывший его украшением, потом был заменен псевдонимными канонами. После первых творцов канонов, Андрея, Космы, Феофана и самого Иоанна Дамаскина, составлением канонов занялись писатели второго сорта, более или менее неудачно перефразировавшие образцы предшественников. А кондаки были прочно забыты. Как говорит проф. Миркович: “Роман Сладкопевец изгнан из греческой церкви и сделавшись достоянием чуждого ему мира, который ему создал целый культ, удивляясь его благочестию и красоте его слов”»¹⁸.

¹⁷ Шмеман А. Великий пост. Париж, 1986. С. 42, 57, 63.

¹⁸ Архимандрит Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и зортология. М., 1997. С. 31.

Итак, к какому же преданию предлагают нам обращаться горячие раде-тели Предания и ревнители древнего благочестия? К какому Средневеко-вью они предлагают нам возвращаться — к творческому раннему или за-консервированному позднему? Несомненно, увы, — ко второму варианту. Иначе хотя бы частично права Шмемана была бы ими признана.

Но почему же ко второму?

Очевидно, потому, что *«все должно быть массивно, слепо, “по чину”, в этом успокоительное действие “религии”. Стоишь в каком-то одиночестве с чув-ством: если бы “раскрылось” в своем смысле хоть одно слово всего этого, “все это” эти же люди с ужасом отвергли бы. Вот почему так боялись старооб-рядцы “книжной sprawy”: в сущности, от безверия. В расколе — меньше всего Христа. Чтобы найти Христа, русский человек выходит из Церкви в “секту”, но очень скоро и ее превращает в “старообрядчество”»*¹⁹.

Тема старообрядчества, русского обрядоверия и его психологии — зна-чительно шире проблемы собственно раскола, события более чем трехсот-летней давности. И она также проходит как лейтмотив через дневники отца Александра, — в частности, в связи с Солженицыным. Но, в конечном счете, это проблема все той же «религии» или «религиозности»: *«Религию можно любить совершенно так же, как что-либо другое в жизни: спорт, науку, соби-рание марок. Любить ее за нее саму, без отношения к Богу или миру или жизни. Она “занимает” и “занимательна”. Тут все, что любит особый тип человека: и эстетика, и тайна, и священность, и чувство собственной важно-сти и “исключительности”, глубины и т. д. Но эта религия совсем не обяза-тельно вера, и в этом-то и вся трудность “религиозной проблемы”. Люди ждут и жаждают веры — мы предлагаем им религию. И это противоречие, это “несовпадение” все глубже, все страшнее»*²⁰.

В Средневековье обозначилось и еще одно примечательное явление — клерикализация церковной жизни как искусственное разделение едино-го Тела Христова. Это явление распространилось в том числе и на важ-нейшие церковные таинства — исповедь и причастие, в отношении к которым духовенство и миряне были поставлены в неравные условия. Од-новременно с этим все более утверждался изобразительный символизм в богослужебной жизни. Отец Александр, довольно много писавший на эту тему²¹, в Дневниках выступает обличителем этой пустоты и условности — как символизма, так и законничества современного церковного быта, при-рученности паствы к этому духу. Например, в одном месте «Дневников» он признается в *«мучительной нелюбви исповедовать»*. Здесь может най-тись возражение: а разве это не основное дело пастыря — общаться с людьми, их утешать, врачевать их души? Один из вполне доброжелатель-ных критиков отца Александра, тем не менее, вывел из его «Дневников», что *«Тот, кто прочитает только его дневник, увидит в нем “христианина-писателя” и “христианина-читателя”, “христианина-отца” и “христианина-*

¹⁹ Шмеман А. Дневники. С. 215.

²⁰ Там же. С. 120.

²¹ См., например, его книгу «Евхаристия» или работу «Таинство и символ» (журнал «Православная община», 1996, № 2 [32]).

сына», «христианина-путешественника», «христианина-собеседника», но меньше всего «христианина-пастыря». Как богослов о. Александр был богословом радости жизни во Христе и в Церкви. В «Дневниках» он предстает чаще всего раздраженным, и это раздражение возникает не только и не столько от необходимости заседать во всевозможных советах, присутствовать на собраниях и конференциях, но прежде всего от исповедующихся ему людей. Согласитесь, что для священника это несколько странно. Я догадываюсь о том грузе, от которого изнемогают священники, обязанные утешать, облегчать тяготы приходящим к ним, как в духовную лечебницу, людям. С какими только мелочами, пустяками и глупостями не лезем мы к священнику, обязанному заменять нам и Фрейда, и парторга. Знаю, как многие священнослужители, прочитав «Дневники» о. Александра, по-новому увидели трудность и драматизм своей «профессиональной» жизни, описанный столь авторитетным в этой среде человеком. И все же не могу отделаться от впечатления, что по крайней мере в последнее десятилетие его жизни о. Александру уже не очень нужны были люди, приходившие к нему со своими грехами и поисками истины»²².

Вот и хотелось бы затронуть и этот пастырский аспект, его присутствие или отсутствие в дневниках отца Александра. Думается, что представления о пастырстве и требования к пастырям не раз менялись на протяжении всех 2000 лет истории Церкви, — как менялись и самые формы церковной жизни. Но основная задача пастырства была и остается неизменной — благовестие о Христе как едином и общем для всех Пастыреначальнике, о Слове жизни, о той жизни, которая была у Отца и явилась нам (1 Ин 1:2).

Справился ли с этой главной задачей отец Александр?

Тот, кто читал его многочисленные книги и статьи, без колебаний ответит утвердительно: справился неизмеримо более, чем кто-либо другой в минувшем XX веке.

Были ли у него какие-то промахи, недостатки, которые в иных случаях мог восполнить другой служитель Церкви, способный дать нечто, чего не мог дать отец Александр в личном общении?

Разумеется, могли быть: кто же в этой жизни несет в себе совершенство Христово?! Все мы, священники, разные, и все можем быть нужны по-своему: *«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания... иному вера... иному дары исцелений... иному чудотворения, иному пророчество»* и т. д. (1 Кор 12:4-10).

Отец Александр не был старцем, не принадлежал, во всяком случае, к тем духовным водителям, на которых у нас в России пошел с некоторых пор такой высокий спрос, что тем не менее отнюдь не всегда свидетельствует как об уместности такого спроса, так и о благополучии духовной жизни в русской Церкви в целом. Впрочем, надо заметить, что даже и из настоящих старцев никто отнюдь не обязан заменять вопрошающему «и Фрейда, и парторга» — вопреки остроумному замечанию автора рецензии...

²² Любимов Б. Православный протестант? («Новый мир», 2006, № 7).

Вот что, кстати, пишет по этому поводу сам отец Александр: «*Опасен псевдостарец, столь расплывшийся в наши дни и сущность которого в духовном властолюбии. На это псевдостарчество толкает сама система, делающая из каждого священника “духовника” и маленького “старца”.* В Православной Церкви почти уже нет монахов, которые бы не считали своим священным долгом через два года после пострига писать трактаты об Иисусовой молитве, о духовности и об аскетизме... Нет и священников, которые бы не считали себя способными в пять минут разрешить все проблемы и наставить на путь истинный... Лично я вообще отменил бы частную исповедь, кроме того случая, когда человек совершил очевидный и конкретный грех и исповедует его, а не свои настроения, сомнения, уныния и искушения. А что же делать со всеми этими обычными “состояниями”? Я убежден, что подлинная проповедь есть всегда (о чем бы она ни была) одновременно и ответ на них, и их исцеление. Ибо она всегда есть проповедь о Христе, а все это “снимается” только Христом, знанием о Нем, встречей с Ним, послушанием Ему, любовью к Нему»²³ (подчеркнуто мною. — Святи. Ф. П.).

Эта запись, сделанная в 1973 году в эмигрантском далеке, оказалась воистину пророческой (прежде всего в пастырском ключе) для сегодняшней жизни РПЦ: 25 лет спустя Священный Синод вынужден был издать специальное постановление о так называемом *младостарчестве*. О явлении, которое стало отнюдь не досадной случайностью в теперешней церковной жизни, а неизбежным и закономерным порождением общей сложившейся практики — практики и внутрицерковных отношений, и проведения самой исповеди, и распространения соответствующей литературы монашеского уклона с многочисленными рекомендациями, зачастую совершенно оторванными от реальных возможностей людей, живущих и трудящихся в условиях модернизированного общества конца XX — начала XXI века. Что опять-таки является очередным рецидивом «*нового Средневековья*», только изрядно ухудшенного по сравнению со Средневековьем старым, поскольку тогда-то все-таки были настоящие старцы, продолжавшие и развивавшие отеческое Предание в духе, а не по букве, тогда как сейчас все больше господствует подражательный буквализм.

Разумеется, то, что пишет отец Александр о частных исповедальных беседах и тяжести от них, касается отнюдь не новоначальных прихожан, не вопрошающих и ищущих истину. То есть вовсе не тех людей, которым просто необходимо, по замечанию апостола Петра, «*дать ответ с кротостью и благоговением*» (1 Петр 3:15). Повседневный опыт общения многих священников с приходящими в храм свидетельствует, однако, чаще всего о совсем иных ожиданиях и запросах. Люди, уже выбравшие тот или иной храм и священника в нем, подходят на исповедь обычно:

1) либо в силу привычки, приученности к заведенному порядку — пройти непременно исповедь перед каждым причащением Святых Тайн, получив допуск-«*благословение*» на причастие, а чтобы получить такой допуск, надо непременно что-нибудь «сказать», в чем-нибудь «покаяться», даже если и не всегда находится, что говорить;

²³ Шмеман А. Дневники. С. 35.

2) либо из потребности общения со священником, которого часто в самом деле по многим разным причинам людям не хватает (а заодно решается и проблема п. 1), хотя собственно к таинству покаяния это может не иметь ни малейшего отношения;

3) либо в силу постигшей скорби, несчастья — с желанием душевного участия, поддержки и доброго слова священника;

4) нередко также из-за возникающей психологической привязанности к своему духовнику, влюбленности в него, что может порой принимать угрожающие формы духовной наркомании, при которой человек заодно стремится избавиться от груза проблем, которые призван решать он и только он сам, перелagая их на священника под предлогом его большей духовности и опытности;

5) а также в поисках (в связи с проблемами, описанными выше) послушаний — в стремлении вручить свою волю воле избранного духовника («старца»), что чаще всего случается под впечатлением от соответствующей литературы особого рода, а также от недостатка или даже полного отсутствия здравого смысла. Впрочем, последнее касается как ищущего таких послушаний, так и соглашающегося на это духовного лица.

Ко всему перечисленному можно также добавить, что исповедь как таинство, предполагающее разрешение властью, данной епископам и пресвитерам от апостолов (*«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»* — Ин 20:23), и исповедь по типу монастырского откровения помыслов — совершенно различные действия. Принимать помыслы у новоначальных монахов или послушников в древности мог простой опытный монах, не имевший священного сана. И, надо заметить, принять такие помыслы и дать на них должный и полезный духовный совет способен далеко не каждый священник, — тем более молодой и неопытный. Так что практика грекоязычных поместных церквей со специально назначаемыми духовниками из опытных священников, с регулярным причащением прихожан, а исповедью их преимущественно Великим постом видится куда более уместной и приближенной к реальности. Да так и было изначально в древней Церкви.

Разумеется, автоматически и быстро изменить сложившуюся ситуацию невозможно. Тем более, что у приходских исповедей есть еще одна функция: зачастую они служат заменой пастырской беседы с только что переступившими порог храма, а также своеобразным фильтром для тех, кто пока еще не представляет всю важность и величие таинства Причащения, к которому все-таки нужно подходить с внутренней подготовкой. Чаще всего именно такая беседа может оказаться решающей для людей, приходящих, как правило, по большим праздникам, и в первую очередь на Рождество и Пасху. Однако как раз в подобных случаях, увы, у священников чаще всего нет ни времени, ни сил беседовать — в первую очередь из-за многочисленных исповедающихся среди более-менее воцерковленных, «приученных» или даже просто запуганных тем, что, не дай Бог, если какой-нибудь помысл или внутреннее недолжное состояние души останется неисповеданным... И здесь откровенные слова о. Александра о его внутренней усталости и пастырской неудовлетворенности остаются для нас более чем актуальны-

ми и злободневными. В этом плане общая исповедь с проповедью действительно могла бы быть куда более действенной и полезной, как, например, в этом уверен и другой наш замечательный священник, современник о. Александра, о. Сергей Желудков:

«Да, бывают священники, у которых звание “пресвитер” действительно соответствует древнему слову “старец” в смысле именно духоносной способности старчества, руководства в духовной жизни... Но таких духовников у нас чрезвычайно мало, а я говорю с точки зрения священника рядового, не обладающего особыми дарованиями, но тем не менее серьезно намеренного исполнить свой долг. Со стыдом вспоминаю, как в первые годы священства однажды (в Вербное воскресенье) перед литургией исповедаться у меня пожелала без малого вся церковь. Люди просили общей исповеди, а я тогда проводить ее не умел и отказался, сославшись на запрещение патриарха... И в продолжение нескольких мучительных часов я проводил “индивидуальную исповедь”, о которой, говорю, мне до сих пор стыдно вспомнить. А какая могла бы состояться здесь великолепная общая исповедь!.. Вообще профанация таинства чаще имеет место как раз не в общей, а в индивидуальной исповеди, только это не бывает заметно со сторон»²⁴.

Ну и, наконец, по поводу возможного духа протестантизма в этой книге, в чем протоиерей Александра, наверняка, готовы упрекнуть многие... Одна из рецензий на «Дневники» так и называется — «Православный протестант?».

А не был ли и в самом деле отец Александр таким вот православным протестантом? Вероятно, у читателей, всерьез болеющих за дальнейшую судьбу русского православия, это может вызвать некоторые опасения.

Однако стоит задуматься, почему протестантизм, попущенный Богом вот уже в течение 500 последних лет, нисколько не ослабевает как явление в целом. И кто в этом более ответствен — протестанты ли, что-то недопонявшие и не принявшие из вероучений Католической или Православной церкви, или же сами те, кто в этих церквях остался?

В своих воспоминаниях замечательный, хоть и малоизвестный миссионер начала XX в. архимандрит Спиридон (Кисляков) рассказывает о беседе с одним заключенным Читинской тюрьмы. Так вот, человек этот, ушедший из православия в протестантизм и обратившийся вновь под воздействием проповеди и личного обаяния о. Спиридона, говорил ему с откровенной прямоотой:

«Правда, у сектантов нет Евхаристии, нет священства. Но, положив руку на сердце, ведь православные несмотря на Евхаристию и законное священство несравненно хуже живут сектантов в смысле религии. В православии нет жизни, нет движения вперед. Как бы сектанты ни уклонялись в сторону от Православной Церкви, по крайней мере, — они уклоняются не в язычество и из религиозной христианской полюсы не выходят. Зато православные уклонились, и почти все, то в какой-то спиритуализм, то в теософию, то в грубый и научный материализм, а христианство им так наскучило, что они от одного чтения, поповского чтения Евангелия в церкви позевывают, а во время

²⁴ Желудков С. Литургические заметки. М., 2004. С. 215.

церковной проповеди все уходят. Эх, батюшка, на что ни помотришь, то только приходится пожимать плечами. Если кто сам решился искать спасения, решился жить по учению Христова Слова, тот только и живет, а Церковь Православная мало ему в чем помогает, потому что живых примеров не стало»²⁵.

И с этим же почти слово в слово согласен и о. Сергей Желудков:

«“Без Богослужения невозможна духовная жизнь”. “Без Евхаристии немислима Церковь”. Это — всего только риторические обороты. Уважаемый З. уже обращал наше внимание на православных подвижников, которые без общественного Богослужения и без Евхаристии достигали высочайших вершин духовной жизни. А мы и с Евхаристией никуда не годимся. Мы бываем похожи на бездельников, которые хвастались бы тем, что хорошо обедают, и ожидали бы за это награды. Горе нам, книжникам и фарисеям»²⁶.

В этом смысле здоровый и пророческий «протестантизм» внутри православия, отличающий и о. Александра Шмемана, и о. Сергия Желудкова, видится вполне уместным — не как революционное или модернистское ниспровержение существующей бытовой церковности, а как размышление о ней и обличение ее²⁷. Такой подход как раз и может предохранить от дальнейшего распространения средневекового влияния в той его худшей, непросветленной и непреобразженной форме, которая должна быть преодолена. Тем более, что и вне Православия протестанты нет-нет, да и корректировали нас в последние века по промыслу Божию, — то подталкивая к более добросовестному изучению Писания, то заставляя задуматься о собственной миссии в секуляризованном мире... Сама же личность отца Александра не может быть уложена в какие-то законченные определения, втиснута в рамки какой-то классификации. Как он сам признавался, с разными типами людей он чувствовал и вел себя совершенно различным образом: «Выходит так (и так было с тех пор, что я себя помню), что во всем том, что я люблю, считаю своим и с чем себя так или иначе отождествляю — религия, Церковь, тот мир, к которому я принадлежу по рождению, воспитанию, вкусам и убеждениям,— я остро вижу их неправду и их недостатки. В том же, что я не люблю и от чего отталкиваюсь, — “левизна” во всех ее проявлениях,— я вижу его правду, пускай даже и относительную. “Внутри”

²⁵ Архимандрит Спиридон. Из виденного и пережитого. http://www.onechurch.narod.ru/txt/arch_sp.htm

²⁶ Желудков С. Литургические заметки. С. 221.

²⁷ Следует заметить, что к самому протестантизму о. Александр относился весьма критически. Вот одна из его записей: «Протестант знает грех, знает, что он изгнан из рая, но рая самого не знает и не помнит. Католик (и православный) — знает грех, знает, что он изгнан из рая, но помнит рай. Поэтому протестанту ничего в мире не напоминает рая. Он “строит” полезную, удобную, комфортабельную и т.д. земную жизнь, но которая ни в одном своем “аспекте” не напоминает, не являет, не открывает рая. Он живет в “падшем” мире, но уже и не “отнесенном” к тому первоначальному, радостному, божественному. Он связан с миром разумом, знанием, анализом, но не верой, не “сакраментальной” интуицией... Протестантизм есть отрицание Церкви как рая, в этом его грех и ересь» (Дневники. С. 289).

религии я ощущаю себя радикальным *contestataire*²⁸. Но с *contestataire*’ами я чувствую себя консерватором и традиционалистом» (26).

Можем ли мы найти в дневниковых записях отца Александра конкретные соображения по выходу из современного вероучительного и миссионерского кризиса, в котором находится Православие? Шмеман скорее размышляет и ставит вопросы, нежели отвечает на них. Тем не менее он делает некоторые акценты, на которые важно обратить особенное внимание.

Первое: Церковь живет не сама по себе, не собою, а Царством, завещанным Христом («и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство» — Лк 22:29); она есть таинство Царства. То есть устремленность ее — скорее в будущее, нежели в прошлое. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13:14). Вместо этого мы наблюдаем обращенность в прошлое и уход в иллюзорность, или, по выражению самого отца Александра, в «редукции» — византийскую, старообрядческую, бытовую и т. д.²⁹

Второе: в центре нашей веры должен стоять Христос и только Он; Он — судья, прежде всего над религией, над церковностью. Об этом особенно проникновенно сказано в пространной записи от 8 декабря 1975 г.: «Ритм падшего мира — Закон: это то, чем общество ограждает себя от разрушительного хаоса, созданного грехом»³⁰. Но закон, пишет отец Александр, всегда относителен, и рано или поздно он вызывает желание преодолеть его. Тогда возникают силы, желающие разрушить ограду закона во имя того, что выше него, — и наступает кризис. Однако силы эти по причине падшего состояния человечества оказываются более разрушительными, чем созидательными. Тогда на смену старому закону неизбежно приходит новый, но с все тем же повторением старого... Выхода из этого замкнутого круга нет, и тем самым закон раскрывает правду о падшем состоянии человека и общества. Кризис же выражает правду искания и жажды свободы, но часто приводит к иллюзорной свободе и ее отрицанию, и в этом есть ложь всех революций в истории. Только во Христе можно найти примирение между Законом и Революцией, в исполнении того и другого. В Нем же и «выход ввысь» из самого этого ритма. Опасность, как подчеркивает многократно Шмеман, «полюбить Церковь как бы помимо Христа. Этой любви больше, чем думают. Но Церковь — это только Христос, Его жизнь и Его дар. Искать в Церкви чего-либо кроме Христа (а это значит — опять искать себя и своего) — неизбежно «впасть в прелесть», в извращение и в пределе — в саморазрушение»³¹.

Третье: проблема идеологии и авторитета в Церкви. Отец Александр противопоставляет им красоту живой окружающей жизни и умение найти в благодарением и принятием отблески божественной премудрости везде — в природе, смене времен года, в творческой активности человека и даже в нью-йоркских небоскребах из стекла и бетона. «Удивительная красота ранней весны. Хороший вечер, милые люди. Все зло от «идеологий», от идеологиз-

²⁸ Споршиком (фр.).

²⁹ Шмеман А. Дневники. С. 141–142.

³⁰ Там же. С. 228.

³¹ Там же. С. 181.

ма. Цель и критерий власти: “общее благо”, и только. Но оно как раз не “идеологично”»³². Идеологии порождают идолов и сами становятся умственными идолами. Религия без веры вырождается в идолопоклонство, в абсолютизацию формы и обряда, точно так же, как вера без религии превращается в идеологию и ведет туда же. «Церковность» и даже сама Церковь в ее более высоком и сакраментальном значении рискуют превратиться в один из таких идолов, о чем отец Александр говорил еще 40 лет назад в докладе «Авторитет и свобода в Церкви» и что стало одной из важных тем его дневниковых размышлений:

«Нам нужно внутренне освободиться, отделаться в самих себе от страха, от казенщины, от лукавства. Только тогда мы снова поймем и ощутим, что Церковь — это не организация и не авторитет, а тело, напоенное Духом, в котором нам дана потрясающая возможность верить друг другу в свободе. “Дети, берегите себя от идолов”. Но, как ни страшно это сказать, сама церковь может стать “идолом”. И она становится идолом всякий раз, когда “ради пользы Церкви” нас призывают черное назвать белым, неправду правдой, зло добром, всякий раз, что “ради Церкви” уничижается Дух Святой, “ради” Которого и Которым она только и существует. Церковь не есть “высшая ценность”. Она существует для того, чтобы Святой Дух приходил и все время освобождал и отпускал “измученных на свободу”. В каком-то смысле ничего и никогда не нужно делать “ради Церкви”, а только знать, что когда мы живем и поступаем ради Христа и по Христу, тогда мы — в Церкви и Церковь...»³³.

Четвертое: неумение многих современных православных радоваться или сознательный отказ от радости, в чем опять проявляется ложная, фальшивая религиозность. Нельзя знать Бога таким, каким Он нам открылся во Христе, и при этом не радоваться. Невозможно ходить перед Ним постоянно в страхе и печали, хотя печаль и бывает неизбежной спутницей нашей жизни. Естественное состояние христианина, по святым отцам, — радостопечалие, которое как раз весьма характерно для дневниковых размышлений отца Александра. Религия страха, ложного смирения, вины может быть свойственна рабскому состоянию души на начальных этапах, из которого необходимо вырастать в достоинство друзей и сынов Божиих. *«Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не “освобождают” от мира и его соблазнов. Радость — основа свободы, в которой мы призваны стоять. Где, как, когда извратилась, замутилась эта “тональность” христианства или, лучше сказать, где, как и почему стали христиане “глохнуть” к ней? Как, когда и почему вместо того, чтобы отпускать измученных на свободу, Церковь стала садистически их запугивать и стращать?»³⁴.*

Значение вышедших в свет дневников отца Александра не только в том, что он затронул множество вышеупомянутых болезненных моментов со-

³² Там же. С.96.

³³ Шмеман А. Авторитет и свобода в Церкви. Доклад, прочитанный на съезде РСХД в Бьевре 14 мая 1967 г. http://www.krotov.info/libr_min/25_sh/shme/man_08.html

³⁴ Шмеман А. Дневники. С. 297–298.

временного церковного быта. Перед нами предстает не столько богослов, пастырь, ученый или проповедник, каким был в одном лице, вне всякого сомнения, отец Александр, но прежде всего просто христианин, взыскующий Царства Божия и в то же время размышляющий, сомневающийся, пытающийся хотя бы для себя додумать возникшие недоумения — с искренностью и до конца перед Богом и самим собой. Это очень важно для духовной жизни вообще для каждого из нас. Возросшие в условиях этого критикуемого Шмеманом церковного «заедающего» быта, мы часто боимся вообще каких-либо сомнений в чем угодно. Боимся жить собственным опытом и быть самими собой. И скорее предпочитаем уходить от острых вопросов и проблем, которые ставит перед нами сама жизнь, нежели отвечать на них. Но далеко не всегда сомнение — грех или неуместное чувство. Нередко оно может быть очистительным и приводить на новую ступень веры. Главное здесь — ориентация самой воли человека; важно то, ради чего человек сомневается и куда, к чему он устремлен. Яркие примеры сомневавшихся людей в Священном Писании — многострадальный Иов или апостол Фома, чьи сомнения не только не были отвергнуты, но были вознаграждены. Думается, что вполне реальна и обратная ситуация: при всех правильно построенных научно-богословских трудах и внешнем традиционализме их авторов, ставящих задачу хранить «чистое Православие» и бороться против «модернизма», внутренне таких охранителей вполне могут подтачивать многие сомнения, от которых они пытаются укрыться в полемике или в бегстве от реальности, тех же «редукциях», по выражению отца Александра, и в этом они в точности могут повторять доводы друзей Иова.

Когда человек уверен в главном, **«едином на потребу»**, у него как раз преобладает мирное состояние души, чуждое каких-либо споров или полемических опровержений. И именно при этом мирном состоянии духа только и остается возможной христианская миссия в разуверившемся мире, но никак не в духе голого отрицания окружающей цивилизации или гордосмирного самопревозношения над ней. Избавиться от этой тонкой, но незаметно разъедающей душу фальши как раз может помочь прочтение тома дневников отца Александра, если сам читающий захочет уразуметь поставленные в книге проблемы. И в этом, несомненно, целительное и освобождающее воздействие этой книги.

«ДВА УБО РИМА ПАДОША, А ТРЕТИИ СТОИТ...»

Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Рим — Константинополь — Москва. Исторические и богословские исследования

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

2006. — 313 с.

В рамках темы, обозначенной в названии этих заметок, сборник статей известного православного богослова и византиниста, впервые выходящий на русском языке¹, интересен и ценен прежде всего тем, что проливает свет на некоторые малоизвестные «тонкости» в отношениях трех «мировых столиц» и провоцирует некоторые соображения, касающиеся идеологемы Третьего Рима, по сию пору, как известно, сохраняющей актуальность. Сразу отмечу важное достоинство книги: она отражает устремленность духа, взыскующего истины и отнюдь не озабоченного «партийными» предпочтениями, каковых не так просто избежать, касаясь заявленной темы, ибо религия здесь переплетается с политикой — хотя бы и в историческом аспекте.

Сравнение — мать познания. Поучительно проследить, прежде всего, как решался в каждом из «Римов» вопрос взаимоотношений между Церковью и государством. Собственно Рим, в условиях фактического отсутствия светской власти (с момента падения Западной империи в 476 году), решил этот вопрос «просто»: папство взяло ее функции на себя, и не только в пределах Папской области, но до некоторой степени (и до определенного времени) также и в остальной Европе. Перемещение папства в область политики стало особенно заметным, начиная с IX века.

В Константинополе все складывалось иначе. Долгое время среди историков преобладало мнение, что императорская власть Второго Рима подчинила себе Церковь и что сама эта власть по сути своей была скорее языческой, чем христианской. Это мнение разделял В. С. Соловьев, писавший, что константинопольские кесари «*христианское царство понизили до уровня языческой самодовлеющей государственности*»².

¹ Подготовлен к печати нью-йоркской Свято-Владимирской духовной семинарией, где о. Иоанн Мейендорф (1926–1992) в продолжение ряда лет был ректором.

² *Соловьев В. С.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. С. 565.

**Юрий
КАГРАМАНОВ**

— родился в 1934 г. в Баку. Окончил Исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Позднейшие исследования (на которые опирался и о. Иоанн) показали, однако, что это далеко не всегда так. Во-первых, византийская государственность не была сплошь «языческой». По своей идее императорская власть со времен Константина Великого и Юстиниана была все-таки христианской, и если с тех пор на троне сидело множество недостойных кесарей (а мало ли было недостойных пап?), то сама идея оставалась направляющей. Во-вторых, никоим образом нельзя сказать, что Церковь находилась в подчиненном отношении к власти; во всяком случае как обобщение такое утверждение несостоятельно. На протяжении более чем тысячелетней истории константинопольская Церковь многожды демонстрировала свою независимость от власти и критическое отношение к ней.

О. Иоанн Мейендорф принадлежит к числу тех византинистов, которые усмотрели в византийском сознании двоеение. Не следует путать его с двоеверием — совмещением христианских представлений с языческими. Вероятно, двоеверие тоже не чуждо было византийцам, но сейчас речь о другом. Двоеение имело место в рамках одного и того же христианского мировосприятия: просто взор устремлялся по сю и по ту сторону земного бытия. И это было, если можно так сказать, нормальное двоеение; о нем писал Данте в «Божественной комедии»:

Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где Божий путь лежит и где мирской³.

Видно-то было видно, но в реальности не все было так гладко⁴. Особенно это относится к византийской стороне, где, в отличие от собственно Рима, существовало четкое разделение светской и духовной власти. Светская власть по своей природе «тянула» в сторону земных задач: Константин Великий и Юстиниан поставили целью насаждение ростков Царства Божьего на земле, и все последующие императоры, — по крайней мере, формально, — преследовали ту же цель. А в Церкви, как показывает о. Иоанн, всегда оставалось бодрствующим сознание, что византийское общество — все-таки «падшее», пребывающее под властью греха и смерти; хотя эсхатологию «ухода» (от вопросов земной жизни) Церковь в принципе отвергала.

Склонение «*то на шее, то на десно*» в большой мере зависело от внутренних и внешних успехов или неудач Византии. Когда дела шли на лад, тогда приковывала внимание земная жизнь, а когда дела шли плохо, тогда взоры устремлялись горе. Но после 1204 года, когда крестоносцы взяли Константинополь, дела уже никогда не шли хорошо. В 1261-м тронм вновь овладел греческий император, но в следующие два столетия империя уже неуклонно приходила в упадок. Зато этот период отмечен «монашеским возрождением», связанным с таким замечательным течением, как исихазм.

³ Перевод М. Лозинского.

⁴ Внутреннюю конфликтность этого двоеения позднее выразил Гете, вложив следующие строки в уста Фауста: «Но две души живут во мне, // И обе не в ладах друг с другом. // Одна, как страсть любви, пылка // И жадно льнет к земле всецело, // Другая вся за облака // Так и рванулась бы из тела» (перевод Б. Пастернака).

Распространено мнение, что Византия была наказана за свои грехи. Но так ли уж она «отличилась» по этой части? Разве какие-нибудь Борджиа или Колонна, усевшиеся на папский трон, творили меньше мерзостей, чем отдельные византийские кесари? Пути Господни неисповедимы. Говорят ведь и так, что Бог карает тех, кого любит, — это относится к отдельным людям, но, может быть, то же можно сказать о целых царствах-государствах?

Обратимся теперь к богословию. Здесь разделительная межа пролегла между Римом и Константинополем; особенно четко она обозначилась на Ферраро-Флорентийском соборе 1438–1439 годов, то есть уже перед самой гибелью Византии. Русь, ставшая «Византией после Византии», в данном отношении следовала за своей наставницей.

Центральными вопросами, разделившими Западную и Восточную церкви, стали вопрос о *filioque* и о чистилище. Некоторые светские историки продолжают думать, что только в Темные века взрослые люди могли ломать копья из-за таких «смешных» вопросов. Между тем, вопрос о *filioque* чрезвычайно важен и, естественно, продолжает сохранять свою актуальность. Напомним, что речь идет о происхождении Св. Духа — самой таинственной и самой апофатичной, если можно так сказать, ипостаси Троицы. В «римском» понимании Св. Дух и с х о д и т от Отца «и от Сына» (*Filioque*), а в «константинопольском» исходит только от Отца и п р о х о д и т «через Сына» (*per Filium*). Если я правильно понимаю данный вопрос, суть дела в двойной природе Сына, в котором Божеское и человеческое соединены «неслиянно и нераздельно». Допустить, что Св. Дух исходит также и от Сына? значит допустить, что Он исходит не только от Божеской, но и от человеческой Его половины: а мы знаем, что Христос-Человек, хоть и оставался безгрешным, не был лишен некоторых (пусть и немногих) человеческих слабостей.

Не буду дальше углубляться в этот вопрос: на сей счет существует обширная богословская литература. Замечу лишь, что «маленькая» развилка в вопросе об исхождении Св. Духа (оформившаяся ко времени разделения Церквей в 1054 году), в конце концов, привела к тому, что западная цивилизация далеко отошла от традиционного христианства, которому оставался верен Восток: «все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев», составившее богатство Запада, было уже этой «развилкой» предвосхищено.

Конечно, расхождение в данном вопросе не явилось результатом одного лишь келейного мудрствования; скорее, наоборот, — активно-чувственное мировосприятие этносов, осевших на Западе Евразии, подвигло богословов так сформулировать вопрос о Св. Духе, чтобы он имплицитно заключал в себе некую снисходительность к человеческой самостоятельности.

Вопрос о чистилище гораздо менее важен. Да здесь как будто и не было глубоких расхождений меж двумя сторонами. В православии тоже ведь признается некое «промежуточное состояние», в какое попадает человек после смерти, именуемое мытарствами. Разница, пожалуй, лишь в том, что в католичество человек проходит это испытание (у Данте в «Божественной комедии» оно выражается в карабкании по уступам каких-то горных высей) как бы в одиночку, а в православии — поддерживаемый молитвами тех, кто остается в живых. И еще в том, что чистилище — понятие (возведенное в ранг догмата), а мытарства — образ.

Последнее различие отразило общее расхождение в стиле богословствования между Востоком и Западом. Уже в XIII веке, пишет о. Иоанн, Запад поставил школу на один уровень со священством и царством. Богословие стало наукой. Тогда как на Востоке богословие — высший вид знания, но не как наука среди других наук. На Западе мощное развитие схоластического богословия в XII–XIV веках создало уклон в рационализм, имевший продолжение также и в сфере культуры. А греки, напоминает о. Иоанн, *«употребляли термин *θεολογία* скорее в значении созерцания Божественной Троицы, нежели в смысле умственного рассуждения о Троице»* (с. 48). Не эрудиция и ученость ставились ими на первое место, но тайнозрительное осознание Божественной истины.

На пересечении богословия и политики стоял вопрос об авторитете папы. Вослед о. Иоанну полагаю, что здесь безусловная правда была (и остается) на стороне Востока: опытное познание и переживание Бога доступны непосредственно всем христианам — в рамках сакраментальной жизни Церкви, а приписывать «кафедре св. Петра» непогрешимый авторитет в делах веры неправомерно. *«Христиане Византии, — пишет о. Иоанн, — отдавали себе отчет в том, что все люди — императоры, патриархи, священники — будут неизбежно так или иначе изменять поставленному перед ними христианскому идеалу, и потому никогда не приписывали непогрешимости никакому отдельному лицу или даже законно определенному установлению. Именно поэтому история Византийской Церкви являет бесчисленные примеры высоко авторитетных голосов, возвышавшихся против произвольных действий императоров или церковных властей»* (с. 243–244).

Заметим, что в первые века существования «кафедры св. Петра» папы еще выказывали подобающее всем христианам смирение. О. Иоанн приводит любопытный документ. Когда Евлогий Александрийский в письме к Григорию Великому (590–604) назвал его «вселенским папой», тот ответил: *«Прошу тебя, чтобы я никогда больше не слышал этого слова. Ибо я знаю, кто ты и кто я. По положению ты мой брат, по праву отец. Поэтому я не могу давать приказаний»* (с. 26). Так и первые римские цезари именовали себя *primus inter pares*...

Употребляя политические термины в экклезиологическом плане, можно сказать, что константинопольская Церковь была демократичнее римской. Примечательно, что демократические процессы на Западе начались в протестантских странах, которые порвали с римской Церковью, разойдясь с нею — прежде всего прочего — в вопросе о непогрешимости папы, и качнулись в противоположную крайность — к индивидуализму (сначала религиозному, а потом и светскому).

На пересечении богословия и культуры на Западе совершалась трансформация мироощущения, которая к середине второго тысячелетия далеко развела его с Востоком. Общим ее вектором было нарастание интереса к земным делам. На протяжении первого тысячелетия взоры христиан как на Востоке, так и на Западе были прикованы к небу: его пересекал сноп лучей, направленных от прошлого к будущему — от евангельского зачина к скорому, как тогда казалось, Второму пришествию. Земные дела смели напоминать о себе, скажем так, вполголоса.

Но эсхатологические ожидания оказались чересчур поспешными. Это стало ясно после 1000 года, в продолжение которого христианский мир напряженно ожидал конца света. Теперь люди стали больше всматриваться в окружающую жизнь: наступало время ее детализации, выявления подробностей и осмысливания их. В плане богословия оправдание христианства потребовало сооружения громоздких философских систем, для чего было привлечено античное (главным образом греческое) наследие. В плане культуры все больше пробуждалась чувственность, опять-таки равнявшаяся на античные образцы.

Сказанное относится, разумеется, к Западу, хотя это не означает, что те или иные трансформации не происходили также и на Востоке. Помнится, С. С. Аверинцев решительно опровергал распространенное среди историков мнение о духовной «неподвижности» Византии. В том, что он был прав, нетрудно убедиться даже неспециалисту: достаточно проследить за эволюцией византийской иконописи. И все же интенсивность движения на Востоке несопоставима была с той, которая проявилась на Западе, где, по выражению одного французского писателя, каждый очередной пункт назначения немедленно становился пунктом отправления.

Ускорение этому движению придала идея «совершенствования жизни», о чем справедливо писал В. С. Соловьев. На византийской стороне тоже, как мы видели, периодически обострялось внимание к земным делам, но идея «совершенствования жизни» не получила там развития.

Ввиду успехов, которые демонстрировал на этом пути Запад, «культурная гордость» Византии, как утверждает о. Иоанн, была сломлена. Что по своему тоже способствовало укреплению авторитета монашества.

По мнению о. Иоанна, как раз Ферраро-Флорентийский собор, призванный объединить две Церкви, явился «точкой» максимального их удаления друг от друга. Приехавшие в Италию греки окунулись в атмосферу, уже разительно отличавшуюся от той, к которой они привыкли. Разница ощущалась даже в тех обителях, где проходил собор и где собирались, естественно, одни только клирики и богословы. О. Иоанн приводит бормотание одного из членов византийской делегации: *«Почему Аристотель Аристотель? Никакого толку от Аристотеля»* (с. 74). «Своих» язычников греческие богословы к тому времени знали гораздо меньше, чем их западные коллеги.

Порою взаимонепонимание заходило так далеко, что впору употребить в этом контексте написанные по другому поводу строки Н. Заболоцкого:

Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.

И если греки все-таки пошли на заключение унии (от которой, впрочем, сами же очень скоро отrekliсь), то это потому, что у них, как они решили, не было выбора: к тому времени «Ганнибал», размахивающий ятаганом, уже стоял у ворот Константинополя.

О. Иоанн, однако, обращает внимание и на такой факт: даже в тот момент никакой абсолютной дихотомии между Востоком и Западом не было. По его мнению, собор мог бы протекать несколько иначе, если бы на нем были полнее представлены францисканцы и рейнские мистики, которым восточное богословие было гораздо ближе и понятнее, чем прочим католикам. В ином плане явно «восточные» тенденции обнаружило соборное движе-

ние на Западе, поставившее под вопрос авторитет папской власти⁵; парадоксальным образом как раз Флорентийская уния укрепила институт папства.

С другой стороны, в Византии в последний период ее существования обозначилось встречное движение в сторону Запада. Влиятельный митрополит Никейский Виссарион выступил за «реабилитацию», по примеру Запада, греческой философии, в рамках которой, как он считал, нашло воплощение христианское Откровение. Взгляды Виссариона разделял митрополит «Киевский и всея Руси» Исидор. На некоторые круги в Константинополе также произвело впечатление движение наук, искусств и ремесел на Западе, как и вся культурная атмосфера Ренессанса.

Весь комплекс труднейших вопросов, разделивших ее с католическим Западом и оставшихся нерешенными, Византия завещала России.

Концепция Третьего Рима была сформулирована иноком Филофеем в 1523 или 1524 году, спустя примерно семьдесят лет после падения Константинополя, и удивляться можно только тому, что она не возникла раньше. Потому как для тогдашней Руси она была вполне естественной и органичной. Не только русская Церковь полагала себя частью византийской, но и политическая Русь ощущала себя в некотором смысле частью империи, пусть не фактически, но виртуально. Конечно, никакой реальной властью император на Руси не обладал, но литургическое поименование его в русских церквях было обязательным. В самом Константинополе всех восточных христиан, а значит, и русских, называли «ромеями» (римлянами). А как жить «ромеям» — без Рима?

Но что реально унаследовала Русь? «С изумлением, — пишет о. Георгий Флоровский (кстати, учитель о. И. Мейендорфа), — переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую и молчаливую. И недоумевает, что это. Молчит ли она и безмолвствует в некоем раздумье, в потаенном богомыслии, или в косности и лени духовной, в мечтаниях и полусне?»⁶ Безусловно, в некоторых отношениях Русь достойно продолжила традиции византийского православия (это показывает и о. Г. Флоровский), и в ее безмолвии было также и византийское начало, — я имею в виду священнобезмолвие заволжских отшельников (хронологически это скорее переходный период от киевского к московскому), непосредственно продолживших традицию «исихастского возрождения». С этим удивительным явлением «русской Фиваиды» связана и не менее удивительная школа А. Рублева в иконописи.

В других планах, однако, Русь не удержалась на высоте Византии. Прежде всего это касается вопроса взаимоотношений между Церковью и государством.

Русский опыт в этом плане сильно отличен от опыта первых двух «Римов». Тысячелетие христианства на Руси делится на два примерно равных периода: первый из них можно назвать условно киевским (митрополит всея

⁵ Под влиянием схизмы 1378 года собор в Констанце, проходивший в 1414—1418 годах, высказался за верховенство Вселенских соборов.

⁶ *Прот. Георгий Флоровский*. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 1.

Руси до 1470 года именовался «Киевским»), второй — московским. В киевский период Русь духовно окормлялась из Константинополя. О. Иоанн внятно говорит об этом факте, который историки националистического направления обычно затушевывают. Предметом «национальной гордости» считается олегов «шит на врата Цареграда», хотя этот малозначительный, по сути, эпизод юношеского молодчества не идет ни в какое сравнение с значительностью «духовного шита», которым Константинополь покрыл Русь.

В первые два христианских столетия почти все митрополиты «Киевские и всея Руси» были греки; начиная с XIII века (и до 1470 года) — попеременно греки и русские, но и русские ездили за благословением в Константинополь. И было определенное благо в том, что русская Церковь управлялась из-за моря: так она возвышалась над государством и над удельными князьями, которые с течением времени все больше растаскивали его по частям. И когда оно окончательно распалось под ударами монголов с востока и литовцев с запада, только в церковном сознании Россия (Rusia) сохраняла свою виртуальную целостность.

А в московский период русская Церковь подпала под власть государства и фактически никогда уже (исключая разве что короткий период после февраля 1917 года) из-под нее не выходила. В результате сильно понизился авторитет митрополитов (с 1588 года — патриархов). В тех редких случаях, когда глава Церкви пытался противопоставить ее власти, дело кончалось или трагедией, как это было со св. митрополитом Филиппом, или отстранением от места, как это произошло с патриархом Никоном.

Отчасти по причине своей подчиненности государству русская Церковь не сохранила модус вселенскости в той мере, в какой это было свойственно Церкви константинопольской. Первые два «Рима» как отмечает о. Иоанн, видели друг в друге близнецов, а не соперников. И испытывали «фантомные боли» вследствие разъединения. И своей задачей-максимум ставили объединение как на уровне Церквей, так и на уровне светской власти.

А Русь, оторвавшись от матери-Византии, замкнулась в себе. Будто пыталась сама в себе разобраться. В определенной мере о самозамыкании можно говорить даже применительно к русской Церкви, в которой греческое Предание во многом было заменено отечественным. В 1588 году концепция Третьего Рима была канонизирована Церковью в формулировке о. Филофея, где момент отрыва от первых двух «Римов» столь же важен, как и момент преемственности. И может быть даже, момент отрыва важнее.

О. Иоанн ставит интересный вопрос: что было бы, если бы константинопольский патриарх Иеремия, посетивший Москву в 1588 году, принял сделанное ему предложение переселиться во Владимир, который, таким образом, стал бы кафедрой вселенского патриархата? Конечно, такая демонстрация преемственности прибавила бы авторитет Московскому царству на международном арене. Но вряд ли этот шаг существенно изменил бы, — если не при жизни Иеремии, то во всяком случае при его преемниках, — ситуацию внутри русской Церкви, равно как и в ее отношениях с государством.

В еще большей мере самозамыкание характерно для государства, которое строилось как национальное государство, а отнюдь не как вселенская империя. Отчего концепция Третьего Рима даже в филофеевской форму-

лировке нашла у московских великих князей, а позднее царей, скорее полу-признание, нежели полновесное признание.

Чтобы стать достойной наследницей и, так сказать, соперницей в вечности первых двух «Римов», Россия должна была проделать долгий путь, и проделал он под знаком секуляризации по европейскому примеру, начавшейся еще в допетровскую эпоху, но получившей мощный толчок при Петре I. Движущей силой на этом пути стала внешняя экспансия.

Кажется, никто еще не обратил внимания на тот факт, что идея *translatio imperii* пробудилась примерно в конце второй трети XIX века одновременно в двух странах, двух крупнейших мировых империях Нового времени — Великобритании и России. Очевидно, обе империи впервые по-настоящему осознали себя как многонациональные. Это произошло как вследствие продолжающегося их расширения⁷, так и потому, что национальная идея занимала все большее место в общественном сознании. Это относится и к господствующей нации, и к тем нациям, которые она в своих границах перемалывала или пыталась это делать. Национальной идее следовало противопоставить имперскую идею. Именно с такой целью в России была извлечена из «запасников» концепция Третьего Рима (в 1861 году были заново опубликованы Послания о. Филофея), «взятая на вооружение» текущей публицистикой и историософией. Только теперь земное содержание, земные устремления явно в ней преобладали.

Но за блестящим фасадом все более секуляризирующейся империи в России постепенно созрел, как выразился Достоевский (устами Версилова в «Подростке»), *«какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех»*. Всеохватывающая русская мысль, столь ярко раскрывшаяся сначала в художественном, а затем и в религиозно-философском творчестве, пройдя через европейский искус и впитав все богатства западного духа, кружным путем вернулась к византийским истокам, заново осмысливая их и переосмысливая.

К несчастью, этот процесс был прерван революцией и возобновляется, худо-бедно, только теперь. Ставя православие во главу угла нашего развития, мы неизбежно у-сваиваем (делаем своим) византийское наследие, а вместе с ним и контрверзу, разделившую Константинополь с Римом.

И здесь мы можем констатировать, что во многих отношениях далекая Византия и сегодня служит нам примером. Я не имею в виду внутрицерковные дела (богослужебные в первую очередь), где преемственность естественна и непреложна. Но взять такой вопрос, как отношения Церкви с государством, — разве византийский идеал «симфонии» не продолжает оставаться идеалом? (При том, конечно, что место императорской власти должно занять свободное общество.) Хотя, как показывает вся история Византии, это был именно идеал, а на практике меж ними складывалось скорее «неустойчивое равновесие»; но и таковое, мнится, является достойным целеполагания.

⁷ Великобритания только в 1858 году включила в состав своей империи гигантскую Индию, до этого считавшуюся «частным владением» Ост-Индской компании, а Россия после неудачной Крымской войны ускорила движение в азиатском направлении.

Или взять богословие. Хотя западный логический инструментарий в большой мере освоен православным богословием, тем не менее в основе его остается византийская традиция, выше любой учености ставящая таинозерительное осознание Божественной Истины.

А вот «роковое» *filioque* и сегодня остается вопросом вопросов. В свое время эта формулировка санкционировала движение в направлении «совершенствования жизни», с течением времени принесшее многочисленные плоды, а в некоторых отношениях даже «сказку сделавшее былью». И ею же был открыт путь к человекобожеству, все последствия которого заставляют теперь говорить о близящемся конце света. И как постановка этого вопроса в свое время была внушена всем опытом жизни, так и сегодня он должен решаться с учетом всего опыта жизни.

Да, тяжела шапка Мономаха! Нелегко в наше время быть Третьим Римом, — если уметь совмещать мирское и священное содержание этого понятия. Зато сколь велика должна быть преобразующая его сила!

Мне уже приходилось писать, что Третий Рим — «имя», «знак» идеи, созданной как бы «на вырост»⁸. В развитие этой мысли уточню, что в знаменитой формулировке о. Филофея *«Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти»* только средняя ее часть («а третии стоит») заключает в себе зерно, предназначенное «на вырост»; а то, что ей предшествует и за ней следует, не выдерживает критики. О. Филофей был наделен пророческой интуицией, но был при том малообразованным человеком (сам о себе сказал: *«Язь сельскои человекъ,— учился буквам, а еллинскихъ борзостей не текох»*) и что происходило и происходит в первых двух «Римах», из своей псковской глуши представлял смутно. Говорить, что Первый Рим «пал» (о. Филофей не империю имел в виду, а «кафедру св. Петра») только на основании некоторых догматических разногласий с ним никоим образом нельзя. Как бы они ни были серьезны. И если *filioque* — ошибка, кто может сказать с уверенностью, что эта ошибка не была угодна Богу?

Что касается Второго Рима, то нельзя было постоянно ставить ему в вину Флорентийскую унию, потому как сам же он от нее и отрекся. Другое дело, что с момента турецкого нашествия константинопольская кафедра вынуждена была вести постоянную борьбу за выживание и фактически утратила значение вселенской. Но именно поэтому говорить, что Второй Рим «пал», было просто нетактично. Кстати, во всех православных церквях константинопольскому патриарху до сего дня оказывают формальное почтение, именуя его Вселенским и ставя на первое место среди всех православных патриархов.

Наконец, категорическое утверждение «четвертому не быть» грешит излишней самоуверенностью, не личной, но национальной. Чему быть и чему не быть, никому из смертных знать не дано.

Третий Рим не нуждается в умалении первых двух, равно как и того, что, может быть, придет ему когда-нибудь на смену. Дай-то нам Бог еще заслужить это гордое имя. Что с нынешними нашими слабыми силами совсем не просто.

⁸ См. *Каграманов Ю.* И все-таки Третий Рим. — «Главная тема», 2006, № 9.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА СИОН

Дмитрий Радышевский. *Универсальный сионизм.*

Тель-Авив, 2006

1

Почти сто лет назад Михаил Осипович Гершензон написал статью «Судьбы еврейского народа» — статью блестящую, глубокую, умную, как, впрочем, и все, что выходило из-под его пера и что так восхищало и одновременно пугало (евреи вытеснят русских из литературы!) Василия Васильевича Розанова, аттестовавшего своего *почти* друга «лучшим историком русской литературы». Сегодня весьма кстати вспомнить эту статью, главной своей темой и болью так тесно связанную с недавно вышедшей книгой Дмитрия Радышевского, так резко, от первой до последней строки этой книге противостоящую — и вместе с тем парадоксально близкую своим заключительным мечтанием.

Замечу, что от слова «сионизм» многих наших соотечественников кидает в дрожь — и совсем напрасно. Значение бранного национально-политического ярлыка *сионизм* приобрел в черном свете вставшей над Россией советской зари. В этом качестве он существует и по сей день, выскакивая, как жаба, из речей больших и малых политических, военных и церковных спасителей Отечества, — понятно, от кого и от чего. В действительности же сионизм — это не что иное, как возникшее (если считать от Теодора Герцля¹) на рубеже XIX–XX веков движение евреев за создание своего государства на своей исторической родине.

Далеко отнесенный от Гершензона *рекой времен*, Радышевский стремится осмыслить миссию постсионистского Израиля, народ которого ценой громадных усилий создал свое государство и отстоял его независимость в трех кровопролитных войнах. Публицист, литератор, общественный деятель, Радышевский смотрит на мир *религиозно*, находя в нем явственные приметы непрекращающейся битвы Бога с Его извечным противником, битвы, мистическим центром которой он считает Израиль. Людей, вырабо-

¹ Теодор Герцль (1860–1904) — основатель политического сионизма и убежденный сторонник создания еврейского государства.

**Александр
НЕЖНЫЙ**

— родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. В годы перестройки оказался одним из первых публицистов, отстаивавших в печати интересы верующих и свободу совести. Автор 15-ти книг художественной и документальной прозы и множества статей, направленных против антисемитизма, ксенофобии и нравственного упадка религиозной жизни в современной России. Живет в Москве.

тавших подобный взгляд долгим и упорным подъемом на духовный Эверест, на белом свете, к несчастью, удручающе мало. Само собой, я не беру в счет тех, кто выходит с православным мечом против ИНН, либо крушит гидру экуменизма, — это, увы, слепые, ведомые слепыми же. Я говорю в данном случае о взгляде или, точнее, о мышлении, выпестованном острым ощущением реального присутствия Бога в нашей самой что ни на есть повседневной жизни. Современные политики слишком прагматики, слишком себялюбцы и слишком лишены даже крохотной искры божественного огня, чтобы обладать прочной религиозной основой. С большим или меньшим искусством она может быть подменена либо воспламеняющим невежественную толпу фанатизмом, либо приятной обывателю маской в виде постного выражения лица и неизменной свечки в руках, либо какой-то, черт ее побери, расчетливой теплорасчетливостью, играющей в веру, будто Ноздрев в шашки. Вот почему наши вожди лишь кажутся умными; на самом же деле, в своей глубинной сущности они банально глупы или, во всяком случае, не-мудры. Господин дьявол прекрасно владеет искусством представлять глупцов умниками. Настоящий ум должен пройти купель подлинно-религиозного мироощущения. Таким умом (я полагаю) умны были Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Андрей Дмитриевич Сахаров (анонимный христианин, как назвал его покойный о. Сергей Желудков, воистину священный и воистину дерзновенный раб Божий, не боявшийся ступить далеко за пределы традиционного и потому полудохлого благочестия)... Не возьмусь утверждать, что стремление Радышевского найти основную — религиозную — составляющую в причинно-следственных связях нынешнего мира всегда безупречно. В его историософских построениях иногда бывают заметны обрывы, риторика, отсутствие той поистине железной логики, с какой он показывает, к примеру, пути решения кровавой драмы Ближнего Востока — палестинско-израильского противостояния. Но все это искупает его проросшая откуда-то из самой духовной глубины непоколебимая вера в непреложность Божественных обетований о судьбах Израиля. *«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: “Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое”»* (Иер 31:10).

2

Гершензон, иудей по вероисповеданию (но не по религиозному чувству, а, скорее, по благородному чувству собственного достоинства: вы хотели бы, чтобы я ради чечевичной похлебки профессорства продал первородство отцов, но я не Исав, и вы этого никогда от меня не дождетесь!) и, по собственному признанию, еврей *«и социально, и субъективно-психологически»*, сто лет назад объявил себя решительным противником сионизма. Он утверждал, что сионизм исходит из глубочайшего заблуждения о назначении, смысле бытия и духе еврейского народа. Бездомность, говорил он, вродена еврейскому народу; всякое мало-мальски длительное и более или менее безбедное его существование (в Испании или в России) всегда чревато трагедией. Благоденствие — не для него. *«Мой народ несчастен, гоним, рассеян: от этого он ведь не хуже других. Напротив, его судьба тем и прекрасна,*

что она такая особенная...»² И далее: «...он оторвался от своей земли и пошел по миру, чтобы жить бездомно: больные отрывы, кровоточащие раны — но он так хотел неутолимым хотением <...> он отказался потом и от драгоценнейшего достояния — национального языка»³. Гетто, по Гершензону, в извечном смысле — благо; кровавые погромы, насилие, изгнание — во благо, ибо если «*корни крепнут, позже их будет трудно вырвать*»⁴. Народный дух, народная воля (излюбленные метафизические образы Михаила Осиповича), они и только они творят историю избранного народа. Они в урочный час тайнообразующе призывали «...*Тита разрушить его* (еврейского народа. — А. Н.) *царство, крестоносцев — избивать его сыновей и в Вормсе и Кельне, Филиппа — изгнать их из Испании, кишиневскую чернь — громить их дома*»⁵. Было у Гершензона и предвидение, о котором он не без волнения вопрошал: сказать ли его? И сказал, не дрогнув: и Торе как последней объединяющей евреев галута⁶ силе придет конец. «*Как ни прижимай к груди туго свернутый свиток закона, он вырвется из объятий, развернется и улетит в небо, как змей*...»⁷ Но для чего все это? Для чего по доброй воле или по какой-то неосознанно-тайной склонности народ должен был превратиться в подобие перекасти-поля, приняв вместе с ярмом изгнания язву вечного страдания? Гершензон, как я уже говорил, отвергает сионизм. Он для него есть еще одно проявление нелюбимого им пристрастия народов к своему, к национальному. Михаил Осипович и Розанову писал: «...*тяжело мне видеть в вас, что вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством*». Еврейский же народ — в силу показанных Гершензоном и весьма кратко и бегло изложенных мной исторических и, ежели желаете, мистических условий — первым раз и навсегда сбросит с себя отягчающий горб национальности и первым войдет в царство духовной свободы. И это будет его пророческий урок всемирному человечеству.

Век — или чуть менее — миновал. Приложившийся к своему народу в 1925 г., Михаил Осипович застал первые раскаты русского Апокалипсиса (революцию Пятого года), откликнулся на них статьей в знаменитых «Вехах», а затем воочию увидел тот, по его словам, «*безвыходный тупик*», к которому шла и в котором, в конце концов, оказалась Россия. Но свое теоретически-отрицательное отношение к сионизму он подтвердил, если позволительно так выразиться, практически: оставив России своего сына, Сергея Михайловича, вступившего на стезю чистой науки, ставшего крупным генетиком, академиком, орденоносцем и даже Героем (Социалистического Труда — накануне краха СССР, в 1990 г.) и скончавшегося всего-навсего девять лет назад. Кровавые корчи, коими изобиловал минувший век, всплески

² Гершензон М.О. Судьбы еврейского народа. В кн.: *Тайна Израйля*. СПб., 1993. С. 481.

³ Там же. С. 487.

⁴ Там же. С. 489.

⁵ Там же. С. 488

⁶ Галут — изгнание, вынужденное пребывание еврейского народа вне Эрец-Израйля — страны Израйля.

⁷ *Тайна Израйля*. С. 492.

юдофобии, антисемитизм, ставший гласной государственной политикой нацистской Германии и негласной — СССР, трагедия еврейского народа — все это изменило настроение даже самых пылких сторонников идеи *ассимиляции*, заставив их задуматься о возвращении на Сион.

3

У писателя возникает подчас безумный соблазн, может быть, не столько пророчества, сколько предсказания будущего. У Лермонтова есть потрясающее стихотворение, которое так и называется: «Предсказание» —

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь... —

и которое в ряду многих литературных попыток отдернуть завесу времен выглядит наиболее состоявшейся. Связано это прежде всего с апокалиптическим строем стихотворения («*И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное...*» [Откр 15:1]), со свойственным всякому апокалипсису достаточно общим предчувствием, картиной впечатляюще (до ужаса) ясной, но не имеющей каких-либо историко-временных указателей. Нерон ли и его грядущее явление предстояли взору автора «Откровения», Наполеона ли видел Михаил Юрьевич: «*И будет все ужасно, мрачно в нем...*», — с большей или меньшей вероятностью мы можем об этом лишь догадываться. Главное в другом — в той мистической и вместе с тем глубоко художественной силе изображения грядущего, которое вызывает в смятенной, но и просветленной человеческой душе, в душе, пережившей *катарсис*, обжигающую мысль, что именно так все и будет.

Именно так, собственно, все и было, именно к этому, собственно, все и движется.

Но когда писатель пытается дать образ будущего в его конкретных исторических, политических и национальных чертах, то тут даже людей великого ума и дарования непременно поджидают оглушительные промахи. Горячо мною почитаемый Василий Васильевич Розанов не видел, к примеру, в евреях ни солдата (ранец ему тяжел), ни земледельца. Оказались же они доблестными воинами, мужественно защищавшими Советскую Родину (133 Героя Советского Союза и четверо — дважды Герои за подвиги в Великой Отечественной войне), отважно сражавшимися за Израиль и превратившими пустыни Земли обетованной в цветущие и плодоносящие сады. Федор же Михайлович Достоевский крепко ошибся в своих предвидениях судеб католичества. И атеизм, и коммунистическая идея, и революции — всем этим, если верить Достоевскому, чревато католичество. Все собаки в Риме зарыты. «...если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино»⁸. Все не так, не правда ли?

⁸ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. Л., 1983. С. 160.

Вспомним хотя бы фатимские откровения Пресвятой Богородицы и вызванные ими послания Святого Престола с их безусловным осуждением коммунизма и порожденных им заблуждений. Коммунизм, сказано в одном из этих посланий, «*ничего святого... не признает; захватив власть, он выкалывает себя настолько жестоким и бесчеловечным, что трудно представить себе что-нибудь более невероятное и чудовищное*»⁹.

Гершензон с его утопией антисионизма, таким образом, не первый и не последний.

А Радышевский с его, как ни крути, тоже утопией, — но сионизма универсального? Радышевский с его идеей превращения «*Израиля в истинный Сион... высокий и вдохновляющий пример совершенного социального организма, то есть общественного устройства, в котором освящены, проникнуты духовной любовью все сферы жизни*» (выделено автором. — А. Н.)?¹⁰ Радышевский, называющий Израиль (не тот, который существует ныне, а тот, которым он может и должен стать) «*пилотным проектом человечества*»? Не очень, на мой вкус, удачно, зато понятно: если Израиль сумеет достойно ответить на призыв Господа, то у всех остальных стран и языков появится образ высокой духовной и достойной материальной жизни. Два пути различает в истории Радышевский. Путь Вавилона, — иными словами, тоталитарной идеологии, путь империй и диктаторов всех мастей. И путь Иерусалима — «*путь Божественной мудрости и Божественной любви. Это путь добровольного постижения человеком законов Божьих и добровольного объединения с другими людьми и народами...*»¹¹ Не кажется ли вам, что в этом есть нечто от Николая Федоровича Федорова? Преодоление разделяющей людей розни есть первый шаг к реальному воскрешению всех сошедших в землю поколений («Философия общего дела»). Так далеко Радышевский не замахивается, но при этом непоколебимо уверен, что создание (воссоздание) Третьего Храма (он понимается как Новый Израиль) возможно лишь после преодоления межобщинной розни, после национального покаяния и осознания неповторимой роли и уникального значения Израиля в судьбах остальных семидесяти языков земного шара.

4

Гершензон восставал против сионизма еще и потому, что подозревал в нем силу, способную возродить в Палестине еврейский национализм, заранее ненавистный ему как еще одно проявление национализма всемирного. Великого жертвенного избранничества не будет, а будет «*специфически еврейский быт и строй*». Сионизм в толковании Радышевского ставит отчасти близкие по своей сути вопросы (я бы осмелился сказать: а la Константин Леонтьев, глубоко презиравший всякую пошлость и всякое принижение идеала). Для чего судьбой Израиля Бог — через своих пророков — говорил со всем человечеством? Для чего были разрушены два Храма, во имя чего случилось вавилонское пленение? Во имя какой цели был вымощен

⁹ Папские послания о положении трудящихся. Рим, 1942. С. 84.

¹⁰ Универсальный сионизм. С. 37.

¹¹ Там же. С. 10.

беспримерными страданиями исторический путь еврейского народа? И могут ли быть просто так, исключительно по злой человеческой воле, обращены в серый пепел шесть миллионов сынов и дочерей Израиля? Какой смысл вложил Бог в эту лютую казнь избранного Им народа? Только для того, чтобы устроиться, — по Гершензону, — своим *еврейским бытом и строем*? Или, — по Радышевскому, — евреи две тысячи лет стремились вернуться на Сион, чтобы теперь, в XXI веке осуществить наконец заветную «калифорнийскую» мечту «маленького Изи»: домик (чтоб не стыдно было перед соседями), шорох волн и безмятежное житье-бытье?

Беда современного Израиля сродни беде нашего Отечества: пепел Класа не стучит нам в сердца, историческая память дремлет и в смутных сновидениях отдает себя во власть невообразимым химерам; замученные поколения забыты, жертвам «красного» и «коричневого» фараонов по торжественным дням играют гимн, между тем как сокровенные помыслы большинства граждан устремлены к «котлам с мясом» разных видов, сортов и размеров. Но «котел с мясом» (коли уж невмочь без него «маленькому Изе») можно было получить и в гетто (помните ропот сынов Израилевых на Моисея и Аарона, увлекших их из рабства — на свободу: *«о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!»* [Исх 16:3]), и уж тем паче — в ассимиляции, в среде других народов. Но горе народу, для которого «котел с мясом» стал идеей! Богатство, изобилие и сытость хороши лишь тогда, когда они не становятся самоцелью. Тем более они не могут быть руководящей мыслью для народа, взысканного особой, требовательной, ревливой любовью Бога. *«В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь»* (Ис 54:8) Поэтому, утверждает Радышевский, сионизм нельзя рассматривать исключительно как *«национальное движение за национальный очаг и за то, чтобы евреев, наконец, оставили в покое. Цель неверна, поэтому очаг все время падает и евреев в покое не оставляют. Сионизм — это движение за спасение всего человечества»*¹².

Слово сказано. Спасение всего человечества — не меньше и не больше. Как? Возникший благодаря мировому сионизму и политической воле своих первых руководителей, нынешний Израиль вряд ли способен стать тем источником духовного света, вослед которому двинутся все народы, малопомалу сбрасывая с себя путы недоверия друг к другу, взаимной ожесточенности и ненависти. Чем выше поставленная Создателем перед народом задача, тем катастрофичней всякое отступление от нее. Исходя из этого, Радышевский взглядывает окрест себя и видит картину, как небо от земли, далекую от величественного и трогательного зрелища выполнения Израилем своей вселенской миссии. Он видит, по словам Хомякова, полные черной неправдой суды, разъявшую государство коррупцию, близорукую трусливость политиков, ни об одном из которых — увы — нельзя сказать, что он исполнен духа царя Давида, с горечью наблюдает разобщенность народа, особенно губительную под дамокловым мечом терроризма и постоянной

¹² Там же. С. 37–38.

угрозы военного нападения. Тело Израиля — государство — «Новым духом... не наполнено. А тело без духа — труп»¹³. Таков приговор, который выносит Радышевский современному состоянию Израиля.

5

Что ж, сбылась — в отрицательном смысле — утопия Гершензона, и сионизм явил городу и миру свою историческую и духовную несостоятельность? «Универсальный сионизм» дает ответ с прямо противоположным знаком, что, однако, вовсе не означает неизбежного и скорого явления Нового Израиля в свете и силе библейских обетований. Глубокая религиозность Радышевского сообщает ему веру, что Земле Обетованной и ее народу в конце концов будет по силам предназначенная им общечеловеческая миссия. Но вера лишь обостряет его общественно-политический взгляд, из всех внутренних и внешних проблем страны прежде всего выделяющий одну: ее разобщенность. «Именно внутренняя разобщенность, а не палестинцы и не Иран, является для Израиля стратегической угрозой»¹⁴. Иными словами, чтобы преодолеть сопротивление Противника (во всем его сатанинском многообразии), Израилю необходимо преодолеть самого себя. Как? Ответ Радышевского нам знаком, ибо его пытались внушить грешному человечеству и Конфуций, и Будда, и пророки Торы, и апостол Иисуса Христа по имени Павел. Укоренившейся в народном сердце осознанной любовью, верит Радышевский, «мы можем достичь полноты Израиля»¹⁵.

Самые простые решения подчас оказываются наиболее трудными для реального воплощения. Сколько ни внушали человеку, чтобы он возлюбил ближнего, как самого себя, а он все равно норовит перехватить у этого ближнего место в метро, в корыстных целях обогнать его перед начальством, спалить его дом за передвинутый на пару сантиметров забор. Пролит кровь брата своего, Каин преподавал человечеству пагубный пример, которому оно подражает все с большим рвением и все с большим размахом. Такова парадоксальная диалектика нашего бытия: от света бежать во тьму.

Выпускник теологической аспирантуры Гарварда и доктор философии, Дмитрий Радышевский конечно же знает, что представляют собой корни современной цивилизации и каковы ее плоды. Но он верит — в Бога, в Его завет с Израилем, в способность еврейского народа совершить восхождение на Сион и повести за собой остальной мир. Он верит, что «русская алия» (выходцы из СССР и России), которая как свое, быть может, главное достояние взяла на историческую родину свойственный русской культуре дух всечеловечности, сумеет связать между собой все другие «колена» нынешнего Израиля. «Светские по форме и религиозные по сути (в смысле поиска во всем высшего смысла), именно русские евреи способны понять святость и светских, и религиозных: понять, принять и примирить ее в себе. <...> Русские евреи построили эту страну. Русские евреи и спасут ее»¹⁶. Он верит, что

¹³ Там же. С. 25

¹⁴ Там же. С. 33.

¹⁵ Там же. С. 33.

¹⁶ Там же. С. 52.

противостояние с палестинцами, это бесконечное кровопролитие, шахиды, джихады, обезумевшие от ненависти толпы, ислам, превращенный нечислотоплотными политиками и погрязшими в политике священнослужителями в копье против всех «неверных» и в первую очередь — против евреев, эта поистине разрывающая сердце трагедия может быть решена чисто гуманитарно. То бишь — сто тысяч «зеленых» на семью (в арабском мире арабская семья заработает такие деньги за 50 [!] лет), и большинство палестинцев, живущих сейчас в Иудее и Самарии, готовы будут покинуть обетованную Землю. Куда им плыть? Да в любую страну так называемого третьего мира, в которую они придут не с протянутой рукой нищих беженцев, а со средствами, дающими им место в среднем классе. Послушаем еще: *«Существуют 22 арабские страны и только 1 еврейская, занимающая менее 1% от общей арабской территории. 22 арабские страны занимают площадь большую, чем полторы территории Соединенных Штатов Америки. Площадь Израиля меньше, чем маленький американский штат Нью-Джерси. И этот карлик должен отдать половину своего пятачка этому территориальному гиганту, чтобы заслужить мир?»*¹⁷ Радышевский, наконец, верит, что государству евреев суждена уникальная миссия — гармонизировать Веру и Знание в новой системе мышления.

Все это, взятое вместе, и есть универсальный сионизм.

Все это и есть неуклонное восхождение на Сион.

Утопия?

Но я вместе с Радышевским почему-то верю, что ей суждено лучшее будущее, чем утопии Гершензона.

¹⁷ Там же. С. 152.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы (март – май 2007)

(Краткий обзор)

1. К вопросу о преподавании «Основ православной культуры» в школе

Закончился учебный год. Он стал первым, когда в нескольких регионах России предмет «Основы православной культуры» (ОПК) стал частью обязательной программы. Однако споры о формате преподавания религии в общеобразовательной школе продолжаются.

«Комсомольская правда» (31.03.2007) приводит мнения членов Общественного совета при Минобрнауки. Так, директор Института всеобщей истории Российской академии наук **Александр Чубарьян** высказался в том смысле, что нужно преподавать культурологию, историю мировых религий, а не Закон Божий. *«Наш институт уже разработал учебник. Экземпляры разосланы по конфессиям. Москва уже готова апробировать новый курс в своих школах. Единственное пожелание: “История мировых религий” не должна вводиться повсеместно в обязательном порядке».*

Епископ Бронницкий Амвросий, напротив, выступил против преподавания курса «История мировых религий»: *«Мы против обязательного школьного курса обо всех религиях. Должен быть включен религиозный предмет по выбору: основы ислама, православия, иудаизма и т. д. Чтобы ребенок мог выбрать сам, какую религию ему изучать. Для атеистов тоже можно подобрать вариант: например, основы этики».*

«Радио России» (06.03.2007) цитирует заявление Петрозаводской епархии, которая сообщила, что *«никто не собирается навязывать детям мусульман изучение основ православия. Речь идет только о факультативном преподавании культурологического предмета для школьников по желанию их родителей, живущих на земле своих предков и желающих передать самобытную культуру любимым чадам».* Поводом для заявления послужило выступление руководителя духовного управления мусульман региона на заседании правительственной комиссии по делам религиозных объединений.

Интернет-издание «Портал-Кредо» взяло интервью у педагога из Санкт-Петербурга **Дарьи Скрипкиной**. Победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации «Гражданское воспитание школьников» Дарья Скрипкина отметила, что *«введению предмета “Основы православной культуры” должна предшествовать серьезная подготовка: это разработка учебно-методического комплекса — учебника, рабочей тетради, книги для учителя и т. д.; серьезный подход к подготовке кадров».*

Светлана Солодовник в «Ежедневном журнале» («История веры ради пущей культуры», 04.05.2007) подробно разобрала новый учебник «Религии мира: история, культура, вероучение», который вышел под редакцией Александра Чубарьяна. *«Создатели отошли от первоначального замысла включить в него лишь сведения о верованиях, укоренившихся в России, — те-*

перь это краткая история практически всех основных религиозных традиций мира», — пишет Солодовник. По ее мнению, ничто не мешает использовать учебник для преподавания «Основ православной культуры», подключив к учебному процессу необходимые источники и дополнительную литературу.

Учебник страдает некоторой сухостью. Многие важные концептуальные моменты отечественной истории изложены слишком пунктирно. «Возможно, что некоторая концептуальная стерильность пособия — итог нелегкого компромисса», — считает автор рецензии. Солодовник не высказывает каких-либо предположений на тот счет, «как решится судьба пособия — будут по нему действительно учиться в школах или нет». Но, пишет она, «думаю, предстоит очередной виток борьбы между сторонниками общерелигиоведческого курса и поборниками “Основ православной культуры”. В любом случае, все интересующиеся религией получили как минимум добротный справочник, который поможет ориентироваться в предмете не только ученикам, но и преподавателям соответствующих дисциплин».

2. Объединение РПЦ и РПЦЗ(Л)

17 мая в храме Христа Спасителя состоялось подписание Акта о каноническом общении, в результате которого произошло воссоединение Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) и Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП). Свои подписи под историческим документом поставили патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр.

«Согласно Акту о каноническом общении, Московский Патриархат признает РПЦЗ “неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской Православной Церкви”, которая “самостоятельна в делах пастырских, просветительных, административных, хозяйственных, имущественных и гражданских”, но при этом состоит в каноническом единстве со всей полнотой Русской Православной Церкви», — сообщает агентство «Интерфакс» (17.05.2007).

«Не стоит думать, что данное событие исключительно внутрицерковное. Ведь объединяется не только церковь, но и ее многочисленная паства, разбросанная по всему миру. По сути именно сегодня будет поставлена окончательная точка в гражданской войне, разделившей русский народ на “красных” и “белых”, — пишет «Комсомольская правда» (17.05.2007).

Электронный ежедневный журнал «GlobalRus» (18.05.2007) говорит, что *«РПЦЗ — это не абстракция, это 500 тысяч вполне реальных прихожан в 40 странах мира, включая США, Францию, Германию, Австралию. Во многом речь сегодня идет о возвращении зарубежной диаспоры в орбиту российских интересов, а это не только большой успех, но и большая ответственность».*

Надежда Кеворкова в газете «Газета» («Церковь ставит точку в Гражданской войне», 17.05.2007) отмечает то обстоятельство, что приходы зарубежной церкви находятся в собственности общины, а не синода. Поэтому каждая община добровольно и независимо входит в объединение, не страшась поглощения. При этом далеко не все верующие согласились на такой шаг. Скажем, Леснинский Свято-Богородицкий женский монастырь во

Франции заранее заявил, что не войдет в объединенную церковь, несмотря на увещевания митрополита Лавра. Автор напоминает, что за рубежом священники и епископы избираются. И выражает надежду, что со временем эта практика, как и многие другие церковные обычаи (собрания, прозрачная приходская отчетность, взаимопомощь прихожан), возобладает и в Отечестве. При этом Кеворкова замечает, что тема экуменических контактов еще не раз будет подниматься в объединенной церкви. Но, как пишет автор, при всех возможных кадровых расстановках объединенная церковь от таких контактов никогда не откажется.

«Независимая газета» (18.05.2007) обращает внимание читателей на присутствие президента на торжественном подписании Акта о каноническом общении и первой совместной литургии иерархов РПЦ МП и РПЦЗ. *«Можно сказать, что политический имидж “объединителя Церкви” Владимиру Путину уже обеспечен. Подобным образом в исторической памяти царь Алексей Михайлович связан с церковными реформами Патриарха Никона, а Николай I — с попыткой объединить православных с греко-католиками (униатами)», — пишет издание.*

«Московские новости» (18.05.2007) предлагают несколько живых картинок церемонии. Вот одна из них: *«С началом литургии ряды журналистов, толпящихся за оградением, стали редеть, и их место замещали прихожане. Крыло присутствующих напротив произвольно возглавлял вечный мэр Москвы Юрий Лужков. Он стоял во главе особо привилегированных богомольцев, впереди слегка потесненной толпы, в которой мелькали среди светлых женских платков немислимые шляпки с бантами».*

И в заключение сюжета приведем высказывание **Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II** из интервью, данного им корреспонденту газеты **«Труд»** (18.05.2007): *«Наше объединение важно не только для живых, но и для мертвых. Сколько знаменательных исторических событий произошло в последние годы, сколько последних просьб и заветов сумели мы исполнить. В родной земле упокоились останки философа Ивана Ильина и писателя Николая Шмелева, генерала Антона Деникина и адмирала Александра Колчака... А останки императрицы Марии Федоровны для захоронения на родине провозжало в Александро-Невском храме в Копенгагене духовенство Русской Православной Церкви За рубежом, а встречали в Санкт-Петербурге клир и миряне нашей Церкви во главе с Патриархом. Это ли не связь времен и не единение русского народа? Это ли не знак окончательного преодоления последствий гражданской войны и великого разделения русского народа?»*

3. XI Всемирный русский народный собор

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — ежегодный форум, на который приглашаются ведущие политики, деятели культуры, представители других религий. Все они вовлекаются в орбиту «церковного осмысления» национальных проблем. В марте этого года осмысливались бедность и богатство.

Подробно о работе собора рассказала на страницах **«Ежедневного журнала»** Светлана Солодовник (**«Этика делания против эстетики вымогатель-**

ства», 12.03.2007). Собор открылся пленарным заседанием, на второй день работал по секциям, где обсуждались духовные и материальные причины бедности, перспективы экономического развития страны, русская культура как фактор единства российского общества и государства и другие проблемы. Однако в общем и целом всех выступавших на Соборе можно было бы разделить, как утверждает Солодовник, на профессионалов-прагматиков и вдохновенных профанов. *«Позиция профессионалов, пожалуй, отчетливее всего была выражена в докладе Сергея Глазьева, который назвал деградацию нашей социальной сферы, при том что на душу населения в России приходится больше национальных богатств, чем где бы то ни было, “страшнейшим провалом”. И привел цифры, которые повторялись во многих докладах: огромный, в 20–25 раз, разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных, причем треть находящихся за чертой бедности людей — это не пенсионеры и не маргиналы, а работающие люди, зарплаты которых ниже прожиточного минимума», — продолжает Солодовник. И, резюмируя, заверяет читателя: «Собор показал, что не все потеряно. Если только в России возобладает этика делания, а не эстетика вымогательства».*

Интернет-издание **«Грани.ру»** (12.03.2007) обратило внимание на состав соборян: *«Среди участников Собора можно было обнаружить немало персонажей-символов, соединяющих старую националистическую традицию с новаторской. Чего стоит одно только соседство на заседаниях классика русского национализма, бывшего директора издательства “Молодая гвардия” Валерия Ганичева с Михаилом Леонтьевым, несущим в массы свет новых мутных установок на суверенитет и отказ от низкопоклонства перед Западом!».*

Дмитрий Стешин на страницах **«Комсомольской правды»** (**«Церковь спросила: почему мы бедные»**, 07.03.2007) также поделился впечатлениями об участниках форума: *«Конференц-зал при Даниловском монастыре в Москве был заполнен до отказа людьми совершенно разных занятий, но близких по духу. Я понял это по звонкам мобильных. Они играли то “Боже, царя храни”, то “Богородица, Дева, радуйся”. Никакой пошсы». Корреспондент приводит слова митрополита Кирилла, ставшие своего рода камертоном встречи: «Первичный капитал — это то, что Бог дал нашему месту: климат, сельскохозяйдя, недра. Насколько мы готовы использовать Божий дар? Нас заставляют подписать энергетическую хартию, чтобы зафиксировать цены на наши ресурсы, данные Богом. Но почему никто на Западе не спрашивает, почему так дорого стоят “Мерседесы”? Почему Стабфонд лежит за границей? А мы летаем на старых самолетах и не знаем, чем закончится путешествие».*

Комментируя выступление главы ОВЦС, журнал **«Огонек»** (2007, № 11) обратил внимание читателей на то, что митрополит Кирилл как главный идеолог собора постоянно призывал к некоей модернизации России. Правда, она ни в коем случае не должна проходить по западным образцам, а то получится то же самое, что было с петровскими реформами и марксизмом-ленинизмом. *«К Стабфонду митрополит примеривается пока осторожно, — пишет издание. — Он лишь смиренно попросил направить совсем немножко денежек из него, “какой-то довесочек”, на такие мелочи, как модернизация промышленности, строительство дорог и социальные нужды. А там видно будет».*

Протоиерей **Всеволод Чаплин**, полемизируя на страницах «**Московского комсомольца**» (19.03.2007) с Сергеем Бычковым, привел несколько фактов и цифр, характеризующих ВРНС. В форуме, прошедшем в Первопрестольной 5–7 марта, участвовало 1910 человек, на открытии в храме Христа Спасителя было 1560 участников. На соборе «были министр культуры Александр Соколов, вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава ГПП Евгений Примаков, многие депутаты, журналисты, общественные деятели».

4. VI Пасхальный фестиваль

В апреле по всей России прошли концерты грандиозного Пасхального фестиваля, режиссером которого выступил знаменитый маэстро Валерий Гергиев. Фестиваль продлился чуть более месяца — с 8 апреля по 9 мая, и в его рамках было дано 120 концертов. Многие из них прошли в регионах.

Ольга Романцева в «**Новых известиях**» (19.04.2007) рассказала о гастролях маэстро. *«Если бы в Книгу рекордов Гиннесса вносили фамилии дирижеров, успевающих в немыслимо короткие сроки проводить концерты в разных городах, Валерий Гергиев наверняка оказался бы на первом месте,— пишет Романцева. — Четырнадцатого апреля он давал дневной концерт в Ярославской филармонии, вечером того же дня дирижировал в Костроме оперой “Жизнь за царя”. А на следующие сутки в Нижнем Новгороде вместе со своим оркестром исполнил Пятую симфонию Прокофьева. После чего маэстро собирался еще представить оперу Рихарда Штрауса “Ариадна на Наксосе”, но наполеоновский план был по традиции сорван российскими дорогами».*

Анна Эпштейн («**Новые известия**», 06.05.2007) отмечает, что «Пасхальный фестиваль на несколько дней превратил московские церкви в концертные залы, благодаря чему светская публика послушала не только русскую духовную музыку, но и редкое фольклорное пение в исполнении самых разных хоров: из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Перми, а также из Грузии, Осетии, Армении, Болгарии и Сербии».

«**Коммерсант**» (17.04.2007) среди концертов выделяет выступление хора Минина, особенно исполнение нового сочинения Гии Канчели «Little Imber», хотя оно вызвало неоднозначную реакцию у музыкального обозревателя газеты.

Завершился фестиваль, как сообщает информационное агентство «**Вести**» (www.vesti.ru), на Поклонной горе благотворительным концертом Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева. На концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, были приглашены ветераны, почетные граждане Москвы и кавалеры ордена Славы.

Всего же в Пасхальном фестивале приняли участие более тысячи исполнителей из восьми стран мира. Концерты в общей сложности посетили более 40 тысяч слушателей.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике первого квартала 2007 г.

«Русская православная церковь в 1990 году» — так называется статья **Николая Митрохина** в журнале «Новое литературное обозрение» (№ 83). Год, на котором сосредоточивает внимание автор, был для Русской православной церкви временем важных перемен, потерь и приобретений. В 1990-м состоялись первые после долгого перерыва свободные выборы предстоятеля РПЦ МП (им стал ныне действующий патриарх Алексей II). Избрание патриарха проходило, однако, в жесткой конкурентной борьбе, и кандидат-неудачник Филарет (в то время — митрополит Киевский) инициировал раскол православия на Украине. Украинский раскол стал самым крупным в новейшей истории РПЦ МП: сперва Украинская православная церковь потеряла практически все приходы на Западной Украине (в связи с легализацией Украинской греко-католической церкви), а затем и сама распалась на несколько частей. В том же 1990 году РПЦ впервые почувствовала, что ей предстоит проповедовать в совсем другой — свободной — стране, а потому необходимо пересмотреть практически всю концепцию взаимодействия с властями и обществом. И в довершение ко всему в 90-м были убиты несколько священнослужителей и в том числе отец Александр Мень.

Митрохин последовательно показывает радикальные изменения, которые произошли в Церкви. Прежде всего, была разрушена *«монополия старушек»*, составлявших в российских храмах абсолютное большинство прихожан и во многом олицетворявших (и олицетворяющих) то *«народное православие»*, во взаимодействии с которым русское православие и приобрело свои неповторимые черты: поездки по старцам, массовое поклонение народным святыням, полуязыческие обряды. После 1990-го в храмах появилась молодежь и интеллигенция, и РПЦ волей-неволей пришлось ориентироваться на новый состав паствы. Количество прихожан стремительно росло, увеличилось число храмов. Однако массовые крещения привели в Церковь людей, часто не разбирающихся в основах христианской веры, а это вновь повлекло за собой развитие «народного православия». К тому же из подполья вышли те, кто принадлежал к так называемым *катакомбным церквам*, что внесло в религиозную жизнь дополнительную неразбериху. Естественным образом возникли сложности и в кадровой политике РПЦ. Резко возросла потребность в священниках, так что зачастую рукополагали довольно случайных людей, — лишь бы не имел видимых физических и психических отклонений и более или менее регулярно посещал храм. В результате резко упал образовательный уровень духовенства. Не слишком образованные пастыри довольно легко попадали под влияние то каких-нибудь «старцев», а то и собственных прихожан, а это приводило к внутрицерковным расколам и ослабляло позицию РПЦ.

Важной проблемой 90-х стал поиск форм служения и миссионерской деятельности в новых условиях. Церковь довольно активно стала осваивать СМИ: у нее появились свои издания, а затем и сайты. Постепенно стали создаваться православные гимназии, радиостанции, братства, сестричества, издательства. В свою очередь, светские журналисты все чаще писали о православии, создавая не только положительный, но и отрицательный образ и РПЦ в целом, и отдельных иерархов. С 90-х годов все более активную роль в церкви стали играть миряне и интеллигенция, хотя сама форма управления РПЦ никак не способствовала развитию инициативы снизу. К тому же до 1997 года патриарх Алексий II в основном делал епископами лиц, придерживающихся крайне консервативных взглядов, что к концу 90-х привело к резкой политизации РПЦ, а также разделению духовенства и мирян по принципу «либералы — консерваторы». Убийство о. Александра Меня окончательно разделило православных интеллигентов на либералов и консерваторов. Последние оказались куда более многочисленны, что привело к созданию разных псевдоправославных патриотических структур, добивавшихся канонизации не только Николая II, но и таких действительно одиозных фигур, как Григорий Распутин или Иван Грозный. Одним словом, 90-й год стал исторической вехой, открывшей ту страницу в новейшей истории Русского православия, в которой мы существуем и поныне.

После 2000 года возникла реальная проблема определения места РПЦ в обществе. Бурный количественный рост православных закончился еще в середине 90-х, равно как и первоначальное деление согласно разным идеологическим установкам. Наступила некоторая стабильность. И хотя сложившаяся на сегодня ситуация достаточно сложно поддается описанию и классификации, тот же **Николай Митрохин** такую попытку предпринял («Церковь после кризиса» — «Неприкосновенный запас», № 50). По его мнению, для русского православия последних лет характерны несколько тенденций. Во-первых, хотя в крупных городах храмы теперь и посещает какое-то количество молодежи, в провинции по-прежнему большую часть прихожан составляют пожилые женщины с низким уровнем образования и доходов. Кроме того, РПЦ все более тесно сотрудничает с властями. Цель такого сотрудничества — затруднить активную проповедь нетрадиционных для России религий и сект. Но, несмотря на то, что в этом направлении достигнуты определенные успехи (так, в преамбуле к новому закону о свободе совести и религиозных объединений сказано об особой роли православия), количество воцерковленных православных невелико (и не превышает, согласно опросам, 1% от числа тех, кто называет себя верующими). В последние годы принято обвинять отдельных иерархов и священников в «экumenизме», и этот упрек становится основным ярлыком, используемым для борьбы с оппонентами. Однако в середине 90-х годов патриарх Алексий II изменил политику рукоположения новых епископов, и на место явных консерваторов пришли сторонники диалога с другими христианскими конфессиями. Кроме того, в последние годы РПЦ старается дистанцироваться от тех, кто проповедует явно черносотенные и антисемитские взгляды, и некоторые издания, раньше выходившие хотя бы внешне под эгидой церкви, теперь вынужденно определяют себя, например, так: «газета право-

славных экстремистов и маргиналов Христовых». Тем не менее РПЦ так и не выработала внятной политики по отношению к псевдоправославным националистам и оголтелым «патриотам», что позволяет этим людям прикрываться православной символикой, вводя в заблуждение как верующих, так и светское общество. А тем временем люди с высшим образованием стали негативно относиться к Церкви, которая не только не смогла в полной мере воспользоваться дарованной свободой, но и вызвала раздражение в обществе и попытками добиться для себя особых преференций, и участием (с разной степенью успешности) в масштабных бизнес-проектах, и тесным сотрудничеством с властями.

Однако, пишет Митрохин, отношения между РПЦ и государственной властью после 2000 года несколько изменились. Постепенно Путин выступил определенной дистанцией по отношению к церкви. Хотя он и дает ей участвовать в некоторых социальных проектах и способствовал воссоединению РПЦ МП и РПЦЗ, но ни одна масштабная инициатива церкви поддержки президента не нашла. Разговоры о передаче РПЦ недвижимости или имущества так и остались разговорами; в спорах по поводу введения в школах Основ православной культуры президент, внешне сохраняя нейтралитет, фактически поддержал идею о преподавании курса Истории мировых религий, и т. д.

В результате, по наблюдениям автора статьи, для нынешнего положения РПЦ характерны два неподтвержденных мифа — о безусловной поддержке церкви государством и о том, что Россия — православная страна. Смогут ли РПЦ преодолеть эти мифы или будет продолжать маргинализироваться, оставаясь в стороне от большинства общественных процессов, пока непонятно, но от ответа на этот вопрос во многом зависит судьба русского православия.

Сейчас довольно сложно представить, что чуть не до конца XIX века русский человек не мог читать Библию на родном языке. Что, работая над своим знаменитым «Пророком», Пушкин читал книгу Исайи по-французски, предпочитая этот язык церковнославянскому. Только перевод 1876 года, выполненный под руководством митрополита Филарета (Дроздова), дал возможность России познакомиться со Словом Божиим. Принципы работы с текстом, которые были положены в основу синодального перевода, разбираются в статье священника Дмитрия Юревича **«Семьдесят толковников, масореты и славяне»** («Встреча», № 1 [27]). Сначала автор дает оценку некоторым современным западным и отечественным переводам Писания, упрекая их в излишней простоте, сознательном примитивизме, а также в несоответствии православной традиции. Приходится заметить, что критерий «православности» вообще является довольно частым аргументом в спорах о богослужебных языках и переводах Писания. Но не будем забывать, что упреков в неправославности не избежал и сам святитель Филарет, оппоненты которого утверждали в свое время, что русский перевод Писания не нужен и вреден. Но это дело далекого прошлого. Сегодня синодальный перевод многим кажется едва ли не эталонным. К его несомненным достоинствам автор статьи относит то обстоятельство, что текст еврейского (т. н. масоретского) оригинала переводчики дополнили вставками как из тра-

диционного греческого «перевода семидесяти толковников» (Септуагинты), так и из славянского перевода. По мнению Юревича, органично совместить все это помогло митрополиту Филарету не столько его *духовное чутье*, сколько ориентация переводчиков на православную и святоотеческую традицию. Стоит ли добавлять, что русская библистика до сих пор страдает излишним пиететом перед традицией, что она процентов на 90 конфессиональна и старается не замечать достижений западной науки?

Что сделало христианство для Европы? Является ли религия фактором, сближающим народы? Возможно ли будущее абсолютно секулярного общества? На эти вопросы отвечает митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, выступая на конференции «Межкультурный и межрелигиозный диалог» (текст опубликован на сайте Службы коммуникации ОВЦС МП — <http://www.mospat.ru/index.php?page=36473>). Современное общество, сказал митрополит Кирилл, постоянно балансирует между двумя опасностями — анархией и диктатурой. И было бы неверным связывать тоталитаризм с религией. XX век дал примеры секулярных и атеистических диктатур, а также либеральной анархии, когда уничтожаются четкие моральные критерии, а человек лишается права назвать грех грехом. С другой стороны, современный человек одновременно боится двух противоположных вещей: в-первых, стать «как все», то есть утратить свои национальные, культурные и религиозные особенности, а во-вторых, оказаться «белой вороной». Именно религия, говорит митрополит Кирилл, сводит на нет эти проблемы. Христианство для Европы было и остается одновременно и объединяющим фактором, сформировавшим европейскую цивилизацию, и средством национальной и культурной самоидентификации (католицизм — в Польше, православие — в России). При этом крайне опасно насильственно исключать религиозный фактор из общественных процессов, поскольку современные социологи часто недооценивают его роль в формировании общественных и личных связей, а в недавнем историческом прошлом — государств и культур. В частности, именно христианство подарило России и централизованное государство, и письменность, и великую русскую культуру. Вместе с тем наличие у общества устойчивых культурных парадигм делает его более толерантным и к представителям иных культур и цивилизаций, поскольку человек, уважающий свои культурные и религиозные символы, будет с вниманием и уважением относиться и к чужим.

Еще Платон называл письменные тексты «костылями для памяти». В Античной Греции книга была символом чего-то низкого, «ремесленного», напротив, в христианской, иудейской и мусульманской традиции это священное понятие, потому хотя бы, что с помощью книги было передано Божественное Откровение. Неудивительно поэтому, что в России разговор о книге, а тем более о религиозной книге почти сакрален. Самый крупный старообрядческий раскол произошел в XVII веке не из-за чего-нибудь, а из-за «букв на бумаге». И вопрос об издании богословской литературы — принципиален для России. В интервью изданию «Православная книга» митрополит Кирилл говорит о проблемах современного книгоиздательства («Православная книга — это средство миссии и просвещения и только потом объект экономической деятельности» — <http://www.pravkniga.ru/interview/21/>).

Несмотря на то, что российская культура была во многом сформирована христианской книгой, русский народ по-прежнему в массе своей не может отличить пшеницу от плевел и часто больше доверяет штампу *«Издано по благословению такого-то»*, чем собственным глазам и голове. Между тем современное православное книгоиздательство, по мысли иерарха, страдает несколькими тяжкими недугами. Значительная часть изданий отличается низким литературным, богословским и научным уровнем. Зачастую православной литературе свойственно гипертрофированное восприятие проблем, нормальных для живущего человека, а также стремление к жесткой идеологической схеме и глубокой архаике. Такое стремление к *«преданьям старины глубокой»* не только делает невозможной эффективную проповедь в современном обществе, но и отталкивает от христианства людей, не получающих ответы на актуальные для них вопросы. В результате у православных книгоиздателей чаще можно встретить книги типа *«Огород растим с молитвой»*, чем серьезные научные и публицистические тексты. По мнению митрополита Кирилла, в последние годы наметились позитивные перемены, однако коренным образом ситуация еще не улучшилась.

Обзор подготовил Андрей Зайцев

ДОБРО И ЗЛО В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Когда обсуждаются этические вопросы, обычно цитируются политики, ученые, мыслители, писатели. И не цитируется... язык. Между тем система нравственных оценок заложена в самом языке, от которого мы получаем самые ранние и памятные уроки добра и зла. И если мы слышим слово «добросердечный», то уже само его наличие показывает нам, что сердце может быть добрым. Язык не выдвигает теорем, он состоит из аксиом, которые усваиваются почти безотчетно. Что ни слово, то маленькое поучение.

Выдающийся современный лингвист Ю. Д. Апресян указывает на глубокую содержательность языковой картины мира: *«Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (= концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка»*. В частности, из анализа лексической системы *«можно извлечь представление об основополагающих заповедях русской наивно-языковой этики»* [1].

Вот об этой «наивной», но тем более убедительной этике самого языка и пойдет дальше речь. Как представлены корни **-добр(о)-** и **-зл(о)-** в лексике русского языка? Как возвращаются они в художественном словотворчестве? Возможно ли дальнейшее словообразование с этими корнями, расширение нравственного-творческого потенциала русского языка? Таковы три взаимосвязанных вопроса этой статьи.

**Михаил
ЭПШТЕЙН**

— родился в 1951 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Филолог, философ, культуролог, лауреат премии Андрея Белого и «Либерти», член ПЕН-центра и Академии российской современной словесности. Автор четырех сотен статей и эссе, переведенных на тринадцать иностранных языков, а также почти двух десятков книг, в том числе: «Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков», «"Природа, мир, тайник вселенной..." Система пейзажных образов в русской поэзии», «Релятивистские модели в тоталитарном мышлении: исследование советского идеологического языка», «Отцовство. Роман-эссе», «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук», «Новое сектантство: типы религиозно-философских умонастроений в России», «Великая Сось: философско-мифологический очерк», «Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской культуре XX века», «Постмодерн в России: литература и теория» и др. С 1990 года живет в США, преподает в университете Эмори (Атланта).

1. Лексическое развитие языка и судьба «добра» и «зла»

В русском языке почти вдвое больше слов с первоосновой *зло-*, чем с первоосновой *добро-*. Самый обширный по числу слов «Большой толковый словарь русского языка» (СПб, Норинт, 2003, 130 тыс. слов) приводит 37 слов с первоосновой *добро-* и 63 — с первоосновой *зло-*. Впрочем, нехватка «добра» в языке возмещается избытком «блага» — 86 слов с такой первоосновой. (Как известно, «благо» и «добро» во многих случаях выступают как синонимы, например, «доброжелательный» и «благожелательный».)

Примерно таково же было соотношение этих основ и в русском языке середины XIX в., — но на совершенно другом количественном уровне. Четырехтомный Словарь церковно-славянского и русского языка, выпущенный Императорской Академией Наук в С.-Петербурге в 1847 г., содержал 114 749 слов, то есть меньше, чем самый большой современный словарь. Но нравственная лексика, — а понятия блага, добра и зла составляют основу нравственного сознания, — представлена в нем гораздо обширнее. В нем 146 слов с первоосновой *добро-*, 254 — с первоосновой *зло-* и 644 — с первоосновой *благо-*. Иначе говоря, за сто пятьдесят лет нравственная чуткость языка, его способность различать и артикулировать основные этические понятия сократилась почти в шесть раз (точнее, 5,6), с 1044 до 186 слов. Если же учесть разный объем этих словарей, то соотносительное место в них данных понятий окажется еще очевиднее: в Словаре 1847 г. этими тремя основами начинается каждое 110-е слово, в Словаре 2003 г. — каждое 699-е (в 6,4 раза меньше).

Удивительно, как мало новых слов прибавилось в русском языке за последние полтора столетия, в результате всех революций и реакций, войн и кризисов, научного прогресса и социальных катастроф, — меньше 10 тысяч. Динамика языкового развития прослеживается через объем самых полных словарей соответствующих периодов.

«Словарь Академии Российской» (6 тт., 1789–1794) содержит 43 257 слов.

«Словарь Академии Российской» (6 тт., 1806–1822) — 51 388 слов.

«Общий церковно-славяно-русский словарь» П. И. Соколова (2 ч., 1834) — 63 432 слова.

«Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Академии Наук» (1847) — 114 749 слов.

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля (1-е изд., 1863–1866; 2-е изд., 1880) — более 200 000 слов. В третьем издании под редакцией И. А. Бодуэна-де-Куртенэ (1903–1909) добавлены еще тысячи слов.

«Толковый словарь русского языка», в 4 тт., под редакцией Д. Н. Ушакова (1935–1940) — 88 239 слов.

«Словарь современного русского литературного языка», изд. Академии Наук СССР (17 тт., 1948–1965) — 120 480 слов.

«Большой толковый словарь русского языка», под редакцией С. А. Кузнецова (2003) — 130 000 слов.

Для наглядности сведем все данные в таблицу:

Год	Число слов	Добр(о)	Зл(о)
1794	43 257		
1822	51 388		
1834	63 432		
1847	114 749	146	254
1880	200 000 +		
1909	200 000 ++	195	286
1940	88 239	42	82
1965	120 480		
2003	130 000	37	63

Основные потери лексического запаса, если судить по его отражению в толковых словарях (а у нас нет более надежных источников), пришлось на первые послереволюционные десятилетия. Истреблялись не только целые сословия и пласты культуры, но и лексические пласты языка. Между 1909 г. и 1940 г. (третьим изданием Словаря Даля и Словарем Ушакова) зияет пропасть. Конечно, Словарь Даля исключителен по обилию областной и специально-промышленной лексики, по числу словообразовательных вариантов, приведенных на каждый корень («доброезжий конь, доброездок, доброезженка», «доброесердие, доброесердечие, доброесердечность» и т. п.). Но сравним сравнимое: четырехтомный академический словарь 1847 г. (114 749) содержит на 26 510 больше слов, чем изданный почти столетие спустя четырехтомный академический словарь 1940 г. (88 239). Да и самый объемный, семнадцатитомный словарь советской эпохи (1965 г.) содержит немногим более, чем словарь 1847 г. (разница — всего 5731 слово).

И такое топтание на месте — в период бурного роста лексического запаса в других европейских языках, когда, например, словарный фонд английского языка увеличился в несколько раз! Знаменитый «Словарь английского языка» Сэмюэла Джонсона, изданный в 1755 г., содержал 42 773 слова. Первое издание вебстеровского словаря в 1806 г. включало около 48 000 слов. «Американский словарь английского языка», издание которого было начато Вебстером и продолжено под его лексикографической маркой, выросло до 70 000 слов в 1828 г. и 114 000 в 1864 г. Далее: 1890 г. — 175 000, 1900 г. — 200 000. Как видим, в XIX в. лексический запас русского и английского языков и его отражение в национальных словарях растут примерно одинаковыми темпами. Но уже второе, «полное» издание вебстеровского «Нового международного словаря английского языка» (Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged), вышедшее в 1934 г., содержало примерно 600 тыс. слов. В этот исторический пе-

риод — в первые десятилетия XX в. — происходит решающий разрыв между лексическими запасами двух языков и, соответственно, объемами их лексикографического описания. В то время, когда объем русского языка под давлением советского «новояза» сокращается, английский язык стремительно растет. Сравнение двух почти одновременно вышедших словарей говорит само за себя: 88 тыс. в ушаковском (1940) и 600 тыс. в вебстеровском (1934). По сравнению с концом XIX в. лексический запас русского сократился примерно вдвое, а запас английского вырос примерно втрое: шестикратная разница. Правда, 3-е издание вебстеровского словаря, вышедшее в 1961 г., пользовалось более жесткими критериями отбора и содержало 450 тыс. слов. Но и это почти в четыре раза превышает объем изданного примерно тогда же самого большого, 17-томного академического словаря советской эпохи — 120 тыс. (1965) [2].

Конечно, никакой словарь не может отразить всего лексического богатства языка. Но здесь дело обстоит так же, как с демократией: это плохая политическая система, но все остальные еще хуже. Точно так же и словари: они не отражают языка в его полноте, но нет более точного средства судить о состоянии языка, чем его самые полные словари. Можно провести эту параллель и дальше. Как говорится, каждый народ имеет такое правило, какого он заслуживает. И у каждого языка — те словари, каких он заслуживает. Если нынешние самые большие толковые словари английского языка (оксфордский и вебстеровский) насчитывают в совокупности почти миллион слов (разумеется, без учета медицинских, ботанических, химических и прочих терминов, место которым — в отраслевых и энциклопедических словарях), то эту разницу нельзя приписать только успехам англо-язычной лексикографии. Это более или менее точное отображение лексического состава английского языка, динамики его развития.

Что касается России, то в XX веке понесло страшные убытки не только ее население, но и язык: лингвосфера сокращалась одновременно с демосферой и примерно такими же темпами. Особенно поражают масштабы сокращения тех словообразовательных гнезд (**добро** и **зло**), которые веками наращивались вокруг самых «мировоззрительных» корней языка. Наибольшее сокращение опять-таки наблюдается между дореволюционными словарями (академическим и далевским) и первым большим словарем послереволюционной эпохи — ушаковским (1940 г.). С основой **«добро»** у Ушакова осталось 42 слова (195 у Даля), со **«зло»** — 82 (286 у Даля). В последующие советские десятилетия эти гнезда редели и дальше, но уже ненамного: основное богатство было вышиблено из них за двадцать послереволюционных лет.

Все шло точно по программе, описанной Дж. Оруэллом в романе «1984» (часть 1, глава 5). Говорит персонаж романа Сайм, филолог, составитель словаря новояза: *«Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа — придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова — десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. <...> Знаете ли вы, что новояз — единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается?»* Эта процедура сокращения едва ли не в первую очередь относится к нравственным понятиям. *«В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами, а по сути, двумя».*

Многие из потерянных слов могли бы вернуться в современный язык и обнаружить свою неустарелость, а может быть, и еще большую востребованность. Добро легче бы воспринималось и укоренялось, а зло скорее бы опознавалось и искоренялось, если бы в запасе у нас были такие слова из Словаря 1847 г.:

добромыслие
доброплодие, доброплодный
добродей, добродейка
добролюбие, добротолубие, добролюбивый, добролюбец
добромужественный
добропослушный
добрословие, добрословить
добротворение, добротворный

злоумие, злоумный, злоумствовать
зломудрие, зломудрый, зломудрствовать
злострастие, злострастный
злотворный, злотворство, злотворение
злосовестный
злосоветный, злосоветник
злославный, злославить
злообразный
зловольный

К этому списку можно добавить еще и некоторые слова, отсутствующие в академическом Словаре 1847 г., но внесенные в Словарь В. Даля:

Добродумный, добродумчивый, добромысливый, добромысл, кто помышляет о благе, о добре, у кого добрые помыслы.

Злоимный, злоимчивый, кто легко принимает зло либо склонен перенимать худое.

Злоискатель, кто ищет зла, где его нет, подыскивает или открывает небывалое зло.

Злокипучее сердце, кипящее злом.

Зломочный, зломогучий, зломогущественный.

Обратим внимание на то, как асимметрично сохранились в языке образования от этих двух корней. Есть слова «злодей» и «злословить», а вот «*добродей*» и «*добрословить*» утратились, хотя очевидно, что «*добродей*» (делающий добро, живущий добродетельно) — не менее важное понятие, чем «злодей». И если можно «злословить» о человеке, то не менее заслуживает обозначения и способность *добрословить*, то есть хорошо говорить, отзываться о ком-то.

С другой стороны, некоторые образования с первоосновой «добро» сохранились, а их «злые» соответствия утратились. Например, есть «добросовестный», «добросердечный», «добровольный» и «доброжелательный», но выпали из языка «злосовестный», «злосердечный», «зловольный» и «зложе-

лательный», хотя они отражают глубокую реальность человеческой природы. Многие дела в XX веке делались по совести, от всего сердца, но сама совесть и само сердце, оказывается, могут быть злыми. Целую философию истории можно построить на материале той эволюции, которую претерпел за последние столетия лексический состав русского языка.

2. Поэтические неологизмы. В. Хлебников и М. Цветаева

Покуда язык живет, его корни продолжают расти, вытягиваться новыми ветвями. Если этого не происходит, если корни иссыхают и не дают прироста, если ветви опадают и не заменяются новыми, — это тревожный знак оскудения производительной силы языка.

Наряду со словами, вошедшими в общенародный язык, следует учесть словотворческую инициативу писателей. Посмотрим, как тонко и гибко новообразования передают оттенки нравственной мысли, — некоторые из них вполне заслуживают включения в общелитературный язык.

У Велимира Хлебникова, неистощимого в словоизобретательстве и «языководстве», есть и авторские неологизмы на тему добра и зла. Количественно они соотносятся примерно так же, как в языке в целом: «добро» — 8, «зло» — 22. Отметим полное отсутствие основы «блага» среди примерно 5 тысяч опубликованных Хлебниковым неологизмов (исследователи полагают, что примерно столько же остается в рукописях). В тех случаях, когда авторские толкования новословий отсутствуют, я предлагаю свои собственные, предваряя их словом «предположительно».

Из «добрых» слов у Хлебникова выделим два*:

Добрязь (предположительно) — князь или витязь добра (например, князь Мышкин). Здесь характерное для Хлебникова новообразование с редким морфологическим элементом *-язь* (ср. *смертязь*, *Вестязь*, *речязь*).

Доброука — наука о добре, этика. Такое определение дано самим Хлебниковым: «*Этика + эстетика = доброука + красоука*» (148).

Среди хлебниковских слов с основой «зл(о)» пять представляются особенно выразительными и в какой-то мере годными к употреблению.

Злец (предположительно) — злой человек; тот, кто исходит злостью. Не обязательно злой человек — *злодей*, то есть делающий зло. Зло может быть свойством характера, эмоций, мировоззрения. Такого злого, но не злодействующего человека и уместно назвать **злецом**, как подлого мы именуем *подлецом*, а лгущего — *лжецом*. Правда, есть слово «злюка», но оно принадлежит разговорному языку и имеет добродушно-снисходительный оттенок.

По аналогии с хлебниковским «**злецом**» можно предложить и слово **добрёц** — добрый человек, воплощение доброты. Оно образовано по той же модели, что и другие существительные от прилагательных, оканчивающихся на *-рый*:

* Все хлебниковские слова приводятся по изданию: *Наталья Перцова*. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 40. Wien — Moskau, 1995). Страницы этого издания далее указываются в тексте статьи.

мудрый — мудрец
хитрый — хитрец
храбрый — храбрец
добрый — **добрец**

Представляется, что язык имеет нужду в этом слове. Если есть подлецы и мерзавцы, то почему бы не быть и **добрецам**, наравне с мудрецами и храбрецами? Правда, есть слово «добряк», но оно, как и «злюка», является разговорным и имеет снисходительный, отчасти насмешливый оттенок. Вот примеры употребления слова «**добрец**»:

Я питаю слабость к этому красавцу и добрецу, но все-таки придется его расстрелять.

Собрались вокруг меня добрецы, один другого добрее, а я среди вас, выходит, самый злой?

*Злец ты или же добрец,
Все равно придет конец.*

Злобач (предположительно) — злой человек; склонный к злобному веселью. «*Злобач над павшими хохочет*» (231). «*Смеется смехом злобача*» (240).

Здесь явлен иной оттенок злобы, чем в слове «**злец**». Суффикс «ач», продуктивный в хлебниковских неологизмах (*смехач, могащ, владач, рекач, грозач, бегач...*), имеет в русском языке семантику силы, ловкости, лихости: *рвач, богач, ловкач, лихач, толкач, трепач, трубач, циркач, силач, басмач, палач*. В обоих случаях употребления слова «злобач» у Хлебникова выделен смех, хохот. Поэтому **злобач** — этого своего рода лихач зла, злец-весельчак, тот, кто смешивает зло со смехом и хохотом.

«**Зливо** — то, чем рождают (“высекают”) злобу/ Зливо/ Злильня/ Злобище» (172). Мотивирующее слово — огниво. Действительно, если человек «пышет» злом, если зло есть жгущее начало, то напрашивается его соотношение с огнем и соответственно параллель *огниво — зливо*.

Злобняк (предположительно) — столбняк злобы; оцепененность, скованность злобой. Мотивирующее слово — *столбняк*. Контекст: «*Очами палача в злобняке, / Стоит надежда голытьбы*» (278). Надежда голытьбы — злая и палаческая, поэтому она пребывает в **злобняке** и палачествует глазами.

Вот еще пример подобного словоупотребления:

Напал на меня тогда злобняк — пошевелиться не могу от злобы, а если пошевелюсь, то сразу и убую.

Злебр (предположительно) — злое животное или зло в образе животного. Н. Перцова приводит мотивирующие слова: *бобр, зубр*. Мне представляется, что ближе по мотивации *зебра*, возможно, в таком порядке словообразования:

зебра — зебр (самец) — **злебр**.

Но, если позволительно «поправлять» Хлебникова, выразительнее было бы слово «**злобр**», где корень «зло» выступал бы более явно:

Вдруг из роицы мне навстречу выскакивает какой-то злобр и в ярости чуть не сбивает меня с ног.

Основной породой, разводимой на советской «ферме животных», были **злобры** обоего пола.

Добавим, что в логике словообразования вырисовываются и такие оксюмороны: **злобрó**, **злóбрый**, **злóбренький**, **злобротá** — злое под видом доброго или доброе под видом злого. **Злобрый** — скорнение основ, противоположных по значению: **злобрый** и **добрый**. Оксюмороны вообще крайне редки как самостоятельные лексические единицы — обычно они возникают на уровне словосочетаний, типа «белая ворона», «живой труп», «мертвые души», «бледный огонь», «яркий сумрак», «убогая роскошь», «пышное природы увяданье», «печаль моя светла» и т. п. Типичное определение оксюморона: «в стилистике и риторике сочетание слов с прямо противоположными значениями, преднамеренное объединение в единое смысловое целое двух или нескольких контрастных лексических единиц» [3]. Такое определение возможности слов-оксюморонов даже не предполагает. Тем не менее оксюморонные слова, как правило, сложные, двухосновные, существуют в языке. Пример — «благоглупость» М. Салтыкова-Щедрина и такие сравнительно недавние словообразования, как **благоподлость** (подлость с благим намерением, например, доносительство в эпоху террора), **благорешный** (совершающий грех, например, убийство, во имя ложно понятого общего блага), **солночь** (солнце + полночь, черное солнце, сияние мрака), **мертвоживчик** (семя смерти, разложения), **любомор** (смертельная, убивающая любовь), и др.

У оксюморонов, сочетающих «добро» и «зло» в одном слове, есть свое вполне жизненное наполнение. **Злобым** или даже **злобреньким** можно назвать щедринского Иудушку Головлева, который своими елейными словами гноит собеседника. **Злобрó** было настойчивым мотивом советской идеологии, которая проповедовала «революционную нравственность», «насилие во имя добра» («добро должно быть с кулаками»).

Обращаясь к поэзии Марины Цветаевой, отметим два выразительных неологизма на тему добра и зла [4]:

— Сливки-последки!
Соседки-добрóсердки
— Свежего! с ледничку!
Советницы-сплетницы.
(поэма «Крысолов»)

Молитва...
За каждого **злюбивца** —
И все-таки **любимца**
(«Поэма о Царской семье»)

В первом примере Цветаева пользуется неологизмом «добрóсердки», чтобы иронически снизить понятие «добрóсердечия», приравнять его к показным, мещанским добродетелям.

Во втором примере, наоборот, образуется просторечное, «неграмотное» слово «**злюбивец**» (очевидно, по модели «убивец»), чтобы одновременно экспрессивно его вознести и срифмовать с «любимцем». Разумеется, два неологизма — недостаточный материал для обобщений, но показательно, что в обоих случаях производство нового слова у Цветаевой связано с рез-

кой нравственной переоценкой, «опрокидыванием» значения корня: снижением «доброго» и молитвой за «злого».

Поэзия вносит огромный вклад в творческую жизнь языка. Даже если авторские неологизмы не становятся общенародными, не входят в общеязыковые толковые словари, тем не менее они оказывают воздействие на лексическую систему, дают новую жизнь корням и другим морфемам и расширяют сферу их возможных значений.

3. Нравственный потенциал словотворчества

Нравственный потенциал русского языка далеко не исчерпывается теми словами, которые исторически в нем уже сложились. Язык, как неоднократно повторял основоположник научного языкознания Вильгельм фон Гумбольдт, — это *«не мертвый продукт, но созидательный процесс»*. В существо корня заложена воля к прорастанию, к соединению с другими корнями и со всеми возможными приставками и суффиксами — к наибольшему смысловому действию через наибольшее количество производных слов. Слово-порождающая мощь корня проявляется в освоенной им площади общественного сознания, в разнообразии тех идей, дисциплин, областей культуры, куда проникают его смыслоносные ответвления. Тем более это относится к таким жизнестроительным корням, как «добр(о)» и «зл(о)»: им под силу поднять на себе огромный пласт значений, конечно, если их рост будет востребован обществом, языковой средой [5].

Одна из задач творческой филологии — критический анализ той картины мира, которая сложилась в системе языка, и попытка заполнить пробелы в обозначении тех понятий, для которых у нас еще не хватает слов. Например, у нас есть слово «злорадство» — радование чужой неудаче, провалу. А как обозначить добрую радость, радость чужой удаче? Об этом русский язык как будто не позаботился.

В Словаре В. Даля приводятся слова «доброрад», «доброрадный», правда, в значении: «о добре радеющий». Но ведь «злорадство» — не радение злу, а, по толкованию самого Даля, *«радость по чужой напасти, беде, горю»*. Соответственно и **доброрадство** можно определить как антоним «злорадству»: *«радование о чужом добре и удаче»*. Кстати, отсутствие слов «доброрад», «доброрадный» в Словаре Академии Наук 1847 г. побуждает нас думать, что они могли быть сочинены самим Далем, — кстати, как и множество других: примерно каждое четырнадцатое слово в далевском Словаре — его собственного чекана. Может быть, пришла пора востребовать этот дар великого языковеда и **языковеда** (в том же смысле, как мы говорим о садоводах и лесоводах, возделывающих растительную природу)?

Доброра́дство — радование о чужом успехе, счастье, заслуге, достижении.

Доброра́дный — радующийся о чужом успехе, счастье, достижении.

Доброра́дец — тот, кто радуется чужому успеху, достижению.

Доброра́дствовать — радоваться чужому успеху, достижению.

Доброра́дно (наречие).

Мало было в русской литературе таких **доброрадцев**, как В. А. Жуковский. Чужой писательский успех он воспринимал как свой.

Как он встретил весть о твоей премии? Безрадостно? — Нет, вполне **доброрадно**.

Люди бывают доброжелательны к неудачнику, но если вчерашнему неудачнику сильно повезет, начинают завидовать. Так что желать добра (в будущем) и радоваться добру (в настоящем) — вещи разные. **Доброрадство** встречается реже доброжелательства.

Интересно, как обстоит дело с **доброрадством** и злорадством в других языках. В немецком есть слово *gotten*, которое означает: не завидовать, радоваться чьему-то счастью, удаче, то есть **доброрадствовать**. Но в немецком есть и слово *Schadenfreude*, буквально «злорадство». А вот в английском даже и понятия о злорадстве нет. Когда возникает в нем нужда, используется немецкое слово. Это чувство столь тщательно скрывается, что даже не смеет выговорить себя по-английски.

Приведем далее еще ряд слов, точнее, словообразовательных гнезд, которые могли бы с пользой пополнить нравственный тезаурус русского языка.

Добропамятливый — памятный на добро; тот, кто помнит хорошее.

У Даля это слово приводится со значением «у кого хорошая, острая память». Но представляется, что слово «памятливый» само по себе уже выражает этот смысл, а «**добропамятливый**» — тот, кто помнит хорошее.

Иван Сергеевич очень **добропамятлив**: едва я вошел, напомнил мне маленькую услугу, которую я оказал ему лет этак двадцать назад.

Добропамятный — поминаемый добром, достойный доброй памяти, то, о чем сохраняется добрая память.

Я многим обязан своему первому редактору. Наша **добропамятная** встреча состоялась в 1973 году.

Отметим разницу между словами «**добропамятливый**» (тот, кто помнит) и «**добропамятный**» (то, что помнится). Точно так же следует различать слова, которые сейчас употребляются как синонимы: **злопамятливый** — помнящий злое, и **злопамятный** — вспоминаемый как злое, запомнившийся злым. Такова разница между субъектным суффиксом -лив- и объектным суффиксом -н-: **памятливый** — тот, кто помнит; **памятный** — то, что помнится; **запасливый** — тот, кто запасает; **запасной** — то, что запасается; **удачливый** — тот, кому везет, **удачный** — то, в чем повезло, и т. д.

Следует различать также слова «**достопамятный**» — то, что достойно памяти, и «**добропамятный**» — то, что запомнилось добром. Достопамятными могут быть ужасы, злодейства, насилия, несчастье. А **добропамятно** только хорошее. Холокост — событие достопамятное, но никак не **добропамятное**.

* **Добровещий** — предвещающий добро, счастье, удачу, служащий добрым предзнаменованием, внушающий радость, надежду.

Всюду нас теперь окружает только «зловещее». Но ведь вести, предвестия бывают не только дурными, но и добрыми.

Добровещие сны, планы, приметы, знаки, символы, признаки, звезды, следы, голоса, призраки, видения, буквы, слова, жесты...

Мне известен только один случай употребления этого слова, до сих пор отсутствующего во всех словарях, — у поэтессы Евдокии Ростопчиной (1812—1858):

*Ночью сон добровещий мне снился,
На сегодня он радость сулил,
Добрый ангел мой мне появился,
Милый призрак меня посетил...*
(«Счастливым день»)

Дождь прошел, — но странник вышел в путь не раньше, чем показалась добровещая радуга.

Он поскреб затылок — **добровещий** жест: значит, не торопится отказать, размышляет, прикидывает возможности.

* **Доброязычный** — тот, кто хорошо отзывается о людях, никого не порочит, не осуждает.

Доброязычие — склонность хорошо отзываться обо всем и о всех, не произносить слов осуждения.

Вот говорят про кого-то: «злой язык». Но ведь и добрые языки встречаются. Доброязычие — великая, хотя и редкая добродетель.

Игнатий Ипполитович в жизни ни о ком не сказал худого слова. Я не знаю, был ли он добросердечен, но доброязычен — был.

Доброязычие и злоязычие не всегда прямые свидетели доброго и злого. Молчалин был доброязычен, Чацкий — злоязычен.

* **Доброумие** — склонность ума или умного человека к доброте.

Обычно считается, что добрый человек живет сердцем, а не умом. Но порой самые злые страсти коренятся как раз в сердце. Ум бывает добрее сердца. Доброумие, как источник добра, не слабее добросердечия.

Доброумный — тот, кто умен по-доброму, не пользуется умом хитро, коварно, своекорыстно.

Кто из наших великих людей был доброумен? Таких, пожалуй, немного, и первый среди них — Лев Толстой.

* **Добросилие** — сочетание силы и доброты; способность или склонность сильного делать добро.

Добросильный — сочетающий доброту и силу; склонный употреблять свою силу на добрые дела.

Он из себя богатырь, а на лице — детская улыбка. Чувствуется в нем добросилие.

Доброта иногда бывает от слабости, а должна быть от силы. Жизненность и нравственность не противоречат друг другу. Нам не нужна белокурая бестия. Нам нужен добросильный мужик.

Эй, парень, если ты добросильный, помоги затащить рояль на седьмой этаж!

* **Доброчувствие** — (1) склонность к добрым чувствам.

Часто считается, что добрые чувства важны для личности художника, а в творчестве он свободен от нравственного долга. У Пушкина было наоборот: **добродушества** в его поэзии было больше, чем в жизни;

(2) доброе самочувствие, хорошее состояние здоровья.

Желаю тебе долголетия и добродушества!

Добродушный — чуткий, чувствительный к добру.

Хочется воспитать не просто доброго, а добродушного ребенка, чтобы он воспринимал добро в людях, в природе, чтобы он отзывался на все хорошее, высокое.

Злодушный — чуткий, чувствительный ко злу.

Мне не нравится, как Саша реагирует на сцены насилия. Он приятно возбуждается. Он какой-то злодушный.

* **Злохудожный** — изощренный во зле, художнически, мастерски творящий зло, В Словаре 1847 г. есть это слово, но оно толкуется только как синоним слов «злохитрый», «злоковарный».

Злохудожество — мастерство и изощренность во зле; искусство творения зла.

Злохудожник — мастер, артист злотворчества.

Каких только злохудожеств ни сотворил ХХ век из любви к государству как величайшему произведению искусства!

Злохудожества над детьми, мучительно пережитые Иваном Карамазовым, побуждают его вернуть Богу билет на вход в царство небесное. Но кто его туда звал? кто выдал билет?

Горе-художник и горе-поэт... Они-то, Гитлер и Сталин, и стали величайшими злохудожниками своего века.

* **Добровидение, зловидение** — способность видеть преимущественно доброе или злое в людях и в мире.

Добровидец — тот, кто видит преимущественно доброе во всем. **Зловидец** — тот, кто видит преимущественно злое во всем.

Добровидцы видят добро даже там, где его мало, преувеличивают светлое начало. Зловидцы, напротив, видят все в худшем свете, подозревают дурные мотивы в поступках людей и неспособны оценить добрые побуждения.

У зловидца сам значок так устроен, что в нем все кривится.

Так что ж, по-твоему, и Иуда был хороший человек? Ах ты мой добровидец!

В английском языке есть слово «*agathism*» (агатизм, от греч. *agathos*, добрый, хороший) — учение о том, что все вещи движутся к лучшему, к добру. Сторонников этого учения называют «агатистами», а по-русски их можно назвать «добровидцами».

* Первооснова добр- может сочетаться и с основами, указывающими на черты человеческого облика, голоса, жестикуляции.

Добролицый, доброглазый, доброгласый.

*По внешности он, конечно, не красавец, но **добролицый**.*

*Чего тебе от нее еще нужно, от **доброглазой**? Глаза — зеркало души.*

*По телефону она **доброгослая**, а при встрече — чуть не шипит от злости.*

*** Доброкасание** — доброе, мягкое, ласковое прикосновение.

***Доброкасания** шли ребенку на пользу: из волчонка он превращался в зайчика.*

*** Доброскорый** — скорый на доброе дело, на отзыв и помощь; по-хорошему быстрый, проворный.

Не часто удается запомнить происхождение слова, а тут оно свежо в памяти.

*Я послал e-mail одному выдающемуся американскому теологу, Томасу Олтайзеру (Altizer). Ему 79 лет, его портрет как создателя «теологии смерти Бога» был на обложке журнала «Таймс» еще в конце 1960-х. Через 40 минут получаю от него подробный ответ, свидетельствующий о том, что он хотя бы предварительно ознакомился с посланной ему статьей. А еще через 50 минут приходит другое письмо, уже с более расширенной интерпретацией моего послания, извинением, вопросами и т. д. И я подумал: «Какой великий!.. Какой **доброскорый**!»*

*По моему опыту, быстрее всего на письма отвечают самые занятые люди. Они потому так невероятно производительны, что все делают сразу. Должен признаться, что я ответил на письма Т. Олтайзера (а пришло еще одно) лишь на третий день. Потому что я, увы, не такой **доброскорый**.*

*** Добровечный** (доброкачественный + вековечный) — полный антоним слова «злободневный»: злоба дня — **добро века (вечности)**; обладающий добрыми качествами и потому существенный во все времена; одновременно доброкачественный и вековечный.

Добровечные вопросы, заботы, темы, идеи, споры, понятия, волнения, устремления, идеалы, образы, тексты, произведения...

*Как и почему смирение открывает путь к свободе? Это один из самых **добровечных** вопросов нравственной философии.*

*Газеты, журналы, брошюры... Есть у тебя почитать хоть что-нибудь **добровечное**?*

*Удивительно, как в одной творческой личности, например, в В. Ходасевиче, может уживаться **добровечное** и злободневное, даже откровенно злое!*

* * *

Не только родители и учителя, но и сам язык своей системой словесно выраженных понятий учит нас различать добро и зло. Самые важные, жизнеобразующие истины язык до нас доносит мгновенно, однословно. От языка мы узнаем, что ум, сердце или радость могут быть добрыми и злыми. А если в языке есть только «злорадство» и нет «доброрадства», то возникает опасность, что представление общества о нравственных ориентирах этого чув-

ства окажется сильно суженным. «...Слова и формы слов образуют и определяют понятия... различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на чувство являются в действительности различными мировидениями», — отмечал Вильгельм фон Гумбольдт [6]. Дальнейшая словесная артикуляция понятий добра и зла — тот вектор развития лексической системы языка, где она сливается с перспективой нравственного развития общества [7].

Примечания

1. Ю. Д. Апресян. Образ человека по данным языка: попытка системного описания, в его кн. Избранные труды, т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., Школа «Языки русской культуры», 1995, С. 350.
2. Параллельно на протяжении семидесяти лет (с 1857 г.) совсем другой командой лексикографов (во главе с Джеймсом Мюррей [James Murray] — с 1879 г.) готовился к выпуску «Новый английский словарь», впоследствии названный «Оксфордский английский словарь». Выпущенный первым изданием в 1928 г. в двенадцати томах (плюс один дополнительный), он содержал 414 825 слов, иллюстрированных пятью миллионами цитат из англоязычных авторов. Второе, двадцатитомное издание Оксфордского словаря вышло в 1992 г. и включало более 500 000 слов. Причем лексический состав вебстеровского и оксфордского словарей совпадает лишь примерно на две трети, что уже в 1995 г. позволило Дэвиду Кристалу (David Crystal), одному из ведущих лингвистов англоязычного мира, сделать вывод, что общее число слов, включенных в оба словаря, превышает 750 тысяч.
3. Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1968, т. 5, С. 410.
4. Благодарю Ирину Белякову, научную сотрудницу Дома-музея М. Цветаевой в Москве, которая сообщила мне эти слова.
5. О творческой филологии и о потребностях современного общества в творческом развитии языка см. статьи Михаила Эпштейна: Русский язык в свете творческой филологии. «Знамя», 1, 2006, 192-207; О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество. «Знамя», 3, 2007.
6. Вильгельм фон Гумбольдт. Характер языка и характер народа, в его кн. Язык и философия культуры, М., Прогресс, 1985, С. 370.
7. Подробнее о смысловом потенциале словотворчества и о перспективах лексического развития русского языка см. «Дар слова. Проективный словарь русского языка» (сайт и электронная рассылка Михаила Эпштейна): <http://old.russ.ru/antolog/intelnet/dar0.html>
Подписаться на еженедельную рассылку (бесплатную) можно по адресу: <http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon>

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике первого квартала 2007 г.

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТЬ? — так ставит вопрос **Станислав Яржембовский** («Может ли человек мыслить?» — «Звезда», № 2). Философам известно, как трудно определить, что такое человек. Фридрих Ницше в свое время попытался решить проблему радикально, заявив: *«Человек есть нечто, что должно быть преодолено»*. В наш век всеобщей компьютеризации, пишет автор статьи, этот девиз кажется весьма актуальным. Ведь нам говорят, что человек больше не высшая точка на древе эволюции: нас перегнал компьютер, научившийся мыслить самостоятельно. Компьютер, как утверждают рационалисты, *«обыгрывает человека в шахматы, доказывает теоремы, переводит с иностранного языка, пишет стихи и музыку»* и в обозримом будущем затмит все интеллектуальные достижения человечества. Но существует и другая позиция. Так, виталисты считают, что, оторвавшись от природы, человек утратил некую особую космическую мудрость, носителем которой сегодня выступает только мир животных. И как ни противоположны эти две позиции, пишет Яржембовский, они сходятся на том, что прерогатива мышления у человека отобрана и, *«с какой стороны ни посмотри, получается, что человек — лишний на этом празднике жизни <...> С точки зрения витализма человек — просто ошибка природы, с точки зрения рационализма он не более чем промежуточное звено эволюции, которое должно быть в конце концов преодолено»*. Однако, пишет автор статьи, совершенно очевидно, что *«только человеку дано знать то и другое: и объекты реального мира, и замещающие их символы. Живя одновременно в обоих этих мирах — реальном и символическом, человек умеет связывать их между собой, свободно переходя из одного мира в другой»*, на что ни компьютер, ни животное не способны. Пусть компьютер по вычислительной мощности и эффективности хранения и передачи обогнал мозг с нейронами (потому-то машина стала систематически выигрывать у человека в шахматы), — дело не в вычислениях. Человеческое мышление (как и реакция на явления внешнего мира любого живого существа — вплоть до самой примитивной бактерии или вируса) основывается на совершенно иных принципах, поскольку является органической частью этого мира и, следовательно, внутренне ему хотя бы отчасти подобно. Живому присуща интуиция — *«как связь с мировым целым не по принципу логического знания, а по принципу аналогии и метафоры»*. Компьютерный же разум, — пишет Яржембовский, — только пародия на разум, *«гротескная имитация внешней логической структуры, никак не передающая самой сути процесса мышления»*, и любое живое существо *«умнее его на целую степень свободы, поскольку “мыслит” двумерно — используя аналогии»*. В свою очередь, человек превосходит животное еще на одну степень свободы: ведь он мыслит *трехмерно* — метафорически.

Далее Яржембовский подробно рассуждает о возможном физическом механизме метафорического мышления, объясняя способность к нему волновой природой деятельности нашего мозга. Однако если возможно говорить о физическом механизме человеческого мышления, значит, и характер его отличия от «псевдомышления» компьютера тоже — чисто физический, структурный, т. е., по большому счету, непринципиальный. Соответственно, и ответ автора на им же поставленный вопрос, сможет ли человек когда-нибудь создать искусственный интеллект, равноценный естественному, оказывается положительным: со временем сможет — *«если создаст среду из ста миллиардов нейронов, каждый из которых будет связан с десятками тысяч своих собратьев по разуму, образуя сплошную среду, в которой одновременно будут существовать миллионы образов, преобразованных во фрактальные структуры, в которых информация будет передаваться с помощью биохимических автоволн, которые, в свою очередь... и так далее до бесконечности»*. Вот тебе и три степени свободы...

Кого проблема человеческого разума волнует в физическом аспекте, кого — совершенно в ином. 12 сентября 2006 года папа римский Бенедикт XVI прочитал в университете г. Регенсбурга лекцию *«Вера, разум и университет»*. Широкой публике лекция эта известна благодаря болезненной реакции со стороны некоторых мусульман на прозвучавшую из уст папы «неосторожную» цитату. В целом же в лекции речь идет о давней и сложной проблеме **СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И РАЗУМА**. Довольно неожиданно на сентябрьскую лекцию папы откликнулся «Политический журнал», посвятивший этой теме специальный номер (№ 1–2 (144–145)).

Статья **Николая Плотникова**, где подробно изложена и прокомментирована регенсбургская лекция, называется **«Папа римский как университетский профессор»** («ПЖ», № 144–145). Рефреном через всю речь Бенедикта XVI, пишет Плотников, проходит мысль: *«Поступать не по разуму противно сущности Бога»*. А это парадоксальным образом предполагает *«необходимость ограничения Божественной воли: Бог не может действовать по абсолютному произволу»*, поскольку действия Его *«сообразуются с разумом»*. Тезис этот, подчеркивает понтифик, принципиален для христианства. Напротив, бытующее в определенных версиях ислама представление об абсолютной трансценденности Творца, означает, что Бог не связан никакими разумными категориями и обязательствами, — даже теми, которые Сам утвердил. Наиболее радикальный вывод из такого представления сформулирован в мусульманском богословии как тезис о том, что *«Бог вовсе не обязан сообщать истину в своем откровении»*. Впрочем, как указал папа Бенедикт, подобные же представления были характерны и для некоторых христианских учений, утверждавших иррациональность Божественной воли. Однако история европейской мысли показала, что резкое разделение разума и откровения приводит к прямо противоположному эффекту — *«не к упорочению Божественного авторитета, а к стремлению человека разумно урядочить свою жизнь без Бога»*. И действительно, *«если Бог не связан никакими моральными и разумными обязательствами перед своим творением, то ничто не может удерживать его абсолютный произвол от обмана и лжеоткровения»*. И именно позднесредневековая абсолютизация Божественной воли, запредельной

всякому разуму, немало способствовала развитию секулярного сознания — тому, что Средневековые сменилось Новым временем, а человек предпочел строить мир, исходя из собственных представлений о благе и разумности.

Этот, принципиальный для Нового времени, разрыв веры и разума Бенедикт XVI характеризует как *де-эллинизацию христианства*. Папа считает, что соединение христианства с греческим философским сознанием не было и не могло быть исторической случайностью; оно носило промыслительный характер, т.к. в единении веры и разума реализовалось само существо христианства. И та же *встреча Афин и Иерусалима* — то есть «*правильно понятого Просвещения и религии*», по определению Бенедикта XVI, — была принципиальна не только для Церкви: она задала «*духовные основания европейской цивилизации в целом*», — ведь именно эта встреча на многие века вперед определила те ценности, которые и сегодня формируют «*европейскую идентичность*». И к ценностям этим относятся равным образом как христианский взгляд на мир, так и наследие античной философии с его идеями универсального разума и разумных оснований веры. Попытки же очистить веру от философии, вернуться к *чистому библейскому тексту* (свободному от *метафизических построений* вроде тезисов о троичности Бога и божественной природе Христа — в пользу чисто морального аспекта жизни и учения «человека Иисуса»), как указал в своей лекции понтифик, предпринимались в истории христианства не однажды и всегда приводили к разрыву веры и разума. А это грозило не только отходом от существа христианства, но и потерей европейской идентичности.

«*Последовавшие за речью Папы, — пишет Плотников, — ответы исламских и протестантских богословов продемонстрировали свою солидарность с ней*». Но, замечает он, «*основная дискуссия начинается с обсуждения деталей*», а они снова и снова приводят к самым центральным вопросам — и тут ответы вряд ли окажутся столь единодушными. Вот, к примеру, один из подобных вопросов: «*Каковы принципы того разума, который может охватить экспериментальную физику и триединую сущность Божества?*»

Для Павла Носачева («*Восточный плюрализм*» — «ПЖ», № 144–145) лекция папы римского стала поводом напомнить, что «*помимо западного богословия есть еще и богословие восточной церкви, православное богословие*», подчеркнуть конфессиональные различия двух христианских традиций, т.е. фактически — утвердить преимущества православия. Тем не менее статья интересна попыткой выделить различные подходы к проблеме веры и разума, бытующие, по мнению автора, в православии. (Правда, наличие разных подходов опять же, с точки зрения автора, доказывает преимущества православия перед католичеством, жесткая централизация которого приводит к доминированию единственной богословской школы — неомистической. Понятное дело, три подхода лучше, чем один. Дабы лишний раз подчеркнуть это, статья так и называется — «Восточный плюрализм».) Итак, подходов к проблеме веры и разума в православии оказывается три. *Первый* состоит в абсолютном примате веры над разумом при недоверии к последнему: «*Святые отцы не нуждались ни в какой учености, чтобы стяжать благодать Святого Духа и спастись*». *Второй* подход признает независимость истин веры и разума, находящихся друг относительно друга в разных

измерениях. Этот подход дает разделяющим его некоторое удобство, но критикуется в церковных кругах как компромисс, да и вообще западный по происхождению. Наконец, *третья* позиция, которую «можно с большими оговорками назвать официальной», предполагает соединенность веры и разума при уникальном положении веры по отношению ко всем человеческим способностям. Верой, объясняет автор, в православной традиции называется «*способность души быть целостной*», а потому вера не исключает из себя ни воли, ни разума, ни чувств, которые человек воспринимает как независимые лишь по причине своего грехопадения. По словам преподобного Максима Исповедника, «*вера есть даже высший род познания... Вера превосходит разум, но не противоречит ему*». Ввиду такой трактовки, пишет Носачев, «*в православной мысли конфликт веры и разума исчезает*», в то время как «*в западном богословии происходит психологизация веры, то есть вера рассматривается как акт свободной человеческой воли. Вера тем самым становится одной из способностей человека — наряду с разумом*», что, собственно, и обуславливает возможность их конфликта. В целом все в статье стоит на привычных местах традиционной православной апологетической схемы, с точки зрения которой ущербное католичество со своим внешним единством не дотягивает до православной внутренней цельности и духовности, а также и по такому (заметим, вполне «западному») параметру, как плюрализм.

Не слишком трудно заметить, что проблема веры и разума зачастую произвольно подменяется проблемой соотношения науки и религии: разум связывают почти исключительно с первой, веру — только со второй. А это подменяет саму проблему, не давая говорить о соотношении веры и разума внутри самой науки и самой религии, — например, о месте веры в физике и рациональности в богословии. Между тем «*вера не сводится ни к церкви, ни даже к религии, как разум не редуцируется к науке*», напоминает **Сергей Земляной** в статье «*Для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие*» («ПЖ», № 144—145). Проблема отношений веры и разума столько же лет, сколько самому христианству, и проблема эта уже претерпела «*многовековой дрейф в океане христианской цивилизации*». Началось все с апостола Павла — с проповеди его в афинском ареопаге. В речи Павла Земляной видит попытку «*отождествить философского бога греков и иудео-христианского Бога-Творца*». Попытка оказалась неудачной, и свое разочарование Павел выразил в Первом послании к Коринфянам, где, по мнению Земляного, «*линия водораздела между христианством и философией проведена предельно жестко*»: для верующих во Христа мудрость мира сего Бог обращает в безумие, но и для эллинов, в свою очередь, безумием выглядит возведение Бога, умершего позорной смертью (1 Кор 1:20-28). Таким образом, по впечатлению автора статьи, «*складывается странная фигура зеркально отражающих друг друга сумасшедших домов веры и разума, христианства и философии*».

В дальнейшем, несмотря на попытки отцов церкви осуществить «*мезальянс христианства и философии*», вера и разум по преимуществу были разделены. Как писал Фрэнсис Бэкон, с которым солидаризируется автор статьи, «*во все времена естественная философия (то есть совокупность наук о природе, — уточняет Земляной) встречала докучливого и тягостного противника, а именно, суеверие и слепое, неумеренное религиозное рвение*». И, со-

гласно тому же Бэкону, вера куда лучше уживается с естествознанием («наукой»), чем с философией, так что последовательному атеизму лучше пристанить именно в последней, а не в науке. И сегодня, замечает Земляной, положение вещей таково, что самое авангардное естествознание в умах ученых зачастую мирно уживается с простой верой в Бога. А одним из парадоксальных вариантов проблемы «вера и разум» сегодня становится неверие в знание. И хотя больший процент верующих статистика выявляет среди гуманитариев, лишь 38% естествовников называют себя атеистами. Так, основоположник квантовой теории Макс Планк утверждал: *«и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Для одних он означает фундамент, а для других — вершину построения любых мировоззренческих принципов».*

Проблема взаимоотношений веры и разума в полном соответствии с текстом Библии может быть трактована совершенно по-разному, и подтверждение своей позиции в текстах Священного Писания могут найти сторонники прямо противоположных позиций. Об этом напоминает **Виталий Куренной** («Интеллектуальный вызов» — «ПЖ», № 144–145), замечая, что в современной России проблема эта носит вполне прикладной характер: в конечном счете именно к ней сводится существо дискуссий о введении в школьное преподавание курса основ религиозной культуры. Защитники введения ОПК настаивают на том, что задача новой дисциплины — транслировать не веру, а знание о ней. *«Однако, — замечает автор статьи, — здесь неожиданно возникает вопрос, обладают ли российские конфессии тем знанием, на трансляцию которого они претендуют в рамках новой школьной дисциплины».* Имеется в виду «нормальное», то есть *ценностно-нейтральное*, не ангажированное ни религией, ни идеологией *научное* знание. Вопрос не праздный, поскольку, пишет Куренной, в современных секулярных государствах именно научное знание является базовым для формирования у граждан мировоззрения, и *«предшествующая история, религиозные войны и столкновения на религиозной почве показали, что гражданский консенсус, предполагающий минимум общего мировоззрения, достигим в современном обществе лишь на почве ценностно-нейтрального научного знания».* В противном случае наличие религиозной составляющей в образовательном минимуме может стать потенциальным источником гражданской дезинтеграции, поскольку религия — «стихия масс», несущая в себе конфликтный потенциал.

Однако, замечает Куренной, имеются свои проблемы и в области научного знания. Советский опыт убедительно показал, что наука вполне может быть идеологической. А о том, что подобные представления крепчайшим образом засели в наших головах, свидетельствуют современные разглагольствования о *«самобытной» российской науке*, коренным образом отличающейся от *«западного» научного знания*. Любопытно, однако, пишет Куренной, что в советский — «антихристианский» — период наиболее толерантной областью приложения творческих сил, прибежищем объективности оказалась все-таки именно наука. Это тогда работали Лосев, Бахтин, Аверинцев, Лотман, Гуревич, А. Панченко, Б. Успенский — все те, чьими усилиями и был сформирован основной корпус тех знаний, которые могут войти в содержание

ОПК. А вот постсоветская «либерализация» парадоксальным образом принесла с собой не расцвет, а упадок собственно научной составляющей религиозного знания. Этот упадок отчетливо видят и церковные интеллектуалы. Куренной цитирует диакона Андрея Кураева, который формулирует задачу так: необходимо «разработать нерелигиозный подход к преподаванию религиозных знаний». Не секрет, к тому же, продолжает Куренной, что с содержанием современной религиозности существуют немалые проблемы, поскольку нередко «даже глубоко воцерковленные на первый взгляд люди придерживаются весьма вольной интерпретации содержания своей веры». Сегодня к верующим относят себя сторонники «самых экзотических взглядов и доктрин», и в этом смысле «нельзя даже сказать, чего больше — хорошего или плохого — для... православия в постсоветском всплеске религиозности».

Так что, чтобы вреда от нового школьного предмета не оказалось больше, чем пользы, необходимо решить множество проблем. Нужны и книги — живые, аргументированные и обладающие, как сказал тот же А. Кураев, таким «запасом антивахабитской устойчивости, чтобы даже взбалмошная Марьянна, для которой урок ОПК есть повод прежде всего рассказать детям о знаках антихриста, не смогла бы своим энтузиазмом испортить прекрасный предмет». Собственно говоря, резюмирует Куренной, сегодня перед РПЦ объективно встает задача интеллектуального ренессанса — не больше и не меньше. Но задача эта благодарная. Ведь в новейшей истории России православная церковь впервые получила возможность войти в сферу светского образования. И от того, сможет ли она воспользоваться этой возможностью, зависит ее дальнейшая социальная судьба. Сегодня у церкви есть уникальный шанс стать «современным институтом, привлекательным для людей, живущих в современном информационном обществе. Или же остаться важным, но все же периферийным институтом, оформляющим определенный набор социальных ритуалов,— крестины и свадьбы, общественные праздники и похороны».

В фокусе общественной мысли остается ГЛОБАЛИЗАЦИЯ и вызванные ею изменения мира. Статья **Виталия Куренного «Перерождение левиафанов»** («Политический журнал», № 9–10 (152–153)) рассматривает проблему существования отдельных самостоятельных государств в современном мире. В самом деле, на дворе эпоха глобализации, разного рода всемирных корпораций и единых процессов; казалось бы, речь об отдельных государствах постепенно уходит в прошлое. Однако, пишет Куренной, это не так: «Различные концепции глобализации выносят государство за скобки, но от этого оно не становится менее реальным», число же государств на карте мира лишь возрастает.

Название статьи отсылает к образу библейского чудовища, так как левиафану — этому гигантскому живому организму уподоблял государство Томас Гоббс (1588–1679). Согласно модели Гоббса, отдельные «левиафаны» ладно и разумно организованы внутри — как и положено живым существам, однако между собою (т. е. в области межгосударственных отношений) пребывают в состоянии постоянной «войны всех против всех». Однако, пишет Куренной, эта абстрактная модель вряд ли применима в современном мире. Одно из доказательств тому — существование так называемых

мых *неудавшихся государств*: Берег Слоновой Кости, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Судан, Чад и т.д. Все они обладают запасами легкодоступного сырья, и при этом им никто не грозит извне, — и вот эти два благоприятных обстоятельства не позволяют перечисленным странам состояться в качестве полноценных государств. (В число таких стран чуть было не попала наша Грузия, имевшая, по словам Куренного, *все шансы стагнировать*. Но тут, на счастье, вышел конфликт с Москвой. И тогда Грузия, *«играя на противостоянии с Кремлем, нашла точку опоры для конституирования своей государственности. Как бы мы ее ни оценивали, она, во всяком случае, качественно превосходит ту, что могла бы иметь место, не окажи ей Кремль такую услугу. Как показывают африканские примеры, для государства опасно не наличие агрессии (пусть даже фантомной), а, напротив, ее полное отсутствие»*.)

Итак, для государства жизненно необходимо наличие внешней угрозы. Иными словами, левиафан крепок, здоров и весел только потому (и только до тех пор), что находится в состоянии *войны против всех*. Совершенно очевидно в таком случае, что левиафан всемирный, глобальный, поглотивший своих собратьев теряет это главное условие своего существования и становится нежизнеспособным. Подтверждение этой мысли Куренной обнаруживает у Иммануила Канта (1724–1804), который, оказывается, первым указал на неразрывную связь между внутренним порядком государства и наличием постоянной военной угрозы. Более того, по-настоящему сильным и жизнеспособным, пишет Куренной, Кант считал лишь свободное правовое государство (правда, немецкий философ употреблял термин *«республиканское»*, мы же сказали бы *«демократическое»*): ведь военный успех зависит от того, в какой мере все граждане могут отождествить себя с государством, воспринимаемым как свое. Иными словами, наличие военной угрозы органически связано с необходимостью демократии: *«Войны (массовые, народные войны) между жизнеспособными государствами требуют определенного внутреннего политического устройства, — делает вывод Куренной. — Это устройство должно быть свободным и демократическим в том смысле, что люди массовым порядком готовы идти на жертвы ради сохранения своего отдельного государства»*. И мир, вышедший из двух мировых войн XX века, замечает автор статьи, вполне отвечал кантовской схеме — великое противостояния двух систем в период «холодной войны», с некоторыми, правда, оговорками, было *«весьма демократичным»*.

Но время вновь изменилось. Противостояния двух систем больше нет. А вместе с этим изменились военные стратегии, другими стали методы ведения войны. И — как следствие — изменился левиафан. Бесконтактные, высокотехнологичные современные войны (как и войны террористические) не нуждаются в массовой военной силе, не требуют всеобщей мобилизации. Чтобы вести такую войну, государству нужна лишь высокотехнологичная машина силовых ведомств, и *«нет необходимости в том, чтобы обеспечивать боеспособность страны путем вовлечения в политическую жизнь широких слоев населения»*. То есть внешняя угроза остается стимулом для укрепления государства, но укреплению демократии больше не способствует. Наоборот. Государство все больше усиливается, — *трансформируясь и му-*

тируя в процессе глобализации, но параллельно с этим сворачивается демократия. Куренной показывает это на примере США: *«Такое усиление государства, объясняемое новым военным положением, — пишет он, — парадоксальным образом протекает параллельно с вырождением демократической составляющей либеральных обществ. Выражается это, в частности, в свертывании социальных программ, антидемократической тенденции в СМИ (корпоративизация), потере у населения интереса к выборам, явной или скрытой дискриминации новых групп населения (мигрантов) и вытеснении их за пределы политической жизни».*

Россия, пишет далее автор, следует общемировым курсом на укрепление государственности (вопрос о том, сколько в этом утверждении реальности, а сколько пустой риторики, Куренной предлагает оставить в стороне), и происходит оно в последние годы под знаком войны — сначала чеченской, затем борьбы с мировым терроризмом, теперь же замаячил призрак и новой «холодной войны». Военная риторика, риторика чрезвычайного положения — основной ресурс *«системы Путина»* для стабилизации и укрепления государства. И хотя *«войны, которые ведет Россия (будь то реальные или виртуальные), могут быть инструментом создания сильного правового демократического общества свободных людей»*, тем не менее реальна и альтернатива: *«Россия может превратиться в страну, в которой власть может обходиться без народа».*

А возможна ли вообще **ДЕМОКРАТИЯ** в мире, где преобладают глобальные факторы? Таким вопросом задается **Александр Шубин** (*«Власть и демократия в XXI веке»* — «Неприкосновенный запас», № 50). Вопрос этот тем более важен, что, как указывает автор статьи, в наше время демократия считается общепринятой ценностью, превратившись в тот *«сакральный критерий»*, с помощью которого *«мировое сообщество»* берется судить миллиарды людей: *«Есть в стране демократия — поощрим, нет ее — можно и разбомбить эту “неправильную” страну. “Демократические” мировые элиты решают судьбы людей, живущих за тысячи километров от того кабинета, в котором ставится подпись под приговором. Это ли не повод задуматься о смысле слова “демократия”?»*

Шубин призывает отличать демократию от той реально существующей системы, согласно которой принимаются решения в современных государствах. О демократии *можно* говорить, указывает он, если те, кто избран, действительно реализуют мнение общества. Однако в реальности власть по большей части сохраняет высокую степень свободы от избирателей. Ведь, с точки зрения элиты, народ заведомо некомпетентен, а потому на деле демократии всегда предпочтительней манипуляция — подмена реальности муляжами, гибкий и скрытый контроль над сознанием населения. В современном мире, пишет Шубин, повсеместно торжествует та или иная форма **элитократии**, происходит *«виртуализация политики, при которой политический процесс воспринимается обществом как телевизионная картинка. При этом деловые качества политика отходят на задний план в сравнении с имиджевыми чертами характера»*. Не гарантирует демократии и многопартийность, поскольку партии реально контролируются не народом, а своей бюрократией и спонсорами. В эпоху электронных СМИ, когда фактор личного общения избира-

телей с кандидатом сведен к минимуму, да и сами избиратели нужны *лишь в качестве массовки*, олигархия получает все больше возможностей принимать решения без учета интересов населения — но при этом создавать у населения иллюзию, что интересы его учитываются.

Еще один парадокс современной демократии, сказано в статье, заключается в том, что широким массам предоставляется право на выборы лишь там, где эти широкие массы заведомо некомпетентны (на уровне всего государства) и где, поэтому, ими особенно легко манипулировать. Там же, где демократия может быть реальной (например, на производстве), она не допускается. В итоге в современном мире в достатке обнаруживается такое явление, как *«демократия для элиты»*, а вот демократия как таковая — демократия как единство интересов избирающих и избираемых — становится недолгим и локальным исключением из правила.

В современной России, отмечает автор статьи, демократии не больше (а порой даже и меньше), чем было в СССР: тогда, во всяком случае, хоть было куда обратиться с жалобой. *«Когда в 1980-е годы, — пишет Шубин, — мы боролись против коммунистического режима во имя демократии... то намеревались двигаться в прямо противоположном направлении от того, что происходит сейчас»*. Сумев освободиться от коммунистической монополии на власть, страна не сумела двинуться дальше — *«ударившись о постиндустриальный барьер, общество стало откатываться назад, от развитого индустриального к частичной феодализации»*. Так что сформировавшаяся на сегодня в стране политическая система, по определению Шубина, *«является надстройкой над пластами индустриального советского наследия, крепнущей доиндустриальной традиции и анклавов глобализации»*. При этом существующий в РФ тип элитократии занимает переходное положение между плюрализмом и авторитарностью, а такой *«суверенный плюрализм»* суверенен прежде всего от обязательств перед населением (в отличие даже от авторитаризма, все-таки относящегося к своему народу патерналистски). Во взаимоотношениях с обществом система управления РФ использует прежде всего три рычага: 1) манипуляция массовым сознанием с помощью телевидения; 2) точечное финансирование «национальных проектов»; и 3) выборочная репрессивность. В остальном стороны свободны от обязательств: население, вينا во всем очередной «громоотвод» вроде Чубайса, крутится в поисках заработков; элита «сидит» на ресурсных потоках, вынужденно маневрируя между глобальными политическими силами. При этом президенту приходится *«искать равнодействующую между всеми этими интересами, что практически исключает осуществление стратегии, продиктованной интересами населения... Политика носит инерционный, рефлекторный характер и зависит от импульсов, приходящих извне. Поэтому единственный курс, который проводится сколько-нибудь последовательно, — дальнейшая интеграция в глобальный рынок в качестве его периферийной составляющей. Провозглашенные правящей группой «идеи» призваны придать этой печальной реальности романтический блеск»*.

А тем временем в стране растет недовольство, складываются и вступают во взаимоотношения между собой ядра низовой оппозиции. СМИ, обескровленные «чистками» и замусоренные некомпетентными кадрами, с трудом справляются с пропагандистской задачей. К тому же на пятки информаци-

онному официозу наступает Интернет, где влияние бюрократических партий близко к нулю. И весь этот актив, пишет Шубин, сдвигается в сферу гражданского общества, так что «в случае нового подъема социальной активности населения гражданские организации смогут нарастить численность и усилить свое влияние». Но эта сила, по мнению автора, «может стать лишь тараном в борьбе властных группировок между собой, причем без существенных изменений социальной структуры (вариант “оранжевой революции”)». И сколько бы новых возможностей ни появилось у демократии в постиндустриальном мире, любые ее достижения «могут быть обесценены усилением глобальной власти», поглощены «глобальным информационным тоталитаризмом».

Выход Шубину видится один: реальная демократия как система. То есть самоуправление, делегирование власти от нижестоящих групп наверх, когда права вышестоящих органов определяются договоренностью нижестоящих: *«Собственно, именно самоуправление является демократией в чистом виде. Оно обеспечивает участие неополитиков в политике, простых людей — в принятии решений, которые их касаются»*. И от того, какая возобладаст тенденция — информационный манипулятивный тоталитаризм или корневые самоуправляющиеся и делегированные структуры — зависит, по мнению автора статьи, будущее нашей страны.

Впрочем, в последнее время в России становится модным говорить о кризисе демократии как таковой; во всяком случае — о кризисе либерализма и наступлении **«КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»**. Из влиятельных кругов все громче звучат голоса, внушающие обществу, что либеральные, «прогрессистские» идеи потерпели крах, а реальная борьба за влияние и престиж ведется в лагере «правых», консервативных идеологий. Это отмечает **Валерий Сендеров** (две его статьи под общим заголовком **«Кризис современного консерватизма»** опубликованы в № 1 «Нового мира»), задающийся вопросом, к чему способен привести такой «неоконсерватизм». Первая из статей называется **«Образ и действительность консервативной революции»** и посвящена Германии, поскольку термин *«консервативная революция»* родился именно там и до недавних пор употреблялся лишь применительно к Германии 20-х — 30-х годов XX века. Значение термина довольно расплывчато, определенно можно утверждать лишь следующее: *«революция предполагает кардинальное неприятие современных ей реалий, ... прилагательное же «консервативная» указывает направление желаемых перемен»*... Во всяком случае, совершенно очевидно, что консервативные революционеры — сторонники реставрации... Вот только реставрации — чего? Ответ вроде бы ясен: цельности национального сознания и всего национального бытия (ведь речь шла о поражении в Первой мировой войне, печальных переменах и национальном позоре). Однако в качестве символа этой цельности на свет стали появляться самые удивительные вещи. Не обошлось и без универсальной идеи *третьего* — Третий Завет — Третья Империя — Третье Царство (в этом же ряду стоит и Третий Рим, но о нем — чуть позднее — *ред.*) — Третий Рейх. Под последним в 20-е годы понимался не тот кровавый кошмар, который сегодня известен всему миру, а образ некоторой высшей действительности — *невидимый Рейх*, Тысячелетний Рейх. Неисправимая тоска по исчезнувшей Бургундии, стране замков, по аристократическим поместьям,

по благородному владетельному князю — по всему тому, что кануло в довоенное прошлое, рождала романтическую потребность бежать от современности в иной мир. В сочетании с общеевропейским процессом дехристианизации, идеей смерти Бога и стремлением окончательно освободиться от христианских ценностей это бегство от современности дало результаты поначалу, казалось бы, вполне невинные: в Европе распространились вдруг таинственные, недоступные профанному взору игры — сакральные истины друидизма, древняя раса гипербореев, мистические свойства свастики... В среде интеллектуалов явилась мода на пространные расчеты длительности космических циклов и наступления Великих Годов... Для консервативной идеи весь этот оккультно-магический комплекс оказался вполне своим: ведь логика цикла прямо противоположна идее прогресса. Так что понятие «консервативной революции» все больше связывалось с революцией космической, а на этом глобальном фоне как-то нивелировалось и теряло смысл *«презренное понятие личности»*. Именно в этих (казалось бы, чисто умозрительных) языческих играх формировался клубок тех самых оккультных идей, которые составили идеологическую оснастку нацизма, без *«патологического вдохновения»* которыми немислимо представить себе Третий Рейх (исторический — а не «невидимый»).

Но, пишет Сендеров, тема язычества в «консервативной революции» этим не исчерпывается. У «консервативной революции» был и иной идол, придающий ей религиозный характер не в меньшей степени, чем прямые оккультные изыски. Этим всемогущим и зловещим идиолом было даже не Государство, как можно было бы подумать. Этим идиолом был Народ, «воля» и «сила» которого превратились в настоящие *«символы веры»* Третьего Рейха. Народ, именем которого, по словам Томаса Манна, можно совершить такие преступления, которые именем Бога, справедливости или права сотворить невозможно.

...А к власти тем временем уверенно шел нацизм — и шел по дороге, во многом проложенной консервативными революционерами: это их идеи и лозунги были спародированы нацистами. Поначалу консервативные революционеры отнеслись к Гитлеру со смешанным чувством презрения и надежды: не станет ли новым Цезарем? Затем в ужасе отшатнулись: демократия была плоха, но куда хуже оказалась диктатура (примкнули к режиму лишь наиболее откровенные из «народников»). Однако в развернувшейся мировой войне несвоевременная *«культура замков»* оказалась в причудливом положении третьей силы: *«Противостоящая нацизму, но отождествленная с ним, она стала сокрушительным опытом политического поражения. Примером того как не надо. Как все равно не получится»*. И этот-то опыт, пишет Сендеров, мы считаем примером для себя и хотим повторить.

Свое родство с консервативными революционерами прокламирует сегодня одно из перспективных политических течений России. На шит понимаются те же идеи, звучат те же лозунги. Разве что идеи эти восприняты уже в вульгаризированной форме: все же предтоталитарный первообраз несколько отличался от посттоталитарной идеологической действительности. Постсоветский неоконсерватизм с готовностью рассуждает о «государстве — народе», солидаризируясь в этом существенном вопросе с крайней, нациствующей частью консервативных революционеров. Налицо те же при-

знаки «революционной ситуации»: то же кардинальное неприятие современных реалий — *«бездуховности, потребительства, деградации высших начал. И далее — демократии, парламентаризма, либерализма, рационализма...»*, та же потребность вернуться к цельности сознания и национального бытия. Не случайно, пишет Сендеров, консерваторы обеих стран так любили когда-то рассуждать о типологическом родстве России и Германии в общем их *«противостоянии всеизмельчающему прогрессу»*. Да и сегодня весьма актуально звучит мысль Фридриха Ницше: *«Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы»*.

«Никакого американского будущего!» — эти слова можно поставить эпиграфом к сборнику, о котором Сендеров пишет во второй своей статье (**«Россия в проекте, или Философия испуга»**). Называется это издание: *стратегический журнал «Политическое православие»* (№ 2)¹. Базовые понятия — Третий Рим, Святая Русь, Изоляционизм и вот это самое *политическое* православие. Плюс — тема американского империализма, которой авторы сборника верны неизменно — вплоть до того, что критерием политической истины оказываются интересы и поведение США — вернее, конечно, противостояние им. Общий сюжет сборника таков: существование США диктует России не только внешнюю политику, но и всю внутреннюю жизнь. А пафос практически всех статей сосредоточен на том, чтобы опровергнуть формулу Екатерины II: *«Россия есть европейская держава!»*. Аналогом термина «консервативная революция» с успехом выступает словосочетание *«Реставрация будущего»* — поскольку, как убеждены авторы сборника, вместо настоящего мы имеем сегодня в России *«зияющий цивилизационный провал»*. И подобно тому, как в 20-е годы прошлого века немцам казались естественными призывы вернуться в империю Фридриха Барбароссы, так сегодня становятся привычными и апелляции к образу средневекового царства, и их слияние с политической аргументацией.

Катехон — апокалиптика — последние времена — Третий Рим — Тысячелетнее Царство — Тысячелетний Рейх — Третий Рейх... *«Идеи, — замечает Сендеров, — становятся материальной силой, когда они овладевают верхами страны»*. И хотя, если трезво взглянуть в русскую историю, ничего «третьеримского» в ней не обнаружится, — тем не менее в иных головах (а их немало) налицо *путаница прошлого с будущим*, эсхатологические ожидания, предпочтение мыслей об антихристе мыслям о Боге — то есть все то, что более приличествует сектантству, нежели православию, пусть даже и *политическому*.

А политическое православие в лице авторов сборника тем временем предлагает *«православную технологию спасения»* — это не в последнюю очередь *«справедливые русские бандюки»* в героических русских детективах, но главным образом речь идет не о них, а об *агиополитике* (от греч. ἅγιος — святой). *«Русское православие, — сказано в сборнике, — обладает колоссальным, имеющим стратегическое значение для страны агиополитическим ресурсом... Выживание России в критических ситуациях и ее геополитические*

¹ Политическое православие. Стратегический журнал, № 2. М., 2006. 378 стр.

успехи— все это сопровождалось продуманными агиополитическими мероприятиями. И напротив, государственные неудачи обычно приходили вслед за пренебрежением агиополитикой... Участие в агиополитических мероприятиях— это важнейший сплачивающий нацию фактор... Это ресурс сакральных символов и образов, воздействие которых на человека значительно повышает мобилизационную энергию нации, создает пространство священного, необходимое для созидательных действий». Прочитав такое, остается только вместе с Сендеровым поразиться непостижимой смеси рассудочного расчета и магического шаманства, а еще, казалось бы, забытому языку партийно-хозяйственных активов. И вместе с автором статьи убедиться, что удручающие конструкции сборника «Политическое православие» покоятся не только и не столько на «третьеримстве» и антиамериканизме. *«Подлинной базой рассуждений является то, чего в сборнике нет, — пишет Сендеров, — нет же в нем — понятия Личности. <...> Но в христианстве нет... ни стадности, ни толп. В нем каждый персонально исчислен. Когда же эта персональная исчисленность исчезает — христианство исчезает вместе с нею. Остается лишь ощетинившийся прилагательным конфессионализм»*. О том же, чем чревато пренебрежение личностью, XX столетие свидетельствует весьма красноречиво — хотя бы история Третье Рейха.

Уроки прошлого учат нас не повторять прежних ошибок в будущем. Гитлеризм — трагическая иллюстрация того, как опасно творить кумиры — будь то государство или народ. Демократия, пусть и переводящаяся как «власть народа», если она не желает превратиться в свою противоположность, не должна превращаться в идолопоклонство.

В статье **«“Народное государство” Гитлера» Самсон Мадневский** рассказывает о нашумевшей книге немецкого историка Гётца Али («Зарубежные записки», 2006, № 8). В этой работе, которая называется *«Народное государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный социализм»*², автор стремится ответить на вопрос: в чем причина многолетних успехов Гитлера? Почему его режим поддержало огромное число немцев?

Ответ Али обескураживающее прост: нацистский режим был ни чем иным как «услужливой диктатурой» — услужливой по отношению к подавляющему большинству немцев. *«Гитлер, гауляйтеры, значительная часть министров, статс-секретарей и пр., — сказано в книге, — действовали как классические политики-популисты, постоянно озабоченные настроением управляемых. Они ежедневно задавались вопросом, как добиться их удовлетворенности, улучшить их самочувствие. Каждый день они заново покупали их одобрение или по меньшей мере нейтралитет»*. Это и в самом деле был национальный социализм, неустанная забота о *благах народа*. Принцип, провозглашенный Гитлером: хорошо то, что полезно для немцев, — действительно работал. Задумываться о методах хотелось далеко не всем.

Вот лишь часть перечисленных в книге мер социальной политики, осуществленных в гитлеровской Германии до войны: введение оплаченных отпусков рабочим и служащим; удвоение числа нерабочих дней; создание пер-

² Götz A. Hitlers Volkstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am Main, 2005. 444 p.

вой модели дешевого «народного» авто; поощрение семей с детьми (выплата пособий) за счет холостяков и бездетных пар; начатки системы пенсионного обеспечения; введение прогрессивного налогообложения; защита крестьян от последствий природных катаклизмов и колебаний цен на мировом рынке; защита должников от принудительного взыскания долга путем описи и продажи имущества (должников по квартплате — от выселения)... Перевооружение Германии позволило ликвидировать безработицу и повысить покупательную способность масс. Расовая же теория нацизма для миллионов немцев была привлекательна тем, что смягчала классовые различия и обеспечивала равенство внутри нации: запрещались браки с евреями, зато впервые в истории Германии офицер мог жениться на дочери рабочего.

Бюджетная политика Гитлера быстро поставила Германию на порог банкротства. И выход был найден — с одной стороны, внешняя экспансия, с другой, — экспроприация евреев. Во время же войны, пишет Али, большинство немцев стали жить лучше, чем до нее. Продовольственное снабжение населения было организовано так, чтобы простыми людьми оно ощущалось как справедливое. *«Государство превратилось в колоссальную машину для грабежа, а отдельные граждане — в извлекателей выгод и пассивно подкупленных. В распоряжении простых людей оказались вещи, о существовании которых они за пару лет до того не подозревали. И это было лишь предвкушением того, какие блага сулит жизнь после войны».* Цель Холокоста, — пишет Али, — это, прежде всего, грабеж. *«Каждый принадлежавший к “расе господ” — а это были не только какие-то нацистские функционеры, но 95% немцев — в конечном счете имел какую-то долю в награбленном — в виде денег в кошельке или импортированных, закупленных в оккупированных, союзных или нейтральных странах и оплаченных награбленными деньгами продуктами на тарелке. Жертвы бомбежек носили одежду убитых евреев и приходили в себя в их кроватях, благодаря Богу за то, что выжили, а партию и государство — за оперативную помощь».*

Итак, *«посредством грабительской расовой войны неслыханных масштабов нацизм обеспечил немцам невиданную ранее степень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности. Вот почему режим чудовищных массовых преступлений был в то же время режимом огромной популярности».* Такой ответ на вопрос о причинах происшедшего решительно расходится с принятыми из «национально-педагогических» соображений объяснениями, возлагающими ответственность на отдельные лица или группы — на безумного, якобы харизматичного диктатора и его окружение или на банкиров, руководителей концернов, генералов и т.д.

«Когда я говорю о “немцах”, — пишет Али, — это понятие тоже относится к числу коллективистских обобщений... И все же, при всем его несовершенстве оно кажется мне несравненно более точным, чем сильно суженное “нацисты”. Ибо... выгоды из аризации извлекали именно немцы (включая австрийцев), понимая под этим словом 95% населения. Тот, кто заявляет, что это были лишь отягченные наци, уходит от реальной исторической проблемы».

...История — это хорошая школа. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы извлечь из нее правильные уроки.

Обзор подготовил Дмитрий Матвеев

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

«К МИЛОСЕРДНЫМ КОЛЕНЯМ ПРИПАВ...»

Библия и И. Бунин

Он умер в ночь с 7 на 8 ноября 1953 года... Накануне он еще мыслил вслух — глубоко и страстно. Говорил о бессмысленности смерти, о Льве Толстом и его романе «Воскресенье». Отказывался понять, как наивысший для него авторитет, удивительный человек и писатель, включил в роман ненужные, нехудожественные страницы. Речь шла о совершении евхаристии в тюремной церкви. Толстой это таинство отрицал. Бунин с ним не соглашался. «*Как он мог?*» было последним восклицанием, которое уловил свидетель этих последних минут...

Верная до гроба Вера Николаевна Бунина, уходя из дома, оставила подле мужа Александра Васильевича Бахраха. С Бахрахом Бунины жили во время войны. По возрасту военнообязанный, Бахрах был демобилизован из французской армии в 1940 году. Очутился в одном из городков Средиземноморского побережья. Не зная, куда приткнуться, написал старинным знакомым Буниным на виллу «Жанетт». Думал провести там одну-две ночи, но был оставлен хозяевами на несколько лет. Широка литературных интересов, великолепная память, готовность оказать любую помощь, в том числе и в быту, — а он в военную пору был трудным, — доброжелательный характер сделали Бахраха незаменимым «домочадцем» (словцо из письма Бунина). Книга «Бунин в халате», принадлежащая перу Бахраха, — образцовое пособие для меуаристов. Умная. Тактичная. Искренняя. Веришь каждому ее слову...

Ноябрь 1953 года... Я уже училась в Литературном институте, попав в первый послесталинский набор. В школе Бунина не проходили. Но имя полуконспиративно звучало. Мне даже довелось подержать в руках его книгу, апельсиново-желтую, с рисунком на мягкой обложке — пышным букетом; дореволюционное приложение к «Ниве». Полистала растрепанный том. Показалось: скучно. Да и отец мой, по образованию юрист, по роду занятий железнодорожник, по устремлению души книгочей, со студенческих лет предпочитал Бунину Леонида Андреева, собирал по крупицам его «марксовское» собрание сочинений. Я прислушивалась к мнению отца.

И все-таки... Если бы, сутулясь под грузом траурной вести, вошел в нашу маленькую интернациональную аудиторию один из лекторов (а у нас был

**Тамара
ЖИРМУНСКАЯ**

— родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор десяти сборников стихов и прозы, книги бесед «Ум ищет Божества» (о Библии и русской поэзии за три века). Член Русского ПЕН-центра и редколлегии журнала «Истина и Жизнь». Лауреат литературной премии «Венец» (2002). Живет в Мюнхене.

в основном университетский преподавательский состав), поднял нас со стульев и сказал: «Вчера в Париже умер Иван Алексеевич Бунин. Почти кончину великого русского писателя минутой молчания!» — это запомнилось бы навсегда. Но никто ничего не сказал. Никто не поставил в пример нам, первокурсникам писательского вуза, жизнь, безраздельно отданную родной литературе.

Об уходе последнего по времени бесспорного классика мы узнали далеко не сразу. А ведь на нашем курсе, где всего-то было тридцать человек, учился Юрий Казаков. Ему выпала особая честь: вскоре его назвали первым среди молодых писателем бунинского направления. И, когда, спустя немалое время, он приехал во Францию на побывку, восьмидесятишестилетний Борис Зайцев встретил его с распростертыми объятиями — как художественного наследника Ивана Бунина.

Нам довелось быть свидетелями воскрешения Бунина из мертвых! Я присутствовала на первом вечере его памяти в Литературном музее! Но об этом — позже... В середине пятидесятых, после перерыва чуть ли не в сорок лет, в Москве выходят избранные рассказы писателя-эмигранта! То ли я повзрослела за полтора-два года, то ли после допинга еженедельных творческих семинаров прорезался мой собственный, а не заемный художественный вкус, но тут уж он не отпустил меня от себя. Я без натуги выучила наизусть «Легкое дыхание» и с *выражением*, может быть, чрезмерным, прочла рассказ на институтском вечере. Потом опробовала на школьных подругах. Потом пустила, как лонгфелловскую стрелу, в пеструю публику подмосковного дома отдыха.

И порой, опять же по Лонгфелло, стрела попадала в цель...

На скучных лекциях мы с Юрием Казаковым перекидывались записками. Некоторые у меня сохранились. Например, эта: «*Бунин — божество, недоступное совершенно и с непонятной genialностью*»...

Вскоре Юру осторожно начали печатать. Выбором натуры (Север, глухие места срединной России), ломаными мужскими и сложными женскими характерами, одухотворением природы и всякой живой твари, любовным вниманием к прелестным жизненным мелочам, элегической тональностью его рассказы выламывались из привычной прозы пятидесятых. Казакова тут же зачислили в бунинские эпигоны. Как будто талантливо продолжать предшественника — значит рабски копировать его. Время все расставило по местам. Юрий Казаков — единственный русский писатель, награжденный золотой медалью Данте. Две недавно учрежденные литературные премии имени Юрия Казакова говорят сами за себя. Надеюсь, учитель не откритился бы от такого преемника...

Давно уже Бунин-прозаик удостоен больше чем признания. Бунин-поэт почему-то оказался в тени, хотя на рубеже веков его поэтическое имя звучало куда как громко. Трижды его оригинальные и переводные стихи были отмечены наградой Российской Академии Наук — премией имени Пушкина. «*Конечно, как поэта венчает И. А. Бунина академия*», — писал один из критиков. Но можно, наверно, понять и тех, кто считал автора безукоризненных стихов слишком классичным, консервативным, старомодным. Серебряный век русской поэзии предпочитал «*алмазы в каменных пещерах*» и чурался настоящего, но потускневшего фамильного серебра...

Ощущал ли Бунин, что неумолимым ходом времени, логикой литературных событий вытеснен на обочину поэтического процесса? И ощущал, и страдал, и не смирялся...

Через годы и годы, уже в эмиграции, он попытывался у Зинаиды Гиппиус: «Скажите, как вы могли переносить Блока, Белого? Я совершенно не мог. Я понимаю, что в Блоке есть та муть, которая делает поэтов, но все же многое мне в нем непереносимо. А Белый просто не поэт...» (из дневниковых записей Веры Николаевны Буниной). А еще спустя доброе десятилетие, не скрывая своей обиды, «спросил, словно выстрелил», у Александра Бахраха: «А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал, — он улыбнулся, — но для вас они, конечно, недостаточно пряны и изысканны, вас съел Блок <...> Неужели вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?»

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!»

Неприязнь писателя к символистам и другим кумирам Серебряного века Бахрах объясняет, в частности, тем, что Бунин «неизменно хотел, чтобы его в первую очередь считали поэтом», а «его поэзию как бы не признавали или признавали с оговорками, во всяком случае, не так, как он того хотел»...

Между тем, Блок, со своей стороны, еще в 1907 году утверждал право Бунина «на одно из главных мест среди современной русской поэзии», дружески приветствуя книгу своего старшего современника, мастера совсем иной поэтики...

Со школьных лет помнится это:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

Сама цитата и отзыв Льва Толстого («Очень хорошо, очень верно!») без упоминания фамилии автора проникли, благодаря мемуару Горького, в учебники, хрестоматии, стали *обонятельной* визитной карточкой Бунина-поэта.

Впервые познакомившись с его поэзией, я, как это свойственно юности, особо выделила для себя стихи о любви. Их немного, но каждое — боль и трепет, красноречивая недосказанность, бесслезные слезы.

Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?
Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья, —
Я опять одинок!

(1899)

Есть некоторая разница восприятия в зависимости от того, с бумажного листа или с чужого голоса пришли к нам стихи. Последнее случалось в моей жизни реже, но западало в память крепче... В какой-то счастливый миг, в

небольшой компании, Александр Межиров уверенным голосом признанного поэта прочел не известное мне тогда стихотворение Бунина «Дочь»:

Все снится: дочь есть у меня,
И вот я, с нежностью, с тоской,
Дождался радостного дня,
Когда ее к венцу убрали,
И сам, неловкою рукой,
Поправил газ ее вуали.
Глядеть на чистое чело,
На робкий блеск невинных глаз
Мне почему-то тяжело,
Но все ж бледнею я от счастья,
Крестя ее в последний час
На это женское причастье.
Что снится мне потом? Потом
Она уж с *ним*, — как страшен он! —
Потом мой опустевший дом —
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.

Когда на литературных вечерах некоторые неискушенные слушатели спрашивают, что такое «лирика» и всегда ли она про любовь, можно просто прочесть вслух оба лирических стихотворения. Да, про любовь. Но значения и оттенки значений этого затасканного слова бесконечны. Так же бесконечна и лирика...

О поэтах лучше всего пишут поэты, — никто меня не сдвинет с этого убеждения. Автор вступительной статьи к собранию сочинений в девяти томах (Гослит, 1965–1967) Александр Твардовский обжигаяще свежо сказал о старшем собрате: *«Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста лирического героя, — он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени»; «...поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире сочетание прекрасного и вечного, обрести желанную непреходящность»; «Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни»; «Бунина нельзя не любить и не ценить <...> за дисциплину строки — ни одной полой или провисающей — каждая, как струна...»*

Кажется, все главное сказано. Но почти ничего о религии, о пронизанности многих стихов библейскими, евангельскими, а подчас иноверными, но той же соединительной цели служащими мотивами (само слово «религия», напомним, в переводе значит «связь», «соединение»).

Что лакуны в изучении поэтического творчества Ивана Бунина, обусловленные и временем, и индивидуальным подходом исследователя, заполняются и будут еще долго заполняться, очевидно как день. Свое веское слово произнес тут автор «Жизни Бунина» Олег Михайлов (М., «Центрполиграф», 2001). Уверена, что эту книгу, которая переживалась и писалась критиком-

шестидесятником всю жизнь (в переписку с Верой Николаевной и писателями из окружения Бунина он вступил совсем молодым человеком), с признательностью прочли многие. Но и она, безусловно, не последняя. Кто-то из пишущих собратьев уже вынашивает главную книгу о Бунине, которая, как козырной туз, накроет все, написанное раньше...

Комментируя известное бунинское двустишие *«Я человек: как бог, я обречен Познать тоску всех стран и всех времен»* (1909), Михайлов справедливо говорит о внутренних метаморфозах, пережитых поэтом в первое пятнадцать — шестнадцатилетие XX века: необычайном расширении его личности, новом для него элементе «всечеловеческого», об обращении *«к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику»* (я бы сказала, религиозную. — Т. Ж.).

А вот атеизма, даже *поверхностного*, который усмотрел Михайлов в стихах «Каменная баба» и «Мистика», я лично за Буниным не числю.

В молодости он охотно делил простую веру, приятие христианского обряда, торжество церковного праздника с *усталым, кротким братом* — сельским крестьянином. Вот концовка стихотворения «Троица»:

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву — и смирение.

В зрелости, пережив и утрату родного очага, и смерть близких, и не одну горькую любовь, пересказывал, близко к тексту оригинала, Откровение Иоанна:

Воистину достоин восприятия
Ты, Господи, хвалу и честь и силу
Затем, что все Тобой сотворено
И существует волею Твоею.
(«Из Апокалипсиса»)

В годы гражданской смуты под его пером рождается «Вход в Иерусалим», где за отталкивающим портретом мстителя-калеки — символа *«кровавого пира для всех обойденных судьбой»* — следуют прямо евангельские строки:

И ты, Всеблагой,
Свете тихий, вечерний,
Ты грядешь посреди обманувшейся черни,
Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком ослати
В роковые врата — на позор,
На проклятье!

С внутренним согласием-несогласием прочла я монографию Геннадия Карпенко «Творчество И. А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков» (Самара, «Универс-групп», 2005). Карпенко бесстрашно вступает в область, для многих заповедную: сопрягает библейские мотивы в стихах с религиозно-художественными элементами других религий и метафизических систем. В первую очередь с Кораном, который называет *«своеобразным продол-*

жении» Библии. Так-то оно так, но можно представить себе негодующую реакцию на это фанатиков, блюстителей чистоты веры, что от Танаха, что от Евангелия, что от священной книги мусульман.

Вот комментарий Карпенко к стихотворению «Магомет и Сафия»: «Бунин очень тонко передает чувства духовно-кровного родства пророка с ветхозаветным прошлым. Одиннадцатая жена Магомета Сафия жалуется ему, что ее все арабы дразнят “жидовкой”:

Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: “Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг”».

И далее комментатор с полным правом высказывает одну из своих задушевных, должно быть, идей: *«Стихотворение “Магомет и Сафия” характерно для Бунина во многих отношениях: оно занимает одно из центральных мест в бунинской концепции единства всего человечества»*. Звучит весьма злободневно.

Чрезвычайно скрупулезно, демонстрируя предельную профессиональную искушенность, Карпенко иллюстрирует стихами свои порой вызывающие спорные утверждения. Он цитирует два четверостишия из раннего стихотворения «В костеле»:

Дивен мир твой! Расцветает
Он, тобой согрет.
В небесах твоих сияет
Солнца вечный свет.
Гимн природы животворный
Льется к небесам...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!

— и делает вывод: *«божественное место Иисуса Христа занято, оно отведено в творчестве Бунина Богу-отцу»* (выделено автором. — Т. Ж.).

Я не богослов, но остереглась бы делать такие глобальные выводы на основании нескольких поэтических строф. Ветхозаветный источник равно питает оба Завета. На протяжении трех веков русская поэзия вкладывала в понятие Бог нечто несоизмеримое с обыденным представлением. Скажем, у Державина есть и ода «Бог» и ода «Христос», причем вторая как бы вытекает из первой и одновременно впадает в нее, обе составляют две ипостаси Одного начала, одну Полноту. Видеть в Боге-отце и Боге-сыне соперников, слишком по-земному делить между ними места — по меньшей мере странно. Поэт, мне кажется, тут ни при чем.

Еще одно принципиальное возражение Геннадию Карпенко. Он пишет: *«Бунин, разделяя мысли русских писателей о кризисном состоянии мира (выше цитируется Вл. Соловьев с его упованием на Богородицу и Богочеловека, призванных победить извращенную природу. — Т. Ж.), придерживался все же иной ориентации: мир и человек в нем нуждаются в первую очередь не в христианской нравственности, не в “посреднике”, не в усилиях богочеловека, а в ветхозаветном мироощущении. Образно говоря, освобождающееся земное*

место Иисуса Христа в творчестве Бунина занимает библейский страдалец Иов» (выделено автором. — Т. Ж.).

Образ Иова, бесспорно, волновал Бунина. Необычайно чуткий к боли, своей и чужой, он мог и возроптать, как Иов, на ее скрытый от взора источник. И склониться перед непостижимо прекрасным устройством мироздания, отдав должное гению Устроителя. Но с сутью приведенной тирады не могу согласиться! Ни в той ее части, что касается нравственности, ни в других ее частях. Ни один персонаж ни Ветхого, ни Нового Заветов занять место Христа не может по той простой причине, что они — человеки, а Он — Бог... Бунин стоял на христианской вере твердо как на камне. Сам автор книги приводит много тому стихотворных и прозаических доказательств. Другое дело, что бунинская природа была уникальна. Он в самом деле как мало кто чувствовал первостихии природы, ощущал первозданный хаос, *«бездны неба и океана»*. Говоря об «имманентности» бунинского Бога миру (посюсторонности), исследователь цитирует стихи 1906 года:

Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут Богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою всемирною Душою...

И вслед за этим — стихотворение, написанное 18 лет спустя, в эмиграции:

Но что есть Бог? Кто он, несметный днями?
Он страшен мне. Он слишком величав
И слишком необъятен. Он молчанье;
Он штиль морей и пыль сожженных трав...

Великолепные цитаты! Поэт и его интерпретатор, скорее вольно, чем невольно, обращаются к образу Бога, действительно, имманентного творению. В Ветхом Завете можно найти много подобных самохарактеристик. Скажем, во Второзаконии Творец вселенной говорит о Себе Моисею: *«...Бог ваш есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный...»* (Втор 10:17)... И слово «бездна» встречается в первой части Библии гораздо чаще, чем во второй. В моей книге *«Ум ищет Божества»* (М., «Российский писатель», 2006) в главе о Тютчеве читатель найдет много цитат с «бездной», которые в свое время я выписала из Ветхого Завета. То же независимо от меня сделал в монографии о Бунине Г. Карпенко. Но при чем тут *нужда* в «ветхозаветном мироощущении», о которой он пишет выше? Скорее наоборот. Такое мироощущение, в большей или меньшей степени, присуще от рождения каждому человеку, тем более художнику крупного масштаба. *Нуждается* же мы для свершения каждодневного подвига жизни, чей вектор устремлен либо вверх, либо вниз, в чем-то упорно противостоящем, о чем не устали размышлять великие религиозные философы...

О человеческом духе, скованном плотью, о Творце земли и неба, который *«лишь творит, чтоб без конца творить»*, создает новые миры из обломков старых, а посему не созидатель, а разрушитель, рассуждает Люцифер в блестяще переведенной Буниным (1903) мистерии Байрона «Каин». Насколько знаменит бунинский перевод «Гайаваты», настолько малоизвестен его грандиозный труд в соавторстве (не убоюсь этого слова!) с великим английским поэтом.

Много ли известно о Каине из Библии? Первый земледелец, Всевышний не захотел принять в жертву плоды его трудов. А у брата Авеля приношение от «первородных» стад и тука их принял. Посему — первый завистник. Первый убийца. Первый изгнанник и скиталец — за грехи свои. Девятый стих четвертой главы книги Бытия — *«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?»* — одно из самых известных мест Священного Писания. Однако и над ним была простерта Божья длань: *«И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох»* (Быт 4:17).

Остальное в русском варианте мистерии — творчество Байрона и со-творчество Бунина. Вечные вопросы (можно их назвать и вопросами Иова) здесь обнажены до предела. Люцифер безошибочно выбирает из первых людей самого податливого. Каин умен, пытлив, недоволен своим уделом, хочет подняться в высшие сферы разума, узреть, где обитает сам Иегова. Он еще не убил своего брата. Еще не настолько расшатана его первобытная душа, чтобы он совершил первое в мире злодеяние. Но все впереди.

В одиночестве он произносит монолог, ставший призывным сигналом для Люцифера:

...И это жизнь!
Трудись, трудись! Но почему я должен
Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил рай. Но в чем же я виновен?
В те дни я не рожден был, — не стремился
Рожденным быть, — родившись, не люблю
Того, что мне дало мое рождение...

Люцифер
(приближаясь)

Смертный!

Каин

Кто ты, о дух?

Люцифер

Я повелитель духов.

Каин

Но если так, зачем ты их покинул
Для смертного?

Люцифер

Я знаю мысли смертных
И сострадаю смертным.

Каин

Как! Ты знаешь,
Что мыслю я?

Люцифер

Да, это мысли всех
Достойных мысли; это говорит в вас
Бессмертие...

Узнав, что тщеславный Каин хочет постичь тайны вселенной и, постигнув, возгордиться своим умом, повелитель духов берет его с собой в космическое путешествие. Показано оно *living* — живьем. Так и кажется, что космос сначала впустил в себя великих поэтов, раскинувшись перед ними во всю свою необъятную мощь, а уж потом — астронавтов...

Люцифер

Ты не узнал земли?
Той персти, из которой ты был создан?

Каин

Как! Этот круг, синеющий в эфире
Вблизи кружка, похожего на то,
Что ночью освещает нашу землю,
И есть наш рай? А где же стены рая?
И те, что стерегут их?..

Ангел тьмы не унимается:

Но что бы ты подумал,
Когда б узнал, что есть миры громадней,
Чем мир земной, что есть создания выше,
Чем человек, что их число несметно,
Что все они на смерть обречены,
И все живут, все страдают?..

Чем упоительней космический полет, тем безжалостней речи Люцифера. Теперь они метят не только в Каина, но и выше:

А если дух твой скован от рожденья
Тяжелой, грубой плотью, если он,
Столь гордый тем, что знает, жаждет новых,
Все новых, высших знаний, а меж тем
Не победит ничтожнейших, грубейших,
Мерзейших нужд и высшею отрадой
Считает только сладостный и грязный,
Без меры истомляющий обман...

Согласно Люциферу, бесконечность мироздания подчеркивает немощь человека, который есть прах земной и обречен стать *неподвижным прахом*, а то и чем-нибудь похуже.

Если земля — не более чем *круг в эфире*, если изначально нет места для рая, то есть для воздаяния за праведную жизнь, если порывы духа в конечном счете влекут не вверх, а вниз, а Создатель и Разрушитель — одно и то же лицо, тогда... Вспышка ярости — и возвращенный в земные пределы Каин убивает Авеля... Оказывается, он еще и первый богоборец, этот прапра-пра...пращур современных людей.

Можно предположить, что Бунин пережил как собственное творение мистирию английского титана. Не переживешь — не переведешь.

Через несколько лет он напишет своего «Каина» с эпиграфом из сирийского предания «*Баальбек воздвиг в безумии Каин*». Баальбек — город Ваала — по-гречески Гелиополь, то есть город Солнца. Само название Ка-

инова творения внесло новую, ослепительную краску в легендарный образ первого ниспровергателя порядка, установленного свыше. В бунинских стихах читаем:

Жадно ищущий бога*,
Первый бросил проклятье ему.
И, достигнув порога,
Пал сраженный, увидевши — тьму.
Но и в тьме он восславит
Только Знание, Разум и Свет —
Башню Солнца поставит,
Вдавлив в землю незбылемый след...

Что это? Позднейшая реабилитация восприимчивого ученика Люцифера и тьмы его последователей? Первая мысль: да! Тем более что поэт явно любит своего героя:

Синекудрий, весь бурый,
Из пустыни и зноя литой,
Опоясан он шкурой,
Шкурой льва, золотой и густой...

Но к концу стиха приходит отрезвление:

Он спешит, он швыряет,
Он скалу на скалу громоздит,
Он дрожит, умирает...
Но творцу отомстит, отомстит.

Столько усилий — и все ради мести, ради желания доказать: *«и я могу, как Ты»*? Это мы уже проходили! К счастью, Каин — человек, а человек смертен. Его люциферические усилия, превратившиеся в развалины, если что-то и говорят, то только глазу и сердцу художника.

Об исторических останках — свидетелях зигзагообразного пути человеческой мысли — говорится и в других стихах, помеченных годами начала века. «Каменная баба» явно возникла на родимой почве.

От зноя травы сухи и мертвы.
Степь — без границ, но даль синее слабо.
Вот остов лошадиной головы.
Вот снова — Каменная баба.
Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя... А ты
Мне улыбаешься несмело.
О дикое исчадие древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
— Не бог, не бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.

* Придерживаюсь правописания худлитовских книг. — Т. Ж.

Олег Михайлов узрел в стихотворении «Каменная баба» нечто атеистическое. Я этого не вижу. «Боги» во множественном числе, а значит, идолы, не имеют с Творцом неба и земли ничего общего. Громовержец Перун был славянским божеством, назывался богом. Но кому придет в голову считать, что он «нас создал»?..

1903–1906 — для Бунина годы испытаний: продолжающееся одиночество, кончина отца, болезнь и смерть единственного сына Коли, мальчика, «говорившего стихами». Невозможно сбросить со счетов и роковые события 1905-го... Думаю, не случайно эти годы указаны под многими стихами религиозной направленности. Но вот-вот свершится прорыв в нечто совершенно другое. Так и в природе: тьма обыкновенно сгущается перед наступлением света. Хочется привести тут концовку стихотворения «Айя-София» с ее редкой для Бунина ликующей нотой.

...А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.
И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

Может быть, я на себя слишком много беру, но большинство бунинских стихов, написанных в последнее десятилетие перед третьей русской революцией, видятся мне отчаянной попыткой поэта заговорить историю. Не дать произойти тому, что имеет все шансы свершиться. Ему ли не знать своего народа, не представлять, подобно книжникам и фарисеям, на край какой пропасти он поставлен бедностью, посулами безответственных радетелей за «дело народное», властью внутренней тьмы?..

Сам И. А. Бунин на коне в это время. Признанный писатель, одна из центральных фигур литературного процесса. Не свернувший свое поэтическое хозяйство, как можно было ожидать от автора «Деревни» и «Суходола», слагатель изящно и крепко сложенных, головокружительно разнообразных стихов. Продолжаются плодотворные путешествия по Западу и Востоку. Рядом — преданная, любящая Вера Николаевна. С В. Н. Муромцевой, красавицей, дворянкой и интеллигенткой, в молодости увлеченной химией, литературно одаренной женщиной, знавшей как никто ему цену, Бунин познакомился в 1906 году. Их союз долго оставался *незаконным*. Только в 1922-м, в Париже, они смогли обвенчаться.

Поэты-романтики склонны приветствовать войну. И у Первой мировой скоро выявились свои трубадуры. Бунин не был романтиком — он слишком хорошо все понимал.

С Иосифом господь беседовал в ночи,
Когда святая мать с младенцем почивала:
«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.

Как нищая вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как пророки
Мой древний дом оплакали со мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости господнее веленье:
Встань, возвратись в мой тихий Назарет —
И всей земли яви благоговенье».

Стихотворение называется «Новый Завет». Под ним: Рим, 24 марта 1914 года. Из комментария О. Михайлова и А. Бабореко читатели могут узнать библейскую подоплеку стихов: когда не стало тирана Ирода, Бог через своего ангела позвал Святое семейство из Египта обратно в Палестину. Тем же, кто приведенное выше стихотворение сочтет слишком пресным, советую прочитать написанное в 1915 году поразительное по художественной дерзости «Бегство в Египет», где действие перенесено во глубину России.

По лесам бежала божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе божье полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.
Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.
Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.

.....
И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

Думаю, что автору была особенно важна и дорога последняя строфа. Ясно, что Ирод тут воплощение земного зла, а русская Богоматерь олицетворяет все, что так любил Бунин в России...

Что противостоит хаосу, разрушению, человеческому горю? Божественный порядок мироздания. Творчество. Всепобеждающий характер если не самого счастья, то ощущения его.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
(«Вечер», 1909)

Мне приходилось встречать в разных публикациях этот бунинский сонет, усеченный до двух начальных четверостиший. Мол, главное передано, — зачем же тянуть? Но этого нельзя делать! Сонет — строгая законченная форма, радость и гордость автора. При усечении (чуть не написала библейски-торжественное «усекновении») нарушается естественность поэтического полета. В данном случае исчезает последняя, ударная строка. «Все во мне» — ко всему еще переключка с Тютчевым: *«Все во мне, и я во всем»*. Столь трудно достигаемое и так легко теряемое чувство божественной полноты жизни...

Вспоминаю один разговор с отцом Александром Менем. Речь зашла о поэтах Серебряного века и революции 1917 года. Прежде всего, о Блоке. Священник говорил, что к тому времени в душе поэта все было перевернуто, разрушено, и эти руины притянули хаос извне, тьма внутренняя — тьму внешнюю. Я бросалась защищать своего кумира, впрочем, довольно бездоказательно. Ибо аргументов и эрудиции не хватало... Так вот (это уже мое собственное предположение): здоровое зерно духа в Бунине оставалось всегда. Зло и добро, белое и черное никогда не менялись местами. Точно от рождения он носил в себе некий незримый противовес, не допускающий интеллектуальных сальто-мортале.

Нелепо искать в его стихах газетно-гражданской направленности. Тонкий живописец в поэзии, свою боль и гнев он предпочел выплеснуть в прозе, главным образом в «Окаянных днях». А стихи, как правило, оставались стихами. Впрочем, уже в конце 16-го года он поставил точный диагноз тому, что грядет:

Ходили в мире лже-Мессии, —
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их в литургии
И речь — бряцающий кимвал.
Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.
Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир — и вновь
Пьет сатана из полной чаши
Идоложертвенную кровь.

Тут что ни строка, то заимствование или переосмысление слов из Библии. Всегда, пересказывая стихи презренной прозой, испытываю чувство смущения и вины перед автором. Но не хочется, чтобы читатель просто скользнул взглядом по строкам этого предельно гражданского для Бунина двенадцатистишия, созданного на сломе эпох...

Согласно поэту, лжемессии, лжепророки творят полную блуда и срама литургию, из своекорыстного интереса подменяя старую религию новой. Идолы, божки временно заменяют Бога. Но и они будут принесены в жертву. И их ждет кровавое, в противоположность христианскому бескровному, причащение — на радость сатане. «Звезда, что будет на востоке» — это, безусловно, Вифлеемская звезда. Она «еще среди глубокой тьмы». Тем не менее сроки новых хозяев жизни ограничены. Стихотворение так и называется «На исходе»...

В изгнании Бунин написал немного стихов. В них все те же, никогда не покидавшие его темы: смерть, любовь, Россия, Бог. Да вот еще прибавилась новая, ожидаемо-неожиданная: эмиграция.

Судьбе было угодно, чтобы два прекрасных стихотворения, почти никому не известных в ту пору: «Канарейка» и «У птицы есть гнездо...», — я услышала в 1955 году на первом московском вечере, Бунину посвященном. Может быть, то была награда за читанное мной с ученическим пылом «Легкое дыхание»? Этот вечер записан в моем дневнике. Прошу прощения за длинноты, за возможные неточности и перефразы. Виновник торжества где-то на заднем плане, но присутствующие обрисованы довольно четко. Так было воспринято не очень образованной девятнадцатилетней студенткой Литинститута культурное событие огромной важности.

20.10.55

Вчера с Галей Арбузовой поехали на вечер Бунина в Литературный музей. Билетов, конечно, не достали. Паустовский обещал предупредить, скажем, от кого, — и нас пропустят.

...В президиуме — Паустовский (все такой же, хрипловатый и очень неуверенный), Никулин, жена Горького и... Твардовский. Вот увидеть Твардовского — это счастье.

Глаз не спускала с Вертинского (розовое узловатое лицо, клетчатый галстук, зализанные прозрачные волосы) и с его женушки (древняя красота и, правда, похожа на мудрую птицу, как в «Садко»).

У Никулина лицо красное, притрагивается ко лбу совершенно белыми пальцами, ворочает бровями. Глядел на люстру, не мигая, как будто гадал по ней.

Ек. Пешкова — старушенция сурьезная и вроде беззубая; посему закрывала рот рукой.

Телешов старый, очень старый. Глаза и тонкий длинный нос просятся на икону. Белоснежные усы. Когда говорит, усы как будто вздуваются ветром. Бородатый, с багровым старческим румянцем.

Твардовский — умный. Это выражение его лица. Проницательный, все время смеется глазами. Огромный детина. Душно ему среди литературных дам. Слушает обостренно внимательно, округляет глаза, как школьник, иногда пятится на стуле назад — недоумевая, пытаюсь понять что-то странное, сомнительное.

Оказывается, Бунин интересовался советской литературой и прислал высокие отзывы о творчестве Паустовского и Твардовского.

— Вы знали об этом, Александр Трифонович? — спросил сухой и подтянутый Лидин.

Твардовский вздрогнул плечами: «Нет!» — и в первый раз опустил глаза.

Ему просто забыли сообщить; письмо из Франции замкнуто в одном из саркофагов ССП.

Хохотал он по-простецки, откидываясь назад. Впечатление о нем как о большом, сильном, широкоплечем.

Какой-то писатель-ремигрант, похожий на побитую собаку, рассказывал о встречах с Буниным в Париже. Сидели в кафе, пили крестьянскую водку. «Эх, хорошо,— говорил Бунин,— пахнет новыми сапогами» (вот тут захохотал Твардовский). Стихов за границей почти не писал. Два четверостишия о канарейке («На родине она зеленая...» — Брэм) — едва не заплакала.

И сейчас у меня от «Канарейки» — ком в горле. В короткие восемь строк вмещена горькая доля не только Бунина — миллионов русских людей. Оказавшись всерьез и надолго на чужбине, отчасти по своей, отчасти по чужой воле, можно сколько угодно хорохориться, играть в бодрячка, щеголять новомодным словом «интеграция» (будто бы легко достигаемая и уже достигнутая иными товарищами по судьбе). Но душа все равно болит, и ничего с этим не поделаешь...

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.
Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, — как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирной толпой.

(1921)

Второе восьмистишие, услышанное на том памятном вечере, лишь недавно открылось мне по-новому. Понадобилась целая жизнь, во всяком случае большой кусок ее, чтобы первая строка поэта легла на евангельские слова и сразу приобрела дополнительную значительность и глубину: «*И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову*» (Мф 8:20). А вот как это у Бунина:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхую котомкой!

(1922)

Одно из предельно обнажающих смысл стихотворений Бунина, созданных в эмиграции, — «Петух на церковном кресте». Под ним стоит дата — 1922 год; год, когда все унижения вынужденного переезда на чужбину остались как будто позади. Но есть в нашей жизни события, не имеющие срока

давности... Это Одиссею в его странствиях пели сирены, а ему, русскому поэту, изгнаннику и скитальцу, не знающему за собой вины, поет неживой петух с церковного креста. О чем же?

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,
Что вечен только мертвых сон,
Да божий храм, да крест, да он.

Бунин, с его трезвым, остро критическим складом ума, питаемым современным скепсисом (но никак не атеизмом!), многое подвергал сомнению. Скажем, бессмертие души. *«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную»* (Ин 6:47) — эти слова были для писателя камнем преткновения.

О, как жаждал Бунин личного бессмертия и... не мог в него поверить. Чрезвычайно сдержанный в отношении веры, только стихам доверял он сокровенное:

Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знания, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит — да.

Вера Николаевна Бунина, жена, посланная ему, по его собственному признанию, Богом, в своем дневнике более открыто говорит на эту щепетильную тему: *«Ян верит, что существует нечто выше нас, но после смерти не будет личного воскресения, хотя он страстно желал бы этого, — “Ведь я не верю в смерть”»*.

Она же без комментариев передает его насмешливую реплику по адресу Дмитрия Сергеевича Мережковского, который был абсолютно убежден в своем бессмертии и как-то раз в общей беседе выразил уверенность, что *«за миром явлений»* его душа будет вместе с Лермонтовым: *«...Ян, улынувшись, сказал: — У него плохой характер»*.

Нет, в богоотступники и тем более в богоборцы, при всем его интересе к образу Каина, Бунина записать нельзя. Каин остался там, в начале века. Потом наступили оКАЯНные дни. На всем лежала каинова печать. ПоКАЯНИЕ, не только церковное, но и обычное, продиктованное совестью, стало для многих чем-то почти недостижимым... И у Бунина характер был не сахар, и он восставал против того, что считал античеловеческим, несправедливым, не соответствующим высокому призванию homo sapiens. Но его спасало то, что можно назвать врожденным чувством иерархии. Гнев и даже ярость Бунина могли обрушиться на любого двуногого представителя тварного мира, — но не на Создателя.

Выше я уже говорила о целомудренном отношении поэта к религии, другими словами, связи с Высшим началом. Дистанция соблюдается всегда, причем для Бунина, судя по всему, она не в тягость, а в радость: это естественная позиция одаренного к Дарителю, сына к Отцу:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

(1918)

«Все как было. Только жизнь прошла», — это тоже слова Бунина... Одно из последних его стихотворений, 1952 года, при яркой изобразительности, вдруг проникается духом максимального приближения к Мыслящему центру вселенной. Поэт чувствует, что они... на равных!

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

(1952)

Бунинские стихи не нуждаются ни в моей, ни в чьей-либо еще защите. Но осмелюсь высказать свою точку зрения: 82-летний писатель, нобелевский лауреат, эмигрант, исторгнутый на всю вторую половину жизни из родной стихии, мысленно был, когда подступили к горлу эти стихи, уже в иных сферах, у престола Всевышнего. Один шаг оставался до перехода *туда*, до страшного судилища Христова, до личного бессмертия, в которое он не верил, но жаждал поверить... Вот откуда это «*только я да Бог*»...

Ощущение, что родная поэзия — огромный странноприимный дом, населенный близкими душами, преследовало меня с юных лет. И в ученические годы, и много позже я любила взять в руки томик стихов дорогого мне автора, мысленно задать вопрос по волнующему меня поводу и открыть наугад стихотворение. И вот что удивительно: как правило, ответ попадал в точку. Попробовала сделать это и сейчас... Первый том открылся на странице 450:

...Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, — призраком чудесным
В этом парке розовом, в этой тишине.

(10 октября 1917)

ТРИУМФ ИСКУССТВА НАД ЖИЗНЬЮ

Хочется начать так: сегодня с новой остротой ощущаешь несовпадение атмосферы момента и высших чаяний человечества.

Смешное начало. Вроде б ты уже научился понимать, что идеальных времен не бывает и что всякое время бросает тебе свой вызов. А ты, как верный тойнбианец, готовишь на него свой ответ.

Но... новая задача оказалась почти небывалой. У нее нет готового алгоритма решения.

В вызове текущего момента есть кардинальный подвох. Эпоха гламура дала писателю очень многое. Я б сказал: почти все. Живи, как хочешь, говори, что хочешь, наслаждайся, сколько в силах. Она отняла у него только одно: вмененную ему прежде почти автоматически обязанность быть правым, ощущать себя учителем и пророком. Теперь такое право ему еще нужно в себе найти. Или — найти другую убедительную и достойную позицию по отношению к миру, который к тебе равнодушен, который занят своим.

Вызов эпохи таков, что тебе невозможно поймать ее взгляд. Очень трудно быть ею услышанным. Мало надежд на взаимопонимание, вообще на взаимность любого и всякого рода. Эпоха эта, многое тебе позволив, по сути-то ждет от тебя тотальной капитуляции, и ничего меньше. Совпади с ней — и будешь счастлив. Расслабься, получай удовольствие. Все свободны.

К тому же мало было времен в истории России, которые в духовном отношении были бы так же ничтожны, как текущий момент. «Россия путинского стабилизанса», Россия гедонистического авторитаризма — какое-то тягостное историческое недоразумение. Глухая духовная провинция, сквозной и почти тотальный *урюпинск*. Государство, захлебнувшееся в нефтетугриках, как в собственной блевотине. Общество, забывшее о высоких целеполаганиях и сосредоточившееся на самом банальном и пошлом: удобствах и комфорте. И народ, который незаметно для себя перестал таковым быть, превратившись в население, впитавший своим сознанием куцы, как обрубленный хвост племенного пса, «мысли господствующего класса».

Возможно, этому населению еще суждено чудесное преобразование в новую историческую общность (чудеса случаются). Возможно, оно станет лишь историческим компостом. Но пока что мы имеем только страшно низкий рельеф жизни. Свернувшиеся ее горизонты замыкают перспективу, фокусируя наличную реальность как пространство супермаркета, как гламурно-попсовый мир вечного, продленного в эфире праздника, лишеного смысла и цели. Случилась логическая антитеза как исторической России, так и советскому проекту. Одна жила преимущественно памятью, другой был в принципе устремлен в будущее. Сейчас же человек предпочитает жить на острие момента. Ловить этот момент за радужный хвост. После

нас хоть потоп. Относительное благополучие куплено ценой беспамятства и отказа от будущего, от историософии и эсхатологии.

Литературе, писателю непросто в этой ситуации прогрессирующих глухоты и ничтожества. Писатель теряет и важный, значительный актуальный предмет — и «читателя, советчика, врача». Точнее, он редко находит их в современной жизни, где почти не осталось ни великих мыслей, ни сильных страстей, где мало места и для любви, и для ненависти...

Но он вправе не согласиться с убожеством порядка вещей. Он может не поддерживать это самодовольное торжество духовного мещанства. Энергия неприятия и сопротивления по-прежнему дает почву для значительного художественного высказывания. Она более чем актуальна, она востребована всем ходом жизни. Недавно остро выраженную формулу такой ответственной позиции писателя предложил поэт Сергей Шабуцкий в своем уже довольно известном переложении 66-го сонета Шекспира. Вспомним:

Когда ж я схохну! До того достало,
Что бабки оседают у жлобов,
Что старики аскают по вокзалам,
Что «православный» значит «бей жидов».
Что побратались мент и бандюган,
Что колесят шестерки в «шестисотых»,
Что в загс приходят по любви к деньгам,
Что лег народ с восторгом под сексота.
Что делают бестселлер из говна,
Что недоучка лепит монументы,
Что музыкант играет паханам,
Что учит жить быдлак интеллигента.
Другой бы сдох к пятнадцати годам —
А я вам пережить меня не дам.

Собственно, в том и состоит проективная задача писателя, чтобы убить уродство этой случающейся жизни творческим актом, преобразовать в творческом синтезе гнусность бытия, обращенного к выгодам и удобствам.

Мы знаем, как часто в совсем недавние времена литература и писатель оказывались у времени в плену, причем в плену безысходном, без тропинки в вечность.

В советское время — официальный ангажемент (о котором сказано уже почти все, а потому не вхожу здесь в детали).

В 90-е — пресловутый постмодернизм, не менее директивный в своих эстетических условностях. В этом свободном, разнузданном периоде нашей недавней истории была своя несвобода. Своя детерминация. Суть ее в том, что нагрянувшее освобождение создало обаятельный фантом, приятный соблазн — абсолютизировало идею независимости литературы от всего на свете. Ни за что не отвечающий писатель был переведен из аристократов духа в разряд артистов оригинального жанра. (У меня иной раз возникает яростное чувство, когда я начинаю думать об этом преступлении мелких талантов типа Пригова и Курицына перед словесностью и перед историей.)

Недетерминированное время породило недетерминированную, незаземленную, летучую литературу, немедленно и отлетевшую куда-то прочь, как только истекли назначенные ей и той эпохе сроки. Мене, текел, фарес — и где вы, герои былых времен, апологеты игривой и претенциозной безответственности? Не только вполне одиозные Вик. Ерофеев, В. Нарбикова или В. Курицын, но и далеко не бесталанные В. Шаров, Ю. Буйда, А. Слаповский, Королев со многими их канувшими в бездонную Лету сочинениями 90-х... И благополучно забыт широковещательно и многошумяще предъявленный нам В. Сорокин с его эпатажем тех самых 90-х.

Остались для чтения и продуктивных воспоминаний разве лишь часто зачисляемые в ржавую когорту В. Пелевин и Д. Галковский, — но какие ж они постмодернисты? Можно оценить их старательное усилие преодолеть власть момента и выйти к серьезному разговору о жизни.

И вот нулевые. На фоне общей бездарности и прогрессирующего убожества переживаемого нами исторического момента, на фоне тотальной озбоченности абсолютизированными благополучием и безопасностью никакой приказ отчетливо не слышен. (Бормотанием отдельно взятых вождей про пропаганду здорового образа жизни как цель литератора можно пренебречь как сугубо юмористическим выражением неадекватности мыслительных штампов реальному смыслу и образу повсеместной жизни.) Всем или почти всем комфортно. Некомфортно только — как всегда — людям духа, людям высокого взыскания. Власть ситуации сегодня — это власть прагматики и потребительского стандарта. В литературе она проявляется в фатальной инерционности и духа, на который словно бы навешаны бремена сугубо материальных ценностей и благ, и художественного стиля, и порожденных писателем смыслов. В поверхностности, которая сродни гламурному глянцу. Это кабатожное плавание, вялый дрейф души по мелководью смыслов.

Наиболее явно и наиболее ярко эта тенденция предъявлена в современном отечественном масле, не скрывающем своей принадлежности к сфере обслуживания населения (Д. Донцова, Б. Акунин, О. Робски, С. Минаев и т. п.). Удачный коммерческий проект, типа конъюнктурно-сервильной прозы Минаева, стал лозунгом момента.

Но такого рода инерция проявляет себя разнообразнее: и как дурацкий понт сугубой мастеровщины, унылого ремесленничества (заразивший даже нынешних 30-40-летних), и как воспроизведение литературных штампов и стереотипных представлений о мире, и как — в конце концов — поза писателя, занимающегося самоповтором или тиражирующего чужие достижения... Есть немало авторов с определенными амбициями, которые подчас скользят-таки в этот силоч по плоскости легкого, мастеровито-банального письма (В. Аксенов в «Москва Ква-ква», Л. Улицкая в «Шурике» и пр.). Даже неприятие реальности нередко оборачивается у литераторов капитуляцией перед ней, как это случилось, к примеру, в недавних, более или менее прошумевших романах и повестях С. Гандлевского, М. Шишкина, А. Кабакова, С. Бабаяна, А. Волоса, Ю. Арапова, А. Наймана, А. Курчаткина, О. Славниковой в «2017», Р. Сенчина, С. Чередниченко... Сдача и гибель постсоветского интеллигента — то с советским еще стажем, то совсем новой формации — документированы в современной отечественной словесности с исчерпывающей

полнотой. Герой такого рода представлен, как правило, в ореоле авторских симпатий. Да, он не выдерживает натиска новых (или будущих) времен. Но зато с какой внутренней симфонией бунта уходит он в неги!..

Однако — уходит... Вероятно, не просто потому, что сдаться легче, чем сопротивляться. Но и лирические аккорды, и стремление к типизации у иных авторов с какой-то роковой и неизбежной силой влекут нас к тому, чтобы предоставить эпохе идти своим путем. А мы — мы посидим в сторонке.

Характерно, что многие современные прозаики органического дара ограничивают себя жанром рассказа. Фиксируют точечные касания, локальные моменты, в пределах которых человек может быть если не значителен (уже и такое происходит не всегда), то хотя бы интересен. Одна из самых последовательных стратегий этого рода реализуется, к примеру, Евгением Шкловским.

Что означает сегодня — победить искусством жизнь? Как может это сделать литература? Как удастся это писателю? Об этом интересно говорить с подробностями. Но мне придется здесь обозначить только общий план такого разговора, продолжающего в несколько ином ракурсе то, что уже было сказано мной в статье «На полях Большой Книги» (см. «Континент», №130). Причем только в прозе.

Итак, о главном.

Просто пассивное свидетельство просто умножает банальность сущего. Наивная типизация мало что прибавляет к той куче сора, которую носит ветер по Русской равнине.

Очевидно, низкое духовное качество момента требует дополнительных усилий, новых ракурсов смысла.

Наиболее продуктивен тот путь, который позволяет судить наше время с точки зрения вечности. Это — *проза религиозного горизонта*, произведения *Александра Нежного, Светланы Василенко, Владимира Курносенко, Михаила Письменного, Сергея Щербакова, Майи Кучерской...* Один из доминантных мотивов этой литературы — выживание человека в потемках жизни: истории о стойких героях наших дней, опыты сопротивления эпохе, уроки достойной жизни. Речь не идет (не всегда идет) буквально о суде над современностью. Рельеф отношений сиюминутного и вечного в прозе этого направления, которого практически не замечают живущие одним днем критики, гораздо более сложный. Но присутствие вечности дает ту перспективу, которая невероятно углубляет план повествования. И незамысловатые посылки, суетные и подчас bestолковые будни приобретают вдруг новое качество (как, например, безотказно происходит в прозе *Нины Горлановой* — соло и вместе с *Вячеславом Букуром*)...

Самый яркий и крупный русский писатель современности, который идет этим путем, — *Юрий Малецкий*.

Малецкий не делает ни одного шага навстречу среднему читателю, изрядно, признаемся, развращенному общим упрощением современных повествовательных ресурсов. Его проза непроста и по форме, и — особенно — по содержанию. В этом смысле Малецкий — антипод *Людмилы Улицкой* (о

романе которой «Даниэль Штайн, переводчик», кстати, он написал обширное эссе размером с приличную книжку*). Улицкая, также отнюдь не чуждая поиска вечности, довольно последовательно и руководствуясь искренними намерениями создает в своей прозе новый, доступно-попустительский вариант религиозной морали, некий новый, гламурно-нежный тип христианства, где человек заранее прощен едва ли не за все и абсолютно без покаяния. И вот там, где Улицкая до конца идет навстречу своим читателям, разжевывая для них пищу богов и, — скажем прямо, — разменивая глубину на общедоступность и общеприятность, — там Малецкий апеллирует к ортодоксальным смыслам и обновляет настоящий, строгий и темный огонь веры, сопряженной с грехом, izbывающей остро пережитый грех.

Он охотно жертвует деталями предметного мира, социальности, внешней оболочкой существования, извлекая из хаоса жизни и фокусируя внутренний мир и опыт, бытие один на один с главными собеседниками или в крошечном одиночестве. В лучших вещах Малецкого — стихийно сложившейся лирико-драматической трилогии «Любью», «Физиология духа» и «Конец иглы» — представлены замечательные опыты о современном человеке с его верой и его безверием, на границе бытия и смерти, в напряженном диалоге с Богом и с другим человеком, с нерешенной проблемой одиночества, с поиском (надрывно-упорным) любви как неизбежно-мучительного средоточия существования — и с опытом неудачи как центральным опытом человеческой жизни в этом, падшем мире.

Другие варианты такой, религиозно ориентированной, прозы — богоискательские повести и романы *Максима Кантора*, *Марии Ремизовой*, *Александра Вяльцева*, *Славы Сергеева*, *Натальи Ключаревой* (так или иначе преемственные по отношению к прозе Владимира Кормера); религиозно мотивированная сатира *Виктора Пелевина* последних лет (если всерьез относиться к буддийским интересам последнего), а также сатирические главы в «Учебнике рисования» того же Кантора.

С позиций христианско-гуманистической традиции высокой русской культуры судит наше время *Вячеслав Пьецух* в своей эссеизированной прозе 90-х и начала нового века, сочетая дидактический пафос со свободным размышлением о парадоксах современной антропосферы.

Едва ли не главным открытием последних лет в нашей прозе стала *Ирина Мамаева*. Она обладает органическим талантом свидетельства о жизни и высоким к жизни запросом. У Мамаевой соединяются честный взгляд на мир — и дар понимания и сочувствия, дар добра. Сокрушенно и соболезнующе она смотрит на то, по каким низинам и пустошам влечется человек, на бедный, скудеющий, хотя еще такой живой мир. Ее главная тема — очень русская: незаметный подвиг, неаффектированная, беспасфосная жертва. В тот момент, когда в прозе это происходит, миром проеивается неземное и заброшенная на край света деревня становится центром мироздания, приобщается к Искупительной Жертве.

Тема о *новом русском реализме* не получила у нас в критике серьезного развития. Наиболее здраво об этом явлении писала Валерия Пустовая. Но

* Этот текст Юрия Малецкого читайте в следующем номере «Континента».

воля к обобщениям в последнее время у многих критиков отсутствует. А между тем, что, если не такой вот новый реализм, если не *новый гнозис*, — проза названных здесь авторов, сочетающая лирическую исповедальность и предельные обобщения, откровенную условность разного рода и точнейшую диагностику явлений и процессов современности?

Повторю то, о чем я уже писал когда-то: речь ни в коей мере не идет об эпигонстве, о пассивном отражении жизни в ее бытовой проекции. И быт, и уклад пронизаны здесь метафизическим сквозняком, который сдвигает вещи с их мест и создает новые смысловые поля. Высота взыскания и значительность этих художественных опытов уже сегодня создают то духовное пространство, в котором может найти себя человек и может заново состояться Россия. *Русский реализм*, как сказано, *не отражает жизнь. Он опережает жизнь и преображает ее.*

Не менее отважный поиск разворачивается там, где писатель пытается найти ресурс глубины на плоскости современной жизни, взятой как едва ли не самодостаточная данность. Оказывается, и такое возможно.

Это, например, *документализованная проза*: записи рассказов участников и очевидцев, концентрат коллективного опыта, сухой остаток судьбы, панорама индивидуальных впечатлений и переживаний, связанных с драматическими и трагическими эпизодами современной истории, с ключевыми ситуациями человеческого бытия. Автор здесь выступает в роли медиума этой коллективной души.

Последовательно идет этим путем *Светлана Алексиевич* (возвращаясь к старым текстам — «Чернобыльская молитва», «У войны не женское лицо», «Последние свидетели (сто недетских колыбельных)», — дополняя и разворачивая их для создания более объемного образа момента; работая над новыми). Из тех, кто сегодня продолжает традицию, у недавних истоков которой в нашей литературе «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Блокадная книга» Адамовича и Гранина, назову молодого прозаика и журналиста *Юлию Юзик*, автора вызвавшей довольно острую дискуссию в Европе книги «Невесты Аллаха». Ее «Бесланский словарь» — книга потрясающая. Едва ли не самый волнующий документ эпохи о теракте в Беслане.

Денис Гуцко в своем самом значительном произведении, романе «Без пути-следа», создает героя, который долго пригибается, разменивается, прозябает, но в финале находит в себе ресурс *стоического героизма*. Отдаленно, с кучей оговорок по поводу специфики времени и места, это напоминает опыт героя Хемингуэя времен романа «Прощай, оружие!»... Но интереснее, художественно эффективнее, мне кажется, — *комический героизм* персонажа *Владимира Маканина*. Его новая, кстати, хронически не попадающая ни в один премиальный список книга «Испуг», которую нужно рассматривать вместе с другими рассказами повествовательного цикла «Высокая, высокая луна», является, по-моему, одной из вершин новой русской прозы.

Маканин всегда был практически лишен влечения к метафизическому горизонту: он агностик. Но удивительной компенсацией этой недостачи становится у него предельно острое восприятие атмосферических веяний — и умение сказать о них в художественно емкой форме, объяв эпоху одним взгля-

дом. Писатель тонко определил для себя героя нашего времени — не типичного, а характерного, раскрывающего драму момента, кризис надежд и мертвые социальные горизонты. Героя-шута, героя-паяца «без убеждений», который и сам про себя все знает, воображая себя и героем, и шугом.

Старик почти на птичьих правах проживает в подмосковном дачном поселке, довольно регулярно (в полнолуние) отдаваясь приступам любовного безумия и совершая вылазки в постели нежных дамочек, временно покинутых своими высокопоставленными супругами. Герой не устает с удивляющей молодняк силой любить женщин.

Как известно, женщина в русской прозе символически почти всегда — родина. Живая, иррациональная стихия, увлекающаяся, поддающаяся — у нынешнего Маканина. Обаятельная, таинственная. Непонятная. Прекрасная — и глупая... В новой прозе писателя она не достается ни либералам, ни реакционерам. Она достается Алабину, и это оказывается едва ли не символом исторической неудачи, постигшей русских идеологов постсоветской эпохи.

В этом есть нечто фарсовое, но влюбленный старый бесстыдник, свободный от комплексов, изображен всерьез, с его тщетой и похотью, с его фантазиями и лунарной манией. За свои странные подвиги старикан расплачивается двусмысленной репутацией, лечением в психушке, а однажды попадает даже в горящий Белый дом, в момент известных событий. В парадоксально-комическом искажении Алабин являет собой тип героя, который в мире маканинской прозы образует все-таки позитивный полюс. В этом мире, напрочь лишенном любви, он у Маканина единственный, кто на любовь способен. Любовь смешную, но — уж какая есть... Даже в психиатрической клинике.

Кажется, что любовь пенсионера неуместна, да и не слишком, что ли, возвышенна. Слишком невозвышенна. Но она выше всего прочего, потому как бескорытна, и она — последняя, сенильная страсть в мире анекдотическом или фанатическом, среди жестокости и насилия, обмана и демагогии. Это, по логике новой прозы Маканина, — единственный доступный для современного человека способ приподняться над унылостью среды и момента. Логика странноватая, но гротескное заострение темы в данном случае, пожалуй, вполне уместно.

Маканинский интерес к обиходу психушки, к пограничному типу героя (то ли норма, то ли патология) связан, кажется, со стремлением именно к анализу психического устройства (или расстройства) современного человека и современного общества. Анализ оказывается таким острым, что аналогов ему в этом отношении, пожалуй, не найти. Притом Маканин закоренелый скептик. Человек у него хотя бы может быть свободным. А государство? Государство — это психбольница. С президентом-главврачом. У героя излом свободы, а общество являет собой образ рутинизированного и перманентного сумасшествия.

Сквозной персонаж Маканина раскован, внутренне бесконечно свободен и не связан нормативами житейского обихода. В странноватом герое с его житейским опытом, зоркостью и юмором, с его маниями и пафосом есть дистанция по отношению к происходящей вокруг жизни. Эта дистанция позволяет увидеть ее в пронзительном свете, отстраненно, провокативно, ос-

троумно, парадоксально, наотмашь. Старик Алабин релятивизирует догмы и идеологемы как нечто не совпадающее с сутью жизни. Чем-то персонаж Маканина похож на героя романов лучшего европейского прозаика современности Мишеля Уэльбека. Только он веселее, внутренне динамичней...

Романтическая исповедь персонажа пропущена сквозь цинизм и безлюбовность эпохи, испытана глумом и фарсом, политикой и бытом. (Еще одна ассоциация в этой связи — недавний фильм Родригеса «Город грехов».)

Проза Маканина последних лет — это одновременно и проза трудного эпилога, когда в осадке смысла ощущается глухая тоска писателя, разочаровавшегося едва ли не во всем на свете, и проза освобождения от детерминант патологического исторического момента.

Поиск новых смыслов, строительство нового будущего, новой России — это то, к чему недурно б хотя бы готовиться в период безвременья. А литература уже этим занимается.

Жизнь не удержать на месте. Земля вертится, история вершится. Мы идем вперед.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Первый квартал 2007 г.)

1. Художественная проза

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Проза сезона в главных московских ежемесячниках — это в основном набор уже сложившихся брендов. Стабильны статус журнала, статус автора — и слишком мало неожиданностей. Но если «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир» и «Октябрь» ориентируются на свой надежный авторский актив, на признанные имена, то «Москва» и «Наш современник» — это скорее гипертексты журнального номера, где отдельно взятый писатель не так уж сильно значим.

Попробуем на сей раз произвести пожурнальную ревизию новинок.

«**ДРУЖБА НАРОДОВ**» в начале года не весьма радуется выдающимися достижениями. Очевидно, на роль главного текста сезона претендует здесь **роман «Лотерея “Справедливость”»** постоянного автора журнала **Сухбата Афлатуни** (№ 2–3). Его герой, ташкентец Алекс, несчастлив. От него ушла женщина, у него нет работы, — несмотря даже на знание английского. Между тем он попадает в некую контору, которая прокручивает аферу на иностранные (хорошо осваиваемые) деньги. Люди шлют сюда письма, рассказывают о несправедливостях, которые с ними приключились. Примерно так: *«Я в этой жалобе еще не все написал, что со мной сделали эти люди, благодаря мужеловству и иллюзии: они мне сделали болезнь “грыжа”, болезнь геморрой, они мне мажут ноги, чтобы болели грибок. Они мне внушили, что я получал пенсию, а это начальник почты завладел моей пенсией. Они меня успокоили, а я сидел как теленок, пока они шли на поводу у марфии, порвали сирокопию, но я им денег не дал, жирно будет»...* Жаждающих справедливости оказалось немало. Читать не перечитать... В другом векторе романной истории гениальный ученый изобретает «бомбу любви», взрыв которой изменит сущность человечества и упразднит несправедливость как таковую. Роман Афлатуни — небрежно-расслабленное повествование с массой героев, с параллельными линиями и кучей всего случайного. Приятен восточный колорит. Неглупый и талантливый автор не отличается, увы, надежным умением собирать большую форму.

Роман Марины Москвиной «Дом на Луне» («ДН», № 1–2) — многостраничное пустовато-обаятельное дамское словоупотребление на семейно-родственные и дружеские темы. У интеллигентных мамы Маруси (писательницы) и папы Кеши (художник) задумал жениться любимый сынок. А где ж ему жить в Москве, если избранница — милая девушка из провинции? Хочется мальчику отдельной жилплощади. Родители и дедушка с бабушкой (когда-

то номенклатурные, дипэлита на пенсии) начинают искать средства... А попутно автор касается других, самых разных сюжетов. Итог — пустяк, как всегда у Москвиной, — а приятно. Настрой оптимистический, конец счастливый.

Производственный роман Анатолия Азольского «Афанасий» («ДН», № 1) — полудетективная история советских времен. Не весьма значительная на фоне прежней прозы автора, но несущая все признаки его манеры. Снова герой в незаметном противоборстве с абсурдной средой, с теми, кто хочет поймать его в ловушку и раздавить... Снова он идет по тонкому льду и выигрывает ценой отсутствия иллюзий и постоянной бдительности. Снова его мораль строится не столько от абсолютных величин, сколько по логике борьбы с режимной реальностью.

«**Покемонов день**» Дениса Гуцко («ДН», № 2) — современная повесть. Герой открывает в себе способность к любви, пройдя через трудные испытания — унижение (самая сильная сцена в повести), физическое страдание, переоценку себя и своего отношения к умирающему отцу. Вкратце реализована модель романа «Без пути-следа»: ошибки, унижения и финальное прозрение. Хотя герой получился гораздо менее определенным и далеко не столь интересным. История разболтанная и не очень внятная.

Из двух **рассказов Захара Прилепина** в «ДН» (№ 1) лучший — «**Шесть сигарет и так далее**». Со знанием дела раскрыто содержание трудовых будней вышибалы в ночном клубе. Он унижает, его унижают. Селяви. Отчего-то, правда, чужие унижения налипают на тебя и не отлипают.

Популярен в прозе сезона жанр письма. **Рассказ-стилизация** в трех письмах «**Русские женщины Ницше**» начинающей писательницы из Саранска **Кати Канайкиной** («ДН», № 3) хорош как придумка. Цитата: «*Письмо Ф. Ницше Куда: На тот свет Кому: Ницше Фридриху Карловичу Откуда: С этого света От кого: рабы Божией Елизаветы. Здравствуйте, дорогой дядя Федор. Вы позволите себя так называть? Просто я русская, и имя Федор мне гораздо ближе, чем Фридрих. Итак, милый, милый дядя Федя! Мне вас так жалко! Вы даже не представляете!.. Внук и правнук пасторов, маленький мальчик из Реккена, сумасшедший из Лейпцига. Это все вы, дядя Феденька! Не вы ли сказали: "Нельзя долго смотреться в бездну, иначе она отразится в тебе"? Предостерегли весь мир, а сами, как одержимый подросток, подошли к краю пропасти, чтобы ощутить эйфорию головокружения. Печать бездны носили вы на своем печальном лице долгих 11 лет, да и сейчас в бездну смотрите, в ней и живете и отражаетесь, а она — в вас. Весело ли вам, хорошо ли? Если даже и не весело, вы все равно там смеетесь — просто для того, чтобы остаться непонятым, непонятым, чтобы не запомниться нам идейным калеккой. Бедный, бедный дядя Феденька. Отчего вы не дали мне шанс затеплить свечечку на помин души вашей?..»*

«**ЗНАМЯ**» публикует преимущественно изыски и эксперименты не всегда значительного наполнения. Известные имена. Многочисленные красивые наброски. Не слишком существенные, но хорошо рассказанные короткие истории.

Обращает на себя внимание рафинированный эскиз **Евгения Попова** «**Крестовоздвиженский. Выбранные места из переписки Глова и Хабарова**»

(«Зн», № 1). Гдов и Хабаров — известные персонажи писателя. А Крестовоздвиженский — писатель, придуманный Гдовым. Произведено тонко акцентированное интеллигентское брюзжание по разным поводам.

«**Один год Семена Файбисовича**» («Зн», № 1) — фрагментированные записки 2005 года. Незамысловатый, но довольно пространственный дневник. Что подумалось, что увиделось по ТВ, с кем встретился и т. п. Файбисович иногда напоминает персонажа Попова. И наоборот.

«**Письма из Петербурга**» Леонида Зорина («Зн», № 2) — изысканные содержательные этюды культурософского характера. В форме писем, написанных некими (разными) персонажами с периодичностью раз в сто лет. Россия и Европа. Петербург и Россия. Человек и хаос. Кто еще про это не думал, теперь задумается. Если, конечно, такие есть среди читателей.

Ирина Василькова в своих **рассказах** («Зн», № 2) пишет преимущественно о любви. В рассказе «**Ниночка**» забавник-муж берет с собой на дачу не только жену, но и девчонку, с которой познакомился в Интернете, а жена исподтишка подсматривает за соперницей и тихо, убедительно, интеллигентно страдает. В рассказе «**Короста**» героиня превращается в дерево. Возможно, оттого, что ее мало любят. В рассказе «**Караимское кладбище**» девочка испытала чувство полета в целомудренных объятьях мальчика в Крыму, на кладбище, а потом в ее жизни уже такого не было. Культурно. Трогательно.

Особое место в знаменской прозе сезона заняли коты. Так, **Ольга Славникова** рассказом «**Басилевс**» («Зн», № 1) сделала попытку превзойти Татьяну Толстую времен ее расцвета как прозаика. И это Славниковой, пожалуй, даже удалось. В манере Толстой она создает *нечто особенного*. Тщательно детализированный очерк житейских странностей, ароматные чудачества, изощренный слог. Басилевс — это, разумеется, кот. А вокруг него гора необязательных, но живописных подробностей про его беззащитную вдовухозяйку и ее богатых обожателей. Всем у Славниковой в их жизни одиноко и неуютно. И богатым, и не очень.

Дмитрий (хе-хе) Александрович Пригов выступает с двумя тож «кошачьими» **рассказами** («Зн», № 2) вполне традиционных содержания и исполнения. В результате обнаруживается, что в двух шагах от практиковавшихся им ранее игр и причуд он становится неотличим от весьма средних беллетристов современности. В рассказе «**Три Юлии**» энергичная жена болеет раком и умирает, оставляя непрактичного мужа с кошкой. К этому автор примешал несколько дополнительных банальностей, чтоб читатель не скучал. А в рассказе «**Мой милый, милый Моцарт**» основная задача автора — не дать читателю до поры до времени догадаться, что Моцарт — это вообще-то кот.

«**Повествование о двух встречах**» Елены Долгопят («Зн», № 3) — характерная квазимистическая беллетристика о двойниках в обычной для этого успешного толстожурнального автора манере. Вещь состоит из двух небольших повестей, названных по именам героев. Создатель сайтов Сережа вошел в мистическую связь с одним из своих заказчиков. Искусствовед Саша решил сжиться с персонажем с портрета малоизвестного художника. «*Когда встречаешься с собственным лицом, которое старше тебя на четыре сот-*

ни лет, это заставляет отнестись к своему лицу как к загадке, как к некоему символу, означающему что-то помимо того, что оно — я, Александр Андреевич, мальчиком занимавшийся боксом, обожавший цирк, театральные представления и картинки в альбомах. И меня не будет, а лицо — останется и будет значить что-то...

Несколько большую социальную значимость имеют следующие тексты.

Маргарита Хемлин в повести «**Про Берту**» («Зн», № 1) рассказала о запутанной и бестолковой, скитальческой и одинокой жизни героини, которая волей обстоятельств — известных событий середины XX века, превышающих ее ресурс сопротивления, — ввергается в драматические перипетии. Еврейка, она в какой-то момент вынужденно записывается как немка, что впоследствии оказывается источником новых испытаний и соблазнов, но по крайней мере спасает жизнь... Сочувствие к героине. Чистый слог.

«**Белорусское зеркало. Записки нелегала**» **Эргали Гера** («Зн», № 1) — ценные подробностями очерковые записки о современной жизни в Белоруссии. Автор — гражданин Литвы — нелегально посетил Минск и щедро делится оценками с позиции «честного соглядатая» (а если сказать точнее, честного обывателя с остатками гуманитарных интересов и жгучей культурной ностальгией по рухнувшей империи, человека стороннего, внутренне довольно даже равнодушного к драматизму человеческого существования в отстойной яме Европы).

«**МОСКВА**». Парадигма прозы: *политправославный реализм*. Имитация бытового правдоподобия, жизнеподобная детализация повествования и при этом настойчивая тенденциозность. Общий ракурс идей: советский режим был плох, но новый строй много хуже; плох и Запад, особенно Америка: мечтает о мировом господстве; богатые люди — дрянь несусветная; одно спасение — Бог и церковь. Если вам такие мысли по душе, читайте прозу «Москвы» и радуйтесь единомыслию с ее авторами.

Наиболее интересна как явление художественного порядка повесть **Владимира Карпова** «**Рыжий и Квантовый Столб**» («Мск», № 2). Колорит места: крайний якутский север. Старый порядок рухнул, но люди живут и выживают. Понастроили теплиц на вечной мерзлоте. Однако главный герой — живописный взбалмошно-дураковатый старикан, человек иного взыскания. Что ему теплицы! Он не о комфорте, а о справедливости радуется. По крайней мере, после того как у него кто-то украл поленицу дров. Вокруг этих украденных дров Карпов накручивает уйму забавных перипетий. По сути, получается свободная вариация по мотивам незабвенного «Чонкина» Войновича. Тут тебе и местный богатей, тут тебе и местный начальник, и девчоночки бегают растелешенно, и сановный гость из Москвы бухтит что-то про маркетинг, и друг-приятель героя снова изобретает вечный двигатель... Не забывает Карпов провести прямым текстом или незатейливой образной двухходовкой и всякие полезные для читателя идеи.

Сергей Пылев в повести «**Новый Лаокоон**» («Мск», № 1) описал жизнь олигархов местного разлива в Воронеже. Волчьи нравы. Сынок, ушедший

от скверны в монахи. Другой сынок, съездивший в Париж и вывезший оттуда белоидейную убежденность. В общем, не все так безнадежно. Бойкое перо и очевидная тенденция.

А в романе Геннадия Старостенко «Прозелит» («Мск», № 3–4) коммерцией герои занимаются уже в Москве. Текст написан по кальке американских романов о бизнесменах и бизнесе. Технично и скучновато.

Рассказы Лидии Скрибиной («Мск», № 2) — дамская дидактика для великопостного чтения. **«Честное капиталистическое»**: муж с женой решили разбогатеть, да вот только обдурила их старушка из Брюсселя, которой они доверились. А нечего было и начинать копить денюжку! **«Дуэт»**: старая оперная дива из Европы оказалась лесбиянкой. Их нравы. **«Дама с собачкой»**: рассказчица опекает добряка-иеромонаха. Его домогаются всякие неприятные ей люди. Но прицерковная дама стойко стоит на посту и не позволяет батюшке расточительно тратить благодать. Впрочем, задним числом и она соображает, что смешные и странные людишки связаны *«между собой одним батюшкой и, может быть, одной верой»*, так что нужно постараться и к ним отнестись получше. Во как. Может быть, когда-нибудь она догадается, что у них и Бог, вообще-то, один на всех. **«Семейное счастье»**: подружка рассказчицы вышла замуж за богатого шведа — и оказалась в полной зависимости от того домашнего благополучия, который создан ей мужем. Ничего ей больше не надо, и даже на дочь свою она начихала. А та лает, как собачка, чтоб привлечь к себе хоть какое-то внимание. Рассказчица делает подруге суровый выговор и с сознанием исполненного долга покидает богатый, но нерадостный дом.

Омич **Сергей Прокопьев** в повести **«Живой в помощи Вышняго»** («Мск», № 2) рассказывает о пациентах отделения трансплантации внутренних органов. Всякий народишко, и много у него в жизни случилось небезынтересного. Так что рассказать есть о чем. Но вопрос — ради чего? А ради того, чтобы сказать, что медицина медициной, но куда человек без Бога!

Исторический ракурс представлен бойким, мастеровитым повествованием о русском богатыре — **повестью Юрия Короткова «Иван Поддубный»** («Мск», № 3). В центре внимания автора история о том, как Поддубный не получил в Америке причитающиеся ему по праву полмиллиона долларов... Ну, чего еще ждать от этой вредной страны?! Облапошили русского богатыря.

Повесть «Последний пароход» Александра Козина («Мск», № 1). Дежавю. Катастрофа теплохода «Адмирал Нахимов» уже однажды была переложена на сцены и образы этим автором где-то в другом печатном месте. Или это уже мерещится?

«НАШ СОВРЕМЕННОК». Беллетризованная публицистика.

В дидактически выверенной **повести Александра Трапезникова «Высший свет»** («НС», № 3) сатирически изображено телевизионное реалити-шоу. Его безнравственный механизм, его потерявшие душу организаторы-создатели и участники. Два исключения — парнишка-белорус (что у автора является синонимом высокого качества) и девчонка-библиотекарша из бестолковой московской интеллигентской семьи. Они учатся понимать друг друга и, кажется, даже научатся. Вот на них-то автор и надеется.

В повести Александра Попова «**Благовест, или невероятное сумасшествие**» («НС», № 3) выведены иркутские толстосумы. Похоже на повесть ворожеца Пылева, но есть сибирская специфика. Быт и нравы с кержацким каким-то истовым оттенком. Впрочем, религиозно-церковный штрих в финале также неизбежен.

В рассказе Александра Арцибашева «**Отчин колодец**» («НС», № 1) рассказчик заблудился в лесу, вышел к хмурой деревне, где живут мрачные люди, а после в своих блужданиях зашел в церковь, где священник объяснил ему, что вся беда ясно в чем забыли люди Бога. С Божьей помощью и герой находит дорогу домой. Символично. Даже слишком.

Что-то похожее видит в поселке лесорубов молодой священник, приехавший сюда служить, в рассказе Николая Зарубина «**Крестный ход**» («НС», № 3). Люди во тьме. Но тут кстати случился пожар, юный батюшка организовал крестный ход и спас поселок от огня. И нашлись в поселке те, кто пошли за ним.

В повести Бориса Василевского «**Заря космической эры, или Русская Атлантида (из «Писем к Т.»)**» («НС», № 1) в форме многостраничного письма, написанного героем интеллигентного склада, излагаются мысли о разных предметах. Герой делится воспоминаниями. Он вырывается к идее о Сибири как метафоре свободы (в 60-х — 70-х годах) и рассуждениями о судьбе сибирских ГЭС (которые не одобряет, и пророчествует о некоем катаклизме, который все их уничтожит).

Вячеслав Морозов в *затисках стрингера* «**Цхинвал**» («НС», № 1) изобразил журналиста, работающего в только что возникших в СССР горячих точках, в конце 80-х. Этакий отвязный малый среди нового раздора. Проза очеркового типа.

Несколько неожиданно в журнале смотрятся рассказы Андрея Гальцова («НС», № 2). Это фантазмагории в манере, более всего напоминающей опыты Кржижановского. Сдвиги пространств и времен. Причудливая композиция. Неопределенный урок.

«**НОВЫЙ МИР**». Самая большая проза сезона здесь — роман модного толстожурнального автора Александра Иличевского «**Матисс**» («НМ», № 2—3). Пространное повествование о плутающих в потемках жизни героях наших дней (не очень удачливый ученый, пара бомжей) выполнено тщательно, культурно, с оглядкой на романы Набокова. Много ярких деталей. Увы, большого смысла добыть из этой прозы невозможно. Так, набор случайностей, выставка причуд авторского воображения с некоторой толикой житейской наблюдательности. Случайные персонажи времени, похожего на наше. Иличевский постоянно смущает странным сочетанием замечательных повествовательных умений и бедности мысли. Получается беллетристика для праздного времяпрепровождения домохозяйек с филологическим образованием.

Роман Сенчин в повести «**Конец сезона**» («НМ», № 1) изобразил загородную встречу приятелей, которым уже за тридцать, а в их жизни слишком мало состоявшегося и надежного. Томленья и тоска. Сенчин — великий мастер убедительно передавать это воспаленное настроение тупика, несвер-

шенности, взаимной раздраженности. Его герои — люди, которые не нашли себя в наше время и не востребованы эпохой. Этаким социальный отсев на фоне роскошной жизни новой, путинской знати. Проза уже зрелого (еще недавно числившегося в молодых) Сенчина — хроника вечера и ночи с пятницы на субботу тридцатидвухлетнего относительно успешного горожанина Никиты, приехавшего с женой и детьми на дачу к другу «на шашлыки»; писалось с ориентацией на чеховское: *«люди просто обедают, просто разговаривают, а в это время ломаются их судьбы»*.

Повесть Игоря Савельева «Гнать, держать, терпеть и видеть» («НМ», № 1) — свободно (даже слишком) построенный рассказ о молодых людях, которые приехали в поселок при городском кладбище навесить друга и не очень внятно общаются в составе некоего многоугольника. Психологическая проза. Кажется, это о любви, но сильно не впечатляет.

Надежда Горлова в повести «Луна на ощупь холодная» («НМ», № 1) мастерски, изысканно рассказала странноватую историю. Ее героиня прикипела к новой жене своего бывшего мужа — беззащитно-безумной, трогательно-невероятной. Горловой удастся соединить физиологию и платонику. Переживательно и красиво.

Повесть «Польский Париж» Ксении Щербино («НМ», № 1) — дебют в прозе. Русская студентка в столице мира. Красиво, даже с избытком. И кошка тут как тут, — но в другом амплуа. *«А что, представилось мне, если я тут сняла квартиру — на восьмом этаже, без лифта, восемь квадратных метров, стены белые и занавески алые, а что, если мой сосед — сам Бог? В аристократичном районе, где живут старушки с клюками и шляпами, где мужчины улыбаются и уступают дорогу, где женщины желают друг другу прекрасной погоды, что, если мой сосед — сам Бог? В бешеных полосатых гетрах, бархатном плаще, притворяется безумным, чтобы консержка впустила, если вдруг забудет ключи. И каждую ночь я слышу, как он поднимается по винтовой лестнице, стукнет каблук о ступеньку, кашляет сердце, стукнет другой о ступеньку, кашляет. И так восемь этажей по деревянной, винтовой, уходящей в небо лестнице. С черного входа. И дернется дверь, и он войдет в комнату. Чай заварит, густой, розоватый, чуть прозрачный. Несколько чаинок непременно проскользнут, прилипая к краю чашки, будут держаться изо всех сил. Но он их ссадит, как безбилетных пассажиров, ссадит на скатерть, белую, кружевную. У него за столом фарфоровые куклы сидят, пьеро-коломбины в бархате и шелке, в лиловых, ласковых костюмчиках. У него на столе стоит роза, крупная, чайная, ее караулит толстая серая полосатая кошка, и когда кошка задевает розу когтями, кому-то на земле больно. Он сгоняет кошку, но она все равно приходит, и снова караулит, и снова рвет тощие лепестки, и снова кому-то больно. Господи, ну почему она все время дерет с моей стороны?»*

В рассказе Нины Горлановой и Вячеслава Букура «Гауди из Умывакина» («НМ», № 3) народный умелец защищает свои творенья от хищного коммерсанта. Комическая история с моралью.

Идеологически уверенно акцентирован **рассказ Захара Прилепина «Сержант»** («НМ», № 2). Командир в кавказских горах спасает вверенных ему солдат и гибнет сам. Все нелепо и бессмысленно, но вот такой героизм имеет

цену. Но герою не на что опереться в бреду и хаосе жизни. Разве только на устав да на миф о крепости по имени Сталин.

Рассказы Евгения Шкловского «Люди и вещи» («НМ», № 2) — обычные для автора психоаналитические упражнения. **«Обнаженная натура»**: муж-фотограф снимает свою красавицу-жену для журналов и выставок, ей это в какой-то момент перестает нравиться... **«Секрет»**: каждое лето ездили на дачу, но в какой-то момент все пошло наперекосяк.

«По-дорожное» Забалуева & Зензинова («НМ», № 3) — талантливый и пестрый стеб на темы современности. Шум жизни, блин.

«ОКТЯБРЬ». Роман Василия Аксенова «Редкие земли» («Окт», № 2—3) — субъективная, насквозь прошитая авторскими рассуждениями и афишируемыми попытками вмешаться в жизнь героев актуальная эпопея. Книга о том, как талантливые комсомолы — герои последнего призыва — становятся олигархами, создают мощную корпорацию «Таблица-М», пытаются организовать бизнес с человеческим лицом, а потом, в новом веке, их гнобят упыри-спецслужбисты (*«скрытно-большевики»*). Образ тамариска — нежная зелень на грубом и кривом, словно бы уже отжившем стволе — как эпиграф к роману. Он оказывается у автора метафорой славной комсомольско-молодежи. Положительный комсомолец-олигарх Гена Стратов — представитель «тамарискового» поколения. «Таблица-М» — идеальная фирма, где все свободны. В своем утопическом мечтательстве Аксенов не знает удержу. Что сказать, если мечта о создании нового, совершенного типа человека реализована им спроста в образах детей Стратова, зачатых им и его красавицей-женой в кратере мистического габонского вулкана?.. Но Гена в новом веке попадает в тюрьму, а его компания, занимающаяся разработкой редкоземельных металлов, развалена и разграблена. Утопиям в современной России места больше нет... Житейские параллели этой прозе очевидны. Уровень авторской рефлексии, может быть, и не слишком высок, а элемент авторского самолюбования заставляет снисходительно улыбнуться, но в целом Аксенову по-прежнему нельзя отказать в умении просто и здраво посмотреть на жизнь и обаятельно ее живописать.

Повесть Алексея Лукьянова «Карлики-великаны» («Окт», № 3) — комическая антиутопия про остров Сахарин. Местами остроумно.

Игорь Сахновский в романе «Человек, который знал все» («Окт», № 1) живописует коллизию «интеллигент и криминал». Авантюрная проза среднего разлива.

Самоповторы — бич писателей зрелых лет. **Рассказ Юрия Буйды «Ство (Прозрения Германа Непары)»** («Окт», № 1) — характерная для этого автора страшилка, где предьявлен яркий образ патологии.

Рассказ «Дурочка и грех» Асара Эппеля («Окт», № 2) — типичный для него опыт детской сексуальности на фоне пригородной жизни середины XX века. Тоже не без патологии.

Рассказ Олега Зайончковского «Шелалутинский переулочек» («Окт», № 1) — добрая сентиментальная история. Герой пускается в непреднамеренный загул по случаю рождения дочери. Так сказать, *Зайончковский вулгарис*.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Успевшая стать известной петербурженка Елена Чижова одарила читателей новым объемистым романом «Орест и сын» («Звезда», № 1–2). Писательницу узнали мы не вчера, потому внутренне готовились к чтению нелегкому, тяжеловетсному, многозначительному, а главное — обильно пропитанному сентиментально-истеричным пафосом. Ожидания не обманули. Чего-чего, а истеричности в новом романе хватает. Итак, середина — конец 70-х ушедшего века — обычное время действия романов Чижовой, Ленинград — столь же обычное место. Два плана повествования: высший, несколько абстрактный, насыщенный философскими и религиозными реминисценциями, многозначностью, мистицизмом, таинственностью и т. п., и низший, где живут, действуют, страдают, а время от времени впадают в затмевующее разум истерическое состояние обычные земные люди, наши сограждане. Сопрягаются друг с другом оба плана не без труда. Герой романа — некто Орест Георгиевич, питерский интеллигент, вдовец, горячо любимая жена которого умерла в родах, оставив ему сына Антона по прозвищу Чибис. Орест Георгиевич живет себе и живет, тужит о покойной жене, растит сына, встречается, как и положено, с любящей его женщиной и даже хочет на ней жениться, но... Судьба-индейка однажды приводит в его дом двух подружек, ровесниц его сына-подростка. Тут-то все и начинается. Одна из девочек неким мистическим образом прозревает в герое, человеке вполне зрелых лет, загаданного ею в девичьих снах мужчину. А тот, в свою очередь, видит в ней покойную жену, воскресшую в облике юной красавицы. Герои муссируют эти наваждения как только могут. Но узел тут завязывается, так сказать, двойной. Инна (так зовут девушку) пребывает в устойчивом убеждении, тоже своего рода наваждении, что некогда жена Ореста Георгиевича родила не одного мальчика, а близнецов — мальчика и девочку. Так вот эта девочка, которую почему-то отдали не отцу, а неизвестным и совершенно посторонним людям, — это она, Инна! Перед нами, следовательно, инцест! Тут уж словоизлияниям, самобичеваниям, беснованиям, всевозможным видениям и аллюзиям открывается полный простор. В эту топку брошены и тема сталинских репрессий, и какая-то невнятная тема мертворожденных детей (ибо у одной из родственниц Инны рождались только мертвые дети, и всем им мать поставила символический памятник на ленинградском Новом Девищем кладбище)... Имеется в романе и некий мудрец-самоучка по имени Матвей Платонович, чьи размышления о масонстве, древних деспотиях Востока и мифологизации власти добавляют многозначительности роману, в котором и без того вершится настоящий шабаш из потерянных детей, мистических прозрений и таинственных смертей. В общем, крутенько замешано. Главное же — никак не оставляет впечатление, что писатель, измывливший сло запутанное и разветвленное полотно, в сердцеvine своей весьма холоден и апатичен. Кровавые страсти-мордасти бушуют в романе исключительно на поверхности, сами по себе, почти безотносительно к героям, к которым автор в значительной степени равнодушен. Ну не пробиться никак ни к сердцу, ни к душе хоть Инны, хоть Чибиса, хоть Ореста Георгиевича, хоть той несчастной, что рожала только мертвых... Прыгают герои,

прыгают, рвут на себе рубашки, видят жуткие сны, воруют таинственные древние книги, визгливо хохочут, подстраивают каверзы мерзейшим старикам и старухам, — а внутри холодно-холодно. Не спасают и чисто теоретические сентенции, которыми время от времени обмениваются персонажи, ведущие труднопостижимые философские дискуссии. Быть может, их идеи и не лишены остроумия, но только причем тут бушующие в романе страсти? Да и так ли всерьез они бушуют, — не попытка ли это устроить бурю в стакане с ледяной водой? Странное, удивительно аморфное произведение.

О сильно затянутом **романе Александра Нежного «Там, где престол сатаны»** («Звезда», № 3) говорить, вроде бы, рано: окончание его обещано в 4-м номере. И все-таки отважмся на это. Начат роман в 2000 году (№ 9), продолжен в 2003-м (№ 1–2) и 2004-м (№ 11–12). Удержать столь многофигурное, растянутое во времени на долгие годы полотно в рамках традиционной формы, конечно, сложно. Да и читателю нелегко припоминать читанное семь лет назад. Полотно расплзается и местами начинает раздражать естественной в таком случае непропорциональностью. Напомню, что речь в нем идет о семье потомственных священнослужителей, хлебнувших лиха в советскую эпоху. Прародитель рода, священник Петр Боголюбов, был расстрелян, один из его сыновей, *«цепной пес по убеждениям»*, сменив фамилию, становится чекистом, другой идет по стопам отца в священники. Главный же герой романа — внук Петра Боголюбова, врач, распутывающий историю рода и под влиянием всего, что узнает (а также благодаря открывшемуся ему видению), переживает второе рождение. Сходит на него и счастливая, но нелегкая любовь. Остается дожидаться окончания романа.

А в «Неве» (№ 3) петербургский историк и прозаик **Даниил Аль** публикует окончание давней своей **повести** (начало печаталось в 1992 году, № 8) **«Хорошо посидели»**. Аль — фронтовик, послевоенный «сиделец»; прежде чем угодить в Каргопольлаг, он успел защитить кандидатскую диссертацию и поработать в ленинградской Публичке. Вместе с ним на нарах оказалось немало подлинных героев войны, защитников Москвы и Ленинграда, тех, кто форсировал Днепр и Одер и штурмовал рейхстаг, кто пережил ужас плена и жуть советского лагеря. Обычный лагерный быт, пусть и помягчавший с «до войны», — уже, в целях повышения производительности, введен хозрасчет! Имеется и соцсоревнование между бригадами, состоящими из убийц и воров. Злобные, надрывные, хищно-животные голоса блатных, — сегодня, считает автор, точно так же вопят со сцены разного рода рок-певцы. *«Приди, приди, моя звезда, ты у меня одна-одна»* — что это, если не блатное *«только попробуй не приди, сука поганая!»* Что еще? «Дело врачей», породившее слух о том, что бандеровцам разрешено будет резать евреев. Бандеровский главарь, который, распахнув ногой дверь, провозглашает: *«Граждане евреи! Среди вас разнесся слух, будто бандеровцы собираются из-за сегодняшнего сообщения вас резать. Так вот. Если бы сообщение, что евреи готовились отравить советских вождей, а кое-кого уже и прикончили, было правдой, то с этого дня началась бы вечная дружба между еврейским и украинскими народами. Но так как евреи на это не способны и все это — очередная липа МГБ, все остается по-прежнему»*. И, наконец, счастье, обрушившееся на лагерников 5 марта 1953 года.

Анатолий Приставкин несомненно удивит читателей своей доброй и милой **сказкой** под названием **«Летающая тетушка»** («Нева», № 2). Прежде Приставкин сказок как будто бы не писал. Быть может, жуть постоянного общения с преступным миром, вызванного многолетней работой в Комиссии по помилованию, заставила его обратиться к этому жанру? Героиня этой повести тетушка Дора — летает. Такой она уродилась: слишком любила прыгать в высоту в детстве. Любит футбол, но терпеть не может, когда мажут по воротам. Открывает школу по экологии человеческой души и самоочищению, спасает чуть было не загубленный лес, призывает обожающих ее детей не бояться жалости, быть наедине с собой такими же, как и на людях, и верить, что все люди будут летать: *«Вы тоже»*.

В **«Трех рассказах одного цикла»** **Анатолия Бузулукского** («Звезда», № 1) герои одни и те же, но автор словно разворачивает их всякий раз разными гранями. Эдакий психологический калейдоскоп из серии «у каждого своя правда». В рассказе **«Красавец»** молодой, полный сил сотрудник какой-то фирмы, пытаясь найти загулявшего в очередной раз сослуживца, припоминает встречу с его женой, дамой притягательной и красивой. В **«Оккервильской душе»** вырисовывается уже другая правда — одинокой души талантливого пьяницы со всеми его метаниями и страданиями. А в рассказе **«Жена ищет мужа»** раскрывается правда несчастной, но все-таки счастливой женщины, которая умудряется неизвестно каким чудом сохранять в душе память о начале их любви. От сентиментальности рассказ спасает неожиданный финал: жена, замученная поисками мужа, привозит в конце концов домой кого-то совсем другого.

Герой почти детективного **рассказа Кирилла Кобрин** **«Триумф зла»** («Звезда», № 2) — штатный некрологист (пишет некрологи) чешской англоязычной газеты. Сочиняя текст о смерти почтенного директора школы и побывав по какой-то надобности у него на работе, герой неожиданно обнаруживает некоторые неувязки. Усилие интеллекта и воображения — и выясняется, что под видом джентльмена-директора только что похоронили сбежавшего из клиники психически больного бродягу, а джентльмен, в действительности развратник и педофил, укрылся на Шри-Ланке. Школа, таким образом, спасена от позора, но кому сегодня рассказать о подмене?..

Теплые, человеческие **рассказы** под заглавием **«Один мужчина, одна женщина»** предлагает в «Звезде» (№ 2) **Светлана Мосова**. Это истории о любви и не-любви, о том, что совершенно неизвестно, что же человеку суждено запомнить навсегда, а что из памяти исчезнет, сколь важны могут оказаться житейские мелочи. Особенно выразителен крошечный рассказик **«Ссора»**. В момент страшной семейной ссоры муж крикнул жене: *«А ты!.. Ты можешь без меня прожить?! — Могу! — в азарте крикнула женщина. — А я нет, — спокойно сказал мужчина»*. Женщина посмотрела на него и ответила: *«Тогда и я нет»*.

Наталья Толстая в рассказе **«Ротарианцы»** («Звезда», № 1) с повествует о неком «ротари-клубе», разместившемся в некой маленькой, но богатой европейской стране. Клуб объединяет тамошних ведущих предпринимателей и специалистов. Цель клуба? Таковой не имеется. Занятия — поговорили, пообедали, поглядели друг на друга (мужчины в строгой одежде, жен-

щины в длинных платьях) и разошлись. Оказывается, свои ротарианцы появились уже и в Питере.

Юный герой **рассказа Льва Альтмарка «Дорога к своим»** («Нева», № 2), когда-то неизвестно за что осужденный, выходит из российской тюрьмы и обнаруживает, что не нужен абсолютно никому. Даже родной матери. Вот и подается он в Израиль — «к своим», как советует ему милицейский капитан. Но если в России он чужой, то в Израиле — тем паче. Сначала он зарабатывает на жизнь перевозкой контрабанды. А однажды, польстившись на большие деньги, подвозит молодого нелегала из Газы, — скорее всего, террориста-смертника...

Брызгами восторгов, потрясениями, удивлением при встрече с невероятной прекрасной страной Сербией переполнена **«Музыка земли» Галины Вайгер**, которой предпослано жанровое обозначение — **«Из венка новелл Песня странника»** («Нева», № 2). О настрое рассказа дает представление авторская самореклама, предпосланная повествованию: *«Я с Камчатки. И ширь океана, вулканы и гейзеры — навсегда запечатлены во мне, я — навсегда женщина вулканического происхождения»*. Но женщина вулканического происхождения — штука опасная. От нее того и жди подвоха. Наша вулканическая особа тоже, видимо, Сербию любит неспроста, — как говорится, «против кого дружите». Понятно, «против кого», — против тех злыдней, кто развалил такой монолитный, такой любвеобильный СССР и продолжает дробить народы России. *«Куда же может уйти от России Белоруссия?»* — с тоской восклицает вулканическая дама. — *«Как можем мы жить без Малороссии, разве не с Киевской Руси начиналась наша история?»* Кажется, здесь впору вытянуть-ся в струнку и торжественно, со слезой, затынуть: «Боже, царя храни».

Герой **рассказа Евгения Шкловского «Гипотеза»** («Звезда», № 1) — старый ученый, человек энциклопедически образованный, почти членкор, выступая на телевидении, к удивлению сослуживцев, местом своей работы называет не прославленный Центр, а захудалый НИИ, где когда-то работал всего-навсего младшим научным сотрудником. А про Центр — ни гу-гу. В **рассказе «Рыжик, Рыжик, где ты был?»** автор открывает странный параллелизм в отношениях между женщиной и пригретым ею бродячим псом — и той же женщины с ее любовником. И к тому, и к другому она смертельно боится привязаться слишком сильно.

«Василеостровский сказ» художника **Эдуарда Кочергина** под заглавием **«Шишов переулочек»** («Звезда», № 2) — о странном, живущем будто бы сам по себе крошечном питерском переулочке, хитро спрятанном между василеостровскими линиями. В послевоенные годы, вспоминает автор, это был как бы замкнутый провинциальный мир, с низкорослыми домами, пропахший сильным запахом сырых дров, откуда с утра в сторону Андреевского рынка выхаживали и выполняли инвалиды, обильно порожденные войной. И самый страшный среди них — слепой художник с собакой-поводырем, лицо которого представляло собой жуткую маску с незакрывающейся щелью рта без губ.

Примыкает к этой чисто петербургской тематике и **рассказ Дмитрия Соломахина «Где-то дальше ФРГ»** («Звезда», № 3). Аббревиатура «ФРГ» по-питерски расшифровывается как *«фешенебельный район Гражданки»*. А неотделимая от нее «ГДР» — *«гораздо (или где-то) далее Ручья»*: имеется в

виду протекающий там грязный Муринский ручей. То есть — это самая северная, самая густонаселенная окраина города, типичный спальный район. Вот автор и рассказывает, как в 60 — 70-е годы прошлого века заселялись эти места, прежде населенные либо ингерманландцами («чухной»), либо немцами-колонистами (до революции и даже до войны Гражданка была типичной немецкой, очень чистой деревней). А сейчас здесь обосновался небогатый народ, и многие здешние жители частенько тоскуют по деревне, утраченным просторам и скотине.

«Нева» (№ 1) публикует повесть Бориса Соколова «Опоздавший разговор» — мучительное обращение пожилого отца к сыну-самоубийце. Чтение, надо сказать, изматывающее, жуткое. Отец копается и копается в прошлом, пытается отыскать момент, когда же его любимый и удачливый сын, живший в Канаде, решил оборвать свою жизнь, что же стало толчком, причиной... Ну да, он никак не мог отыскать собственное призвание, свою дорогу, так разве в этом дело? Он же молод был, рано ему еще отчаиваться, все можно было переиграть...

Рассказ Ольги Серебряной «Спасибо Вюрцбургу» («Нева», № 2) — легковесная, легкокрылая история молодой девушки, обладающей, уверяет автор, «фантастической способностью к верности» и порхающей по немецким городам. Правда, не только в качестве туристки. В одном из тамошних университетов ее позвали воспользоваться библиотекой для завершения диссертации. Есть у нее и какие-то коммерческие дела. Больше всего удивляет, однако, не сам сюжет, — его как такового и нет, — а потрясающая легкость, с которой юная дама ездит по белу свету...

Всевозможными любовными коллизиями из несчастливой жизни российских женщин делится в «Неве» (№ 3) Алла Боссарт. Героиня рассказа «Хем и шалашовка» — несчастная русская баба из городка Иванова, где по причине острого дефицита мужского населения нарасхват шел любой человеческий шлак, лишь бы причислялся к сильному полу. «Пенсионерка» — случай с другой отчаянной дамой, умудрившейся в день своих прощаний на пенсию отхватить себе юнца из недавних школьников. «Подзаборница» — о некрасивой и хромой девушке, давно отчаявшейся устроить свою судьбу, но внезапно влюбившейся в желторотого юнца, который «сильничал» над ней.

Первый номер «Невы» представляет целую россыпь РАССКАЗОВ МОЛОДЫХ АВТОРОВ. Любопытно, что в рассказах этих обнаруживаются два преобладающих типа: одни отдают дань тоске российских медвежьих углов, другие — своеобразной романтике вседозволенности и угара от юной бесшабашности.

Действие рассказа Олега Зоберна «Пруха» («Нева», № 1) происходит в какой-то заброшенной грязной деревне. Четверо приезжих мужиков изготавливают там всевозможные поделки, мочалки, матрешки, которые продают в соседнем поселке. Злая тоска, бесконечные амурные истории, променады по пустым сельским улицам...

Герои рассказа Александра Антонова «Дорога на восточный склон» («Нева», № 1), проходчики-горнорабочие, тоже живут в заброшенном полупустом поселке. Та же пьянка (только на столе не водка, а антикомарин), те

же бесконечные рыбные консервы и каша. Вот и убивают они бродячую ничейную собаку — себе на ужин.

События в рассказе Александра Вергелиса «Принимай нас, Суоми, красавица» («Нева», № 1) происходят на дальней российско-финляндской границе жарким летним днем. Лейтенант со жгучей завистью разглядывает в бинокль безмятежно купающуюся финку — и, внезапно впад в безумие, объявляет тревогу. Чуть было новая русско-финская война не началась... В рассказе «Расстрел» парнишка на съемках фильма из времен Великой Отечественной так крепко входит в образ расстрелянного русского пленного, что впадает в состояние своеобразного транса.

Рассказ Аллы Шестаковой «Бабье царство» («Нева», № 1) переносит читателя в шахтерский городок, в несчастливую семью, где остались одни женщины. Единственного их мужчину завалило в шахте. Вот и пришлось самой старшей из них полюбить его приемных детей, к которым прежде она была глубоко равнодушна.

В несколько сентиментальном рассказе Евгении Резниковой «Папаня» («Нева», № 1) воздается дань... лесбийской любви. Настоящий-то папа мальчика — пьяница и драчун, а вот тетя Лида, которую с его матерью связывают отношения любовные и уважительные, — та ему настоящий «отец!» *«Папка Лидка, не плачь!»* — кричит мальчик. — *Папка Лидка-а-а»*

В рассказе Дмитрия Глебова «Несчастливая жертва невообразимого зверя» («Нева», № 1) члены вполне благополучной семьи вдруг поворачиваются к нам некими фантастически сказочными ликами, которые обнаруживают и проясняют их подлинные лица. Нежная жена превращается в куклу с глупыми глазами, муж — в игрушечного медвежонка, а сын, оказывается, всю жизнь думал не своей головой, а кукольной.

Фантастической историей о том, как научный сотрудник, посланный в провинциальный музей, прямиком попадает в скопище древних загадок, делится Екатерина Ивушкина в рассказе «Цветок» («Нева», № 1). Герой то встречает давно умершую цыганку, гадалку-пророчицу, то слышит, как она разговаривает с деревенской старухой... А старуха попеременно оборачивается то юной, то дряхлой. Естественно, свидетелю таких страшилок остается только помереть.

Рассказ Лидии Березниковой «Носки» («Нева», № 1) — тоже история с элементами фантастики. Некрасивая и нескладная девушка едет в писательский дом творчества под Питером к писателю-старiku. Но от его неожиданного внимания к ней расцветает. А уж когда он дарит ей чужие носки, одолженные у соседа, чтобы согреть ее промокшие ноги... С тех пор именно благодаря этим носкам она становится неотразимой. Хоть не снимай их никогда с ног...

«Голос совести» Ирины Глебовой («Нева», № 1) — шутливая история юной «роковой женщины» (она же и «веселая вдова»), поклонник которой умирает от передозировки наркотиков, а муж — от невкусного борща. Рассказ «Бобылев со своей веревкой» — весело изложенная болтовня юной компании, которая ясным летним днем плывет на лодке, ведет веселенькие разговоры о трупах и утопленниках, а заодно любитесь бабочкой, летящей к солнцу.

МЕМУАРЫ. NON-FICTION

Документальную повесть «Поэт-террорист», посвященную Леониду Каннегисеру, знаменитому убийце Моисея Урицкого, представляет **Виталий Шенталинский** («Звезда», № 3). Это — первая из документальных повестей будущей книги «Преступление без наказания», которую «Звезда» намерена печатать в текущем году. Поэтом Каннегисер был, считает автор, весьма значительным. Погиб он, когда ему было 22 года. Его, дворянина, сына миллионера, выходца из старой еврейской семьи, превосходно знали О. Мандельштам, М. Цветаева, Н. Тэффи, В. Ходасевич, Р. Ивнев, Н. Бальмонт, Г. Адамович, С. Есенин. Но совершенное юношей убийство петроградского палача потянуло за собой чудовищную вакханалию арестов и расстрелов. Шенталинский подробно останавливается на именах многочисленных убитых именно тогда литераторов: справочник «Весь Петроград» за 1917 год, пишет он, был переполнен именами людей, профессия которых обозначалась «литератор». *«Почему лишь немногих из них мы знаем? Куда они все делись?..»* Новый диктатор Петрограда — Григорий Зиновьев — именно тогда предложил разрешить рабочим *«расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице»*. Самого Каннегисера расстреливают в ЧК в спешном порядке — еще до окончания следствия, по чьему-то устному приказанию. Его семья спаслась чудом, успев уехать из советской России. Младшая сестра его погибнет позже в Освенциме. Сегодня имя Каннегисера не подлежит реабилитации, говорит автор, по одной причине: потому что не признаны преступниками ни Ленин, ни Урицкий, ни Зиновьев.

Заметками и размышлениями из новой книги, озаглавленными «Message», делится **Леонид Жуховицкий** («Нева», № 3). Рассказывает он, в частности, о современном петербургском гении, математике Грише Перельмане. Именно он решил задачу Пуанкаре, над которой целую сотню лет бились ученые всего мира. Самое потрясающее здесь — это явно нестандартный поступок математического гения, который, как известно, отказался от премии в миллион долларов. И этим, с удовольствием пишет Жуховицкий, *«напомнил человечеству, что есть вещи поважней, чем деньги, слава и власть»*. В основном размышления Жуховицкого касаются тех, кого он считает современными людьми Ренессанса, кем бы они ни были, — учеными, путешественниками, поэтами... Несомненно, это — и те шведские девчонки, *«молоденькие, смешные, в драных джинсах и майках с распродажи»*, решившие отправиться в кругосветный тур на самых дешевых поездах и пароходах. Это — и друг писателя, ныне покойный поэт Саша Аронов, написавший такие строки: *«Гуляю по морю пешком, Стучу о море посошком»*, — и автор великого романа М. Булгаков.

Столетию со дня рождения знаменитой переводчицы байроновского «Дон-Жуана» Татьяна Гнедич посвятил свои воспоминания **Владимир Васильев**, озаглавив их «Из того, что мне запомнилось» («Звезда», № 1). А запомнилось ему, как по указке Смольного из коммунальной квартиры в пригородном Пушкине, где жила недавно амнистированная поэтесса, в спешном порядке удалены были на пару часов все прочие жильцы: надо же было показать иностранцам, какой квартирой единолично владеет переводчик Байрона... Васильев приводит рассказ Татьяны Гнедич о том, как она, на-

ходясь в заключении, переводила «Дон-Жуана» по памяти и как ей помог совершенно невероятный следователь, добившийся, чтобы ей позволили иметь в камере писчую бумагу и английский оригинал поэмы. Живя в Пушкине, Гнедич охотно покровительствовала юным тогда поэтам В. Шири, О. Охупкину, В. Кривулину. Она, потомственная дворянка, никогда не скрывавшая своих корней (а попробуй их скрыть с такой фамилией! — о чем она когда-то сказала следователю), легко находила общий язык хоть с академиком, хоть с уборщицей. Очень любила великого режиссера Николая Акимов, поставившего на сцене Ленинградского Театра комедии «Дон-Жуана» в ее переводе.

Обзор подготовила *Евгения Щеглова*

2. Литературная критика

А. «Дружба народов», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»

Произносить в образованном обществе слово «**ФАНТАСТИКА**» сегодня стало практически неприличным, пишет **Андрей Щербак-Жуков** («Три истории о прошлом и будущем» — «Октябрь», № 1). Казалось бы, произошла девальвация самого этого понятия, а между тем в последние годы территории, традиционно принадлежавшие фантастам, активно заселяются выходцами из литературного мейнстрима. Только называется все это не фантастикой, а другими словами. У издательства «Амфора», например, даже появилась специальная серия — «*История будущего*». «Что это, если не стыдливый эвфемизм? — риторически восклицает автор статьи. — Чем, как не фантастикой, являются на деле *«Кысь» Татьяны Толстой, «Эвакуатор» Дмитрия Бытока, «Американская дырка» Павла Крусанова, «2017» Ольги Славниковой*». Итак, утверждает Щербак-Жуков, «серьезные» писатели всю используют инструментарий, разработанный «несерьезными» фантастами.

Произведениям такого рода в основном посвящены те критические тексты, о которых и пойдет речь в этом обзоре.

То, что еще так недавно относили к области фантастики, в действительности принадлежало зачастую к области **ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МИСТИКИ**, пишет **Дмитрий Володихин** в статье «Домой! Мистическая литература постраспадной эпохи» («Москва», № 2). В XIX — начале XX века эта традиция, по большей части основанная на христианском мировидении, мощно развивалась в русской литературе. В советские времена она практически пресеклась, чтобы родиться вновь в 90-х — в ситуации «второго крещения Руси», когда интерес к религиозным вопросам резко возрос, а в Церковь устремилась масса новообращенных. Все это и вызвало к жизни литературу нового **мистического реализма**, — и первыми на требование времени откликнулись как раз писатели-фантасты, которым проще, чем кому-либо, оказалось впустить в свои произведения сверхъестественное. Ведь для христианина, как пишет Володихин, наличие ангелов и бесов, прозорливых старцев и дьявольских козней, Божьей помощи и бессмертия души — объективные приметы реальности, и фантастический христианин мог бы назвать

как раз литературу, где все это отсутствует. Теперь же книг, где действуют сверхъестественные силы, предостаточно. Вот только сочинений собственно христианских, как отмечает автор, среди них не так уж много. В том ли дело, что в среде христианских литераторов зачастую принято считать, что «*фэнтези — средоточие греха и соблазна, а мистика — суцая темень и бесовщина*»? Или причина в чем-то еще? Но так или иначе, а только в области сакральной фантастики и мистики превалируют почему-то *иноконфессиональные источники*: китайская и иудейская традиции (Павел Карусанов и Мария Галина, соответственно), разного рода язычество, «*гностическая вера интеллигентов*», а там и оккультизм, и эзотерика (здесь назван Виктор Пелевин), и далее — откровенный сатанизм (Юрий Мамлеев, Виктор Ерофеев и др.). Павел Крусанов в романе «*Укус ангела*», с сожалением отмечает Володихин, хоть и пропагандирует имперскую идею, да делает ей не лучшую рекламу, связывая Российскую империю с преисподней. Ольга Славникова, создавшая в романе «*2017*» образ Уральских гор, явно отдает предпочтение всяким языческим божкам и Медной Горы Хозяйкам, занимаясь, по словам Володихина, «*упорным, каким-то агитационным даже вытеснением православия*» из общей картины мироустройства. Ближе к христианской ортодоксии повесть Евгения Богата «*Четвертый лист пергамента*», где коренным образом различаются мистика и магия: мистика подана как воспитание духа, магизм же — как пружина приключений. Та же мистическая литература, которую автор статьи признает собственно христианской, по большей части повествует о «*духовной брани*» — от прямолинейных историй, повествующих, как Белая гвардия очищает от бесовского воинства плоть и кровь православной России (Наталья Иртенина) или как слуги царевы противостоят масонам и иным сатанинским силам от политики (Ольга Елисеева), до более камерных, где поле боя — собственные душа и сердце христианина (Елена Хаецкая). Одобрительно отзываясь Володихин о романах Алексея Иванова, несмотря на то, что этот прозаик «*исповедует очень расплывчатый вариант Христовой веры*», да и мистику черпает почти исключительно из языческих источников; но зато сверхъестественное у Иванова «*входит в плоть действительности, как яйца в тесто для блинов, естественно и неразделимо*».

«*Реальность пугает — человек прячется в СКАЗКУ*», — эту мысль Наталья Ивановой цитирует Ольга Лебедушкина («*Шехерезада жива, пока*» — «Дружба народов», № 3), тут же добавляя: «*Не литераторы бегут в сказку, спасаясь от действительности. В сказку бежит сама действительность*». А бежит эта действительность, спасаясь ни от кого иного, как от литературы с ее амбициями быть «*большой*» или даже «*великой*», бежит от «*угрюмых молодых реалистов*». А откуда эти безликие *новые реалисты* выкрикивали свои манифесты, в литературе прочно обосновались сказочники; прилавки заполнили «*Настоящие сказки*», «*Московские сказки*», «*Дикие животные сказки*», «*Пьяные сказки*», «*Русские инородные сказки*» и т. п., а также многочисленные отсылки к Андерсену, — но не к *умильному, уютному, марципановому*, — а к «*Андерсену для взрослых*», Андерсену обнаженных бездн и потаенных патологий... И дело тут вовсе не в прихотях моды: возвращение сказки — процесс объективный. Казалось бы, констатируемое сегодня многи-

ми *исчезновение реальности* — виртуальный морок, навеянный масс-медиа и PR-технологиями, — легко могла бы преодолеть *«правда жизни»*, то есть non fiction, литература невыдуманного. Однако, пишет Лебедушкина, не все так просто: *«Как будто литература, жаждущая как реальности, так и реализма, ударилась о какую-то невидимую стену»*, да так больно стукнулась, что даже свернула в сторону — в сторону вымысла и даже сверх-вымысла, **ultra-fiction**. А все дело, как не без усилия можно вывести из статьи, — в специфическом вопросе «реальности», в том, что вообще подразумевать под «жизнью». Однако истинное понимание того, что есть *жизнь*, одной только сказке и доступно. И эта внятная лишь сказке и сказочно простая истина, по Лебедушкиной, звучит так: *«Жизнь — это то, что не смерть»*. Но это еще не все: *«жизнь — заклинание смерти»*, то есть, выражаясь более поэтическим языком, *«не Шехерезада жива, пока говорит»*, а сам *«человек жив, пока он — Шехерезада»*, пока он заговаривает смерть, отвлекая ее от выполнения своих жутковатых обязанностей¹. И хотя, на наш взгляд, совершенно очевидно, что в обеих процитированных формулах первична именно смерть, а жизнь — лишь ее производная², все-таки радует утверждение, что *жизнь — это не смерть*. Радует как некоторая все-таки определенность. Все же остальное в этой статье расплывчато, зыбко и неустойчиво, — начиная с процитированного утверждения о том, что *«в мире самом по себе нет никакой объективной точки отсчета для совершения человеком того или иного выбора»*, и кончая признанием, что *«Книга врак» — это не враки* и что сказки, о которых написана эта статья, — никакие не сказки...

«Сказки о России» — так называется статья **Аллы Латыниной** («Новый мир», № 2). Здесь речь тоже идет не о сказках в собственном смысле слова, а о двух **«ИСТОРИЯХ БУДУЩЕГО»** (воспользуемся определением издательства «Амфора») — **АНТИУТОПИЯХ** **Дмитрия Быкова «ЖД»** и **«День опричника» Владимира Сорокина**. У этих романов довольно много общего: и тут и там представлена Россия, изолированная от всего мира; и тут и там горбачевско-ельцинские времена названы смутой; и тут и там торжествует насилие под прикрытием государственно-патриотической риторики — с той лишь разницей, что у Сорокина пытаются, ищут заговоры и убивают опричники, а у Быкова — смершевцы. И тут и там дело происходит в совсем недалеком будущем. *Зловредное перо* Сорокина, как замечает Латынина, на сей раз утрачивает свой *«специфический человеконенавистнический характер»*, и книга, в которой технический прогресс XXI века соседствует с возрожденными нравами и языком века XVI, а на Лубянской площади возвышается памятник Малюте Скуратову, чрезвычайно занята не как модель будущего России, а как сатира на ее настоящее. Вот пример *ретро-новояза* (а заодно

¹ С похвалой отзывается Лебедушкина об антологиях «ФРАМ» (Макс Фрай представляет), которые объединены двумя сквозными мотивами — детство и смерть (*«именно в детстве человек живет в непосредственной близости и к смерти, и к чуду»*).

² *«Смерти боятся все, боятся больше, чем Бога, ведь о нем никогда ничего не знаешь наверняка, а смерть — вот она, вокруг и повсюду»* (из процитированных в статье *«Сказок первого часа ночи»* Александра Шуйского).

пародия на публицистику а la Проханов), — на нем бранит либералов герой романа: *«Гнусны они, яко червие, стервой-падалью себя пропитающее <...> вельмиречивостью, яко ядом и гноем смердящим, брызжут они вокруг себя...»*

В книге Быкова Россия представлена в качестве сказочной страны, на территории которой сражаются две оккупационные силы — варяги и хазары (читай: государственники-русские и ультралибералы-«жедэ». — *Ред.*), к которым равно индифферентно коренное население, живущее природной доисторической жизнью, исповедующее идею круга и говорящее на особом не испорченном завоевателями языке, который, как замечает критик, *«Быков очень занятно конструирует, отбирая хлеб у Сорокина»*. Латынина напоминает, что жанровое определение, данное «ЖД» автором, — поэма: ведь *«именно эпическая поэма объясняет нацию»*. *«Унижение паче гордости, — пишет критик, выражая сомнение в том, что создание национального эпоса — возможная на сегодня вещь. — Хороших романов много, а национальных эпосов — раз-два и обчелся»*. Добавим от себя, что самому Быкову милее всего такая расшифровка аббревиатуры «ЖД» — «Живые Души».

Все заслуживающие внимания **ФАНТАЗИИ О БУДУЩЕМ РОССИИ** сводятся к трем схемам — надежда, тупик, катастрофа, пишет **Валерия Пустовая** (*«Скифия в серебре. “Русский проект” в современной прозе»* — «Новый мир», № 1). Серьезные писатели заняты не составлением рецептов счастья — либеральных ли, коммунистических ли; они ставят вопрос о самом *существовании* нашего будущего. Критик рассматривает три группы текстов.

К **плюс-проекту** Пустовая относит произведения, взывающие переустройства российской жизни на глубинном, мистическом уровне, — это романы *«2017»* Ольги Славниковой, *«ЖД»* Дмитрия Быкова и повесть Алексея Лукьянова *«Спаситель Петрограда»*. Во всех трех текстах вскрыты неподлинность, театральность, кажимость жизни, навязанные России властью, — лжепатриотов у Славниковой, оккупантов у Быкова, фиктивных Романовых у Лукьянова. В названных произведениях так или иначе скомпрометированы обе расхожие модели социального переустройства — государственническая и ультралиберальная, а миру фальши и театральности противостоит не совершенная социальная модель, а любовь героев, поданная как реальная угроза гнилостной полужизни.

К **ноль-проекту**, согласно классификации критика, принадлежат романы *«Маскавская Мекка»* Андрея Волоса, *«Американская дырка»* Павла Крусанова и повесть Ксении Букши *«Аленка-партизанка»* — тексты, поражающие *«иронией осознанной безысходности, уже не ищущей спасения, а бесконечно играющей в него»*. Драма истории разыгрывается здесь весело, лихо, *«обалденно смешно»* (выражение из повести Букши). В этих текстах масса увлекательных придумок, внезапных сюжетных ходов, богатых описаний, блестящих фантазий, умных афоризмов и эффектных тирад, — но все это богатство в дребезги разбивается о *«неизбывную тупость, безвыходность и несдвигимость истории»*. А. Волос, рисуя противостояние зажавшегося Маскава (омусульманенной Москвы будущего) и голодного коммунистического Гумкрая, прямолинейно упрощает механизм истории, главным ее двигателем делая деньги и обрекая Россию на *«вечные колебания между бесстыдным, безыдейным богатством и дутым идеализмом нищеты»*. Букша

и Крусанов создают мир, где история, подминая под себя человека-функцию, вечно рассказывает одну и ту же сказку про белого бычка. *«Мы бы написли и убили всех палачей!»* — говорит Аленка-партизанка. *«В этих словах скрыта мрачная ирония цикла,* — отмечает Пустовая, *— “убили палачей”, убили убийц — в желании изменить мир подчинились его логике»*. Абсолютная свобода возвращает в себе зерно абсолютной несвободы, а та, в свою очередь, норовит обновить мир, освободив его для скорейшего пришествия новой несвободы. Стремление героини сломать существующий порядок вещей оказывается всего лишь проявлением подчиненности непоколебимому миропорядку. Революция, по логике цикла, — всего лишь мшение, ритуал отрицания, компенсация обиженным. Революционеры и диктаторы по существу ничем не отличаются друг от друга, они лишь меняются ролями, когда приходит время. Это взаимообращение, намеченное в повести Букши, у Крусанова реализуется полностью. В основе его романа лежит посылка, что во всех бедах мира виноваты Америка и построенное ею «пост-гуманистическое общество». В результате же свершившейся справедливости полюса меняются местами и роль Америки на мировой сцене принимает на себя Россия, становясь, по выражению критика, *«жандармом мирового спасения»* и *«всемирным демоном истины»*, и пусть все подавятся теперь уже нашими *«вечными ценностями русского мира»*...

К третьей группе текстов, **минус-проекту**, принадлежат *«2008»* Сергея Доренко и *«Россия: общий вагон»* Наталии Ключаревой. Авторы этих романов-отрицаний решаются на катастрофическую развязку (у Ключаревой гибнет главный герой, у Доренко — Россия), что представляется Валерии Пустовой менее безнадежным, чем образы «нулевой» России, бесконечно следующей неотменимому циклу истории. *Пустая, скучная и откровенно наглая* книга Доренко, пишет критик, *«заканчивается вдруг такой огромной, всерьез прочувствованной болью за Россию, что пробуждает настоящее страдание за отечество и неожиданное уважение к автору»*. Роман Ключаревой вплотную подводит к мысли о том, что патриотизм — это бремя доверия, любви и прощения; к мысли о прочной взаимной связи любви к другому, ответственности за него и будущего целой России. «Минус» и «плюс» смыкаются в этой точке: любовь выталкивает людей из лживой полужизни, позволяет вырваться из порочного круга, отказаться от навязанной роли. *«Только тот, кто способен любить человека, выдержит и веру в Россию»*. Недаром в прозе «нулевого» проекта, посвященного воспроизведению исторического круговорота лжи, так малосодержательна любовная тема: адюльтеры у Крусанова и Волоса выражают себя похотливо и поверхностно, *«закрывая от нас души мужчин и женщин их непомерно активными телами»*. В романах-надеждах Славниковой и Быкова любовь раскрывается как путь к подлинности бытия, как простое и великое мужество жить, совершая ежедневный *«подвиг честного частного дела»*, — истинный двигатель Истории, то будущее России, с которым рождается каждый из нас и в сравнение с которым не идет ни политика, ни магия, ни социальный строй, ни безупречный лидер.

Этот обзор мы начали с утверждения, что мейнстрим вторгся на территорию фантастики, а она сама из области «несерьезного» перекочевала в

сферу самого что ни на есть серьезного. Своеобразное объяснение этому явлению находит **Мария Ремизова**, утверждающая: дело не в освоении смежных областей литературы, а в кризисе рационалистического типа мышления («**Зимние заметки о летних впечатлениях**» — «Октябрь», № 1). Просто современный автор, будучи реалистом и честно фиксируя человеческие переживания, вдруг ощутил, что голая реальность лишена глубины, а сугубо материалистическая картина мира подлинного понимания мира не дает, и обратился к тому, что только и обеспечивает подлинное понимание, — к мифологическим моделям мира, к **КОЛЛЕКТИВНОМУ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ**. Ведь, согласно Ремизовой, это «*лишь рационалистический тип мышления, построенный на принципах причинно-следственных логических связей, не допускает возможности произвольных метаморфоз — человека в животное, воды в вино, гребешка в лес и так далее. Мифологический, внерациональный, напротив, не только допускает, но даже категорически на этом настаивает, поскольку степень взаимосвязанности всего столь велика, что, по существу, все объекты в пределе неделимы и при определенных обстоятельствах свободно перетекают один в другой*». Следуя логике Ремизовой, легко предположить, что фантастика перестала сегодня называться фантастикой исключительно потому, что адекватно описывает реальность и ничего фантастического в ней нет.

Андрей Рудалев, напротив, сокрушается о том, что современная литература на мир трансцендентный и не претендует, а в качестве сферы своих жизненных интересов облюбовала исключительно посюстороннее, полностью погрузившись в эмпирию. «*Мы перестали видеть очевидное*», — пишет критик, известным высказыванием «**РЕАЛИЗМ — ЭТО ОРИЕНТАЦИЯ НА САКРАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ**» («**В поисках нового позитива**» — «Урал», № 2). «*В эпоху терпимости*, — пишет Рудалев, — *истин много и в то же время нет ни одной*», оттого-то литература и занята почти исключительно интеллектуальной эквилибристикой, оттого-то вязнет в натурализме и ничего не значащих деталях, оттого-то слово, которым писатели научились владеть вполне виртуозно, по большей части оказывается *сделанным из папье-маше*.

Но искусственно не только слово литератора, сама окружающая человека реальность в отсутствие истины превращается в бессмыслицу, порождая уныние и пессимизм. «*Отчаяние*, — пишет Рудалев, — *лицо времени*». И все это, по его мнению, абсолютно точно отражает литература — «*аутичная, замкнутая, амбициозная, плотоядная*». Торжествующий сегодня тип культуры, отмечает критик, утверждает примат индивидуального, субъективного, заставляя человека замыкаться в себе, находя единственную реальную ценность в собственном «я», погружает в тоску по опыту своего прошлого, по ушедшему детству³. И остается лишь заниматься самим собой — или методичным самобичеванием и саморазвенчанием, подобно герою Романа Сенчина («**Вперед и вверх на севших батарейках**»), или противопоставлением себя миру, воспринимаемому не иначе как средоточие агрессии и тьмы.

³ В этой связи вспомним вновь описанные в статье Ольги Лебедушкиной антологии ФРАМ, где единственной безусловной реальностью оказывается смерть, а ценнейшим личным достоянием — детство.

Обозначает свою инаковость, замкнутость своего и своих единомышленников особого мира Сергей Гандлевский («НРЗБ»); без устали бичует пороки, *в упор не видя* при этом живых людей, герой повести-манифеста Сергея Шаргунова «Ура!»: *«всех он записывает в какой-то разряд, всем дает определения бандиты, наркоманы, менты, проститутки, бомжи и беспризорики, насильники и извращенцы кругом, куда ни плюнь. Всё, как в тире, когда перед тобой взад-вперед дефилируют картонные фигурки различных зверей»* Создает для своих персонажей искусственные конструкции, особые лабораторные условия Владимир Маканин... «**Новый реализм**, — замечает Рудалев, — *обрисовывает вакуум, пустоту— особую виртуальность, которой делаются попытки придать эстетический и этический характер*». Не этим ли пресловутый *новый реализм* и отличается от русского литературного реализма XIX века, неизменно утверждавшего метафизическое измерение жизни, действительный нравственный идеал?..

Слово, пишет Рудалев, пало жертвой переоценки ценностей. Современный мир забыл о том, что слово — категория аксиологическая, что «*эстетическая сторона слова изнутри подсвечивается его нравственным, духовным, сакральным смыслом*», что «*красота есть внешнее выражение внутренней чистоты*». Что настоящая литература по большому счету религиозна, поскольку «*Бог в мире предстает не прямо, Он не навязывает Себя миру, а являет через посредство Слова*». Однако современный молодой человек, пишет критик, опоры в вере не ощущает, и религия для него обладает лишь исторической или культурологической ценностью. В этой ситуации отсутствия Бога, отсутствия единения с другими, отсутствия истины и нравственного идеала — в ситуации внутреннего *духовного одиночества*, пишет критик, человек пытается обрести себя, реализоваться как сильная, волевая, протестная личность через активную общественную деятельность, как у Наталии Ключаревой в романе «Россия: общий вагон», в «Санька» Захара Прилепина, в «Как меня зовут?» Шаргунова.

Литература должна обратиться к важнейшим жизненным ценностям, пишет критик, к осознанию и глубокому восприятию духовно-нравственной традиции. И это когда-то произойдет. Новое литературное поколение еще не верит, но уже хочет уверовать, *найти нравственную опору, стоящую вне его бережно лелеемой самости*. И уже появляются произведения, где «*традиционное нравственное начало как бы заново проживается автором, становясь с ним одной плотью*». Это можно наблюдать у Ирины Мамаевой, Дмитрия Новикова, Александра Карасева, Дмитрия Орехова.

В. «Звезда», «Нева»

В поле зрения Сергея Стратановского — сложная, чрезвычайно талантливая, а местами страшная поэзия Эдуарда Багрицкого («Возвращаясь к Багрицкому» — «Звезда», № 2). Да, сознается автор статьи, некогда, в пору ранней юности, было у него страстное увлечение поэзией Багрицкого, были и чувства, «*близкие к ужасу*», и понимание неизбежных еврейских мотивов его творчества. Сегодня пером критика двигает попытка понять поэта и человека Эдуарда Дзюбина, взявшего псевдоним Багрицкий, «*исходя из вы-*

зовов» эпохи, в которую он жил». Стратановский выделяет очень характерный для поэта «разрыв между героем его стихов и им самим». Именно наличием такого разрыва объясняется, почему «идеалом Багрицкого ставится его тень, но сам он никогда не убивал и не приказывал убивать, не служил в ЧК». Разлитый в самом воздухе 20-х годов культ молодости и здоровья, замечает Стратановский (а также ранней героической смерти — смерти на посту), вызвал к жизни ставший знаменитым «Разговор с комсомольцем Дементьевым». Ведь Багрицкий был тяжело и безнадежно болен. Знал он и разочарование, и смятение, и боязнь потерять самый смысл жизни. Недаром образцом стойкости и верности становится у него палац, «ангел смерти» — Феликс Дзержинский...

Со статьей «**Не-юбилейное. К 70-летию Владимира Маканина**» в «Звезде», № 3, выступает из иерусалимского далека критик **Марк Амусин**. Статья «неюбилейная» по причине простой: это совсем не апологетика русского «мэтра», «самого плодovitого» прозаика и «главного психоаналитика всея Руси». Впрочем, все перечисленное Амусин признает, также называя своего героя «*виртуозным мастером*», главное качество прозы которого — «*неизменное и абсолютное господство автора над материалом*». Маканин, пишет критик, «жестко и осознанно, в зависимости от конкретной задачи, приглушает один (мотив. — Е. Ш.), подчеркивает другие, порой смешивает их в головокружительный коктейль». Этот писатель, рассказывает Амусин, в фокус читательского внимания помещает то, от чего в жизни мы «*брезгливо или ханжески отводим взгляд*». Дар Маканина — дар жесткий, даже жестокий. И было бы соблазнительно определить его «*как нашего Брехта времен застоя*»: та же «*насмешливая деконструкция здравого смысла, демонстрация разрывов между коренной стороной вещей и реальной их изнанкой, та же издевка над официальной моралью*». Но Маканин, в отличие от Брехта, уже в застойное время «*декларировал неизменность наличествующего миропорядка, неподвижность китов-постулатов, на которых тот держится*». Однако нынче в ветвистом, безразмерном «Андеграунде», явно распадающемся «*на сюжетные и тематические пласты*», он уже с трудом удерживает сюжетную и смысловую напряженность, заданную в начале его творчества.

Размышляя о захлестнувших нынешнюю прозу декоративном плетении словес и мнимой многоплановости повествования, **Ольга и Владимир Новиковы** тоже обращаются к **Владимиру Маканину** («**Сладострастие потеснило сердечность. Или нет?**» — «Звезда», № 3). От героя его романа «Испуг», написано в статье, «*добропорядочные обитатели села Литературная Тусовка сразу стали воротить нос*». В самом деле: в роковые для страны октябрьские дни 1993 года пожилой герой — наделенный неслабеющей мужской силой меланхоличный Петр Петрович Алабин — приезжает с юной наркоманкой в Белый дом, на крыше которого и стоит голышом... Но суть романа, пишут Новиковы, — «*в игре вариаций, в оттенках*». Маканинскому Алабину никак не подходит формулировка «морально неустойчив», поскольку это человек «*с неиссякаемой исторической потенцией, живущий во всех временах*». То есть перед нами «*персонифицированный гедонизм*». А вообще-то, приходят к выводу соавторы, герои «Испуга» — это «*Сладострастие, Жизнь, Смерть, Стадность, Война, Культура*», а эротика романа — это «*знак жизненности*».

Жанр своей статьи «Где кончается филология» Александр Жолковский («Звезда», № 1) определяет как «осенние зачистки на летних территориях». Статья посвящена полемике с опубликованными в прошлогодних «Вопросах литературы» размышлениями Бенедикта Сарнова «И статья достойным доцента...»⁴ Сарнов резко высказывался относительно модных нынче «антидогматического литературоведения» и «интертекстуальности». Защитить указанные течения и взялся Жолковский. По его мнению, критик в России, убежденный, «что он больше, чем критик», берется не за свое дело. Жолковский утверждает, что продемонстрированный Сарновым уровень аргументации удручающ, да и аргументация продиктована «ненавистью к научным работникам» и непониманием того, что сам Сарнов («неистовый Бенедикт») «пользуется научными конструктами... просто не новыми, а вошедшими в литературоведческий обиход несколько раньше». Что до Жолковского, то текстовые интертекстуальные параллели «Двух капитанов» и «Гамлета», против которых так активно выступил Сарнов, его вполне убеждают. «Кто сказал, что наука не должна быть скучновата? — пишет он. — Во всяком случае, полномочий запретить эти побеги из филологической зоны у меня, в отличие от Сарнова, нет». Вообще публикацию статьи Сарнова в журнале «Вопросы литературы» Жолковский считает «явлением вполне российским», проявлением своеобразного нашего «непрофессионализма с человеческим лицом».

В своем эссе «Александр Иванович Герцен сегодня» Сергей Тхоржевский («Звезда», № 1), размышляя над многовековой отечественной традицией ломать, калечить и революционизировать, вспоминает воистину не устаревающие герценовские слова: у нас «во всем, везде сначала дикая сила, ломанье, а когда дело вполнину погибло на корню, тогда принимаются залечивать». Эссе Тхоржевского представляет читателю сгусток поразительно злободневных размышлений Герцена, прозревшего трагедию несчастной своей родины и, к сожалению, так редко прочитываемого нынче. «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в Бога смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно?» Размышлял Герцен и о злосчастном обычае отечественных начальников, вошедшем в их плоть и кровь, требовать от подчиненных и вообще от народа безусловного подчинения себе: «Молчание кругом, подобострастная лесть приучают у нас самых дельных людей к страшной необдуманности, к безграничной самонадеянности и в силу этого вовлекают их в большие ошибки».

Публикацией статьи Евгения Антипова «Наше всё и всё такое» («Нева», № 2) редакция журнала, несомненно, решила ошарашить отечественную публику, подбросить дровишек в чуть тлеющий костер сегодняшнего толстожурнального бытия. Статья и впрямь ошарашивает: в результате прозвезденного Антиповым исторического расследования оказывается, что Александр Пушкин пал жертвой масонов, в число которых входили не только заядлый недраст «батя Геккерен» вместе со своим сладеньким Жоржиком, не только Бенкендорф с Чаадаевым, но даже покойный Павел I, не говоря уже об «этих гавриках из Северного тайного общества». Только пусть читатель не думает, что это очередная история о том, как

⁴ См. наш обзор в № 129.

международный заговор погубил наше национальное *всё*. Ничего подобного. Да, будь Пушкин жив, Евгений Антипов, по всему судя, и сам без колебаний вкатил бы пулю в *курчавую грудь* национального гения, этого гуляки праздного, чья «эмоциональная и половая невменяемость» («кроличьи свойства») наряду с «необузданной злобой и несолидной драчливостью» вызывают у автора статьи неподдельно праведный гнев. По Антипову выходит, что Пушкин пострадал за дело. Да, он пал жертвой коварных врагов Царя и Отечества, но не безвинно, — а сам к ним принадлежа (более того, будучи масоном потомственным), однако сильно у них там проштрафившись. Хотя, если объективно, поэт масонов ни в чем не подвел и виноват лишь в крайнем цинизме. Но дело-то все в том, что, как выяснил Антипов, именно на цинизм, амбициозность и завистливость Пушкина сделал ставку император Николай I, а уже это привело нерадивого поэта к печальному концу. Потому что и избрал государь Пушкина лишь для того, чтобы сделать козырным тузом в своей «замысловатой игре с невидимым противником»: ведь «литературный гений, для которого не существует ни мелких, ни крупных этических барьеров», для политической игры Николая подходил идеально. Недаром же с самого восшествия на престол государь-император демонстративно уделял поэту повышенное внимание: и гонорары Пушкин получал баснословные, и в тайные архивы был допущен, и «умнейшим человеком России» при представителях СМИ назван, и реклама его сочинениям делалась, — и даже свадебное платье для Натальи Николаевны куплено не будущим супругом, а императором. Словом, «ни в какие времена, ни с каким поэтом, тем более забиякой, никакой государственный режим не возился так, как возился проклятый царизм с Пушкиным». И что же обо всем этом должны были думать друзья-масоны-декабристы-христопродавцы?! Вот именно. Они это и думают, а потому провоцируют дуэль, стремясь убить сразу двух зайцев, — науськивая Пушкина непосредственно на самодержца. Но Пушкин, во-первых, вместо царя почему-то считает своим оскорбителем Дантеса, а, во-вторых, «на амбразуру курчавой груди» лечь не спешит». Вот тогда-то масон Дантес и посылает робкому поэту вызов, ничем при этом не рискуя: как иностранец юридической ответственности он не несет, а от роковой пули защищает себя, обложив уязвимые места сковородками. Так что, резюмирует Антипов, «можно сказать, что Пушкина перед свободолобивой братвой крепко подставили». И, на наш взгляд, вот это антиповское «**можно сказать**» — изумительно, как изумительны и периоды вроде:

— «перед лицом истинных поклонников Пушкин оттягивался по полной»;
 — «на балах откровенно флиртовал, за что однажды и схлопотал по хारे белой рученькой»;

— «Пушкин приходил на цыганское стойбище и разглядывал с грустью окурки и смятые пивные банки. Тогда-то и подходят к горлу строки: “Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют”»;

— «В памяти же народа Пушкин остался как человек тонких чувств и больших страстей. Как-то, переполняемый тонкими чувствами (дело было под Одессой), полетел Пушкин на бал. Ибо там одна дама. Летел он на крыльях любви, летел и приземлился перевести дух. А там ребята в картишки

дуются. Ну и не полетел никуда Пушкин. Двое суток резался. Поскольку — человек больших страстей, а не только тонких чувств»...

Можно бы еще цитировать, да места жаль... Так вот, *«можно сказать»*... В том-то и дело, что — нельзя. Сказать ТАК нельзя. Помните: *«В предложении переводчика заключался ясный практический смысл, предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в омерзительном, никуда не годном пенсне»?* И будь открытия архитектора Антипова хоть в тысячу раз доказательнее, будь здесь использован мощный научный аппарат и каждый аргумент подкреплен соответствующей ссылкой, — но и в этом случае все равно именно вот этот разухабистый коровьевский тон, дешевое это эстрадничанье шибанули бы в нос как верные и неоспоримые приметы дурновкусыя, упомянутой выше этической неразборчивости, да и попросту пустого трепя. Странно, что человек, очевидным образом выше других ценностей (включая и какую-то там «истину», упомянутую Чадаевым) ставящий патриотизм, не отдает себе отчета в том, что о русской истории, о русской литературе, да и просто о покойниках у нас в России (да и нигде, впрочем) в подобном тоне говорить не принято.

Впрочем, в «Неве» исследования подобного рода становятся уже традицией. Так, ладную пару со статьей Антипова составляет прошлогодний исторический обзор Веры Калмыковой *«Харизма русского писателя и свобода выбора»* («Нева», 2006, № 10). Разве что Антипов разоблачает Пушкина, который, *«несмотря на богохульное наследие»*, нынче объявлен *«самым православным поэтом»*, Калмыкова же, наоборот, Пушкина одобряет, — но, как можно понять из статьи (из которой, к слову говоря, понять что-либо не просто), одобряет примерно за то же, за что Антипов порицает: за безответственность и лень, за предпочтение возвышающего обмана низким истинам, за пренебрежение идеологией — за то, что гуляка праздный. По терминологии статьи, — за то, что Пушкин *«антихаризматичен по своей сути»*. Ведь в Пушкине, которого то и дело норовят втиснуть в *харизму* персонажа-памятника, именно то и хорошо, что любая харизма ему тесна. Как, впрочем, и *«принципиальным антихаризматиком»* обэриутам, и еще Андрею Синявскому, в *«Прогулках с Пушкиным»* раскрывшему подлинную суть русского гения.

Но попробуем по порядку, поскольку рано или поздно все равно сойдемся. Речь в статье, как следует из названия, идет о харизме, под углом которой исследовательница и выстраивает на нескольких страничках историю отечественной литературы с XVII века и до сего дня, — забыв, правда, объяснить, что она имеет в виду под выражением *«харизма»*. А поскольку под этим модным сегодня словом разные люди подразумевают совсем не одинаковые вещи, попробуем на свой страх и риск самостоятельно вывести из статьи определение ее ключевого понятия. Итак, как нам показалось, *харизма*, по Калмыковой, — это самовольная (и самодовольная) сакрализация писателем собственного творческого дара, раздутое представление о своем призвании как общественной миссии. Но это еще не все. Харизма — это также некая поза, репутация, социальная маска, которую напяливает на себя литератор, когда собирается стать властителем дум. Харизма — это

попытка использовать литературу в качестве оружия в личной борьбе литератора с властью (так, первым харизматиком в нашей словесности признан протопоп Аввакум, «задавший идеальную модель поведения писателя-борца». Правда, пишет Калмыкова, Аввакум и его единомышленники не о харизме пеклись: «им достаточно было ощущать благодать Божию и свою призванность»⁵). Кроме того, в основание харизмы положена идея умирающего и воскресающего Бога: «умирая от невыносимых страданий, писатель воскресает в книгах и в читателе». Но и это еще не все. И если читающему эти строки до сих пор казалось, что ему удастся следить за ходом мысли Калмыковой, придется его разочаровать, добавив, что харизма свойственна не одним писателям: в статье между прочим говорится о «харизме искусства», «харизме народа» и даже «харизме власти». Впрочем, не стоит больше тратить время в тщетных попытках понять, что же это за зверь такой — харизма, потому что одно из статьи ясно абсолютно: харизма — это штука надуманная, никуда не годная, дрянь что такое, эдакий мыльный пузырь, с истинными ценностями — спонтанностью, весельем и творчеством — ничего общего не имеющий. А настоящее — лишь там, где писатель-ленивец и гуляка праздный.

Итак, с харизмой худо-бедно разобрались. Но это нас никуда не продвинет, потому что на самом-то деле Калмыкова рассматривает отечественную словесность не столько под углом этой неуловимой харизмы, сколько с позиций давно уже не модного и слегка подзабытого всеми психоанализа. И вот тут выясняется, что все мы — пациенты. Читатель в России вечно был обречен воспринимать не столько собственно книгу, сколько личность автора (и всё из-за харизмы, которая «довлеет⁶ художественному восприятию»), а в отношении читателя к писателю всегда сквозило нечто религиозное. Потому что русский писатель вечно объявлял власть антинародной, а себя самого «народным другом и защитником». Власть же, отвечающая писателю неадекватной жестокостью, лишь укрепляет представление о том, что писатель добровольно обрекает себя на общественное служение. И тогда включается неумолимый механизм: читатель сакрализирует литературу, а писатель — самого себя. «*“Народолюбие”*», — метко подмечает Калмыкова, — *обращалось в любовь к самому себе, столь от многого отказавшемуся во имя, во славу и на благо...* Вот таким образом и формируется комплекс героической жертвенности русского писателя. А поскольку «в ситуации гибели за истину недопустимы улыбки, ирония, наслаждение существующей в мире красотой и вообще жизнью», само собой получается, что благородная тема по-немногу заслоняет собою эстетическую сторону, а вопросы формы теперь зачастую прямо объявляются безнравственными. Таким образом, резюмирует исследовательница, литература привыкает эксплуатировать «темы и

⁵ Любопытно, что в христианской теологии именно этим и определяется понятие «харизмы» как индивидуального дара, который человек получает от Бога для выполнения своего жизненного предназначения. Так что Аввакум, надо полагать, заботился именно о харизме (ред.).

⁶ Автор статьи полагает, что это слово значит «предшествует, определяет, главенствует».

мотивы, которые гарантированно служили сильным возбудителем эстетической реакции: болезнь, мучительная смерть (особенно детская), несчастье», а писатель «получает право на антихудожественность».

Тяжелая жизнь, болезнь или ранняя смерть — прекрасная защита от критики. А если добавить к этому еще вечное «желание пострадать», при этом встав в позу страдальца за народ, — вот перед нами психологический образ типового русского писателя по Калмыковой. В Белинском ли, в Некрасове, в мемуарах ли Панаевой, пишет она, «поражает стойкое нежелание жить хорошо, бездумно, быть может, радуясь солнцу, свету, весне, ребенку». (Надо заметить в скобках, что и нас, в свою очередь, кое-что поражает в этом заявлении. Ведь бездумно радоваться Калмыкова призывает чахоточного Белинского, тут же и приводя цитату о его жизни, где фигурируют голод, нищета, унижение, неприязнь собственного отца. Нам неизвестно, может быть, жизнь Калмыковой много тяжелее и у нее есть моральное право давать подобные наставления Белинскому-человеку, но зато достоверно известно, что статьи Белинского-критика много яснее, аргументированнее, а главное, доброжелательнее. Впрочем, если главной доблестью литератора считаешь легковесность, какие к тебе могут быть претензии...) А тем временем Калмыкова продолжает рассказывать свою историю русской литературы. До того доходит, пишет она, что автор описывает свои внутренние состояния, собственные интимные кошмары, представляя это в виде «страданий народа» (в этом уличены Некрасов и Салтыков-Щедрин). Читатель же, которого русская литература «постоянно понуждала к сочувствию», перекармливая описанием «гнойных социальных язв», все больше утверждает в ощущении собственной ничтожности, которая всё оправдывает и от всего освобождает, что приводит «к безответственности». Тут очень кстати под руку исследователю попадает Достоевский, — но не в качестве примера вожденной Калмыковой бездумной радости солнцу, свету, весне, ребенку или каким-нибудь клейким зеленым листочкам, а в качестве мрачного хроника, который «высшей ценностью объявляет детскую слезу». «Опять слезу, а не улыбку», — торжествуя уличает Калмыкова. (И неловко как-то становится за Федора Михайловича, и хочется за него заступиться, переиначить написанное им, — например, так: «не стоит высшая гармония детской улыбки!» Но вдруг остановишься и подумаешь: а разве и впрямь объявлял Достоевский слезинку ребенка — высшей ценностью? Может, даже обмолвился где-нибудь, что чем больше в мире детских слез, тем лучше: ценностей больше?! Или у него все-таки что-то другое написано? Или мы с Калмыковой разного читали Достоевского? Или кто-то из нас ограничился чтением хрестоматии, — а то и вовсе кратким пересказом?.. Ведь лишние знания только мешают: и чем меньше голова загружена частностями, тем легче выстраивать общие схемы.)

А Калмыкова, наконец, подходит к финалу своей истории. Кончается у нее русская литература happy end'ом. В наступившие времена все, слава те господи, встало на место: литература десакрализировалась, «все уравнены горизонтально лотка». Нынче каждый сам себе Моцарт: гуляет празднo, читает что хочет, пишет, что придется, и харизмой наделяет, кого и как вздумается. Свобода, господа!

Исследователь и практик отечественного детектива и массовой культуры **Роман Арбитман** в статье **«В объятьях олигарха»** («Нева», № 3) обнаруживает в сегодняшнем масскульте повышенный интерес к жизни олигархов. Интерес этот сродни тому, каким в советские времена пользовались индийские йоги. В самом деле, даже само слово «олигарх» довольно экзотично и созвучно знаменито-хищному «аллигатор». Вот и в книге Федора Волкова «Олигарх с большой дороги» герой — «сущее чудо-юдо»: собирается «взорвать нефтепровод, устроить хаос в стране и нажиться на дефолте». Не лучше и герой романа Вадима Громова «Компромат для олигарха», задумавший взорвать банк. В романе Ильи Ряснова «Ловушка для олигарха» действуют мафиозные киллеры, а герой Сергея Майорова (роман «Олигарх») — «*кающийся воротила*», в котором «*еще не уснула совесть, но волчья жизнь, окружающая его, такова, что приходится поступаться принципами*». Имеются рвущиеся во власть олигархи-аллигаторы и в провинции, не только в столицах. Например, герой романа Александра Тамоникова «Обет на крови» живет и действует в Переяславле. А вообще-то олигархическая жизнь, написано у Арбитмана, — как у картофельного клубня: «*не съдят, так посадят*».

Статья историка **Владимира Лапина «Запахи и звуки Петербурга»** («Звезда», № 3) представляет собой фрагмент будущей книги, посвященной Петербургу «по Анциферову» — знаменитому создателю книги «Душа Петербурга». Анциферовское исследование — это исследование и анатомии города, т. е. его почвы, рельефа, связи с водой, его планировки и т. д., а также его «физиологии», т. е. состава населения, и «психологии» его бессмертной, вечной души. Именно увиденная вдохновенным ученым душа великого (а не провинциального, как частенько сегодня можно слышать) города, его пейзаж, историческая глубоко трагичная судьба, художественные вкусы его обитателей — предмет вдумчивого внимания сегодняшнего ученого. Петербург под пером Лапина (а ранее — Анциферова) — истинно отечественный феномен.

Обзор подготовили Ирина Дугина и Евгения Щеглова

РЕМБРАНДТ. НОЧНОЙ ДОЗОР. 1642

Письма о Рембрандте*

Владимиру Вениаминовичу Бибихину

Я не очень люблю эту картину. Многие живописные вещи Рембрандта мне много дороже — не только позднейшие, запредельные, как «Гомер», «Песнь Симеона», «Еврейская невеста», «Возвращение блудного сына», но и те, что были прежде «Дозора». А прежде была «Даная», «Саския с цветком», две «Флоры»...

Исследователи обычно видят в «Ночном дозоре» апогей Рембрандта-живописца, и в определенных отношениях это так. Самая сложная, богатая, виртуозная композиция — самая барочная среди зрелых композиций Рембрандта. Можно сказать, что музыку этой картины исполняет богатый симфонический оркестр с множеством тембровых эффектов. Играет он *con bravura*, почти героически — чего у Рембрандта, совсем драгоценного Рембрандта, не бывает. Там, в драгоценном Рембрандте, звук приглушен и укрыт, как старое пламя под слоем золы¹. Вопрос только: что играет этот оркестр? О чем идет речь?

Никто не может с полной уверенностью сказать, что за момент нам представлен, куда собираются все эти люди, зачем они осматривают свое

* Первую статью из цикла «Письма о Рембрандте» см. в «Континенте», № 130.

¹ Музыкальную тему провоцирует фигура барабанщика, выглядывающего с правого края прямо на нас. Он относится к другим действующим лицам приблизительно так, как это бывает с автопортретом художника, включенным в общее действие картины (как сам Рембрандт любил включать себя в действие, например, в «Воздвижении Креста» и в «Снятии со Креста», 1633). Относится к ним как алгебраическая единица к арифметическим. У этой фигуры (художника на собственном полотне) — ключ истолкования, потому что только ей известно это целое как целое. Это не участник, а свидетель происходящего. В «Дозоре» эта — охватывающая сюжет и выводящая за его вещественные пределы — роль поручена музыканту, проверяющему звук, который извлекают его палочки. Известно, что барабанщика Рембрандт включил в эту группу «от себя». В списке заказчиков, плативших ему за портретирование, барабанщика не было. Скорее всего, наоборот: это ему художник должен был платить за позирование.

**Ольга
СЕДАКОВА**

— родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, поэт, автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х т. и тома избранного «Путешествие волхвов». Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

оружие, аркебузы и мушкеты, разворачивают знамя, пробуют походный барабан, какой приказ отдает капитан Кок. Приготовление ли это к реальной опасности, к защите города от неприятеля, или к регулярному обходу, или же к какой-то торжественной церемонии?² Наконец, в какое время суток все это происходит?

Позвольте немного истории. Название «Ночной дозор» было дано холсту с большим запозданием (в начале XIX, по некоторым предположениям, в конце XVIII века), когда зритель знал его уже в изувеченном состоянии. Это огромное полотно (в нынешнем виде 363х437 см) в 1715 году обрезали на 30 сантиметров в высоту и на 62 сантиметра в длину! Такое усечение изображения со всех четырех сторон чрезвычайно усилило впечатление *ночной* сцены и, кроме того, сделало ее не по-рембрандтовски приближенной к зрителю — и, тем самым, более повествовательной. Можно вспомнить подобные «Дозору» многофигурные композиции Рембрандта в живописи и офорте, — такие как «Христос и грешница» (1644) или «Стогульденый лист» (1647–1649), публикующийся с разными названиями — «Христос проповедует народу», «Христос исцеляет недужных», «К Христу приводят детей»: событие и его участники погружены в глубину архитектурного интерьера — и одновременно выходят к нашему взгляду из этой глубины как одно *общее* световое явление. Рассматривать и истолковывать их жесты, положения, характеры, опознавать сюжет мы захотим значительно позже³. От нашего про-

² Реальный выбор, впрочем, как говорят исследователи, не велик: это или воспоминание о каком-то конкретном историческом событии (торжественной встрече Марии Медичи в Амстердаме в 1636), или постановочная аллегорическая сцена — способ показать заказчиков торжественного группового портрета, амстердамских кловениров, гильдию вооруженных охранников города, в действии.

³ И можем делать это по-разному, о чем говорят традиционные интерпретации одной вещи: «Портрет матери художника» — или «Пророчица Анна!» «Титус и его жена» — или «Еврейская невеста» — или «Исаак и Ревекка» — или «Кир и Аспазия!» «Падение Амана» — или «Давид посылает Урию на смерть!» Размах толкований *сюжета* поражает. Не говоря уже о том, как менялся этот сюжет в работе самого Рембрандта. Мы узнали об этом, обретая новые возможности уже не человеческого зрения — благодаря новейшим исследованиям живописи рентгеновскими лучами, открывающим ранние слои письма. Мы знаем теперь о поразительных метаморфозах рембрандтовских замыслов. Так, на месте цветущего жезла у «Саскии, одетой Флорой» (1635) X-лучи открывают окровавленную отрубленную голову. Изначально это была Юдифь с головой Олоферна! Другая, эрмитажная «Саския — Флора» (1634), как обнаружено, изначально держала в руке кинжал — и была, соответственно, римской Лукрецией. Интересно, что переходя из сюжета в сюжет, из роли в роль, из начальной кровавой драмы (Юдифь) или трагедии (Лукреция) в финальную идиллию (Флора), и лондонская, и эрмитажная Флора не меняли своей позы и странного внутреннего состояния, светящегося на их лицах. Это загадочное лицо рембрандтовских людей, — куда более загадочное, чем пресловутая улыбка Моны Лизы, — поражает тем, что не совпадает ни с одним из установленных настроений и чувств (трагичность, печаль, радость, злоба, благодушие, наивность, искусственность и т. п.), ни с их смесью. Одно слово, я думаю, ближе подходит к тому, что дает видеть Рембрандт: *терпение*. Обдумываемое терпение.

странства, — то есть от нижнего края изображения, — их обыкновенно отделяет пустая освещенная поверхность, на которой они стоят, странным образом *отбрасывая вперед свет*, как обыкновенно предметы отбрасывают тень. Это свет видимого, явленного — свет *феномена* в этимологическом значении слова.

Рембрандт (и это, по-моему, отличает его от других великих волшебников светотени, от Латура, например, не говоря о Караваджо, образце Рембрандта) остро чувствует, что видимое, явленное — совсем не само собой разумеется. Свет и тень встречаются у него не в мире видимого, как у его собратьев. Все гораздо болезненней: тень ставит видимое под вопрос. Собственно, его не следовало было бы называть «мастером светотени»: он, по точному слову Мандельштама, ее мученик:

Как светотени мученик Рембрандт.

Видимое возникает из огромной непробудной невидимости, *тьмы осязаемой*, и как бы помнит о том, что очень легко может опять раствориться в ней, что невидимость всегда рядом — из-за бренности вещей «мира сего» или из-за нашей, близко обступающей слепоты. Так что то, что нечто видимо, — событие уже само по себе. Зрение — событие само по себе.

Так же, судя по эскизу, было построено и пространство «Дозора». Отброшенный событием свет и покрывающая его темная арка, которая преобразует открытое (по внешним приметам) пространство во внутреннее, в замкнутый интерьер. С годами пространство рембрандтовских работ все откровеннее принимает форму пещеры (сравним «Философ и его жена») или утробы, земной или воздушной утробы. Но образ этого сферического углубления, темноватой, подслеповатой, теплой глухоты, в которой появляется другой шар — рыхлый шар сложного неоднородного подвижного света, возникает в композициях Рембрандта очень рано. Видимо, это и есть главная интуиция Рембрандта о том, что такое земной мир. Интуиция не философская (не стоит здесь сразу же вспоминать Платона с его пещерой⁴), не умозрительная, а зрительная. Не «идея» мира, а поле зрения, в котором размещается этот мир⁵. Таким миром был и первоначальный «Дозор». Все это исчезло или по меньшей мере искажено в том, что мы видим теперь.

Мы видим капитана Кока, ведущую фигуру, от которой расходятся два приподнимающихся крыла общего движения, почти выходящим из картины наружу, ступающим прямо на нижний край изображения. Его левая рука, указывающая на цель, к которой все собравшиеся, знаменосец, барабанщик, гвардейцы, должны подтянуться из своей приговорительной су-

⁴ Да и вообще ничего не стоит вспоминать сразу же. Это один из уроков Рембрандта. Остановим бег ассоциаций и обобщений, быстрых опознаваний и разгадываний. Побудем некоторое время перед загадкой как загадкой. Пусть разум и память помолчат, а мы посмотрим. Посмотрим просто, *только глазами*, — пока у нас еще есть возможность смотреть. Зрение — это наслаждение *присутствием* значения, а не его содержанием.

⁵ Такова и рембрандтовская интуиция самого человеческого зрения: шара, являющегося в темной пещере слепоты. Но о слепоте я уже писала в прошлых письмах.

матохи, протянута вперед из изображения. Этот шаг и этот жест задевают нас больше, чем, по-видимому, задумывал Рембрандт. Не то чтобы это более драматично: это драматично по-другому, чем то напряжение, к которому ведет Рембрандт. Он отлично знал эту агрессивную барочную игру с пространством, оптическую иллюзию разрыва границы изображенного и реального, плоского и трехмерного, вынуженого из времени и временного, подмостков и зрительного зала, шок «выхода» изображения из своей рамы «прямо к нам» и порой виртуозно пользовался этой техникой (ср. офорт «Портрет проповедника Яна Корнелиса Сильвиуса», 1646). Но, вероятно, в «Дозоре» у него была совсем другая композиционная мысль. Никто здесь не должен был врываться со сцены в зал и трогать зрителя за плечо. Как я уже сказала, этой мыслью, как и в других групповых портретах (в предшествующем «Дозору» «Уроке анатомии доктора Тульпа», 1632, в позднейшей «Гильдии суконщиков», 1662) и исторических сценах, было просто событие как феномен, световое явление, клубящееся перед зрением в своем темном чреве. Какое здесь, в исторических сценах и групповых портретах, событие? Собрание людей, соединенных каким-то внешним поводом (происшествием чаще всего) и остающихся при этом каждый сам по себе. В человеческий беспорядок как бы вносится некий магнит, сюжет, который влечет к себе каждого в сообразности с его свойствами. Интересно это многообразие отзывчивости, проводимости. Его изучает Рембрандт. Очень часто нам при этом дают увидеть — и на переднем плане! — кого-то совершенно не захваченного действием этого магнита. В «Дозоре» это убегающий в одну сторону мальчик и в другую — собака. Нет, никакой повод не соберет воедино весь мир, в одном строю не поведет, — говорят эти убегающие из сюжета, но включенные в событие картины фигуры. Мир всегда остается открытым. Но значительности изображенного повода, сюжета, это никаким образом не отменяет. В офорте «Добрый Самарянин» (1633), который заставил Гете восхититься *умом* Рембрандта, это знаменитая собака, делающая свое дело в световом круге великого события. Изображенная с неменьшим интересом и с не менее глубокой эмпатией, чем все остальные. Глядя на нее, мы чувствуем то, что она чувствует. А зачем? Ведь мы должны вроде бы углубиться в смысл притчи и не отвлекаться. Но, как ни странно, благодаря этому нелепому отвлечению — на сочувствие собаке, целиком ушедшей в переживание процесса дефекации, — мы лучше видим притчу. Объяснить это трудно, но непосредственно почувствовать легко. Первый шаг на пути к центру — отвлечение от него. Хорошо начинать с центробежности. В этом, вероятно, и видел Гете *ум* Рембрандта. Заметим: это ум художника Нового Времени. Средневековому и думать ни о чем таком не приходилось. Так же и в «Ночном дозоре»: перечеркивающие в две стороны общее движение мальчик и собака дают пережить его значительность.

Возвращаясь к ночи как времени действия: нужно ли говорить, что обе евангельские сцены, упомянутые выше («Христос и грешница» и «Стогульденный лист»), происходят при свете дня, а не ночью? Они освещены у Рембрандта точно так же, как «Ночной дозор». Сплошного открытого света у Рембрандта (во всяком случае, в живописи) ждать не приходится. Собы-

тие и при свете дня появляется как световая вспышка, и поэтому дневной свет никогда не до конца светел.

Итак, с этой великой картиной и с ее названием, которое вошло в самый краткий словарь истории человеческого творчества, туда, где обретаются «Лунная соната», «Божественная комедия» и еще десяток-другой всем знакомых, избранных из избранных (и как правило, тоже не автором данных) имен «сокровищ культуры», не всё в порядке. Но это не так важно. Эти недоразумения не касаются главного.

Главное же состоит в том, с чего мы начали: «Ночной дозор» — признанная вершина Рембрандта-живописца. Признанная его заказчиками и современниками — в последний раз в жизни Рембрандта. Вершина его прижизненного успеха, — сразу же за которой следует полный срыв. Почти семь лет (!) после завершения «Дозора» Рембрандт почти не пишет живописи⁶. Вернувшись к ней, он создает вещи, на которые его время больше не откликается. Он вышел из игры. Его забудут до конца XVIII века. Всерьез его увидят еще на век позже. Еще через век мы поймем, что Рембрандт — относительно нас — располагается в будущем. То, что он открыл, мы едва начинаем воспринимать. *Rembrandt und kein Ende* — *Рембрандт и нет ему конца*, как написал Михаэль Бокемюль, его глубокий немецкий интерпретатор.

Но пока, с «Дозором», мы еще не в том *бесконечном* Рембрандте, Рембрандте «Аристотеля у бюста Гомера» (1653), «Моисея, выносящего народу скрижали» (1659), «Евангелиста Матфея» (1661), «Гомера» (1663), «Еврейской невесты» (1666), «Возвращения блудного сына» (1668–1669?), «Песни Симеона» (1666–1669), поздних портретов и автопортретов. Это еще Рембрандт, соразмерный вкусу своего времени, принятый им, в расцвете артистической зрелости. «Ночной дозор» (как и окружающие его во времени заказные портреты) — «объективно» удавшаяся вещь. Композиция, в которой врожденная странность и корявость (я бы сказала: праведная корявость) его манеры перекрыты триумфальной силой живописного мастерства «своего времени», блистательного времени великой европейской живописи. Мастерства Рембрандта здесь не оспорит и самый дикий профан с его характерными представлениями о «качестве». Можно сказать: всё — или почти всё — в этом изначально безымянном полотне именно так, как «должно быть» у лучших художников новой Европы. Караваджо, Тициан, Веласкес, Рубенс... Великолепная чувственность и твердая школа. Неподвижный театр, зрелище остановленной на бегу жизни, фейерверк иллюзий, где все «совсем как живое», — но при этом «навсегда»... Игра обыденной и аллегорической реальностью, предполагающая в художнике и зрителе из-

⁶ Один из величайших знатоков Рембрандта, его соотечественник Боб Хак не принимает такой драматизирующей и романтической, по его мнению, схемы пути Рембрандта, где водоразделом оказывается «Ночной дозор». Приведя разные факты, усложняющие это слишком простое членение жизни и творчества на два акта: благополучного Рембрандта и Рембрандта-изгоя, — он тем не менее кончает так: «*“Ночной дозор”*, или, правильнее, *“Отряд капитана Франса Баннинга Кока”*, в действительности может считаться завершением его наиболее барочного периода» (*Haak Bob. Rembrandt Drawings. London, 1976*).

рядное знакомство с двумя истоками европейской цивилизации, Афинами и Иерусалимом, античным и библейским наследием, — по меньшей мере, с фабулами и именами оттуда. Живопись, на которую смотрят участники торжеств и просвещенных увеселений — и она смотрит со стен частных и городских зал на эти пиры и торжества.

Живопись, *живое* время которой кончилось. Дом которой теперь — Всемирный Музей, Школьная История Искусств, копилка эффектных тем для разнообразных римейков. Я прошу прощения перед великими участниками этой творческой эпохи, для меня их создания остаются и живыми, и жизнеобразующими. Их образы вошли в самый состав моего зрения, моего слуха, моего отношения к слову. Я думаю, при всех разговорах о тотальной победе масскультуры и новом варварстве, нас, чьими глазами отчасти смотрят Гойя и Рубенс, чьими ушами отчасти слышат Бах и Моцарт, чьим выбором слов отчасти руководит Буало⁷ (ибо они вместе с многими другими учителями и создавали инструменты нашего восприятия — восприятия отнюдь не искусства, а самой простой действительности), не так уж мало. И не такие уж мы отпетые маргиналы, «бывшие», ненавистные для Бурдые «культурные капиталисты», которых пора раскулачивать. Если вы конфискуете мои зрительные припасы, что из них перепадет «культурным пролетариям»?

Но дело не в статистике и стратификации общества. Говоря о *живом* времени искусства, я имею в виду другое: является ли оно в данный момент искусством, порождающим искусство, то есть вызывающим нового автора на соревнование, внушающим ему желание, словами Пастернака, повторить «то же, но шибче и горячей»? И здесь я вынуждена сказать: нет. Ни шибче и горячее, ни медленнее и прохладнее повторять это уже неуместно. Нет предмета, по поводу которого это можно повторять.

То искусство говорит о богатстве жизни и богатстве человека (среди другого, и о богатстве и разборчивости заказчика). Оно говорит об их силе. Нас, боюсь, может по-настоящему тронуть только рассказ об их нищете и беспомощности. «Но и богатый не богат», — пишет Рильке о новейших временах, вспоминая по-настоящему богатые эпохи (в его мысли это эпохи древности и Средневековья: времена, где реально действует благородство). Без благородства события богатства не происходит, оно подорвано страхом и скупостью. Покинутое своим гением или душой — свободой, щедростью и беспечностью — громоздкое тело богатства вызывает возмущение или смех.

О том, что в богатстве нет ни смысла, ни величия, ни поэзии, или, проще, что «богатый не богат», теперь знают все, кто хоть чуть-чуть задумывался. Да и те, кто не задумывался, интересуются богатыми, только когда они «тоже плачут». Рембрандт знал это в то время, когда другие не догадывались. Когда сам он еще был богат, удачлив, силен и упивался возможностями, которые предоставляет богатство, своими экзотическими коллекциями. Однако везде, где у него написано: «богато», — где на полотне сверкают атлас и брокат, меха, жемчуг, кружева, перья, золотые цепи, граненые бокалы, — мы

⁷ Я называю не точных современников, но эпоха искусства, о которой я говорю, имеет широкие границы: после Ренессанса — и вплоть до художественной революции конца XIX — начала XX века.

читаем: «печально». Печально не только потому, что с роскошным почему-то теснее всего увязана меланхолическая мысль о нашей и всего мира преходящести и смертности, но и по какой-то другой, более бодрой и не совсем понятной причине. «Автопортрет с Саскией на коленях» (хочется добавить: «и с павлином на столе»⁸, потому что без этого третьего участника сцена неполна), который можно понять — и два столетия понимали — как изображение благополучнейшего момента жизни молодой четы, окруженной почти гротескной роскошью, в действительности посвящен эпизоду из истории о блудном сыне: ее настоящая тема — «Блудный сын в притоне». Любимая Саския и счастливый Рембрандт в этих костюмах! Это что-то подсказывает нам о богатстве и благополучии. Можно догадаться: они печальны, потому что они всегда «на стране далече», *далеко от...* Далеко от самого дорогого для нас, от того, без чего в конце концов умирают с голода. Далеко от какого бы то ни было будущего. И еще: далеко от нашего происхождения.

Как Рембрандт понимал наше происхождение, можно представить, хотя бы глядя на его офорт «Адам и Ева», 1538. Две эти жалкие и удивительно неприглядные фигуры каждой своей клеткой говорят не только о том, что они в самом деле «взяты из праха», но что они не совсем, не до конца из него взяты. Они им, вообще говоря, и остались. Беспомощным, глупым и очень грубым прахом. «Червь Иаков».

Можно представить это и по античным образам Рембрандта. Крайний случай — его ревуший, безобразно толстый, до смерти перепуганный, опиравшийся в воздухе от страха, повернутый к нам голой задницей младенец Ганимед в когтях не менее непривлекательного орла (и это тот самый мальчик, в божественную красоту которого влюбился Громовержец, это вишнечерпий небесных богов!). Может быть, я выбираю сейчас самые гротескные образы. Но и более мягкие говорят о том же. Бессмертная красота человека античности (отсвет которой лежит на итальянском ренессансном письме), бессмертная — или воскресшая — красота человека Средневековья неизвестны Рембрандту. Он не знает ни классической, ни христианской идеализации тела. Он знает, как видит это тело доктор Тульп. Человек совсем смертен и совсем беден⁹.

Я уже просила не вспоминать сразу же Платона в связи с пещерой. Теперь я прошу удержаться от другого воспоминания: о прославленной Госпоже Бедности св. Франциска, «апостола нищеты». Это совсем другая

⁸ Этот павлин, как показал анализ рентгеновскими лучами, заслонил первоначально помещенную там обнаженную лютнистку! Сцена действия (притон) была тем самым очевидней.

⁹ Единственное исключение, на мой взгляд, — совершенно прекрасное, как бы одетое бессмертием тело Данаи («Даная», 1636). Все другие тела, включая и Вирсавию, и Сусанну, которые должны были бы являть образец победительной, соблазняющей красоты, поражают не то что своей наготой, а какой-то жалкой раздетостью. Такая плоть (как и в «Купающейся Хендрике», 1655) должна быть скрыта от зрения не потому, что она соблазнительна, а потому что она абсолютно уязвима. Почти так же невыносимо смотреть на *внутренние* органы живого существа.

бедность. Если бы Франциск взялся изображать Адама, у него наверняка получился бы образ не менее прекрасный и окрыленный, чем Адам на портале Шартрского собора. Франциск в своем поклонении Прекрасной Даме Нишете воспекает божественное уничтожение, вторую, сверхъестественную бедность. Та нишета, которую видит Рембрандт, — первая, врожденная нишета человека, совсем человека, «слишком человека», употребляя словечко Ницше. И сам он «слишком человек», чтобы хоть сколько-нибудь убедительно изобразить иной мир. Написанные им ангелы каждый раз вызывают печальное недоумение¹⁰. Как взлетают в воздух, он явно не может представить («Ангел покидает семейство Товии», 1637). Невесомость, бесплотность и левитация — не его опыт. Но тяжесть, земную тягу он знает как никто. Каково Моисею держать над головой две каменных плиты, вот это он знает. Слепота, старость, ветхость, болезнь — вот где кисть Рембрандта, его гравировальная игла или карандаш начинают петь свою «Песнь Симеона». «Свет во откровение языком». Там, где Рембрандт пишет: «бедно», «трудно», — морщины стариков, серая хламида и слепые глаза Гомера, крестьянские руки Моисея, безвидное, как будто раненое лицо Младенца на руках поблекшего Симеона, рваную туфлю и сбитую пятку Блудного Сына, — там мы чувствуем эту странную и никем другим из художников не воспетую радость.

Но писать такую бедность для заказчиков «Ночного дозора» было бы нелепо. От всех восьми (включая Рембрандта) художников, которым были поручены заказы на групповые торжественные портреты клоунов, вооруженной аркебузами и мушкетами городской полиции, ожидалось противоположное. Уверенность, бодрость, богатство, независимость свободного города, который может отстоять свою молодую свободу, — вот что следовало запечатлеть в лице его охранников, людей состоятельных, достойных и амбициозных. Утро буржуазии, скажет марксист.

Несомненно, в решении и этой задачи Рембрандт остался Рембрандтом. Среди похвал современников в адрес его работы звучала критика ее «чрезмерной оригинальности». Эта оригинальность заключалась для них прежде всего в том, что художник не написал своих героев, разместив их в ряд, позирующими и глядящими прямо на зрителя, как было принято в таких случаях (эту традицию у живописи переняла фотография, таким же образом организуя группы на торжественных общих портретах). Этого ждали заказчики, так и сделали семеро других портретистов. Рембрандт представил своих героев за делом. Им не до того, чтобы позировать. Объявляется боевая готовность. Каждый отвечает на нее по-своему (см. выше о разнообразии отзывчивости, которую он любит изучать). На наших глазах суматоха преобразуется в строй. Групповой портрет превращается в историческую картину с не совсем ясным, — с чего мы начинали, — сюжетом. Это решение удивило, но понравилось. *«Холст этот настолько силен, что, по мнению некоторых, все остальные в сравнении с ним выглядят как колода игральных карт»*. Сове-

¹⁰ Опять же, *единственное* исключение — поздний ангел за плечом евангелиста Матфея («Евангелист Матфей», 1661). Но он бесспорно человек, Титус, сын Рембрандта, и не притворяется ничем другим. Его голова отбрасывает тень на ухо и седины евангелиста, и рука его, легко, но весомо, лежит на плече Матфея, отбрасывая тени!

менник хвалит «великую изобретательность в разнообразном размещении фигур»¹¹. Мы не будем останавливаться на детальном анализе этой изобретательности. Отметим главную, и поразительную, находку. Световым центром сцены сделана не *первая*, заглавная, а *вторая*, подчиненная, фигура: первая из подчиненных. Не одетый в черный — почти невидимый — бархат капитан Кок, а первый слушатель и исполнитель его приказа, лейтенант ван Рюйтебурх, сверкающий светло-золотистой роскошью, высвеченный самым ярким светом, позволяющим разглядеть мельчайшие узоры шитья на его камзоле. Смещение кульминации с приказа на начало его осуществления! Вот гениальный гимн воинской готовности. Умный Рембрандт, скажем вслед за Гете.

Но, повторю начальное признание, вся изобретательность, богатство и ум этой огромной композиции, весь ее богатый и звучный оркестр не слишком трогают меня. Все это не стоит для меня сделанного приблизительно в то же время скромного, скромного, совсем маленького (6х5 см), почти беззвучного (продолжая музыкальную аналогию) офортного портрета-наброска смертельно больной Саскии («Саския», 1642, В. 359), ее последнего портрета, сделанного с натуры. Я хотела начать с этого сравнения и противопоставления. Ведь мы до сих пор не сказали о том, что время создания «Ночного дозора» — это год смерти Саскии, 1642 год. Можно сказать без преувеличения, это год смерти Первого Рембрандта. Об этом не слишком известном офорте мне не хочется говорить. Я думаю, таких драгоценных и тихих вещей на свете очень немного. О таких вещах говорит молчание — или стихи.

Возлюбленная тишина.

Я могу посоветовать Вам только отыскать где-нибудь воспроизведение этого наброска — и побыть с ним.

Но простое и слишком очевидное противопоставление двух этих вещей — огромной заказной и крохотной, совсем «своей» — было бы неправдиво. Потому что мы до сих пор не сказали главного о «Ночном дозоре». Я постоянно оставляла некоторый зазор, вы заметили? «Почти все в этой работе», «почти как должно быть». Да, почти, — потому что самый центр этой сцены, его сердцевина не поддается никакой разумной интерпретации. Я имею в виду несоразмерно маленькую женскую фигурку в роскошном золотистом наряде и в венце или обруче, с круглым встревоженным лицом и распущенными светло-рыжими волосами. Из-за нее выглядывает краешек другой женской фигурки в светло-голубом, тоже белокурой и в венце, который можно принять за нимб. Два световых удара: лейтенант и это необъяснимое существо. Лейтенант освещен, пожалуй, ярче и отчетливее. Но освещение этой двоящейся фигурки другого рода: она похожа на лампу, *излучающую* свет.

Конечно, ее присутствие в композиции обсуждалось и истолковывалось. Ее принято считать маркитанткой, основываясь на том, что привязанный к ее поясу мертвый петух и маленький бурдюк вина означают провизию отряда. Кроме того, скрещенные лапы петуха — это герб городской гвардии. Она аллегория? Чего? Города, который охраняет «Ночной дозор»? Почему здесь так вопиюще нарушены пропорции (читая реалистически, мы должны

¹¹ Самюэль ван Хогстратен. Цит. по: *White Christopher. Rembrandt. London, 1998. P. 97.*

принять эту фигуру за совсем маленького ребенка, но у нее лицо и одежда взрослой молодой женщины)? Почему, кроме того, у нас ясное впечатление, что все остальные действующие лица ее *не видят*? Приблизительно так, как евангелист Матфей («Евангелист Матфей», 1661) не видит Ангела, склонившегося к его уху. Но Матфей вслушивается в него и не видит, а эти как будто не догадываются о ее присутствии. Перед ней и за ней две самые бравурно действующие фигуры, мушкетер и знаменосец. Древко знамени и ствол мушкета, почти параллельные между собой, и третья параллельная им диагональ, жезл капитана, трижды перечеркивают ее слева направо. В другую сторону, справа налево, почти сходясь с нижним концом мушкета и пересекаясь с жезлом лейтенанта, ее перечеркивает нога кого-то бегущего в глубину, против движения отряда. Она выглядит из-за этих скрещенных диагоналей, как из-за решетки, из своей перечеркнутости, вычеркнутости — и почему-то кажется жертвой всех этих бодрых движений. Она с испугом и печалью всматривается во что-то, что им не видно. В конце концов, ее присутствие перечеркивает все. Странно, как примирились с этим заказчики? Или для них и в жизни, как на холсте, это странное существо, этот отрицающий их центр композиции остался невидимым?

Чье это лицо? Мне встречалось предположение о том, что у «маркигантки» можно различить автопортретные черты Рембрандта. Может быть. Но очевиднее другое: это лицо нам хорошо знакомо, оно встречалось уже не раз в других сюжетах. Вот какие нахожу я (только среди живописных): это лицо Эсфири («Эсфирь перед встречей с Артаксерксом», 1633); еще ближе — лицо Прозерпины, одетой в такое же золотое платье и с похожим выражением испуганного и сопротивляющегося ребенка («Похищение Прозерпины», 1631); это лицо Ангела, поднимающего крышку гроба в Мюнхенском «Воскресении Христа» (1636—1639). Это лицо второй, лондонской «Флоры» (первоначальной Юдифи), 1635, то есть беременной Саскии. Это лицо молодой Саскии.

И все это, несообщаемость двух видимых художнику миров, знает, выглядывая из-за края картины, наш молчаливый проводник, барабанщик.

Вот, собственно, и все, что я собиралась сказать. Тайное, «для себя» название «Ночного дозора» должно было звучать как-то вроде: «Прощание с Саскией (Флорой, Юдифью, Эсфирью, Прозерпиной, Подругой Блудного Сына, Надгробным Ангелом) или «Реквием Саскии», 1642.

Корректоры

А. З. Лазуткина, Ю. Н. Маслов

Фото Виктора Шендеровича на обложке — работы В. Плотникова.

ЛР № 066469

Подписано в печать 30.06.2007. Формат 60х90/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Печ. л. 29,00. Тираж 2600 экз.

Заказ № 1268

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.

Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка), 73218*

и 18047 *(льготный для библиотек)*

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плещиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

“AD MARGINEM” – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60

“КНИГА” – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97

КНИЖНАЯ ЛАВКА ПРИ ЛИТИНСТИТУТЕ –
Тверской б-р, 25; тел. 202.86.08

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК “НОВОЙ ГАЗЕТЫ” –
Страстной бульвар, 8

“ПИРОГИ” – Б. Дмитровка, 12; тел. 229.34.53 и
Никольская, 19/21; тел. 921.58.27

“ПРОЕКТ ОГИ” – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 927.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “ЗНАМЯ” – Б. Садовая, 2/4б; тел. 299.52.83

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80

“УМНАЯ КНИГА” — ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

“ФАЛАНСТЕР” – Мал. Гнезниковский пер., д. 12/27; тел. 504.47.95

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Магазин “ЛЕТНИЙ САД” – Большой Проспект ПС, 82; тел. (812) 232.21.04

Двухтомник Ольги СЕДАКОВОЙ «Стихи. Проза»

Двухтомник издан издательством «Эн Эф Кью». Издание вышло ограниченным тиражом и состоит из тома стихов (574 стр.), в который включены также и поэтические переводы, и тома прозы (959 стр.), содержащего разделы: заметки и путешествия, эссе, исследования, очерки словесности, воспоминания, вместо заключения (в этот раздел, в частности, включена речь при вручении премии Владимира Соловьёва). Вступительная статья Сергея Аверинцева, художник А. Райхштейн.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском мире» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга сестры ЭММАНУЭЛЬ

«Меджугорье, девяностые годы. Торжество сердца»

Издание общины «Беатитюд». Перевод с французского, 284 стр. В книге собраны свидетельства, а также наблюдения и размышления о Меджугорских событиях. Автор — сестра Эммануэль Майар — живет в Меджугорье с 1989 г.

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Снявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книга «ХРОНИКА КАЗНИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА (в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах)». Составитель, автор Вводной статьи и комментариев — Геннадий Казановский.

Книга выпущена издательством «Аграф». Поэт, мыслитель, подвижник Ю. Галансков погиб в мордовском лагере строгого режима в возрасте 33 лет на шестом году заключения. Его письма из-за колючей проволоки, а также другие материалы, сопряженные с кульминационным периодом жизни Галанскова (пребывание под следствием в Лефортовском изоляторе, судебный процесс, лагерные хождения по мукам), позволяют читателю составить представление об этой яркой неповторимой личности, о том времени и о том режиме, которые предопределили его мучительный путь.

**Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года**

Звоните и приходите!

Тел. 248.62.35 Адрес: ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



Газета основана в 1830 году при участии А. С. ПУШКИНА
Издание возобновлено в 1929 году при поддержке М. ГОРЬКОГО

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТОЛЬКО В «ЛГ» ВЫ УЗНАЕТЕ:

Над чем работают лучшие современные писатели, поэты, драматурги

О чем размышляют и спорят герои их новых произведений

Как формируется внутренняя и внешняя политика государства

О тесной взаимосвязи реформ и содержимого нашего кошелька

Где состоялись самые заметные явления в искусстве и культуре

Какие новые книги «заслуживают» того, чтобы их купили

О секретах «лаборатории смеха» в знаменитом Клубе «12 стульев»

«Литературная газета» — единственное периодическое издание, где встречаются все направления отечественной общественной, социально-экономической, художественной и духовной мысли.

Подписной индекс — 50067

Телефон отдела подписки: (095) 208 98 55

www.lgz.ru

Литературно-публицистический журнал. Иерусалим



- Д. РУБИНА. Рассказы
- А. МЕЛИХОВ. В долине блаженных, или Вечный Жид
- М. АМУСИН. Город-текст и текст города
- А. ЛИБЕРМАН. «Все дело в нас самих»
- А. ИОШУА. Сионистская революция
- «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Русские евреи в Германии
- А. КИУРУ, Е. МОРОЗ. Россия и ислам

Наши авторы:

Григорий Бакланов,
Владимир Буковский,
Денис Драгунский,
Сергей Кургинян,
Александр Мелихов,
Борис Парамонов,
Дина Рубина,
Бенедикт Сарнов,
Виктор Славкин,
Виктор Суворов,
Борис Фальков,
Борис Хазанов,
Асар Эппель,
Михаил Эпштейн и др.

Nota Bene выходит 6 раз в год; объем - 350 стр.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:

В России - \$65 • В Европе - €55 • В США - \$70

Тел. редакции: 972-2-5325931; факс: 972-2-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

Адрес: POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450 Israel



«КОНТИНЕНТ» № 132, 464 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71692
и 18047 (для библиотек)

2007
№ 2